This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

UC-NRLF
$B 82 299

BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA



THE LIBRARY OF CONGRESS
1800

Class PGR51
Book .G14

YUDIN COLLECTION

Повести:

«Юлия» Карамзина: 179[illegible] г.

«Александр и Юлия, истинная русская повесть» П. Львова.

Романы нравоучительные

«Всеволод и Всеслава». Роман, (сохранившийся в письмах) Муравьев...

ИСТОРІЯ

РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ,

ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ.

ИСТОРІЯ
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ,

ДРЕВНЕЙ и НОВОЙ.

сочиненіе

А. Галахова.

Изданіе второе, съ перемѣнами.

ТОМЪ II.

Отъ Карамзина до Пушкина.

Рекомендована Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, какъ пособіе для гимназій и прогимназій.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Печатано въ типографіи И. И. Глазунова, Казанская ул., № 8.
1880.

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

11 1994

PG 2950
G3
1880
v. 2

НОВЫЙ ПЕРІОДЪ.

II. ОТЪ КАРАМЗИНА ДО ПУШКИНА.

(ЦАРСТВОВАНІЕ АЛЕКСАНДРА I).

§ 1. Въ образованіи характера Карамзина (1766 — 1826), его, взгляда на вещи и способовъ къ дѣятельности участвовали различныя силы и обстоятельства. Первое мѣсто принадлежитъ, конечно, природѣ, надѣлившей его рѣдкою чувствительностью, которая обнаружилась въ немъ съ дѣтства и не покидала его до смерти. По собственнымъ признаніямъ, онъ въ юношествѣ былъ чувствителенъ, какъ младенецъ; въ возрастъ мужества, мечтательность составляла его неизлечимую болѣзнь; на склонѣ лѣтъ, онъ также любилъ предаваться меланхоліи и, читая романы, не могъ удерживать своихъ слезъ. И въ романической исторіи: «Рыцарь нашего времени» (1802 — 1803), на которую надобно смотрѣть какъ на автобіографію первыхъ лѣтъ жизни, къ сожалѣнію, не конченную; и въ прозаической элегіи: «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона» (1793), представляющей автохарактеристику; и въ письмахъ къ друзьямъ Карамзинъ постоянно выставлялъ расположеніе своего духа къ грусти и мечтательности. Онъ не стыдился своего врожденнаго дара, хотя и придавалъ ему иногда патологическое значеніе; напротивъ, онъ какъ бы гордился имъ и любилъ давать ему пищу, находя въ немъ источникъ разнообразныхъ пріятностей. Мы должны отмѣтить эту неизмѣнную, яркую черту его нрава, такъ какъ безъ нея остались бы необъясненными многія явленія въ его жизни и дѣятельности.

Преобладающая наклонность природы развилась потомъ подъ вліяніемъ романовъ, которые Карамзинъ нашелъ въ библіотекѣ своего отца и которые доставили ему первое знакомство съ литературой. Чтеніе оказалось полезнымъ для образованія нравственнаго чувства, представивъ отроческому понятію тождество добро-

дѣтели и красоты, порока и безобразія. Какъ это чувство спасительно въ жизни, какою твердою опорою служитъ оно для доброй нравственности—нѣтъ нужды доказывать: таковы слова самого Карамзина, у котораго мысль о безвредномъ дѣйствіи романовъ перешла потомъ въ убѣжденіе ([1]).

Вторымъ періодомъ образованія Карамзина, послѣ первоначальнаго домашняго ученія, надобно считать его ученіе въ пансіонѣ Шадена, профессора философіи въ московскомъ университетѣ. Здѣсь онъ обучался иностраннымъ языкамъ, слушалъ уроки нравственной философіи, которую преподавалъ самъ Шаденъ и вмѣстѣ съ другими пансіонерами посѣщалъ лекціи профессоровъ. По выходѣ изъ пансіона, Карамзинъ думалъ довершить свое образованіе за границей, въ лейпцигскомъ университетѣ, который славился своими преподавателями и гдѣ обучались многіе русскіе. Это намѣреніе не исполнилось ([2]) и Карамзинъ поступилъ на службу въ гвардію (1781). Ко времени пребыванія его въ Петербургѣ относятся первые его литературные опыты. То были переводы съ нѣмецкаго: «Разговоръ Маріи Терезіи съ русскою императрицею Елисаветою въ Елисейскихъ поляхъ» (1782) и «Деревянная нога, идиллія Геснера» (1783). Независимо отъ общераспространенной въ царствованіе Екатерины любви къ словесности, на Карамзина дѣйствовалъ и примѣръ его земляка и друга, И. Дмитріева, служившаго тоже въ гвардіи, мелкіе переводы котораго печатались въ тогдашнихъ журналахъ. По смерти отца своего, Карамзинъ вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Симбирскъ для устройства дѣлъ по наслѣдству. Здѣсь онъ началъ вести разсѣянную жизнь и пользоваться успѣхами въ провинціальномъ обществѣ, благодаря своимъ талантамъ и образованности. И. Тургеневъ, находившійся тогда въ Симбирскѣ, жалѣя о напрасной тратѣ времени даровитымъ человѣкомъ, уговорилъ его ѣхать съ нимъ въ Москву, куда они и прибыли 1785 г.

Въ кругу Новикова, тѣсно связаннаго съ Тургеневымъ общностью понятій и намѣреній, прошелъ третій, весьма важный періодъ умственно-нравственнаго воспитанія Карамзина (1785 — 1788). Этотъ кругъ, притягивая къ себѣ даровитую молодежь, поручалъ ей полезныя литературныя работы и старался направить ея мысль къ серьезнымъ предметамъ природы и человѣческаго духа. Главнаго устроителя мистико-масонскихъ дѣлъ, Шварца, уже не

[1]) О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи (1802).

[2]) Сожалѣніе объ этомъ выражено въ Письмахъ русскаго путешественника: «Воображая, какъ бы я могъ провести тѣ лѣта, въ которыя образуется душа наша, и какъ я провелъ ихъ, чувствую горесть въ сердцѣ и слезы въ глазахъ».

было въ живыхъ, но его имя и ученіе хранились, какъ священный завѣтъ, въ душѣ переживщихъ его одномысленниковъ. Между сотрудниками Карамзина нашлось нѣсколько лицъ, съ которыми онъ завязалъ короткую дружбу. Ближайшимъ къ нему человѣкомъ былъ А. А. Петровъ († 1793), изображенный имъ въ элегіи: «Цвѣтокъ на гробъ моего друга Агатона» и частію въ повѣсти: «Чувствительный и хладнокровный» (1803), подъ именемъ Леонида. По отзыву И. Дмитріева, Петровъ обладалъ замѣчательнымъ умомъ, способностью къ здравой критикѣ и свѣдѣніями въ древнихъ и новыхъ языкахъ. Переводы его помѣщались въ Новиковскихъ журналахъ; кромѣ того отдѣльно напечатаны: аллегорическая повѣсть «Хризомандеръ» (съ нѣмецкаго) и индійская поэма «Баггаватъ-Гита» (съ англійскаго). Молодые друзья часто размышляли о высшихъ задачахъ метафизики и вмѣстѣ читали классическихъ авторовъ. Наставленіямъ Петрова, его разборчивому вкусу Карамзинъ былъ обязанъ развитіемъ чувства изящнаго. Вообще послѣдній смотрѣлъ на своего Агатона, какъ на руководителя въ изученіи разныхъ предметовъ, какъ на старшаго по знаніямъ и по благоразумію. Другой пріятель Карамзина, А. М. Кутузовъ, переводчикъ Мессіады, умеръ въ Берлинѣ (1789), гдѣ проживалъ агентомъ московскихъ масоновъ, которые черезъ него сносились съ своими нѣмецкими братьями и получали свѣдѣнія о новыхъ движеніяхъ въ орденѣ. Карамзинъ называетъ Кутузова жертвою печальныхъ обстоятельствъ, человѣкомъ воображенія пасмурнаго и характера меланхолическаго, вѣроятно потому, что мысль его, стремясь къ рѣшенію важнѣйшихъ задачъ нашего существованія, не находила на нихъ отвѣта ни въ системѣ матеріалистовъ, которыми онъ увлекался наравнѣ съ своими заграничными товарищами—Ушаковымъ и Радищевымъ, ни въ ученіи мистико-масонскомъ, которому онъ предался въ кругу Дружескаго общества. Нѣсколько времени Карамзинъ жилъ въ одномъ домѣ съ Ленцомъ, нѣмецкимъ поэтомъ того періода исторіи литературы, который извѣстенъ подъ именемъ «Sturm-und Drang Periode». Въ эпоху своего нравственнаго упадка, причиненнаго неудачею въ любви и оскорбленнымъ самолюбіемъ, Ленцъ пріѣхалъ въ Москву, гдѣ и умеръ (1792) у одного изъ членовъ Новиковскаго кружка, давшаго ему пріютъ въ своемъ домѣ. Безъ сомнѣнія, Ленцъ произвелъ сильное вліяніе на Карамзина и Петрова своими «піитическими идеями», своимъ знакомствомъ съ современною литературою Германіи, особенно своимъ глубокимъ пониманіемъ Шекспира. Чтобы узнать законы изящнаго, Карамзинъ изучаетъ Батте; но когда сужденіе касается Шекспира и вообще драмы, въ немъ является не сторонникъ французской эстети-

ки, а послѣдователь серьезной нѣмецкой критики, приносившей полную дань уваженія геніальному трагику. Въ обществѣ пріятелей Карамзинъ слылъ подъ именемъ Рамзея, которое было дано ему, вѣроятно, въ честь автора «Новой Киропедіи», — сочиненія написаннаго въ подражаніе Фенелонову Телемаку и бывшаго въ большомъ почетѣ у масоновъ. Какъ въ наставленіяхъ Ментора Телемаку, такъ и въ наставленіяхъ Киру проводятся воззрѣнія, полнѣе изложенныя Рамзеемъ въ «Опытѣ о гражданскомъ правленіи». Шотландецъ происхожденіемъ, Рамзей († 1743) перешелъ въ католичество по совѣту Фенелона, къ которому обратился, волнуемый религіозными сомнѣніями. Онъ жилъ въ Парижѣ, какъ воспитатель сыновей претендента, Якова III, былъ гросс-канцлеромъ французскихъ масонскихъ ложъ и написалъ разсужденіе о братствѣ, первый пустивъ легенду о его происхожденіи, будто оно возникло въ обѣтованной землѣ, въ эпоху крестовыхъ походовъ, и начально имѣло цѣлію вновь сооружать разрушенные сарацинами христіанскіе храмы. Не одни друзья принимали участіе въ серьезной любознательности Карамзина. Обративъ вниманіе на физіогномику, онъ вошелъ въ переписку съ Лафатеромъ и просилъ у него отвѣта на вопросъ о всеобщей цѣли человѣческаго бытія.

«Дружеское общество» поручало воспитанникамъ московскаго университета и другимъ образованнымъ молодымъ людямъ переводы сочиненій религіозно-философскаго содержанія, противоположнаго духу французскаго энциклопедизма, который въ то время по преимуществу полонилъ умы. На долю Карамзина выпалъ переводъ Галлеровой поэмы: «О происхожденіи зла» (1786)—вопросъ, сильно занимавшій богослововъ и метафизиковъ. Стихи подлинника переложены прозой. Нѣсколько примѣчаній переводчика выказываютъ, съ одной стороны, его наклонность къ идиллической мечтательности, съ другой—его знакомство съ литературою христіанской догматики. «Галлеръ», говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ, «предлагаетъ здѣсь такую истину, которой мы не найдемъ во множествѣ томовъ сочиненій нынѣшнихъ молодыхъ теологовъ». Нѣсколько статей переведено Карамзинымъ съ нѣмецкаго изъ «Штурмовыхъ размышленій о дѣлахъ Божіихъ въ царствѣ натуры и провидѣнія, на каждый день года, и бесѣдъ съ Богомъ, или размышленій въ утренніе и вечерніе часы» (1). Въ теченіи четырехъ лѣтъ (1785—89) Новиковъ при Московскихъ Вѣдомостяхъ издавалъ «Дѣтское Чтеніе». Карамзинъ работалъ для этого изданія вмѣстѣ съ Петровымъ. Онъ помѣстилъ въ немъ нѣсколько оригинальныхъ статей (важнѣйшая изъ нихъ

(1) Полный переводъ этого періодическаго изданія вышелъ въ 12 ч. (1787—89).

—«Прогулка») и переводы «Деревенскихъ вечеровъ» (Жанлисъ), драмы: «Аркадскій памятникъ» (Вейсе), Томсоновыхъ временъ года и пр. Хотя самъ переводчикъ назвалъ свои труды «ученическими», однакожъ они не остались безъ вліянія на послѣдующую его дѣятельность. Касательно языка, «Дѣтское Чтеніе» справедливо называютъ «дѣтскою школою» Карамзина, въ которой вырабатывался его слогъ; касательно содержанія, переводы его заключаютъ въ себѣ многія мысли и чувства, которыя потомъ встрѣчаются въ собственныхъ его сочиненіяхъ. О переводахъ «Юлія Цезаря», трагедіи Шекспира (1787), съ французскаго Летурнерова перевода, и «Эмиліи Галотти», трагедіи Лессинга (1788), съ нѣмецкаго, было упомянуто при обзорѣ нашего знакомства съ англійской драмой въ эпоху Екатерины II.

Дѣйствительность вліянія, произведеннаго на Карамзина обществомъ Новикова, не подлежитъ сомнѣнію. Существенная его польза состояла въ прочномъ закалѣ мысли, державшейся на серьезныхъ занятіяхъ, на обсужденіи предметовъ, которые по своей важности всегда обращаютъ на себя вниманіе даровитой любознательности. Въ тотъ періодъ жизни, когда умъ большею частію истощаетъ свои силы на трудахъ маловажныхъ, или безъ надежнаго руководства переходитъ отъ одной дѣятельности къ другой, останавливаясь на каждой поверхностно и ни къ одной не привязываясь искренно,—въ этотъ самый періодъ Карамзину была указана достойная сфера человѣческаго знанія. Карамзинъ охотно вошелъ въ нее и непраздно оставался въ ней, хотя потомъ и сдѣлался ея отщепенцемъ, такъ какъ она рѣшительно не подходила ни къ характеру его чувства, ни къ складу его познавательной способности, не любившей ни въ чемъ темноты.

Въ 1789 г. Карамзинъ отправился за границу, гдѣ и пробылъ полтора года. Для покрытія путевыхъ издержекъ, онъ передалъ старшему брату въ управленіе свое имѣніе и получилъ отъ него въ счетъ будущихъ доходовъ 2,000 руб. Цѣлью путешествія было— «видѣть природу въ ея разнообразіи, видѣть великихъ мужей, которыхъ творенія сильно дѣйствовали на чувство», и тѣмъ по возможности восполнить недостатокъ высшаго образованія, такъ какъ намѣреніе пріобрѣсть его слушаніемъ лекцій въ лейпцигскомъ университетѣ не состоялось. Путешественникъ былъ отлично подготовленъ къ тому, чтобы съ успѣхомъ воспользоваться заграничною жизнію. Знаніе иностранныхъ языковъ, разнообразныя свѣдѣнія, обширная начитанность, познакомившая его съ литературами самыхъ цивилизованныхъ странъ Европы, нравственная выдержка въ Новиковскомъ кругу замѣтно возвышали его не только

надъ сверстниками, но и надъ людьми болѣе зрѣлыми. Едва ли кто другой въ то время могъ похвалиться такимъ обиліемъ данныхъ — и природныхъ, и благопріобрѣтенныхъ. Читая заграничныя письма Карамзина, которыя онъ писалъ въ Москву къ семейству короткихъ друзей своихъ, Плещеевыхъ, и которыя потомъ явились въ печати подъ названіемъ «Писемъ русскаго путешественника», нельзя не удивляться, съ одной стороны, количеству прочтенныхъ имъ сочиненій на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, а съ другой—вѣрности многихъ сужденій, и въ наше время сохраняющихъ свою цѣну. А между тѣмъ ему было 22 года—возрастъ только что кончившаго курсъ студента.

Карамзинъ посѣтилъ Германію, Швейцарію, Францію и Англію. Каждая изъ этихъ странъ представляла ему особенный, такъ сказать спеціальный, интересъ для наблюденій. Непосредственнымъ знакомствомъ съ мѣстами и лицами повѣрялъ онъ впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ чтенія книгъ, или сформировавшіяся въ его умѣ подъ дѣйствіемъ воображенія. Германія привлекала его, какъ страна литературы, съ которою онъ освоился больше, чѣмъ съ другими литературами. Ему пріятно было увидѣть лицемъ къ лицу знаменитыхъ ученыхъ и поэтовъ, которыхъ сочиненія онъ читалъ и переводилъ. Карамзинъ питалъ къ нимъ искреннее уваженіе; по характеру сочиненій думалъ заключать о характерѣ авторовъ; на самой дѣйствительности желалъ провѣрить свои заочные выводы. Это желаніе, наконецъ, осуществилось; эта повѣрка сдѣлалась возможна. Легко понять радость Карамзина во время его путешествія по Германіи, гдѣ жили и дѣйствовали его литературные кумиры. — Другой интересъ находилъ Карамзинъ въ Швейцаріи — «странѣ живописной натуры, свободы и благополучія». Хотя и здѣсь жили привлекательныя для него личности: Боннетъ—«философъ съ чувствомъ», что, во мнѣніи путешественника, служило наилучшею похвалою философіи, и Лафатеръ, съ которымъ онъ завелъ переписку, работая для Дружескаго общества, и который поэтому называлъ его своимъ «московскимъ пріятелемъ»; но не этимъ собственнó нравилась ему Швейцарія. Она плѣняла его, какъ царство наивной, согласной съ природою жизни человѣковъ. Въ ней онъ видѣлъ новую Аркадію, осуществленіе мечты о невозмутимомъ счастіи пастуховъ и пастушекъ. Картина патріархальной простоты восхищала его издавна. По наклонности къ пасторальному сентиментализму, онъ любилъ читать описательное стихотвореніе Галлера «Альпы» и въ примѣчаніи къ переводу поэмы «О происхожденіи зла» жалѣлъ, что мы уклонились отъ первобытной невинности и гордимся мнимою цивилизацiей. Тоже сожалѣ-

ніе, хотя нѣсколько охлажденное, встрѣчаемъ въ «Письмахъ»: «Для чего не родились мы въ тѣ времена, когда всѣ люди были пастухами и братьями? Я съ радостію отказался бы отъ многихъ удобностей жизни, которыми обязаны мы просвѣщенію дней нашихъ, чтобы возвратиться въ первобытное состояніе человѣка. Всѣми *истинными* удовольствіями — тѣми, въ которыхъ участвуетъ сердце и которыя насъ подлинно счастливыми дѣлаютъ—наслаждались люди и тогда, и еще болѣе, нежели нынѣ: болѣе наслаждались они любовію, болѣе наслаждались дружбою, болѣе красотами природы». Другимъ источникомъ пристрастія Карамзина къ Швейцаріи было увлеченіе судьбою и сочиненіями Руссо, «женевскаго гражданина». «Величайшій изъ писателей XVIII в.», какъ онъ называетъ Руссо, имѣлъ значительное на него вліяніе. Въ одномъ письмѣ Карамзинъ описываетъ мѣстечко Кларанъ, гдѣ происходитъ главное дѣйствіе Новой Элоизы, а въ другомъ—островъ св. Петра, гдѣ ея авторъ «укрывался отъ злобы и предразсужденій человѣческихъ». Оба описанія проникнуты сочувствіемъ къ Руссо. — Съ противоположными чувствами въѣхалъ Карамзинъ во Францію. Онъ не искалъ здѣсь ни искренности, ни симпатичнаго сердца, потому что не надѣялся найти ихъ. Легкомысленный французскій умъ онъ уподобляетъ мыльному пузырю. Притомъ же ему довелось быть въ Парижѣ въ грозное время зачинавшейся революціи, несогласной съ его чувствами и понятіями. Однакожъ этотъ городъ, сокращеніе всей Франціи, оставленъ былъ Карамзинымъ съ сожалѣніемъ и благодарностью. Причина тому—«духъ пріятнаго общежитія, которое какъ будто для французовъ или французами выдумано, искусство жить съ людьми, обратившееся въ ихъ вторую природу». Вотъ почему онъ мирился съ тѣмъ народомъ, бѣглому уму котораго, по его словамъ, не доставало зрѣлости, а живому чувству—искренности и силы.—Цѣня всего болѣе нѣжную чувствительность, онъ отнесся антипатично и къ характеру англичанъ, бывшихъ предметомъ его поклоненія въ отрочествѣ. Но семейственные нравы англійскаго народа, богатство ихъ литературы и науки, крѣпость политической силы и экономическаго быта, ихъ полная всемірнымъ значеніемъ исторія стояли на виду у образованнаго путешественника и умѣряли его невольную холодность къ странѣ, которую онъ, не видавъ, воображалъ пріятнѣйшею для сердца землею. «Увидавъ же англичанъ», говоритъ онъ, «отдаю имъ справедливость, хвалю ихъ, хотя похвала моя такъ же холодна, какъ они сами».

Воротясь въ Москву (осенью 1790), Карамзинъ рѣшился посвятить свои способности и знанія литературѣ. Пребываніе за гра-

ницей показало ему, какое видное мѣсто занимаетъ въ тамошнемъ обществѣ литераторъ, какъ вліятельна его дѣятельность, не уступающая другимъ родамъ службы на пользу родной страны. Своимъ примѣромъ онъ задумалъ отмѣнить у насъ тотъ исконный обычай, по которому дворянинъ былъ обязанъ непремѣнно занимать какую-нибудь ступень въ административной іерархіи. Онъ хотѣлъ быть единственно, исключительно литераторомъ, и потому, отказавшись отъ чиновнаго честолюбія, принялся за редакцію Московскаго журнала, который и издавалъ два года сряду (1791 и 1792). Сочиненія свои, помѣщенныя въ этомъ журналѣ, онъ выдалъ особою книжкой, подъ названіемъ: «Мои бездѣлки» (1794), въ подражаніе сборникамъ французскимъ и нѣмецкимъ, носившимъ скромные титулы «бездѣлокъ», «пустяковъ» и т. п. (bagatelles, riens) [1]. Утомленный срочною журнальною работою, онъ перешелъ отъ нея къ изданію литературныхъ сборниковъ (альманаховъ), бывшихъ тогда въ большой модѣ, особенно у французовъ. Первый сборникъ—Аглая (2 ч., 1794)—наполненъ одними русскими сочиненіями, преимущественно самого издателя: Цвѣтокъ на гробъ Агатона, Нѣчто о наукахъ и искусствахъ, Островъ Борнгольмъ, Аѳинская жизнь, Письма Мелодора къ Филарету и Филарета къ Мелодору, Илья Муромецъ, и др. Въ 1795 г. Карамзинъ редижировалъ смѣсь «Московскихъ Вѣдомостей», сообщая читателямъ разныя мелкія піесы и отрывки, почему либо достойныя вниманія. Сюда входили анекдоты, мысли древнихъ и новыхъ философовъ, статьи изъ натуральной исторіи, краткія описанія малоизвѣстныхъ народовъ и мѣстъ, стихотворенія, свѣдѣнія о новыхъ иностранныхъ книгахъ. За Аглаей слѣдовали «Аониды или собраніе разныхъ новыхъ стихотвореній» (3 кн., 1796—99), по образцу стихотворныхъ сборниковъ, которые подъ именемъ календаря или альманаха Музъ (Аонидъ), ежегодно издавались за границей и пользовались большимъ успѣхомъ. Аониды наполнены піесами почти всѣхъ извѣстныхъ въ то время стихотворцевъ: Державина, Дмитріева, Хераскова, Капниста, Кострова, кн. Д. Горчакова, самого издателя. Въ 1798 г. вышелъ «Пантеонъ иностранной словесности» — сборникъ переводовъ съ французскаго, нѣмецкаго и другихъ языковъ. Въ томъ же году Карамзинъ задумывалъ похвальное слово Петру I. Мысли, долженствовавшія получить развитіе въ этомъ панегирикѣ и сохранившіяся въ записной книжкѣ автора, любо-

[1]) Изъ другихъ сочиненій и переводовъ Карамзина, напечатанныхъ въ этомъ журналѣ, получили въ послѣдствіи отдѣльныя изданія: «Мармонтелевы новыя повѣсти» (2 ч., 1794 и 1798), «Лизинъ прудъ» (1797), «Письма русскаго путешественника» (6 ч., 1797—1801).

пытны по своему отношенію къ послѣдующему его взгляду на преобразователя Россіи. Къ 1801 году относится «Пантеонъ россійскихъ авторовъ», содержащій въ себѣ краткія характеристики нашихъ писателей, отъ пѣвца Бояна до Ломоносова включительно ([1]) и къ 1802 «Историческое похвальное слово Екатеринѣ II».

Исчисленные труды доставили Карамзину почетную извѣстность: онъ сдѣлался любимцемъ читающей публики; для нѣкоторыхъ его сочиненій потребовались новыя изданія, а нѣкоторыя были переведены на нѣмецкій языкъ; въ московскомъ литературномъ кругу называли его «десятникомъ русской литературы», а Хераскова «старостой»; зависть породила многихъ ему непріятелей, бросавшихъ въ него эпиграммами. Письма Каменева (автора баллады «Громвалъ») къ Москотильникову (переводчику «Освобожденнаго Іерусалима»), писанныя въ 1800 г., знакомятъ насъ съ тогдашнимъ положеніемъ Карамзина въ обществѣ. Каменевъ хвалитъ кроткій его нравъ, его доброту и привѣтливость, его начитанность и сужденія о разныхъ писателяхъ, и указываетъ его дружескія связи съ Тургеневымъ, бывшимъ въ то время директоромъ университетскаго пансіона, съ Лопухинымъ, Дмитріевымъ. Молодой, но уже знаменитый литераторъ былъ вполнѣ доволенъ своею судьбою: въ 1801 г. онъ женился на дѣвушкѣ, которую давно зналъ и любилъ ([2]), отъ трудовъ своихъ онъ имѣлъ все нужное для жизни и не думалъ мѣнять авторскую дѣятельность на какую-либо другую. Въ 1802 г. положилъ онъ основаніе новому журналу: «Вѣстникъ Европы». Талантъ редактора обѣщалъ вѣрный успѣхъ изданію, которому благопріятствовало и самое состояніе общеевропейскихъ дѣлъ. Аміенскій миръ, успокоивъ умы, развязывалъ правительствамъ руки на внутреннее развитіе, на успѣхи наукъ и художествъ. Тѣмъ желательнѣе было это развитіе для русской державы, которою правилъ царь, готовый на реформы и нововведенія къ лучшему государственному устройству. Сознавая значеніе литературы, какъ общественной силы, Карамзинъ цѣлью своего журнала поставилъ «содѣйствовать нравственному образованію такого великаго и сильнаго народа, какъ россійскій, развивать новыя, лучшія идеи, питать душу моральными удовольствіями и сливать ее въ сладкихъ чувствахъ съ благомъ другихъ людей». Публика оказала ему лестное вниманіе, по свидѣтельству самого Карамзина, который тѣмъ не менѣе смотрѣлъ на свое дѣло, какъ на занятіе временное, переходное къ другому,

---

[1]) Въ послѣдствіи, при 3-мъ изданіи своихъ сочиненій, Карамзинъ прибавилъ еще нѣсколько характеристикъ.

[2]) На Протасовой, сестрѣ жены Плещеева.—По смерти ея, вступилъ въ новый бракъ съ сестрой князя П. А. Вяземскаго.

представлявшему для него сильнѣйшій интересъ. Онъ задумалъ написать Русскую исторію, чтобы оставить добрую по себѣ память въ потомствѣ. Желаніе его исполнилось. Благодаря ходатайству М. Н. Муравьева, товарища министра народнаго просвѣщенія, получилъ онъ (1803) званіе исторіографа съ ежегодной пенсіей въ 2000 руб. Такимъ образомъ въ 1804 г. оканчивается первый, собственно-литературный періодъ его дѣятельности: онъ исключительно посвящаетъ свои труды исторической наукѣ, къ первымъ опытамъ которой относятся: «Похвальное слово Екатеринѣ», написанное по оффиціальнымъ актамъ, выданнымъ ему отъ правительства, нѣсколько статей въ Вѣстникѣ Европы и повѣсти: «Наталья боярская дочь» и «Марѳа Посадница». Рѣшеніе было принято имъ неуклонно, такъ что онъ не дозволялъ себѣ развлекаться ни литературой, столько имъ уважаемой, ни другими видами и побужденіями, столько приманчивыми для обыкновеннаго честолюбія. Онъ отказался отъ предложеній занять каѳедру, сдѣланныхъ ему, какъ члену московскаго университета, совѣтами университетовъ дерптскаго и харьковскаго (1803 и 1805), находя профессорскую должность «неблагопріятною для таланта» и трудно-совмѣстимою съ выполненіемъ той мысли, которая давно занимала его умъ и душу. Сочиненіе русской исторіи, достойной русскаго народа, достойной царствованія Александра, приняло въ его совѣсти силу внутренняго, непреложнаго обязательства, сдѣлалось задачею, подвигомъ, значеніемъ всей его жизни.

Письма Карамзина къ Муравьеву (1803 — 1807), которому онъ былъ обязанъ возможностью написать исторію, «не варварскую и не постыдную для царствованія Александра I», представляютъ отчетъ о постепенномъ движеніи работы. Сочувствуя полезному дѣлу, товарищъ министра облегчалъ его всѣми зависѣвшими отъ него средствами: испросилъ автору дозволеніе пользоваться рукописями монастырскихъ библіотекъ и архива иностранной коллегіи, доставлялъ ему книги, какихъ нельзя было найти въ Москвѣ, рекомендовалъ его лицамъ, въ содѣйствіи которыхъ встрѣчалась надобность. Достойный примѣръ покровительства, исходящаго изъ той мысли, что появленіе дѣльнаго ученаго труда занимаетъ, какъ выразился Карамзинъ, уважительное «мѣсто въ системѣ государственнаго управленія». А. И. Тургеневъ, сынъ извѣстнаго дѣятеля въ Новиковскомъ кругу, съ своей стороны оказывалъ большую помощь историку: онъ былъ посредникомъ между нимъ и тѣми лицами, которыя въ то время, въ Петербургѣ и за границею, занимались изслѣдованіями по русской исторіи[1]. Чрезъ него Карамзинъ сносился съ ака-

[1]) Письма Карамзина къ Тургеневу, съ 1806 по 1825, въ Москвит. 1855, №№ 1, 23 и 24.

демиками: Кругомъ и Лербергомъ, получалъ рѣдкія книги и рукописи, узнавалъ о новыхъ историческихъ сочиненіяхъ, выходившихъ въ чужихъ краяхъ. Преданность многосложному труду не оставляла Карамзину времени для литературы(¹), но онъ внимательно слѣдилъ за ходомъ государственныхъ реформъ въ отечествѣ. Новые законы и учрежденія, быстро слѣдуя одни за другими, не могли не возбуждать вниманія образованныхъ москвичей, какими, напримѣръ, кромѣ самого Карамзина, были гр. Ѳ. В. Растопчинъ и Ю. А. Нелединскій - Мелецкій. Безъ сомнѣнія, они разсуждали о томъ, что дѣлалось въ высшихъ правительственныхъ сферахъ. Древнія судьбы Россіи не заслоняли отъ историка ея современнаго положенія; напротивъ, тѣмъ охотнѣе направлялась его мысль къ сличенію прошлаго съ настоящимъ, чтобы на основаніи перваго судить о характерѣ втораго. Знакомство съ великой княгиней Екатериной Павловной, отличавшейся умомъ и любознательностію, доставило ему новый поводъ къ бесѣдамъ о томъ, что въ Петербургѣ задумывалось по мысли Царя и его совѣтниковъ для лучшаго государственнаго устройства(²). Она вела съ нимъ переписку(³) и нерѣдко приглашала его въ Тверь, гдѣ имѣлъ пребываніе супругъ ея, принцъ Ольденбургскій. Здѣсь онъ былъ представленъ Государю, который уже зналъ его по сочиненіямъ; здѣсь читалъ ему (1811) нѣкоторыя мѣста изъ исторіи, о чемъ упоминается въ посвященіи книги; здѣсь же (1811) великая княгиня вручила своему державному брату написанную, по ея желанію, «Записку о древней и новой Россіи», излагающую взгляды Карамзина на дѣла внѣшней политики и внутренняго управленія. Рѣзкая, хотя и благонамѣренная, критика того, что было совершено въ Россіи въ первое десятилѣтіе XIX в., не понравилась Государю, но вскорѣ онъ оцѣнилъ нельстивый(⁴) голосъ подданнаго, движимаго любовью къ отечеству и преданностью къ престолу, и временное недовольство смѣнилось постояннымъ благоволеніемъ. Государь даже имѣлъ мысль назначить его статсъ-секретаремъ при своей особѣ на время войны съ Наполеономъ, и только по особымъ обстоятельствамъ выборъ его

---

[1]) Только по случаю указа о милиціи (1806) Карамзинъ написалъ «Пѣснь воиновъ», да въ 1814 г. оду: «Освобожденіе Европы и слава Александра I».

[2]) Великая княгиня, принцесса Ольденбургская, называла Карамзина своимъ учителемъ, такъ какъ онъ выправлялъ ея переводы и другія упражненія въ русскомъ языкѣ.

[3]) Съ 1810 по 1818 г. (напеч. въ «Неизд. сочиненіяхъ Карамзина, т. I»).

[4]) Эпиграфъ къ «Запискѣ»: «Нѣсть льсти въ языцѣ моемъ» (Псал. 138, ст. 4). Напеч. въ Рус. Архивѣ 1870 г.

палъ на Шишкова. Нашествіе французовъ прервало работу Карамзина. Послѣдніе мѣсяцы 1812 и первую половину 1813 г. онъ провелъ съ своимъ семействомъ въ Нижнемъ-Новгородѣ([1]). Воротясь въ Москву, онъ ничѣмъ уже не отвлекался отъ усиленныхъ занятій: великая княгиня, по смерти своего супруга (1813), отправилась за границу, а потомъ жила въ Петербургѣ до своего втораго замужства([2]). Изъ писемъ его къ брату([3]) видно, что въ 1815 г. у него было готово восемь томовъ, которые онъ и рѣшился выдать въ свѣтъ, отмѣнивъ прежнее намѣреніе не печатать ни одной строки своей исторіи до тѣхъ поръ, пока она не будетъ доведена до вступленія на престолъ дома Романовыхъ. По званію исторіографа, Карамзинъ почиталъ долгомъ представить двѣнадцатилѣтній трудъ свой лично Государю, чтобы «Исторія Государства Россійскаго», посвященная его имени, явилась въ публику съ его собственнаго одобренія и подъ его высокимъ покровомъ. Съ этою цѣлью онъ отправился въ Петербургъ (1816) ([4]). Любопытны письма его, писанныя отсюда къ женѣ([5]). Литераторы и правительственныя лица съ разными чувствами встрѣтили москвича, который хотя не имѣлъ никакого участія въ администраціи, но понималъ, что дѣлалось въ Россіи, и судилъ о томъ откровенно, съ извѣстной точки зрѣнія. Если многіе изъ первыхъ видѣли въ немъ либеральнаго нововводителя, то нѣкоторые между вторыми разумѣли его, какъ сторонника отсталыхъ идей въ политикѣ. Самого Сперанскаго, противъ котораго главнѣйшимъ образомъ направлена «Записка о древней и новой Россіи», не было въ столицѣ, но были другіе, на глаза которыхъ реформаторъ въ словесности отсталъ отъ вѣка по своимъ понятіямъ о реформахъ государственныхъ. Инымъ казался онъ выше, а инымъ ниже составленнаго о немъ мнѣнія. Академикъ Кругъ нашелъ его ученѣе, чѣмъ предполагалъ; политико-экономъ Шторхъ признавался, что услышалъ отъ него «новыя и сильныя вещи». Вообще же пріемомъ петербургскихъ жителей Карамзинъ остался вполнѣ доволенъ: «здѣсь», писалъ онъ, «всѣ, кромѣ Кутузова и кн. Шаховскаго, сыплютъ на меня цвѣты». Онъ по-

---

[1]) Московскій пожаръ истребилъ его библіотеку, но рукописи уцѣлѣли въ Остафьевѣ, родовомъ помѣстьѣ князя Вяземскаго, на дочери котораго онъ женился въ 1804 г.

[2]) Въ 1816 г. она вышла за короля Виртембергскаго; скончалась въ 1818 г.

[3]) Александру Михайловичу, котораго онъ особенно любилъ и уважалъ. Письма нап. въ Атенеѣ 1858 (№№ 19—28).

[4]) Карамзинъ, сверхъ чаянія, прожилъ въ Петербургѣ 50 дней, почему и называлъ это время «петербургской пятидесятницей».

[5]) Нап. въ I т. «Неизд. сочиненій и переписки К—на».

знакомился съ Шишковымъ, правдивымъ, честнымъ, «незлобивымъ какъ голубь». Державинъ устроилъ для него обѣдъ, желая свести его съ членами «Бесѣды». Но не въ эту сторону склонялся Карамзинъ: лучшее себѣ развлеченіе находилъ онъ въ кругу даровитой и образованной молодежи (Блудова, Дашкова, Уварова, Тургеневыхъ, кн. Вяземскаго и др.),—той самой, что за годъ до того устроила литературное общество «Арзамасъ», въ противоположность серьезной «Бесѣдѣ». «Здѣсь не знаю ничего умнѣе «Арзамасцевъ», писалъ Карамзинъ: «съ ними бы жить и умереть... Вотъ истинная русская Академія! Жаль только, что она не въ Москвѣ или не въ Арзамасѣ». Обѣ императрицы, Елизавета Алексѣевна и Марія Ѳеодоровна, и великіе князья обласкали Карамзина и слушали чтеніе его исторіи. Графъ Аракчеевъ, пожелавшій съ нимъ познакомиться, вызвался ускорить исходъ дѣла, для котораго Карамзинъ собственно пріѣхалъ въ Петербургъ, «замолвить за него слово Государю». Вскорѣ послѣ того Государь принялъ Карамзина, долго бесѣдовалъ съ нимъ, наградилъ его чиномъ статскаго совѣтника и орденомъ св. Анны 1-ой степени и приказалъ выдать ему изъ Кабинета 60,000 руб. на печатаніе исторіи ([1]).

Въ 1816 г. Карамзимъ съ семействомъ переселился въ Петербургъ, гдѣ думалъ остаться на годъ или на два, пока издастъ восемь томовъ Исторіи. Онъ вовсе не имѣлъ мысли покинуть Москву навсегда. Изъ писемъ его видно, въ какомъ меланхолическомъ расположеніи онъ находился не только первое время по переѣздѣ, но и въ послѣдствіи, какъ скучалъ и рвался на прежнее мѣсто, желая тамъ кончить жизнь. «Ласка двора къ намъ необыкновенная», увѣдомлялъ онъ брата; «за всѣмъ тѣмъ сильно грущу. Мое положеніе могло бы восхитить молодаго человѣка, а я старъ и мраченъ духомъ.... Веселья для меня уже нѣтъ на свѣтѣ».—«Москва у меня въ сердцѣ», писалъ онъ Малиновскому; «кажется, что мнѣ лучше провести остатокъ жизни тамъ же, гдѣ я провелъ молодость, въ любви семейственной и дружеской... Не могу изобразить вамъ, какъ мнѣ бываетъ тяжело и грустно. Чувствую, что я не созданъ для здѣшней жизни и что мнѣ оставалось бы доживать свой вѣкъ въ уединеніи, съ вами, моими немногими друзьями московскими. Можетъ быть, я сдѣлалъ ошибку: да будетъ воля Божія» ([2]).

---

[1]) Что Карамзинъ былъ обязанъ гр. Аракчееву скорѣйшимъ окончаніемъ дѣла, это видно изъ письма его къ женѣ (1816 марта 16): «вѣроятно, Аракчеевъ говорилъ обо мнѣ съ императоромъ».

[2]) Письма Карамзина къ Алексѣю Ѳедоровичу Малиновскому и Письма Грибо-

Черезъ полтора года по переѣздѣ Карамзина въ Петербургъ, вышли восемь томовъ его «Исторіи государства россійскаго» (1816—1818). Въ 25 дней было продано 3000 экземпляровъ: дѣло безпримѣрное въ нашей книжной торговлѣ. «Появленіе этой книги», разсказываетъ А. Пушкинъ въ своихъ запискахъ, «надѣлало много шуму и произвело сильное впечатлѣніе. Всѣ, даже свѣтскія женщины, бросились читать исторію своего отечества, дотолѣ имъ неизвѣстную. Она была для нихъ новымъ открытіемъ. Древняя Россія, казалось, была найдена Карамзинымъ, какъ Америка Коломбомъ. Нѣсколько времени ни о чемъ иномъ не говорили, хотя многіе толки были такого свойства, что могли отучить всякаго отъ охоты къ славѣ». Печатаніе втораго изданія, проданнаго книгопродавцу Сленину за 50,000 рублей, снова удержало автора въ Петербургѣ: онъ жилъ, какъ и прежде, «особнякомъ» съ женою, съ дѣтьми и съ типографіями. «Изданіе идетъ такъ медленно», писалъ онъ друзьямъ своимъ, «что не скоро могу раздѣлаться съ Петербургомъ... Какъ еще далеко отъ меня любезная Москва!»

Царская фамилія оказывала постоянныя милости и ласки Карамзину. Благоволеніе къ нему Александра равнялось его чистой, безкорыстной преданности престолу. Никогда, быть можетъ, не выражались съ такимъ достоинствомъ взаимныя отношенія двухъ лицъ, такъ далеко стоявшихъ другъ отъ друга по своему положенію. Подданный не искалъ у Государя никакихъ для себя благъ, и Государь цѣнилъ эту независимую къ себѣ любовь подданнаго. Нѣсколько разъ было ему предлагаемо мѣсто министра народнаго просвѣщенія, но онъ постоянно отъ него отказывался, довольствуясь титуломъ исторіографа и личнымъ благоволеніемъ къ нему Государя. «Я привязанъ къ Нему болѣе, чѣмъ когда либо», писалъ Карамзинъ гр. Каподистріи (1825), «не помышляя ни о какихъ особенныхъ милостяхъ, ни о какомъ вліяніи, т. е. ни мало не тревожась тѣмъ, что не имѣю никакого вліянія [1]. Государь часто видался съ Карамзинымъ. Лѣтомъ онъ почти ежедневно бесѣдовалъ съ нимъ въ большой аллеѣ царскосельскаго сада, которую прозвалъ своимъ *зеленымъ* кабинетомъ. «Исторія государства россійскаго» печаталась безъ цензуры; цензоромъ былъ самъ Государь: онъ просматривалъ ее въ рукописи, которая посылалась къ

ѣдова къ Степану Никитичу Бѣгичеву (1860). Малиновскій былъ сенаторомъ и управлялъ Московскимъ архивомъ иностранныхъ дѣлъ. Въ Письмахъ къ И. Дмитріеву (1866) выражается тоже чувство и постоянное намѣреніе воротиться въ Москву и окончить тамъ свою жизнь.

[1]) Письмо на фран. яз. въ Неизд. соч., ч. I; русскій переводъ въ соч. Жуковскаго.

нему и въ то время, когда онъ уѣзжалъ за границу. Такъ онъ читалъ царствованіе Ѳедора Ивановича на пути въ Верону (1822) и, возвращая тетради, писалъ автору: «Если послѣ сего чтенія встрѣтилъ бы я васъ, на прогулкѣ нашей ежедневной въ Царскомъ Селѣ, то, можетъ быть, дозволилъ бы я себѣ войти съ вами въ разсужденіе о трехъ или четырехъ выраженіяхъ, возбудившихъ нѣкое сомнѣніе во мнѣ о ихъ правильности (1). Нѣкоторыя примѣчанія Государя совѣтовали Карамзину смягчить отзывы о Польшѣ. Карамзинъ отвѣчалъ на это (1824): «Слѣдуя Вашему замѣчанію, я съ особеннымъ вниманіемъ просмотрѣлъ тѣ мѣста, гдѣ говорится о полякахъ, союзникахъ Лжедимитрія: нѣтъ, кажется, ни слова обиднаго *для народа;* описываются только худыя дѣла *лицъ*, и такъ, какъ сами польскіе историки описывали ихъ или судили. Я не щадилъ и Русскихъ, когда они злодѣйствовали или срамились. Употребляю предпочтительно имя *Ляховъ* для того, что оно короче, пріятнѣе для слуха, и въ сіе время (т. е. въ XVI или XVII вѣкѣ) обыкновенно употреблялось въ Россіи» (2). Первыя три главы XII-го тома были читаны Государемъ въ 1825 году, на возвратномъ пути изъ Варшавы въ Царское Село. Наконецъ другія главы того же тома служили послѣднимъ чтеніемъ Императора Александра I: рукопись, присланная изъ Таганрога по кончинѣ Государя, была возвращена автору не задолго до его смерти. Награжденный чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника (1824), историкъ отвѣчалъ на извѣщеніе слѣдующимъ письмомъ: «Въ лицѣ исторіографа приношу Вашему Императорскому Величеству всеподданнѣйшую благодарность за чинъ, которымъ Вы хотѣли изъявить *для публики* вниманіе къ трудамъ, небезполезнымъ, можетъ быть, и въ государственномъ смыслѣ» (3). Смерть Государя поразила Карамзина глубокою горестью, которую онъ изливалъ въ письмахъ и къ брату и къ И. И. Дмитріеву. «Александра», писалъ онъ первому, «любилъ я какъ человѣка, какъ искренняго, добраго, милаго пріятеля, если смѣю такъ сказать: онъ самъ называлъ меня своимъ *искреннимъ*. Его величіе и слава, конечно, давали этой связи еще особенную для меня прелесть. Не думалъ я пережить его и надѣялся оставить въ немъ покровителя моимъ дѣтямъ. Да будетъ воля Божія! Привязанность моя къ нему осталась безкорыстною» (4). «Мнѣ

---

1) Переписка Карамзина съ Императоромъ Александромъ I (1822—25) въ 1 ч. Неизд. Соч.

2) Ib. стр. 28—29 (письма 6 и 8).

3) Ib. стр. 31 (письмо 11, служащее отвѣтомъ на письмо Государя подъ № 10).

4) Атеней, 1858, № 28, стр. 117.

хочется болѣе плакать, нежели писать о немъ», говоритъ онъ въ одной изъ бумагъ, оставленныхъ сыновьямъ. «Я любилъ его искренно и нѣжно, любилъ человѣка, красу человѣчества своимъ великодушіемъ, милосердіемъ, незлобіемъ рѣдкимъ. Не боюсь встрѣтиться съ Нимъ на томъ свѣтѣ, о которомъ мы такъ часто говорили, оба не ужасаясь смерти, оба вѣря Богу и добродѣтели(1).

Однакожъ не смотря на такія близкія отношенія подданнаго къ монарху, слова Карамзина, что онъ не имѣлъ никакого вліянія, остаются въ своей силѣ. Ходатайство его по дѣламъ частныхъ лицъ, конечно, уважалось. Такъ, между прочимъ, онъ обратилъ благотворное вниманіе Государя на судьбу семейства Новикова; также точно А. И. Тургеневъ былъ обязанъ ему тѣмъ, что остался на службѣ, послѣ увольненія своего отъ должности директора департамента духовныхъ дѣлъ, и получалъ полное жалованье (2). Но относительно предметовъ государственныхъ, о которыхъ онъ бесѣдовалъ съ Александромъ, десятилѣтняя милость и довѣренность вѣнценосца, какъ онъ самъ выразился, остались безплодны. Государь, большею частію, не слѣдовалъ его совѣтамъ, хотя всегда выслушивалъ ихъ кротко, терпѣливо, съ неизъяснимою любезностью. Въ 1819 г., по поводу намѣренія Государя возстановить Польшу въ ея цѣлости (въ предѣлахъ до перваго ея раздѣла), Карамзинъ читалъ ему свою записку, подъ названіемъ «Мнѣніе русскаго гражданина» (3), въ которой объяснялъ, что «возстановленіе Польши будетъ паденіемъ Россіи». Въ «Новомъ прибавленіи для потомства (4), написанномъ чрезъ шесть лѣтъ послѣ Записки, Карамзинъ замѣтилъ: «правда, Россія удержала свои польскія области; но болѣе счастливыя обстоятельства, нежели мои слезныя убѣжденія, спасли Александра отъ дѣла равно бѣдственнаго и несправедливаго: по крайней мѣрѣ такъ сказалъ онъ мнѣ въ ноябрѣ 1824 года» (5). Были и другіе важные предметы, о которыхъ Карамзинъ велъ разговоры съ Государемъ, стараясь своими мнѣніями подѣйствовать на его волю: «я не безмолвствовалъ», говоритъ онъ, «о налогахъ въ мирное время, о нелѣпой Г... (6) системѣ финансовъ, о грозныхъ военныхъ поселеніяхъ, о странномъ выборѣ нѣкоторыхъ важнѣйшихъ сановниковъ, о мини-

1) Неизд. сочин., ч. I, стр. 12.
2) Письмо къ Тургеневу (1824). Москвит. 1855, №№ 23 и 24.
3) Она извѣстна также подъ именемъ «Записки о Польшѣ» (нап. въ Неизд. соч.).
4) Стр. 11.
5) Ib. стр. 11.
6) Министра финансовъ, Гурьева.

стерствѣ просвѣщенія или затмѣнія ([1]), о необходимости уменьшить войско, о мнимомъ исправленіи дорогъ, столь тягостномъ для народа, наконецъ о необходимости имѣть твердые законы, гражданскіе и государственные ([2]). Бесѣды Карамзина съ Императоромъ, съ глазу на глазъ, продолжавшіяся иногда по нѣскольку часовъ сряду, выказали въ немъ неизмѣнно-твердый патріотизмъ, такъ что онъ записку свою о Польшѣ, угрожавшую ему царскою немилостью, не безъ причины назвалъ «мнѣніемъ русскаго гражданина» и имѣлъ право обратиться къ потомству съ такими словами: «Потомство! достоинъ ли я былъ имени гражданина россійскаго? любилъ ли отечество? вѣрилъ ли добродѣтели? вѣрилъ ли Богу?... Я не зналъ нужды по своей бережливости и по милости Божіей, но не имѣлъ достатка, имѣя многочисленное семейство, безъ способовъ воспитывать дѣтей, какъ бы мнѣ хотѣлось ([3]).

По смерти Александра, Карамзинъ намѣревался, кончивъ 12-ый томъ Исторіи, удалиться отъ двора, въ Москву или въ нѣмецкую землю, для воспитанія сыновей, такъ какъ ученіе въ Петербургѣ и труднѣе, и дороже. Болѣзненные припадки стали чаще задерживать его работу. Силы его слабѣли, меланхолія увеличивалась. Письмо къ Каподистріи (1825) трогательнымъ образомъ знакомитъ насъ съ тѣмъ состояніемъ, въ какомъ находился Карамзинъ не задолго до кончины Государя и за годъ до своей собственной смерти; оно же показываетъ, что историкъ ясно сознавалъ достоинства своего характера и свои заслуги передъ отечествомъ:

Мои скопляющіеся годы, шаткость моего здоровья, печальныя обстоятельства, насъ разлучающія и которымъ конца не вижу, все это заставляетъ меня думать, что прошедшее для меня уже не возвратится. Но въ утѣшеніе себѣ говорю: «Хотя онъ и далеко, но онъ объ насъ помнитъ: а мы безсмертны. Соединеніе душъ не прекращается съ жизнію матеріальною: пережившій сохраняетъ воспоминаніе; отшедшій, быть можетъ, болѣе выигрываетъ, нежели теряетъ. Земные путешественники слишкомъ разсѣянны: имъ нѣтъ досуга заботиться о дружбѣ; не прежде, какъ бросивъ свой посохъ, мы можемъ предаться вполнѣ привязанностямъ своего сердца; тогда растерянное во времени будетъ отыскано въ вѣчности.»—Такіе разговоры съ самимъ собою занимаютъ меня теперь гораздо болѣе всѣхъ разговоровъ въ обществѣ: они сохраняютъ теплоту моей души, которая мнѣ еще нужна для моего милаго семейства, для моихъ друзей, для моей Исторіи, подвигающейся къ окончанію (даръ отъ меня

---

[1]) Разумѣется управленіе Шишкова, въ 1824 г. замѣстившаго князя А. Н. Голицына.

[2]) Неизд. соч., стр. 11 и 12.

[3]) «Для потомства» (Неизд. соч. I, стр. 9).

потомству, если оно его приметъ; если же нѣтъ, то нѣтъ). Такъ! я старѣюсь, не угасая (быть можетъ придетъ и то). О! какъ я люблю еще моихъ товарищей путешествія! какъ трогаетъ меня ихъ бѣдная участь! какъ вся душа моя полна жалости для стольких близкихъ, для стольких народовъ!...

Мы на сихъ дняхъ переѣхали въ Петербургъ изъ Царскаго Села, гдѣ прожили болѣе двухъ мѣсяцевъ въ ненарушимомъ уединеніи: какъ далеко была отъ меня скука въ тѣ минуты, когда я не страдалъ физически! Сколько глубокихъ наслажденій находилъ я въ этомъ ежедневномъ досугѣ, въ кругу моего семейства, иногда одинъ совершенно. Работа, чтеніе, осеннія, не рѣдко ночныя прогулки имѣли для меня прелесть неизъяснимую. Не слишкомъ боясь смерти, иногда смотря на нее съ какимъ-то радушіемъ и любя повторять съ Ж. Ж. Руссо, что *засыпающій на рукахъ отца беззаботенъ о своемъ пробужденіи*, я допиваю по каплямъ сладкое бытіе земное; я радуюсь имъ по-своему, непримѣтно для зависти. Подходя къ концу жизни, я благодарю Бога за все, что Онъ мнѣ даровалъ въ ней; можетъ быть ошибаюсь, но совѣсть моя спокойна; милое отечество ни въ чемъ не упрекнетъ меня; я всегда былъ готовъ служить ему, сохраняя достоинство своего характера, за который ему же обязанъ отвѣтствовать: и что же? я могъ описать одни только варварскія времена его Исторіи; меня не видали ни на полѣ сраженія, ни въ совѣтахъ государственныхъ; зная однако, что я не трусъ и не лѣнивецъ, говорю самому себѣ: «такъ было угодно Богу», и, не имѣя смѣшной авторской спеси, вхожу не стыдясь въ общество нашихъ генераловъ и нашихъ министровъ.

Какъ бы предчувствуя, что съ окончаніемъ историческаго труда приближается и смерть, Карамзинъ писалъ Дмитріеву (1826):

Списываю вторую главу Шуйскаго: еще главы три съ обозрѣніемъ до нашего времени, и поклонъ всему міру, не холодный, но съ движеніемъ, руки на встрѣчу потомству, ласковому или спесивому, какъ ему угодно. Признаюсь, желаю довершить съ нѣкоторою полнотою духа, правотою сердца и воображенія. Близко, близко, но еще можно не доплыть до берега. Жаль, если захлебнусь съ перомъ въ рукѣ до пункта, или перо выпадетъ изъ руки отъ какого нибудь удара. Но да будетъ воля Божія[1].

Собираясь, по настоянію врачей, въ Италію и затрудняясь въ средствахъ ѣхать туда и жить внѣ отечества, Карамзинъ желалъ занять мѣсто повѣреннаго въ дѣлахъ, если бы оно открылось. Онъ обратился съ просьбой о томъ къ Императору Николаю I. Государь, принявъ живѣйшее участіе въ востановленіи его здоровья, повелѣлъ изготовить фрегатъ, который долженъ былъ отвезти его въ Марсель. При этомъ Карамзинъ получилъ слѣдующій высочайшій рескриптъ:

Николай Михайловичъ!

Разстроенное здоровье ваше принуждаетъ васъ покинуть на время отечество и искать благопріятнѣйшаго для васъ климата.

[1]) Атеней 1858, стр. 118.

Почитаю за удовольствіе изъявить вамъ мое искреннее желаніе, чтобъ вы скоро къ намъ возвратились съ обновленными силами и могли снова дѣйствовать для пользы и чести отечества, какъ дѣйствовали донынѣ. Въ то же время, и за покойнаго Государя, знавшаго на опытѣ вашу благородную, безкорыстную къ Нему привязанность, и за Себя Самого, и за Россію, изъявляю вамъ признательность, которую вы заслуживаете и своею жизнію какъ гражданинъ, и своими трудами какъ писатель. Императоръ Александръ сказалъ вамъ: Русскій народъ достоинъ знать свою Исторію. Исторія, вами написанная, достойна Русскаго народа.—Исполняю то, что желалъ, чего не успѣлъ исполнить братъ Мой. Въ приложенной бумагѣ найдете вы изъявленіе воли Моей, которая, будучи съ Моей стороны одною только справедливостію, есть для Меня и священное завѣщаніе Императора Александра. Желаю, чтобы путешествіе было вамъ полезно и чтобы оно возвратило вамъ силы, для довершенія главнаго дѣла вашей жизни.

Николай.

Въ приложенномъ къ рескрипту указѣ повелѣно было производить Карамзину, по случаю его отъѣзда за границу для излеченія, по 50 тысячъ руб. въ годъ съ тѣмъ, чтобы сія сумма, обращаемая ему въ пенсію, послѣ него была производима сполна его женѣ, а по смерти ея также сполна и дѣтямъ, — сыновьямъ до вступленія всѣхъ ихъ на службу, а дочерямъ до замужества послѣдней изъ нихъ.

Но Карамзинъ уже не былъ въ силахъ покинуть отечество: онъ умеръ 22 мая 1826 и похороненъ въ Александроневской Лаврѣ. На надгробномъ его камнѣ вырѣзаны слова: «Блажени чистіи сердцемъ». Въ Симбирскѣ воздвигнутъ ему памятникъ 1845 г.

Карамзинъ принадлежитъ къ числу самыхъ достопамятныхъ людей русской земли. Память его священна для каждаго изъ насъ. Онъ, первый, своимъ талантомъ, образованностью и нравственными качествами возвысилъ званіе литератора въ нашемъ отечествѣ. Не обладая геніемъ Ломоносова и Пушкина, онъ не имѣлъ и тѣхъ недостатковъ, которые равно предосудительны какъ въ геніальныхъ людяхъ, такъ и въ обыкновенномъ смертномъ. Лучшія стороны европейской цивилизаціи выказывались въ немъ достойнѣе, чѣмъ онѣ выказываются многими изъ великихъ ученыхъ и первоклассныхъ поэтовъ. Во всѣхъ своихъ дѣлахъ и мнѣніяхъ онъ руководствовался чистыми побужденіями. Можно было не соглашаться съ его образомъ мыслей; но нельзя было сомнѣваться въ благородствѣ души его: оно стояло внѣ всякой критики. Какъ писатель, онъ имѣлъ враговъ; какъ характеръ, онъ пользовался общимъ

уваженіемъ. Никому не далъ онъ повода заподозрить себя во лжи, зависти, лицемѣріи, искательствѣ. Никогда онъ не старался извлекать лично для себя выгоды изъ своего положенія, которымъ другой на его мѣстѣ не преминулъ бы воспользоваться всѣми силами и мѣрами. Онъ имѣлъ право гордиться своею независимостью, сказавъ, что «завоевалъ ее миромъ совѣсти и довѣренностію къ провидѣнію». Его отношенія къ людямъ отличались постояннымъ благорасположеніемъ, которое онъ самъ называлъ «добродѣтелью общежитія, слѣдствіемъ утонченнаго человѣколюбія». Онъ почиталъ своимъ долгомъ оказывать привѣтъ и ласку кому бы то ни было. Каждый, имѣвшій съ нимъ дѣло, получалъ выгодное о немъ мнѣніе. Въ обращеніи Карамзина не замѣчалось даже того, что объясняется выходками дурнаго расположенія духа и что такъ непріятно дѣйствуетъ на окружающихъ насъ людей. Письма Каменева, Записки К. Калайдовича и Вигеля, и многія другія свидѣтельства согласно говорятъ о его благодушіи и гуманности, этихъ наилучшихъ украшеніяхъ человѣка. Скромность, его отличавшая, не мѣшала ему сознавать свои достоинства и доблестныя заслуги. Это благородное сознаніе дозволяло ему безъ стыда входить въ общество генераловъ и сановниковъ; оно же побудило его сказать въ письмѣ къ женѣ: «я ничто передъ лицемъ Бога, но открыто и смѣло смотрю въ глаза людямъ».

Приводимъ слѣдующія строки изъ превосходнаго изображенія доблестной личности Карамзина:

«Значеніе Карамзина не исчерпывается его литературными заслугами, какъ ни важны онѣ, не исчерпываются даже и великимъ трудомъ его жизни, «Исторіей Государства Россійскаго». Карамзинъ дорогъ для насъ не тѣмъ только, что̀ онъ сдѣлалъ, но и чѣмъ онъ былъ. Въ исторіи нашего юнаго образованія онъ представляетъ собою одинъ изъ самыхъ привлекательныхъ типовъ, въ которомъ гармонически сочеталось все, что̀ только можетъ быть сочувственно и дорого для просвѣщеннаго и мыслящаго русскаго человѣка. Въ немъ все пополняется одно другимъ и нѣтъ ничего, что̀ искупалось бы какимъ-либо печальнымъ недостаткомъ: въ немъ все поднимаетъ ваше чувство и ничто не роняетъ его; какъ бы вы ни подошли къ нему и чего бы вы ни затребовали, вездѣ и во всемъ, много-ли, мало-ли онъ дастъ вамъ, но нигдѣ онъ у васъ ничего не отниметъ, нигдѣ и ни въ чемъ не оскорбитъ васъ. Для нашихъ поколѣній, посреди броженія умовъ и сбивчивости направленій, типическій образъ Карамзина не только привлекателенъ, но и весьма поучителенъ.

«Онъ былъ Русскій не только по рожденію, но и по чувству; всею жизнію своею и дѣятельностію, столь плодотворною, принадлежалъ онъ Россіи. Но въ своемъ качествѣ Русскаго, онъ былъ человѣкъ и ничто человѣческое не считалъ себѣ чуждымъ; онъ былъ сынъ всемірной цивилизаціи. Качество Русскаго и качество Европейца не были въ немъ дву-

мя чуждыми, другъ друга не знавшими силами, или двумя противными тяготѣніями; они не только не ссорились въ немъ, не только не отнимали другъ у друга мѣста, но были, какъ и слѣдуетъ, одною и тою же силой, и онъ былъ весь Русскій въ своемъ европейскомъ качествѣ, онъ былъ весь Европеецъ въ своемъ русскомъ чувствѣ. Онъ сходилъ во глубины нашего прошедшаго, изъ забытыхъ архивовъ воскресилъ онъ для русскаго народа память его давняго, темнаго минувшаго; но онъ остался сыномъ своей эпохи, и корни прошедшаго любилъ онъ въ цвѣтѣ настоящаго. Никто изъ его сверстниковъ не сдѣлалъ такъ много для русской народности, но онъ не былъ доктринеромъ какой-либо народной школы. Кто болѣе его любилъ Россію, кто былъ ревнивѣе къ ея достоинству, величію и чести? Въ комъ чище и сильнѣе горѣло святое пламя патріотизма? И однако никто изъ современныхъ ему дѣятелей не былъ болѣе его предметомъ слѣпой вражды доктринеровъ народности, полагавшихъ ея силу въ скованныхъ ими самими «шаронихахъ» и «мокроступахъ». Въ немъ жило на все отзывавшееся поэтическое чувство, и въ тоже время онъ былъ высоко одаренъ здравымъ смысломъ дѣйствительности, и воображеніе мирилось въ немъ съ ясностію трезваго разума. Въ вѣкъ вольнодумства и отрицанія онъ былъ христіанинъ, искренно и глубоко убѣжденный, но религіозное чувство было свободно въ немъ отъ фанатизма и нетерпимости, и онъ умѣлъ отличать существенное отъ случайнаго, внутреннее отъ внѣшняго. Человѣкъ свѣтскаго образованія, онъ являетъ собою поучительный примѣръ постояннаго, упорнаго и усидчиваго труда; не будучи ученымъ, ни по приготовленію, ни по призванію, онъ въ себѣ являетъ намъ образецъ изслѣдователя, который не останавливается предъ трудностями, и это въ то время, когда дѣло науки въ Россіи было еще такъ скудно и слабо. Онъ былъ писатель, доводившій свое выраженіе до классической оконченности. Онъ былъ политическимъ дѣятелемъ, хотя и не находился на офиціальныхъ поприщахъ государственной службы. Не смотря на то, что его время представляло мало условій для политическаго образованія, онъ обладалъ удивительно зрѣлымъ политическимъ умомъ, который онъ воспиталъ и укрѣпилъ своими историческими изученіями. Онъ не былъ придворнымъ, но находился въ самыхъ близкихъ, можно сказать дружескихъ отношеніяхъ къ членамъ царской семьи и къ самому Государю, который съ нимъ переписывался. Его переписка съ Императоромъ Александромъ Павловичемъ, Императрицею Елизаветою Алексѣевною и великою княгинею Екатериною Павловною исполнена удивительной искренности, простоты и человѣчности. И, конечно, изъ числа людей, самыхъ приближенныхъ къ Императору, никто не былъ преданъ ему болѣе Карамзина, но никакого раболѣпства ни въ дѣйствіяхъ, ни въ словахъ его. Чувство подданнаго въ Карамзинѣ, этомъ свѣтломъ представителѣ нашей народности, не было чувствомъ раба. Благоговѣя предъ святынею верховной власти, глубоко чувствуя и ясно разумѣя силу семейныхъ, общественныхъ и государственныхъ уставовъ, Карамзинъ представляетъ собою образецъ характера въ высокой степени независимаго и благороднаго. Онъ разумѣлъ всю цѣну порядка, но точно также понималъ онъ и цѣну свободы, и одно понималъ въ другомъ. Никто болѣе его не былъ чуждъ того поверхностнаго и пошлаго либерализма, который служитъ вѣрнымъ признакомъ умственной незрѣлости людей и политической незрѣлости обществъ; за то и никто болѣе его не обладалъ тѣмъ святымъ инстинктомъ свободы,

безъ котораго человѣкъ не можетъ имѣть никакого нравственнаго достоинства. Независимость его характера восходила до гражданскаго мужества» (¹).

§ 2. Изъ исчисленныхъ литературныхъ трудовъ Карамзина, въ «Московскомъ журналѣ» впервые высказалась самостоятельная его дѣятельность; важнѣйшимъ же отдѣломъ этого изданія служили заграничныя письма издателя.

Путешествіе было давнею, пріятнѣйшею мечтою Карамзина. Живучи въ Москвѣ съ Петровымъ, онъ началъ писать романъ и хотѣлъ въ воображеніи объѣздить именно тѣ земли, которыя дѣйствительно пришлось ему посѣтить. Въ одномъ письмѣ исчислены удовольствія и польза путешествія: чувство неоцѣненной свободы, по которой человѣкъ не прикованъ къ одному мѣсту, какъ животное, но можетъ переходить изъ климата въ климатъ и справедливо называется царемъ земнаго творенія; знакомство съ новыми предметами, которымъ самая душа какъ бы обновляется; мудрая связь общественности, благодаря которой мы повсюду находимъ всевозможныя удобства жизни, какъ бы нарочно для насъ придуманныя, и по которой жители всѣхъ странъ предлагаютъ намъ плоды трудовъ своихъ. Изъ этихъ новыхъ предметовъ европейской жизни Карамзинъ особенно интересовался плодами трудовъ умственныхъ и художественныхъ, произведеніями науки и литературы и ихъ производителями. Во многихъ его письмахъ выражена юношеская радость при состоявшейся наконецъ возможности личнаго знакомства съ современными учеными, поэтами и литераторами. Разсказъ о визитѣ Гердеру заключенъ такими словами: «пріятно, друзья мои, видѣть человѣка, который былъ намъ прежде столько извѣстенъ и дорогъ по своимъ сочиненіямъ, котораго мы такъ часто себѣ воображали или вообразить старались; теперь, мнѣ кажется, я еще съ большимъ удовольствіемъ буду читать произведенія Гердерова ума, воспоминая видъ и голосъ автора». Описавъ свой ужинъ съ лейпцигскими учеными, Карамзинъ прибавляетъ: «милые друзья мои! я вижу людей достойныхъ моего почтенія, умныхъ, знающихъ». Самая мѣстность получала въ его глазахъ особую цѣну по своему отношенію къ литературнымъ именамъ: такъ онъ смотрѣлъ съ отмѣннымъ удовольствіемъ на окрестности Цюриха, воспоминая Геснера, Клопштока, Бодмера, Виланда, Гете, Штольберга, Ленца. И потому главное содержаніе Писемъ русскаго путешественника составляютъ извѣстія объ ученыхъ и литераторахъ, современныхъ и прежняго

¹) Передовая статья «Моск. Вѣд.» (1866, № 254), написанная М. Н. Катковымъ.

времени, объ ихъ сочиненіяхъ и лекціяхъ, объ ученыхъ обществахъ и училищахъ, о библіотекахъ, кабинетахъ, музеяхъ. Въ письмахъ изъ Германіи и Швейцаріи, эти извѣстія занимаютъ четвертую часть. При свиданіи съ Кантомъ, Лафатеромъ и Боннетомъ Карамзинъ направлялъ рѣчь на важнѣйшіе предметы знанія, предлагалъ имъ вопросы о природѣ и нравственности человѣка, о философіи и философахъ, и въ ихъ отвѣтахъ думалъ найти рѣшеніе своихъ сомнѣній. Однимъ словомъ: умственные интересы, факты западнаго просвѣщенія служатъ выдающимся пунктомъ его путевыхъ замѣтокъ. Съ этой стороны, «Письма» были дѣйствительною новостію въ литературѣ русскихъ путешествій. Тогдашніе читатели еще не встрѣчали такого просвѣщеннаго сочувствія къ дѣятелямъ въ искусствѣ и наукѣ, и въ первый разъ знакомились какъ съ ихъ личностью, такъ и съ ихъ произведеніями. Искренно любя просвѣщеніе, твердо убѣжденный въ томъ, что оно есть сила, Карамзинъ выставлялъ преимущества цивилизованной жизни, дѣйствіе «мудрой связи общественности». Вотъ чѣмъ замѣчательны его письма, хотя, съ другой стороны, справедливо, что въ нихъ, по сознанію самого автора, много неважнаго и мелочей, что они часто обращаютъ вниманіе на внѣшность европейской цивилизаціи, и что современные интересы гражданскаго устройства и политики въ видѣнныхъ имъ странахъ мало ими затронуты, чего, впрочемъ, и нельзя было ожидать отъ двадцати-трехъ-лѣтняго путешественника. Достаточно и тѣхъ качествъ, которыя несомнѣнно принадлежатъ его письмамъ: вѣрности многихъ сужденій, сохраняющихъ и донынѣ свою силу, тонкости замѣтокъ о характерѣ французовъ, какъ причинѣ многихъ общественныхъ явленій, наконецъ интереса тѣхъ извѣстій, о которыхъ мы сейчасъ говорили и къ которымъ постоянно склонялась мысль путешественника.

Московскій журналъ (1791—1792) возникъ вскорѣ по возвращеніи Карамзина въ отечество. Мысль объ его изданіи и составѣ образовалась подъ вліяніемъ идей и впечатлѣній, вынесенныхъ путешественникомъ изъ за-границы. Онъ долженъ былъ служить и дѣйствительно служилъ продолженіемъ дѣла, начатаго «Письмами», которыя, въ журнальной программѣ, и стоятъ особой статьей, какъ бы особымъ отдѣломъ изданія. «Письма»—мы видѣли — знакомятъ русскую публику преимущественно съ личностями авторовъ и ихъ произведеніями; журналъ принималъ на себя туже обязанность: онъ наполнялся русскими сочиненіями въ стихахъ и прозѣ, переводами изъ лучшихъ иностранныхъ авторовъ, краткими ихъ біографіями и характеристиками, извѣстіями о важнѣйшихъ новостяхъ заграничной и отечественной словесности,

хроникою театровъ—парижскихъ и московскаго, т. е. отчетами о содержаніи и представленіи наиболѣе замѣчательныхъ піесъ. Литература составляла единственный его интересъ. Самъ Карамзинъ смотрѣлъ на свое изданіе, какъ на литературный пантеонъ. Нѣкоторыя статьи журнала и были потомъ перепечатаны въ «Пантеонѣ иностранной словесности» (1798), послѣ котораго не замедлилъ явиться «Пантеонъ россійскихъ авторовъ» (1801). Будучи сборникомъ произведеній русской и иностранной словесности, «Московскій журналъ» не имѣлъ особаго направленія, которымъ опредѣляется характеръ и цвѣтъ періодической прессы. Этимъ онъ отличался отъ сатирическихъ журналовъ Екатеринина времени. Къ «Ежемѣсячнымъ сочиненіямъ», Миллера, онъ относится, какъ собственно-литературный сборникъ къ сборнику учено-литературному. Программа его тѣснѣе. Но въ предѣлахъ чисто-литературнаго пространства, содержаніе журнала было и разнообразно, и занимательно. Херасковъ, Державинъ, Дмитріевъ, Нелединскій-Мелецкій, Подшиваловъ помѣщали въ немъ свои сочиненія. Изъ иностранныхъ писателей встрѣчаемъ имена Мармонтеля, Бартелеми, Мерсье, Флоріана, Морица, Коцебу, Мейстера, Гарве, Энгеля, Виланда. Но большая и конечно лучшая часть статей принадлежитъ самому Карамзину. Между ними самое видное мѣсто занимаютъ «Письма»; за тѣмъ слѣдуютъ повѣсти: «Бѣдная Лиза» и «Наталья, боярская дочь»; далѣе разборы новыхъ явленій литературы, отчеты объ игранныхъ піесахъ. Ни одно изъ періодическихъ изданій, одновременно выходившихъ съ «Московскимъ Журналомъ», ни въ какомъ отношеніи не выдерживали съ нимъ сравненія (1). На издателѣ лежали всѣ труды по изданію. Онъ былъ и авторомъ, и критикомъ, и переводчикомъ. При немъ не находилось никакихъ постоянныхъ сотрудниковъ, которые въ наше время такъ усердно помогаютъ редактору или совсѣмъ замѣняютъ его. Да ему и негдѣ было взять ихъ: онъ только мечталъ — какъ о чемъ-то неосуществимомъ — объ обществѣ молодыхъ, дѣятельныхъ людей, одаренныхъ истинными способностями и готовыхъ, съ чувствомъ своего достоинства, посвятить себя литературѣ изъ благородной и безкорыстной любви къ добру. Источниками, но не точными образцами журнала служили иностранныя изданія— французскія, нѣмецкія и англійскія. Болѣе другихъ Карамзинъ имѣлъ въ виду «Французскій Меркурій» (Mercure de France), съ 1790 г. поступившій къ Мармонтелю, который, вмѣстѣ съ Ла-

---

(1) Замѣтимъ, что «Зритель» (1792), издававшійся въ Петербургѣ И. А. Крыловымъ, при главномъ сотрудничествѣ Клушина, находился во враждебныхъ отношеніяхъ къ Московскому Журналу (Письма Карамзина къ Дмитріеву).

гарпомъ, занимался ученымъ отдѣломъ журнала. Здѣсь появились новыя Мармонтелевы повѣсти (Вечера), переведенныя для русскихъ читателей. Благодаря разнообразію и занимательности, «Московскій журналъ» имѣлъ успѣхъ. Публика находила въ немъ пріятное чтеніе и по содержанію, и по языку. Большею частью журналы 1769—1774 существовали только одинъ годъ, и закрывались, не находя поддержки въ публикѣ. Карамзинъ же самъ прекратилъ свое изданіе не по недостатку подписчиковъ, число которыхъ на второй годъ увеличилось, а по собственной волѣ: онъ хотѣлъ заняться болѣе серьезными предметами, хотѣлъ, какъ онъ самъ говоритъ, учиться, а срочная работа мѣшала ученію. Впрочемъ этотъ успѣхъ «Московскаго журнала» измѣрялся скромною цыфрою, сравнительно съ числомъ подписчиковъ у современныхъ намъ журналовъ. На первый годъ онъ расходился въ числѣ 300 экземпляровъ, а Карамзинъ желалъ пяти сотъ, чтобы имѣть средства улучшить внѣшность изданія. Свидѣтельствомъ успѣха журнала служила и потребность въ новомъ изданіи, которое напечатано въ 1802—1803 г.

§ 3. Господствующій тонъ въ «Письмахъ» Карамзина—сентиментальный, объясняемый, съ одной стороны, природною наклонностью автора ко всему чувствительному, а съ другой—подражаніемъ иностраннымъ образцамъ, на которые въ то время была мода.

Начало сентиментализму въ литературѣ положено Томсоновой поэмой «Времена года» (1726), Ричардсоновымъ романомъ «Кларисса» (1748) и «Чувствительнымъ путешествіемъ» Стерна (1768), которому принадлежитъ и изобрѣтеніе слова «sentimental». Чрезвычайный успѣхъ «Клариссы» объясняется тѣми самыми обстоятельствами, по которымъ мѣщанская трагедія привлекала зрителей въ театръ ([1]). Какъ этотъ родъ драмы служилъ реакціей ложно-классическимъ трагедіямъ, такъ и Ричардсоновъ романъ былъ поворотомъ отъ романтическихъ сказокъ и героическихъ исторій къ повѣсти о вседневной домашней жизни, съ ея радостями и страданіями, съ ея мелкими случайностями и великими, не всегда и не для всѣхъ замѣтными жертвами. Тамъ и здѣсь поэзія замѣняла холодный идеализмъ истиной и дѣйствительностью, величіе родоваго или общественнаго положенія лицъ внутреннимъ, человѣческимъ ихъ достоинствомъ, условныя формы и торжественный тонъ простотою и естественностью рѣчи. Карамзинъ понималъ существенное значеніе Ричардсонова романа, какъ

[1]) См. 1 т. этой Исторіи.

видно изъ его извѣстія о русскомъ переводѣ «Клариссы»: «Ричардсонъ—искусный живописецъ моральной натуры человѣка.... Въ романѣ его — наилучшая философія жизни, предложенная наиприятнѣйшимъ образомъ... Написать романъ въ восьми томахъ, не прибѣгая ни къ чудесамъ, которыми эпическіе поэты стараются возбуждать любопытство въ читателяхъ, ни къ сладострастнымъ картинамъ, которыми многіе изъ новѣйшихъ романистовъ прельщаютъ наше воображеніе, и не описывая ничего, кромѣ самыхъ обыкновенныхъ сценъ жизни—не бездѣлица» ([1]). Руссо, почитавшій Клариссу лучшимъ англійскимъ романомъ, подражалъ ему въ «Новой Элоизѣ» (1761), которая оказала быстрое и могущественное дѣйствіе на европейскія литературы.

Стернъ назвалъ свое путешествіе «чувствительнымъ» потому, что оно описываетъ не столько внѣшній міръ, имъ видѣнный, сколько его собственный внутренній міръ—его впечатлѣнія и чувства. Это, говоря его словами, «путешествіе сердца къ природѣ и такимъ ощущеніямъ, которыя проистекаютъ изъ нея и побуждаютъ насъ любить ближнихъ и даже цѣлый міръ больше, нежели мы обыкновенно его любимъ». Между англійскими подражаніями Стерну замѣчателенъ романъ второстепеннаго писателя Макензи: «Чувствительный человѣкъ.» Въ Германіи Стерновскій тонъ былъ доведенъ до крайности Георгомъ Якоби: его «Лѣтнія и зимнія странствованія» ([2]) не описываютъ никакихъ явленій, а выражаютъ только смутныя ощущенія, возбужденныя въ душѣ путешественника природою двухъ противоположныхъ временъ года. По отношенію къ нашей литературѣ, важнѣе путешествія французскаго писателя Верна, котораго соотечественники величали Стерномъ. Ихъ два: «Чувствительный путешественникъ иля моя прогулка въ Иверденъ» и «Чувствительный путешественникъ по Франціи во время Робеспьера ([3]). Но они имѣли вліяніе не на самого Карамзина, а на его подражателей.

Съ Ричардсономъ знакомились мы и чрезъ его собственные романы: «Памелу» (1787), «Клариссу (1791—1792)» и «Грандиссона (1793—94)», и чрезъ французское ему подражаніе: «Новая Памела» (1788), и чрезъ русское подражаніе французскому подражанію: «Россійская Памела, или исторія Маріи, добродѣтельной поселянки» (1794). Авторъ послѣдней, Павелъ Львовъ, былъ ча-

---

[1]) Москов. журналъ, 1791.

[2]) Winterreise (1769), Sommerreise (1770).

[3]) Le Voyageur sentimental ou ma promenade à Iwerdun (1781); Le Voyageur sentimental en France sous Robespierre.

сто осмѣиваемъ въ журналѣ Крылова «Зритель», подъ именемъ Антирихардсона. На ряду съ англійскимъ романистомъ ставили у насъ Бакюлара Арно или Арно старшаго, сочиненія котораго носятъ печать меланхолическаго, подъ часъ мрачнаго сентиментализма. Его повѣсти начали переходить въ нашу литературу еще съ 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Особенною извѣстностью пользовались: «Батильда или торжество любви», а потомъ «Эльвирь», въ переводѣ Кострова. Изъ сочиненій Стерна переведены, въ 1789 г., Письма Іорика, а въ 1793—Путешествіе; кромѣ того въ 1801 г., изданы: «Красоты Стерна, для чувствительныхъ сердецъ», и его же «Нравоучительныя рѣчи и нѣкоторыя нравственныя изреченія». Другія его сочиненія вышли позднѣе. Уваженіе къ таланту и манерѣ англійскаго юмориста доходило иногда до наивнаго паѳоса. Въ одномъ журналѣ (1) переводъ отрывка изъ «Новаго Іорика» сопровождается такимъ замѣчаніемъ: «*Безподобный* Стернъ! ты произвелъ многихъ подражателей, которые и чрезъ то уже имѣютъ въ глазахъ моихъ великую цѣну, что *тебѣ* подражали». Первая часть Новой Элоизы явилась еще въ 1769 г. (2); вполнѣ этотъ романъ переведенъ два раза: 1792—93 и 1804 г. Прибавимъ, что Ѳедоръ Эминъ подражалъ Элоизѣ въ «Письмахъ Эрнеста и Доравры» (1766) (3).

«Письма русскаго путешественника» видимо имѣли передъ собою классическій образецъ въ этомъ родѣ литературы—«Путешествіе Стерна», котораго Карамзинъ называетъ «оригинальнымъ живописцемъ чувствительности». Но подражать оригинальному автору возможно только при однородномъ съ нимъ талантѣ. Талантъ же Карамзина вовсе не былъ способенъ къ юмору, «озирающему міръ сквозь смѣхъ и слезы». Цѣлостное, неразложимое сочетаніе двухъ противоположныхъ элементовъ въ одномъ юмористи-

---

1) Пріятное и полезное препровожденіе времени.

2) Переводчикъ ея, гр. Павелъ Потемкинъ, передалъ на русскій языкъ два другія сочиненія Руссо: Разсужденіе о томъ, «возстановленіе наукъ и художествъ способствовало ли къ исправленію нравовъ» (1768) и Разсужденіе о началѣ и основаніи неравенства между людьми (1770).

3) Здѣсь указаны только отдѣльныя изданія переводовъ. Но знакомство съ ихъ подлинниками началось, разумѣется, раньше. Переходъ чужеземнаго въ отечественную словесность представляетъ нѣсколько степеней: сначала движеніе иностранной литературы доходитъ до свѣдѣнія людей образованнѣйшихъ, имѣющихъ возможность знакомиться съ нею на ея языкѣ; потомъ его органомъ становится журналистика; далѣе являются переводы тѣхъ сочиненій, которыми оно обнаружилось или въ которыхъ сосредоточилось; наконецъ слѣдуютъ подражанія этимъ сочиненіямъ. Не всегда эти степени идутъ въ обозначенномъ порядкѣ: нерѣдко случается, что подражаніе предваряетъ переводы.

ческомъ потокѣ даже приходилось ему не по сердцу. Онъ осудилъ драму Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе», именно за то, что она заставляетъ зрителей въ одно и тоже время и плакать и смѣяться. Такой характеръ піесы онъ объясняетъ или отсутствіемъ вкуса въ авторѣ или нехотѣніемъ автора подчиняться законамъ вкуса. Въ слѣдствіе этого, подражаніе Стерну вышло у Карамзина одностороннимъ и не глубокимъ, хотя и нѣтъ никакого повода заподозрѣвать искренность чувствительности, разлитой по всѣмъ «Письмамъ», и напротивъ есть всѣ основанія утверждать, что она вполнѣ чистосердечна, какъ естественное проявленіе—съ одной стороны, природнаго свойства его души, а съ другой—его понятія о пользѣ и необходимости этого свойства для авторской дѣятельности. Карамзинъ самъ называетъ себя въ письмахъ чувствительнымъ путешественникомъ; самъ говоритъ, что повѣсть: «Наталья боярская дочь» (1792) написана «для однѣхъ чувствительныхъ душъ, вѣрующихъ въ симпатію сердецъ». Изъ окончанія статьи: «Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщенія» (1793) видно, что лучшимъ качествомъ своихъ сочиненій, достойнымъ памяти потомства, онъ признавалъ отраженіе души и сердца. Однихъ талантовъ и знаній недостаточно писателю: онъ долженъ имѣть и доброе, нѣжное сердце, «если хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей, если хочетъ, чтобы дарованія его сіяли свѣтомъ немерцающимъ, если хочетъ писать для вѣчности и собирать благословеніе народовъ». Назначеніе искусства, по мнѣнію Карамзина—распространять пріятныя впечатлѣнія «въ области чувствительнаго». Романистъ, историкъ сообщаютъ своимъ повѣствованіямъ прелесть и силу только при дѣйствіи чувствительности: «ты хочешь быть авторомъ? читай исторію несчастій рода человѣческаго: и если сердце твое не обольется кровію—оставь перо, или оно изобразитъ намъ хладную мрачность души твоей... Однимъ словомъ: дурной человѣкъ не можетъ быть хорошимъ авторомъ».

Изъ этой-то «области чувствительнаго» Карамзинъ заимствовалъ сюжетъ своей повѣсти: «Бѣдная Лиза» (1792). Въ настоящее время трудно представить себѣ силу впечатлѣнія, произведеннаго небольшимъ разсказомъ, который не заключаетъ въ себѣ ничего особеннаго ни по интригѣ, ни по развитію психологическому. Однакожъ чрезвычайный успѣхъ повѣсти есть несомнѣнный фактъ. Симоновъ монастырь съ его окрестностями, гдѣ жила Лиза, сдѣлался любимымъ мѣстомъ для сентиментальныхъ прогулокъ. Посѣтители и посѣтительницы, гуляя по берегамъ пруда, въ который съ тоски и отчаянія бросилась героиня, мечтали о несчастной судьбѣ ея и вырѣзывали начальную букву ея имени на прибреж-

ныхъ березахъ ([1]). Одни ставили себя на мѣстѣ Эраста, другія страшились быть обманутыми въ любви. Стихотворцы славили автора или сочиняли элегіи «къ праху бѣдной Лизы». А сколько слезъ было пролито при чтеніи повѣсти! сколько подраженій ей написано! Одинъ изъ журналовъ замѣтилъ, что, увлекаясь Карамзинымъ, наши авторы не оставили ни одного монастыря въ покоѣ. Бѣдная Лиза стала забываться только съ того времени, какъ явилась Людмила Жуковскаго (1808).

Необыкновенный успѣхъ повѣсти объясняется тѣмъ, что она была первымъ талантливымъ произведеніемъ въ новомъ, сентиментальномъ, направленіи повѣствовательной поэзіи. До нея уже многіе виды романа перебывали въ нашей литературѣ, постоянно слѣдовавшей за движеніемъ литературъ европейскихъ; но въ ближайшее къ ней время, какъ мы видѣли изъ отзыва Карамзина о Ричардсоновой Клариссѣ, стояли на виду романы героическіе. Идеаломъ ихъ служили баснословныя или, по крайней мѣрѣ, древнеисторическія личности, поднимавшіяся высоко надъ породою обыкновенныхъ смертныхъ. Разсказъ объ ихъ приключеніяхъ большею частію имѣлъ цѣль поучительную; онъ доставлялъ романисту возможность выговаривать, въ бесѣдахъ между дѣйствующими лицами, свои понятія о философіи, политикѣ, морали. Прототипомъ ихъ былъ Фенелоновъ Телемакъ, за которымъ слѣдовали: Киропедія, Жизнь Сиѳа, царя египетскаго, Похожденія Неоптолема, Ахиллесова сына, и многіе другіе. Къ числу оригинальныхъ сочиненій въ этомъ родѣ относятся сочиненія Ѳедора Эмина и Хераскова. Первый написалъ «Приключенія Ѳемистокла и разные политическіе, гражданскіе, философическіе, физическіе и военные съ сыномъ своимъ разговоры» (1763); второму мы одолжены двумя эпическими повѣствованіями: «Кадмъ и Гармонія» (1789) и «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи» (1794) ([2]). Въ слѣдъ за этими прозаическими эпопеями надобно поставить романы, интересъ которыхъ сосредоточивался не на той или другой тенденціи, выступавшей изъ разсказа о приключеніяхъ, а на самыхъ приключеніяхъ, болѣе или менѣе запутанныхъ. Они водили своего героя—не полубога или дѣятеля глубокой старины, а простаго смертнаго—по морямъ и по сушѣ, словно хитроумнаго Улисса, или заставляли его перебывать, какъ Жильблаза, въ разныхъ состояніяхъ жизни, чтобы въ первомъ случаѣ познакомить читателя съ

[1]) Къ отдѣльному изданію «Бѣдной Лизы» (1797) приложена картинка, изображающая прудъ и деревья съ вырѣзанными на нихъ вензелями.

[2]) Упомянемъ еще объ «Арфаксадѣ, халдейской повѣсти» (1793—96), и о «Приключеніяхъ Клеандра, храбраго царевича лакедемонскаго» (1798).

природой и жителями чужеземныхъ государствъ, а во второмъ—съ характеромъ общественныхъ разрядовъ и званій. Карамзинъ находилъ эти романы полезными, такъ какъ они сообщаютъ публикѣ энциклопедическія познанія, преимущественно по географіи и натуральной исторіи. Въ разговорѣ съ Каменевымъ онъ утверждалъ, что «ничѣмъ больше нельзя усовершенствовать себя въ истинѣ, какъ прилежнымъ чтеніемъ подобныхъ книгъ». Что касается до романовъ соблазнительнаго содержанія, то они, по самому свойству изображаемыхъ лицъ и событій, не допускающихъ идеализаціи, выказывали болѣе правдоподобія, болѣе согласія съ дѣйствительною жизнію, но это достоинство не избавляло ихъ отъ другихъ важныхъ недостатковъ: цинизма сладострастныхъ картинъ, ласкательства животнымъ инстинктамъ и вообще легкомысленнаго отношенія къ нравственному чувству. Повѣсть А. Измайлова: «Евгеній или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и общества» (1799—1801) даетъ намъ понятіе о романахъ этого разряда. Ее нельзя пройти молчаніемъ, потому что она во многомъ отражаетъ тогдашнюю русскую жизнь извѣстныхъ классовъ общества: нѣкоторыя лица, ею очерченныя, нѣкоторыя случайности, въ ней разсказанныя, провѣряются и подтверждаются характеристикою нравовъ прошлаго столѣтія въ сатирическихъ журналахъ Екатеринина времени.

Если скандалезная хроника возмущала нравственное чувство читателей, то героическое повѣствованіе не могло вполнѣ удовлетворить ихъ ни выборомъ дѣйствующихъ лицъ, ни диковинными ихъ приключеніями, ни философскими бесѣдами, для которыхъ сюжетъ нерѣдко служилъ только рамкою. Дѣйствующія лица слишкомъ удалены отъ обыкновенной жизни по своей породѣ, общественному положенію, духовнымъ и тѣлеснымъ силамъ. Они были герои и героини, въ высшемъ значеніи этого слова, исключительные счастливцы или несчастливцы, на долю которыхъ выпадало то, что въ насущномъ быту человѣка или вовсе не является или является какъ чудо. По ихъ чрезвычайнымъ подвигамъ нельзя было измѣрять обыкновенной исторіи человѣка,—того, въ чемъ проходятъ дни и годы цѣлыхъ поколѣній. Они не затрогивали ни чувства народности, ни чувства общечеловѣчности, такъ какъ послѣдняя выражается всѣмъ извѣстными и всѣмъ доступными фактами, а не такими, какіе трудно и вообразить себѣ безъ предсказаній оракула. Не встрѣчая въ повѣсти объ ихъ похожденіяхъ близкаго себѣ интереса, читатель оставался къ нимъ равнодушенъ. Отсутствіе возможныхъ съ ними связей не вознаграждалось ни разсужденіями, часто умными и дѣльными, но часто и утомительными, ни раз-

сѣянными по роману историко-географическими указаніями, какъ бы они ни были полезны. Большинство читающихъ ищетъ въ романѣ пріятныхъ впечатлѣній на воображеніе и чувство, а не обогащенія ума идеями и познаніями.

Мѣщанская драма и Ричардсоновы романы низвели поэтическій вымыселъ изъ надземнаго героизма въ среду ежедневно переживаемой нами жизни. Къ этому роду повѣстей относится и «Бѣдная Лиза». Она понравилась современному образованному классу не столько сюжетомъ и внѣшнею обстановкой, сколько внутреннимъ содержаніемъ; другими словами: въ ней выраженіе національныхъ особенностей уступаетъ выраженію общечеловѣческаго элемента. Впрочемъ и мѣстный колоритъ соблюденъ въ ней до извѣстной степени. Мѣсто дѣйствія—Симоновъ монастырь съ его окрестностями—описано вѣрно, о чемъ свидѣтельствуетъ Каменевъ въ письмѣ къ своему казанскому пріятелю. Имя героя (Эрастъ) хотя и звучитъ романически, но взято изъ русскихъ святцевъ. Добросердечный и въ тоже время вѣтреный и слабовольный, онъ легко могъ встрѣчаться въ кругу тогдашней молодежи, какъ въ кругу молодежи всякаго времени. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что такому человѣку, начитавшемуся идиллій и романовъ и мечтавшему о природной простотѣ, понравилась миловидная крестьянка. Вещь также возможная, что и крестьянка полюбила молодаго, привѣтливаго барина. Другое дѣло—образъ мыслей Лизы и ея матери, характеръ ихъ чувствъ, способъ ихъ выраженія: все это, конечно, не соотвѣтствуетъ крестьянскому быту, и съ этой стороны дѣйствующія лица не типы, а идеализація, заимствованная у пасторальной поэзіи. Но строго осуждать за то автора значило бы измѣнять требованіямъ исторической критики литературныхъ произведеній. Въ то время, вымыселъ, своимъ близкимъ воспроизведеніемъ дѣйствительной жизни, даже не понравился бы читателямъ. Если они, наравнѣ съ журналами, одобряли идилліи, выходившія много лѣтъ спустя послѣ «Бѣдной Лизы» и ничѣмъ не напоминавшія русскихъ поселянъ, то что имѣли возразить они противъ крестьянки, своею рѣчью и манерами напоминавшей барышню? Напротивъ, такое сходство сообщало, въ ихъ представленіи, особенную цѣну героини. Недостатокъ индивидуальнаго колорита закрывался общечеловѣческимъ элементомъ, лежащимъ въ основѣ повѣсти. Этотъ элементъ—чувство любви, которая отвергаетъ неравенство состояній и для которой пословица: «не въ свои сани не садись», лишена всякаго значенія. Въ комъ это чувство проявляется естественнѣе, чище и независимѣе, къ тому и стремится симпатія читателя. Состраданіе къ судьбѣ Лизы было состраданіемъ къ человѣку, какъ человѣку, цѣ-

нимому по его внутренней пробѣ, а не по внѣшнему клейму, которое кладутъ на него генеалогическая роспись, общественное положеніе и другія отличія. Повѣсть возбуждала филантропическое впечатлѣніе, что и служитъ наилучшею ей похвалой. Читатели самовольно становились на сторону Лизы; никто изъ нихъ, съ гуманной точки зрѣнія, не думалъ оправдывать Эраста, хотя съ другихъ точекъ зрѣнія и можно было оправдывать, что онъ не женился на крестьянкѣ. Послѣ «Бѣдной Лизы» сентиментальное направленіе повѣствовательной поэзіи одержало верхъ надъ другими направленіями. Разсуждая о книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи (1802), Карамзинъ говоритъ, что изъ всѣхъ родовъ книгъ больше всего расходились у насъ романы, а изъ разныхъ родовъ романа—чувствительные.

Въ повѣсти: «Наталья боярская дочь» (1792), Карамзинъ обратился за сюжетомъ къ русской старинѣ, показавъ тѣмъ, что патріотическое чувство его давно уже направлялось къ прошлому отчизны, «когда русскіе были русскими, когда они въ собственное платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ, по своему сердцу». Не смотря, однакожъ, на описаніе нѣкоторыхъ обычаевъ до-петровскаго времени, повѣсть не можетъ быть названа «историческою» въ томъ смыслѣ, какъ теперь понимаютъ это слово. Авторъ ея только въ извѣстной, очень малой мѣрѣ поддѣлывался подъ древній колоритъ. И по характеру любви, и по ея выраженію дѣйствующія лица очень далеко отстоятъ отъ тѣхъ, которыхъ они должны были служить поэтическимъ воспроизведеніемъ, и почти незамѣтной чертой различаются отъ современниковъ и современницъ Карамзина. Повѣсть направлена главнѣйшимъ образомъ къ возбужденію чувствительности. Предполагая, что читатели усомнятся въ быстро зародившейся «симпатіи сердецъ, другъ для друга сотворенныхъ», Карамзинъ дѣлаетъ оговорку: «кто не вѣритъ симпатіи, тотъ поди отъ насъ прочь и не читай нашей исторіи, которая назначается для однѣхъ чувствительныхъ душъ, имѣющихъ сію сладкую вѣру».

§ 4. Начало XIX в., Карамзинъ находилъ самымъ благопріятнымъ для русскаго журналиста. Въ предисловіи къ Вѣстнику Европы и въ одной изъ статей его: «Пріятные виды, надежды и желанія нынѣшняго времени», онъ указалъ добрые знаки состоянія европейскихъ дѣлъ вообще и отечественныхъ въ частности относительно политики, науки и литературы. Въ отношеніи къ политикѣ оно знаменуется счастливымъ настроеніемъ умовъ и сердецъ. «Десятилѣтняя революціонная война», говоритъ авторъ, кончилась,

измѣнивъ мнѣніе о вещахъ и людяхъ. Революція, грозившая ниспровергнуть всѣ правительства, утвердила ихъ. Она убѣдила народы въ необходимости законнаго правленія, а государей въ необходимости правленія благодѣтельнаго, твердаго, но отеческаго. Правительства чувствуютъ важность общаго мнѣнія, нужду въ любви народной, необходимость истребить злоупотребленія. Вмѣсто того, чтобы осуждать разсудокъ на безмолвіе, они склоняютъ его на свою сторону, такъ что лучшіе умы стоятъ теперь подъ знаменемъ власти». По отношенію къ наукѣ, съ началомъ XIX в. наступила эра для новыхъ въ ней открытій, благодаря дружественному союзу народовъ, который благопріятствуетъ общенію великихъ ученыхъ. Переворотъ въ идеяхъ отразился также на характерѣ литературы: до революціи, «всякая дерзкая, безнравственная книга была модною; нынѣ, напротивъ того, писатели боятся оскорбить нравственность, ибо передъ всякимъ жива картина бѣдствій, произведенныхъ во Франціи развратомъ; даже въ самыхъ дурныхъ романахъ соблюдается какая-то благопристойность и уваженіе къ святынѣ нравовъ». Обращаясь за тѣмъ къ Россіи, Карамзинъ прежде всего говоритъ объ ея человѣколюбивомъ государѣ, употребляющемъ власть на то, чтобы возвысить достоинство человѣка въ своей державѣ, а потомъ обозначаетъ ея внѣшнее и внутреннее состояніе: «въ политикѣ она пользуется такимъ уваженіемъ, какого прежде никогда не имѣла; свѣтъ ученія болѣе и болѣе стѣсняетъ темную область невѣжества; благородныя, истинно-человѣческія идеи болѣе и болѣе дѣйствуютъ въ умахъ; разсудокъ утверждаетъ права свои; патріотическій духъ возвышается. Всѣ эти видимые успѣхи гражданственности служатъ залогомъ будущихъ».

Программа Вѣстника Европы обширнѣе программы Московскаго журнала. Послѣдній былъ изданіемъ собственно литературнымъ, а первый—литературно-политическимъ. Политика и не могла найти мѣсто въ Московскомъ журналѣ, такъ какъ онъ явился въ эпоху французской революціи, неудобную для обязанностей публициста. Карамзинъ не желалъ стѣснять ни извѣстій, ни сужденій своихъ, которыя, лишаясь искренности и безпристрастія, не имѣли бы притомъ и возможности быть рѣшительными, потому что направленіе событій еще недостаточно обнаружилось. Сверхъ того, издатель состоялъ въ близкихъ связяхъ съ Новиковымъ и другими членами дружескаго общества, уже заподозрѣннаго правительствомъ. Открытый его голосъ о дѣлахъ встревоженной тогда Европы могъ бы навлечь ему большія непріятности. Другое различіе между двумя журналами опредѣлялось болѣе зрѣлымъ талантомъ издателя, отъ чего содержаніе Вѣстника Европы вышло болѣе зрѣ-

лымъ, обдуманнымъ. Соотвѣтственно своему названію, этотъ журналъ долженъ былъ представлять читателямъ главныя новости въ литературѣ и политикѣ. Самъ Карамзинъ смотрѣлъ на него, какъ на сборникъ достопамятностей по этимъ двумъ предметамъ.

Литературный отдѣлъ Вѣстника имѣетъ, какъ и Московскій журналъ, значеніе пантеона словесности. Онъ заключаетъ въ себѣ—въ переводахъ цѣлыхъ піесъ или въ извлеченіяхъ—все любопытное по части литературы, выходившее во Франціи, Англіи, Германіи и другихъ странахъ, такъ что, говоря словами Карамзина, лучшіе европейскіе авторы сдѣлались какъ бы сотрудниками редактора. Россія, какъ европейское государство, должна была также сообщать матеріалы журналу, который поэтому не отказывался отъ оригинальныхъ сочиненій, но съ условіемъ, чтобы они, какъ того требовало чувство народной гордости, могли безъ стыда явиться среди произведеній иностранныхъ писателей. Критика не составляла обязательной рубрики. Карамзинъ не признавалъ ее истинною потребностью современной ему литературы, хотя и давалъ извѣстія о книгахъ. «Хорошая критика», говоритъ онъ, «есть роскошь литературы: она рождается отъ великаго богатства, а мы еще не Крезы. Лучше прибавить что-нибудь къ общему мнѣнію, нежели оцѣнивать его». Политическій отдѣлъ наполнялся извѣстіями и разсужденіями. Предоставивъ газетамъ сообщеніе текущихъ политическихъ новостей, Вѣстникъ обращалъ вниманіе только на важнѣйшія, а изъ нихъ на тѣ преимущественно, которыя свидѣтельствовали объ успѣхахъ мира: на благоденствіе державъ, на полезныя учрежденія и новые мудрые законы.

Направленіе Вѣстника преимущественно высказывалось въ собственныхъ статьяхъ Карамзина, которыя здѣсь, равно какъ и въ Московскомъ журналѣ, составляютъ наиболѣе цѣнный вкладъ. Передовая мысль въ этомъ направленіи—необходимость и польза просвѣщенія для каждаго народа, особенно для народа русскаго, молодаго. Наука, улучшеніе нравовъ, соотвѣтственное развитіе гражданственности и въ слѣдствіе того общее благо: вотъ предметы, которые заставляли Карамзина браться за перо, съ цѣлію содѣйствовать ихъ успѣхамъ. Всѣ его мнѣнія и надежды проникнуты любовью къ ближнимъ, а изъ нихъ больше всего къ соотечественникамъ, и замѣтка Кирѣевскаго, что съ Карамзина литература наша приняла направленіе филантропическое, совершенно справедлива. Первое мѣсто между статьями Вѣстника принадлежитъ тѣмъ, въ которыхъ говорится о мѣрахъ правительства, имѣвшихъ въ виду исчисленные предметы высокаго сочувствія журналиста. Руководящими статьями служатъ: «Пріятные виды, надежды и желанія

нынѣшняго времени» ([1]) и «О новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи» ([2]). Къ нимъ, какъ бы къ центру, тяготѣютъ всѣ другія сужденія издателя по поводу правительственныхъ мѣропріятій и учрежденій. Въ первой статьѣ, изложивъ состояніе Европы и Россіи, авторъ заявляетъ свои патріотическія желанія. Онъ желаетъ, во первыхъ, чтобы исполнилась воля государя имѣть полное, методическое собраніе гражданскихъ законовъ, выраженное въ рескриптѣ къ гр. Завадовскому, который былъ назначенъ предсѣдателемъ коммиссіи для составленія законовъ. За тѣмъ онъ желаетъ хорошаго воспитанія, указывая недостатокъ нравственныхъ правилъ въ семейномъ образованіи, отъ чего у насъ молодые люди съ характеромъ, съ твердымъ образомъ мыслей — рѣдкія явленія. Наконецъ онъ желаетъ уничтоженія разсѣянной жизни дворянъ, водворенія порядка въ ихъ домашнемъ хозяйствѣ. Авторъ призываетъ благородное сословіе содѣйствовать славѣ и счастію отечества такими дѣлами, которыя напоминали бы потомству о ихъ достойномъ существованіи. Примѣръ безслѣдной жизни знатныхъ господъ, чуждыхъ всякаго понятія о должностяхъ человѣка и гражданина, разсказанъ въ «Моей исповѣди» ([3]). Вторая статья, написанная по поводу указа (24 января 1803) о заведеніи новыхъ училищъ и распространеніи наукъ въ Россіи, самымъ положительнымъ образомъ знакомитъ съ задушевными стремленіями Карамзина. Указъ называется началомъ новой эпохи въ исторіи нашего нравственнаго образованія, великимъ актомъ государственной филантропіи. Онъ показываетъ, что «Александръ выбралъ вѣрнѣйшее, единственное средство для успѣха въ своихъ великодушныхъ намѣреніяхъ; что монархъ желаетъ просвѣтить Россіянъ, чтобы они могли пользоваться его человѣколюбивыми уставами, безъ всякихъ злоупотребленій и въ полнотѣ ихъ спасительнаго дѣйствія». Главнымъ благодѣяніемъ новаго устава Карамзинъ почитаетъ учрежденіе сельскихъ школъ. Изъ другихъ положеній устава хвалятся отдѣленіе министерства народнаго просвѣщенія, какъ особенной системы, отъ другихъ частей государственнаго управленія, и мѣры принятыя для образованія учителей, безъ которыхъ учрежденіе высшихъ и низшихъ школъ остались бы только на бумагѣ. Касательно перваго предмета, Карамзинъ замѣтилъ, что ученыя мѣста должны зависѣть единственно отъ ученыхъ, т. е. отъ ихъ свободнаго выбора; касательно втораго онъ изло-

[1]) В. Евр. 1802, № 12.
[2]) Ib. 1803, № 5.
[3]) Ib. 1803.

жилъ свои мысли въ особой статьѣ: «О вѣрномъ способѣ имѣть въ Россіи довольно учителей» ([1]), которая поэтому служитъ какъ бы дополненіемъ его разсужденій «о новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи».

Вѣстникъ Европы съ живымъ участьемъ слѣдилъ за мѣрами гражданскаго устройства въ Россіи и подавалъ о нихъ свой патріотическій голосъ или въ особыхъ статьяхъ или по крайней мѣрѣ въ извѣстіяхъ и замѣчаніяхъ. Такъ по случаю манифеста о новомъ образованіи министерствъ и указа о правахъ и обязанностяхъ сената, онъ слѣдующимъ образомъ изъясняетъ программу министерскихъ дѣйствій: «способствовать утвержденію мудрой политической системы въ Европѣ, торжеству святаго правосудія внутри имперіи, мирнымъ успѣхамъ гражданственности и народному просвѣщенію, котораго одно имя столь любезно душѣ благородной и безъ котораго нѣтъ ни славы, ни величія, ни морали въ государствахъ» ([2]). Какъ въ статьѣ: «Пріятные виды, надежды и желанія» замѣчено, что современныя правительства чувствуютъ важность *«общаго мнѣнія»* и своего согласія съ лучшими умами, такъ и здѣсь государственнымъ сановникамъ указана новая, дотолѣ неизвѣстная имъ, награда изъ службы: «уже прошло то время въ Россіи, когда одна милость Государева, одна мирная совѣсть могли быть наградою добродѣтельнаго министра въ теченіе его жизни; теперь лестно и славно заслужить, вмѣстѣ съ милостію государя, *и любовь просвѣщенныхъ Россіянъ*, которые чувствуютъ достоинство знаменитыхъ патріотовъ, цѣну ихъ усердія къ отечеству и къ монарху». Уничтоженіе тайной канцеляріи дало поводъ къ историческому обзору этого учрежденія ([3]). Недостатокъ самоуваженія въ Русскихъ, забвеніе національныхъ достоинствъ, недовѣрчивость къ собственнымъ дарованіямъ и въ-слѣдствіе того отсутствіе самостоятельности служатъ предметомъ его разсужденія «О любви къ отечеству и народной гордости» ([4]). Оно явилось вскорѣ по открытіи журнала и служило какъ бы указаніемъ того, что издатель почиталъ нашею важнѣйшею потребностью. Въ одной Россіи, говоритъ онъ, можно сдѣлаться хорошимъ Русскимъ; гражданское и нравственное счастіе человѣка существуетъ только въ отечествѣ, и хотя съ просвѣщеніемъ народы сближаются между собою характеремъ, но различіе все еще велико и навсегда оста-

---

[1]) В. Евр. 1803, № 8.
[2]) Ib. 1802, № 19 (Извѣстія и замѣчанія).
[3]) Ib. 1803, № 6.
[4]) В. Евр. 1802, № 4.

нется (¹). Отправку молодыхъ людей за границу для изученія того, что преподается въ Московскомъ университетѣ, называетъ онъ поступкомъ неблагоразумнымъ, противнымъ долгу патріота (²). Чтобы возбудить любовь къ отечественному, котораго «русскіе французы» даже и не знали, Вѣстникъ отъ времени до времени представлялъ статьи о русской исторіи и литературѣ, о русской природѣ, о русскихъ примѣчательныхъ мѣстахъ (³). Но патріотизмъ Карамзина вовсе не походилъ на «квасной»: онъ былъ «дѣйствіемъ разсудка, а не слѣпой страсти», и потому равно сознавалъ какъ забываемыя нами національныя достоинства, такъ и незамѣчаемые нами національные недостатки. Обязанностью своего журнала поставилъ онъ напоминать первыя и обличать вторые,—обличать безъ злорадства, безъ «браннаго и сатирическаго духа», къ которому не чувствовалъ ни малѣйшей наклонности.

Стихотворенія доставлялись въ Вѣстникъ самимъ издателемъ, Державинымъ, Дмитріевымъ, В. Пушкинымъ, Нелединскимъ-Мелецкимъ и Жуковскимъ. Послѣднему принадлежатъ: «Вадимъ Новгородскій» и «Сельское кладбище», переводъ Греевой элегіи, съ котораго переводчикъ велъ начало своей поэтической дѣятельности, хотя онъ и былъ не первымъ ея опытомъ. Отдѣлъ переводовъ ниже отдѣла оригинальныхъ статей. Въ беллетристикѣ главное мѣсто отдано новымъ повѣстямъ (contes moraux) Жанлисъ. Надъ переводами трудился почти одинъ Карамзинъ, не имѣвшій для Вѣстника Европы, какъ и для Московскаго журнала, постоянныхъ сотрудниковъ. Нѣкоторую помощь оказывалъ ему В. Измайловъ, подражавшій слогу его, и Жуковскій, которымъ, кромѣ указанныхъ стихотвореній, написанъ еще разборъ «Поѣздки въ Малороссію» (кн. Шаликова).

Политическій отдѣлъ «Вѣстника» сообщалъ публикѣ извѣстія о важнѣйшихъ современныхъ событіяхъ и предлагалъ сужденія о нихъ. Первая часть его (передача новостей) не ограничивалась, по примѣру газетъ, сухими, короткими указаніями: издатель давалъ обстоятельное описаніе современнаго хода дѣлъ, останавливая вниманіе читателей на томъ, что дѣйствительно могло возбуждать къ себѣ интересъ. Вторая часть (сужденія) была новостью, до того

---

¹) Странность (В. Е. 1802., № 2).

²) О публичномъ преподаваніи наукъ въ Московскомъ университетѣ.

³) Историческія воспоминанія и замѣчанія на пути къ Троицѣ; О случаяхъ и характерахъ въ Россійской исторіи, которые могутъ быть предметомъ художествъ; Путешествіе вокругъ Москвы; Извѣстіе о Марѳѣ Посадницѣ; Записки стараго московскаго жителя; О московскомъ мятежѣ въ царствованіе Алексѣя Михайловича; Русская старина.

времени неизвѣстною въ русской журналистикѣ. Здѣсь Карамзинъ принялъ на себя обязанность публициста, которую и выдержалъ съ достоинствомъ. Собственныхъ его голосовъ немного, но всѣ они по праву занимали мѣсто въ его журналѣ на ряду съ голосами иностранной публицистики. Выборъ послѣднихъ производился съ умнымъ тактомъ и знаніемъ дѣла, изъ лучшихъ явленій политической прессы, наиболѣе же изъ Архенгольцевой Минервы, издававшейся съ 1792 по 1812 г.

Въ началѣ года, т. е. въ первой его книжкѣ, Карамзинъ излагалъ событія протекшаго времени. Подводя итогъ рѣшеннымъ дѣламъ, онъ, такъ сказать, забѣгалъ впередъ желаніями, перечислялъ pia desideria, согласныя съ его понятіями о возможномъ счастіи народовъ. Понятно, что судьба Франціи и ея властелина была у него на особенномъ виду, какъ и у всѣхъ его современниковъ. Нельзя не замѣтить и не назвать любопытнымъ недовѣріе, которое постоянно питалъ къ консулу русскій журналистъ и которое оправдалось дальнѣйшей исторіей. Самыя похвалы Бонапарту идутъ съ его пера какъ бы неохотно, выражаясь условно, съ оговорками, или припасаются для будущаго, когда время разъяснитъ силу дѣйствій и побужденій дѣятеля. Величанія Бонапарта «спасителемъ республики», «первымъ героемъ всѣхъ вѣковъ», «единственнымъ» и проч. и пр. кажутся ему преждевременными и подозрительными. Да и чѣмъ бы Бонапартъ могъ привлечь къ себѣ любовь человѣка съ такимъ образомъ мыслей, какой имѣлъ Карамзинъ? Консулъ французской республики не былъ властителемъ по его убѣжденіямъ и сердцу. Онъ стоялъ далеко отъ героевъ его романа или исторіи, потому что и романическіе и историческіе идеалы Карамзина были одни и тѣже — «друзья добра и человѣчества», одушевленные истинною любовью къ людямъ. Въ немъ Карамзинъ видѣлъ геніальнаго политика, отлично понимавшаго свой народъ и умѣвшаго управлять имъ, но въ тоже время наклоннаго къ захватамъ власти, не изъ героизма добродѣтели, а изъ видовъ честолюбія. Въ немъ—только что консулѣ—подозрѣвался или прозрѣвался уже монархъ. Вотъ почему Карамзинъ инстинктивно отъ него отворачивался, чуя въ его образѣ темную силу земнаго могущества.

Предметами политическихъ статей Карамзина служили именно тѣ событія, которыми болѣе или менѣе оправдывались его подозрѣнія. Такъ въ статьѣ по поводу устава «почетнаго легіона» онъ называетъ это учрежденіе странною выдумкою, удивительно сложною въ средствахъ для произведенія весьма обыкновеннаго

дѣйствія и годною развѣ для приманки народнаго тщеславія французовъ. Статья «о похитителяхъ», по поводу статьи такого же названія въ «Bulletin de Paris», раскрывая мысль парижскаго журнала, имѣвшаго въ виду подготовить общественное мнѣніе къ перемѣнѣ консульскаго сана на императорскій, прибавляетъ: «Все возможно, однакожъ мы еще не хотимъ вѣрить тому до времени. Видимъ только, что Бонапарте будетъ скорѣе Гіерономъ, нежели Тимолеономъ. Впрочемъ, друзья или льстецы его напрасно доказываютъ, что Бонапарте не есть похититель, и заранѣе бранятъ исторію: нѣтъ, она не назоветъ его симъ именемъ, а скажетъ, что онъ людей считалъ людьми и даже самъ не хотѣлъ быть выше человѣка. Не Бонапарте свергнулъ Бурбоновъ съ трона; не Бонапарте сдѣлалъ революцію: онъ только воспользовался ею для своего властолюбія». Особенно замѣчательна третья стятья: «Швейцарія», вызванная арестованіемъ Рединга, президента Швейцарской республики, и заключеніемъ его въ Арбургскій замокъ французскими властями. Наконецъ передовая политическая статья въ первой книжкѣ Вѣстника 1803 г.: «Взоръ на прошедшій (1802) годъ», раскрываетъ во всей ясности основную мысль издателя при его сужденіяхъ о главномъ историческомъ характерѣ тогдашней эпохи. Похваливъ консула за то, что онъ умертвилъ революцію и тѣмъ заслужилъ благодарность Франціи и даже Европы, Карамзинъ прибавляетъ въ заключеніи: «Пожалѣемъ, если консулъ не имѣетъ законодательной мудрости Солона и чистой добродѣтели Ликурга, который, образовавъ Спарту, самъ себя на вѣки изгналъ изъ отечества. Вотъ дѣло героическое, передъ которымъ всѣ Лоди и Маренго исчезаютъ! Черезъ 2700 лѣтъ оно еще воспаляетъ умъ, и добрый юноша, читая Ликургову жизнь, плачетъ отъ восторга... *Видно, что быть искуснымъ генераломъ и хитрымъ политикомъ гораздо легче, нежели великимъ, т. е. героически-добродѣтельнымъ человѣкомъ*». Въ этихъ словахъ разгадка того нерасположенія, которое Карамзинъ постоянно чувствовалъ къ правителю Франціи: Бонапартъ не представлялъ ему образца истиннаго величія, состоящаго въ героизмѣ добродѣтели.

Въ исторіи нашей періодической прессы Вѣстникъ Европы составляетъ эпоху, которая не скоро смѣнилась новой. Достоинство его содержанія, равно какъ и талантъ его издателя становятся еще понятнѣе при сравненіи первыхъ двухъ его годовъ съ послѣдующими. Всѣ другіе редакторы не возвысили, а понизили его уровень, не смотря на бо̀льшія средства. На успѣхъ журнала указываетъ самъ Карамзинъ въ письмѣ къ М. Н. Му-

равьеву, говоря, что онъ имѣлъ отъ него 6000 руб. доходу: цифра по тогдашнему времени значительная (¹).

§ 5. Такъ какъ изданіемъ «Вѣстника Европы» кончился первый періодъ дѣятельности Карамзина (1791—1803), собственно литературный, то мы ознакомимся съ его образомъ мыслей касательно нѣкоторыхъ важнѣйшихъ предметовъ, на сколько онъ выразился какъ въ журнальныхъ статьяхъ и въ сборникахъ (Аглаѣ, Аонидахъ), такъ и въ трудахъ отдѣльно изданныхъ, напр. въ Разговорѣ о счастіи.

а) «Разговоръ о счастіи», между Мелодоромъ и Филалетомъ, сопоставляетъ два другъ другу противоположныя мнѣнія: одно, что «счастія нѣтъ на землѣ»; другое, что «счастіе существуетъ». Защитникъ втораго мнѣнія—Филалетъ, говорящій отъ лица автора. Смыслъ его рѣчей состоитъ въ слѣдующемъ:

Человѣкъ не можетъ быть счастливъ, не будучи доволенъ самимъ собою. Самодовольство пріобрѣтается повиновеніемъ сердцу и разсудку. Сердце велитъ искать удовольствій, а разсудокъ—однихъ невинныхъ удовольствій, *согласныхъ съ законами природы*. Природа дала намъ чувства для того, чтобъ услаждать ихъ; дала разсудокъ для того, чтобъ выбирать лучшія наслажденія; дала страсти для того, что онѣ необходимы для дѣятельности въ физическомъ и нравственномъ мірѣ. Страсти въ своихъ границахъ благодѣтельны, внѣ границъ пагубны; границы долженъ назначать разсудокъ. Здѣсь Филалетъ является панегиристомъ страстей—любви, корыстолюбія, честолюбія, различая правильное ихъ дѣйствіе отъ пагубныхъ заблужденій. Природа употребила, съ своей стороны, всѣ средства удержать наши страсти въ *естественномъ*, или, что одно и тоже, въ *благомъ* ихъ теченіи, соединивъ съ истиннымъ путемъ живое удовольствіе, а съ заблужденіемъ—горе и страданіе. Не она виновата, если мы несчастны, и врожденныя склонности—источникъ вѣрныхъ благъ—превращаемъ въ источникъ золъ, вопреки ея доброму уставу. Человѣкъ долженъ быть творцемъ своего благополучія, приводя страсти въ счастливое равновѣсіе и образуя вкусъ для истинныхъ наслажденій, т. е. пріобрѣтая навыкъ соглашать чувства съ разсудкомъ. Доказавъ, что счастіе существуетъ, Филалетъ рѣшаетъ потомъ вопросъ: кто можетъ имъ пользоваться? Всѣ безъ исключенія. Истинныя удовольствія равняютъ людей. Естественное, иначе разумное, счастіе должно быть общимъ достояніемъ человѣчества, не собственностью нѣкоторыхъ избран-

¹) Статьи В. Евр. 1802—1803 г. перечислены въ «Указателѣ къ Вѣстнику Европы 1802—1830 г.», составленномъ М. Полуденскимъ (1861).

ныхъ людей. Это равенство счастія состоитъ не въ равной суммѣ благъ, данныхъ каждому человѣку, а въ равенствѣ чувства, которымъ наслаждается каждый данною ему долею блага. Оно не количественное, а качественное; не отношеніемъ къ другимъ долямъ оно измѣряется: его мѣра—въ личномъ ощущеніи, во внутреннемъ самодовольствѣ каждаго смертнаго. Добро присуще человѣческой природѣ, и потому стремленіе къ добродѣтели есть общее для всѣхъ. Въ заключеніи «Разговора», Филалетъ короткими словами выражаетъ свою доктрину: «Возможное земное счастіе состоитъ въ дѣйствіи врожденныхъ склонностей, покорныхъ разсудку, въ хорошемъ употребленіи физическихъ и душевныхъ силъ. *Быть счастливымъ есть быть вѣрнымъ исполнителемъ естественныхъ мудрыхъ законовъ; а такъ какъ эти законы основаны на общемъ добрѣ, то быть счастливымъ есть быть добрымъ.*

Эта доктрина—такъ-называемый «оптимизмъ», выражаемый опредѣленною формулою: «все въ мірѣ благо, все устроено къ наилучшему концу».

Въ томъ видѣ, какъ представляетъ его Карамзинъ, оптимизмъ есть произведеніе англійскаго деизма. Лордъ Шафтсбери, одинъ изъ главнѣйшихъ деистовъ, изложилъ свое ученіе въ «Разсужденіи о добродѣтели» и въ рапсодіи «Моралисты» (1709). Содержаніемъ послѣдней, равно какъ и «Θеодицеи» Лейбница (1710), служитъ идея о наилучшемъ мірѣ. Міросозерцаніемъ Шафтсбери возобладала поэзія: «Времена года», Томсона, и «Опытъ о человѣкѣ», Попа, изображаютъ совершенство міровой архитектоники. Особенно важна дидактическая поэма Попа (1733). Содержаніе и цѣль ея сокращенно указаны заключительными стихами. Авторъ старался доказать, что въ мірѣ все благо; что между естественными страстями и разумомъ нѣтъ противорѣчія; что любовь человѣка къ ближнимъ нераздѣльно связана съ его любовью къ самому себѣ; что главнѣйшая наука есть самопознаніе; что счастье есть плодъ добродѣтели. Оптимизмъ Попа перенесенъ во Францію Вольтеромъ, написавшимъ дидактическія поэмы: «Разсужденіе о человѣкѣ» (1748) и «Естественный законъ» (1752).

«Опытъ о человѣкѣ» переведенъ на русскій языкъ Поповскимъ. Доктрина, въ немъ изложенная, была усвоена нашими учеными и литераторами. Имя Попа, или «Попія», цитовалось какъ авторитетъ. Рѣчь профессора московскаго университета Аничкова «о превратныхъ понятіяхъ человѣческихъ, происходящихъ отъ излишняго упованія, возлагаемаго на чувства» (1779), содержатъ въ себѣ слѣдующія слова: «все устрояется промысломъ Божіимъ во благое, хотя бы мы чего своимъ разумомъ и постигнуть не могли,

какъ то и славный англійскій стихотворецъ Попій объясняетъ». Стихотворцы наши или прямо обращались къ Попу, переводя его сочиненія, или въ собственныхъ піесахъ выражали ученіе оптимизма. Изъ числа послѣднихъ укажемъ на «Стансы Богу» и «Письмо къ Г. А. и Д.», Княжнина. Нѣтъ сомнѣнія, что Карамзинъ читалъ «Опытъ о человѣкѣ» и въ переводѣ Поповскаго, и въ подлинникѣ. Переводомъ Галлеровой поэмы «о происхожденіи зла», онъ показалъ, что вопросъ, занимавшій нѣкогда великихъ мыслителей, не былъ чуждъ и ему. Ничего не приложилъ онъ отъ себя къ рѣшенію вопроса, но, по крайней мѣрѣ, зналъ, какъ онъ рѣшается другими. Основное понятіе Шафтсбери, Лейбница и Попа ясно передано въ поэмѣ: «міръ сотворенъ ко счастію гражданъ; всеобщее благо одушевляетъ натуру и все ознаменовано добромъ величайшимъ». Наклонность Карамзина къ оптимистическому возрѣнію опредѣленнѣе обнаружилось по возвращеніи изъ за-границы, въ первый же годъ изданія Московскаго журнала. Оптимизмъ выступаетъ здѣсь какъ profession de foi журналиста, и хотя ни одна статья не излагаетъ его въ цѣломъ составѣ, какъ стройную совокупность понятій, но положенія его встрѣчаются нерѣдко разсѣянныя тамъ и здѣсь. Чѣмъ инымъ объяснить эпиграфъ къ цѣлому годовому изданію журнала, взятый изъ «Опыта о человѣкѣ»: «удовольствіе, ложно или справедливо понимаемое, есть величайшее зло или величайшее благо?» Выборъ эпиграфа—не случайность. Имѣлся, конечно, сознательный поводъ пустить въ свѣтъ изданіе подъ такимъ знаменемъ. Между статьями Московскаго журнала за первый годъ помѣщены письмо Беля къ Шафтсбери и отвѣтъ послѣдняго, ясно выражающій основное понятіе англійскаго деиста: «въ царствѣ Бога все должно быть благо, и все зло—призракъ, исчезающій тогда, когда обозримъ весь планъ Его творенія». Изъ «разныхъ отрывковъ», напечатанныхъ въ 6-й части Московскаго журнала, замѣчателенъ восьмой ([1]), какъ свидѣтельство не только живаго сочувствія къ природѣ, но и деистическаго на нее воззрѣнія. Деизмъ проглядываетъ въ разныхъ статьяхъ Карамзина и послѣ изданія «Московскаго журнала». Видъ сельской природы, въ пьесѣ «Деревня» (1792), напоминаетъ автору лѣта его младенчества, когда «духъ его воспитывался въ простотѣ естественной, когда ударъ грома, сообщивъ ему первое понятіе о величествѣ Міроправителя, былъ основаніемъ его религіи». Въ «Цвѣткѣ на гробъ моего Агатона» онъ обращается къ при-

[1]) Онъ начинается слѣдующими словами: «мысль о смерти была бы для меня не столь ужасна».

родѣ съ воплемъ сомнѣнія: «величественная натура... или Ты, котораго назвать не умѣю». Взглядъ оптимиста виденъ и въ «Аѳинской жизни (1793)». Карамзинъ отдаетъ грекамъ преимущество предъ нами за то, что они болѣе, чѣмъ какой-либо другой народъ, занимались важнымъ искусствомъ счастія; что цѣлью ихъ жизни было наслажденіе, котораго они искали съ жаромъ страсти, съ живѣйшимъ чувствомъ потребности. И послѣ «Разговора» Карамзинъ оставался вѣренъ оптимизму, какъ видно изъ нѣкоторыхъ статей Вѣстника Европы на 1802 г. Разсказывая исторію своего младенчества въ «Рыцарѣ нашего времени» (1), онъ говоритъ, что «безъ страстей нѣтъ ничего прелестнаго въ свѣтѣ». «Разсужденіе о любви къ отечеству и народной гордости» (2), раздѣливъ эту любовь на три вида: физическую, нравственную и политическую, основаніемъ первой полагаетъ то, что «въ свѣтѣ нѣтъ ничего милѣе жизни», что «жизнь есть первое счастіе». По словамъ того же сочиненія, «самая лучшая философія есть та, которая основываетъ должности человѣка на его счастьи», то есть на добродѣтели, ибо, какъ намъ уже извѣстно, «быть счастливымъ есть быть добрымъ» (3).

Но вскорѣ за рѣшительными свидѣтельствами оптимистическаго взгляда Карамзина мы видимъ поворотъ его мыслей въ совершенно-

---

1) Вѣстн. Евр. 1802 г., № 13.

2) Ib. № 4.

3) Указаніе сочиненій, въ которыхъ послѣ «Разговора о счастіи», выражается оптимизмъ, сюда не относится. Нельзя однакожъ умолчать о нѣкоторыхъ литературныхъ явленіяхъ, по своему содержанію относящихся къ одному разряду съ сочиненіемъ Карамзина. Таковъ напримѣръ Клеантовъ «Гимнъ Юпитеру», переложенный на русскій языкъ, съ нѣмецкаго перевода, Державинымъ подъ названіемъ «Гимнъ Богу» (1800). (Сочиненія Державина т. 2, изд. Акад. Наукъ). Таковы два посланія И. Крылова: «о пользѣ страстей», 1808 г. и «о пользѣ желаній». Въ журналахъ ближайшихъ къ тому времени, въ которое написанъ «Разговоръ», встрѣчаются взгляды Карамзина. «Ипокрена» (1799—1801) содержитъ въ себѣ два стихотворенія: «Делія» (переводъ съ англійскаго) и «Чувственность» (Д. Колоколова). Первое изъ нихъ заключается тѣмъ же самымъ, чѣмъ заключенъ «Разговоръ»:

Чтобъ быть счастливыми, быть добрыми должны.

Второе развиваетъ мысль, что все естественное-благо:

Что врожденно—безпорочно,
Всякъ быть долженъ философъ.

Понятно, какого рода эта философія: она—оптимизмъ, по ученію котораго природа влечетъ всѣхъ къ добру:

Чувствамъ нашимъ что пристойно,
То не должно нарушать.
Въ свѣтѣ все благоустройно:
Что намъ свѣтъ перемѣнять?

другую сторону. Небольшое пространство времени (меньше года) лежитъ между двумя противоположными понятіями. Отъ убѣжденія, что «жизнь есть первое счастіе», что «въ мірѣ все прекрасно», Карамзинъ перешелъ къ убѣжденію, что «здѣшній міръ есть училище терпѣнія», что «вездѣ и во всемъ окружаютъ насъ недостатки». Защитникъ оптимизма опровергаетъ оптимизмъ; послѣдователь Лейбница и Попа становится ихъ противникомъ. Этотъ новый взглядъ на жизнь изложенъ въ разсужденіи «о счастливѣйшемъ времени жизни» ([1]), гдѣ вопросъ о счастливѣйшимъ возрастѣ жизни замѣняется, соотвѣтственно новому воззрѣнію автора, другимъ: какой возрастъ жизни менѣе несчастливъ, или, что одно и тоже, какой возрастъ счастливѣйшій относительно, по сравненію его съ другими возрастами? Рѣшеніе вопроса, въ настоящемъ разсужденіи, измѣняется вмѣстѣ съ перемѣною взгляда на всю человѣческую жизнь. Прежде Филалетъ, въ отвѣтѣ Мелодору ([2]), называлъ юность краснымъ утромъ жизни, «лучшею эпохою нравственнаго бытія», а здѣсь счастливѣйшею эпохою нашего существованія называется послѣдняя степень физической зрѣлости, т. е. возмужалость: «какъ плодъ дерева, такъ и жизнь бываетъ всего сладостнѣе передъ началомъ увяданія».

Согласить различныя понятія объ одномъ и томъ же предметѣ невозможно: противоположности не примиряются. Но можно объяснить поводъ къ переходу отъ одного понятія къ другому, прямо ему противоположному.

Усвоеніе извѣстнаго взгляда на природу и нравственный міръ зависитъ, съ одной стороны, отъ характера личности, а съ другой—отъ характера того образованія, которое принадлежало небольшому классу людей просвѣщенныхъ.

Отличительными свойствами Карамзина были чувствительность и благодушіе. Направляемый ими, онъ смотрѣлъ на людей и природу съ доброй, свѣтлой точки зрѣнія, глазами расположенія и любви. «Я никогда не бывалъ мизантропомъ», говоритъ онъ, «даже и въ такихъ обстоятельствахъ, которыя могли бы извинить маленькую досаду на людей». Въ сочиненіяхъ его не открываешь не только мрачнаго настроенія души, но и дурнаго расположенія духа. «Дурной нравъ» и «скуку» онъ почиталъ самыми жестокими бичами сердца. Онъ не имѣлъ наклонности ни къ сатирѣ, ни къ жалобамъ на судьбу: всѣ іереміады, выражающія недовольство, возбуждали его неодобреніе. Обстоятельства жизни благопріятство-

---

[1]) Вѣст. Евр. 1803.

[2]) Письма Мелодора къ Филалету и Филалета къ Мелодору, въ Аглаѣ (1794).

вали развитію такихъ благодушныхъ инстинктовъ. Карамзинъ, не смотря на свою молодость, пользовался рѣдкою литературною извѣстностью и занималъ счастливое положеніе въ свѣтѣ. Завѣтныя желанія его исполнились: онъ совершилъ путешествіе за границу; по возвращеніи посвятилъ себя литературѣ, согласно наклонностямъ сердца и убѣжденію просвѣщеннаго гражданина; въ обществѣ знакомыхъ нашелъ онъ удовлетвореніе и дружбы и любви. Все въ немъ и вокругъ него устроилось хорошо и пріятно; будущее могло обѣщать еще лучшее и пріятнѣйшее. Человѣкъ мыслящій и просвѣщенный, какимъ былъ Карамзинъ, всегда чувствуетъ потребность въ основныхъ убѣжденіяхъ, въ доктринѣ. Для Карамзина выборъ доктрины предопредѣлялся врожденными качествами, житейскими обстоятельствами и характеромъ образованія. Онъ остановился на оптимизмѣ, который согласовался съ естественнымъ расположеніемъ души его, съ чувствомъ его сердца и, какъ гипотеза, удачно объяснялъ явленія, не только въ его собственной жизни, но и въ сферѣ нравственнаго міра вообще.

Но гипотеза до тѣхъ поръ сохраняетъ свою достовѣрность, пока значеніе предметовъ, наиболѣе содѣйствовавшихъ ея усвоенію, остается неизмѣннымъ. Съ перемѣною обстоятельствъ жизни, которыя играютъ въ этомъ случаѣ очень важную роль, измѣняется и гипотеза. Отвлеченному легко можетъ встрѣтиться противорѣчіе въ реальномъ, предполагаемому въ дѣйствительно-существующемъ, понятію, относящемуся ко всѣмъ явленіямъ, въ явленіи отдѣльномъ — въ жизни одного человѣка. Для спасенія гипотезы надобно примирить всеообщее съ индивидуальнымъ, а примирить ихъ нѣтъ возможности, и потому необходимо допустить одно изъ двухъ: или невѣрна мысль, служившая къ объясненію міроваго устройства, или ложно собственное, личное чувство человѣка. На послѣднее человѣкъ рѣшиться не въ силахъ: это — естественный крикъ его самоощущенія, непреложный опытъ его плоти и крови. Остается слѣдовательно признать невѣрность основной мысли.

Противорѣчія между жизнью лица и понятіемъ этого лица о жизни вообще не избѣгнулъ и Карамзинъ. Тяжкая горесть посѣтила его въ 1803 г.: онъ лишился первой супруги своей. Въ это время семейной утраты и меланхоліи, явилось разсужденіе «о счастливѣйшемъ времени жизни». Чувство сердца заставило автора обратиться къ печальному взгляду на жизнь, какъ прежде сердечное же чувство сказалось въ оптимизмѣ. Элегическій конецъ разсужденія есть вѣрный отголосокъ тогдашняго состоянія души Карамзина, соотвѣтствуетъ главной его мысли и кромѣ того указываетъ на печальное событіе въ его жизни. Теченіе времени не

остается также безъ вліянія на перемѣну образа мыслей. Зрѣлыя лѣта приносятъ съ собою и новый, болѣе зрѣлый взглядъ на вещи. Отдавая предпочтеніе возмужалости, Карамзинъ имѣлъ въ виду свои собственные 37 лѣтъ, на что указываютъ слѣдующія строки разсужденія: «человѣкъ *за тридцать пять лѣтъ*, безъ сомнѣнія, не пылаетъ уже такъ страстями, какъ юноша, а въ самомъ дѣлѣ можетъ быть гораздо его счастливѣе».

б) Карамзинъ прожилъ во Франціи четыре мѣсяца (съ марта по іюль 1790 г.), въ ту эпоху учредительнаго собранія, которая замѣчательна не столько событіями, сколько болѣе и болѣе выступавшимъ распаденіемъ народныхъ представителей на партіи. Важныя событія уже совершились прежде его пріѣзда и еще имѣли совершиться по возвращеніи его на родину. Созваніе государственныхъ чиновъ и сліяніе ихъ въ одно нераздѣлимое представительство, взятіе и разрушеніе Бастиліи, отмѣна сословныхъ привилегій, возстаніе Парижа, отобраніе имѣній, принадлежавшихъ духовенству, уничтоженіе монашескихъ орденовъ, все это послѣдовало въ первый годъ революціи, съ мая 1789 по мартъ 1790 г. Путешественникъ приближался къ Парижу съ пасмурными мыслями. Описывая берега Сены, онъ находилъ возможнымъ будущее запустѣніе Франціи: кто поручится, спрашивалъ онъ, чтобы это прекраснѣйшее въ свѣтѣ государство рано или поздно не уподобилось нынѣшнему Египту? О самомъ государственномъ переворотѣ въ письмахъ говорится рѣдко; однакожъ изъ немногихъ словъ, сюда относящихся, легко разумѣть, какъ смотрѣлъ на него авторъ. По поводу уличной исторіи въ Ліонѣ, онъ называетъ ее дѣломъ празднолюбцевъ, не хотящихъ работать съ эпохи «такъ называемой французской свободы» или, вѣрнѣе, «страшнаго народнаго деспотизма». Въ революціи онъ видитъ «ужасную политическую перемѣну».

Карамзинъ и не могъ стать въ другое отношеніе къ событію XVIII вѣка во Франціи. Если бы онъ и одобрялъ нѣкоторые его результаты, то съ самымъ способомъ, какимъ результаты были достигнуты, онъ ни на какихъ условіяхъ не пошелъ бы на мировую сдѣлку. Словомъ «переворотъ» обозначается понятіе о грозныхъ потрясеніяхъ, насильственныхъ мѣрахъ и крайностяхъ, а это не согласовалось ни съ чувствомъ Карамзина, ни съ его образованіемъ, ни съ его взглядомъ на развитіе государственнаго организма. Подобно многимъ своимъ современникамъ, онъ могъ еще ожидать добра при началѣ событія, но подобно имъ же вскорѣ назвалъ свое ожиданіе призракомъ, потому что жертвами переворота падали невинные на ряду съ виновными; имъ нарушался

спокойный токъ общественной и частной жизни; въ немъ не обходилось безъ пролитія крови; во имя правъ чеяовѣка совершались кровавыя историческія драмы. Онъ положительно говоритъ, что нельзя полюбить англичанъ, читая ихъ исторію, потому что она богата злодѣйствами и потому что, по числу жителей, въ Англіи больше чѣмъ въ другихъ земляхъ погибло народу отъ внутреннихъ мятежей. Хотя ему и было извѣстно, что революціонные дѣятели выставляли идеи Руссо своимъ знаменемъ, однакожъ онъ думалъ, что Руссо, какъ «чувствительный и добродушный» философъ, объявилъ бы себя первымъ врагомъ революціи. Образованіе, и домашнее и въ пансіонѣ Шадена, а потомъ связи съ Новиковскимъ кругомъ укрѣпили Карамзина въ правилахъ строгаго повиновенія существующитъ законамъ. Однимъ изъ коренныхъ постановленій масонства требовалась безусловная покорность предержащей власти. Такъ называемая «Книга конституцій,» или «древнихъ обязанностей», составленная англиканскимъ проповѣдникомъ Андерсономъ и признанная въ 1723 г. основнымъ законоположеніемъ для членовъ братства, предписываетъ каждому изъ нихъ исполнять, безъ всякихъ ограниченій, долгъ вѣрноподданнаго. Тоже предписаніе внесено и въ уложеніе русскихъ масонскихъ ложъ ([1]), которыя въ каждомъ сословіи, имѣвшемъ передъ лицемъ государя какую-нибудь тайну касательно правительства, совершенно справедливо видѣли противозаконное, вредное общество въ обществѣ.

На темпераментѣ, образованіи и знакомствѣ съ исторіей установились понятія Карамзина о прогрессѣ гражданскихъ обществъ и каждаго человѣка въ отдѣльности. Измѣненія, совершаемыя съ цѣлью улучшить строй государства или бытъ народа, не могли не возбуждать его полнаго сочувствія, но онъ твердо держался своего взгляда на характеръ перемѣнъ, на способъ, какимъ онѣ производятся, и на дѣятелей, которыми ведутся. По его мнѣнію, новый порядокъ вещей долженъ возникать на исторической почвѣ, на основахъ того, что выработано жизнію народа, а не на развалинахъ его прошедшаго и настоящаго. Другими словами: онъ видѣлъ различіе между реформой и революціей,—между системою преобразованій, которая на мѣсто прежняго, отживающаго свой вѣкъ, воздвигаетъ лучшее, болѣе отвѣчающее потребностямъ времени, и системою преобразованій, которыя съ корнемъ вырываютъ

---

[1]) Уложеніе великой массонской ложи Астреи на в. (востокѣ) С.-Петербурга, Ч. 2-я, 5815 (т. е. 1815 г.). NB. Масоны вели свое лѣтосчисленіе за 4000 лѣтъ до Р. Х., которыя и прилагали къ годамъ, протекшимъ отъ Р. Х.

старое во имя какой-нибудь доктрины. Въ первомъ случаѣ, перемѣны совершаются извнутри народной жизни: это есть собственно развитіе, требуемое каждымъ организмомъ, слѣд. и государственнымъ; во второмъ, перемѣны берутся извнѣ, изъ сферы общихъ, отвлеченныхъ началъ и соображеній: это не развитіе, а насильственный переломъ, переворотъ. Маколей, въ своей Исторіи Англіи, провелъ различіе между этими двумя способами государственныхъ преобразованій: историческимъ, орудіями котораго служатъ законность и преданіе, и теоретическимъ, или философскимъ, который, сходя съ исторической почвы, думаетъ строить государство à priori, по кабинетной идеѣ или по примѣру Аѳинъ и Рима. Съ первой точки зрѣнія Боркъ, государственный мужъ, смотрѣлъ на современную ему, первую французскую революцію. Мнѣніе Карамзина вытекало изъ однихъ основаній съ вышеизложенными: «всякое гражданское общество, вѣками утвержденное», говоритъ онъ, «есть святыня для гражданъ; насильственныя потрясенія гибельны; мудрые умы знаютъ опасность перемѣнъ, тогда какъ умамъ легкимъ все кажется легко».

Преобразованія должны совершаться дѣйствіемъ времени, посредствомъ медленныхъ, но вѣрныхъ, безопасныхъ успѣховъ разума, просвѣщенія, воспитанія, добрыхъ нравовъ. Таково убѣжденіе Карамзина, заявленное имъ еще въ письмахъ изъ Франціи, и болѣе и болѣе крѣпчавшее въ его сознаніи. Неизмѣнно руководствуясь имъ, онъ обсуждалъ внутреннюю и внѣшнюю политику, успѣхи или неуспѣхи гражданскаго общества. Московскій Журналъ не подавалъ голоса о политическихъ дѣлахъ Европы, за неимѣніемъ особаго для того отдѣла. Но въ статьяхъ Аглаи (1794), особенно въ полемикѣ противъ Руссо (Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи) и въ письмахъ Мелодора къ Филалету и Филалета къ Мелодору, мы встрѣчаемся съ образомъ мыслей Карамзина по поводу событій, которыя въ то время занимали весь міръ. Эти событія быстро слѣдовали одни за другими. Сентябрскія убійства, вліяніе якобинцевъ на всю государственную жизнь Франціи, объявленіе ея республикой, повсемѣстная анархія и наконецъ казнь короля потрясли даже наиболѣе смѣлыхъ энтузіастовъ переворота: они съ ужасомъ отступили передъ неожиданнымъ разливомъ того, что началось провозглашеніемъ «правъ человѣка», и подобно Лафатеру должны были сознаться, что трагедія, которая разыгрывалась во Франціи, есть дѣло людей, а не благаго провидѣнія, какъ имъ прежде казалось. Общее многимъ смятеніе ума и сердца Карамзинъ выразилъ въ означенной перепискѣ. На Мелодора и Филалета слѣдуетъ смотрѣть не какъ на двѣ разныя

личности, а какъ на одного и того же человѣка въ двухъ послѣдовательныхъ моментахъ ехо духа: Мелодоръ—это самъ Карамзинъ, взволнованный революціонными событіями; Филалетъ—это Карамзинъ же, успокоенный вѣрою въ преходимость зла, какъ бы оно ни было велико, и въ непреложное торжество добра и истины, какъ бы долго оно ни заставляло себя ожидать. Но тревожному состоянію Мелодора предшествовало другое, противоположное: разочарованный въ своихъ надеждахъ теперь, онъ былъ ими очарованъ прежде. Что же именно его очаровывало? какія питалъ онъ надежды?

Карамзинъ отвергалъ революцію и за ея мѣры, несогласныя съ желаннымъ для филантропа способомъ государственнаго развитія, и за ея послѣдствія, возмущавшія сердце чувствительнаго философа, но онъ признавалъ ученія XVIII-го вѣка, къ которымъ событіе относилось, какъ крайній выводъ къ первоначальной посылкѣ. Это видно изъ слѣдующихъ словъ Мелодора Филалету: «Кто болѣе нашего славилъ преимущества осьмагонадесять вѣка? свѣтъ философіи, смягченіе нравовъ, тонкость разума и чувства, размноженіе жизненныхъ удовольствій, всемѣстное распространеніе духа общественности, тѣснѣйшую и дружелюбнѣйшую связь народовъ, кротость правленій?... *Конецъ нашего вѣка* почитали мы концемъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества и думали, что въ немъ послѣдуетъ важное, общее *соединеніе теоріи съ практикою, умозрѣнія съ дѣятельностію*; что люди, увѣрясь въ изящности законовъ чистаго разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности и подъ сѣнію мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, насладятся истинными благами жизни». Сильнѣе и сильнѣе крѣпло въ его умѣ убѣжденіе, выводимое изъ сличенія древнихъ временъ съ новыми, что «родъ человѣческій возвышается, и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается къ духовному совершенству». Онъ смотрѣлъ на природу, какъ «на обширный садъ, въ которомъ зрѣетъ *божественность человѣчества*». Эта утѣшительная мысль рушилась въ своемъ основаніи французскими событіями: «свирѣпая война опустошаетъ Европу, столицу искусствъ и наукъ, хранилище всѣхъ драгоцѣнностей ума человѣческаго; милліоны погибаютъ; города и села исчезаютъ въ пламени; цвѣтущія страны превращаются въ горестныя пустыни». Филантропъ, съ такою чувствительной организаціей, какую имѣлъ Карамзинъ, не могъ, при видѣ общенародныхъ бѣдствій, не почитать себя несчастнымъ, и потому-то онъ обращается съ патетическимъ упрекомъ къ XVIII вѣку: «вѣкъ просвѣщенія, не узнаю тебя! въ крови и пламени не узнаю тебя! среди убійствъ и разрушенія не узнаю

тебя!» Но свирѣпая война, гибель милліоновъ, пожаръ городовъ и селъ, запустѣніе благословенныхъ странъ не составляютъ еще главныхъ ужасовъ революціи. Есть другое, сильнѣйшее зло, которымъ она угрожаетъ міру. Карамзинъ всего больше страшится ненавистниковъ науки: ихъ мнѣніе можетъ сдѣлаться общимъ мнѣніемъ, которое вооружится противъ философіи, противъ просвѣщенія, находя въ нихъ источникъ зла. Паденіе цивилизаціи кажется ему не только вѣроятнымъ, но и неминуемымъ. Этотъ благородный страхъ напоминаетъ письмо Ломоносова о смерти Рикмана. Какъ Ломоносовъ опасался, что смерть профессора будетъ перетолкована не въ пользу занятій науками, такъ Карамзинъ опасается, что бѣдствія революціи будутъ перетолкованы во вредъ просвѣщенію и заподозрятъ его благотворное вліяніе на нравственность.

Филалетъ возстановляетъ утѣшительную систему друга. Онъ заключаетъ свои разсужденія хвалебнымъ просвѣщенію гимномъ: «просвѣщеніе всегда благотворно; просвѣщеніе ведетъ къ добродѣтели, доказывая намъ тѣсный союзъ частнаго блага съ общимъ и открывая неизсякаемый источникъ въ собственной груди нашей; просвѣщеніе есть лекарство для испорченнаго сердца и разума; одно просвѣщеніе животворно дѣйствуетъ на нравственность; въ одномъ просвѣщеніи найдемъ мы противоядіе для всѣхъ бѣдствій человѣчества».

Выразивъ опасеніе за судьбу наукъ, Карамзинъ взялъ на себя ихъ защиту въ статьѣ: «Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи». Это рядъ замѣтокъ на извѣстное разсужденіе Руссо. Цѣль полемической статьи очевидна: Руссо отвѣчалъ отрицательно на вопросъ, предложенный Дижонскою Академіею: «возстановленіе наукъ и искусствъ способствовало ли улучшенію нравовъ?» Карамзину слѣдовало, напротивъ, доказать, что просвѣщеніе ведетъ къ добродѣтели. О пользѣ наукъ для развитія ума и обогащенія его познаніями не было надобности разсуждать: никто не оспаривалъ ихъ дѣйствія съ этой стороны. Онѣ подвергались строгому суду за ихъ вредное дѣйствіе на общественную нравственность. Науки портятъ нравы, говорилъ Руссо, нашъ просвѣщенный (т. е. восьмнадцатый) вѣкъ служитъ тому доказательствомъ. За нимъ повторяли тоже многіе современники Карамзина, указывая на Францію, какъ на одну изъ просвѣщеннѣйшихъ странъ въ мірѣ. Надобно было отвергнуть этотъ доводъ, имѣвшій наибольшее значеніе для самого апологиста. Карамзинъ отвергаетъ его свидѣтельствами исторіи: изъ нихъ видно, что нравы прошедшихъ вѣковъ были не лучше, а хуже нравовъ XVIII вѣка. Послѣднему

ставятъ въ вину утонченное притворство, забывая его источникъ: оно проистекаетъ изъ желанія порока скрываться подъ личиною добродѣтели, а это служитъ доказательствомъ, что современные намъ люди гнушаются порокомъ больше, чѣмъ гнушались имъ прежде. Свѣтская учтивость, которую новые мизантропы называютъ сусальнымъ золотомъ XVIII вѣка, въ глазахъ философа есть цвѣтъ общежитія, своего рода добродѣтель, слѣдствіе утонченнаго человѣколюбія, которое поставляетъ себѣ въ обязанность и малыми знаками—ласковымъ словомъ, привѣтливымъ взоромъ—оказывать ближнему благорасположеніе, но которое не пресѣкаетъ возможности великихъ жертвъ на пользу отдѣльнаго человѣка и цѣлаго общества. Важнѣйшею наукою Карамзинъ почитаетъ мораль (нравственную философію): она доказываетъ человѣку, что для собственнаго счастія онъ долженъ быть добрымъ (положеніе, развитое потомъ въ Разговорѣ о счастіи); представляетъ ему необходимость и пользу гражданскаго порядка; соглашаетъ его волю съ законами, и дѣлаетъ свободнымъ въ самыхъ узахъ.... однимъ словомъ, могъ бы добавить авторъ, устраняетъ возможность печальныхъ явленій, господствующихъ во Франціи, гдѣ свобода обратилась въ деспотизмъ массы и со временемъ обратится въ военный деспотизмъ. Не одна мораль, эта «альфа и омега наукъ и искусствъ», но всѣ онѣ вообще облагороживаютъ душу, дѣлаютъ ее чувствительною и нѣжною, возбуждаютъ въ ней любовь къ порядку, гармоніи, добру, слѣдственно ненависть къ безпорядку, разгласію и порокамъ, которые разстраиваютъ прекрасную связь общежитія.... примѣръ чего, подразумѣвалъ при этихъ словахъ авторъ, видимъ въ современной Франціи.—Но современную Францію, могли возразить ему, нельзя же не назвать просвѣщенною; а между тѣмъ ея современное знаменуется кровью и слезами. На это возраженіе Карамзинъ далъ уже отвѣтъ въ письмѣ Филалета къ Мелодору: «если осьмнадцатый вѣкъ ознаменуется въ книгѣ бытія кровью и слезами, то онъ не могъ именовать себя просвѣщеннымъ». Смыслъ отвѣта слѣдующій: я не признаю современную Францію просвѣщенною, если знаменіемъ ея просвѣщенія останутся въ исторіи только слезы и кровь; я готовъ жертвовать такъ называемымъ ея просвѣщеніемъ; не о такомъ просвѣщеніи говорю я и не такое мнѣ надобно: мнѣ надобно просвѣщеніе, приводящее не къ тому, что представляютъ ужасы революціи, а къ тому, что совершенно противоположно этимъ ужасамъ.

Впрочемъ, голосъ хулителей науки не очень смущалъ Карамзина. Они могли кричать сколько имъ угодно, но не отъ нихъ зависѣли мѣры, враждебныя просвѣщенію. Это было во власти

*

высшаго правительства, если бы оно открыло внутреннюю связь между развитіемъ народнаго образованія и смутными обстоятельствами эпохи. И потому Карамзинъ, писавшій свои замѣтки на Руссо при Екатеринѣ, вспомнилъ мысль, высказанную въ Наказѣ, вслѣдъ за Монтескье и Беккаріей, и повторилъ ее въ своей статьѣ: «Законодатель и другъ человѣчества! ты хочешь общественнаго блага? да будетъ же первымъ закономъ твоимъ — просвѣщеніе!» Зная, что въ Россіи, какъ монархіи, система дѣйствій по каждому вѣдомству опредѣляется волею самодержца, онъ обращается съ совѣтомъ къ самодержавію: «Просвѣщеніе есть палладіумъ благонравія, и когда вы, которымъ вышняя власть поручила судьбу человѣковъ, желаете распространить на землѣ область добродѣтели, то любите науки и не думайте, чтобы онѣ могли быть вредны, чтобы какое нибудь состояніе въ гражданскомъ обществѣ долженствовало пресмыкаться въ грубомъ невѣжествѣ... Всѣ люди имѣютъ душу, имѣютъ сердце: слѣдственно всѣ могутъ наслаждаться плодами искусства и науки, и кто наслаждается ими, тотъ дѣлается лучшимъ человѣкомъ и спокойнѣйшимъ гражданиномъ». Здѣсь, кромѣ благородной боязни за просвѣщеніе вообще, за русское въ особенности, видно еще—говоря словами самого автора—«желаніе всеобщаго, никакими сферами неограниченнаго блага» (1). Карамзинъ требуетъ образованія для простаго народа и признаетъ возможность просвѣщенныхъ у насъ земледѣльцевъ, ставя въ примѣръ многихъ швейцарскихъ, англійскихъ и нѣмецкихъ поселянъ, которые, обработывая землю, собираютъ библіотеки и читаютъ Гомера, а нѣкоторые и сами пишутъ стихи, что не мѣшаетъ имъ быть трудолюбивыми работниками, довольными своею долею.

Замѣтки на сочиненіе Руссо оканчиваются идеальнымъ представленіемъ будущаго гражданскаго устройства: «Когда свѣтъ ученія, свѣтъ истины озаритъ всю землю и проникнетъ въ темнѣйшія пещеры невѣжества: тогда, можетъ быть, исчезнутъ всѣ нравственныя гарпіи, доселѣ осквернявшія человѣчество, тогда, можетъ быть, настанетъ златой вѣкъ поэтовъ, вѣкъ благонравія,— и тамъ, гдѣ возвышаются теперь кровавые эшафоты, тамъ сядетъ добродѣтель на свѣтломъ тронѣ». Человѣку, видѣвшему вовсе не утопическое состояніе Франціи, естественно было мечтать объ утопіи. Но недовольство настоящимъ можетъ искать отрадныхъ себѣ идеаловъ столько же въ далекомъ прошедшемъ, сколько и въ далекомъ будущемъ. Идеалъ перваго рода Карамзинъ находилъ въ «Аѳинской жизни» (1793), воображаемая картина которой служила

---

1) Что нужно автору?

ему отводомъ отъ неизящныхъ картинъ революціи. Заключеніе статьи даетъ знать о поводѣ къ ея сочиненію: «завтра поутру», говоритъ авторъ, «гамбургскія газеты извѣстятъ меня объ ужасномъ безумствѣ нашихъ просвѣщенныхъ современниковъ».

На вопросъ: какому образу правленія Карамзинъ отдавалъ преимущество? сочиненія его даютъ возможность отвѣчать довольно положительно. По убѣжденіямъ, онъ былъ неизмѣнный монархистъ, но по чувству склонялся къ республикѣ. Заключаемъ такъ не изъ того обстоятельства, что онъ, еще обучаясь у Шадена, держалъ сторону сѣверо-американцевъ въ борьбѣ ихъ съ метрополіей за независимость, а изъ мыслей, высказанныхъ уже въ зрѣломъ возрастѣ. Это чувство пробивается въ исторической повѣсти: «Марѳа Посадница, или покореніе Новгорода» (1), въ авторѣ которой, по словамъ предисловія, «явно играетъ кровь новогородская, при описаніи нѣкоторыхъ случаевъ». Карамзинъ не винитъ Іоанна, присоединившаго новгородскую область къ своей державѣ: онъ даже хвалитъ его, какъ историкъ или какъ политикъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ дѣлаетъ оговорку, что сопротивленіе новгородцевъ не было бунтомъ какихъ-нибудь якобинцевъ; такъ какъ они сражались за древніе свои уставы и права, данныя имъ отчасти самими великими князьями, напримѣръ Ярославомъ, утвердившимъ ихъ вольности. Душевное расположеніе его видимо доброжелательствуетъ Новгороду. Онъ допустилъ Марѳу Посадницу, защитницу новгородской вольности, торжествовать своимъ ораторствомъ надъ Холмскимъ, представителемъ Іоанна. Въ ея рѣчи больше страсти и силы, чѣмъ въ рѣчи московскаго воеводы. Особенно увлекаетъ она согражданъ началомъ слова, взывая къ памяти Вадима, и концемъ, представляя имъ блага вольности и бѣдствія, которыя съ ея утратою наступятъ для города. Не имѣемъ ли мы достаточнаго основанія предположить, что въ лицѣ Марѳы Посадницы и Холмскаго выражены два взгляда самого Карамзина, вытекавшіе изъ разныхъ побужденій, какъ прежде два состоянія души его, по поводу событій конца XVIII вѣка, нашли свое выраженіе въ Мелодорѣ и Филалетѣ? Черезъ десять лѣтъ послѣ «Марѳы Посадницы», разсказывая о паденіи Новгорода не какъ романистъ, а какъ историкъ (2), Карамзинъ еще сохраняетъ въ себѣ то чувство, которое волновало кровь автора повѣсти. Вотъ что говоритъ онъ: «Лѣтописи республикъ обыкновенно представляютъ намъ сильное дѣйствіе страстей человѣческихъ, порывы

1) Вѣстникъ Европы 1803, №№ 1, 2 и 3.
2) Въ VIII т. Исторія Государства Россійскаго.

великодушія и нерѣдко умилительное торжество добродѣтели, среди мятежей и безпорядка, свойственныхъ народному правленію: такъ и лѣтописи Новагорода въ искуственной простотѣ своей являютъ черты плѣнительныя для воображенія.... Сердцу человѣческому свойственно доброжелательствовать республикамъ, основаннымъ на коренныхъ правахъ вольности, ему любезной; самыя опасности и безпокойства ея, питая великодушіе, плѣняютъ умъ, *въ особенности юный, малоопытный*; Новогородцы, имѣя правленіе народное, безъ сомнѣнія, отличались благородными качествами отъ другихъ Россіянъ, униженныхъ тиранствомъ моголовъ». Но республика, разсуждаетъ историкъ, держится тѣмъ, что Монтескье называлъ «virtus», и безъ нея упадаетъ. Исторія Новгорода подтвердила справедливость этой мысли: съ XIV столѣтія начинается эпоха бѣдственная для его гражданской свободы; успѣвая въ торговлѣ, онъ болѣе и болѣе слабѣлъ доблестью. Слѣдствія не замедлили обнаружиться. Какъ прежде, по словамъ предисловія къ повѣсти, Іоаннъ долженъ былъ для славы и силы отечества, присоединить область новгородскую къ своей державѣ, такъ и теперь, по исторіи, государственная мудрость предписывала ему усилить Россію твердымъ соединеніемъ частей въ цѣлое, чтобы она достигла независимости и славы. Заключая разсказъ о паденіи Новгорода, Карамзинъ снова возвращается къ мысли, которую проводилъ въ обзорѣ исторіи этого города: «Императоръ Гальба сказалъ: я былъ бы достоинъ возстановить свободу Рима, если бы Римъ могъ пользоваться ею. Историкъ русскій, любя *и человѣческія и государственныя добродѣтели*, можетъ сказать: Іоаннъ былъ достоинъ сокрушить утлую вольность новгородскую, ибо хотѣлъ твердаго блага всей Россіи». И такъ любовь къ человѣческимъ добродѣтелямъ, независимо отъ всякихъ другихъ соображеній, внушала автору доброжелательство къ новгородской республикѣ, но политическіе расчеты, государственныя соображенія, высокое чувство патріота, желающаго своему отечеству величія, славы, блага, убѣждали его въ необходимости и пользѣ пожертвовать своею наклонностью и славить державный умъ Іоанна. Карамзинъ искренно исповѣдывалъ то самое, что онъ вложилъ въ уста Холмскому: «народы мудрые любятъ порядокъ, *а нѣтъ порядка безъ власти самодержавной*». Къ этому убѣжденію привели его не только смуты французскаго переворота, но и уроки исторіи, и размышленія объ истинныхъ потребностяхъ Россіи. Замѣтимъ, что мысль Монтескье о virtus, какъ отличительной особенности республикъ, которыя безъ высокой народной добродѣтели стоять не могутъ, встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ сочиненій

Карамзина. По этой причинѣ «монархическое правленіе гораздо счастливѣе и надежнѣе: оно не требуетъ отъ гражданъ чрезвычайностей и можетъ возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падаютъ».

Выводы, извлеченные изъ заявленій самого Карамзина, можемъ подкрѣпить свидѣтельствомъ его современника. Вотъ что онъ пишетъ: «Карамзинъ громко провозглашалъ необходимость и пользу самодержавія въ Россіи, провозглашалъ по убѣжденію, потому что былъ неспособенъ къ лицемѣрію или лжи, какъ человѣкъ великаго таланта, просвѣщеннаго разума, души благородной и возвышенной. Но съ другой стороны, онъ не былъ и врагомъ противоположнаго образа правленія. Занятія отечественной исторіей содѣйствовали образованію въ немъ этого убѣжденія. Онъ видѣлъ, что Россія, при вѣчевомъ порядкѣ, раздѣленная на многія владѣнія, была покорена татарами и что единственно преобладаніемъ Москвы, соединившей подъ своимъ скипетромъ удѣльныя княжества, освободилась отъ ига. Изъ государственныхъ соображеній возникло въ его умѣ понятіе о непреложности и необходимости самодержавной власти не только для того, чтобы цѣлить бѣдствія страны, но и для того, чтобы развивать и укрѣплять ея могущество. «Россія прежде всего должна быть великою, сильною и грозною въ Европѣ, и только самодержавіе можетъ сдѣлать ее таковою»: такъ отвѣчалъ онъ на всѣ дѣлаемыя ему замѣчанія.

Особенности представительнаго правленія Карамзинъ узналъ изъ книги Делольма (1) и ставилъ его выгоды въ безусловную зависимость отъ народной образованности. Не конституція, какъ только конституція, хороша сама по себѣ; хорошо то, что англичане народъ образованный, и знаютъ истинные свои интересы и потребности. Слѣдовательно настоящею охраною англичанъ служитъ ихъ просвѣщеніе. Это понятіе объ условіяхъ конституціонализма Карамзинъ относитъ и къ другимъ видамъ правленія. Каждое изъ нихъ есть плодъ того, что въ литературѣ Екатеринина вѣка называлось народнымъ «умоначертаніемъ» (духомъ, характеромъ): «гражданскія учрежденія должны быть соображены съ характеромъ народа; что хорошо въ Англіи, то будетъ дурно въ иной землѣ. Не даромъ сказалъ Солонъ: мое учрежденіе есть самое лучшее, но только для Аѳинъ». Но какой бы ни былъ образъ правленія, разсуждаетъ Карамзинъ, онъ, какъ форма, не составляетъ существенной важности: исключительно важно его содержаніе, душа властвующая его дѣйствіями. Этотъ внутренній,

1) Constitution de l'Angleterre (1771).

духовный двигатель правленія заключается въ справедливости. Каждое правленіе, будучи справедливымъ, благотворно и совершенно; въ противномъ случаѣ, оно неблаготворно и несовершенно. Тотъ же самый выводъ сохраняетъ свою силу и для политическихъ партій: одушевленная желаніемъ блага, управляемая чувствомъ справедливости, каждая партія достойна похвалы; при качествахъ противоположныхъ, каждая партія бѣдственна: «злой роялистъ не лучше злаго якобинца», замѣтилъ Карамзинъ въ одной статьѣ Вѣстника Европы.

Сообразивъ мысли Карамзина относительно занимающаго насъ предмета, не трудно построить его идеалъ гражданскаго благоденствія. Цѣль правленія—счастіе подданныхъ, которое возможно только при знаніи истинныхъ потребностей и выгодъ народа, какъ со стороны правителей, такъ и со стороны управляемыхъ. Обезпеченіемъ сознанныхъ выгодъ служатъ, во первыхъ, хорошіе законы, и во вторыхъ (и это главное) справедливое ихъ выполненіе. Но и точное пониманіе народныхъ интересовъ, и правильное дѣйствіе законовъ немыслимы безъ образованности, которая вліяетъ на нравы и ведетъ ихъ къ добру. Сократъ называлъ добродѣтель знаніемъ; порокъ можно назвать невѣжествомъ, ибо онъ есть слѣпота ума. Слѣдовательно вся сила въ народной нравственности, очищаемой и совершенствуемой просвѣщеніемъ—этимъ «палладіумомъ благонравія»; на ней коренится государственное и частное счастіе; безъ нея счастіе не существуетъ, каковъ бы ни былъ образъ правленія. Когда нравственное достоинство человѣка возвышено въ державѣ, тогда народъ имѣетъ право считать себя избраннымъ. И какъ изъ всѣхъ возможныхъ партій есть только одна хорошая—«друзей человѣчества и добра, которая въ политикѣ составляетъ тоже, что эклектика въ философіи», такъ и правленіе хорошее только одно—основанное на просвѣщеніи и добродѣтели. Просвѣщеніе, ведущее къ доброй нравственности, и добрая нравственность, невозможная безъ просвѣщенія: таковъ идеалъ государственнаго развитія и благоустройства. Но твердое строеніе государства, какъ великаго политическаго творенія, совершается медленно: «Историкъ означаетъ только эпохи его рожденія и возникающихъ въ немъ новыхъ силъ: для полнаго его образованія нужны цѣлые вѣки. Бѣда тому законодателю, который задумаетъ опередить время, медленно и тихо подвигающее впередъ разумъ народовъ! Законодатель мудрый идетъ шагъ за шагомъ и смотритъ вокругъ себя», принимая въ соображеніе естественныя и историческія условія народной жизни, какъ священный завѣтъ и столь же священное руководство для своихъ просвѣтительныхъ реформъ.

в) Съ понятіемъ Карамзина о крѣпостномъ состояніи произошло тоже самое, что и съ его взглядомъ на конецъ XVIII вѣка. Прежде онъ стоялъ за свободу крестьянъ; потомъ нашелъ ее преждевременною, приносящею больше вреда, чѣмъ пользы. Будучи, по его словамъ, напитанъ духомъ филантропическихъ авторовъ, т. е. ненавистью къ злоупотребленіямъ помѣщичьей власти, онъ захотѣлъ быть благодѣтелемъ своихъ поселянъ: отдалъ имъ всю землю, обложивъ самымъ умѣреннымъ оброкомъ и предоставивъ распоряжаться своими дѣлами какъ они сами заблагоразсудятъ. Опытъ показалъ ему печальные плоды этого заочнаго знакомства съ сельскимъ бытомъ: лѣность, пьянство и бѣдность представились глазамъ помѣщика-филантропа, по возвращеніи его изъ путешествія. Тогда, разочарованный въ своемъ либерализмѣ, онъ завелъ порядки, которыхъ требовала истинная филантропія: возобновилъ господскую пашню, обращалъ празднолюбцевъ къ труду, самъ смотрѣлъ за хозяйствомъ. Слѣдствія такого домостроительства оказались какъ нельзя больше счастливые: прежде крестьяне лѣнились, пили и терпѣли во всемъ недостатокъ; теперь они сдѣлались рачительными, трезвыми и зажиточными (1).

Новое мнѣніе Карамзина объ одномъ и томъ же предметѣ естественно вытекало изъ разсмотрѣннаго въ предъидущемъ параграфѣ идеала правленія. Связь народа съ его главою, основанная на любви и признательности, должна, по его взглядамъ, скрѣплять и отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ. Обязанность законовъ—опредѣлить эти взаимныя отношенія; обязанность просвѣщенія—не допускать злоупотребленій. «По нашимъ законамъ, говоритъ Карамзинъ, господская власть не есть тиранская и неограниченная; чтобы она не выступала изъ границъ, необходима повсемѣстная образованность, тихо, но вѣрно подвигающая впередъ «разумъ народовъ». Но рядомъ съ злоупотребленіями съ одной стороны, возможны большія опасности съ другой—отъ данной крестьянамъ свободы, которую они, за недостаткомъ подготовительнаго образованія, не съумѣютъ употребить во благо. Гдѣ же, въ виду настоящаго положенія, искать наилучшаго устройства дѣла? «Главное право русскаго дворянина, отвѣчаетъ Карамзинъ, быть помѣщикомъ: главная должность его быть *добрымъ* помѣщикомъ. Кто исполняетъ ее, тотъ служитъ отечеству какъ вѣрный сынъ, тотъ служитъ монарху какъ вѣрный подданный».

Карамзинъ не первый находилъ освобожденіе крестьянъ безъ ихъ просвѣщенія опаснымъ. Такъ думали многіе люди и прежняго и

---

1) Письмо сельскаго жителя (В. Евр. 1803, № 17).

его вѣка. Съ какою осторожностію подходилъ къ рѣшенію того же вопроса Руссо! Поборникъ идеи, совершенно справедливой въ самой себѣ, онъ пугался спѣшности ея осуществленія. «Освобожденіе крестьянъ», говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ небольшихъ сочиненій ([1]), «есть дѣло прекрасное и великое, но вмѣстѣ смѣлое и опасное. Надобно приступать къ нему не кое-какъ, а съ предосторожностями, между которыми главнѣйшая заключается въ томъ, чтобы людей, назначаемыхъ къ освобожденію, сдѣлать достойными свободы и способными ею пользоваться. Позаботьтесь прежде всего объ этомъ; не освобождайте ихъ тѣла, прежде нежели освободите ихъ душу; безъ этого предварительнаго акта ваша операція будетъ имѣть дурной исходъ». Какую же мѣру предлагаетъ философъ для постепеннаго, крайне осмотрительнаго хода реформы? «Общественный голосъ, строго провѣряемый, долженъ указывать крестьянъ, отличившихся поведеніемъ, добрыми нравами, приличнымъ образованіемъ, попеченіемъ объ ихъ семействахъ, тщательнымъ выполненіемъ всѣхъ обязанностей ихъ званія. Изъ ихъ-то среды слѣдуетъ выбирать опредѣляемое закономъ число для освобожденія... И даръ свободы долженъ быть имъ вручаемъ торжественно, съ такою обстановкою, отъ которой церемонія дѣлалась бы величественною, трогательною и памятною». Вотъ какъ смотрѣлъ на это дѣло авторъ «Общественнаго договора» и трактата «о началѣ и основаніяхъ неравенства между людьми».

Начало сужденій объ уничтоженіи крѣпостнаго состоянія относится къ первымъ годамъ царствованія Екатерины II. Она первая, въ письмѣ къ членамъ Вольнаго Экономическаго Общества (1765), поставила вопросъ: «нужна ли поземельная собственность крестьянину для благоденствія общественнаго»? Этотъ вопросъ былъ въ такомъ видѣ публикованъ отъ Общества (1766): «что полезнѣе для общества, чтобъ крестьянинъ имѣлъ въ собственности землю, или токмо движимое имѣніе, и сколь далеко его право на то или другое имѣніе простираться должно»? Изъ отвѣтныхъ сочиненій извѣстны два: одно, на французскомъ языкѣ—Беарде Делабея, члена Дижонской Академіи; другое, на русскомъ—Полѣнова, состоявшаго при Академіи Наукъ, по возвращеніи его изъ геттингенскаго университета. Первое признано наилучшимъ, почему авторъ и получилъ назначенную награду (100 червонцевъ и медаль въ 25 червонцевъ); авторъ втораго награжденъ золотою медалью въ 12 червонцевъ. Сочиненіе Беарде дѣлится на двѣ части. Сначала онъ доказываетъ, что надѣленіе крестьянъ поземельною

---

[1]) Considérations sur le gouvernement de Pologne (1772).

собственностію немыслимо безъ ихъ личной свободы, а потомъ разсуждаетъ о способахъ освобожденія и надѣла. Согласно со второю половиною девиза, выбраннаго имъ для своего сочиненія (est modus in rebus), онъ совѣтуетъ строгую постепенность въ преобразованіяхъ условій крестьянскаго быта, рекомендуя, какъ мѣру пріуготовительную, народное просвѣщеніе и обѣщаніе послѣ извѣстнаго срока дать крестьянамъ землю и личную свободу. Трудъ Беарде оканчивается прекраснымъ обращеніемъ къ Екатеринѣ: «Когда мы съ удивленіемъ взираемъ на чудныя дѣла, произведенныя Петромъ Великимъ въ его земляхъ, то вдругъ покажется, что преемники его, подобно сыну Филиппа Македонскаго, могли бы сказать, что онъ имъ ничего великаго сдѣлать не оставилъ. Но какъ Александръ въ подвигахъ своихъ знатно превзошелъ отца, такъ равномѣрно предоставлено было безсмертной Екатеринѣ содѣлать еще большія чудеса, одушевляя, просвѣщая и даруя новую жизнь безчисленному множеству рабовъ, чувствующихъ только половину своего бытія, и преображая такимъ образомъ человѣками многія тысячи самодвижущихся махинъ» ([1]). Девизъ къ сочиненію Полѣнова: plus boni mores valent, quam bonae leges, показываетъ, что онъ, какъ въ послѣдствіи Карамзинъ, приписывалъ добрымъ нравамъ больше значенія, чѣмъ хорошимъ законамъ. Первымъ средствомъ для улучшенія крестьянскаго быта онъ ставитъ образованіе, предлагая и способы къ достиженію успѣха въ этомъ основномъ дѣлѣ. Затѣмъ сочиненіе разсуждаетъ о движимой и недвижимой собственности крестьянъ. Отдавая первую въ полное ихъ распоряженіе, Полѣновъ говоритъ, что извѣстное количество помѣщичьей земли должно быть также имъ уступлено за опредѣленную повинность и съ ограниченнымъ правомъ, т. е. только въ ихъ наслѣдственное пользованіе, но безъ права отчуждать ее какимъ бы ни было образомъ ([2]). Таковы ученыя рѣшенія вопроса о крѣпостномъ состояніи въ Россіи. Честь перваго заявленія его въ литературѣ принадлежитъ Радищеву, автору «Путешествія изъ Санктпетербурга въ Москву» (1790) ([3]).

д) Первоначальное понятіе Карамзина о реформахъ Птера I вы-

---

[1]) Исторія Вольнаго Экономическаго Общества съ 1765 до 1865 г. (1865). Сочиненіе Беарде напеч. въ VIII ч. «Трудовъ» Общества (1768). Императоръ Александръ I сослался на него въ своемъ отвѣтѣ В. С. Попову, бывшему статсъ-секретарю Екатерины II (Русскій Архивъ 1864, № 3).

[2]) Объ уничтоженіи крѣпостнаго состоянія крестьянъ въ Россіи, А. Я. Полѣнова (Рус. Архивъ 1865, № 3); А. Я. Полѣновъ, русскій законовѣдъ XVIII в. (Ib. №№ 4, 5 и 6).

[3]) Ист. Слов., т. I.

текало изъ его взгляда на развитіе народной жизни. Преобразованія великаго царя, по мнѣнію нѣкоторыхъ повредившія русской національности, онъ оправдываетъ тѣмъ положеніемъ, что путь образованія одинъ для всѣхъ народовъ. Это положеніе имѣло для него силу исторической аксіомы и привело къ гуманитарно-космополитической точкѣ зрѣнія, сущность которой выражена въ Письмахъ русскаго путешественника: «Все народное ничто предъ человѣческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ, и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, для выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ». Изъ мыслей для похвальнаго слова Петру I, уцѣлѣвшихъ въ записной книжкѣ 1798 г., видно, что въ это время Карамзинъ думалъ о реформѣ по прежнему: Левека и подобныхъ ему порицателей великаго дѣятеля онъ причисляетъ къ умамъ мелкимъ, безсильнымъ понимать генія; до-Петровскую Русь уподобляетъ безобразному (необдѣланному) куску мрамора, а Россію новую, преобразованную Петромъ — Фидіасовой статуѣ Юпитера Олимпійскаго; подражаніе Европѣ называетъ единственнымъ способомъ подвинуть народъ къ совершенству; даже повторяетъ тѣ самыя слова, какія были употреблены имъ въ письмѣ о Левекѣ: «ходъ натуры одинаковъ, одно просвѣщеніе, одинъ способъ къ совершенству, одно назначеніе всѣхъ народовъ». — Но вскорѣ этотъ взглядъ, измѣняясь, замѣнился другимъ, ему противоположнымъ, причина чего объяснится ниже.

д) Изъ литературныхъ мнѣній Карамзина наиболѣе замѣчательно мнѣніе о Шекспирѣ. Оно выражено въ предисловіи къ переводу «Юлій Цезарь», въ стихотвореніи «Поэзія» и въ разныхъ мѣстахъ «Писемъ». Предисловіе и стихотвореніе характеризуютъ всеобъемлющій геній англійскаго трагика: «Шекспиръ зналъ всѣ сокровеннѣйшія побужденія человѣка, отличительность каждой страсти, каждаго темперамента, каждаго рода жизни. Для каждой мысли находилъ онъ образъ, для каждаго ощущенія выраженіе, для каждаго движенія души наилучшій оборотъ. Съ равнымъ искусствомъ изображалъ онъ героя и шута, умнаго и безумца, Брута и башмачника. Геній его, подобно генію натуры, обнималъ взоромъ своимъ и солнце и атомы. Драмы его, подобно неизмѣримому театру натуры, исполнены многоразличія; все же вмѣстѣ составляетъ совершенное цѣлое». Въ «Письмахъ», при сравненіи «французской Мельпомены» съ «Шекспировой музой», отдается послѣдней рѣшительное преимущество: Карамзинъ ни у Корнеля, ни у Расина не находитъ ничего подобнаго монологу Лира, когда онъ, изгнанный дочерьми, долженъ былъ провести бурную ночь въ лѣсу. Такой

взглядъ на Шекспира былъ исключеніемъ изъ ряда тогдашнихъ понятій о томъ же трагикѣ. Опираясь на авторитетъ Вольтера, наши критики театральныхъ піесъ дошли до того, что вкусъ Шекспира называли вкусомъ «рынковъ и кабаковъ». Предисловіе къ переводу «Юлія Цезаря» защищаетъ Шекспира отъ нападковъ «знаменитаго софиста» и вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ урокъ русскимъ драматическимъ писателямъ: «не хотѣлъ Шекспиръ соблюдать такъ называемыхъ единствъ, которыхъ нынѣшніе наши авторы такъ крѣпко придерживаются, потому что не хотѣлъ полагать тѣсныхъ предѣловъ своему воображенію. Онъ смотрѣлъ только на натуру, не заботясь ни о чемъ прочемъ. Извѣстно было ему, что мысль человѣческая мгновенно можетъ перелетать отъ запада къ востоку, отъ конца области Моголовой къ предѣламъ Англіи».

Уваженіе Карамзина къ англійской трагедіи объясняется его знакомствомъ съ нѣмецкой литературой, въ которой вопросъ о Шекспирѣ не только былъ поднятъ, но и значительно разработанъ. Лессингъ первый указалъ своимъ соотечественникамъ на Шекспира, какъ на образецъ, которому должно слѣдовать для усвоенія истинно-драматическаго стиля и для созданія оригинальныхъ произведеній. Изъ его «Гамбургской драматургіи», Карамзинъ могъ узнать многое о различіи между этимъ стилемъ и трагической системой французовъ. Онъ перевелъ «Эмилію Галотти» (Лессинга),—піесу, по своему характеру совершенно противоположную псевдоклассическимъ драмамъ. Кромѣ того нѣсколько лѣтъ жилъ онъ въ одномъ домѣ съ Ленцомъ, умершимъ въ Москвѣ; а Ленцъ, какъ одинъ изъ авторовъ того періода нѣмецкой словесности, который извѣстенъ подъ именемъ періода «бурныхъ стремленій», принадлежитъ къ горячимъ, хотя и неискуснымъ, подражателямъ Шекспира. Можетъ быть въ бесѣдахъ съ нимъ онъ болѣе и болѣе проникался уваженіемъ къ геніальному трагику, за сочиненіями котораго просиживалъ половину зимнихъ ночей съ своимъ другомъ Петровымъ, отличавшимся вѣрнымъ вкусомъ. Во всякомъ случаѣ своими понятіями о драмѣ Карамзинъ опередилъ современныхъ ему критиковъ не только конца прошлаго вѣка, но и первой четверти настоящаго. Эти понятія не поколебались ни отъ авторитета Вольтера, ни отъ общаго стремленія къ французскому псевдоклассицизму. Тогда какъ другіе не видѣли въ драмѣ ничего далѣе искуственной правильности, условныхъ приличій и неминуемыхъ трехъ единствъ, Карамзинъ требовалъ отъ нея глубины общечеловѣческаго содержанія, истинности и цѣльности характеровъ, художественнаго воспроизведенія жизни.

И всѣ эти требованія выговаривались имъ въ начальный періодъ его дѣятельности, на двадцатилѣтнемъ возрастѣ.

§ 6. Если публика своимъ полнымъ сочувствіемъ награждала труды Карамзина, то въ литературномъ мірѣ онъ встрѣтилъ противниковъ, изъ которыхъ одни по мелочному самолюбію, а другіе по несогласію во взглядахъ заявляли свое къ нему недоброжелательство.

Мы уже упоминали о выходкахъ «Зрителя» противъ Московскаго журнала. Издатели «Зрителя» (Крыловъ и Клушинъ), равно какъ и сотрудникъ Ѳ. Эминъ, неблаговолили ни къ Карамзину, ни къ его другу Дмитріеву. Издатель Россійскаго Магазина (1792 г.), Ѳедоръ Туманскій также зацѣплялъ Карамзина, въ отмщеніе за то, что Московскій Журналъ рѣзко отозвался о его переводѣ сочиненія греческаго писателя Палефата (о невѣроятныхъ сказаніяхъ) и не принималъ на свои страницы его бездарныхъ одъ и посланій. Потомъ тотъ же Туманскій, будучи ценсоромъ въ Ригѣ, даже остановилъ нѣмецкій переводъ «Писемъ русскаго путешественника». Нѣсколько эпиграммъ вышло изъ подъ пера Шатрова и А. С. Хвостова, воителей извѣстнаго кружка, неблагосклонно смотрѣвшаго на литературныя новизны Карамзина.

Иную цѣль имѣли обличенія: они не довольствовались насмѣшкой, но хотѣли заподозрить образъ мыслей Карамзина, указать ихъ безнравственность. Умѣренно-либеральные взгляды его, съ одной стороны казавшіеся тощими тому, кто увлекался событіями 1789 г., могли, съ другой стороны, пугать воображеніе тѣхъ, кто ученіе деистовъ смѣшивалъ съ матеріализмомъ или безбожіемъ и въ стремленіи къ общегражданскому благу видѣлъ якобинство. Въ журналѣ «Ипокрена» (¹) явилось стихотвореніе — пасквиль, подъ заглавіемъ: «Ода въ честь моему другу». Анонимный авторъ ея (²) выставляетъ нравственную философію своего друга, противополагая ее другой — безнравственной, извлеченной изъ сочиненій Карамзина. Онъ до того простеръ свою безцеремонность, что мнѣнія Карамзина обозначилъ курсивомъ, съ указаніемъ въ выноскахъ на тѣ пьесы, изъ которыхъ они приведены. Вотъ четыре строфы, направленныя противъ «Разговора о счастіи»:

---

¹) 1799, ч. 4.

²) По всему вѣроятію П. И. Голенищевъ-Кутузовъ, издатель журнала «Другъ просвѣщенія» (1804—1806), бывшій два раза попечителемъ Московскаго университета: до его преобразованія (1798—1803) и послѣ преобразованія (1810—1812).

Картинъ не пишешь сладострастныхъ,
Чтобы читателей привлечь,
Чтобъ тѣмъ у юношей несчастныхъ
Воображенье не разжечь,
Чтобъ не испортить ихъ природы
И въ самые незрѣлы годы
Огня страстей не развернуть;
Но гласъ твой мудрый повторяетъ:
«Чѣмъ меньше кто страстямъ внимаетъ,
«Скорѣй найдетъ къ блаженству путь».

Не мнишь, что тамъ сіе блаженство,
Гдѣ на окнѣ горшокъ цвѣтовъ стоитъ ([1]);
Не мнишь, что миръ и совершенство
Найдешь ты съ Хлоей межъ кустовъ:
Но, помня мудрости совѣты,
И въ юныя, и въ стары лѣты
Велишь со страстью быть въ борьбѣ,
Чтобъ были духъ и тѣло здравы,
Чтобъ зрѣть стези къ блаженству правы
Въ религіи, въ самомъ себѣ.

Не мнишь, *даны чтобы чувства были*
На то, чтобъ всѣ ихъ услаждать,
И разума лучи служили,
Чтобъ наслажденья избирать;
Не выдалъ странную чудесность,
Приведши страсти въ равновѣсность ([2]),
Къ блаженству съ буйствомъ ихъ идти:
Но ты, всю цѣну истинъ зная,
Твердишь, что, страсти побѣждая,
Къ блаженству путь легко найти.

Не мнишь, чтобъ жить въ союзѣ тѣсномъ
Намъ нужно было со страстьми;
Что *въ мірѣ нравственномъ, тѣлесномъ*
Безъ нихъ и жить не льзя съ людьми:
Но знаешь, что звѣрямъ подобенъ,
Кто сладострастенъ, скупъ и злобенъ,
Коль равновѣсны страсти въ немъ.
Но если страсти утишились,
Молчатъ, не дѣйствуютъ, сокрылись,
То схожъ онъ съ ангеломъ во всемъ.

---

[1]) Красивый, чистенькій домикъ всегда представляетъ моему воображенію картину возможнаго счастія, особливо когда *вижу на окнѣ цвѣты*, а подъ окномъ... миловидную женщину, за рукодѣліемъ, за книгою, за арфою (Разг. о счастіи).

[2]) См. выше изложеніе содержанія «Разговора о счастіи».

О путешествіи Карамзина говорится слѣдующее:

Хоть ты и ѣздилъ въ земли чужды,
Но не трактировъ тамъ смотрѣлъ;
Не видѣлъ въ томъ ни малой нужды,
Чтобъ знали, что ты пилъ и ѣлъ.
И ѣздивши не на проказы,
Хрусталь не кажешь за алмазы,
Чтобъ быть слѣпымъ вождемъ слѣпцовъ,
Но, къ истинѣ всегда стремяся
И къ ней единой прилѣпяся,
Искалъ бесѣды мудрецовъ.

Четырестишіе Карамзина, въ родѣ эпитафіи самоубійцѣ (1), почти все приведено въ «Одѣ»:

Не мнишь ты также, чтобъ *Создатель*
Такой свѣтильникъ далъ уму,
Съ которымъ истины искатель
Находитъ ложь вездѣ и тьму;
Что *сердце—Божье дарованье—*
Дано на лютое страданье.
Ты жъ видишь въ семъ, сколь благъ Творецъ;
Что умъ всѣхъ истинъ есть содѣтель;
Что все дано на сей конецъ.

Другое стихотвореніе Карамзина: *Исправленіе* (2) также обличается въ безнравственномъ смыслѣ:

Ты мыслишь также, что не худо
Memento mori повторять (3),
За тѣмъ что никакое чудо
Не можетъ смерти насъ изъять;
За тѣмъ что рано или поздно
Наступитъ смерти время грозно.
Чтобъ сласти мнимыя пресѣчь,
То лучше къ смерти быть готовымъ,
Чтобъ гробъ не такъ намъ былъ суровымъ,
И чтобъ въ него спокойно лечь.

Какъ эту «Оду», такъ еще болѣе слѣдовавшія за нею обличенія, нельзя объяснить тѣмъ, что французы называютъ jalousie

---

1) Можетъ быть, шведу Шпренгпорту, который былъ знакомъ съ Карамзинымъ. Оно напеч. въ Соч. Кар., изд. Смир. 1, стр. 118:

Богъ далъ мнѣ свѣтъ ума: я истины искалъ,
И видѣлъ ложь вездѣ—свѣтильникъ погашаю.
Богъ далъ мнѣ сердце: я страдалъ—
И Богу сердце возвращаю.

2) Ів. стр. 174.

3) При этомъ авторъ «Оды» замѣчаетъ въ выноскѣ: сіе напоминательное изреченіе, совѣтуемое и христіанскими, и языческими мудрецами, осмѣхается новымъ мудрецомъ (Аониды, III, 255).

du métier. Корень ихъ глубже и чернѣе. Анекдотъ, переданный гр. Растопчинымъ И. И. Дмитріеву ([1]), показываетъ, что Карамзинъ еще при императорѣ Павлѣ слылъ во мнѣніи нѣкоторыхъ недоброжелателей за безбожника, за человѣка, опаснаго правительству. Получивъ отъ одного изъ нихъ доносъ въ этомъ смыслѣ, Государь бросилъ его въ огонь послѣ разговора съ дежурнымъ генералъ-адъютантомъ Растопчинымъ, очень хорошо знавшимъ обвиняемаго и несправедливость обвиненій. Другой доносъ, можетъ быть отъ того же самаго лица ([2]), адресованъ министру народнаго просвѣщенія, гр. А. К. Разумовскому, и относится къ 1810 г., когда Карамзину былъ пожалованъ орденъ св. Владиміра 3-ей степени, при лестномъ рескриптѣ, выставлявшемъ его литературныя заслуги ([3]). Доноситель пишетъ, что сочиненія Карамзина «исполнены вольнодумческаго и якобиническаго яда», что въ нихъ «явно проповѣдуется безбожіе и безначаліе», что «не хвалить, а сжечь ихъ слѣдовало бы», что авторъ ихъ «цѣлитъ не менѣе, какъ въ Сіесы или въ первые консулы». Письмо осталось безъ всякихъ послѣдствій. Карамзинъ былъ крѣпокъ правотою своею, дружбою и уваженіемъ къ нему многихъ вліятельныхъ лицъ. «Говорить ли о К—вѣ»? писалъ онъ А. И. Тургеневу (21 апрѣля 1811). «Онъ самъ себя наказываетъ злобою. По сіе время не удалось ему мнѣ сдѣлать зла, а что будетъ впредь—не знаю, и знать не хочу. Мщенія не люблю; довольствуюсь презрѣніемъ, и то невольнымъ». Сильнымъ заступникомъ Карамзина была великая княгиня Екатерина Павловна, принцесса ольденбургская, въ послѣдствіи королева Виртембергская ([4]). Въ письмѣ къ нему (3-го іюля 1811) она припомнила исторію доноса: «обѣдалъ у меня кураторъ К......., но онъ нашелъ мою кухню нездоровою, принужденный выслушать мои мнѣнія о васъ и профессорѣ Буле ([5]) и мои къ вамъ чувства». Отношенія Кутузова къ Карамзину не измѣнились и въ послѣдствіи, какъ можно видѣть изъ писемъ послѣдняго къ женѣ, въ бытность его въ Петербургѣ (1816): «Видѣлъ во дворцѣ и К... ; вѣроятно,

---

[1]) Словарь достопамятныхъ людей русской земли, Бантышъ-Каменскаго, ч. 2, стр. 133.

[2]) П. И. Голенищева-Кутузова.

[3]) Письмо къ гр. Разумовскому въ «Чтеніяхъ въ Обществѣ Исторіи и древностей россійскихъ при Москов. унив.» (1858, кн. 2, смѣсь, стр. 185—186).

[4]) Она жила въ Твери, куда, по ея приглашенію, нерѣдко ѣзжалъ Карамзинъ. Принцъ имѣлъ пребываніе въ этомъ городѣ, какъ тверской и ярославскій генералъ-губернаторъ.

[5]) Профессоръ Моск. унив. Буле 1811 г. былъ опредѣленъ библіотекаремъ великой княгини.

что онъ вымышляетъ какіе-нибудь новые доносы и лжетъ по обыкновенію».... «A propos de K.....: сказываютъ, что онъ на сихъ дняхъ старался доставить гр. Аракчееву записку съ новыми доносами на меня, но посредникъ отказался (¹).

§ 7. Реформа, произведенная Карамзинымъ въ книжномъ языкѣ, возбудила противодѣйствіе собственно-литературное, имѣвшее своимъ предметомъ не содержаніе его сочиненій, а ихъ внѣшнее выраженіе. Возникшая по этому предмету полемика тянулась долгое время. Мы изложимъ ея послѣдовательный ходъ съ указаніемъ важнѣйшихъ явленій, которыя, занимая мѣсто въ исторіи нашего книжнаго языка и слога, любопытны и въ другихъ отношеніяхъ.

Еще въ переводахъ для Дѣтскаго чтенія, Карамзинъ представилъ образцы инаго языка и слога, сравнительно съ господствовавшимъ до него Ломоносовскимъ строемъ рѣчи. «Письма русскаго путешественника», независимо отъ содержанія, плѣняли современную публику особенностями языка, близкаго, по ясности и легкости, къ языку разговорному и вмѣстѣ отличавшагося тѣмъ, что рѣдко встрѣчается въ разговорѣ—пріятностью. Раздѣляя исторію русскаго слога на эпохи, Карамзинъ первую ведетъ отъ Кантемира, вторую отъ Ломоносова, третью отъ слявяно-русскихъ переводовъ Елагина, а четвертую отъ своего времени, въ которое, какъ онъ говоритъ, образуется *пріятность* слога, называемая французами *élégance* (²). Карамзинъ умалчиваетъ объ имени образователя и даже не опредѣляетъ, въ чемъ именно заключается эта «пріятность»; но изъ его собственныхъ произведеній не трудно было видѣть по крайней мѣрѣ отрицательныя ея качества: она свободна съ одной стороны отъ славянскихъ словъ, а съ другой — отъ латино-нѣмецкаго словорасположенія. Внимательный читатель могъ замѣтить съ перваго же раза, что авторъ, не получившій схоластическаго образованія, не изучавшій греко-латинскихъ классиковъ, но хорошо знакомый съ тогдашнею западно-европейскою словесностью, выбралъ себѣ примѣрами по преимуществу французскихъ писателей; что отъ его природнаго вкуса не скрывалась неумѣстность славяно-русской смѣси въ литературномъ

---

¹) Неизд. сочиненія и переписка Карамзина. Друзья и почитатели Карамзина не могли, по образу своихъ мыслей и чувствъ, воевать съ Кутузовымъ его оружіемъ; они преслѣдовали его эпиграммами, въ которыхъ онъ являлся «Картузовымъ». Въ сатирѣ Воейкова «Домъ сумасшедшихъ», Кутузову посвящена особая строфа.

²) Пантеонъ Россійскихъ авторовъ (характеристика Кантемира). При внесеніи Пантеона въ собраніе сочиненій Карамзина, слова: «называемая французами «élégance», исключены.

языкѣ, и по преимуществу въ эпистолярномъ стилѣ, наиболѣе подходящемъ къ разговорному, такъ какъ письмо есть своего рода разговоръ. Извѣщая, въ Московскомъ журналѣ, о выходѣ русскаго перевода Ричардсоновой Клариссы, Карамзинъ критикуетъ выраженіе: «колико для тебя чувствительно», и объясняетъ его дикость тѣмъ, что переводчикъ хотѣлъ послѣдовать модѣ, введенной въ русскій слогъ «голѣмыми (великими) претолковниками, иже отрѣваютъ все, еже есть русское, и блещаются блаженнѣ сіяніемъ славяномудрія». При разговорѣ съ Каменевымъ (1800 г.), онъ показалъ, какимъ способомъ упражнялся онъ въ искусствѣ писать: «Вознамѣрясь выдти на сцену, я не могъ сыскать ни одного изъ русскихъ писателей, который бы былъ достоинъ подражанія, и, отдавая всю справедливость краснорѣчію Ломоносова, не упустилъ замѣтить стиль его *дикій*, *варварскій*, вовсе несвойственный нынѣшнему вѣку, и старался писать чище и живѣе. Я имѣлъ въ головѣ нѣкоторыхъ иностранныхъ авторовъ; сначала подражалъ имъ, но послѣ писалъ уже своимъ, ни отъ кого не заимствованнымъ слогомъ» Записки И. Дмитріева точнѣе объясняютъ, къ какому собственно стилю относятся эпитеты: «варварскій» «дикій». Ломоносовъ хотя и вводилъ въ свою рѣчь славянскія слова, но осторожно, т. е. съ извѣстнымъ тактомъ и соотвѣтственно матеріи. Тоже видимъ у ближайшихъ его послѣдователей—Поповскаго и Барсова; но потомъ подчиненіе авторитету преступило мѣру, предписанную разсужденіемъ о пользѣ книгъ церковныхъ въ россійскомъ языкѣ. При изложеніи чувствъ и мыслей такъ называемымъ высокимъ слогомъ, писатели считали непремѣнною обязанностью наполнять свою рѣчь, кстати и некстати, славянщиной, отчего и образовался подъ перомъ ихъ особенный литературный языкъ, получившій названіе «славянороссійскаго» или «славянорусскаго». Карамзинъ ведетъ его начало отъ переводовъ Елагина, открывшихъ, по его мнѣнію, третью эпоху нашего слога въ его послѣдовательномъ развитіи съ Кантемира. Дмитріевъ къ имени Елагина присоединяетъ также имя фонъ-Визина, какъ переводчика похвальнаго слова Марку Аврелію ([1]) и поэмы «Іосифъ» ([2]). За ними слѣдовали (а иные и одновременно шли съ ними): Михаилъ Поповъ, переводчикъ Освобожденнаго Іерусалима (1772), Екимовъ, переводчикъ Иліады (1776), Пахомовъ и священникъ Сидоровскій, общими силами переведшіе «Разговоры Лукіана» (1775—1783) и «Творенія Платона» (1780—85), Захаровъ, переводчикъ поэмы «Авелева смерть» (1780).

[1]) Французскаго писателя Тома̀.

[2]) Битобе, также французскаго писателя.

*

На этихъ-то переводчиковъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, вѣроятно, намекалъ другъ Карамзина Петровъ, когда давалъ ему такой совѣтъ: «лучше пиши все свое сочиненіе на русско-славянскомъ языкѣ, долгосложно-протяжно-парящими словами» Самъ же Карамзинъ подъ «голѣмыми претолковниками» разумѣлъ членовъ Россійской Академіи, отличавшихся славяноманіей. Въ числѣ этихъ членовъ состояли упомянутые Сидоровскій и Захаровъ (¹).

Такъ какъ многіе изъ тогдашнихъ литераторовъ, и особенно тѣ, что засѣдали въ Россійской Академіи, вовсе не почитали Ломоносовскій слогъ «дикимъ и варварскимъ», а напротивъ видѣли въ немъ идеалъ, къ которому должно стремиться, то реформа Карамзина равнялась, по ихъ мнѣнію, посягательству на образецъ и требовала противодѣйствія. Защиту оскорбляемаго авторитета взялъ на себя Шишковъ, воспитанникъ Морскаго корпуса, знавшій многіе иностранные языки и на чтеніи духовныхъ книгъ, памятниковъ древне-русской словесности и отечественныхъ писателей XVIII в. ознакомившійся съ языками церковно-славянскимъ и русскимъ литературнымъ. Въ 1803 г. вышло его «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка». Изъ названія книги видны ея содержаніе и составъ. Она дѣлится на двѣ части: въ одной идетъ рѣчь о старомъ слогѣ, въ другой о новомъ, постоянно противополагаемомъ первому. Достоинства стараго слога разъясняются на образцахъ изъ духовной литературы, изъ сочиненій Ломоносова, Сумарокова и другихъ писателей XVIII в. Особенно восхваляется мастерство Ломоносова сочетать высокопарный славянскій слогъ съ просторѣчивымъ русскимъ (²). За примѣрами образцоваго стараго слога слѣдуютъ примѣры новаго. Самъ Карамзинъ не представлялъ, въ этомъ отношеніи, слабыхъ сторонъ своему противнику. Но многіе изъ подражателей Карамзина оказывали плохія услуги его дѣлу отсутствіемъ таланта, безвкусіемъ и незнаніемъ духа русскаго языка. Безъ всякой нужды, они пестрили свою рѣчь галли-

---

¹) Карамзинъ въ исторіи русскаго литературнаго языка, Я. Грота (Ж. М. Н. Просв. 1867 г. апрѣль). Въ приложеніяхъ къ этой статьѣ приведены образцы до-Карамзинскаго слога.—Другіе примѣры см. въ примѣчаніяхъ къ 1-му т. моей Русской Христоматіи.

²) Какъ примѣръ крайней осмотрительности, ясности и точности въ рѣчахъ Ломоносова, «Разсужденіе» приводитъ слѣдующій стихъ, въ которомъ говорится о Купидоновомъ лукѣ:

Въ дождѣ *чать* повредился.

Ломоносовъ, замѣчаетъ Шишковъ, почувствовалъ, что, поставя *чай* (вмѣсто *чать*), выйдетъ изъ сего двусмысліе глагола *чай* съ именемъ *чай*, т. е. китайской травы, которую мы по утрамъ пьемъ, и для того, сокращая глаголъ *чаять*, поставилъ *чать*.

цизмами, или выдумывали новыя слова, которыя не отвѣчали ни смыслу выражаемыхъ ими понятій, ни требованіямъ благозвучія. Шишковъ имѣлъ право назвать ихъ переводы «французско-русскими». Цитируя вышеприведенное изъ «Пантеона россійскихъ авторовъ» дѣленіе нашего слога на эпохи, «Разсужденіе» замѣчаетъ: «правда, ежели французское слово *élégance* перевести по-русски *чепуха*, то можно сказать, что мы дѣйствительно и въ краткое время слогъ свой довели до того, что погрузили въ него всю полную силу и знаменованіе сего слова».

При чтеніи нѣкоторыхъ журналовъ, современныхъ книгѣ Шишкова, легко было найти, что возмущало его и чѣмъ онъ пользовался, какъ меткимъ орудіемъ, въ своихъ нападкахъ на новизну. Такъ одинъ критикъ, вмѣсто разбора литературныхъ произведеній, *дѣлаетъ экзаменъ* (экзаменъ «Хорева», трагедіи Сумарокова; экзаменъ «Лизы или торжества благодарности», драмы Ильина); говоритъ, что у Ломоносова было больше учености, но меньше *духа* (вм. творчества, генія), нежели у Сумарокова, который имѣлъ всѣ *пороки* (вм. недостатки) Корнеля, не имѣя ни одной изъ его красотъ. Геснеръ, въ предисловіи къ переводу его идиллій, названъ не геніемъ, а *жени*. Шишковъ представилъ длинный списокъ подобныхъ выраженій, изъ которыхъ, для примѣра, беремъ слѣдующія: подпирать свое мнѣніе; имена мелкія цѣны; голова образованная для тайной связи съ невинностью; законъ ударяетъ совсѣмъ на иные предметы; вѣдомственныя извѣстія; казалось, что вся природа искала намъ добронравствовать; мысль перваго мая; народъ не потерялъ перваго отпечатка своей цѣны, и проч. и проч. (1).

---

1) Такъ какъ списокъ Шишкова многимъ обязанъ «россійскому сочиненію А. О. (Орлова): «Утѣхи меланхоліи» (1802), то выписка изъ этой книжки будетъ не лишнею для знакомства съ смѣшными крайностями новаго слога и вмѣстѣ съ такими же крайностями сентиментализма. Беремъ статью: «Чувство пріятнаго».

Пасмурный день изъ сердцѣ іюля вызвалъ насъ пользоваться воздухомъ. Предлагая интересную прогулку въ дружескомъ кругѣ, идемъ за городъ развлечь задумчивость; полевыя красоты нѣжно плѣнили насъ; поспѣшая, съ сердечнымъ удовольствіемъ входимъ въ рощу. Здѣсь зрѣніе наше находитъ разнообразные предметы; съ неизъяснимою пріятностію разсѣявшись въ ея сѣни, слышимъ страстную Филомелу, тающую въ своихъ восторгахъ: Орфеи лѣсовъ ей аккомпанируютъ. Сквозь рѣдкія дерева сей скиніи мелькаютъ по М... дорогѣ скачущіе экипажи; далѣе съ котомками пильгримы. Между тѣмъ сокровище Цереры обращаетъ вниманіе наше. Тутъ сельская прелесть съ восхищеніемъ обозрѣваетъ созрѣвающее богатство; привѣтствуемъ ее съ нетерпѣніемъ ожидаемаго: низкій натуральный комплиментъ при невинной улыбкѣ былъ отвѣтъ ея. Покоясь въ объятіи уединеннаго Сильвана, обитателя прикосновенной чаши, воз-

Неправильности новаго слога Шишковъ дѣлитъ на три разряда. Одни писатели безобразятъ родной языкъ внесеніемъ словъ ему чуждыхъ, напр. моральный, эстетическій, эпоха, гармонія, энтузіазмъ, катастрофа, акція. Другіе стараются изъ русскихъ словъ дѣлать не русскія, наприм.: «настоящность», вм. настоящее время, «будущность», вм. будущее время (¹). Третьи переводятъ французскія имена, глаголы и цѣлыя рѣчи изъ слова въ слово на отечественный языкъ, принимая ихъ въ томъ самомъ смыслѣ, какой они имѣютъ въ подлинникѣ; отсюда явились: переворотъ (révolution), развитіе (développement), утонченный (raffiné), сосредоточить (concentrer), трогательно (touchant), занимательно (interessant), и многія другія. Всѣ эти злоупотребленія роднаго слова приписываетъ Шишковъ пристрастію къ языку французскому и пренебреженію славянскимъ.

За тѣмъ въ «Разсужденіи» слѣдуютъ двѣ выписки: въ одной выбраны изъ новѣйшихъ сочиненій и переводовъ слова и рѣчи, несвойственныя нашему языку, съ цѣлію обнаружить вводимыя странности; вторая есть «опытъ словаря» и содержитъ въ себѣ слова и рѣчи изъ книгъ церковныхъ, съ объясненіемъ ихъ знаменованія и съ цѣлію показать, что, вмѣсто нелѣпыхъ новостей, должно прибѣгать къ памятникамъ духовной литературы, какъ источнику истиннаго краснорѣчія. Послѣдняя выписка замѣчательна тѣмъ, что рекомендуетъ славянскія и русскія слова, которыми, по мнѣнію Шишкова, удобно могли бы замѣниться нововведенія. Онъ удивляется, зачѣмъ явились *сцена*, *актъ*, *меланхолія*, *миѳологія*, *рецензія*, *героизмъ*, когда у насъ есть *явленіе*, *дѣйствіе*, *унынiе*, *баснословіе*, *разсматриваніе книгъ*, *добледушіе*. Понятіе объ *актерѣ*, говоритъ онъ, дается словомъ *лицедѣй*; новое выраженіе: *развитіе понятій* уступаетъ болѣе намъ свойственному: *прозябеніе понятій*. Заброшенныя слова: *лысто*, *непщевать*, *овъ*, *зане*, *поне*, *убо*, *иже*, *яко*, онъ находитъ хорошими и

лежимъ на мшистомъ бархатѣ прекрасной лужайки, пригласившей насъ на ковры ея, читаемъ творенія мужей знаменитыхъ, мирно аплодируемъ изящность идей ихъ. Сблизился вечеръ,—въ полномъ наслажденіи чувствъ возвращаемся; вкусный кофе питаетъ насъ аппетитно, и разговоръ друзей неощутительно застаетъ ночь. Облобызавшись взаимно съ признательностію къ подателю благъ, предпринимаемъ въ послѣдствіи заниматься прохладою. Тихій, сладкій сонъ заключаетъ времяпровожденіе дня того... Священная природа! въ храмѣ твоемъ токмо человѣкъ можетъ существенно блаженствовать.

¹) Послѣ этого, замѣчаетъ Шишковъ, прошедшее время дозволено будетъ называть «прошедшность», человѣческое жилище—«человѣчатнею» (по подобію голубятни), а березовое или дубовое дерево — «березятиной», «дубовятиной» (по подобію телятины).

выразительными. Еще прежде «опыта словаря», онъ хвалилъ русскія переложенія геометрическихъ терминовъ, въ старинномъ переводѣ «Эвклидовыхъ началъ»: *минующія черти* (параллельныя линіи), *подтягивающая* (хорда), *размѣръ* (діаметръ), *остъ* (центръ), равно какъ, съ другой стороны, осуждалъ слова: *обработанность*, *обдуманность*, *начитанность*, замѣчая, что послѣ этого начнутъ, пожалуй, писать: *летательность*, *насмотрѣнность* и т. п.

Въ одинъ годъ съ книгою Шишкова вышелъ разборъ ея, написанный Макаровымъ, издателемъ «Московскаго Меркурія» (¹). Исходная мысль критика—непрерывное развитіе языка, которое онъ противополагаетъ его установленности, поддерживаемой Шишковымъ. Всѣ языки съ теченіемъ времени мѣняются и ветшаютъ. Изъ общаго закона не изъятъ и нашъ. Не только славянскій языкъ, но и тотъ, которымъ писалъ Ломоносовъ, уже устарѣлъ и не можетъ болѣе служить примѣромъ дла прозы. Движеніе языка, появленіе въ немъ новыхъ словъ идетъ за движеніемъ просвѣщенія, за появленіемъ новыхъ предметовъ и понятій. Умственныя пріобрѣтенія обогащаютъ и словарь. Такова сущность мысли Макарова, который подкрѣпляетъ ее примѣрами. Отъ главнаго своего тезиса Макаровъ переходитъ къ другимъ, менѣе существеннымъ. Онъ признаетъ фактъ, возбудившій негодованіе Шишкова, но въ тоже время показываетъ односторонность его критики. Дѣйствительно, говоритъ онъ, плохіе писатели употребляютъ иностранныя слова безъ разсудка и вкуса; но развѣ виноватъ талантъ, если нашлись бездарные ему подражатели? Десятки, сотни ошибочныхъ фразъ, выбранныхъ изъ книгъ разнаго сорта, доказываютъ только, что у насъ есть дурныя книги, но несправедливо судить по нимъ о состояніи языка, о качествѣ современной словесности. Далѣе Макаровъ отвергаетъ мысль Шишкова, будто книжный языкъ долженъ быть какимъ-то особеннымъ, противополагаемымъ низкому, простонародному. По мнѣнію Макарова, есть и долженъ быть языкъ средній, который стараются образовать нынѣшніе передовые писатели и для общества и для литературы, чтобы *писать какъ говорятъ и говорить какъ пишутъ*. Короче, онъ хочетъ совершенно упразднить книжный языкъ, не имѣющій никакихъ свойствъ живой рѣчи. Это мнѣніе замѣчательно. Оно дополняетъ правило, которому слѣдовалъ Карамзинъ (*писать, какъ говорятъ*), другимъ столь же законнымъ: *и говорить, какъ пишутъ*. Первое безъ втораго было бы одностороннe. Требуя сближенія литературной рѣчи съ разговорною, необходимо требовать и возвы-

¹) 1803, № 12.

шенія разговорной до уровня литературной. Каждая изъ нихъ имѣетъ свойственныя ей преимущества. На сторонѣ разговорнаго языка—начало жизни, начало движенія; на сторонѣ языка литературнаго—начало вкуса, начало искусства, образуемаго чувствомъ красоты и мыслію. Языкъ литературный почерпаетъ матеріалъ и живость изъ языка разговорнаго, но самъ въ свою очередь сообщаетъ послѣднему вкусъ, красоту, обработку.

Другой отвѣтъ Шишкову, подъ названіемъ: «Письмо деревенскаго жителя» ([1]), принадлежитъ Каченовскому, бывшему потомъ профессоромъ въ московскомъ университетѣ. Онъ прибавляетъ мало новаго къ критикѣ Московскаго Меркурія. Подобно Макарову, Каченовскій признаетъ злоупотребленіе иностранными словами, но отличаетъ его отъ разумнаго ихъ заимствованія. Несправедливо, говоритъ онъ, осуждать хорошее, на ряду съ дурнымъ. Слова и даже выраженія, введенныя нашими лучшими писателями и переводчиками, ни мало не оскорбили бы нашихъ прадѣдовъ, если бы они жили въ одно съ нами время и если бы не нашли въ родномъ языкѣ приличныхъ реченій для выраженія современныхъ утонченныхъ понятій ([2]). Подобно Макарову, Каченовскій видитъ въ обновленіи языковъ общій законъ ихъ, указанный еще Гораціемъ, и не считаетъ порокомъ счастливую отважность писателя, который, по мѣрѣ надобности и въ духѣ своего языка, творитъ неологизмы.

Въ отвѣтъ «Московскому Меркурію» и «Сѣверному Вѣстнику» Шишковъ написалъ «Прибавленіе къ сочиненію, называемому «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка», или собраніе критикъ, изданныхъ на сію книгу, съ примѣчаніями на оныя» (1804). Защитникъ стараго слога не отрекся ни отъ одного изъ своихъ прежнихъ положеній, но старался только подкрѣпить ихъ новыми доводами. Онъ настаивалъ на тождествѣ языковъ

---

[1]) Сѣверный Вѣстникъ, 1804, № 1.

[2]) Замѣтку Шишкова о словѣ *чать*, вм. *чай* (см. выше), критикъ отражаетъ другимъ примѣромъ изъ Ломоносова: «И неумѣющій читать пойметъ тотчасъ по смыслу рѣчи, что тутъ не означается напитокъ; а знающій исторію знаетъ также, что во время Анакреона (которому подражалъ Ломоносовъ) чай не только еще не пивали, но онъ былъ и неизвѣстенъ, слѣд. въ дождѣ ему повредиться никакъ нельзя было. Мнѣ кажется, поставивъ *чать* вм. *чай*, Ломоносовъ затмилъ смыслъ, потому что частичку *чать* немногіе теперь понимаютъ. И почему Ломоносовъ не почувствовалъ двусмыслія въ другихъ своихъ стихахъ:

Не *тая ли* на насъ взираетъ,
Что матерію всѣ зовутъ?

Слово *тая* можно принять за дѣепричастіе отъ глагола *таять*.

русскаго и славянскаго, яснѣе и яснѣе давая знать критикамъ, что подъ русскимъ онъ разумѣетъ только нарѣчіе, или разговорный нынѣшній языкъ. «Если славенскій языкъ отдѣлить отъ россійскаго, то изъ чего же сей послѣдній состоять будетъ? развѣ изъ однихъ татарскихъ словъ, да изъ площадныхъ и низкихъ?... Богатство нашего языка состоитъ въ славянскомъ языкѣ; россійскій языкъ есть его чадо, заимствующее отъ него свое украшеніе; между языкомъ русскимъ и славенскимъ *никакого существеннаго различія полагать не можно*. Запрети намъ писать: конь, всадникъ, возница, вертоградъ, храмъ, молніеносный, быстропарящій и тому подобныя слова, имѣющія свой корень въ славенскомъ языкѣ,— словесность наша не лучше будетъ камчадальской». Слѣдствіе этого ясно: нашимъ писателямъ необходимо прибѣгать къ славянскому, который обогащаетъ русскій новыми матеріалами и даетъ способъ обходиться безъ иностранныхъ. Вмѣсто словъ: «горизонтъ», «аттитюдъ», «аллея», Шишковъ предлагаетъ: «обзоръ», «постава», «омѣна». Послѣднее находится въ Притчахъ Соломона (гл. VII, ст. 25): «да не прельстишися въ омѣнахъ ея» (прелестницы). Для чего бы, спрашиваетъ онъ, и нынѣ, въ новѣйшемъ нашемъ языкѣ, не сказать: «гнусенъ есть ядца плоти себѣ подобнаго» или: «бездушенъ есть пійца крови своего ближняго»? О сближеніи книжнаго языка съ разговорнымъ Шишковъ не хотѣлъ и слышать, по той причинѣ, что языкъ литературный обыкновенно дѣлится на высокій, средній и низкій, а въ разговорномъ такихъ подраздѣленій не существуетъ. Хотѣть писать какъ говоримъ и говорить какъ пишемъ—по его мнѣнію, тоже, что хотѣть поравнять орла съ синицей или носъ свой съ головою своею.

Протестъ Шишкова подѣйствовалъ на многихъ. У стараго слога явились свои воители, какъ у новаго были свои, хотя первые уступали вторымъ въ дарованіи. Нѣкоторые журналы сочувствовали идеямъ «Разсужденія». На первыхъ порахъ сочувствіе ограничивалось предпочтеніемъ церковно-славянскихъ словъ и формъ русскимъ, или замѣною послѣдними словъ иностранныхъ, которые давно уже существовали въ нашемъ языкѣ. Сѣверный Вѣстникъ, гдѣ помѣщена была критика на книгу Шишкова, подтверждалъ ученіе послѣдняго, что россійскій и славянскій языки всегда составляли одинъ и тотъ же языкъ [1]. «Журналъ Россійской Словесности», Брусилова (1805), дѣлая выходки противъ варваризмовъ, совѣтовалъ «гармонію» и «монотонію» замѣнить «согласіемъ» и «единообразіемъ». Но главнымъ притономъ идей Шиш-

[1]) Въ статьѣ: «Изображеніе просвѣщенія Россіянъ (1804, № 2).

кова была Россійская Академія, гдѣ онъ распоряжался какъ хозяинъ. Въ засѣданіяхъ ея представлялись переводы иностранныхъ словъ на русскій языкъ([1]), конечно съ тою цѣлію, чтобы исподволь изгнать вошедшіе къ намъ варваризмы, о чемъ, съ свойственною ему живостью, хлопоталъ еще Сумароковъ([2]). Переводы не отличались искусствомъ, да и самая задача показывала невѣрный взглядъ на то, какимъ образомъ языкъ обогащается новыми словами. Члены Академіи шли въ этомъ случаѣ за Шишковымъ, который изъ иностранныхъ словъ соглашался терпѣть одни техническіе термины или, какъ онъ выразился, «художественныя названія», и то временно—до изобрѣтенія соотвѣтствующихъ имъ русскихъ([3]).

Чтобы подкрѣпить себя какимъ-либо авторитетомъ, Шишковъ напечаталъ «Переводъ двухъ статей изъ Лагарпа» (1808), снабдивъ ихъ примѣчаніями ([4]). Обѣ статьи имѣютъ прямое отношеніе къ мыслямъ переводчика. Въ первой изъ нихъ (сравненіе французскаго языка съ греческимъ и латинскимъ) Лагарпъ говоритъ о тѣхъ французскихъ писателяхъ, которые, при всей скудости своего языка, умѣли его вычистить, расширить, обогатить: слѣд. она соотвѣтствуетъ той части «Разсужденія», въ которой старый слогъ выставляется какъ образецъ. Вторая статья (о украшеніяхъ, въ краснорѣчіи употребляемыхъ) направлена противъ тѣхъ авторовъ, которые, оставивъ путь, проложенный ихъ разумными предшественниками, думаютъ, помимо всякихъ знаній и упражненій въ языкѣ, открывать новыя стези, насаждать новую словесность: поэтому она отвѣчаетъ той части «Разсужденія,» гдѣ обличаются литературныя новизны. Для Шишкова, первая статья важнѣе по тому заключенію, къ которому она его приводитъ. Если, какъ доказано Лагарпомъ,

[1]) Вотъ опыты этихъ переводовъ: авторитетъ (превосходство), адресъ (надпись), адъюнктъ (пріобщникъ), актеръ (лицедѣй), аллея (прохожь, просадь), анаграмма (буквопреложеніе), антипатія (противустрастіе), ассистентъ (присущникъ), аудиторія (слушалище), аудіенція (пріемъ).—Атмосфера и артиллерія остались безъ перевода.

[2]) О истребленіи чужихъ словъ изъ русскаго языка (Соч. Сумарокова. ч. 9). Мысль сатирика вѣрна: «воспріятіе чужихъ словъ, а особливо безъ необходимости, есть не обогащеніе, а порча языка». Въ числѣ ненужныхъ варваризмовъ онъ ставилъ удержавшіеся въ нашемъ языкѣ: фрукты, сюртукъ, сервисъ (столовый приборъ), супъ, гувернантка, валетъ (въ картахъ), фершелъ.

[3]) Многія изъ этихъ названій почиталъ онъ ненужными, такъ какъ они замѣняются отечественными, напр.: перпендикуляръ (отвѣсъ), астрономія (звѣздочетство), геометрія (землемѣріе), физика (естествословіе).

[4]) Переведены только нѣкоторыя мѣста ихъ, нужныя для Примѣчаній, которыя поэтому и служатъ дополненіемъ къ «Разсужденію».

французскій языкъ бѣденъ, сравнительно съ латинскимъ и греческимъ, особенно въ словорасположеніи; то позволительно ли увлекаться имъ русскому? Если славено-россійскій языкъ, древній и перводный, обладаетъ всѣми преимуществами, которыя Лагарпъ находитъ въ языкахъ древнихъ; то какъ же русскому читателю не обращаться къ нему и не черпать изъ него, какъ изъ чистаго и неизсякаемаго источника? Заботясь объ очищеніи русскаго языка отъ варваризмовъ, Шишковъ въ предувѣдомленіи ко второй статьѣ излагаетъ мысли о переводѣ иностранныхъ техническихъ словъ на русскій языкъ. Онъ изумляется безобразію, до котораго дошли нѣкоторые переводчики и авторы ([1]), и употребляетъ *краснословъ*, *вещесловіе*, *словоизвитіе*, *иноименіе*, *инословіе* вмѣсто ораторъ, матерія, фигура (риторическая), метонимія, аллегорія. Изъ двухъ русскихъ словъ, выражающихъ одно и тоже понятіе, онъ всегда почти отдаетъ предпочтеніе старинному: такъ онъ хвалитъ слово «искидокъ» какъ хорошую замѣну «изверга». Онъ сѣтуетъ, почему мы не только не смѣемъ писать «грядый», «созерцаяй», но даже хотимъ истребить «грядущій», «созерцающій», и вмѣсто нихъ писать: «тотъ, который идетъ», «тотъ, который поглядываетъ.» Сложныя слова (напр. древо *благосѣннолиственное*), это особенное преимущество языковъ греческаго и русскаго, приводятъ его въ восхищеніе ([2]).

Примѣчанія къ переводу Лагарповыхъ статей подверглись болѣе основательной критикѣ, чѣмъ «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ» ([3]). Критикъ (Д. В. Дашковъ), подобно Макарову, признаетъ справедливую сторону мыслей Шишкова. Онъ согласенъ, что не должна быть терпима варварская смѣсь, какою писаны многія современныя сочиненія; но вмѣстѣ съ этимъ ему видны и недос-

---

[1]) Примѣръ взятъ изъ книги «Пролюзія къ медицинѣ, какъ основательной наукѣ, соч. Данилы Веланскаго» (1805): Электричество есть *феноменъ динамическаго процесса* тѣлъ или одной изъ *категорій*, по котрымъ *формуется конкретное*, и проч.

[2]) «Разсвѣтъ полночи» (1804), собраніе стихотвореній Семена Боброва, заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, слѣдующія выраженія: моря *хороносныя* (по сравненію кораблей съ горами); гробъ *водосланый* (море—отъ соленой, сланой воды); *кровомлечное* лице (лице—кровь съ молокомъ); *свѣтлолучный*; въ одеждѣ скорби *слезощвенной*; музы въ плачѣ *растопленны* и пр. Въ эпиграммахъ Батюшкова и кн. Вяземскаго, Бобровъ является подъ именемъ *Бибриса*, выспренняго поэта:

Нѣтъ спора, что Бибрисъ боговъ языкомъ пѣлъ:
Изъ смертныхъ-бо никто его не разумѣлъ *(Кн. Вяземскій)*.
Какъ трудно Бибрису со славою ужиться:
Онъ пьетъ, чтобы писать, и пишетъ, чтобъ напиться (*Батюшковъ*).

[3]) Цвѣтникъ, издаваемый А. Измайловымъ и П. Никольскимъ, 1810 г. №№ 11 и 12.

татки примѣчаній. Первый недостатокъ состоитъ въ излишнемъ расширеніи выводовъ, въ неправильномъ обобщенія частностей. Есть, конечно, писатели, не умѣющіе пользоваться матеріаломъ и чужихъ языковъ, и своего собственнаго, но есть и такіе, которые удачно переносятъ къ намъ иностранныя слова и столь же удачно обогащаютъ литературный языкъ новыми выраженіями. Шишковъ ратуетъ противъ первыхъ, а вторые какъ бы не существуютъ для него, или существовали только до Карамзина. Что слѣдуетъ отнести единственно къ злоупотребленію предметомъ, онъ относитъ къ употребленію предмета вообще. Второй недостатокъ—частію парадоксальныя, частію преувеличенныя мнѣнія объ особенностяхъ русскаго языка и о погрѣшностяхъ новаго слога. Самый главный между парадоксами—смѣшеніе славянскаго языка съ русскимъ. Нельзя почитать ихъ тождественными, равно какъ французскій языкъ не одно и тоже съ латинскимъ, его родоначальникомъ. Если бы языки русскій и славянскій составляли одно и тоже, то къ чему предосторожности, рекомендуемыя Шишковымъ, касательно надлежащаго употребленія того и другаго въ разныхъ родахъ слога? Кто говоритъ или пишетъ на одномъ, тотъ, стало быть, говоритъ или пишетъ въ тоже время и на другомъ, ничѣмъ отъ перваго не отличающемся.

Разсматривая особенности языка, говоритъ Дашковъ, надобно выставлять дѣйствительно существующія и въ томъ значеніи, какое онѣ имѣютъ на самомъ дѣлѣ, а не преувеличивать ихъ и не выдумывать небывалыя. Шишковъ за-частую грѣшилъ на этомъ пунктѣ. Онъ осуждалъ тѣхъ, которые вмѣсто: *грядый*, *созерцаяй*, *грядущій*, *созерцающій*, въ важныхъ сочиненіяхъ пишутъ: *тотъ, который идетъ*, *тотъ, который поглядываетъ*, а потомъ отвергалъ и окончанія на *щій*, какъ непріятныя для слуха. Дашковъ возражаетъ: «за чѣмъ отнимать у писателя свободу употребить по произволу то или другое выраженіе, когда оба не противны свойству языка нашего?» Правда, Державинъ сказалъ:

Живый въ движеньи вещества;

но «если бы въ прекрасныхъ стихахъ:

Царямъ подвластенъ міръ, цари подвластны Богу,
Тому, кто съ облачныхъ высотъ
Гигантамъ въ адъ *отверзъ* дорогу,
Кто маніемъ бровей *колеблетъ* сводъ небесъ,

вмѣсто: *тому*, *кто отверзъ*, *кто колеблетъ*, поэтъ непремѣнно долженъ былъ поставить: *отверзшему*, *колеблющему*, то могли ли бы выдти такіе стихи? Или:

Въ отвѣтъ на вздохъ мой, вѣтръ *ревущій*
И ключъ въ гранитно дно *біющій*
Шумятъ сквозь вѣтвія древесъ.

Въ этихъ стихахъ конечно *ревущій*, *біющій* гораздо лучше и удобнѣе для стихотворца, нежели *тотъ*, *который реветъ* или *бьетъ*; но захотѣлъ ли бы онъ промѣнять сіи причастія на славянскія: *ревяй и біяй?*»

Свободное расположеніе словъ въ нашемъ языкѣ есть важное его преимущество, но не слѣдуетъ восторгаться имъ безусловно: оно имѣетъ границы, подлежитъ закону и можетъ быть злоупотребляемо. Сплошь и рядомъ бываютъ перестановки словъ и ошибочныя и некрасивыя, допускаемыя безъ всякаго уваженія къ смыслу рѣчи и къ ея благозвучію. Къ числу такихъ принадлежатъ и примѣры, съ похвалою приводимыя Шишковымъ (¹). Тоже ограниченіе надобно имѣть въ виду, объясняя другую выгоду нашего языка—способность образовывать сложныя слова (особенно прилагательныя). Прекрасны слова: *свѣтоносный*, *лучезарный*, *искрометный*; но древо *благосѣннолиственное* дурно. «Развѣ трудно», замѣчаетъ Дашковъ, «такимъ образомъ ковать новыя слова, соединяя въ одно три или четыре, имѣющія каждое особенный смыслъ? Развѣ трудно, переводя напримѣръ изъ Освобожденнаго Іерусалима прекрасную рѣчь сатаны и описывая его самого, сказать: «*длинногустозакоптѣлая* брада по персямъ висѣла», или «сія *христогробопокланяемая* страна» (²)? но къ чему такая варварская смѣсь? Хорошіе писатели наши часто совокупляютъ два слова, изъ коихъ одно дополняетъ или поясняетъ смыслъ другаго. Державинъ очень хорошо сказалъ въ своемъ «Памятникѣ»:

Ни вихрь его, ни громъ не сломитъ *быстротечный*,

и сіе соединеніе придаетъ болѣе блеска его выраженію. Но въ предъидущемъ стихѣ:

Я памятникъ себѣ воздвигъ чудесный, вѣчный,

для чего не сказалъ онъ *чудесновѣчный*? для того, что сіи двѣ мысли никакого не имѣютъ отношенія между собою и что, смѣшавъ ихъ, онъ не придалъ бы стиху своему никакой новой красоты».

Третій недостатокъ—ошибки самого Шишкова противъ русскаго или славянорусскаго языка, котораго чистоту онъ взялся охранять. Критика мѣняется здѣсь ролью съ защитникомъ стараго слова:

¹) Между прочимъ изъ письма Филлиды къ Демофонту, въ переводѣ Козицкаго: «А если наши твоими моря воспѣнятся веслами» и пр.

²) Взято изъ рукописнаго перевода Тассовой поэмы Б...ча.

изъ обвинителя, какимъ онъ былъ до этого времени, она переводитъ его на скамью обвиняемыхъ и требуетъ отвѣта въ собственныхъ его проступкахъ. Шишковъ обличалъ переводчиковъ въ неумѣньѣ перелагать чуждую рѣчь по русски, и самъ, въ переводѣ Лагарпа, надѣлалъ галлицизмовъ. Онъ обличалъ новыхъ писателей въ несвойственныхъ нашему языку словахъ и оборотахъ, и самъ «не умѣтилъ въ свойства нашего языка». Если «дикія нелѣпости» послѣдователей Карамзина произошли отъ крайняго пристрастія ко всему французскому, то такія же, если не худшія, нелѣпости перевода Лагарповыхъ статей имѣли причиной крайнее пристрастіе переводчика къ славянскому. Изъ разныхъ источниковъ вытекло одно и тоже слѣдствіе, а въ слѣдствіи-то и заключается вся сила. Такимъ образомъ галломанія и славяноманія, будучи крайностями, сходятся; и потому дѣло не въ той или другой, а въ талантѣ, вкусѣ, знаніи предмета и языка.

Послѣдователи новаго слога, въ возмездіе за придирчивую критику Шишкова, начали обличать погрѣшности писателей, принадлежавшихъ къ школѣ слога стараго. Изъ журналовъ «Цвѣтникъ» (¹) съ особенною ревностью отмѣчалъ недостатки тѣхъ литературныхъ явленій, на которыхъ видно было вліяніе «Разсужденія». Указавъ чудесности или чудовищности «Велисарія», въ переводѣ Захарова (1808), критикъ заключаетъ свою статью выводомъ: «Нѣсколько лѣтъ назадъ наводняли нашу словесность *иностранныя слова и галлицизмы*; теперь наводняютъ *слова славенскія и галлицизмы же*. И такъ что мы выиграли? переставили буквы и только. Не на слова одни преимущественно долженъ обращать всякій писатель свое вниманіе, но на *составленіе рѣчи*, на *обороты* оной. Надобно, чтобы рѣчь была *русская*, а не буквы, ибо *знаки* безъ порядка *ничего не значатъ*; надобно идти по прямой дорогѣ, а не уклоняться то въ ту, то въ другую сторону. Хорошо, если писателю вспадетъ на умъ счастливая мысль; хорошо, если онъ удачно изобрѣтетъ новое слово или удачно переведетъ какое-нибудь иностранное. Такъ, напримѣръ, выдуманы *самодержецъ*, *терпимость*, *скороходъ*; такъ переведены *водопадъ* (каскадъ), *водометъ* (фонтанъ), *кругозоръ* (горизонтъ), *олицетворить* (personifier); но неужели изрядство сихъ словъ даетъ право выдумывать *скиптродержавныя руки*, *преломимость*, *скоротеча*? или переводить лютню—*струнницею*, медаль—*гривною*, героевъ—*удалыми головами*, футляръ—*скрыней?*» (²) У автора сказано: «министръ или *дѣловецъ*

¹) Онъ издавался два года (1809 и 1810): первый годъ—А. Измайловымъ и Бенитцкимъ, второй—А. Измайловымъ и П. Никольскимъ.

²) Цвѣтникъ, 1809, № 2.

государственный». Критикъ замѣчаетъ: «Недавно изобрѣтено было слово *дѣловодецъ*, а теперь показалось еще новое—*дѣловецъ*. Не знаемъ, которое хуже изъ сихъ названій, но скажемъ утвердительно, что ни то, ни другое не означаетъ министра.... Не всѣ иностранныя слова можно замѣнять отечественными, а особливо давно уже употребляемыя въ нашемъ языкѣ и сдѣлавшіяся, такъ сказать, *техническими*, или *искуственными терминами*. Упоминая о «Посланіи кн. Сергѣя Шихматова къ брату» (1810), Цвѣтникъ выписываетъ изъ его поэмы: «Петръ Великій» (1810) слова и выраженія, которыя восхищали Шишкова (на примѣръ: *зложадная* грудь; *многосластная* жизнь; *достомужный* образъ; *неозлобный* щитъ спокойства; *звиздающія* эхидны; тартара *отродъ*; *преисподнѣйшія дрожди; безпищныя* скалы; Этна, *чревоболящая пожарами*; *своинствовать; удержавить* землю; *водостланная* равнина; *піяный* множествомъ *кровей; безлучное* величество; *юностный* садъ; *мертвость*, и пр.) (¹).

Въ разборѣ перевода Лагарповыхъ статей всего чувствительнѣе для Шишкова было указаніе его собственныхъ больныхъ мѣстъ,—тѣхъ самыхъ, которыя онъ хотѣлъ, какъ врачъ, лечить у другихъ. Пройти молчаніемъ критику значило бы признать своего противника побѣдителемъ, а себя побѣжденнымъ. Шишковъ рѣшился отвѣчать не прямо, а косвенно. Отвѣтъ его привязанъ въ читанному въ годичномъ собраніи Россійской Академіи (1810) «разсужденію о краснорѣчіи священнаго писанія и о томъ, въ чемъ состоитъ богатство, обиліе, красота и сила россійскаго языка, и какими средствами оный еще болѣе распространить, обогатить и усовершенствовать можно» (²). Оно служитъ рѣшеніемъ двухъ задачъ, предложенныхъ академіей; но авторъ соединилъ ихъ въ одну, находя между ними тѣсную связь. Оно состоитъ изъ трехъ частей, которыя слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ: а) о превосходныхъ свойствахъ нашего языка, б) о краснорѣчіи священнаго писанія, в) какими средствами словесность наша обогащаться можетъ и какими приходить въ упадокъ. Всѣ три части имѣютъ предметомъ раскрытіе мыслей о старомъ и новомъ слогѣ.

а) Въ первой части Шишковъ говоритъ о способности нашего языка составлять слова звукоподражательныя, изображать въ названіяхъ чувствъ самыя чувства, а иногда и ихъ органы (напр. *слухъ—ухо*); именовать видимыя вещи сообразно ихъ качествамъ, напр. круглый предметъ означается и буквами, имѣющими такую

---

¹) Ib. № 12.

²) Нап. 1811, въ 5 т. Сочиненій и переводовъ Рос. Академіи.

же форму, т. е. круглыми (напр. *око*). Также оригинально толкуется и превосходство русскихъ нарѣчій. По мнѣнію Шишкова, нарѣчія: *далеко*, *близко*, *низко*, *глубоко*, *широко*, *высоко* и т. п. составлены изъ словъ: *даль око* (простирай зрѣніе далѣе), *близъ око* (не простирай оное вдаль), *низъ око* (онускай глаза внизъ), и проч.

б) Какъ эти, такъ и другія отличныя свойства нашего языка проявились съ особеннымъ блескомъ въ славянскомъ переводѣ священнаго писанія, который поэтому красотою, силою и богатствомъ превосходитъ переводы его на другіе языки.

в) Отсюда слѣдуетъ, что для украшенія нынѣшняго нашего нарѣчія (т. е. русскаго языка) остается намъ единственное средство—языкъ славянскій. Такой выводъ заставляетъ Шишкова опять войти въ разборъ взаимныхъ отношеній русскаго и славянскаго языковъ. Новаго онъ не сказалъ ничего, но по крайней мѣрѣ яснѣе высказалъ свой прежній взглядъ. «Откуда», говоритъ онъ, «родилась неосновательная мысль, что славенскій и русскій языкъ различны между собою? Если слово *языкъ* взять въ смыслѣ нарѣчія или слога, то, конечно, разность есть; но таковыхъ разностей мы найдемъ не одну, а многія: во всякомъ вѣкѣ или полувѣкѣ примѣчаются нѣкоторыя перемѣны въ нарѣчіяхъ.... *Подъ именемъ языка разумѣются корни словъ и вѣтви отъ нихъ происшедшія*: если оныя въ двухъ языкахъ различны, тогда и языки различны, но когда знаменованія словъ и вѣтвей оныхъ находятся въ самомъ языкѣ, тогда оныя всякому нарѣчію общи, выключая развѣ такое, которое совсѣмъ отъ корней языка своего удалились: тогда уже оное не есть болѣе нарѣчіе, но совсѣмъ иной языкъ. Гдѣ жъ примѣчаемъ мы то въ нашемъ нарѣчіи?.... разность не въ языкѣ, а въ нарѣчіи, нимало не уклонившемся отъ свойствъ языка. Скажутъ: мы много имѣемъ двоякихъ именъ, изъ которыхъ одни русскія (глазъ, лобъ, щеки, плечи) и другія славенскія (око, чело, ланиты, рамена); но чѣмъ докажутъ мнѣ, что *глазъ*, *лобъ*, *щеки*, *плечи* суть русскія, а не славенскія названія?... Могутъ еще ссылаться на слова: *лошадь*, *колпакъ*, *кучеръ*, *артиллерія*, *фортификація* и проч., но сіи столько же не славенскія, сколько и не русскія, потому что изъ чужихъ языковъ взяты. Чтожъ такое русскій языкъ отдѣльно отъ славянскаго? Мечта, загадка. *И такъ славенскій и русскій языкъ есть одно и тоже*. А когда языкъ одинъ, то и нарѣчія онаго, хотя бы онѣ разнствовали между собою, не могутъ называться одно славенскимъ, а другое русскимъ: въ такомъ случаѣ предполагались бы различіе въ сихъ двухъ языкахъ... Не славенскій языкъ, отдѣляя отъ русскаго, презирать;

не слова онаго на славенскія и русскія раздѣлять: но какое слово какому слогу прилично, знать надлежитъ.... *Мы не иное что подъ славенскимъ языкомъ разумѣемъ, какъ тотъ языкъ, который выше разговорнаго* и которому слѣдственно не можемъ иначе научиться, какъ изъ чтенія книгъ; *онъ есть высокій, ученый, книжный языкъ*....

За «разсужденіемъ о краснорѣчіи священнаго писанія» слѣдуетъ особое «присовокупленіе»: это уже не косвенный, а прямой отвѣтъ Дашкову. Слова Дашкова: «нашъ русскій языкъ самъ по себѣ», приводятъ его противника въ изумленіе. «Какъ!» восклицаетъ онъ: «нашъ русскій языкъ самъ по себѣ? да что такое нашъ русскій языкъ самъ по себѣ? гдѣ онъ? возьмемъ какую-нибудь нынѣшнюю книгу, найдемъ ли мы въ ней хотя два такихъ слова (выключая иностранныя), о которыхъ могли бы мы сказать: вотъ это славенское, а это русское? Ежели мы подъ славенскимъ словомъ разумѣть будемъ высокое слово, напримѣръ *вниду*, а подъ русскимъ простое, напримѣръ *войду*, то конечно о разности ихъ разсуждать можемъ, утверждая справедливо, что первое изъ нихъ прилично важному, а другое среднему или простому слогу; но утверждать, что *вниду* есть славенское, а *войду* русское, и дѣлать изъ того два разныхъ языка есть не знать составленія словъ, есть утверждать, что предлогъ *въ* различенъ отъ предлога *въ* и глаголъ *иду* различенъ отъ глагола *иду*». Хорошіе писатели, конечно, не смѣшиваютъ славянскаго языка съ русскимъ, продолжаетъ Шишковъ, но подъ сими словами разумѣется различіе высокаго слога съ простонароднымъ (напр. можно сказать: «препояши чресла твоя и возьми жезлъ въ руцѣ твои», и можно также сказать: «подпояшься и возьми дубину въ руки»; то и другое въ своемъ родѣ и въ своемъ мѣстѣ прилично; но, начавъ словами: «препояши чресла твоя», кончить: «и возьми дубину въ руки», было бы и смѣшно и странно). Впрочемъ, дополняетъ онъ свою рѣчь, не опасаясь или не замѣчая противорѣчія самому себѣ, славянскій языкъ и высокій слогъ не одно и тоже. Не всякая славянская рѣчь есть высокая: «хощеши ли, дамъ ти подзатыльницу», не такой же высокій языкъ, какъ «трепетна бысть земля, и основаніе горъ смятошася» (¹).

¹) Споръ не обходился безъ забавныхъ выходокъ. Отвѣчая Шишкову, Дашковъ говоритъ: «Не всякая славенская рѣчь есть высокая, но высокій слогъ нашъ безъ славенскихъ словъ, съ осторожностію употребляемыхъ, существовать не можетъ. Славянскія рѣчи бываютъ высокія и низкія (кто въ этомъ сомнѣвается?) и приведенный г. сочинителемъ примѣръ: *хощеши ли, дамъ ти подзатыльницу*, конечно, не есть такой же высокій языкъ, какъ: *и абіе воздамъ ти сторицею*. Послѣднее выраженіе несравненно сильнѣе.

Какъ ни казались крѣпкими Шишкову его сужденія, но всѣ они были разбиты его противникомъ, въ отдѣльной книжкѣ: «О легчайшемъ способѣ отвѣчать на критики» (1811). Она имѣла цѣлію показать, что Шишковъ, за недостаткомъ убѣдительныхъ доводовъ въ пользу своего дѣла, счелъ удобнѣйшимъ уклоняться отъ дѣла и говорить о предметахъ, ему постороннихъ, вдаваясь при этомъ въ личности и грубые укоры.

Авторъ ея шагъ за шагомъ преслѣдуетъ своего противника, выбиваетъ его изъ каждой позиціи, разсѣеваетъ всѣ его парадоксы. Такъ, напр., вопреки мнѣнію Шишкова, звукоподражательными словами обильны всѣ языки, не одинъ русскій: у дикихъ народовъ ихъ еще больше, чѣмъ у образованныхъ. Слова: *далеко*, *близко*, *глубоко* и др. вовсе не означаютъ того, что видитъ въ нихъ Шишковъ: это — нарѣчія, производимыя извѣстнымъ образомъ отъ прилагательныхъ, какъ *жестоко*, *мягко*, *крѣпко*; сходство ихъ окончанія съ словомъ *око* есть случайное. Существительное *слухъ*, заключающее въ себѣ и названіе самого органа (ухо), не лучше латинскаго *auditus* (*auris*) и французскаго *ouïe* (*oreille*). Если русскій умъ сблизилъ слово *зрѣніе* съ подобными же, свѣтъ означающими понятіями (*заря*, *зареніе*), то почему слова: *день*, *солнце*, гораздо болѣе дающія понятіе о свѣтѣ, да и самое слово *свѣтъ* нимало не похожи на *зрѣніе?* Если буква *о* есть несомнѣнный признакъ круглости во всѣхъ словахъ, гдѣ только она находится: отчего нѣтъ ея въ названіяхъ *круга* и *шара*—фигуръ наикруглѣйшихъ? Заключеніе всего отвѣта слѣдующее: «такимъ образомъ страсть къ системамъ увлекаетъ насъ отъ умствованія къ умствованію, отъ софизма къ софизму, и наконецъ ввергаетъ въ очевидное заблужденіе».

Сочиненія Шишкова быстро слѣдовали одни за другими, и каждое изъ нихъ прямо или косвенно должно было служить тому же предмету. Въ 1811 г. вышли «Разговоры о словесности между двумя лицами: Азъ и Буки», а въ 1812-мъ «Прибавленіе къ разговорамъ». Каченовскій, разбирая первое сочиненіе Шишкова обнаружилъ странность той гипотезы, которая была исходной точкой въ ученіи о старомъ и новомъ слогѣ. «Оставшійся въ книгахъ духовныхъ славянскій языкъ», говоритъ онъ, «отдѣленъ отъ нынѣшняго русскаго несходствомъ нѣкоторыхъ словъ и разностію въ спряженіяхъ и даже въ правилахъ синтаксиса. Безъ всякаго сомнѣнія, русскій языкъ есть отрасль славенскаго; но теперь онъ уже въ такомъ состояніи, что приличнѣе называть его языкомъ, а не нарѣчіемъ. На немъ издаются законы; на немъ написаны многія книги: какъ же можно сказать, что онъ не существуетъ, и какъ

можно называть его нарѣчіемъ, тогда какъ самъ онъ уже имѣетъ множество мѣстныхъ нарѣчій? Ежели такъ, то ни одинъ изъ нынѣшнихъ европейскихъ языковъ не существуетъ, ибо всѣ они произошли отъ древнихъ и изъ нихъ составились. Было бы очень странно, когда бъ увѣрять стали, что у италіанцевъ и французовъ нѣтъ языка, и что тѣ и другіе говорятъ нарѣчіемъ или слогомъ».

Тѣснимый противниками, Шишковъ задумалъ болѣе широкій планъ для своего дѣла. Ему хотѣлось не только разсужденіями водворять нужныя ему понятія о старомъ и новомъ слогѣ, но и прилагать ихъ къ литературному производству. Для выполненія задуманнаго были нужны союзныя усилія многихъ лицъ. Съ этою цѣлію онъ устроилъ общество, подъ названіемъ: «Бесѣда любителей русскаго слова» (¹), которое открыло свои засѣданія въ домѣ Державина (14 марта 1811). При открытіи Шишковъ произнесъ рѣчь о красотахъ русскаго языка. По уставу, написанному также Шишковымъ, засѣданія происходили ежемѣсячно и были публичны. Личный составъ «Бесѣды» дѣлился на четыре разряда, имѣвшіе каждый своего предсѣдателя, членовъ и сотрудниковъ. Шишковъ предсѣдательствовалъ въ первомъ разрядѣ, Державинъ во второмъ, А. С. Хвостовъ въ третьемъ, Захаровъ въ четвертомъ. Кромѣ того находились почетные члены, въ числѣ которыхъ видимъ и Карамзина, не смотря на то, что общество образовалось въ противодѣйствіе его реформѣ. Попечителями Бесѣды были избраны: гр. Завадовскій, Мордвиновъ, гр. Разумовскій, И. Дмитріевъ, другъ и сподвижникъ Карамзина. Съ 1811 по 1815 г. общество напечатало 19 книжекъ изданія, служившаго ему органомъ, подъ названіемъ: «Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова».

Въ этой-то «Бесѣдѣ», передъ великимъ событіемъ нашей исторіи, Шишковъ читалъ «Разсужденіе о любви къ отечеству» (1811, нап. 1812)—лучшее изъ его сочиненій, по языку и горячимъ патріотическимъ чувствамъ и доставившее ему мѣсто государственнаго секретаря: онъ состоялъ при императорѣ Александрѣ (1812 и 1813 гг.), двигая, по слову С. Аксакова, духомъ Россіянъ писанными имъ манифестами въ отечественную войну.

На ряду съ критическимъ обсужденіемъ вопроса о слогѣ являлись и другія произведенія касательно того же предмета. Война съ Шишковымъ была ведена и прозой и стихами. Стихотворцы

---

¹) Общество названо, вѣроятно, въ память литературнаго сборника: «Собесѣдникъ любителей россійскаго слова».

*

вступили въ дѣло послѣ того, какъ онъ задѣлъ личности своихъ противниковъ. В. Пушкинъ въ шутливомъ разсказѣ: «Опасный Сосѣдъ», первый пустилъ въ ходъ названіе «славянофилъ». Басня А. Измайлова: «Шутъ въ парикѣ» (1811) посмѣялась надъ нетерпимостью Шишкова, который, нападая на любовь къ французскому языку, самъ употреблялъ галлицизмы и въ защитѣ новаго слога подозрѣвалъ нелюбовь къ отчизнѣ и посягательство на вѣру. Въ «Журналѣ драматическомъ», выходившемъ подъ редакціей М. Макарова (1811), помѣщена комедія: «Обращенный славянофилъ», гдѣ Педантовъ, пріятель славянофила, представленъ глупцомъ и негодяемъ. «Санктпетербургскій Вѣстникъ» (1812), второй, послѣ Цвѣтника, органъ карамзинистовъ, остроумно подмѣчалъ литературныя дикости въ твореніяхъ членовъ «Бесѣды». Воейковъ отвелъ мѣсто Шишкову въ своей сатирѣ: «Домъ сумасшедшихъ», вмѣстѣ съ нѣкоторыми его чтителями, а Батюшковъ, пародируя Жуковскаго, воспѣлъ дѣянія и чувства всей славяно-росской дружины. Наконецъ Нарѣжный комически вывелъ любителя славянщизны, подъ именемъ Трисмегалоса, въ «Русскомъ Жилблазѣ». Изъ воспоминаній одного современника видно, что споръ карамзинистовъ съ шишковистами проникъ даже въ стѣны училищъ и интересовалъ школьниковъ (¹).

Самъ Карамзинъ не вмѣшивался въ распрю, будучи занятъ историческимъ трудомъ и чувствуя отвращеніе отъ полемики вообще. Притомъ же онъ имѣлъ право оставлять безъ вниманія критику, направленную, какъ мы видѣли, собственно не противъ него, а противъ его жалкихъ подражателей. А сознаніе литературныхъ заслугъ, которыя для Шишкова какъ бы не существовали, не дозволило ему защищать тѣ или другія мѣста своихъ сочиненій, поставленныя ихъ критикомъ на одну доску съ нелѣпостями бездарныхъ писакъ. Должно жалѣть однакожъ, что Карамзинъ рѣшительно уклонился отъ спора. Авторъ такихъ критическихъ замѣтокъ, какъ «Великій мужъ русской грамматики» и «О русской грамматикѣ француза Модрю», могъ бы своимъ умнымъ словомъ разрѣшить недоразумѣнія воюющихъ сторонъ. Случай къ этому слову представился черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ книги Шишкова, когда Карамзинъ выдалъ восемь томовъ «Исторіи государства россійскаго», и Академія почтила историка званіемъ члена. Содержаніе рѣчи, произнесенной Карамзинымъ въ торжественномъ собраніи Академіи (5 декабря 1818), очень замѣчательно.

¹) Семейная хроника и воспоминанія С. Аксакова.

Онъ долженъ былъ, наконецъ, высказаться передъ своими сочленами и, высказываясь, припомнить замолкшую полемику. Онъ явился съ словомъ благодарности и примиренія, но вмѣстѣ и съ совѣтами академикамъ. Нѣкоторыя мѣста его рѣчи прямо относятся къ прежнимъ толкамъ о языкѣ, какъ полезный урокъ на будущее время. Критика не одно и тоже съ укоризной, говоритъ Карамзинъ; она должна прежде всего выставлять достоинства дѣла: «самый легкій умъ находитъ несовершенства, только умъ превосходный открываетъ безсмертныя красоты въ сочиненіяхъ; когда увидимъ важныя злоупотребленія, новости неблагоразумныя въ языкѣ, замѣтимъ, предостережемъ безъ язвительной укоризны». Предсѣдатель Академіи (Шишковъ) могъ слышать въ этихъ словахъ намекъ на рѣзкость и односторонность своей критики, не отличавшей въ реформѣ Карамзина существеннаго отъ несущественнаго. Обличая странности новаго слога, Шишковъ противополагалъ ему старый, долженствующій, по его мнѣнію, оставаться безсмѣннымъ; Карамзинъ выводитъ языкъ изъ такого оцѣпѣненія, подтверждая то, что уже говорилось Макаровымъ и Дашковымъ; онъ предлагаетъ академіи исправлять изданные ею словарь и грамматику,—книги, «всегда богатыя бѣлыми листами для пополненія, для перемѣнъ, необходимыхъ по естественному, безпрестанному движенію живаго слова къ дальнѣйшему совершенству,—движенію, которое пресѣкается только въ языкѣ мертвомъ». Шишковъ хотѣлъ обогащать языкъ и замѣною иностранныхъ словъ отечественными, и введеніемъ въ русскую рѣчь славянскихъ, и созданіемъ новыхъ на основаніи собственныхъ умствованій; Карамзинъ показываетъ несостоятельность его намѣренія:

> Главнымъ дѣломъ вашимъ было и будетъ *систематическое образованіе языка*; непосредственное же его *обогащеніе* зависитъ отъ успѣховъ общежитія и словесности, отъ дарованія писателей, а дарованія единственно отъ судьбы и природы. Слова не изобрѣтаются академіями: они рождаются вмѣстѣ съ мыслями или въ употребленіи языка или въ произведеніяхъ таланта, какъ счастливое вдохновніе. Сіи новыя, мыслію одушевленныя слова, входятъ въ языкъ самовластно, украшаютъ, обогащаютъ его, *безъ всякаго ученаго законодательства* съ нашей стороны: мы не даемъ, а принимаемъ ихъ. Самыя правила языка не изобрѣтаются, а въ немъ уже существуютъ: надобно только открыть или показать оныя.

Шишковъ возставалъ противъ подражанія иностранному; Карамзинъ, разъясняя, въ чемъ должно состоять подражаніе и какъ оно неизбѣжно въ литературѣ, съ тѣмъ вмѣстѣ показываетъ невозможность возвращаться къ тому, что отжило свой вѣкъ:

Петръ Великій, могущею рукою своею преобразивъ отечество, сдѣлалъ насъ подобными другимъ европейцамъ. Жалобы безполезны. Связь между умами древнихъ и новѣйшихъ россіянъ прервалася навѣки. Мы не хотимъ подражать иноземцамъ, но пишемъ, какъ они пишутъ: ибо живемъ, какъ они живутъ; читаемъ, что они читаютъ; имѣемъ тѣ же образцы ума и вкуса; участвуемъ въ повсемѣстномъ, взаимномъ сближеніи народовъ, которое есть слѣдствіе самаго ихъ просвѣщенія. Красоты *особенныя*, составляющія характеръ словесности *народной*, уступаютъ красотамъ общимъ: первыя измѣняются, вторыя вѣчны. Хорошо писать для россіянъ: еще лучше писать для всѣхъ людей. Если намъ оскорбительно идти позади другихъ, то можемъ идти рядомъ съ другими къ цѣли всемірной для человѣчества, путемъ своего вѣка, не Мономахова, и даже не Гомерова: ибо потомство не будетъ искать въ нашихъ твореніяхъ ни красотъ *Слова о полку Игоревѣ*, ни красотъ Одиссеи, но только свойственныхъ нынѣшнему образованію человѣческихъ способностей. Тамъ нѣтъ *бездушнаго подражанія*, гдѣ говоритъ умъ или сердце, хотя и *общимъ* языкомъ времени; тамъ есть *особенность личная*, или характеръ, всегда новый, подобно какъ всякое твореніе физической природы входитъ въ классъ, въ статью, въ семейство ему подобныхъ, но имѣетъ свое частное знаменіе.

Что же касается до неразумныхъ и бездарныхъ подражателей иностраннымъ образцамъ, то они остались бы таковыми же, подражая и отечественнымъ авторамъ:

Молодые писатели нерѣдко подражаютъ у насъ иноземнымъ, ибо думаютъ, ложно или справедливо, что мы еще не имѣемъ великихъ образцевъ искусства: если бы сіи писатели не знали творцевъ чужеземныхъ, что бы сдѣлали? *подражали* бы своимъ; но и тогда *списки* ихъ остались бы *бездушными*. А кто рожденъ съ избыткомъ внутреннихъ силъ, тотъ и нынѣ, начавъ подражаніемъ, свойственнымъ юной слабости, будетъ наконецъ *самъ собою*.

Въ примѣчаніяхъ къ новому изданію «Разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ»(¹), когда уже многія слова, порицаемыя Шишковымъ, вошли въ общее употребленіе, онъ коснулся мысли Карамзина относительно способа, какимъ неологизмы являются въ языкѣ. Онъ находитъ ее справедливою только для исключительныхъ случаевъ. Что сказано въ рѣчи Карамзина, то, по его мнѣнію, можно сказать о пяти или десяти словахъ, не болѣе, но о цѣлыхъ сотняхъ словъ должно сказать совершенно тому противное, т. е. что «они не *родились вмѣстѣ съ мыслями*, а взяты точно тѣми же (²) или переведены съ чужихъ словъ, чужою мыслію, часто намъ несвойственною, порожденныхъ, и вошли въ языкъ не по *счастливому вдохновенію таланта*, но по неосновательной пере-

---

¹) Собраніе сочиненій и переводовъ Шишкова, ч. 2 (1824). Здѣсь «Разсужденіе» напеч. уже 4-мъ изданіемъ.

²) Т. е. безъ перевода на отечественный языкъ.

имчивости, и утверждаются въ немъ не *самовластно*, т. е. не властію достоинства своего, но силою частаго повторенія тѣми, которые понимаютъ ихъ не по разуму собственнаго своего, но по смыслу чужаго языка.... Отъ таковыхъ нововведеній языкъ несравненно больше скудѣетъ, нежели богатѣетъ и украшается, и если не оговаривать сихъ несвойственныхъ ему словъ и выраженій, если не дѣлать имъ никакого *законодательства*, то напослѣдокъ заразятъ они его совершеннымъ мракомъ и непонятностію. Употребленіе и навыкъ вводятъ въ языкъ слово, но оправдываютъ его не они, а разсудокъ». Изъ сокрушенной своей теоріи, Шишковъ хотѣлъ спасти по крайней мѣрѣ одинъ, главный ея догматъ— тождество славянскаго языка съ русскимъ, право называть первый высокимъ слогомъ, а второй простымъ. И онъ упорно повторялъ свое положеніе при каждомъ случаѣ, не только предсѣдательствуя въ Россійской академіи, но и управляя министерствомъ народнаго просвѣщенія (съ 1824 по 1828). Мнѣніе о переводѣ священнаго писанія на русскій языкъ, представленное имъ Императору Александру I, выражаетъ ту самую мысль, которую онъ постоянно проводилъ въ своихъ разсужденіяхъ: «*Языкъ у насъ славенскій и русскій одинъ и тотъ же. Онъ различается только на высокій и простой.* Высокимъ написаны священныя книги; простымъ мы говоримъ между собою и пишемъ свѣтскія сочиненія, комедіи, романы, и проч. Но сіе различіе такъ велико, что слова, имѣющія одно и тоже значеніе, приличны въ одномъ и неприличны въ другомъ. Сколь смѣшно въ простыхъ разговорахъ говорить высокимъ славенскимъ языкомъ, столь же странно и дико употреблять простой языкъ въ священномъ писаніи» ([1]). Наконецъ въ «предисловіи къ опыту словопроизводнаго словаря» (1833), не отступаясь отъ своей главной мысли, Шишковъ не называетъ однакожъ русскаго языка нарѣчіемъ славенскаго: «Необдуманное раздѣленіе языка на славенскій и русскій произошло отъ неопредѣленности слова «славенскій». Мы даемъ сіе названіе языку по имени народа называвшагося славянами, но не ужъ ли народъ сей до принятія сего имени былъ нѣмой, безъязычный? не ужъ ли съ того времени сталъ имѣть языкъ или перемѣнилъ его на другой? Нѣтъ, онъ продолжалъ говорить тѣмъ же языкомъ; не знаемъ, какъ его называли, но знаемъ, что, по раздѣленіи сего народа на русскихъ, поляковъ, чеховъ, илліріянъ и проч., и языкъ сей сталъ называться, по ихъ именамъ, русскій, польскій, чешскій, иллирійскій и проч. При всѣхъ сихъ именахъ, онъ былъ и есть одинъ и тотъ

---

[1]) Записки адмирала А. С. Шишкова (за время управленія министерствомъ народнаго просвѣщенія).

же общій всѣмъ. Вотъ первое объ языкѣ понятіе. Второе: языкъ хотя одинъ и тотъ же, но у разныхъ народовъ больше или меньше измѣняется и получаетъ имя нарѣчій. Польское нарѣчіе отошло всего далѣе отъ нашего, такъ что мы и уразумѣть онаго не можемъ; но русское не есть нарѣчіе славенскаго языка, а тотъ же самый языкъ, не имѣющій ни малѣйшаго съ нимъ различія» (¹).

Изложенная нами полемика кончилась торжествомъ новаго, карамзинскаго слога. Шишковъ проигралъ свое дѣло и въ теоріи и нa практикѣ. Онъ проигралъ его въ теоріи, не доказавъ правоты своего ученія о языкѣ положительными, научными доводами; онъ проигралъ его на практикѣ, не подкрѣпивъ своихъ разсужденій образцами, которые могли бы привлечь на его сторону и литераторовъ, и публику. Какъ его собственныя сочиненія представляютъ мало литературнаго искусства, такъ и «Чтенія въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова» большею частію отличаются сухостью и педантствомъ. По качеству произведеній судятъ не только о талантѣ производителя, но и о достоинствѣ правилъ, которыми онъ руководствовался. Напротивъ, Карамзинъ, еще до начала спора, заявилъ себя какъ отличный писатель: «Исторія государства россійскаго» еще болѣе возвысила его имя: она служила наилучшимъ отвѣтомъ славянофильской критикѣ и своимъ выходомъ въ свѣтъ (1816—18) положила конецъ спору, въ теченіи котораго реформа пріобрѣла новыхъ, достойныхъ дѣятелей и въ стихахъ и прозѣ. Можно было по временамъ возвращаться къ толкамъ о старомъ и новомъ слогѣ, какъ это и дѣлалъ Шишковъ въ своихъ академическихъ трудахъ, но уже не было возможности вырвать побѣду изъ рукъ непріятеля.

Шишковъ и не могъ одержать побѣды, потому что его критика новаго литературнаго слога страдаетъ многими недостатками.

Первый изъ нихъ—недобросовѣстность, вольная или невольная, но съ разу бьющая въ глаза каждому безпристрастному человѣку. Въ одномъ изъ своихъ писемъ Карамзинъ назвалъ Шишкова честнымъ, но тупымъ. Такъ какъ первое качество противорѣчитъ недобросовѣстности, то и слѣдуетъ приписать эту послѣднюю ограниченности или странному затменію мысли. Въ погонѣ за уклоненіями отъ лексическихъ и синтаксическихъ свойствъ русскаго языка, Шишковъ упустилъ изъ виду характеристическія особенности новаго слога. Обвиненія свои онъ основывалъ не на сочиненіяхъ самого Карамзина и даровитѣйшихъ его послѣдователей, а на книгахъ и книжонкахъ самаго низкаго разряда, взваливая одна-

---

¹) Опытъ словопроизводнаго словаря (1833).

кожъ отвѣтственность за находимыя въ нихъ нелѣпости на образецъ. Онъ видѣлъ только дурныя крайности реформы, а самой реформы какъ будто не хотѣлъ замѣтить. Что надобно относить къ злоупотребленію предметомъ, онъ относилъ къ предмету вообще. Такимъ образомъ обвиненіе было неправильно распространено имъ отъ плохихъ писакъ на всю новую школу и ея основателя.

Второй, главнѣйшій недостатокъ—ошибочное понятіе объ отношеніи между русскимъ и славянскимъ языками. Для него оба эти языка были одно и тоже, съ тѣмъ только различіемъ, что русскій языкъ есть «простой», а славянскій «высокій». Онъ даже смѣшивалъ «языкъ» съ «слогомъ», и весьма часто выраженія: «русскій языкъ», «славянскій языкъ» замѣнялъ выраженіями «русскій слогъ, «славянскій слогъ». Славянскій языкъ былъ, по его убѣжденію, корнемъ и началомъ русскаго, какъ будто русскіе, до принятія христіанства, говорили тѣмъ самымъ языкомъ, на которомъ получили мы отъ болгаръ переводы священнаго писанія и богослужебныхъ книгъ. Онъ не могъ простить Карамзину, что не видѣлъ у него «краснорѣчиваго смѣшенія славянскаго величаваго слога съ простымъ россійскимъ» и умѣнія «высокій славянскій слогъ съ просторѣчивымъ россійскимъ такъ искусно смѣшивать, чтобы высокопарность одного изъ нихъ пріятно обнималась съ простотою другаго».

Ошибочно, въ третьихъ, мнѣніе о томъ, какимъ образомъ неологизмы являются и утверждаются въ языкѣ. Приговоры по этому дѣлу онъ предоставлялъ суду грамматическаго устава, другими словами: Академіи, какъ высшей инстанціи этого суда. Это заблужденіе было, въ послѣдствіи, отвергнуто Карамзинымъ, справедливо замѣтившимъ, что слова не изобрѣтаются академіями, а раждаются вмѣстѣ съ мыслями или въ употребленіи языка или въ произведеніяхъ таланта.

Непослѣдовательность—если не въ теоріи, то на практикѣ—составляетъ четвертый недостатокъ Шишкова. Вооружаясь противъ нелѣпостей новаго слога, особенно противъ галлицизмовъ, онъ самъ платилъ имъ обильную дань, соблюдалъ, по словамъ Дашкова, цѣлыми страницами французское словосочиненіе.

Въ полемикѣ своей противъ Карамзина Шишкову преимущественно вредили два предмета: бѣдность филологическаго образованія и безвкусіе. Не зная древнихъ языковъ, не имѣя возможности почерпать доказательства ни въ историческомъ, ни въ сравнительномъ языкознаніи, онъ слишкомъ довѣрялъ личной логикѣ, т. е. своимъ собственнымъ соображеніямъ, и потому часто

строилъ на нихъ весьма странные выводы, поражавшіе своею дикостью или возбуждавшіе смѣхъ.—Безвкусіе же и отсутствіе такта выразились съ одной стороны въ пристрастіи къ славянскому языку, доходившемъ до того, что каждый славянизмъ казался ему хорошимъ единственно потому, что это—славянизмъ, а съ другой изобрѣтеніемъ новыхъ словъ, которыми онъ думалъ замѣнить не только нововведенныя, но и давноосѣдлыя. При всемъ уваженіи къ Ломоносову онъ не замѣчалъ различія между его слогомъ и слогомъ его послѣдователей, образовавшихъ славяно-россійскій книжный языкъ, который былъ не успѣхомъ, а движеніемъ назадъ. Этому послѣднему стилю, искаженному безразсуднымъ употребленіемъ славянщины, Шишковъ также воздавалъ похвалы.

Въ реформѣ литетатурнаго языка, совершенной Карамзинымъ, надобно различить двѣ стороны: синтаксическую (строй рѣчи) и лексическую (составъ и формы словъ).

Въ первомъ отношеніи, въ противоположность началамъ Ломоносовскаго синтаксиса, Карамзинъ считалъ необходимымъ: 1) писать недлинными, неутомительными предложеніями; 2) располагать слова сообразно съ теченіемъ мыслей и съ законами языка.

Во второмъ отношеніи, у Карамзина замѣчаются слѣдующіе элементы: 1) ограниченіе славянизмовъ, т. е. заимствованій словъ и формъ изъ церковно-славянскаго языка, посредствомъ чего обѣ стихіи нашего литературнаго языка: славянская и русская, вступали въ болѣе опредѣленныя границы; 2) введеніе иностранныхъ словъ для новыхъ понятій; 3) сообщеніе прежнимъ словамъ новаго значенія (*потребность*, *развитіе*, *положеніе* въ драмѣ, *выработанный* слогъ, всѣ части учености *обработываются*); 4) составленіе новыхъ словъ (*промышленность*, *достижимая*); 5) оживленіе рѣчи словами, заимствованными изъ лѣтописей, которыми пользовался Карамзинъ при сочиненіи Исторіи.

Такимъ образомъ съ Карамзина литературный языкъ нашъ, сближенный съ разговорною рѣчью людей образованныхъ, вступилъ въ новый періодъ своего развитія. Отличительныя свойства этого языка: легкость, простота, плавность, соединенныя съ пріятностью, или изяществомъ (élégance), удовлетворяющимъ эстетическому вкусу [1].

Отвѣчая на замѣтки Дашкова въ присовокупленіи къ разсужденію «о краснорѣчіи священнаго писанія», Шишковъ впервые поставилъ вопросъ о языкѣ въ связи съ вопросомъ о вѣрѣ и нравственности.

---

[1]) Карамзинъ въ исторіи рус. литер. языка, Я. Грота (Ж. М. Н. Просв. 1867, апрѣль).

Эта мысль сама по себѣ совершенно справедлива: наука о языкѣ, какъ она выработана учеными филологами, разумѣется, видитъ въ немъ отраженіе всѣхъ элементовъ народной жизни. Но у Шишкова, на первой порѣ, она могла быть истолкована и дѣйствительно толковалась, какъ орудіе, ведущее къ достиженію недостойной цѣли—обличить противниковъ въ безнравственности, заподозрить ихъ въ намѣреніи ослабить власть религіи, внушить неуваженіе къ родному. Позднѣе, именно въ «разсужденіи о любви къ отечеству» Шишковъ объяснилъ ее серьезнѣе, хотя вовсе не научно. Онъ говоритъ: «языкъ есть душа народа, зеркало нравовъ, вѣрный показатель просвѣщенія, неумолчный свидѣтель дѣлъ. Гдѣ нѣтъ въ сердцахъ вѣры, такъ нѣтъ въ языкѣ благочестія. Гдѣ нѣтъ любви къ отечеству, тамъ языкъ не изъявляетъ чувствъ отечественныхъ. Гдѣ ученіе основано на мракѣ лжеумствованій, тамъ въ языкѣ не возсіяетъ истина. Однимъ словомъ, языкъ есть мѣрило ума, души и свойствъ народныхъ». Такимъ образомъ полемика по поводу слога раздвинула свой кругъ. Послѣдователи Карамзина съ неудовольствіемъ увидѣли, что похвалы старому слогу въ тоже время суть похвалы старинѣ вообще, старому, до-петровскому просвѣщенію въ особенности, а нападки на новый слогъ служатъ съ тѣмъ вмѣстѣ нападками на новое время вообще, на европейскую цивилизацію. Въ этомъ отношеніи и замѣчательны посланія В. Пушкина къ Жуковскому (1810) и Дашкову (1811): онъ отстаиваетъ просвѣщеніе, которому какъ онъ увѣренъ, грозятъ идеи «раскольниковъ-славянъ». Если Шишковъ объявляетъ возмущеніе въ языкѣ нравственною распущенностью писателей, то Пушкинъ объясняетъ ученіе Шишкова отсталостью, обскурантизмомъ. И себя и друзей своихъ онъ успокоиваетъ мыслію о невозможности забыть или измѣнить прочное дѣло Петра и Екатерины II. «Намъ нужны не слова», говоритъ онъ, «намъ нужно просвѣщеніе. Истинный сынъ отечества стыдится утопать во мракѣ невѣжества «и въ старинѣ не видитъ ничего хорошаго».

Въ исторіи литературныхъ споровъ нерѣдко встрѣчаются подобные переходы воюющихъ съ одного пункта на другой. Такъ въ вопросѣ «о преимуществѣ древнихъ и новыхъ» начально имѣлось въ виду опредѣлить только мѣру значенія греко-римской литературы сравнительно съ литературою новаго, христіанскаго міра. Но въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи вопросъ вступилъ на иную почву: имѣлось въ виду опредѣлить сравнительное значеніе не одной литературы, но всего интеллектуальнаго развитія, достигнутаго древними и новыми. Защитники послѣднихъ дорожили рѣше-

ніемъ въ свою пользу, потому что оно сопряжено было съ торжествомъ идеи интеллектуальнаго прогресса человѣчества ([1]).

§ 8. Исторія Государства Россійскаго, какъ и всякій историческій трудъ, можетъ быть разсматриваемъ съ двухъ точекъ зрѣнія: чисто-научной и историко-литературной.

1. Задача исторіи—воспроизведеніе прошлой жизни всего человѣчества или какого либо отдѣльнаго народа. Цѣль исторіи таже, что и прочихъ наукъ—истина. Эта научная истина требуетъ, чтобы прошлое было представлено точно такимъ, каково оно было въ дѣйствительности. Исторію справедливо уподобляютъ чистому и вѣрному зеркалу, въ которомъ событія отражаются въ подлинномъ своемъ видѣ и значеніи. Для достиженія этой цѣли первой работой историка должна быть работа критическая, или аналитическая: разборъ и оцѣнка памятниковъ. За тѣмъ слѣдуетъ вторая часть историческаго труда—часть построительная, или синтетическая, предметъ которой—свести разъясненные матеріалы въ одно цѣлое, по опредѣленному плану, изложить событія въ хронологическомъ порядкѣ и въ органической связи ихъ между собою, какъ причины и слѣдствія, и такимъ образомъ опредѣлить законы, управлявшіе развитіемъ народной жизни.

При оцѣнкѣ Исторіи Карамзина съ чисто-научной точки зрѣнія, необходимо прежде всего указать въ общихъ чертахъ состояніе науки русской исторіи передъ началомъ этого труда ([2]).

Изданіе историческихъ источниковъ началось у насъ еще въ XVIII вѣкѣ; но большая часть рукописей были и прочитаны, и изданы чрезвычайно небрежно. Кн. Щербатовъ, въ изданіи такъ называемаго «Древняго Лѣтописца», вмѣсто *утечьими ловцы* читалъ: *Утечь* и *Миловцы*, принимая эти слова за собственныя имена. Львовъ, издавая «Русскій Временникъ», счелъ возможнымъ замѣнить неупотребительныя слова текста словами новаго времени, наприм. *баталія* въ описаніи битвы Ярослава съ Святополкомъ. Барковъ исказилъ Радзивиловскій списокъ начальной лѣтописи. Изданія были до того небрежны, что страницы, перепутанныя въ рукописи, путались и въ изданіи и даже въ изложеніи исторіи: такъ случилось съ Царственной книгой, напечатанной Щербатовымъ. Самые важные списки лѣтописи оставались не только неизданными, но даже неизвѣстными: такъ Шлецеръ, списавшій

---

[1]) А. С. Шишковъ, г. Стоюнина (Вѣст. Европы №№ 9—12).

[2]) Указаніе это заимствую изъ рѣчи К. Н. Бестужева-Рюмина: «Карамзинъ какъ историкъ», съ дополненіями изъ его же статьи «Современное состояніе русской исторіи какъ науки» (Москов. Обозрѣніе 1859 г. № 1) и изъ 1-го тома «Русской исторіи» (1872 г).

себѣ первыя страницы Ипатьевскаго списка, даже не подозрѣвалъ, что въ томъ же спискѣ заключаются лѣтописи Кіевская, извѣстная только Татищеву, и Волынская, никому неизвѣстная. Грамоты печатались такъ же, какъ и лѣтописи: печатали то, что подъ руку попадалось, съ перваго списка, и рѣдко заявляли, откуда взята грамота.

Если не было хорошихъ изданій лѣтописи, то тѣмъ менѣе можно было ждать ученыхъ комментаріевъ. Только Шлецеръ началъ объясненіе нашихъ лѣтописей и въ ту пору появился одинъ первый томъ его «Нестора»; только онъ началъ отдѣлять источники, годные къ употребленію, отъ негодныхъ, сталъ добиваться, какимъ путемъ дошли извѣстія. Комментаріи Татищева ограничивались по большей части соображеніями здраваго смысла: его примѣчанія интересны главнымъ образомъ своими указаніями на нравы и обычаи XVII и XVIII вѣковъ и вовсе не имѣютъ цѣны, какъ ученыя изысканія.

Ученыхъ пособій совсѣмъ не было. Генеалогическія таблицы были такъ перепутаны, что одинъ и тотъ же князь являлся два раза сыномъ двухъ разныхъ князей: такъ у Щербатова случилось съ Всеволодомъ Чермнымъ. Географія древней Россіи была не въ лучшемъ состояніи: постоянно путались такіе извѣстные города, какъ Владиміръ на Клязьмѣ и Владиміръ на Волыни; такіе народы, какъ Болгары Камскіе и Болгары Задунайскіе. Состояніе археологіи было таково, что въ 1824 г., уже послѣ изданія исторіи Карамзина, ученое общество напечатало въ своемъ изданіи описаніе Грузинской хоругви св. Владиміра. О миѳологіи и говорить нечего: въ XVIII вѣкѣ ее считали дѣломъ празднаго любопытства, и миѳографы, для забавы читателя, изобрѣтали не только обряды, но даже боговъ. Къ этому еще слѣдуетъ прибавить большое количество недоразумѣній: такъ изъ Перунова *уса злата* сдѣлали бога *Услада* и потомъ уже приписали ему разные атрибуты. Тотъ же взглядъ замѣтенъ и въ собираніи пѣсенъ, сказокъ и т. п. Въ сборникахъ постоянно являлись присочиненныя пѣсни и сказки: изслѣдователи не только не умѣли отличать ихъ отъ дѣйствительно народныхъ, но даже не находили этого нужнымъ, ибо и произведенія народной словесности считали занятіемъ празднаго любопытства, и то для черни. Извѣстно, съ какимъ презрѣніемъ Сумароковъ и Тредьяковскій смотрѣли на народную поэзію.

На основаніи накопившагося матеріала старались изобразить прошлую жизнь. Трудъ Татищева: «Исторія Россійская съ древнѣйшихъ временъ» (1768—74) — въ сущности сводная лѣтопись, доведенная до смерти Ѳеодора Іоанновича, объясненная примѣчаніями, значе-

ніе которыхъ опредѣлено выше; прагматическимъ изложеніемъ событій назвать его нельзя. Первымъ опытомъ такого изложенія или, справедливѣе, покушеніемъ на прагматизмъ служила «Исторія Россійская отъ древнихъ временъ» кн. Щербатова (1770—1791), доведенная до Михаила Ѳедоровича. Авторъ вообще понималъ исторію, какъ цѣпь причинъ и слѣдствій, но не искалъ этихъ причинъ въ состояніи самого общества; для него онѣ были болѣе или менѣе случайны. Не представляя себѣ ясно условій эпохи, онъ нерѣдко впадалъ въ заблужденія: такъ онъ причину успѣха татаръ видитъ въ излишнемъ благочестіи нашихъ предковъ; нападенія Литвы въ эпоху до-татарскую объясняетъ дѣлами польскими, забывая, что Литва тогда не была еще соединена съ Польшею.

Представляя себѣ неудовлетворительное состояніе нашей исторической науки передъ появленіемъ Исторіи Карамзина, ясно видимъ, какъ великъ былъ его трудъ. Примѣчанія къ тексту каждаго тома занимаютъ цѣлую его половину. Изъ предисловія къ исторіи видно, какъ они были необходимы и чего они стоили историку: «Множество сдѣланныхъ мною примѣчаній и выписокъ устрашаетъ меня самого. Если бы всѣ матеріалы были у насъ собраны, очищены критикою, то намъ оставалось бы единственно ссылаться; но когда большая ихъ часть въ рукописяхъ, въ темнотѣ, когда едвали что обработано, изъяснено, соглашено, надобно вооружиться терпѣніемъ». Просматривая эти примѣчанія, нельзя не чувствовать уваженія къ его работѣ: въ нихъ осталось свидѣтельство его обширной начитанности, его образцовой критической внимательности; онъ останавливался надъ каждымъ памятникомъ, надъ каждымъ запросомъ. Для человѣка, начинающаго заниматься исторіею, нельзя указать лучшаго руководства: изъ примѣчаній онъ познакомится со всѣмъ кругомъ источниковъ, бывшихъ доступными Карамзину, и потомъ уже легко дополнитъ свои свѣдѣнія. А этотъ кругъ великъ: онъ заключаетъ массу памятниковъ, которые онъ въ первый разъ нашелъ, или которыми онъ впервые пользовался. Сюда принадлежатъ: списки лѣтописей — Хлѣбниковскій, Лаврентьевскій, Троицкій, Ростовскій, нѣкоторыя изъ Новогородскихъ лѣтописей и Псковскія, Даніилъ Паломникъ, Іларіонова похвала Владиміру, множество житій святыхъ, множество грамотъ, сказаній. И все это онъ прочелъ, изучилъ, провѣрилъ, изъ всего извлекъ самое любопытное и нигдѣ не спутался. Выписывалъ онъ часто то, что ему не пригодилось бы самому, но могло бы пригодиться другому. Выписывая, онъ часто подчеркивалъ слова, особенно любопытныя сами по себѣ или по соединенному съ ними факту. Не довольствуясь нашими библіотеками и

архивами, онъ ищетъ возможности получать нужные для него документы и изъ архивовъ заграничныхъ: такъ изъ Кенигсбергскаго архива ему доставляется множество интересныхъ бумагъ, между прочимъ грамоты галицкихъ князей, о которыхъ только изъ этихъ грамотъ и можно было получить нѣкоторыя свѣдѣнія; такъ чрезъ М. Н. Муравьева ищетъ онъ возможности добыть переписку папъ изъ Ватиканскаго архива и т. п. До него никто, кромѣ Миллера и Успенскаго([1]), не пользовался такъ много иностранными писателями о Россіи. Встрѣчающіяся въ памятникахъ слова, вышедшія изъ употребленія, онъ старается объяснить, и объясняетъ большею частію вѣрно, для чего ему нужны бываютъ выписки изъ другихъ памятниковъ, совершенно другаго времени. Не будучи филологомъ, Карамзинъ, конечно, объясняетъ слово только сличеньемъ текстовъ и не прибѣгаетъ къ филологическимъ соображеніямъ, даже не всегда пользуется помощію другихъ славянскихъ нарѣчій. Памятники вещественные интересуютъ его такъ же какъ и памятники письменные: онъ собираетъ извѣстія о святынѣ, хранимой въ ризницахъ, о раскопкахъ, кладахъ, зданіяхъ—обо всемъ, что сохранилось отъ жизни нашихъ предковъ. Имъ помѣщены рисунки буквъ Десятинной церкви, изображеніе стариннаго рубля, буквы зырянской азбуки Стефана Пермскаго. Когда въ наличныхъ источникахъ онъ не находитъ требуемыхъ свѣдѣній, то вступаетъ въ переписку съ мѣстными жителями и получаетъ нужное свѣдѣніе на мѣстѣ. Все, что возбуждаетъ какой-либо вопросъ касательно древностей: сомнительная дата, генеалогія того или другаго князя, банное строеніе, старинный русскій счетъ, вѣсы и монеты, не остается у Карамзина безъ изслѣдованія. Всѣ чужія мнѣнія тщательно разсматриваются и провѣряются. Изслѣдованія обыкновенно чрезвычайно точны и могутъ опровергаться только столь же точными изслѣдованіями или новыми памятниками. Словомъ, на пространствѣ до 1611 г. не много найдется вопросовъ, которые бы онъ не предвидѣлъ и на которые нельзя было бы найти у него рѣшенія, указанія или по крайней мѣрѣ намека. Велика заслуга того, кто первый познакомилъ большинство людей читающихъ съ отечественной исторіей, бывшей для нихъ какъ бы землей невѣдомой, — кто, по выраженію Пушкина, былъ «Колумбомъ древней Россіи». Мѣра такого подвига увеличивается при мысли, что самъ Карамзинъ, принимаясь за дѣло, не имѣлъ достаточной научной для него под-

---

[1]) Книга Успенскаго: «Опытъ о древностяхъ россійскихъ» вышла 2-мъ изданіемъ въ 1818 г..

готовки; онъ не былъ специалистомъ ни въ одной изъ тѣхъ отраслей наукъ, которыя по преимуществу образуютъ историка; онъ не былъ ни филологомъ, ни юристомъ; не подготовленный наукою, онъ не былъ подготовленъ и жизнію, потому что не участвовалъ ни въ дѣлахъ государственныхъ, ни въ переговорахъ. Литераторъ, журналистъ, свѣтскій человѣкъ — вотъ чѣмъ былъ Карамзинъ до своего *постриженія* въ историки, по мѣткому слову кн. Вяземскаго.

Что касается до вопроса: вѣрно ли исторія Карамзина воспроизводитъ прошлое Россіи? то онъ уже довольно опредѣлительно рѣшенъ историками, слѣдовавшими за Карамзинымъ, а именно: Н. Полевымъ, С. Соловьевымъ и К. Бестужевымъ - Рюминымъ. Они не скрываютъ, что Карамзинъ произносилъ иногда приговоры надъ дѣятелями и дѣйствіями вопреки объективности исторической науки, которая требуетъ, чтобы судъ производился по современному имъ образу мыслей, а не по образу мыслей того вѣка, въ которомъ живетъ судія; что, прочитавъ сочиненіе Карамзина, мы (по выраженію одного писателя, можетъ быть болѣе остроумному, чѣмъ справедливому) *знаемъ* исторію нашего отечества, но не *понимаемъ* ея, т. е. что *факты* переданы вѣрно, но невѣрно истолкованіе ихъ, *представленіе*, освѣщеніе.

II. Критика историко-литературная разсматриваетъ трудъ Карамзина съ двухъ сторонъ: во-первыхъ, со стороны высказаннаго въ ней образа мыслей, т. е. тѣхъ идеаловъ, господствомъ которыхъ онъ равно дорожилъ и въ историческомъ развитіи народа, и въ обыкновенной жизни людей, и служеніе которымъ было для него обязательно, какъ для литератора, такъ и для историка; во вторыхъ, со стороны искусства, или формы — внутренней и внѣшней. При разсмотрѣніи исторіи съ первой стороны, критика обязана отмѣчать встрѣчающіяся тамъ и сямъ примѣненія взглядовъ къ современному положенію Россіи, намеки на тѣ государственныя реформы царствованія Александра I, которыя даютъ поводъ автору сближать ихъ съ древне-русскими правительственными мѣрами; ибо исторія, по словамъ самого автора, есть изъясненіе и дополненіе настоящаго и примѣръ будущаго. Мы уже знаемъ, что изслѣдованія прошедшихъ судебъ отечества не отвлекали Карамзина отъ современныхъ ему интересовъ общества. Доказательствомъ тому служитъ «Записка о древней и новой Россіи», посвященная преимущественно сужденію о государственныхъ реформахъ за первое десятилѣтіе текущаго вѣка. Она явилась въ то время, когда было написано уже нѣсколько томовъ исторіи. И потому, говоря объ одномъ трудѣ, необходимо принять къ соображенію и

другой. По образу мыслей, онѣ состоятъ въ тѣсной между собою связи, взаимно себя дополняютъ и объясняютъ.

A) Образованіе Карамзина было завершено въ прошедшемъ вѣкѣ. Подъ вліяніемъ передовой литературы этого вѣка, сложились его убѣжденія, установились идеи, между которыми первенствовали идеи человѣколюбія и просвѣщенія, какъ единственнаго, по его мнѣнію, средства для умственнаго и нравственнаго развитія человѣчества. Карамзинъ началъ писать исторію въ то время, когда уже достаточно высказалъ свои воззрѣнія на важнѣйшіе предметы государства и общества. Державный обѣтъ Императора, заявленный въ манифестѣ при вступленіи на престолъ—«править народомъ по законамъ и сердцу бабки своей Екатерины Великой»—исполнилъ Карамзина радостными надеждами, потому что царствованіе Екатерины II было, по его искреннимъ убѣжденіямъ, идеаломъ правительственной системы, а величайшая слава этой системы состояла въ умѣніи все дѣлать *въ пору и въ мѣру*. Карамзинъ написалъ «Историческое похвальное слово Екатеринѣ II (1802)» съ двоякою цѣлію: указать во всѣхъ дѣйствіяхъ Екатерины—завоеваніяхъ, законахъ и учрежденіяхъ—важнѣйшія ихъ качества, т. е. своевременность и мудрую мѣру, и кромѣ того преподать совѣты правительству новому. Такимъ образомъ занятія исторіей могли измѣнить только мнѣнія о нѣкоторыхъ событіяхъ и лицахъ, но не могли разсѣять окрѣпшіе въ сознаніи историка политическіе, гражданскіе и нравственные идеалы. По этой причинѣ, при чтеніи Исторіи государства россійскаго нерѣдко встрѣчаешь воззрѣнія и «Писемъ русскаго путешественника», и «Вѣстника Европы», и отдѣльныхъ статей, которыя помѣщались въ сборникахъ, издававшихся Карамзинымъ (Аглая, Пантеонъ иностранной словесности). Общность въ этомъ отношеніи между «Исторіей» и «Запиской» еще яснѣе: если въ первыхъ томахъ Исторіи, предшествовавшихъ «Запискѣ», высказывалось многое, что потомъ «Записка» повторила въ обзорѣ древне-русской исторіи, то, съ другой стороны, этотъ обзоръ предварительно изложилъ многое, что подробнѣе разсказано слѣдующими томами Исторіи.

Самъ авторъ обозначилъ направленіе своей исторіи, поднося ее Императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ: «я писалъ съ любовію къ отечеству, ко благу людей въ гражданскомъ обществѣ и къ святымъ уставамъ нравственности» (¹).

а) Нравственный уставъ господствуетъ надъ всѣми другими законами и побужденіями. Онъ проходитъ по всей исторической

---

¹) Письмо отъ 24 янв. 1818 (Неизд. соч. К—на).

ткани яркою нитью, не умѣряемый въ строгости даже государственными требованіями. Что въ одинаковой силѣ обязательно для каждаго человѣка, къ тому Карамзинъ и питаетъ особенное уваженіе, то и служитъ для него главною мѣрою достоинства и правителей и подвластныхъ. На этомъ пунктѣ исторіографъ и публицистъ сошлись въ немъ самымъ дружнымъ образомъ. Какъ Вѣстникъ Европы не признавалъ Наполеона героемъ, потому что не находилъ «героизма добродѣтели» въ его дѣйствіяхъ, такъ и Исторія, въ характеристикахъ древне-русскихъ князей и царей, наиболѣе останавливается на добродѣтельныхъ подвигахъ, даетъ имъ первое мѣсто, а не подчиняетъ ихъ какимъ-либо другимъ заслугамъ. Только та политика одобряется ею, которая согласна съ чувствомъ естественной справедливости. Если есть иная политика, то она не должна быть. Называя политикой коварство, лицемѣріе, хитрость, мы смѣшиваемъ разнородные предметы. Присяга всегда сохраняетъ свою святость, и вѣроломство есть всегда преступленіе. Хотя Карамзинъ и цитируетъ слова Цицерона: «вѣкъ извиняетъ человѣка»; хотя между апоѳегмами, разсѣянными въ его историческомъ трудѣ, мы и встрѣчаемъ мысль, что «самые великіе люди дѣйствуютъ согласно съ образомъ мыслей и правилами вѣка»: однакожъ, призывая мертвыхъ къ суду, онъ выговаривалъ его на основаніи тѣхъ самыхъ положеній, которыя неуклонно примѣнялъ и къ своимъ современникамъ. Передъ его нравственнымъ идеаломъ были равны всѣ времена и народы, всѣ разряды гражданскаго общества. Этотъ идеалъ положительно выраженъ въ оцѣнкѣ дѣйствій Калиты. Хваля его за утвержденіе великокняжеской власти, историкъ не прощаетъ ему смерти Александра Тверскаго: «правила нравственности и добродѣтели святѣе всѣхъ иныхъ и служатъ основаніемъ истинной политики». Съ дурнымъ поступкомъ не мирили его ни похвальная цѣль, ни успѣшное достиженіе цѣли, потому что «отъ человѣка зависитъ только дѣло, а слѣдствія отъ Бога», и потому «судъ исторіи не извиняетъ и самаго счастливаго злодѣйства». Тѣже мысли повторены по случаю Казимирова умысла убить или отравить Іоанна III: «Никогда выгода государственная не можетъ оправдать злодѣянія; нравственность существуетъ не только для частныхъ людей, но и для государей: они должны такъ поступать, чтобы правила ихъ дѣяній могли быть общими законами.

И такъ передъ лицемъ нравственныхъ требованій всѣ люди равноправны. Исторія, ими вооруженная, ставитъ важнѣйшимъ величіемъ дѣятелей—служеніе добродѣтели; важнѣйшимъ ихъ преступленіемъ—измѣну добродѣтели. Съ этой точки зрѣнія, Карам-

зинъ судитъ неуклонно-строго. Особенной строгости подвергся Іоаннъ Грозный. По его объясненіямъ, конецъ счастливыхъ дней Грознаго наступилъ въ то время, когда онъ лишился не только супруги, «но и добродѣтели»: Анастасія, вмѣстѣ съ Сильвестромъ и Адашевымъ, питала въ немъ любовь «къ святой нравственности». Послѣдній величается мужемъ незабвеннымъ въ нашей исторіи, «красою вѣка и человѣчества»: двоякая похвала — относительная, воздаваемая человѣку извѣстной эпохи, и безотносительная, сохраняющая свою цѣнность для всѣхъ возможныхъ эпохъ. Подвигъ митрополита Филиппа заслужилъ ему славу такого героя, знаменитѣе котораго, какъ выражается нашъ историкъ, не представляетъ ни древняя, ни новая исторія: ибо «умереть за добродѣтель есть верхъ человѣческой добродѣтели». Изобразивъ вторую, мрачную половину царствованія Іоанна IV, Карамзинъ дѣлаетъ замѣтку о пользѣ исторіи подобныхъ ему властителей: «вселять омерзѣніе ко злу есть вселять любовь къ добродѣтели». Онъ жалѣетъ о Курбскомъ, какъ о злополучномъ мужѣ, лишившемъ себя главнаго утѣшенія въ бѣдствіяхъ—«внутренняго чувства добродѣтели». Имя же «добродѣтельнаго» слуги его, Шибанова, сочтено достойною принадлежностью исторіи.

Таже мѣрка прилагается къ Годунову, Лжедимитрію, Шуйскому и событіямъ междуцарствія. При описаніи блистательныхъ свойствъ Годунова, Карамзинъ даетъ намъ ключъ къ уразумѣнію того, что скажетъ о немъ потомство: «превосходя всѣхъ вельможъ дарованіями, Борисъ *не имѣлъ только.... добродѣтели*; видѣлъ въ ней не цѣль, а средство къ достиженію цѣли; не могъ одолѣть искушеній тамъ, гдѣ зло казалось для него выгодою — и проклятіе вѣковъ заглушаетъ въ исторіи его добрую славу». Ошибочныя распоряженія Бориса во время успѣховъ самозванца вновь подтверждаютъ извѣстную истину, «сколь умъ обманчивъ въ раздорѣ съ совѣстію, и какъ хитрость, чуждая добродѣтели, запутывается въ собственныхъ сѣтяхъ». Ни эта хитрость, ни правительственный умъ не обольщаютъ Карамзина: они были для него темною силой, направленной къ личнымъ выгодамъ. Въ Борисѣ онъ чуялъ нечистую личность, не столько явными уликами, сколько сердцемъ открывая благовидность его дѣйствій при неблагомъ ихъ значеніи, соблюденіе законныхъ формъ при беззаконности содержанія. И потому исторія Борисова царствованія заключена строгимъ приговоромъ:

Имя Годунова, одного изъ разумнѣйшихъ властителей въ мірѣ, въ теченіе столѣтій было и будетъ произносимо съ омерзѣніемъ, *во славу нравственнаго, неуклоннаго правосудія*. Потомство видитъ лобное мѣсто,

обагренное кровію невинныхъ, св. Димитрія, издыхающаго подъ ножемъ убійцъ, героя псковскаго въ петлѣ, столь многихъ вельможъ въ мрачныхъ темницахъ и келліяхъ; видитъ гнусную мзду, рукою вѣнценосца предлагаемую клеветникамъ-доносителямъ; видитъ систему коварства, обмановъ, лицемѣрія предъ людьми и Богомъ... вездѣ личину добродѣтели, и гдѣ добродѣтель? въ правдѣ ли судовъ Борисовыхъ, въ щедрости, въ любви къ гражданскому образованію, въ ревности къ величію Россіи, въ политикѣ мирной и здравой? Но *сей яркій для ума блескъ хладенъ для сердца*, удостовѣреннаго, что Борисъ не усомнился бы ни въ какомъ случаѣ дѣйствовать вопреки мудрымъ государственнымъ правиламъ, если бы властолюбіе потребовало отъ него такой перемѣны.

Измѣна Басманова, «честолюбца безъ чести», его переходъ на сторону «державнаго прошлеца», какъ энергически Карамзинъ называетъ Лжедимитрія, даетъ историку поводъ заявить нетвердость того, что противно уставу нравственности: «Басмановъ», говоритъ онъ, «не зналъ, что сильные духомъ падаютъ какъ младенцы на пути беззаконія». Отъ Василія Шуйскаго историкъ не ожидалъ ничего великаго, потому что онъ могъ быть только вторымъ Годуновымъ: лицемѣромъ, а *не героемъ добродѣтели, которая бываетъ главною силою и властителей народа и народовъ въ опасностяхъ чрезвычайныхъ*». Одна изъ такихъ опасностей наступила для нашего отечества въ междуцарствіе: «Россія гибла и могла быть спасена только Богомъ и собственною *добродѣтелью*».

Какъ бы ни судили объ изложенномъ взглядѣ, но, по крайней мѣрѣ, онъ отличается послѣдовательностью. Карамзинъ остался ему вѣренъ во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ. Если строго-нравственная точка зрѣнія не совсѣмъ удобна въ исторіи, которая поэтому можетъ забывать главную цѣль свою — разъясненіе прошлаго, и имѣть въ виду цѣль стороннюю—поученіе настоящаго; если свѣточъ, который такъ твердо держалъ въ рукахъ своихъ историкъ, недостаточенъ для озаренія точнаго смысла событій: то блескъ такого свѣточка—все же прекрасный блескъ. Противъ мѣрила, выбраннаго Карамзинымъ, сказать нечего. Разсматриваемый въ самомъ себѣ, онъ безупреченъ. Но, при всемъ внутреннемъ своемъ достоинствѣ, соотвѣтствуетъ ли онъ различнымъ историческимъ временамъ? На этотъ первый вопросъ сочиненія Карамзина даютъ положительный отвѣтъ: для ихъ автора существовала только одна нравственность, исконная и нескончаемая; никакой другой онъ не признавалъ. Вторымъ вопросомъ требуется рѣшить, всегда ли полно и вѣрно примѣняется его нравственный уставъ? Примѣненіе общаго къ частному подвержено многимъ погрѣшностямъ. Въ томъ случаѣ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, историкъ можетъ иногда проходить молчаніемъ крупные факты, не подозрѣвая въ

нихъ права заявлять торжество или помраченіе нравственнаго идеала, тогда какъ факты некрупные, даже мелкіе могутъ находить въ немъ строгаго судію или апологиста, съ той же точки зрѣнія. Есть событія, туго выдающія нарушеніе правды: необходимо близко подойти къ нимъ и зорко разсмотрѣть ихъ, чтобы понять тяжесть обиды, нанесенной въ нихъ нравственному чувству. Таково, напримѣръ, презрѣніе къ человѣческой личности, нарушеніе гражданской равноправности въ одномъ человѣкѣ или въ коллективной единицѣ (корпораціи, сословіи, значительной части земства) и т. д. Встрѣчаются ли у Карамзина подобныя ошибки? Если въ отвѣтъ на этотъ вопросъ Карамзинъ можетъ сказать, что на нѣкоторыя историческія явленія (напримѣръ на крѣпостное право) онъ смотрѣлъ не тѣми глазами, какими смотримъ на нихъ мы, и рѣшалъ ихъ иначе (какъ мы уже видѣли), нежели они рѣшены послѣдующимъ временемъ; то, съ другой стороны, нельзя не сказать, что чувствительность, которую почиталъ онъ лучшимъ даромъ человѣческой природы и въ тоже время счастливѣйшимъ орудіемъ авторства, мѣшала ясности его историческаго созерцанія. Она, пользуясь выраженіемъ самого Карамзина, иногда малое представляла великимъ, а иногда великое малымъ. Отсюда, между прочимъ, и желаніе подмѣчать слѣды чувствительности въ древне-русскихъ князьяхъ, хотя эти замѣтки ничего не прибавляютъ ни къ характеристикѣ лицъ, ни къ характеристикѣ событій. Такъ о Владимірѣ Мономахѣ говорится: «онъ могъ бы сѣсть на престолѣ родителя своего; но сей *чувствительный*, миролюбивый князь уступилъ оный Изяславу». Глава о Ярославлѣ II Всеволодовичѣ, вступившемъ на престолъ по завоеваніи Руси татарами, начинается словами: «въ такихъ обстоятельствахъ государь *чувствительный* могъ бы возненавидѣть власть». Въ письмахъ Василія Ивановича къ его супругѣ Еленѣ, историкъ указываетъ нѣжность супруга и отца, который, «будучи въ разлукѣ съ женою и съ дѣтьми, обращается къ нимъ въ мысляхъ, изъясняемыхъ простыми словами, но внушаемыми только *чувствительнымъ* сердцемъ». Говоря о жестокомъ характерѣ Іоанна III, Карамзинъ прибавляетъ: «рѣдко основатели монархій славятся *нѣжною чувствительностію*». Излишество и вмѣстѣ наивность этой прибавки не скрылась отъ современныхъ читателей. Записки А. Пушкина разсказываютъ, что нѣкоторые остряки переложили первыя главы Тита Ливія слогомъ Исторіи Карамзина, включивъ въ характеристику Брута приведенныя слова, съ перемѣною одного изъ нихъ: «рѣдко основатели республикъ славятся нѣжною чувствительностію».

б) «Исторія Государства Россійскаго» есть исторія государственная, какъ видно изъ самаго ея названія. Она повѣствуетъ объ установленіи государственнаго порядка въ Россіи. По отношенію къ этому предмету и въ связи съ нимъ разсматриваются важнѣйшія явленія древней Руси, какъ послѣдовательныя ступени, ведущія къ рѣшенію главнаго вопроса, къ уразумѣнію того, какъ началась и сложилась наша государственность, какъ въ землѣ русскихъ славянъ, великой и обильной, но не имѣвшей порядка, выработался прочный государственный порядокъ.

Но государственнаго порядка нѣтъ безъ власти самодержавной, говоритъ Холмскій новогородцамъ, въ Мареѣ Посадницѣ. Слова московскаго воеводы выражаютъ мысль Карамзина о направленіи нашей исторіи, указываютъ ту идею, которая, по его взгляду, обнаруживается рядомъ русскихъ событій. Мы знаемъ, что онъ началъ свой трудъ вскорѣ послѣ упомянутой повѣсти. Къ тому, что имѣли ему открыть русскія лѣтописи, присоединялось и то, что уже было ему извѣстно изъ современныхъ событій, въ особенности изъ самаго крупнаго—французской революціи. Если, говоря словами автора, «исторія есть изъясненіе настоящаго», то и настоящее служитъ къ разъясненію исторіи, дополняя собою свѣдѣнія, найденныя въ письменныхъ памятникахъ, и подтверждая вѣрность выводовъ о значеніи прошлаго. Не надобно терять изъ виду, что начало исторической работы Карамзина отдѣляется немногими годами отъ конца французскаго погрома. Онъ и самъ хорошо помнилъ это, даже въ то время, когда двѣ трети его труда были совсѣмъ готовы. Излагая пользу исторіи для правителей и законодателей, Карамзинъ пишетъ въ предисловіи (1815): «Должно знать, какъ искони мятежныя страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала ихъ бурное стремленіе, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастіе». Хотя въ этихъ строкахъ нѣтъ прямаго указанія на историческую годину, которая явила міру наибольшій мятежъ страстей, но оно безспорно подразумѣвается. Прямое же указаніе отнесено къ характеристикѣ Грознаго. Здѣсь авторъ, снова касаясь пользы исторіи, говоритъ: «не исправляя злодѣевъ, исторія предупреждаетъ иногда злодѣйства, всегда возможныя, ибо страсти дикія свирѣпствуютъ и въ вѣки гражданскаго образованія». Въ примѣчаніи къ послѣднимъ словамъ читаемъ: «смотри исторію французской республики» (¹).

---

¹) Прим. 762 къ IX т.

И такъ установленіе государственнаго порядка невозможно безъ самодержавія. Самодержавіе даруетъ государству единство, могущество, независимость и гражданское образованіе—всѣ принадлежности, составляющія понятіе о благоустроенномъ обществѣ. Таковъ государственный идеалъ Карамзина. И его «Исторія» неотступно слѣдитъ за осуществленіемъ этого идеала въ нашемъ отечествѣ. Главными моментами древне-русской жизни служатъ тѣ явленія, которыми выказался наибольшій успѣхъ въ стремленіи къ означенной цѣли. Обозрѣвая ходъ событій съ этой точки зрѣнія, «Записка о древней и новой Россіи» различаетъ на историческомъ пути нашемъ три періода: «Россія основалась единоначаліемъ, гибла отъ разновластія и спаслась самодержавіемъ». «Исторія» въ подробности разсказываетъ то, что только намѣчено сжатою формулою: она излагаетъ содержаніе каждаго періода, съ его отличіями и подробностями.

Первымъ счастливымъ періодомъ было правленіе Ярослава I, когда «Россія, рожденная, возвеличенная единовластіемъ, не уступала въ силѣ и въ гражданскомъ образованіи первѣйшимъ европейскимъ державамъ». Несчастнѣйшій же періодъ простирается отъ Василія Ярославича до Калиты, когда Россія утратила главныя государственныя блага — единовластіе и независимость. Имена князей, которыхъ усилія въ это время были направлены къ возвращенію утраченнаго, заслуживаютъ похвалу историка: Андрей Боголюбскій, явно стремившійся «къ спасительному единовластію»; Всеволодъ III, подобно ему напомнившій Россіи «счастливые дни единовластія». Іоаннъ Калита указалъ своимъ преемникамъ путь къ лучшей системѣ правленія. Усиленіе Москвы возвысило княжескую власть въ отношеніи къ народу, а съ тѣмъ вмѣстѣ понизило прежнюю важность бояръ: «раждалось самодержавіе». «Сія перемѣна, объясняетъ Карамзинъ, безъ сомнѣнія непріятная для тогдашнихъ гражданъ и бояръ, оказалась величайшимъ благодѣяніемъ судьбы для Россіи: она устранила важныя препятствія на пути Россіи къ независимости». Іоанну III суждено было совершить два великіе подвига: и освободить Россію отъ татаръ и водворить единовластіе неограниченное, или самодержавіе (1). Съ его времени ведетъ свое начало новый и весьма важный моментъ: «исторія наша принимаетъ достоинство истинно-государственной». Карамзинъ изображаетъ Іоанна III великимъ монархомъ, потому

[1]) Глубокомысленная политика князей московскихъ не удовольствовалась собраніемъ частей въ цѣлое: надлежало еще связать ихъ твердо и единовластіе усилить самодержавіемъ (*Записка о древн. и нов. Россіи*).

что онъ помышлялъ единственно о государственной пользѣ, которая требовала безпрекословнаго единовластія, потому что онъ «не имѣлъ никакихъ страстей въ политикѣ, кромѣ добродѣтельной любви къ прочному благу народа», а это благо могло быть устроено только единою и самодержавною властію. Она сдѣлалась таковою при сынѣ Василія Темнаго. Впрочемъ, не ради одной этой заслуги, какъ ни велика она, Карамзинъ видитъ въ Іоаннѣ III великаго представителя монархизма, а ради и другихъ его свойствъ и дѣяній, какъ узнаемъ дальше. Таковъ ходъ нашей исторіи.

в) Понятія Карамзина о характерѣ государственныхъ и общественныхъ преобразованій намъ уже извѣстны. «Исторія» и «Записка» держатся того же ученія, проводя его по событіямъ древней и новой Россіи. Только въ его духѣ и по его начертаніямъ допускаютъ онѣ обновленіе жизни, развитіе гражданственности. Уваженіе къ прошедшему и существующему, при всѣхъ возможныхъ реформахъ, для Карамзина—законъ. Для него дороги историческія основы народнаго быта, и потому онъ ищетъ умиротворенія стараго съ новымъ, а не разрушенія перваго вторымъ. По его мнѣнію, столько же необходимо выполнять законно-возникшія, дѣйствительно указанныя временемъ потребности, сколько вредно испытывать дѣйствіе высшихъ улучшеній, которыя не заявлялись обществомъ. Короче: онъ сторонникъ и заступникъ охранительнаго начала; онъ консерваторъ. Подобно лучшимъ людямъ Екатерининскаго времени, онъ признавалъ нововведенія только подъ тѣмъ условіемъ, что они согласованы съ «умоначертаніемъ» народа и съ его вѣками сложившимся строемъ жизни. Онъ не мечталъ объ идеальномъ совершенствѣ реформъ: онъ желалъ лучшаго, болѣе отвѣчающаго нуждамъ страны. Реформы перваго рода, какъ умозрительныя, легко сочиняются въ кабинетѣ, но на практикѣ весьма часто оказываются негодными; реформы втораго рода, какъ вызванныя обстоятельствами, служатъ орудіемъ общественнаго прогресса. Слова Солона, приведенныя выше, повторены, хотя нѣсколько иначе, въ «Запискѣ»: «мои законы *несовершенны*, но *лучшіе* для Аѳинянъ». Они указываютъ путь законодателямъ и вообще всѣмъ лицамъ, стоящимъ во главѣ управленія. Когда же новыя учрежденія вступили въ дѣйствіе, тогда они должны пользоваться охраной и почтеніемъ, какими пользовались до нихъ дѣйствовавшія и ими упраздненныя: «уставы отцевъ бываютъ не всегда мудры, но всегда священны для народа», говоритъ Карамзинъ въ «Исторіи», какъ бы повторяя прежнюю мысль свою, выраженную еще въ «Письмахъ»: «всякое граждан-

ское общество, вѣками утвержденное, есть святыня для добрыхъ гражданъ».

Съ точки зрѣнія охранительной, Карамзинъ, въ своей «Исторіи», даетъ отчетъ о движеніи государственныхъ реформъ. Іоаннъ III возведенъ имъ на «вышнюю степень величія» не только передъ другими царями до-петровской Руси, но и сравнительно съ Петромъ. Историкъ видитъ въ немъ идеалъ монарха, главнѣйшимъ образомъ потому, что этотъ царь укрѣпилъ Россію духомъ самодержавія, и кромѣ того по многимъ инымъ причинамъ: Іоаннъ всегда дѣйствовалъ осторожно, а осторожность «успѣхами, какъ бы неполными, даетъ своимъ твореніямъ прочность»; онъ «уважалъ правила вѣка и общее мнѣніе, не отвергалъ хорошаго для лучшаго, не совсѣмъ вѣрнаго, не мыслилъ о введеніи новыхъ обычаевъ, о перемѣнѣ нравственнаго характера подданныхъ», короче: поступалъ «благоразумно, т. е. согласно съ истинною пользою отечества». Историческая точка зрѣнія побудила Карамзина измѣнить прежній взглядъ на реформы Петра Великаго. «Записка» осуждаетъ преобразователя за излишнюю страсть къ подражанію иноземнымъ державамъ, во вредъ народному духу. Сущность новаго взгляда выражена слѣдующими словами: «Духъ народный составляетъ нравственное могущество государствъ, подобно физическому, нужное для ихъ твердости. Сей духъ и вѣра спасли Россію во время самозванцевъ; онъ есть не что иное, какъ привязанность къ нашему особенному, не что иное, какъ уваженіе къ своему народному достоинству... Любовь къ отечеству питается сими народными особенностями, благотворными въ глазахъ политика глубокомысленнаго... Два государства могутъ стоять на одной степени гражданскаго просвѣщенія, имѣя нравы различные. Государство можетъ заимствовать отъ другаго полезныя свѣдѣнія, не слѣдуя ему въ обычаяхъ. Пусть сіи обычаи естественно измѣняются, но предписывать имъ уставы есть насиліе... Съ пріобрѣтеніемъ добродѣтелей человѣческихъ мы утратили гражданскія... Мы стали гражданами міра, но перестали быть въ нѣкоторыхъ случаяхъ гражданами Россіи».

Въ исторіи новой Россіи образцемъ правительственной мудрости Карамзинъ ставитъ царствованіе Екатерины Второй: «едва ли не всякій изъ насъ скажетъ, что время Екатерины было счастливѣйшимъ для гражданина россійскаго; едва ли не всякій изъ насъ пожелалъ-бы жить тогда, а не въ иное время». Такъ говоритъ онъ въ «Запискѣ», и этими словами выказываетъ въ себѣ автора «Похвальнаго слова» Императрицѣ, при которой завершилось его образованіе и сформировались его убѣжденія. Если время Екате-

рины было счастливѣйшее, то отсюда прямо выходитъ, что Россія должна держаться порядка, его установленнаго. Уклоненія отъ этого порядка, какъ наилучшаго, должно отозваться неблагопріятными послѣдствіями: важными ошибками, общимъ недовольствомъ, упадкомъ довѣрія къ правительству, критикой его цѣлей и мѣръ. Вотъ въ чемъ главная мысль «Записки».

Баронъ Корфъ справедливо называетъ Карамзина, какъ автора «Записки», органомъ консервативнаго мнѣнія о работахъ графа Сперанскаго. «Записка» показываетъ несостоятельность и опасность нововведеній этого знаменитаго дѣятеля. За что собственно онъ осуждается? За излишнюю поспѣшность въ государственныхъ преобразованіяхъ, за излишнее уваженіе формъ государственной дѣятельности, въ ущербъ ея содержанію. Эти преобразованія (мы передаемъ смыслъ того, что подробно развито Карамзинымъ) возникли не на исторической основѣ, а изъ умозрѣній, вызывались не дѣйствительною потребностію, а жаждою новизны, простымъ подражаніемъ Европѣ. Они были не прямымъ и строгимъ выводомъ изученія Россіи, а теоретическими опытами надъ Россіей неизслѣдованной. Они служили не отвѣтами на заявленія прошедшаго и настоящаго, а вопросами будущему. Они своевольно обращались съ тѣмъ, что завѣщано стариной. Они быстро ломали то, что медленно вырабатывалось жизнію. Исправляя дурное, они съ тѣмъ вмѣстѣ не щадили и хорошаго; желая пресѣчь зло, могли породить еще большее зло. И потому они блистательны, но не прочны; изящны на бумагѣ, но мало примѣнимы къ дѣлу ([1]).

Всякая новость въ государственномъ порядкѣ есть зло, къ коему надобно прибѣгать только по необходимости, ибо мы болѣе уважаемъ то, что давно уважаемъ, и все дѣлаемъ лучше отъ привычки.

Мудрые законодатели, принужденные измѣнять уставы политическіе, старались какъ можно менѣе отходить отъ старыхъ. «Если число и власть сановниковъ должны быть перемѣнены», говоритъ Махіавель, «то удержите имя ихъ для народа». Мы поступаемъ иначе: оставляемъ вещь, гонимъ имена; для произведенія того же дѣйствія вымышляемъ другіе способы... Къ древнимъ государственнымъ зданіямъ прикасаться опасно... Требуемъ болѣе мудрости охранительной, нежели творческой... Гораздо легче отмѣнить новое, нежели старое. Новости ведутъ къ новостямъ и благопріятствуютъ необузданностямъ произвола ([2]).

Наибольшей критикѣ подверглись труды законодательной коммиссіи, направляемые Сперанскимъ. Коммиссія намѣревалась переводить кодексъ Фридриха Великаго. «Къ чему это?» замѣчаетъ

---

[1]) Кое-что о прогрессѣ (Рус. Вѣстникъ, 1861, № 10).

[2]) Записка о древ. и нов. Россіи.

Карамзинъ: «Россія не Пруссія. Не худо знать его, но не менѣе ли нужно знать Юстиніановъ или датскій,—единственно для общихъ соображеній, а не для путеводительства въ нашемъ особенномъ законодательствѣ». О томѣ предварительныхъ работъ коммиссіи Записка даетъ такой отзывъ: «Множество ученыхъ словъ, почерпнутыхъ въ книгахъ,—ни одной мысли, почерпнутой въ содержаніи особеннаго гражданскаго характера Россіи. Голосъ автора въ лунѣ, а не на землѣ русской; соотечественники желали, чтобы сіи умозрители или спустились къ намъ, или не писали для насъ законовъ». Двѣ книжки, содержащія въ себѣ, подъ именемъ проэкта уложенія, переводъ Наполеонова кодекса, изумили Карамзина: «Законы народа», говоритъ онъ, «должны быть извлечены изъ его собственныхъ понятій, нравовъ, обыкновеній и мѣстныхъ обстоятельствъ. Мы имѣли бы уже девять уложеній, если бы надлежало только переводить. Авторы шьютъ намъ кафтанъ по чужой мѣркѣ. Все не русское, все не порусски: какъ вещи, такъ и предложеніе оныхъ... Для стараго народа не надобно новыхъ законовъ. Мы требуемъ отъ коммиссіи систематическаго предложенія нашихъ... Указы и установленія отъ временъ Алексѣя Михайловича до нашихъ: вотъ содержаніе кодекса (¹).

Не такъ было въ старину. Быстрой и кабинетной работѣ своихъ современниковъ Карамзинъ противопоставляетъ медленную, на опытѣ вѣковъ основанную работу прежняго времени. Въ похвалѣ «Исторіи» Іоанну IV и его совѣтникамъ за «Судебникъ» (1550) нельзя не видѣть косвеннаго порицанія дѣйствій Сперанскаго по коммиссіи законовъ:

Іоаннъ и добрые его совѣтники искали въ трудѣ своемъ не блеска, не суетной славы, а вѣрной, явной пользы, съ ревностною любовію къ справедливости, къ благоустройству; не дѣйствовали воображеніемъ, умомъ не обгоняли настоящаго порядка вещей, не терялись мыслями въ возможностяхъ будущаго, но смотрѣли вокругъ себя, исправляли злоупотребленія, не измѣняя главной, древней основы законодательства; все оставили какъ было и чѣмъ народъ казался довольнымъ: устраняли только причину извѣстныхъ жалобъ; хотѣли лучшаго, не думая о совершенствѣ,—и безъ учености, безъ ѳеоріи, не зная ничего кромѣ Россіи, но зная хорошо Россію, написали книгу, которая всегда будетъ любопытною, доколѣ стоитъ наше отечество: ибо она есть вѣрное зерцало нравовъ и понятій вѣка (²).

Не въ одной этой тирадѣ слышится движеніе субъективнаго чувства, возбужденнаго современностью. Намеки «Исторіи» на те-

---

¹) Зап. о древ. и нов. Россіи.

²) И. Г. Р., изд. Эйнер., кн. III, т. 8, стр. 67—68.

кущія дѣла какъ бы подтверждаютъ слова ея предисловія о пользѣ этой науки, которая, будучи «зерцаломъ прошедшаго», есть въ тоже время «завѣтъ предковъ къ потомству, дополненіе, изъясненіе настоящаго и примѣръ будущаго.» Признаніе своего труда «не безполезнымъ въ государственномъ смыслѣ» могло явиться у скромнаго автора только по вѣрѣ въ силу историческихъ откровеній для правительственной дѣятельности. Вліяніе живущаго нерѣдко выдается у него и похвалами, и упреками, произносимыми по поводу разсказа объ отжившемъ. Иногда оно такъ ярко, что повѣствованіе допускаетъ лирическую вставку или принимаетъ драматическую форму. Ограничимся немногими примѣрами. Показавъ причину общаго нерасположенія къ Андрею Боголюбскому въ худомъ исполненіи законовъ, иначе въ несправедливости судей, историкъ сопровождаетъ объясненіе совѣтомъ: «столь нужно вѣдать Государю, что онъ не можетъ быть любимъ безъ строгаго, бдительнаго правосудія; что народъ за хищность судей и чиновниковъ ненавидитъ Царя, самаго добродушнаго и милосердаго!» ([1]). Вассіановъ совѣтъ Грозному: «не имѣть совѣтниковъ мудрѣе себя», побудилъ Карамзина даже выдти на сцену изъ-за повѣствуемыхъ событій: «Нѣтъ, Государь! могли бы мы возразить ему: нѣтъ! совѣтъ, тебѣ данный, внушенъ духомъ лжи, а не истины. Царь долженъ не властвовать только, но властвовать благодѣтельно: его мудрость, какъ человѣческая, имѣетъ нужду въ пособіи другихъ умовъ, и тѣмъ превосходнѣе въ глазахъ народа, чѣмъ мудрѣе совѣтники, имъ выбираемые» ([2]). «Исторія не любитъ именовать живыхъ», замѣчаетъ Карамзинъ, переносясь отъ времени Іоанна IV къ славнымъ временамъ Петра I и Екатерины II, рядомъ съ которою, въ его мысли, становилось имя Александра I; однако имъ не умалчиваются современныя явленія, когда они уже выказали свое историческое достоинство въ нравственномъ или государственномъ значеніи. Покончивъ изложеніе царствованія Іоанна Грознаго, онъ восклицаетъ: «слава времени, когда вооруженный истиною дѣеписатель можетъ, въ правленіи самодержавномъ, выставить на позоръ такого властителя, да не будетъ уже впредь ему подобныхъ!» ([3]).

Главная ошибка законодательныхъ работъ Сперанскаго состояла, по мнѣнію Карамзина, «въ излишнемъ уваженіи формъ государственной дѣятельности: дѣла не лучше производятся, только въ мѣстахъ и чиновниками другаго званія». Что же сдѣлать для ис-

---

[1]) Ib., кн. I, т. 3, стр. 20.
[2]) Ib. кн. II, т. 8, стр. 132.
[3]) Ib. кн. III, т. 9, стр. 259.

правленія ошибки? «Послѣдовать иному правилу и сказать, что не формы, а люди важны». Отсюда первое правило: счастливое избраніе людей. Выбранные люди должны отличаться солиднымъ образованіемъ и доброю нравственностью. Таково руководящее начало мудрой правительственной системы. Начало не новое. Карамзинъ постоянно предлагалъ его и въ «Письмахъ», и въ «Вѣстникѣ Европы»; онъ предлагаетъ его также въ «Исторіи». «Письма» объявляютъ гражданское благоустройство Англіи не конституціей, которая есть не что иное, какъ одна изъ бренныхъ и не лучшихъ политическихъ формъ, а просвѣщеніемъ англичанъ и въ особенности ихъ сановниковъ. «Вѣстникъ Европы» неоднократно развиваетъ мысль, что главный двигатель при управленіи людьми — справедливость, что для желаемаго дѣйствія хорошихъ законовъ необходимо нравственное достоинство ихъ исполнителей. «Исторія», приводя слова лѣтописи: «царь, самый добрый и мудрый, не въ силахъ искоренить зла человѣческаго; гдѣ законъ, тамъ и многія обиды» ([1]), толкуетъ ими нелюбовь подданныхъ къ Андрею Боголюбскому. При законѣ, требующемъ извѣстнаго дѣйствія, разсуждаетъ она, возможны уклоненія отъ этого дѣйствія, злоупотребленія; не допускать злоупотребленій лежитъ на обязанности охранителей закона, судей; обязанность исполняется исправно только людьми просвѣщенными и нравственными: слѣдов. вся сущность въ назначеніи такихъ людей на правительственныя мѣста. Другими словами: администрація должна быть ограждена не только правильнымъ своимъ устройствомъ, но еще болѣе личными качествами администраторовъ.

За умѣньемъ выбирать людей слѣдуетъ другое, не менѣе существенное правило—умѣнье обходиться съ людьми. «Мало ангеловъ на свѣтѣ, немного и злодѣевъ,» говоритъ Карамзинъ въ «Запискѣ»; «гораздо болѣе смѣси, т. е. добрыхъ и худыхъ вмѣстѣ. Мудрое правленіе находитъ способъ усиливать въ чиновникахъ побужденіе къ добру, или обуздывать стремленіе ко злу. Для перваго есть награды, отличія; для втораго—боязнь наказаній.»

Но гдѣ добыть подобныхъ людей? А если ихъ нѣтъ вовсе, или имѣется очень мало, то какъ произвести ихъ? Воспитательные планы Бецкаго мечтали, въ видахъ общественнаго обновленія, создать «новую породу человѣковъ». Карамзину, такому же сыну своего времени, какъ и Бецкій, пришлось бы созидать породу «друзей добра и человѣчества»,—единственно-хорошую партію въ политикѣ. Средства къ тому—просвѣщеніе и нравственность. Но

---

[1]) Кн. I, т. 3, стр. 20.

самъ Карамзинъ говоритъ: «время медленно и тихо подвигаетъ разумъ народовъ». Для повсемѣстнаго и всегдашняго водворенія благихъ общественныхъ нравовъ, спасительныхъ обычаевъ, характеровъ съ твердымъ образомъ мыслей нужны цѣлые вѣки. И вѣки недостаточны для осуществленія такого идеальнаго царства, въ которомъ изъ среды народа постоянно выдѣлялись бы «герои добродѣтели». Въ чаяніи же того, чтобы явленіе, столь рѣдкое, столь исключительное теперь, сдѣлалось когда-либо обычнымъ и нормальнымъ, надобно жить—не какъ нибудь, а по возможности лучше. Предполагать, что возможно-лучшее гражданское устройство можетъ быть совершено единственно личными качествами выбранныхъ лицъ, и въ слѣдствіе того на нихъ возложить все бремя и отвѣтственность по дѣлопроизводству, значитъ почитать или бремя слишкомъ легкимъ, или силы людскія слишкомъ мощными. Предположеніе Карамзина тоже, что Сенъ-Пьеровъ проэктъ вѣчнаго мира: это—«мечта добраго человѣка», прекраснодушное заблужденіе.

Отдѣлимъ же въ понятіяхъ Карамзина истину отъ того, что нельзя признать истиннымъ. Онъ совершенно правъ, утверждая систему государственныхъ улучшеній на историческомъ подножіи, т. е. допуская поступательное движеніе народа впередъ не иначе, какъ на условіяхъ прошедшей и настоящей его жизни, на соображеніяхъ съ дѣйствительными его потребностями; онъ правъ, видя въ народномъ образованіи и нравственности самое вѣрное орудіе для гражданскаго благоденствія: но онъ неправъ, не давая почти никакого участія въ общественномъ прогрессѣ учрежденіямъ, плохо вѣря ихъ организующему дѣйствію и смотря на нихъ не болѣе, какъ на «бренныя формы». Вотъ въ чемъ его ошибка или, точнѣе, неполнота его идеала.

Б) Для художественной постройки историческаго труда, необходимы три условія: единство плана, надлежащая группировка матеріаловъ, живая характеристика лицъ и событій.

а) Единство плана опредѣляется единствомъ идеи, выражаемой, по взгляду автора, ходомъ народной жизни.

Эта основная идея намъ уже извѣстна. Исторія Карамзина, сказали мы, есть исторія государственная: она слѣдитъ за началомъ, развитіемъ и укрѣпленіемъ государственнаго устава Россіи—самодержавія. Историкъ заботливо изображаетъ, какимъ образомъ теченіе событій, не смотря на многія бѣдствія, вело и привело наше отечество къ цѣли, какъ бы свыше ему предначертанной.

Соотвѣтственно коренному началу русской государственности строится планъ «Исторіи Государства Россійскаго». Россія, рожденная единовластіемъ, была имъ возвеличена еще при Владимірѣ

Великомъ и Ярославѣ I, такъ что не уступала въ силѣ первѣйшимъ европейскимъ державамъ того же времени. Удѣльная система, междоусобныя войны и татарское иго ниспровергли это величіе: четыреста лѣтъ, протекшіе отъ смерти Ярослава до Іоанна III составляютъ періодъ народнаго и правительственнаго *заблужденія*, для котораго «въ исторіи есть время, болѣе или менѣе долгое, равно какъ есть время и для *истины*»: «Сколько вѣковъ Россіяне не могли живо увѣриться въ томъ, что соединеніе княженій необходимо для ихъ государственнаго благоденствія! Нѣкоторые вѣнценосцы начинали сіе дѣло, но слабо, безъ ревности достойной онаго; а преемники ихъ опять все разрушали. Даже и Москва, болѣе Кіева и Владиміра наученная опытами, какъ медленно и недружно двигалась къ государственной цѣлости!» (¹). Когда же миновало заблужденіе и явилась истина? Она явилась при Іоаннѣ III, съ котораго исторія наша и «принимаетъ значеніе *истинно-государственной*», болѣе и болѣе укрѣплявшееся до нашего времени. Таковы важнѣйшіе моменты, выдающіеся пункты нашей исторіи. На нихъ и слѣдовало бы основать постройку плана. Однакожъ Карамзинъ дѣлитъ свою исторію не по внутреннему ея свойству, а чисто-внѣшнимъ образомъ—на томы и главы, озаглавливая послѣднія именами князей, какъ будто каждое княженіе служило эпохой въ осуществленіи нашего государственнаго устава. Какая тому причина? Единственно та, что Карамзинъ не придавалъ большой важности дѣленію. «Нѣтъ нужды ставить грани тамъ, гдѣ мѣста служатъ живымъ урочищемъ», замѣчаетъ онъ въ предисловіи. Эти живыя урочища суть именно тѣ выдающіеся пункты нашей государственной исторіи, о которыхъ сказано выше. Читатель легко различаетъ ихъ самъ, знакомясь съ содержаніемъ книги. Они видны безъ помощи особыхъ примѣтъ. Зачѣмъ ставить грани, т. е. заголовки, тамъ, гдѣ разсказъ сообщаетъ наглядное понятіе объ историческихъ пространствахъ? Впрочемъ, въ концѣ предисловія и какъ бы неохотно, Карамзинъ предложилъ дѣленіе русской исторіи на *древнѣйшую* (отъ Рюрика до Іоанна III), *среднюю* (отъ Іоанна до Петра) и *новую* (отъ Петра до Александра): «система удѣловъ была характеромъ первой эпохи, единовластіе — второй, измѣненіе гражданскихъ обычаевъ — третьей». Не зная, что былобы у Карамзина въ новой исторіи, мы имѣемъ право говорить только о томъ, что у него есть въ древнѣйшей и средней. Характеромъ древней ставитъ онъ удѣлы; но изъ его же книги мы видимъ, что въ первую часть древняго періода (до смерти Яро-

¹) И. Г. Р. кн. II, т. 5, стр. 220.

слава) Россія уже была возвеличена *единовластіемъ*, а остальная часть была временемъ заблужденія, задержкою въ развитіи государственнаго устава Россіи; слѣд. дѣленіе Карамзина не противорѣчитъ послѣдовательности важнѣйшихъ моментовъ нашей исторіи, какъ степеней въ осуществленіи идеи.

б) Въ группировкѣ содержанія, наполняющаго всѣ части плана, центромъ тяжести должна тоже служить основная идея. Что бросаетъ сильнѣйшій свѣтъ на идею, въ чемъ она наиболѣе обнаружилась, то и должно выдвигаться на первый планъ; все прочее, какъ не столь важное и не столь характеристичное, должно занимать второстепенное мѣсто или стоять въ сторонѣ. По отношенію къ задачѣ, рѣшеніемъ которой обязался историкъ, малое можетъ иногда говорить громче многаго; отдѣльный фактъ беретъ перевѣсъ надъ цѣлымъ рядомъ фактовъ; даже мелочь получаетъ такой смыслъ, какого она вовсе не имѣетъ при другихъ цѣляхъ и побужденіяхъ. Задача же Карамзина—раскрыть постепенное образованія самодержавія въ Россіи. Онъ и занятъ преслѣдованіемъ этого предмета, постоянно, такъ сказать, налегая на него въ своемъ повѣствованіи. Конечно, не одно это находится въ его исторіи, но это въ ней главное и вмѣстѣ источникъ общаго впечатлѣнія, которое воспринимаютъ ея читатели. Карамзина упрекали въ томъ, что онъ изображеніе внутренней жизни народа (религіи, культуры, нравовъ и обычаевъ, торговли и промышленности и проч.) не вставлялъ въ самый разсказъ, а помѣщалъ его въ отдѣльныя главы, примыкая ихъ какъ бы дополненіе къ концу каждаго періода. Если это—погрѣшность, то нашъ авторъ раздѣляетъ ее со многими иными, даже знаменитыми, историками. Такъ поступалъ Юмъ, котораго онъ, на ряду съ Гиббономъ и Робертсономъ, почитаетъ образцемъ въ дѣлѣ историческаго искусства; такъ поступилъ и Маколей, обозрѣвъ, въ особой главѣ, состояніе Англіи въ 1685, по смерти Карла II.

в) Не дѣло историко-литературной критики объяснять, вѣрны ли, въ историческомъ смыслѣ, характеристики лицъ у Карамзина, т. е. согласны ли онѣ съ дѣйствительными ихъ образами, начертанными въ лѣтописяхъ и иныхъ памятникахъ. Она смотритъ единственно на вѣрность характеровъ самимъ себѣ, на ихъ внутреннюю соотвѣтственность тому представленію, какое имѣлъ о нихъ авторъ. Становясь на эту точку зрѣнія, нельзя не видѣть, что некоторые дѣятели изображены въ «Исторіи Государства Россійскаго» весьма искусно: они какъ бы живутъ передъ нами, если не собственною жизнію, которою жили на самомъ дѣлѣ, то, по крайней мѣрѣ, тою, какою надѣлилъ ихъ историкъ по своимъ соображе-

ніямъ. Къ числу живо изображенныхъ характеровъ относятся Іоаннъ III, Іоаннъ IV, Филиппъ митрополитъ, Годуновъ, Шуйскій, Прокопій Ляпуновъ. Не даромъ IX-ый томъ произвелъ на современную публику сильное впечатлѣніе, разсказавъ, какъ, съ утратою добродѣтели, царь все болѣе и болѣе предавался жестокостямъ. Не даромъ также образъ Годунова, цѣлую жизнь носившаго личину добродѣтели, вдохновилъ поэта, который, въ своей драмѣ, согласно съ воззрѣніемъ Карамзина, развилъ трагическія послѣдствія цареубійства. Представленіе нѣкоторыхъ событій отличается не менѣе живымъ колоритомъ: между ними осада и взятіе Казани есть блистательная, одушевленная картина. «Нѣтъ предмета столь бѣднаго, чтобы искусство уже не могло въ немъ ознаменовать себя пріятнымъ для ума образомъ»: справедливость этихъ строкъ предисловія доказана «Исторіей Государства Россійскаго».

Внѣшняя форма достойна художественной постройки, возведенной Карамзинымъ. Слогъ его исторіи ясный, точный, благородный, сильный и весьма часто живописный. Строеніе рѣчи удержало тѣ же самыя особенности, какія мы видѣли въ его литературныхъ трудахъ (¹). Историкъ не обратился къ Ломоносовскому словорасположенію: только, по требованіямъ излагаемаго предмета, свое собственное слово настроилъ на болѣе мужественный и величавый ладъ. Еще при новыхъ изданіяхъ своихъ сочиненій, до выхода въ свѣтъ «Исторіи», Карамзинъ очищалъ рѣчь отъ иностранныхъ словъ; историческій же языкъ его, въ этомъ отношеніи, безупреченъ: для общепринятыхъ и давнихъ варваризмовъ онъ умѣетъ находить соотвѣтственныя имъ русскія названія. Современная рѣчь нерѣдко украшается вставкою старинныхъ словъ и оборотовъ, вычитанныхъ изъ лѣтописей и другихъ памятниковъ (²). Мы говоримъ: «украшается», потому что подобныя вставки дѣйствительно имѣютъ значеніе орнаментовъ и видимо допущены съ этою цѣлью: отъ нихъ, какъ отъ частной, большею частію лексической примѣси древняго къ новому, нельзя было ожидать, чтобы новое существенно из-

¹) Сохранилось и столько любимое имъ дактилическое окончаніе фразъ, первый примѣръ котораго читатель встрѣчаетъ на заглавномъ листѣ: «Исторія Государства *Россійскаго*».

²) Примѣры: Въ угодность имъ *не затворимъ дорогъ* въ свою землю. Желаетъ всегда *блюсти ихъ подъ своею рукою*. Я кину свое бѣдное царство и побѣгу, *куда несутъ очи*. *Избывая мірскія суеты и докуки*, онъ не хотѣлъ слушать ихъ и посылалъ къ Борису. Александръ палъ, ибо *не прямилъ* Россіи. *Покрыть милосердіемъ* вину заблужденія, и пр. Отдѣльныя слова: *благорѣчіе*, *остуда* (охлажденіе), *отечественолюбецъ*, *исправа* (полиція), и др. (Въ 1-ой ч. соч. Буслаева: «О преподаваніи отечеств. языка», выбраны изъ всѣхъ 12 т. И. Г. Р. примѣры старинныхъ словъ и оборотовъ).

мѣнилось въ своемъ характерѣ; это — искусная инкрустація одного предмета въ другой, а не органическое ихъ сочетаніе. Вставки служатъ только элементомъ того способа излагать исторію, по которому она заставляетъ каждый вѣкъ разсказывать событія его собственною рѣчью, какъ это и сдѣлали, наприм., Тьери въ «Разсказахъ о Меровингахъ», а Барантъ въ «Исторіи герцоговъ бургундскихъ». Указанныя отличія слога «Исторіи Государства Россійскаго» примирили Шишкова съ ея авторомъ и покончили многолѣтній филологическій споръ. Особенно послѣдніе ея томы Шишковъ читалъ съ отмѣннымъ удовольствіемъ, находя въ нихъ все исправнымъ, кромѣ двухъ-трехъ выраженій, по его мнѣнію несовсѣмъ приличныхъ или несовсѣмъ правильно построенныхъ ([1]).

Дидактическій элементъ «Исторіи» выражается апоѳегмами, содержащими въ себѣ нравственныя или политическія мысли, по примѣру историковъ XVIII в., преимущественно Миллера, злоупотреблявшаго этимъ обычаемъ, за что Карамзинъ и осуждаетъ его въ предисловіи. Апоѳегмы нашего историка большею частію замыкаютъ разсказъ, служа ему или объясненіемъ или дополненіемъ. Встрѣчаются однакожъ и такія, которыя не составляютъ естественнаго, свободнаго вывода изъ событій, и безъ которыхъ, какъ лишнихъ, хотя и умныхъ, прибавокъ, повѣствованіе могло бы обойтись ([2]).

Въ изложеніи господствуетъ риторическая настроенность. Она почиталась вполнѣ умѣстною по важности излагаемаго предмета. Эта риторическая стихія у Карамзина не превышаетъ мѣры, установленной его тактомъ, и потому она не одно и тоже съ высокопарнымъ, напыщеннымъ тономъ. Если можно сказать, что изложеніе выиграло бы отъ простоты и естественности, то, съ другой стороны, нельзя не видѣть, что оно нерѣдко восходитъ на степень одушевленнаго краснорѣчія. Въ особенности это ясно при разсказѣ о тѣхъ событіяхъ, въ которыхъ идеалы, дорогіе историку,

---

[1]) Державный *прошлецъ*; Москвитяне не дали бы *рѣзать* себя какъ агнцевъ; *приверженникъ* Разстригинъ.

[2]) Примѣры апоѳегмъ: Судьба испытываетъ людей и государства многими неудачами на пути къ великой цѣли, и мы заслуживаемъ счастіе мужественною твердостію въ превратностяхъ онаго.—Характеры сильные требуютъ сильнаго потрясенія, чтобы свергнуть съ себя иго злыхъ страстей и съ живою ревностію устремиться на путь добродѣтели.—Всякое бореніе слабаго съ сильнымъ, возбуждая въ сердцахъ естественную жалость, склоняетъ насъ искать справедливости на сторонѣ перваго.—Страсти зрѣютъ вмѣстѣ съ умомъ, и самолюбіе дѣйствуетъ еще сильнѣе въ лѣтахъ совершенныхъ.—Какъ любовь, такъ и ненависть рѣдко бываютъ довольны истиною: первая въ хвалѣ, послѣдняя въ осужденіи.

заявляютъ свое торжество или терпятъ оскорбленіе, а также и тамъ, гдѣ патріотическое его чувство изливается живой, сильной струею, возбуждая гордость Русскихъ. Карамзинъ понималъ важность исторіи, какъ средства, ведущаго къ народному самопознанію. Любовь къ родной странѣ для него немыслима при незнаніи ея прошедшаго: «исторія предковъ любопытна для того, кто достоинъ имѣть отечество; государственная нравственность ставитъ уваженіе къ нимъ въ достоинство гражданину образованному». Допуская, что дѣянія грековъ и римлянъ важнѣе и любопытнѣе русскихъ, онъ выставляетъ особенный интересъ отечественной исторіи: «всемірная исторія великими воспоминаніями украшаетъ міръ для ума, а россійская украшаетъ отечество, гдѣ живемъ и дѣйствуемъ.... Чувство: *мы*, *наше*, оживляетъ повѣствованіе, и какъ грубое пристрастіе несносно въ историкѣ, такъ любовь къ отечеству даетъ его кисти жаръ, силу, прелесть. Гдѣ нѣтъ любви, нѣтъ и души». Это одушевленіе, внушаемое любовью, порождаетъ истинно-патетическія мѣста, однимъ изъ которыхъ заключается предисловіе: «мы одно любимъ, одного желаемъ: любимъ отечество; желаемъ ему благоденствія еще болѣе, нежели славы; желаемъ, да не измѣнится никогда твердое основаніе нашего величія; да правила мудраго самодержавія и святой вѣры болѣе и болѣе укрѣпляютъ союзъ частей; да цвѣтетъ Россія.... по крайней мѣрѣ долго, долго, если на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души человѣческой».

Кромѣ «Записки о древней и новой Россіи», написанной въ то время, когда Карамзинъ работалъ надъ своей исторіей, ему принадлежитъ также «Письмо о Польшѣ», читанное Императору Александру I. Оно относится къ 1819 г. и было вызвано намѣреніемъ государя возстановить Польшу въ цѣлости, т. е. въ предѣлахъ до перваго ея раздѣла. Это не первый мемуаръ о томъ же предметѣ. Въ эпоху Вѣнскаго конгресса, баронъ Штейнъ и извѣстный дипломатъ Поццо-ди-Борго высказали государю свои мнѣнія касательно организаціи герцогства Варшавскаго, присоединеннаго къ Россіи. Въ «Запискѣ» послѣдняго, съ точки зрѣнія государственной, разсматривается намѣреніе образовать изъ герцогства Польское королевство, подъ непосредственнымъ и верховнымъ владычествомъ Русскаго царя, но отдѣльно отъ имперіи и съ представительнымъ правленіемъ. Выходя изъ того начала, что каждая политическая реформа тогда только благоуспѣшна, когда согласована съ характеромъ народа, для котораго она назначается, съ его настоящими обстоятельствами и съ духомъ времени, «Записка» не одобряетъ намѣренія. Устройство Польши, въ предполагавшейся формѣ, было

бы, по убѣжденію автора, противно существеннымъ интересамъ Россіи, постоянной угрозой ея спокойствію и безопасности. Между бумагами Потемкинскаго секретаря, В. С. Попова, находятся двѣ записки о Польшѣ (1815): первая изъ нихъ вызвана нѣкоторыми мѣрами въ западныхъ и югозападныхъ губерніяхъ, представлявшими уклоненіе отъ политическихъ видовъ Екатерины II (наприм.: введеніемъ судопроизводства и преподаванія наукъ на польскомъ языкѣ) (1).

«Письмо» Карамзина явилось по иному случаю: оно имѣетъ цѣлію отклонить Александра I отъ намѣренія «возстановить Польшу въ ея цѣлости». Доводы свои почерпаетъ онъ въ правилахъ исторической, національной политики, единственно полезной для государства. Онъ мужественно высказываетъ мысль, что всецѣлое возстановленіе древняго королевства польскаго несогласно ни съ законами государственнаго блага, ни съ священными обязанностями царя, ни съ его любовію къ Россіи и къ самой справедливости. «Старыхъ крѣпостей нѣтъ въ политикѣ (говоритъ онъ): иначе мы долженствовали бы возстановить и казанское, астраханское царство, новогородскую республику, великое княжество рязанское, и такъ далѣе. Къ тому же и по старымъ крѣпостямъ Бѣлоруссія, Волынія, Подолія, вмѣстѣ съ Галиціею, были нѣкогда кореннымъ достояніемъ Россіи. Если Вы отдадите ихъ, то у Васъ потребуютъ и Кіева, и Чернигова, и Смоленска: ибо они также долго принадлежали враждебной Литвѣ. Или все, или ничего.... Однимъ словомъ, возстановленіе Польши будетъ паденіемъ Россіи, или сыновья наши обагрятъ своею кровію землю польскую и снова возьмутъ штурмомъ Прагу» (2). Въ заключеніе Карамзинъ указываетъ Императору на высокое его призваніе—«утвердить миръ въ Европѣ и благоустройство въ Россіи: первый безкорыстнымъ, великодушнымъ посредничествомъ; второе хорошими законами и еще лучшею управою». Въ содержаніи «Письма» собственно нѣтъ ничего таково, что не было бы высказано предшествовавшими ему «Записками»; но оно отличается прекрасной литературной формой и тѣмъ патріотическимъ одушевленіемъ, которое одно только способно внушать человѣку гражданскіе подвиги. Поэтому Карамзинъ справедливо озаглавилъ письмо «Мнѣніемъ русскаго гражданина».

§ 9. Какъ сильный талантъ, Карамзинъ нашелъ себѣ многихъ подражателей, которые, имѣя его во главѣ, образовали особую литературную школу. Направленіе, данное имъ языку и содержа-

---

1) Рус. Архивъ, 1865, № 2.

2) Неизд. соч. К—на, ч. I.

нію словесности, усвоилось, съ большимъ или меньшимъ искусствомъ, въ тѣхъ или другихъ родахъ сочиненій, каждымъ членомъ школы. Съ именемъ «карамзинистъ» соединялось понятіе о такомъ писателѣ, произведенія котораго представляли характеристическія отличія образца, и внѣшнія, и внутреннія.

Внѣшнее усвоивается легче, нежели внутреннее, и потому карамзинскій языкъ сдѣлался первымъ предметомъ подражанія. Въ короткое время нашлись и достойныя его явленія, и безжизненныя, механическія подъ него поддѣлки. Укажемъ лучшіе примѣры подражательной ему дѣятельности.

Первое, по времени, мѣсто въ Карамзинской школѣ безспорно принадлежитъ И. Дмитріеву (1760—1837). Заслуга его касательно литературнаго языка и слога опредѣлена современною ему критикою слѣдующимъ образомъ: Карамзинъ далъ образцы, какъ должно писать *въ прозѣ*; Дмитріевъ далъ образцы, какъ должно писать *въ стихахъ* (¹). Другими словами: что̀ сдѣлалъ Карамзинъ для образованія прозаическаго языка, то самое сдѣлалъ Дмитріевъ для образованія языка стихотворнаго. Дѣло Карамзина намъ извѣстно: онъ сблизилъ книжную прозу съ разговорнымъ языкомъ общества. Дмитріевъ воспользовался этимъ началомъ для того, чтобы сообщить стихотворной рѣчи ясность, легкость, непринужденное словопостроеніе и пріятность. И потому-то имена обоихъ писателей постоянно ставились рядомъ, какъ образователей литературнаго языка нашего: одного въ прозѣ, другаго въ стихахъ. Это образованіе стихотворной рѣчи, вызванное примѣромъ Карамзина (²), соотвѣтствовало какъ свойству французскаго языка, съ котораго переводилъ Дмитріевъ, такъ и роду сочиненій, которыя онъ переводилъ. Французскій языкъ давно привыкъ «къ почтовой прозѣ». Литературнымъ своимъ развитіемъ онъ одолженъ не одному трудолюбію авторовъ, но и успѣхамъ общежитія. Искусство писать вырабатывалось у французовъ вмѣстѣ съ искусствомъ вести бесѣду. Переводилъ же и сочинялъ Дмитріевъ преимущественно басни, сказки, сатиры, эпиграммы и разныя мелкія піесы (poésies fu-

¹) Слова А. Измайлова въ извѣщеніи о 5-мъ изд. Сочиненій И. Дмитріева (Благонамѣренный 1819, № 3). Они повторены и позднѣйшею критикою: см. Мелочи изъ запаса моей памяти, М. Дмитріева.

²) Самъ И. Дмитріевъ признавалъ Карамзина своимъ образцемъ: «Съ того только времени я почувствовалъ, что такое талантъ и авторское искусство, когда пріобрѣлъ уже, въ зрѣлой молодости, пріязнь Державина и утвердилъ дружбу съ Карамзинымъ» (предисловіе къ 6-му изд. его стихотвореній, 1823). «Кажется мнѣ суждено было тогда только воспламеняться поэзіей, когда Карамзинъ издавалъ журналы» (Записки И. Дмитріева).

gitives); а содержаніе такихъ сочиненій выражается легкимъ, свободнымъ, подходящимъ къ разговорному языку стихомъ. Вотъ почему критики десятыхъ и двадцатыхъ годовъ совѣтовали тому, кто желаетъ писать гимны, оды, диѳирамбы, учиться у лириковъ (Ломоносова, Петрова, Державина) краткости, силѣ и смѣлости выраженій; тому же, кто чувствуетъ въ себѣ талантъ и склонность сочинять комедіи, посланія, сатиры, элегіи, сказки, дидактическія, описательныя и романтическія поэмы, мадригалы, эпиграммы, требующія инаго языка, иныхъ качествъ въ слогѣ, они рекомендовали Дмитріева, какъ надежнѣйшаго руководителя (¹).

Стихотворенія самого Карамзина, если разсматривать въ нихъ только складъ рѣчи, не отличаются отъ стихотвореній Дмитріева. Подъ вліяніемъ тѣхъ и другихъ мало по малу сложился у насъ легкій стихъ, приличный извѣстному разряду поэтическихъ сочиненій. Успѣшному его развитію благопріятствовала перемѣна во вкусѣ писателей: ода склонялась къ упадку; посланіе сдѣлалось моднымъ родомъ стихотворства, представляя удобнѣйшую форму для выраженія мыслей. Но посланію, какъ письму въ стихахъ, наравнѣ съ обыкновенными письмами свойственъ такъ называемый эпистолярный стиль, главныя отличія котораго—простота и непринужденность. Большинство талантливыхъ стихотворцевъ двадцатыхъ годовъ, по строенію своей рѣчи, суть послѣдователи Карамзина и Дмитріева. Одни изъ нихъ начали подражать своимъ образцамъ раньше, другіе позднѣе; но всѣ шли одною и тою же дорогою, проложенною первоначальниками реформы.

Еще больше было подражателей-прозаиковъ, потому что легче ладить съ прозой, чѣмъ съ стихами, строеніе которыхъ стѣснено условіями мѣры и риѳмы. За Карамзинымъ слѣдовали охотно не изъ одного увлеченія его талантомъ, но и по сознанію въ правотѣ его дѣла, объясняемаго потребностями времени. Какъ Шишковъ въ новомъ слогѣ видѣлъ ближайшее слѣдствіе испорченныхъ нравовъ, такъ литераторы противоположнаго направленія связывали появленіе того же слога съ успѣхами образованности. По поводу перваго изданія сочиненій Карамзина (1803—1804), одинъ изъ тогдашнихъ журналистовъ (²) оцѣнилъ его заслугу такимъ образомъ: «Обстоятельства эпохи, въ которую явился Карамзинъ, довели общества въ Петербургѣ и Москвѣ до утонченія идей, искусствъ и образа жизни. Недоставало только языка, ближайшаго

---

¹) См. извѣщеніе Воейкова «о новомъ (6-мъ) изд. стихотвореній Дмитріева» (Новости литературы 1824, №№ 3 и 4).

²) В. Измайловъ, въ Патріотѣ, журналѣ воспитанія (1804, № 9).

къ тону разговора и общества, къ новымъ понятіямъ вѣка, къ новой вѣжливости нравовъ, котораго легкая пріятность могла бы побѣдить въ свѣтскихъ людяхъ, а особливо въ женщинахъ, непростительное предубѣжденіе противъ языка русскаго, который, наконецъ, могъ бы усвоить себѣ достоинства лучшихъ языковъ въ Европѣ. Карамзинъ далъ языку новое направленіе и сблизилъ его съ другими чистѣйшими языками европейскими». Критическій отзывъ заключается дѣльной замѣткой о взаимнодѣйствіи общества и автора; «такимъ образомъ духъ вѣка и народа имѣетъ, въ началѣ, столько же вліянія на характеръ писателя, сколько писатель въ послѣдствіи и въ свою очередь пріобрѣтаетъ вліянія на духъ и языкъ народа». Этотъ ближайшій къ состоянію общества и тону разговора языкъ, созданный Карамзинымъ, вскорѣ сдѣлался достояніемъ многихъ писателей. Не прошло и двадцати лѣтъ отъ появленія перваго его памятника (Писемъ русскаго путешественника въ Московскомъ журналѣ), какъ онъ уже водворился въ нашей словесности. Всѣ болѣе или менѣе видные литераторы эпохи Александра I образовали искусство выражать свои мысли по сочиненіямъ Карамзина, относящимся еще къ первому періоду его дѣятельности (1791—1803). Дашковъ, П. Макаровъ, Каменевъ, Подшиваловъ, В. Пушкинъ, Бенитцкій, В. Измайловъ, А. Измайловъ, Каченовскій, В. Панаевъ, Милоновъ, Воейковъ, Озеровъ, Жуковскій, Батюшковъ, кн. Вяземскій.... все это ученики одного и того же учителя, сторонники и двигатели совершеннаго имъ преобразованія. Выходъ въ свѣтъ «Исторіи Государства Россійскаго» окончательно и надолго утвердилъ за карамзинскимъ слогомъ право быть исключительнымъ образцемъ для всякаго, кто принимался за перо. И. А. Крыловъ составлялъ исключеніе: поэтическій языкъ его не могъ вполнѣ освободиться отъ нѣкоторой шероховатости, усвоить себѣ легкость и гладкость, выработанныя писателями Карамзинскаго періода.

Этотъ Карамзинскій языкъ не всѣми, однако-жъ, признавался, образцовымъ, т. е. такимъ, который отвѣчалъ бы складу истинно-русской рѣчи. Кромѣ Шишкова и его партіи, были лица, извѣстныя въ литературѣ, не находившія въ новомъ слогѣ достаточной мужественности и силы. Въ «Разсужденіи о причинахъ, замедляющихъ успѣхи нашей словесности (1814)», Гнѣдича, Карамзинъ хотя и удостоенъ похвальнаго отзыва, но легкаго, произнесеннаго какъ бы мимоходомъ и противъ воли; ему не дано мѣста между прославленными Державиными и Дмитріевыми, Озеровыми и Капнистами; онъ не считается образователемъ желаннаго средняго (между

высокимъ и пріятнымъ) слога, ибо «образцы сего слога имѣемъ мы въ стихотвореніяхъ Ломоносова, Державина и еще нѣкоторыхъ высшаго рода поэтовъ, но въ прозѣ, хотя многіе писатели отъ временъ Ломоносова и до нашихъ его избирали, образцевъ не умѣли еще оставить» ([1]). Въ статьѣ: «Взглядъ на нынѣшнее состояніе нашей словесности» ([2]), литераторы наши раздѣлены на три котегоріи: къ первой отнесены славянолюбцы, шедшіе за Шишковымъ; ко второй Карамзинисты, подражавшіе легкому слогу Карамзина; къ третьей образованные люди, безъ особаго представителя въ родѣ Шишкова или Карамзина, но съ своимъ уложеніемъ правилъ здраваго вкуса, основанныхъ на примѣрахъ древности и новѣйшихъ временъ. Послѣдніе названы «истинными русскими литераторами». Начальникомъ ихъ авторъ желалъ бы видѣть лице, подобное М. Н. Муравьеву, который пріятностямъ своего языка учился изъ классической литературы другихъ народовъ. Короче, Муравьевъ предпочтенъ Карамзину не только за преданность классицизму, но даже за слогъ свой.

Вторымъ предметомъ подражанія Карамзину служилъ сентиментальный тонъ его сочиненій. Современники почитали его преобразователемъ не только литературнаго языка, но и направленія литературы. Его имя, какъ начальника новаго періода, ставилось въ слѣдъ за именемъ Ломоносова, главнаго дѣятеля въ періодѣ предшествовавшемъ. Журнальная критика указывала и различіе между ними: «послѣ Ломоносова граціи сказали: пусть теперь въ твореніяхъ русскихъ улыбается нѣжность и прольется въ сердца чувствительныхъ» ([3]). Значитъ, русскимъ авторамъ Ломоносовской школы, показавшимъ примѣры высокаго и торжественнаго, не доставало пріятности, нѣжности, чувствительности, очередь которымъ наступила съ Карамзина. По обычаю величать отечественныхъ писателей именами древнихъ или новыхъ знаменитостей, которымъ они подражали, Карамзина приравнивали то Стерну, то Мармонтелю, то обоимъ вмѣстѣ. «Письма русскаго путешественника» и «Бѣдная Лиза» были первыми явленіями литературнаго сентиментализма Карамзина: и первыми же опытами подражательнаго авторства естественно долженствовали быть путешествія и повѣсти. «Путешествіе въ полуденную Россію» (1800—1802) сохранило да-

---

[1]) Понятно, что Карамзинъ слышалъ въ «Разсужденіи» голосъ человѣка, нерасположеннаго къ его стилистической реформѣ (см. въ Письмахъ Карамзина къ Дмитріеву, письмо 171 и примѣчаніе къ нему).

[2]) Опыты въ прозѣ, Разумника Гонорскаго (1818), одного изъ издателей Украинскаго Вѣстника съ 1816 по 1818 г.

[3]) С.-Петербургскій журналъ (1798, май).

же форму своего образца: оно разсказано въ письмахъ. Сочинитель его, Владиміръ Измайловъ (1773—1830), одинъ изъ самыхъ искренних и стойкихъ карамзинистовъ, почти вовсе не думалъ знакомить своего читателя съ предметами, которые встрѣчались ему на пути: главнѣйшимъ образомъ заботился онъ о передачѣ ему впечатлѣній, возбуждаемыхъ предметами, важными и неважными. Все его вниманіе устремлено было на то, чтобы дорогою скопить запасъ пріятныхъ и живыхъ ощущеній, которыя на вѣки сохранились бы въ его памяти. Не даромъ выбралъ онъ эпиграфъ изъ «Писемъ объ Италіи,» Дюпати: «нѣкоторые путешественники привозятъ изъ чужихъ странъ статуи, медали, произведенія природы; я же возвращаюсь съ идеями и чувствами». Но, не имѣя дарованій своихъ образцовъ (Карамзина и Дюпати), Измайловъ не могъ, подобно имъ, заинтересовать публику: описаніе достопримѣчательностей вышло у него скуднымъ, нехарактеристичнымъ, лиризмъ вертится на приторной чувствительности и безпричинной меланхоліи, въ слогѣ нѣтъ самобытности и силы, хотя онъ и не лишенъ пріятной легкости, заученной у Карамзина. Если книга В. Измайлова страдаетъ отсутствіемъ положительнаго содержанія, то два путешествія князя Шаликова (1768—1852) въ Малороссію (одно 1803 и другое 1804) довели сентиментализмъ до комическаго преувеличенія. Въ нихъ совершенно стерты особенности страны и людей, съ которыми авторъ знакомился. Передъ глазами чувствительнаго путешественника исчезаютъ не только образы, но даже имена предметовъ: подумаешь, что города, села, жители, деревья, цвѣты не имѣютъ названій и обречены на безличное, мечтательное существованіе. Пусть для него, какъ и для В. Измайлова, были важны не люди и вещи, а воспринятыя отъ нихъ впечатлѣнія, которыми онъ хотѣлъ дѣлиться съ читателемъ: дѣло въ томъ, что эти впечатлѣнія безхарактерны, что они имѣютъ значеніе общихъ мѣстъ, и потому могутъ быть выражаемы по поводу любаго предмета. Вѣстникъ Европы остроумно замѣтилъ объ одной статьѣ въ первомъ путешествіи князя Шаликова: «иной, прочитавъ эту статью, скажетъ: поѣду въ Малороссію! А я скажу: не ѣздите; на Дѣвичьемъ полѣ (въ Москвѣ) можете увидать тоже самое». Наши чувствительные путешественники, почерпавшіе свой матеріалъ у Карамзина и Дюпати, увлекались еще Верномъ (Vernes de Cenève), который прославился двумя путешествіями (¹) и слылъ между фран-

¹) Le voyageur sentimental, ou ma promenade à Jverdun и Le vogageur sentimental en France sous Robespierre.

цузами за новаго Стерна. О тонѣ «Прогулки въ Ивердюнъ» можно судить по ея эпиграфу:

Une larme du sentiment,
Quelle plus douce récompense!

Содержаніе же ея объяснено самимъ авторомъ: «ученыя путешествія не мой родъ; оттѣнокъ чувства поражаетъ и привлекаетъ меня болѣе, чѣмъ пантеоны и Траяновы столбы». Въ послѣдней главѣ онъ обращается къ читателю: «прости мнѣ, если я изображаю болѣе чувствованія, нежели мѣста, если не описываю памятниковъ, любопытныхъ предметовъ, рѣдкостей. Когда холодъ лѣтъ или болѣе глубокое знаніе людей уменьшитъ мою чувствительность, тогда я начну говорить о томъ, что *видѣлъ*; теперь же говорю о томъ, что *чувствую*». Рѣчь автора живая и бойкая; выраженіе чувствъ идетъ рядомъ съ легкимъ юморомъ, иногда заканчиваясь иронической выходкой. Второе путешествіе болѣе серьезнаго тона. Вернъ оставилъ Парижъ въ эпоху террора, чтобы не слышать «стоновъ, выходившихъ изъ тѣхъ заклеповъ, гдѣ тираннія стерегла свои жертвы». Грозныя событія девяностыхъ годовъ, при господствѣ Робеспьера, когда несогласіе въ мнѣніяхъ наказывалось конфискаціею имущества, заключеніемъ въ темницу и смертью, когда одна политическая партія возводила на эшафотъ другую, отразились въ содержаніи и направленіи книги. Тема ея объяснена въ предисловіи: «Такъ какъ мнѣнія выказываютъ слабость и несовершенство нашего ума, то я стараюсь доказать, что добрыя и благородныя чувства сердца должны господствовать надъ мнѣніями, должны быть выслушиваемы какъ единственный голосъ, не обманывающій человѣчества, какъ единственный законъ, на которомъ природа основываетъ счастіе своихъ тварей. Послѣ злополучныхъ и кровавыхъ дней, пережитыхъ нами; послѣ того, какъ мы видѣли человѣческую природу, обезображенную звѣрскими страстями, оскверненную всѣми пороками, чувствуешь потребность успокоить душу созерцаніемъ этой природы въ ея первобытной красотѣ, въ сіяніи простыхъ добродѣтелей и слѣдующаго за ними счастія, въ томъ идеальномъ образцѣ, въ какомъ она должна была существовать по волѣ Творца». Вернъ не довѣряетъ уму, который надѣлалъ столько зла на свѣтѣ; въ непосредственномъ чувствѣ находитъ онъ неизмѣннаго себѣ наставника: «Великій Боже, я не отвергну свѣта, исходящаго отъ людей, но буду искать его не столько въ нихъ, сколько въ инстинктѣ, вложенномъ Тобою въ мое сердце; съ этого времени, онъ будетъ моимъ вожатаемъ и не введетъ меня въ заблужденія, если, памятуя Твои совершенства, стану подражать

Тебѣ въ любви къ тварямъ». Исповѣдью автора опредѣляется и содержаніе его путевыхъ записокъ: «Доброе сердце необходимѣе великихъ знаній; пускай же не ожидаютъ отъ меня поученій или описаній, представляемыхъ большинствомъ путешествій: первое и самое важное поученіе—люби своихъ ближнихъ». Вотъ съ какими мыслями и побужденіями принялся французскій путешественникъ за перо. Поклонникъ Руссо, онъ хотѣлъ созерцать неиспорченную природу, которой не найдешь въ столицѣ; искренній деистъ, онъ цѣнилъ лишь то, что Богъ напечатлѣлъ въ серцахъ всѣхъ людей; человѣкъ чувствительный, видѣвшій въ добродѣтели наилучшее доказательство своего божественнаго происхожденія, онъ бѣжалъ отъ зрѣлища преслѣдованій и казней, которыя совершались во имя разума.

Сентиментальные путешественники очень скоро сдѣлались предметомъ сатиры, имѣющей право смѣяться надъ всѣмъ, что дѣйствительно смѣшно. Въ переводной повѣсти: «Любовники, соперники въ авторствѣ» (¹), даются слѣдующіе совѣты, какъ писать путешествія: «Нынѣ не дѣлаютъ болѣе описанія городовъ, памятниковъ, славныхъ картинъ и проч., но должно, чтобъ путешественникъ никогда не проѣзжалъ мимо какой-нибудь развалины или могилы, не дѣлая меланхолическихъ разсужденій о бренности земныхъ великостей и жизни. Въ каждомъ лѣсу надобно ему чувствовать священный ужасъ, на каждой горѣ приходить въ восторгъ, а на холмахъ и долинахъ вспоминать о юности своей, если ему за сорокъ лѣтъ, или о любовницѣ, когда ему не болѣе тридцати. Каждое утро онъ обязанъ восхищаться восхожденіемъ солнца и всякій вечеръ при закатѣ онаго плакать или по крайней мѣрѣ тяжело вздыхать. Онъ не описываетъ ни нравовъ, ни обычаевъ, но строжайшій даетъ отчетъ во всѣхъ своихъ чувствахъ и даже въ малѣйшихъ ощущеніяхъ». Авторъ стихотворенія: «Чудеса» (²) удивляется охотѣ русскихъ искать за моремъ того, что они легко находятъ у себя дома:

Видалъ я чудаковъ, которые ѣзжали
За тридевятъ земель
Смотрѣть, какъ солнышко заморское садится,
Иль слушать, какъ шумитъ заморскій вѣтерокъ,
Иль любоваться, какъ заморскій ручеекъ
По камнямъ и песку заморскимъ же струится.
Какъ будто на Руси не стало ручейковъ?
Иль будто вѣтерокъ шумѣть у насъ не смѣетъ
И солнце русское садиться не умѣетъ?

¹) Журналъ пріятнаго, любопытнаго и забавнаго чтенія, изд. П. Сумарокова, ч. I (1802).

²) В. Евр. 1804, № 20.

Остроумная комедія князя А. Шаховскаго: «Новый Стернъ» имѣла два изданія (1807 и 1822) и часто игралась на сценѣ. Главныя въ ней лица: графъ Пронской и его слуга Ипатъ, соотвѣтствуютъ Донъ-Кихоту и Санчо-Пансѣ въ томъ смыслѣ, что мечтанія барина постоянно разрушаются здравомысліемъ слуги. Хотя въ Пронскомъ комикъ представилъ то самое лице, о которомъ говоритъ сатира кн. Вяземскаго «Къ перу моему»:

Хочу ли намекнуть объ авторѣ смѣшномъ?
Вздыхаловъ, какъ живой, на остріѣ твоемъ;

однакожъ піеса причтена была въ обиду не ему одному, но и родоначальнику нашихъ сентиментальныхъ путешественниковъ, чѣмъ и возбудила противъ себя негодованіе чтителей Карамзина. Въ одной изъ сатиръ своихъ (Посланіе къ кн. С. И. Долгорукову), кн. Горчаковъ такъ изображаетъ состояніе русской словесности, воздѣлываемой Карамзинистами:

Въ ней модныхъ авторовъ французско-русскій ликъ
Стремится искажать отеческій языкъ.
Одинъ въ ней слѣдуетъ жеманну Дюпати,
Другой съ собакою вступаетъ въ симпати;
Тамъ воздыхающій, плаксивый Мирлифлёръ
Гордится, выпустя сентиментальный вздоръ;
А сей, вообразя, что онъ россійскій Стернъ,
Жемчужну льетъ слезу на шелковистый дернъ.

Другой сатирикъ, кн. И. Долгорукій, строже отнесся къ сентиментализму, въ которомъ онъ видѣлъ напускную болѣзнь и который раздражалъ его, какъ несносная аффектація, предпочитавшаяся столько-же естественному чувству, сколько и трезвому пониманію жизни.»

Да будетъ проклятъ тотъ безмозглыхъ книгъ писецъ,
Кто первый въ кровь пустилъ ядъ оспы лжемоpальной
И, разумъ помутя, направилъ путь сердецъ
Къ той жизни, кою мы зовемъ сентиментальной.

Еще больше было подражаній «Бѣдной Лизѣ», отдѣльно изданныхъ или вошедшихъ въ журналы. Исчислимъ нѣкоторыя по порядку ихъ появленія: «Бѣдная Маша», А. Измайлова (1801); «Обольщенная Генріетта, или торжество обмана надъ слабостію и заблужденіемъ, истинная повѣсть», Ивана Свѣчинскаго (1801); «Несчастная Маргарита, истинная россійская повѣсть» (1803); «Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевыхъ горъ»; «Исторія бѣдной Марьи»; «Инна», Каменева; «Марьина роща», Жуковскаго (1809). Сочиненіе А. Измайлова выходитъ изъ круга

собственно такъ называемыхъ сентиментальныхъ повѣстей своею мелодраматической развязкой и сценами простаго быта, изображеніе которыхъ было свойственно автору «Евгенія или пагубныхъ слѣдствій заблужденія» и которыя поэтому вышли лучшія. Повѣсть Каменева, написанная лирической прозой, оканчивается также трагической катастрофой. «Марьина роща» по всѣмъ отношеніямъ выше прочихъ подражаній «Бѣдной Лизѣ», обнаруживая, кромѣ чувствительности, новую стихію — романтическій идеализмъ, нашедшій потомъ столь обильное и столь прекрасное выраженіе въ поэзіи Жуковскаго.

Путешествіями и извѣстіями не ограничивалось сентиментальное направленіе: оно охватывало всѣ роды прозы и поэзіи; безъ приправы имъ не обходились ни быль, ни сказка. Мода выказывала въ этомъ случаѣ такое же дѣйствіе, какъ и всегда: «сначала громкія у насъ *гремѣли оды*», потомъ мы начали *ахать*. Аханье, вздохи и слезы сдѣлались эпидемической болѣзнью. Отъ подражаній Ломоносову и Державину перешли къ подражаніямъ Карамзину и Дмитріеву. Твердя одно и тоже, болѣе и болѣе довольствуясь одними словами, болѣе и болѣе освобождаясь отъ всякаго содержанія, сентиментальная литература стала, наконецъ, причудливой, комической игрой въ чувствованія и ощущенія, столько же легкимъ, сколько и пустымъ провожденіемъ времени, которое слѣдовало бы употребить на что-нибудь другое, и потому не могла долѣе существовать. Извѣщая о представленіи «Новаго Стерна» на московской сценѣ, Вѣстникъ Европы радуется прекращенію сентиментальной заразы (1). Правда, насмѣшки надъ чувствительными авторами продолжались и въ двадцатыхъ годахъ, но онѣ имѣли предметомъ не повсемѣстное господство направленія, а только отдѣльные его факты или лучше двѣ-три личности запоздалыхъ служителей сентиментализма — кн. Шаликова и Иванчина-Писарева. Ихъ называли послѣдними карамзинистами въ томъ смыслѣ, что они искренно и усердно держались на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ Карамзинъ поставилъ словесность «Письмами русскаго путешественника» и «Бѣдной Лизой» (2).

Вліяніе Карамзина на молодыхъ литераторовъ, переступавшее въ фанатическое, часто смѣшное преклоненіе предъ нимъ у В. Измайлова, кн. Шаликова и Иванчина-Писарева, объясняется, конечно, не однимъ пристрастіемъ къ новому слогу, или къ сенти-

(1) 1811 № 1 и 1812 № 13.

(2) Въ Литературномъ Музеумѣ на 1827 (издатель В. Измайловъ) нап. рѣчь въ память исторіографу, Иванчина-Писарева, который также издалъ «Духъ Карамзина, или избранныя мысли и чувствованія сего писателя» (1827).

ментализму ихъ кумира, а болѣе сильной и достойной уваженія причиной. Не на нихъ только Карамзинъ дѣйствовалъ такъ возбудительно, а на всѣхъ читателей развитыхъ или, по крайней мѣрѣ, способныхъ къ развитію, и дѣйствовалъ потому, что его сочиненія служили органомъ обще-европейскихъ идей, съ цѣлію распространить ихъ среди общества, еще мало цивилизованнаго, привить ихъ къ нашей нравственной жизни; что эти сочиненія имѣли воспитательное значеніе, смягчая жесткіе, грубые нравы и такимъ образомъ способствуя нашему гуманно-духовному развитію. Карамзинъ, по справедливости, можетъ быть названъ первымъ русскимъ европейцемъ. Въ своихъ Письмахъ онъ знакомилъ соотечественниковъ со всѣмъ добрымъ, изящнымъ и великимъ, что̀ выработалось обще-европейскою жизнію; своими сентиментальными повѣстями, стихотвореніями и многими прозаическими статьями показалъ возможность и цѣну жизни внутреннимъ чувствомъ, а не ощущеніями грубаго, стихійнаго инстинкта, не вѣдающаго различія между жизнію человѣческою и жизнію чисто-животною.

Со времени Карамзина, замѣтимъ между прочимъ, литераторы наши при своемъ авторствѣ имѣютъ въ виду и дамъ; въ пользу или удовольствіе ихъ издаются особые журналы; сами онѣ нерѣдко принимаются за перо. Конечно, не въ сочиненіяхъ, изданныхъ для прекраснаго пола, равно какъ и не въ его собственныхъ литературныхъ произведеніяхъ, заключалось главное дѣло. Значеніе того и другаго не важно; важно побужденіе къ дѣятельности. Она была вызвана болѣе просвѣщеннымъ взглядомъ на взаимныя отношенія мужчинъ и женщинъ, на мѣсто, которое послѣднія должны занимать въ обществѣ, на участіе, которое онѣ могутъ и обязаны принимать въ общемъ стремленіи къ образованности. Такъ называемое «служеніе граціямъ», выражавшееся нерѣдко въ комическихъ формахъ, обнаруживало добрые знаки: отвычку отъ грубаго образа жизни, наклонность къ вѣжливости, которую Карамзинъ называлъ «добродѣтелью общежитія и слѣдствіемъ утонченнаго человѣколюбія», не осуждающаго цѣлую половину человѣческаго рода на пассивное существованіе, не замыкающее для нея входовъ въ область литературы и науки. Издатель «Московскаго Меркурія» отличался самымъ ревностнымъ почтеніемъ къ прекрасному полу, которое объясняется не однимъ его темпераментомъ, но и образомъ мыслей. За женщинами признавалъ онъ полное право не только на занятія литературой, но и на высшее просвѣщеніе. Онъ не понимаетъ, какимъ несчастіемъ мы, подражатели французовъ, не переняли у нихъ одного, самаго полезнаго обычая: «Француженки девятаго-на-десять вѣка посѣщаютъ лицеи,

смотрятъ музеумы, слушаютъ профессоровъ, читаютъ, переводятъ и сами сочиняютъ. У насъ нѣтъ ни лицеевъ, ни дружескихъ ученыхъ собраній; но все это было бы, если бы женщины захотѣли.... Кто не желаетъ женщинамъ просвѣщенія, тотъ врагъ ихъ, тотъ хочетъ удержать себѣ право сказать нѣкогда женѣ своей (въ которой онъ искалъ ключницу или няньку): я тебя умнѣе!... И почему не быть женщинѣ столько же ученою, сколько и мужчинѣ? Способности ея превосходнѣе нашихъ и требуютъ только развитія... Женщины всегда были и будутъ первою (хотя иногда невидимою) пружиною человѣческихъ дѣяній, причиною всего изящнаго и великаго».

Филантропія послѣдователей Карамзина выражалась въ отношеніи не къ женщинамъ только, но и къ общественнымъ состояніямъ людей, о чемъ мы уже упомянули, говоря о Бѣдной Лизѣ. Съ этой точки зрѣнія не лишена интереса полемика по поводу «Новаго Стерна», хотя она и отзывается отроческимъ паѳосомъ. Противники комедіи кн. Шаховскаго отстаивали сентиментализмъ во имя гуманныхъ началъ. Такъ какъ она осмѣиваетъ главное дѣйствующее лице, графа Пронскаго, за то, что онъ нигдѣ не служитъ, плачетъ надъ могилою собачки и хочетъ жениться на крестьянкѣ; то письмо къ издателю «Журнала Россійской Словесности» ([1]) и касается этихъ трехъ предметовъ, доказывая, что не одной службой можно приносить пользу отечеству, что человѣку все сотворенное не должно быть чуждо, и что дворянину, хотя бы онъ былъ и графъ, не предосудительно жениться на бѣдной, но доброй крестьянкѣ: «кто унижаетъ права человѣчества, тотъ перваго унижаетъ себя; благодѣтельная природа равно смотритъ какъ на вельможу, такъ и на дворянина». Издатель «Московскаго Зрителя» получилъ также «письмо сельскаго жителя» ([2]), содержащее въ себѣ жалобу на обычай провинціальныхъ дворянъ жениться на бывшихъ своихъ челядинкахъ и наемницахъ. Иначе смотритъ на этотъ обычай авторъ «размышленія о письмѣ» ([3]), заставившемъ его «скорбѣть за человѣчество». «Въ началѣ 19-го столѣтія (говоритъ онъ), въ странѣ, отличающейся успѣхами въ наукахъ и искусствахъ, въ государствѣ, славящемся просвѣщеніемъ своимъ, — въ Россіи явился ревностный защитникъ добронравія, вопіющій противу ослѣпленія благовоспитанныхъ людей, возлагающихъ на себя цѣпи Гименея съ невоспитанными женщинами.

[1]) 1805, № 7.
[2]) 1886, апрѣль.
[3]) Ib., май.

Если бы сей поборникъ нравовъ явилъ себя чуждымъ всякаго пристрастія и, не взирая на знатность особъ, устремилъ бы вниманіе свое лишь на образованіе ума и сердца ихъ—тогда трудъ его былъ бы полезенъ. Но нѣтъ: онъ изливаетъ обильный токъ строгости единственно противу женщинъ.... Дворянка, упоенная предразсудками вмѣсто истиннаго просвѣщенія, не можетъ дать хорошаго воспитанія дѣтямъ своимъ, не можетъ подать имъ наставленія о нравственности, такъ же какъ и крестьянка, находящаяся въ сущемъ невѣжествѣ.... Нѣжный родитель! если воспитаешь дочь свою, какъ слѣдуетъ, то увѣряю тебя, что крестьянка не отниметъ у ней жениха».

Отвращеніемъ отъ невѣжества, любовью и уваженіемъ къ просвѣщенію, желаніемъ совершенства русскому человѣку въ духѣ и формѣ европейской образованности отличались вообще писатели карамзинской школы, въ противоположность славянофильству Шишкова и его одномысленниковъ, крѣпко державшихся за старыя понятія, и потому антагонистовъ Карамзина, вносившаго новыя нравственныя понятія въ жизнь русскаго общества. Проявленіе этой отличительной особенности намъ уже извѣстно изъ спора съ Шишковымъ. Что вызвало Макарова, Дашкова, В. Пушкина на защиту новаго слога? Увѣренность, что этотъ новый слогъ удобнѣе выражаетъ европейскія идеи и знанія. Почему они не славили старину? По увѣренности же, что она несовмѣстима съ европеизмомъ, что возвращеніе къ ней, если бы таковое и было возможно, грозитъ успѣхамъ гражданскаго образованія. Любовь къ искусству и наукѣ — эта почтенная черта карамзинистовъ въ молодости — осталась при нихъ и въ то время, когда ихъ молодость давно исчезла, когда они отъ занятій литературою перешли къ другимъ родамъ дѣятельности. Измѣнившись съ лѣтами во многомъ, измѣнивъ многое въ образѣ мыслей, они сохранили вѣрность предмету своего начальнаго служенія. Современники прошлаго, они, на этомъ почтенномъ чувствѣ, какъ бы на нейтральной, общедорогой почвѣ, шли вровень съ современниками настоящаго, которое расходилось съ ними по другимъ вопросамъ.

§ 10. Шишковъ, какъ мы знаемъ, не отдѣлялъ литературы отъ общественной нравственности, поставляя порчу первой въ причинной связи съ искаженіемъ послѣдней. Его взглядъ раздѣлялся очень многими. Упадокъ нравовъ они объясняли иностраннымъ или, вѣрнѣе, французскимъ воспитаніемъ русскихъ людей, которое притомъ, по ихъ мнѣнію, служило орудіемъ европейской политики для достиженія коварныхъ, анти-русскихъ цѣлей. Эта цѣль—внушить русскимъ уваженіе ко всему иностранному и презрѣніе ко

всему отечественному. Все то, что собственное, наше, стало становиться въ глазахъ нашихъ худо и презрѣнно... Французы научили насъ презирать благочестивые нравы предковъ нашихъ и насмѣхаться надъ всѣми ихъ мнѣніями и дѣлами.

Подражательное развитіе русскаго общества: вотъ въ чемъ Шишковъ обвинялъ своихъ современниковъ, и въ томъ числѣ новыхъ литераторовъ, которые будто содѣйствовали злу. Самостоятельность развитія: вотъ чего онъ требовалъ отъ русскаго общества. Онъ добивался русскаго направленія, окрещеннаго неточнымъ именемъ славянофильства. Шишковъ — славянофилъ, или руссофилъ, потому что стоялъ за сохраненіе русской національности въ нравахъ, обычаяхъ и языкѣ. Но за тоже самое стоялъ, тоже самое говорилъ, еще прежде Шишкова, Карамзинъ, имя котораго, какъ истинно-русскаго европейца, могло быть равно усвоиваемо какъ западничествомъ, такъ и славянофильствомъ. Въ «разсужденіи о любви къ отечеству и народной гордости» онъ выставляетъ слабую сторону современнаго общества — излишнее смиреніе въ политикѣ, указывая ему самобытность народной жизни, какъ идеалъ: «Есть всему предѣлъ и мѣра. Какъ человѣкъ, такъ и народъ начинаетъ всегда подражаніемъ, но долженъ со временемъ быть *самъ собою*, чтобы сказать: *я существую нравственно!* Хорошо и должно учиться, но горе и человѣку и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ!» Требованія одни и тѣ же, что и въ «разсужденіи о старомъ и новомъ слогѣ». И можно ли предполагать, чтобы Карамзинъ и его послѣдователи были меньше руссофилы, чѣмъ Шишковъ и члены Бесѣды? Справедливѣе думать иначе: «Исторія государства Россійскаго» и «Записка о древней и новой Россіи» заявляютъ славянофильство ихъ автора несравненно сильнѣе набатныхъ возгласовъ Шишкова, которые по большей части оказывались фальшивой тревогой. Ученіе о развитіи народа сообразно съ его коренными особенностями подкрѣплено въ этихъ сочиненіяхъ многими доводами. «Исторія» не знаетъ другаго монарха, «достойнѣйшаго жить и сіять въ ея святилищѣ», кромѣ Іоанна III, потому что въ своихъ дѣйствіяхъ онъ уважалъ народный характеръ и правила вѣка; «Записка» осуждаетъ политику Петра, который иноземнымъ началамъ приносилъ иногда въ жертву начало русское, и кромѣ того даетъ совѣты, какъ исправить ошибки, допущенныя новыми реформами. Вопросъ, слѣдовательно, не въ томъ, кто стоялъ за самобытное образованіе народа, а въ томъ, что разумѣли подъ такимъ образованіемъ и какъ понимали его отношеніе къ европейской, или общечеловѣческой культурѣ. На этомъ предметѣ, школа Карамзина и школа Шиш-

кова представляютъ большую разницу. Карамзинъ не признавалъ нравовъ своего вѣка худшими сравнительно съ нравами предковъ: напротивъ, онъ находилъ современныхъ Россіянъ, въ нравственномъ отношеніи, превосходнѣе Россіянъ, жившихъ подъ великокняжескимъ или царскимъ правленіемъ. Возвращеніе къ старинѣ вовсе не было ему желательно. Передъ лицемъ Шишкова, когда уже печаталась «Исторія», выразилъ онъ извѣстную намъ мысль: «связь между умами древнихъ и новѣйшихъ россіянъ прервалася навѣки». Образцомъ для подражанія ставилъ онъ не старину, а время Екатерины II, слѣдовательно *европейское* же начало, но подъ условіемъ примѣненія его къ дѣйствительнымъ потребностямъ русской страны. Новые просвѣтители (либералисты), выросшіе «на почвѣ французской революціи», пугали его тѣми опасностями, которыхъ онъ ожидалъ отъ нихъ для *европейской* цивилизаціи; но вѣдь изъ тѣхъ же опасеній и министерство просвѣщенія при Шишковѣ онъ называлъ министерствомъ затменія. Законодательныя реформы Сперанскаго встрѣтили въ немъ противника потому единственно, что онъ видѣлъ въ нихъ уклоненіе отъ правительственной системы Екатерины. Репрессивныя мѣры, имѣвшія цѣлью закрыть для Россіи міровыя пріобрѣтенія въ искусствѣ и наукѣ, никогда не могли быть имъ одобряемы. При томъ же онъ яснѣе Шишкова смотрѣлъ на причины и ихъ слѣдствія, цѣня тѣ и другія по настоящему ихъ смыслу и размѣру. Рабскія подражанія иностранцамъ въ бездѣлкахъ почиталъ онъ оскорбительными для народной гордости, но подражателей не обзывалъ врагами отечества, тогда какъ Шишковъ намѣревался издателей Сѣвернаго Вѣстника и Московскаго Меркурія, защищавшихъ новый слогъ, «ткнуть носомъ въ пепелъ Москвы и громко сказать имъ: вотъ чего вы хотѣли». Какъ будто они хотѣли этого!

Галломанія начала у насъ водворяться съ царствованія императрицы Елисаветы. Уже тогда въ числѣ явившихся къ намъ гувернеровъ и гувернантокъ находилось много невѣждъ или безнравственныхъ лицъ. Шишковъ приводитъ слѣдующее мѣсто изъ сочиненія Мессельера, чиновника французскаго посольства при дворѣ Елисаветы: «Voyage à Pétersbourg, ou nouveaux mémoires sur la Russie»: «Мы обступлены были тучею всякаго рода французовъ, изъ коихъ главная часть, поссорясь съ парижскою полиціею, пришли заражать сѣверныя страны. Мы поражены были удивленіемъ и сожалѣніемъ, нашедъ у многихъ знатныхъ господъ бѣглецовъ, промотавшихся, распутныхъ людей, которымъ поручено было воспитаніе дѣтей самыхъ знатнѣйшихъ». Французская эмиграція, при Екатеринѣ II и Павлѣ I, усилила ряды иностранныхъ

воспитателей русскаго юношества. Безразборчивая довѣренность къ нимъ родителей не могла быть остановлена даже правительственными мѣрами. Необразованность тѣхъ, отъ кого зависѣлъ выборъ наставниковъ, пристрастіе къ французскому языку, который сдѣлался языкомъ высшаго общества и свидѣтельствомъ внѣшняго европеизма, отсутствіе педагогическихъ заведеній, въ которыхъ готовились бы не только русскіе преподаватели наукъ, но и русскіе воспитатели, все больше и больше укрѣпляли обычай, въ сущности неразумный, но объясняемый историческими обстоятельствами. Онъ упалъ бы самъ собою, еслибъ устранены были причины, его породившія. Но этого не случилось и при Александрѣ I. Напротивъ, французское вліяніе достигло въ это время наибольшей степени. Примѣру высшаго класса послѣдовало сначала зажиточное дворянство, а за нимъ потянулась и «мелкая сошка», желавшая жить какъ знатные господа. Крыловъ не безъ цѣли прибавилъ нравоученіе къ переведенной изъ Лафонтена басни «Лягушка и Волъ» (1808): оно списано съ натуры. Другая его басня: «Крестьянинъ и Змѣя» (1813) имѣетъ цѣлью напомнить отцамъ о томъ злѣ, которое дѣтямъ ихъ причиняютъ воспитатели—французы. Дворяне помѣщали дѣтей своихъ въ пансіоны, содержимые иностранцами, потому что у нихъ можно было научиться свѣтскому обращенію, французскому языку и танцамъ. Процентъ благороднаго сословія, обучавшагося въ уѣздныхъ училищахъ и гимназіяхъ, былъ очень незначителенъ, какъ потому, что эти заведенія были открыты для всѣхъ состояній, съ которыми дворянство не хотѣло смѣшиваться, такъ и потому, что въ нихъ нельзя было выучиться французскому языку — не только разговорному, который единственно требовался, но и книжному. Дворянскій сынъ стыдился сидѣть на одной скамейкѣ съ разночинцами, боясь, что они испортятъ его нравственность, научатъ чему нибудь зазорному, но забывая, что для такой науки къ его услугамъ существовала цѣлая дворня и что отъ своего гувернера онъ узнавалъ многое, чего бы никогда не узналъ даже отъ конюха. О настоящемъ изученіи французскаго языка не было ни мысли, ни рѣчи: добивались только настоящаго французскаго выговора — «прононсіи» или «прононса», какъ многіе тогда выражались. Сатирѣ и комедіи легко было собирать обильную поживу съ галломаніи. Сколько встрѣчалось такихъ господъ, и молодыхъ и не молодыхъ, которые не умѣли похристосоваться на родномъ языкѣ! Существовали даже градоначальники, затруднявшіеся въ объясненіяхъ съ подчиненными, которые не говорили по французски. Но смѣшное было только одною стороною предмета; на другой сторонѣ французолюбія выходилъ положительный вредъ.

*

Комизмъ оказывался преимущественно въ среднемъ и низшемъ слояхъ дворянства. Въ самомъ дѣлѣ, легко понять, почему сынъ знатнаго барина объяснялся по французски: ему гораздо легче было говорить на иностранномъ языкѣ, чѣмъ на русскомъ, котораго онъ часто и не зналъ вовсе. Но иностранный языкъ въ устахъ мелкопомѣстнаго владѣльца, который по-русски говорилъ очень хорошо, а по-французски очень дурно, означалъ забавное увлеченіе модой, глупость тщеславія. Понятно также, почему вельможа могъ находить больше удовольствія въ бесѣдѣ съ образованнымъ иностранцемъ, чѣмъ, напримѣръ, съ русскимъ литераторомъ, въ родѣ Кострова или Сумарокова, изъ которыхъ одинъ рѣдко бывалъ трезвъ, а второй ни о чемъ иномъ, «кромѣ своего бѣднаго рифмичества», не говорилъ, и даже за обѣдомъ у наслѣдника престола не умѣлъ держаться съ должнымъ приличіемъ ([1]). Вельможу нельзя было удивить ни Хоревомъ, ни Семирой, если онъ въ Парижѣ видѣлъ представленіе піесъ Корнеля и Расина лучшими въ то время артистами. Но для какой потребы нуженъ былъ французскій разговорный языкъ мелкому помѣщику, которому не приходилось заглядывать даже въ сочиненія Сумарокова и который всю жизнь свою оставался въ провинціи, зрѣвшей его рожденіе? Вредъ французскаго воспитанія простирался особенно на лица высшей знати. Въ этомъ отношеніи, гувернеръ-невѣжда представлялъ меньше опасности, чѣмъ умный и образованный иностранецъ, искусно стремившійся къ своей цѣли. Въ іезуитскомъ пансіонѣ, основанномъ въ Петербургѣ при Александрѣ, учили, можетъ быть, основательнѣе, чѣмъ въ тогдашнихъ русскихъ гимназіяхъ, но въ тоже время онъ былъ не прочь отъ прозелитизма. Зная наизусть католическую обѣдню, иныя дѣти не понимали православнаго богослуженія. Обличенные въ пропагандѣ, іезуиты были высланы сначала изъ столицъ (1815), а потомъ изъ всѣхъ областей Россіи за границу (1820) ([2]). Но случаи прозелитизма, какъ бы они ни были важны, не покрывали собою всего вреднаго вліянія, производимаго иностраннымъ воспитаніемъ. Главное зло состояло въ духовномъ отрѣшеніи русскихъ отъ Россіи, которая не могла ожидать отъ нихъ никакой пользы, и въ легкомысленномъ ихъ отношеніи къ предметамъ первой важности, которое они усвоивали отъ своихъ легкомысленныхъ или завѣдомо

---

[1]) Записки Порошина.

[2]) Le catolicisme romain en Russie, 2 v. Соч. гр. Д. А. Толстаго (10 глава 2-ой части). См. также Некрологъ графа Александра Николаевича Толстаго (Рус. Инвалидъ, 1866, № 212).

дѣйствовавшихъ наставниковъ. «Воспитанный французами дуракъ», по выраженію Воейкова (въ сатирѣ: объ истинномъ благородствѣ, 1806), умѣлъ только тщеславиться своимъ родомъ, но любовь къ отечеству была ему чужда. Кн. Горчаковъ (въ Посланіи къ кн. Долгорукому) тщетно искалъ «русскаго» между молодыми людьми, отраслями истыхъ русскихъ фамилій: онъ видѣлъ въ нихъ преимущественно французовъ. Изъ глубины русской души вырвалось у Пушкина проклятіе его французскому воспитанію. «Съ нравственностію не то дѣлается, что съ естественностію», замѣчаетъ Шишковъ: «курица, высиженная и вскормленная уткою, останется курицею и не пойдетъ за нею въ воду; но русскій, воспитанный французами, всегда будетъ больше французъ, нежели русскій». Въ такомъ французо-руссѣ отечество не найдетъ достойнаго себѣ гражданина, отечественная исторія — уваженія, соотечественникъ — любви. Болѣе и болѣе распространявшееся воспитаніе русскаго юношества иностранцами обратило наконецъ на себя вниманіе правительства. Въ 1811 г. министръ народнаго просвѣщенія, графъ Разумовскій, поднесъ Государю записку касательно частныхъ пансіоновъ, которая удостоилась высочайшаго одобренія. Она показываетъ вредныя дѣйствія обычая, глубоко пустившаго свои корни, и вмѣстѣ постановляетъ мѣры къ ихъ ослабленію: право на открытіе пансіона давать не столько по степени учености лица, сколько по его доброй нравственности; требовать отъ содержателя знанія русскаго языка; преподаваніе наукъ должно быть производимо на языкѣ отечественномъ; пяти-процентный сборъ съ платы за каждаго пансіонера на учрежденіе особыхъ училищъ, въ коихъ будутъ воспитываться дѣти родителей, оказавшихъ отечеству заслуги, а также и дѣти неимущихъ дворянъ (1).

Недовольство иностраннымъ воспитаніемъ, увеличенное деспотическими дѣйствіями Наполеона (2) и нашими съ нимъ войнами, образовало патріотическую литературу, которой голосъ сильно раздавался въ современныхъ журналахъ, стихотвореніяхъ и отдѣльныхъ книгахъ. Въ 1806—1807 напечатано значительное число политическихъ сочиненій, большею частію переведенныхъ съ нѣмецкаго. Содержаніе ихъ вращается въ кругу однихъ и тѣхъ же предметовъ: завоевательной политики Наполеона, уничиженія Германіи и необходимости для нея вступить въ союзъ съ русскимъ монархомъ.

Параллельно съ переводами политическихъ книгъ, шли соб-

---

1) Сѣверная Почта, 1811, № 47 (іюня 14).

2) Нарушеніемъ нейтралитетовъ, казнью герцога энгіенскаго и нюренбергскаго книгопродавца Пальма.

ственно литературныя произведенія, выражавшія патріотическую настроенность въ разныхъ формахъ. Державинъ написалъ нѣсколько одъ, изъ которыхъ только одна (Атаману и войску донскому, 1807) напоминаетъ его прежній талантъ; прочія же показываютъ отсутствіе истиннаго лиризма, замѣненнаго каламбурами и мистическими представленіями. «Пѣснь воиновъ», Карамзина (1806), простѣе смотритъ на дѣло: Бонапартъ называется общимъ злодѣемъ, котораго необходимо низвергнуть, чтобы міръ наслаждался покоемъ. «Пѣснь барда надъ гробомъ Славянъ побѣдителей», Жуковскаго (1806), призывала ко брани и мщенію. Манифестомъ 30 августа 1806 г. обнародавана предстоящая война съ французами; другой манифестъ, 16 ноября, объявилъ начало войны. Повелѣно было сформировать шестьсотъ тысячъ земскаго войска, для подкрѣпленія дѣйствующей арміи и для защиты имперіи. 28 ноября изданъ былъ указъ о высылкѣ изъ Россіи всѣхъ подданныхъ Франціи и нѣкоторыхъ нѣмецкихъ областей, если они не пожелаютъ вступить въ русское подданство, о недозволеніи пропускать ихъ въ Россію безъ паспорта, выданнаго министромъ иностранныхъ дѣлъ. Иностранцамъ предписано было выѣхать изъ столицъ и другихъ городовъ черезъ десять дней по объявленіи указа. Учителя и другія лица, жившіе въ частныхъ домахъ, обязаны были, во первыхъ, дать присягу въ томъ, что они во все продолженіе войны не будутъ имѣть никакого сношенія съ подданными поименованныхъ областей, а вовторыхъ предъявить поручительство лицъ, у которыхъ жили, въ добромъ поведеніи. Преступившіе присягу подвергались строгому наказанію, а съ поручителя взыскивалось 5000 рублей штрафу. На особую коммиссію возложено было приведеніе указа въ дѣйствіе. По этому поводу сочинена была комедія: «Высылка французовъ» (1807), не имѣющая никакого значенія, какъ драма, но любопытная, какъ свидѣтельство образа мыслей многихъ тогдашнихъ людей. Главное лице—французъ Пуазонье, содержатель пансіона и шпіонъ, которому «великая нація» щедро платитъ за доставляемыя свѣдѣнія о Россіи. Онъ открываетъ пiесу слѣдующими словами: «Autant barbare qu' ignorant— вотъ фраза, изображающая народъ русскій. Торжествуй, мое отечество! граждане твои покоряютъ тебѣ народы всего свѣта мечемъ, умомъ, а всего больше приготовляютъ къ тому воспитаніемъ». Съ Пуазонье за-одно мадамъ Грифонъ, бывшая гувернантка, и нѣсколько его соотечественниковъ-аферистовъ, изъ которыхъ одинъ на вопросъ, какъ онъ распорядился по случаю высылки французовъ, отвѣчаетъ: «я присягнулъ: гдѣ интересъ, тутъ моя клятва; нѣтъ его, дымъ и присяга».

За нѣсколько дней до Прейсишъ-эйлаусской битвы сыграна была трагедія Озерова: «Димитрій Донской» (1807). Публика приняла ее съ восторгомъ, находя въ ней явное отношеніе къ современнымъ обстоятельствамъ. Въ Димитріи она видѣла Александра, съ именемъ Мамая соединяла мысль о Наполеонѣ, «дерзостный посолъ надменнѣйшаго хана» напоминалъ ей высокомѣріе французскихъ посланниковъ. Театръ стоналъ отъ рукоплесканій, исторгаемыхъ многими тирадами, а иногда и отдѣльными выраженіями. Съ рѣзкою и смѣлою сатирою выступилъ противъ французскаго вліянія графъ Ѳ. В. Растопчинъ (1763—1826), подъ вымышленнымъ именемъ Силы Андреевича Богатырева, которое за нимъ и осталось, прославленное его бойкимъ, оригинальнымъ перомъ. При извѣстіи объ эйлаусскомъ сраженіи (27 января 1807 г.) написалъ онъ «Мысли въ слухъ на красномъ крыльцѣ» (1807) [1], пріобрѣтшія ихъ автору громкую извѣстность своимъ патріотическимъ содержаніемъ. Тотъ же Богатыревъ выведенъ главнымъ лицемъ въ комедіи Растопчина: «Вѣсти или убитый живой» (1807), сочиненной по случаю нелѣпыхъ толковъ и слуховъ въ-слѣдъ за сраженіемъ при Эйлау. Авторъ и здѣсь сыплетъ жесткими рѣчами. Вотъ какъ отдѣлываетъ онъ новомодныхъ русскихъ барынь и поклонниковъ Франціи:

За что вы губите молоденькихъ дѣвушекъ вашимъ безобразнымъ одѣяніемъ? Эта мерзкая мода обливаетъ любовь и уваженіе холодною водою и вмѣсто того, чтобъ привлекать, гонитъ прочь, и жениховъ ловятъ, какъ бѣглыхъ. Въ старину, и не очень давно, у иной дѣвушки въ мѣсяцъ не увидишь руки безъ перчатки, а нынче воображенію и догадкѣ дѣла нѣтъ. Да прежде сего одѣвались, а нынѣ раздѣваются. Иная ѣдетъ на балъ, какъ модель для живописцевъ; другая изъ отцовскаго дома, какъ изъ кунстъ-камеры: на рукѣ мѣшокъ съ бѣльемъ, все сквозитъ, все летитъ; разъ взглянулъ, точно какъ отъ купели принималъ.

Мать есть примѣръ, покровъ и наставница для дочери. А дочь благовоспитанная есть лучшее украшеніе матери. Но иныя, по несчастію, что нынче дѣлаютъ? притравливаютъ ихъ къ пороку и, теряя свое право, теряютъ и дочерей. Дочь съ матерью точно какъ съ мадамой: обѣ налегкѣ, подъ краской. Дочь мигаетъ, мать моргаетъ: одна танцуетъ, другая вальсируетъ; одна ищетъ женишка, другая пастушка; одна съ ума сходитъ, другая въ себя не приходитъ. Господи помилуй, да будетъ ли этому конецъ!

---

[1]) Подражанія ему: Мысли не въ слухъ у деревяннаго дворца Петра Великаго, или посланіе Силы Сидоровича Правдина къ Силѣ Андреевичу Богатыреву (1807); Мысли для всѣхъ отъ сердца и души, или посланіе украинскаго помѣщика, отставнаго капитана Трифона Сидоровича Правдолюбова къ старому сослуживцу своему и пріятелю Никитѣ Севастьяновичу Праворускому (1813).

Отъ безразсуднаго пристрастія и ослѣпленія къ иностраннымъ мы обращаемся изъ людей въ обезьяны, изъ господъ въ слугъ, изъ русскихъ въ ничто. Этотъ развратъ есть болѣзнь завозная, прилипчивая и иныхъ у насъ обезобразила такъ, что и узнать нельзя. А что я говорю, это правда и для ушей, и для глазъ, и для души: въ семьѣ не безъ урода; да на чтожъ самому себѣ изуродовать и сдѣлаться гадкимъ спискомъ мерзкаго подлинника?

Другимъ тономъ осмѣивается сумасбродное пристрастіе къ французскому языку и вмѣстѣ къ французамъ въ комедіи Крылова: «Урокъ дочкамъ» (1807). Въ ней много забавныхъ сценъ, написанныхъ остроумно, но безъ желчи. Съ меньшимъ знаніемъ мѣры нападалъ на любовь къ иностранному Ѳ. Ивановъ, авторъ многихъ драматическихъ піесъ, изъ которыхъ «Семейство Старичковыхъ или за Богомъ молитва, а за царемъ служба не пропадаютъ» (1808), особенно нравилось посѣтителямъ театра. По отзыву современниковъ, трагедія Крюковскаго: «Пожарскій» (1807) имѣла большій успѣхъ, чѣмъ «Димитрій Донской», можетъ быть потому, что она была играна вскорѣ послѣ военныхъ дѣйствій съ французами, когда каждый намекъ на едва минувшія событія воспринимался живѣе. Въ нѣкоторыхъ стихахъ слышится горесть неудовлетвореннаго чувства народной славы:

О русская земля! отечество драгое!
Узримъ ли время мы опять твое златое?
Заставимъ ли врага, какъ прежде, трепетать?
Коварныхъ замыслы успѣемъ ли попрать?
И водворимъ ли вновь въ сердцахъ доброты рѣдки,
Что завѣщали намъ въ залогъ почтенны предки?

Что же завѣщали намъ предки? Не умѣя цѣнить издѣлій роскоши, русскій умѣлъ карать порокъ и почитать добродѣтель, а теперь— повсюду пагубное вліяніе поляковъ (подъ которыми авторъ разумѣлъ французовъ):

Они и въ сердце намъ разврата ядъ вливаютъ,
И нравы нѣгою постыдной разслабляютъ.
Обычай суетный почто перенимать
И рабски чуждому примѣру подражать?
Не пользу отъ сего, какъ мыслятъ, обрѣтаемъ,
Но русскій духъ въ мѣнѣ толь низкой мы теряемъ.

Тильзитскій миръ понизилъ тонъ патріотической литературы [1],

---

[1]) Напечатавъ по заключеніи тильзитскаго мира отрывки изъ книги: «Разсужденіе объ участіи, пріемлемомъ Россіею въ нынѣшней войнѣ», Вѣстникъ Европы (1807, № 21) выбросилъ рѣзкіе отзывы о Наполеонѣ, на томъ основаніи, что «въ мирное время браниться не надобно».

но не преодѣлъ враждебнаго чувства къ французамъ. Русскій человѣкъ справедливо видѣлъ въ немъ только перемиріе и не вѣрилъ его прочности, зная характеръ Наполеоновой политики. Еще въ 1805 г. С. Глинка предчувствовалъ, что и до Москвы дойдетъ очередь завоеванія; это предчувствіе сдѣлалось потомъ внутреннимъ убѣжденіемъ его души. Ода Державина «на миръ 1807 г.» звучитъ замѣтнымъ недовольствомъ, почему и была напечатана съ измѣненіями; поэтъ, говоря его словами, «радовался съ оглядкою», и нѣкоторые стихи называлъ «предусмотрѣніями». Извѣстный партизанъ въ войну 1812 г., Д. В. Давыдовъ, бывшій очевидцемъ свиданія двухъ монарховъ въ Тильзитѣ (Александра I и Наполеона), оцѣнилъ настоящее значеніе привѣтливости, которою русскіе отвѣчали на заказную привѣтливость французовъ: «двѣнадцатый годъ стоялъ уже посреди насъ, русскихъ, съ своимъ штыкомъ въ крови по дуло, съ своимъ ножемъ въ крови по локоть».

И дѣйствительно, черезъ полгода послѣ тильзитскаго мира, въ 1808 г. С. Глинка основалъ журналъ: «Русскій Вѣстникъ», знаменательный самымъ названіемъ, не только что содержаніемъ. Издатель положилъ своей задачей—возбужденіе народнаго духа согражданъ, вызовъ ихъ къ новой, неизбѣжной борьбѣ съ Наполеономъ. Мысль о предстоящей опасности отечеству была для Глинки предчувствіемъ, убѣжденіемъ и пророчествомъ вмѣстѣ; она обступала его со всѣхъ сторонъ, держала въ постоянной тревогѣ, сосредоточивала на себѣ его умъ, способный отъ природы разсѣеваться безгранично и безцѣльно. Въ своемъ патріотическомъ ей служеніи онъ напоминаетъ тѣ наивныя и безвѣстныя личности, которыя выводились обстоятельствами времени на предназначенное имъ дѣланіе, всецѣльно предавались ему сколько по инстинкту, столько же по сознанному долгу, и совершали то, чего не могли бы совершить сильные и мудрые міра. Кто-то шутя сравнивалъ издателя Русскаго Вѣстника съ Жанной д'Аркъ: въ этой шуткѣ есть доля правды. Заслуга Глинки, какъ литератора, заключается въ томъ, что онъ своевременно возбуждалъ народный духъ русскихъ: послѣ того оставалось ему лишь воспоминать о своихъ трудахъ по этому предмету. Все прочее, имъ написанное (а онъ писалъ очень много), не имѣетъ важности. Онъ могъ бы не являться на литературной сценѣ до «Русскаго Вѣстника» и долженъ былъ сойти съ нея послѣ своихъ «Записокъ» [1]. Событія опредѣлили свойственную ему роль: прошли событія—упразднилась его миссія.

[1] Записки о 1812 г.: Записки о Москвѣ и о заграничныхъ происшествіяхъ отъ исхода 1812 до половины 1815 г.—Болѣе подробныя его записки въ Рус. Вѣстникѣ 1863 № 4, 1865 № 7, 1866 №№ 1—3 и 7.

Объявленіе объ изданіи Русскаго Вѣстника возбудило недоумѣніе. Графъ Растопчинъ назвалъ предпріятіе Глинки отважнымъ, имѣя въ виду съ одной стороны прекращеніе непріязненныхъ отношеній къ Франціи, а съ другой—духъ чужеземства, обуявшій русское дворянство. Но издатель не унывалъ. Безъ гроша денегъ приступилъ онъ къ дѣлу, вѣруя, что «Богъ не безъ милости, а свѣтъ не безъ добрыхъ людей». Графъ Растопчинъ и княгиня Е. Р. Дашкова предложили Глинкѣ свое сотрудничество, которое, однакожъ, скоро прекратилось, по винѣ самого издателя, безъ нужды торопливаго, отличавшагося крайней беззаботностью, необдуманностью и дѣтскимъ невѣдѣніемъ самыхъ обыкновенныхъ житейскихъ отношеній. Въ Русскомъ Вѣстникѣ все было направлено къ одной цѣли—знакомить Русскихъ съ Россіею. Въ противоположность журналамъ, сообщавшимъ свѣдѣнія о Европѣ, онъ наполнялся только тѣмъ, что касалось отечества; объ иностранномъ же упоминалъ не иначе, какъ по отношенію къ отечественному. Издатель пользовался каждымъ случаемъ, чтобы, согласно программѣ, изображать доблести русскихъ настоящаго и преимущественно прошлаго времени, обличать иностранныхъ писателей за ихъ ложныя о насъ мнѣнія и доказывать превосходство своего, роднаго, передъ чужеземнымъ. Излагая мысли по случаю представленія «Ябеды», журналъ защищаетъ старинныхъ судей и старинное правосудіе; на вопросъ переводчика Виргиліевыхъ эклогъ (Мерзлякова), «гдѣ этотъ золотой вѣкъ, эта золотая сторона, въ которой царствовали невинность и правда?» отвѣчаетъ: «онѣ извѣстны были въ Россіи», и дѣлаетъ выписку изъ путешественника Флемминга о простотѣ и счастіи нашихъ поселянъ; разбирая древне-русскія стихотворенія, отыскиваетъ въ нихъ доблестныя черты русскаго народа: любовь къ ближнему, мужество, великодушіе, и пр. Достохвальныя свойства россіянъ вообще, русскихъ бояръ въ частности служатъ предметомъ особыхъ статей. Изъ разныхъ городовъ и селъ корреспонденты журнала доставляли ему свѣдѣнія о замѣчательныхъ проявленіяхъ русскаго духа: братской любви, наслѣдственномъ мужествѣ, рѣшительности и т. п. Въ противодѣйствіе переводнымъ повѣстямъ, Русскій Вѣстникъ печаталъ романы и повѣсти оригинальные, которые постоянно воевали съ французскимъ воспитаніемъ, модами, роскошью. Сочувствуя Шишкову, онъ старался замѣнять иностранныя слова русскими. Поборничество за родную старину нерѣдко увлекало Глинку слишкомъ далеко, вынуждая его сопоставлять такіе предметы, которые не допускали никакого сопоставленія. Такъ, напримѣръ, въ статьѣ: «Зотовъ, наставникъ Петра I», способъ его ученія

«соображается съ правилами Руссо, Кондильяка, Локка и прочихъ писателей о воспитаніи»; другая статья: «Наставленіе Симеона Полоцкаго царю Алексѣю Михайловичу», сличаетъ мысли, въ немъ изложенныя, съ мнѣніями не только Сократа, Платона и Цицерона, но и Декарта, Боссюэта, Вольтера, Дидро. Излишества и крайности направленія были по тогдашнимъ обстоятельствамъ понятны. «Нужно было», говоритъ кн. Вяземскій въ воспоминаніи о Глинкѣ (¹), «воспламенять духъ народный, пробуждать силы его, напоминая о доблестяхъ предковъ, которые также сражались за честь и цѣлость отечества. Нужно было противодѣйствовать духу чужеземства всѣми силами и средствами. Укорительныя слова: «галломанія», «французолюбіе», бывшія тогда въ употребленіи, имѣли полное значеніе. Ими стрѣляли не въ воздухъ, а въ прямую цѣль. Надлежало драться не только на поляхъ битвы, но воевать и противъ нравовъ, предубѣжденій, малодушныхъ привычекъ. Европа «онаполеонилась». Россіи, прижатой къ своимъ степямъ, предлежалъ вопросъ: «быть или не быть», т. е. слѣдовать за общимъ потокомъ и поглотиться въ немъ, или упорствовать до смерти или до побѣды? Перо Глинки, первое на Руси, начало перестрѣливаться съ непріятелемъ. Онъ не заключалъ перемирія даже въ тѣ роздыхи, когда русскіе штыки отмыкались, уступая силѣ обстоятельствъ и выжидая новаго вызова къ дѣйствію.... Мнѣнія, имъ оглашаемыя, и отзывъ, который они встрѣчали въ массѣ читателей, не могли ускользнуть отъ неусыпнаго, безпокойнаго и ревниваго деспотизма Наполеона. Французскій посолъ Коленкуръ жаловался нашему правительству на непріязненный духъ Русскаго Вѣстника» (²).

Русскій Вѣстникъ былъ дѣйствительно своего рода силою, благодаря дарованію издателя угадывать духъ народный, «который всего торжественнѣе высказывается въ годину рѣшительнаго подвига», и направлять его къ извѣстной цѣли; понятнымъ для большинства словомъ возбуждать чувство любви къ отечеству, а если оно уже возбуждено, поддерживать его въ уровень событіямъ; русскимъ сердцемъ давать вѣсть русскимъ сердцамъ или откликаться на ихъ голосъ; «при возстаніи душъ дѣйствовать на нихъ силою нравственной, при которой нѣтъ надобности въ

---

¹) С. Петербургскія Вѣдомости, 1847, №№ 277 и 278.

²) Французское посольство указывало на статью о тильзитскомъ мирѣ. Во вниманіе къ его жалобѣ, цензору журнала, профессору Мерзлякову, сдѣланъ былъ выговоръ, а издатель, по политическимъ обстоятельствамъ, уволенъ отъ московскаго театра, гдѣ состоялъ на службѣ. Но журналъ нашли нужнымъ сохранить (Записки С. Н. Глинки, Рус. Вѣст. 1865, іюль).

сотняхъ тысячъ рублей». Вотъ мѣсто, занятое Глинкою съ 1808 года. Не онъ искалъ его: безъ его домогательствъ «оно было ему указано необычайными обстоятельствами, съ которыми онъ шелъ на ряду». Глинка, какъ онъ самъ говоритъ, «жилъ среди народа и жизнію народной». Онъ умѣлъ толковать съ нимъ и для него; «непрестанное присутствіе его на площадяхъ, на рынкахъ, на улицахъ московскихъ сроднило съ нимъ взоры, сердца и мысли московскихъ обывателей». Духъ народа признаетъ своимъ вождемъ того, кто самъ, безусловно и непосредственно, проникнутъ этимъ духомъ. И потому-то на Поклонной горѣ, въ ожиданіи прибытія Государя (1812), тысячи голосовъ воскликнули Глинкѣ: «ведите насъ!» и тысячи людей двинулись за нимъ по одному слову: «впередъ»! Потому-то нѣкоторые воспитанники московскаго университета, юноши-патріоты, являлись къ нему, въ томъ же 1812 г., съ просьбами содѣйствовать ихъ усердію: «вашъ Русскій Вѣстникъ», говорили они ему, «воспламенилъ нашъ духъ; помогите намъ жертвовать собою отечеству». Искренняя дѣятельность Глинки мирила съ нимъ литературныхъ его противниковъ, другаго образа мыслей по всѣмъ другимъ предметамъ, но одного и того же понятія о необходимости воевать перомъ съ посягателями на честь и независимость народа. По тому же близкому и живому соотношенію съ публикой, Русскій Вѣстникъ получалъ изъявленія благодарности отъ многихъ жителей провинцій и пріобрѣлъ извѣстную степень политическаго значенія. Съ 1812 г., когда «жизнь сдѣлалась послѣднимъ условіемъ» горячаго патріота, Глинка становится виднымъ общественнымъ дѣятелемъ: онъ первый записался ратникомъ въ московское ополченіе, получилъ Владиміра 4-ой степени «за любовь къ отечеству, доказанную сочиненіями и дѣяніями» и 300,000 руб. экстраординарной суммы, которою могъ распоряжаться по усмотрѣнію. Государь возложилъ на него особыя порученія, по которымъ онъ былъ долженъ совѣщаться съ московскимъ главнокомандующимъ, графомъ Растопчинымъ. Эти порученія состояли въ томъ, чтобы успокоивать умы московскихъ жителей, внушать имъ единомысліе и осторожность, предостерегать отъ смятенія и робости. Для характеристики Глинки достаточно сказать, что триста тысячъ руб. остались въ казнѣ сполна: онъ не истратилъ изъ нихъ ничего, будучи убѣжденъ, что «для русскаго сердца достаточно силы слова, идущаго отъ души». Въ это время Русскій Вѣстникъ получилъ еще большее дѣйствіе. «Онъ облекся въ плоть и кровь», говоритъ кн. Вяземскій. «Одно заглавіе его было уже знамя. Глинка перенесъ свою литературу на площадь. Онъ попалъ на свою колею. Онъ былъ рожденъ народнымъ три-

буномъ, но трибуномъ законнымъ, трибуномъ правительства. Онъ умѣлъ по православному говорить съ православными. Рѣчами своими онъ успокоивалъ и ободрялъ народъ».

Недолговременна была красная пора журнала Глинки. «Бѣдный мой Русскій Вѣстникъ упадалъ», говоритъ онъ печально въ своихъ «Запискахъ». Я началъ прибавлять къ нему «Дѣтское Чтеніе», но и это предпріятіе мало имѣло хода. Если время приготовляетъ зданіе къ неизбѣжному паденію, тогда тщетны всѣ подмостки. Такъ случилось и съ Русскимъ Вѣстникомъ. Вызовы Минина, Пожарскаго и другихъ старожиловъ лѣтописей нашихъ утомляли слухъ. Духъ времени требовалъ освѣженія». Фактъ вѣрно разсказанъ, но объясненіе его только на-половину вѣрно. Не одно время здѣсь виноватаго. Конечно, съ прекращеніемъ обстоятельствъ, вызвавшихъ извѣстную дѣятельность, ослабѣваетъ и возбужденный ею интересъ; однакожъ зданіе можетъ стоять долго, если оно построено искуснымъ архитекторомъ, который кромѣ того отпускаетъ на его поддержку достаточный матеріалъ. У Глинки не было ни строительнаго искусства, ни способности выдерживать достойное направленіе. Въ печати онъ отличался такою же торопливостью, какъ и въ разговорѣ. Онъ, такъ сказать, писалъ походя, какъ иные походя ѣдятъ. Его скороговореніе и скорописаніе вошли въ пословицу. А при спѣшной работѣ некогда вдумываться въ предметъ, находить его тонкіе признаки, цѣнить и взвѣшивать правильно. Не ощупью ступалъ онъ, какъ замѣчено однимъ изъ тогдашнихъ журналовъ, а бѣгомъ бѣгалъ онъ «въ темныхъ переходахъ оружейной палаты нравственныхъ русскихъ сокровищъ». Соображеніе уроковъ Зенона съ правилами Локка и Руссо, сличеніе наставленій Полоцкаго съ мыслями Декарта, Вольтера и Дидро суть не что иное, какъ сужденія на авось, выводы съ плеча. Они не далеко ушли отъ тѣхъ, которые сатира Воейкова придумала въ духѣ Глинки, а именно, что Расинъ укралъ Гоѳолію изъ Стоглава, а въ Андромахѣ подражалъ «Погребенію кота». Ни одинъ образованный читатель не могъ мириться съ подобными литературными странностями. Чувство національнаго достоинства всегда важно, и въ эпоху предстоящей отечеству опасности оно получаетъ особенное значеніе; но противоположеніе отечественнаго чужеземному въ благопріятномъ для народной гордости свѣтѣ тогда только достигаетъ цѣли, когда благопріятное въ то же время истинно, а не сочинено. Глинка, разумѣется, не выдумывалъ, но онъ часто думалъ видѣть то, чего на самомъ дѣлѣ не было. И въ другихъ работахъ онъ оставался вѣренъ своему темпераменту. Все у него дѣлалось на живую нитку. Русскую исторію писалъ онъ

шутя, по отзыву его пріятелей. Самъ онъ откровенно сознается, что и въ глаза не видалъ тѣхъ книгъ, на которыя ссылался въ подкрѣпленіе гипотезы о родствѣ славянъ съ руссами, а цитировалъ изъ нихъ мѣста по выпискамъ, приведеннымъ въ другихъ сочиненіяхъ. Кромѣ того, въ этой Исторіи, похвалы прошлому русскому переступали всякое чувство мѣры, такъ что, по выраженію Н. Полеваго, даже Святополкъ Окаянный, какъ онъ представленъ Глинкой, заткнетъ за поясъ любаго героя добродѣтели. Удивляться ли послѣ этого, что съ 1813 г. Русскій Вѣстникъ отошелъ въ сторону, уступивъ свое мѣсто «Сыну Отечества», основанному Н. Гречемъ въ 1812 г.? Знаменемъ этого журнала былъ также патріотизмъ, но издатель умѣлъ сообщить ему и литературный интересъ. Неудивительно также, что Русскій Вѣстникъ имѣлъ противниковъ. Они возставали не противъ основнаго начала журнала: здѣсь не могло быть разномыслія, а противъ исключительности убѣжденія, которое само по себѣ не подлежало ни сатирѣ, ни критикѣ, противъ крайняго понятія о національности. Одни изъ литераторовъ, не касаясь журнальнаго направленія, смѣялись надъ странностями и промахами Глинки. Другихъ оскорбляло «сомнѣніе Глинки въ любви русскихъ къ отечеству, грозившее сдѣлаться какъ бы заразительною болѣзнію». Для третьихъ (и эти смотрѣли на дѣло серьезнѣе) литературное старообрядство Глинки противорѣчило ходу отечественной цивилизаціи, возможной только при тѣснѣйшемъ сближеніи съ Европою. Въ своихъ упрекахъ защитникамъ исключительно-русскаго направленія они были руководимы также патріотизмомъ, который требовалъ вести Россію по пути общечеловѣческаго, европейскаго образованія. Подъ вліяніемъ этой мысли Цвѣтникъ представилъ, какъ Глинка, сначала обогрѣвшись на солнцѣ, которое Петръ I возжегъ на русскомъ небѣ, потомъ внезапно и добровольно бросился въ болото, изъ котораго преобразователь вытащилъ наше общество. По поводу драмы Глинки: «Мининъ», издатель Вѣстника Европы замѣтилъ, что авторъ ея пишетъ «для двуперстнаго сложенія и мучныхъ лавокъ».

Кромѣ «Мыслей въ слухъ на Красномъ крыльцѣ» и комедіи «Вѣсти или убитый живой», гр. Растопчинъ написалъ повѣсть: «Охъ, французы!» (1). Цѣль ея таже, что и прежнихъ сочиненій— возбудить національное чувство Русскихъ, отчужденныхъ иностраннымъ воспитаніемъ отъ отечества. Одаренный необыкновенными способностями, Растопчинъ былъ проникнутъ ненавистью къ чуждымъ вліяніямъ на современное ему общество. Онъ преслѣдовалъ

---

1) Нап. въ 10 № Отеч. Записокъ 1842 г.

не одно ослѣпленіе родителей, ввѣрявшихъ молодое племя руководству французовъ, но и всю систему веденія дѣлъ, оффиціальныхъ и неоффиціальныхъ, когда замѣчалъ, что она идетъ въ сторону отъ чисто-русскаго направленія (1). По званію московскаго главнокомандующаго (1812—1814) онъ обнаружилъ и рѣзкія отличія своего характера, о которомъ здѣсь не мѣсто говорить, и умѣнье, въ исключительную годину, дѣйствовать не только административными распоряженіями, но и словомъ къ народу. Если оригинально-умныхъ рѣчей его заслуживались самые умные и образованные люди, то «растопчинскія» афишки (1812) принадлежатъ къ замѣчательнымъ произведеніямъ. Растопчинъ не былъ записнымъ литераторомъ; онъ принимался за перо только въ особенныхъ случаяхъ, когда явное или тайное нашествіе враждебной намъ силы требовало воззваній къ національному чувству. Но живой, бойкій языкъ, не стѣсненный рутинерствомъ, мѣткое и рѣзкое остроуміе, своеобразность колкой и желчной сатиры ставятъ его въ число оригинальныхъ писателей нашихъ. Онъ, какъ говорится, не ходилъ въ карманъ за словомъ и не чувствовалъ ложнаго стыда, если слово являлось крупное, подъ пару его крупной мысли. Легко предугадывать, что бы изъ него вышло, еслибъ онъ посвятилъ себя исключительно литературѣ (2).

Необходимо также сказать нѣсколько словъ о коллекціи каррикатуръ, которыя въ 1812 г. выходили въ Петербургѣ. Она заключаетъ въ себѣ гравюры иглою (черныя и большею частію иллюминованныя), гравюры подъ карандашъ и гравюры aqua tinta, съ замысловатыми, весьма часто въ народномъ духѣ сложенными подписями. Сюжетами ихъ служатъ событія и анекдоты отечественной войны, по разсказамъ журналовъ, въ особенности Сына Отечества. Большинство картинокъ принадлежитъ талантливому скульптору Ивану Ивановичу Теребеневу, умершему въ молодыхъ лѣтахъ (1815). Кромѣ Теребенева, занимался составленіемъ подобныхъ же картинокъ Иванъ Алексѣевичъ Ивановъ († 1848), инспекторъ рисовальныхъ классовъ въ Академіи художествъ, извѣстный по рисункамъ къ роскошнымъ изданіямъ басенъ Хемницера и Крылова, и Алексѣй Гавриловичъ Венеціановъ, отецъ живописи русскаго

---

1) Воротясь изъ Владиміра въ столицу, по выходѣ изъ нея французовъ, Растопчинъ, въ письмѣ къ одному пріятелю, иронически замѣтилъ, что теперь министръ финансовъ и другіе его товарищи, вѣроятно, примутся за «русскія» дѣла (Письма Растопчина къ Д. И. Киселеву, въ 12 № Рус. Архива 1863 г.).

2) Растопчинъ и французскимъ языкомъ владѣлъ такъ же мастерски, какъ русскимъ. Его «mes mémoires ou moi au naturel écrits en dix minutes» такъ оригинальны, что въ переводѣ теряютъ половину своей прелести.

бита († 1846). Гравюры расходились въ большомъ количествѣ, служа средствомъ или для осмѣянія врага, или для возбужденія къ нему ненависти. Чтобы познакомить съ этимъ проявленіемъ патріотическаго духа, беремъ изъ коллекціи нѣсколько картинокъ. Подъ одной изъ нихъ: *Вороній супъ* (¹) подписаны стихи:

Бѣда намъ съ великимъ нашимъ Наполеономъ!
Кормилъ насъ въ походѣ изъ костей бульономъ.
Въ Москвѣ попировать свистѣлъ у насъ зубъ:
Не тутъ-то! похлебаемъ же хоть вороній супъ.

Другая представляетъ Наполеона и его воиновъ въ снѣгу по грудь. Двое маршаловъ спрашиваютъ его: какъ прикажете написать въ бюллетенѣ?—Пишите (отвѣчалъ онъ): остановились на зимнихъ квартирахъ. Заглавіе третьей: *Русскій ратникъ домой возвращаясь*. На ружейномъ стволѣ висятъ три француза, двое другихъ воткнуты на штыкѣ; сынъ ратника, мальчикъ лѣтъ четырехъ, ѣдетъ верхомъ на французскомъ знамени; внизу слова ратника, идущаго за сыномъ съ ружьемъ на плечѣ: «для курьезу ребятишкамъ бирюлекъ принесъ». Четвертая: *Крестьянинъ Иванъ Долбила кладетъ вилами французовъ на возъ!* съ подписью: «вотъ и вилы тройчатки пригодились убирать да укладывать; ну, мусье, полно вздрагивать». Пятая: *Французы голодныя крысы въ командѣ у старостихи Василисы*. Старостиха на конѣ; двое плѣнныхъ французовъ становятся передъ нею на колѣни, а третьяго старуха ведетъ на веревочкѣ. Въ подписи слова старостихи:

Добрыхъ людей
Да званыхъ гостей
Съ честію у насъ встрѣчаютъ
И въ передній уголъ сажаютъ,
А незваныхъ нахаловъ,
Грабителей басурмановъ
Съ безчестьемъ прогоняютъ
И кулакомъ провожаютъ.
Знать вы въ Москвѣ-то не сладко похлебали,
Что хуже прежняго и тощѣ стали,
А кабы занесло васъ въ Питеръ,
Онъ бы вамъ всѣ бока повытеръ.

Шестая: Наполеонъ и его маршалъ пляшутъ въ присядку, подъ пѣсню: «Ахъ, скучно мнѣ на чужой сторонѣ». Одинъ русскій крестьянинъ постегиваетъ маршала плетью, а другой—Наполеона розгой, приговаривая (въ подписи):

¹) Тотъ же самый сюжетъ разсказанъ въ баснѣ Крылова: Ворона и Курица.

И мы твою, братъ, слышали погудку:
Въ присядку пойдашь теперь подъ нашу дудку (1).

Наконецъ седьмая: *Консиліумъ*. На сценѣ два доктора. Одинъ изъ нихъ, щупая у Наполеона пульсъ и голову, передаетъ другому симптомы и вмѣстѣ причины болѣзни: «Языкъ бѣлехонекъ (въ наказаніе за то, что много лгалъ въ бюллетеняхъ).—Пульсъ едва бьется! (отъ чрезмѣрнаго кровопусканія).—Голова въ страшномъ жару (отъ того, что не удались сумасбродные планы)».—Наполеонъ замѣчаетъ: «Надобно скорѣе убираться въ Парижъ. Видно въ Россіи климатъ мнѣ не благопріятствуетъ».

При чтеніи своего «разсужденія о любви къ отечеству» (1812), Шишковъ имѣлъ передъ собою хотя многочисленную, но избранную публику. Его слово получило высшее и обширнѣйшее дѣйствіе, когда онъ былъ назначенъ статсъ-секретаремъ при императорѣ Александрѣ въ отечественную и заграничную войны. Вся Россія внимала въ это время манифестамъ, грамотамъ, рескриптамъ, приказамъ по арміи и другимъ извѣщеніямъ, выходившимъ изъ подъ его пера (2). Не ему, конечно, принадлежало содержаніе того, что доводилось до всенароднаго свѣдѣнія, но внушаемое свыше онъ проводилъ въ своей рѣчи, въ которой нельзя не видѣть духа вѣры и патріотизма, непреклоннаго сопротивленія врагу, христіанской покорности провидѣнію и христіански великодушнаго пользованія успѣхами. Если изъ двухъ лицъ, Карамзина и Шишкова, имѣвшихся въ виду для занятія мѣста государственнаго секретаря, Александръ остановился на послѣднемъ, то это предпочтеніе было ему оказано по основательнымъ причинамъ. При тогдашнихъ обстоятельствахъ, перо Шишкова оказывалось болѣе сподручнымъ. Какъ литераторъ, онъ, конечно, стоялъ ниже Карамзина, но въ воззваніяхъ къ народу литературная обработка рѣчи занимаетъ не первое мѣсто. Языкъ Шишкова, образованный на духовныхъ и старинныхъ книгахъ, слышнѣе, непосредственнѣе доходилъ до большинства грамотныхъ и неграмотныхъ. Съ перваго же раза чувствовался въ немъ голосъ русскаго книжника, крѣпкаго родной старинѣ, не разъединеннаго съ нею чужеземными новизнами,—голосъ искренній и твердый, хотя не блистающій особенными красотами. Стихи А. Пушкина:

Сей старецъ дорогъ намъ: онъ блещетъ средь народа
Священной памятью двѣнадцатаго года,

поэтически и вѣрно выражаютъ историческую заслугу Шишкова.

---

1) Пѣсня: «За горами, за долами, Бонапарте съ плясунами», сочиненная Ковалинскимъ, сдѣлалась народною.

2) Собраніе ихъ издано Шишковымъ въ 1816 г.

«Бесѣда любителей русскаго слова» (1811—1816) съ своей стороны трудилась надъ распространеніемъ мысли о томъ, какъ вредна подражательность и какъ важно самобытное развитіе. Хотя она поставила себѣ задачей «обогащать и возвышать родную словесность красотами священнаго и народнаго языка», но уже изъ понятія ея членовъ о неразрывной связи языка съ общественною нравственностью было очевидно, что, говоря объ одномъ предметѣ, они не могли не касаться и дѣйствительно касались другаго. Въ «Чтеніи», издававшемся Бесѣдою ([1]), не мало статей, направленныхъ къ прославленію и оборонѣ всего русскаго, къ отраженію не-русскаго. Статья Филатова «о несправедливомъ сужденіи иностранныхъ писателей о Россіи», опровергаетъ мнѣніе историковъ, въ особенности Кондильяка и Миллота, которые на русскихъ до XVIII вѣка смотрѣли какъ на дикирей, живущихъ въ первобытномъ состояніи. Она доказываетъ, что въ Россіи до Петра существовали уже законы, воинство, торговля, словесность, художества. «Краткое начертаніе о славянахъ и славянскомъ языкѣ» (Д. Ворѳнова) зашло въ своихъ гипотезахъ слишкомъ отважно и далеко. Изъ мысли о языкѣ, какъ отпечаткѣ жизни и нравственныхъ силъ народа, авторъ выводитъ, что «славяне, наши предки, долженствовали быть и дѣйствительно были народъ могущественный и твердый, ибо въ языкѣ его вездѣ открываемъ отличительныя свойства силы, твердости и богатства, а сіе также убѣждаетъ вѣрить, что онъ могъ быть господствующимъ въ Европѣ, особливо въ такое время, когда могущество славянъ нерѣдко потрясало основанія константинопольскаго престола и когда римская имперія готова была низринуться въ пропасть со степени прежняго своего величія». «Письмо въ Бесѣду» ([2]) есть переводъ (вѣроятно псевдопереводъ) рѣчи одного жителя Помераніи, доктора Пуфа, къ своимъ одноземцамъ, восхваляющей «грубыхъ Поморцевъ или Поморянъ» за то именно, что они грубы, т. е. не усвоили чужихъ нравовъ и остались настоящими нѣмцами. «Что такое мы были?» спрашиваетъ авторъ? «Мы были, когда все наводнено было чужеземцами, истые нѣмцы.... Покуда мы отечество свое любить и нравы свои сохранять будемъ, до тѣхъ поръ не перестанемъ, гдѣ бы мы ни были, быть поморянами, по пословицѣ: хоть въ Римѣ будемъ, а все будемъ поморяне». Басня Крылова «Червонецъ» (1812) выставляетъ вредъ наружно-европейской образованности, подъ кото-

[1]) Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова, 19 книжекъ (1811—1815). Вторая книжка раздѣлена на двѣ части.

[2]) Чтеніе, кн. 19 (1815).

рою многіе разумѣютъ «прельщеніе роскоши и развратъ». Ложная образованность, говорится въ нравоученіи басни, снимая грубую кору съ людей, ослабляетъ ихъ духъ, портитъ нравы, разлучаетъ съ естественной простотой, сообщаетъ имъ мишурный блескъ и вмѣсто славы навлекаетъ на нихъ безславье.

Дѣйствія Шишкова и его послѣдователей произвели ли желаемое дѣйствіе, или были голосомъ вопіющихъ въ пустыни? Отказалось ли русское общество отъ подражанія французамъ, даже послѣ 1812 года? Если дѣло идетъ объ иностранномъ воспитаніи юношества, на что въ особенности и нападалъ Шишковъ, то современники отвѣчаютъ отрицательно. Вотъ что сказано въ журналѣ Амфіонъ (1815) по случаю разсказа о какой-то Софіи, отказавшей своему жениху, русскому офицеру, и вышедшей замужъ за француза, спасеннаго этимъ офицеромъ при Тарутинѣ: «Казалось бы, что послѣ недавнихъ происшествій поклоненіе французамъ должно исчезнуть. Иные думаютъ, что ему надлежало даже обратиться въ вѣчную народную ненависть. Это правда. Но, къ сожалѣнію, тѣже мадамы и тѣже гувернеры опять приняты учителями въ тѣ самые домы, которые были разграблены руками сихъ учителей» (1). Мы увидимъ, что сатирѣ и комедіи суждено будетъ снова преслѣдовать неисправимое обезьянство русскихъ, отсутствіе въ нихъ народнаго любочестія и духа независимости. А съ другой стороны, лѣтъ черезъ шесть послѣ отечественной войны начали раздаваться иные голоса, осуждавшіе, во имя достойныхъ началъ, слѣпую ненависть къ иностранцамъ, которая, какъ крайность, сходится съ другою крайностью—слѣпою любовью ко всему иностранному.

§ 11. Одновременно съ «охранительнымъ» направленіемъ внутренней политики, выразителемъ котораго былъ Карамзинъ и въ «Исторіи», и въ «Запискѣ о древней и новой Россіи» и образцомъ котораго, по мнѣнію того же лица, служила правительственная мудрость Екатерины II, развивалось другое, ему противоположное—«творческое» (какъ назвалъ его Карамзинъ), то есть прогрессивное, въ либеральномъ духѣ. Починъ въ этомъ дѣлѣ принадлежалъ самому правительству, почему «охранители» и смотрѣли на его реформы, какъ на отступленіе отъ заявленнаго въ манифестѣ обѣщанія — царствовать по духу Екатерины Великой. За правительствомъ, по открытому имъ пути, пошли общество, въ лицѣ болѣе развитыхъ своихъ членовъ, и литература, исполняющая двоякую роль: роль провозвѣстницы идеальныхъ стремленій и роль выразительницы той, большей или меньшей, степени въ

---

(1) Амфіонъ, № 1.

достиженія идеаловъ, на которой стоитъ общество въ извѣстную эпоху.

Исторія царствованія императора Александра I показываетъ, что, при самомъ восшествіи на престолъ, онъ приступилъ къ реформамъ различныхъ частей управленія, находя состояніе этихъ частей не соотвѣтственнымъ потребностямъ времени. Одною изъ главныхъ и постоянныхъ его заботъ было освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Къ постепенному улучшенію ихъ быта клонились первыя правительственныя мѣры. Всѣмъ свободнымъ состояніямъ, не исключая и казенныхъ крестьянъ, дано право пріобрѣтать на свое имя недвижимую собственность; крестьяне могли быть увольняемы на добровольныхъ условіяхъ съ ихъ помѣщиками; въ 1804 г. утверждено положеніе о лучшемъ устройствѣ лифляндскихъ крестьянъ. Чтобы сильнѣе подвинуть указанныя мѣры, государь изъявлялъ особенное благоволеніе лицамъ, внявшимъ его желанію. Благоволеніе должно было свидѣтельствовать, «сколь сіе похвальное дѣяніе (увольненіе крестьянъ) пріятно сердцу его величества» (1). Періодическія изданія министерства внутреннихъ дѣлъ: Санктпетербургскій журналъ (1804—1809) и Сѣверная почта (1809—1820) были первымъ проявленіемъ правительственной гласности: они знакомили публику съ дѣятельностью министерства, особенно поставляя на видъ слѣдствія указовъ, которыми, на основаніи свободы и собственности, устраивается благоденствіе крестьянъ. Правительственные органы печати сознательно допускали оглашеніе мѣръ, предначертанныхъ или дѣйствующихъ, съ обозначеніемъ выгодъ, которыя могутъ принести первыя и которыя уже принесены вторыми. Въ статьѣ «О пользѣ просвѣщенія», переведенной изъ Бентама (2) указана польза «публичныхъ бумагъ» (печатнаго слова): «помощію ихъ всего удобнѣе руководствовать общее мнѣніе; помощію ихъ просвѣщеніе нисходитъ отъ правительства къ народу или восходитъ отъ народа къ правительству. Чѣмъ болѣе въ нихъ свободы, тѣмъ лучше можетъ сіе послѣднее видѣть направленіе общаго мнѣнія и тѣмъ надежнѣе можетъ оно дѣйствовать». Чтобы возбудить въ обществѣ интересъ къ тѣмъ знаніямъ, которыя непосредственно относились къ совершеннымъ или ожидаемымъ преобразованіямъ, положено было заняться переводомъ капитальныхъ

---

1) Сѣверная почта 1811, № 59, въ извѣстіи о пожалованіи полтавскому помѣщику Сахновскому Владиміра 3-й степени, который повелѣно было генералъ-губернатору вручить при особомъ рескриптѣ въ собраніи дворянъ.

2) С.-п.-б. журналъ 1804 кн. 2, второй отдѣлъ, назначенный для разсужденій и переводовъ касательно предметовъ управленія.

сочиненій политическихъ и политико-экономическихъ, о чемъ государь извѣщалъ своего воспитателя Лагарпа, вскорѣ по вступленіи на престолъ. Такимъ образомъ явились на русскомъ языкѣ: «Разсужденіе о преступленіяхъ и наказаніяхъ, Беккаріи» (1803), «Разсужденіе о гражданскомъ и уголовномъ законоположеніи, Бентама» (1805 — 1811), «О существѣ законовъ, Монтескье» (1814) (¹), «Изслѣдованіе свойства и причинъ богатства народовъ, Адама Смита» (1803—1806), «Политическая экономія или о государственномъ хозяйствѣ, Верри» (1810). Бентамъ пользовался особеннымъ авторитетомъ: многія статьи изъ его сочиненій переводились для неоффиціальнаго отдѣла С.-петербургскаго журнала; кромѣ того, мы входили съ нимъ и въ особенныя сношенія (²). Знакомство съ ученіемъ Адама Смита вмѣнялось въ достоинство, какъ знакъ отлично образованнаго, передоваго человѣка (³). Указы 1801 и 1803 г. вызвали замѣчательныя по тому времени сочиненія. Одно изъ нихъ есть философско-политическая диссертація объ освобожденіи крестьянъ въ Россіи, написанная на степень доктора и напечатанная въ Геттингенѣ (⁴), гдѣ ея авторъ, Андрей Кайсаровъ, слушалъ лекціи университетскихъ профессоровъ. Цѣль этого труда — показать всѣ выгоды, которыя произойдутъ отъ уничтоженія крѣпостнаго права для самихъ освобожденныхъ и для государства вообще, — выгоды относительно личнаго значенія крестьянъ, земледѣлія, народонаселенія, торговли, промышленности, образованія. Въ заключеніи авторъ касается способа освобожденія крестьянъ, находя, что оно должно совершиться не вдругъ, а постепенно, съ разумной къ нему подготовкой. Второе сочиненіе вышло изъ-подъ пера польскаго графа Стройновскаго: «О условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами» (1809). Одна изъ его главъ развиваетъ ту же мысль, что и Кайсаровъ, то есть, что въ тѣхъ странахъ, гдѣ крестьяне получили личную свободу и собственность, образованіе преуспѣваетъ, народонаселеніе увеличивается, земледѣліе улучшается, изобиліе и богатство возрастаютъ. Вопросы и сужденія о крѣпостномъ правѣ, равно какъ и о другихъ предметахъ подобнаго рода не подвергались стѣсненіямъ,

---

¹) Переводы напечатаны по повелѣнію государя и посвящены его имени.

²) Ст. г. Пыпина: «Русскія отношенія Бентама» (В. Евр. 1869, февраль и апрѣль).

³) Письмо Карамзина къ Дмитріеву, 6 іюля 1817.

⁴) De manumittendis per Russiam servis, 1806. Кайсаровъ убитъ въ Бородинскомъ сраженіи. Выборомъ ученыхъ занятій и намѣреніемъ посвятить себя профессорской дѣятельности онъ былъ какъ бы исключеніемъ изъ дворянъ, которые смотрѣли на подобную карьеру, какъ на низкую, недостойную ихъ сословія.

на основаніи цензурнаго устава (1804 г.), которымъ было разрѣшено изслѣдованіе всякой истины, «относящейся до гражданскаго состоянія, законоположенія, управленія государственнаго, или какой-бы ни было отрасли управленія» (§ 22). Редакція С.-Петербургскаго журнала приглашала читателей сообщать ей сочиненія, до предметовъ управленія касающіяся.

Съ 1809-го года начинается второй, усиленный періодъ внутреннихъ преобразованій, который долженъ былъ различныя административныя мѣры привести къ органическому единству, завершить ихъ общимъ уложеніемъ, такъ чтобы всѣ части управленія дѣйствовали согласно однѣ съ другими. Устройство всей государственной системы имѣло цѣлію водворить строгій порядокъ, замѣнить произволъ законностью, обязать извѣстною отвѣтственностью тѣхъ, которымъ ввѣрялось управленіе, обезпечить общественные интересы и права каждаго, поставивъ ихъ въ зависимость отъ учрежденій, а не отъ лицъ. Выполненіе этой задачи, по мысли государя, возложено было имъ на Сперанскаго, первый и главный трудъ котораго состоялъ въ окончательномъ образованіи государственнаго совѣта и въ постановкѣ отношеній къ нему министерствъ и сената [1]. Тѣмъ же государственнымъ дѣятелемъ была выработана мѣра, сильно подвинувшая высшее образованіе: указъ 1809 г. даровалъ большія служебныя преимущества лицамъ, кончившимъ университетскій курсъ, сравнительно съ тѣми, которые не были въ университетѣ и которымъ для пріобрѣтенія такихъ же правъ слѣдовало выдержать особо-установленный экзаменъ. Этою мѣрою дворянство, пренебрегавшее высшимъ ученіемъ ради скорѣйшаго поступленія на службу, принуждено было помириться съ тою истиной, что несравненно полезнѣе провести годы преждевременнаго служенія въ той школѣ, которая готовитъ серьезныхъ гражданъ.

За окончаніемъ войнъ съ Наполеономъ наступилъ третій періодъ въ томъ направленіи, которое было проложено самимъ правительствомъ. На защиту отечества вооружились всѣ русскіе безъ различія, какъ лучшіе по уму и образованію, между которыми находилось много литераторовъ, такъ и необразованные. Для тѣхъ и для другихъ, особенно для первыхъ, не могло пройти безплодно ихъ непосредственное знакомство съ Европой вообще, съ Франціей въ особенности. Отсюда вынесли они понятія о новыхъ учрежденіяхъ, которыя даны были этой странѣ по настойчивому желанію

[1]) Сперанскій и его государственная дѣятельность, Ѳ. Дмитріева (Рус. Архивъ 1868).

императора Александра. Возвратясь въ отечество, они и въ разговорахъ и печатнымъ словомъ распространяли усвоенные ими взгляды и понятія, относящіеся къ сферѣ государственнаго и гражданскаго устройства. Политика заняла первое мѣсто въ ихъ бесѣдахъ, какъ прежде, въ эпоху Екатерины II, занимала умы философія энциклопедистовъ. Къ именамъ Адама Смита и Бентама присоединились имена Бенжаменъ-Констана и другихъ публицистовъ, принявшихъ на себя политическое воспитаніе французскаго народа. Военное сословіе не только не отдалялось отъ такого настроенія, но обнаружило его даже прежде другихъ, такъ какъ заключало въ своей средѣ не малое число образованныхъ и литературныхъ силъ. Въ 1816 г., въ помѣщеніи гвардейскаго штаба, положено было основаніе библіотеки, гдѣ офицеры могли заниматься чтеніемъ отборныхъ и полезныхъ книгъ. Вмѣстѣ съ этимъ, по соизволенію государя, образовалось «общество военныхъ людей», которое въ теченіи трехъ лѣтъ (1817 — 1819) издавало Военный журналъ. Въ торжественномъ собраніи этого общества, черезъ годъ по его образованіи, извѣстный литераторъ, Ѳ. Н. Глинка, состоявшій при начальникѣ гвардейскаго штаба, генералѣ Сипягинѣ, читалъ «Расужденіе о необходимости дѣятельной жизни, ученыхъ разсужденій и чтенія книгъ» для человѣка вообще и для воина въ особенности (нап. 1818). Рекомендуя воину заниматься не одними военными науками, но и другими, онъ особенно выставляетъ на видъ пользу знаній политическихъ, изложенныхъ въ сочиненіяхъ Адама Смита, Сея, Стюарта, Шлецера, Ганиля. Тотъ же авторъ, въ брошюрѣ: «Нѣсколько мыслей о пользѣ политическихъ наукъ» (1819), придаетъ этимъ наукамъ тѣмъ большую цѣнность, что онѣ, по его мнѣнію, «всегда служатъ вѣрнымъ признакомъ, неразлучными спутниками народнаго просвѣщенія»; за тѣмъ онъ объясняетъ начала политической экономіи и науки о государственныхъ финансахъ. Означенное умонастроеніе не осталось безъ вліянія: военные люди стали относиться серьезнѣе къ самообразованію, думать объ установкѣ болѣе разумныхъ нравственныхъ и общественныхъ началъ. Перемѣну въ образѣ жизни и держаніи лучшаго военнаго люда нельзя было не замѣтить. Д. Давыдовъ, поэтъ и партизанъ, воспоминая прежнюю гусарскую жизнь, сѣтовалъ, что теперь отъ новой военной молодежи только и слышишь толки о Жомини (авторѣ многихъ военныхъ сочиненій) [1]. Причина новаго настроенія указана И. В. Васильчиковымъ, командиромъ гвардейскаго корпуса, въ его отвѣтѣ на-

---

[1] Жомини, да Жомини,
А объ водкѣ ни полслова (*Пѣсня стараго гусара*).

чальнику главнаго штаба, князю П. М. Волконскому, который удивлялся несходству прежняго съ настоящимъ: «Причину надобно искать въ различія времени. Немногіе изъ насъ (военныхъ) читали тогда газеты, никто не говорилъ о политикѣ; служили утромъ и веселились вечеромъ [1]». На ряду съ стараніемъ офицеровъ возвысить уровень своей образованности возникла мысль о грамотности солдатъ, распространенію которой много содѣйствовали учрежденныя при нѣкоторыхъ полкахъ школы взаимнаго обученія (ланкастерскія).

Общественное мнѣніе настраивалось согласно съ внушеніями, исходившими отъ лицъ оффиціальныхъ. Журналы, болѣе или менѣе выражающія духъ общества, приняли такой же тонъ. «Духъ журналовъ» (1815—1821), т. е. извлеченіе всего лучшаго и любопытнѣйшаго изъ другихъ журналовъ, издававшійся Яценковымъ, главное вниманіе обращалъ на политику и государственное устройство. Въ особомъ отдѣлѣ его: «Замѣчанія о внутреннемъ состояніи Россіи», предполагалось помѣщать статьи о великихъ способахъ и выгодахъ нашего отечества, о нѣкоторыхъ недостаткахъ и злоупотребленіяхъ, средствахъ къ исправленію оныхъ и къ возвышенію тѣмъ благоденствія нашего. Хотя предположенный отдѣлъ и не былъ допущенъ, но въ книжкахъ журнала много печаталось статей, прямо или косвенно сюда относящихся, хотя и стоявшихъ подъ другими рубриками, наприм.: «письмо о выгодахъ хорошаго хозяйства», восхваляющее судьбу удѣльныхъ крестьянъ, сравнительно съ помѣщичьими; «замѣчанія о земледѣліи, мануфактурахъ и торговлѣ въ отношеніи къ Россіи»; «письма объ Америкѣ», «система почтъ въ Лондонѣ съ примѣненіемъ къ Россіи» и др. Вообще въ содержаніи «Духа журналовъ» слышался голосъ благонамѣренной и дѣльной публицистики. Другой журналъ (Сѣверный Наблюдатель, 1817), хотя и неважный по своему внутреннему значенію, тѣмъ не менѣе, въ «политическихъ запискахъ» самого издателя, П. Корсакова, проводилъ мысль о свободѣ, отличая ее отъ вольности, какъ противоположной ей крайности. Выраженіе духа настоящаго времени видѣлъ онъ въ терпимости вѣръ и терпимости мнѣній: «мысли благонамѣренныхъ людей изъясняются вслухъ, и если еще встрѣчаются внутри государствъ частные враги просвѣщенія и тираны умовъ, то великодушіе царей не замедлитъ и отъ нихъ освободить человѣчество» [2]. Изъ всѣхъ знаній «Сѣверный Наблюдатель» отдавалъ главный почетъ наукамъ и художествамъ свободнымъ (studia liberalia), такъ какъ онѣ обра-

[1]) Письмо 11 сентября 1820 (Рус. Архивъ 1875, кн. 5).
[2]) № 1.

зовали свободу мыслей и въ особенности свободу мыслей политическихъ: «Одно изъ отличій свободно мыслящаго правительства есть позволеніе изъяснять ему вслухъ свои мысли о такихъ предметахъ, въ которыхъ всѣ сословія государства принимаютъ участіе. Публичныя о томъ сужденія даютъ нерѣдко поводъ къ опроверженію настоящаго и къ предложенію новыхъ средствъ, о которыхъ, можетъ быть, до того и не думали» (¹).

Годы 1818 и 1819-ый были временемъ сильнѣйшаго сочувствія періодической печати къ означеннымъ идеямъ, возбужденнаго крупнымъ событіемъ — рѣчью Императора Александра при открытіи польскаго сейма (15 марта 1818). Эта рѣчь, по выраженію Карамзина, сильно отозвалась въ молодыхъ сердцахъ. Особенное вниманіе привлекли къ себѣ слова Государя, что «законно-свободныя постановленія служатъ непрестаннымъ предметомъ его помышленій и что законы должны ограждать священнѣйшія блага: безопасность личную, собственность и свободу мнѣній». По поводу этой рѣчи, профессоръ Царскосельскаго Лицея, Куницынъ, въ журнальной статьѣ (²) показываетъ доброту представительнаго правленія, подтверждая свое мнѣніе выпискою слѣдующаго мѣста изъ рѣчи Государя: «законно-свободныя постановленія, коихъ священныя начала смѣшиваютъ съ разрушительнымъ ученіемъ, угрожавшимъ въ наше время бѣдственнымъ паденіемъ общественному устройству, не суть мечта опасная; напротивъ, таковыя постановленія, когда приводятся въ исполненіе по правотѣ сердца и направляются съ чистымъ намѣреніемъ къ достиженію полезной и спасительной для человѣчества цѣли, то совершенно согласуются съ порядкомъ и общимъ содѣйствіемъ утверждаютъ истинное благоденствіе народовъ». Въ томъ же 1818 г., но только позднѣе варшавской рѣчи, С. С. Уваровъ, президентъ Академіи наукъ и попечитель с.-петербургскаго учебнаго округа, въ торжественномъ собраніи Главнаго педагогическаго института, по поводу открытія въ немъ каѳедръ персидскаго и арабскаго языковъ и возобновленія каѳедры исторіи, произнесъ рѣчь, которая произвела значительное впечатлѣніе и заслужила согласную похвалу журналовъ (³). Императоръ Александръ названъ въ этой рѣчи краснорѣчивымъ защитникомъ священныхъ правъ человѣчества и гражданства, на незыблимости которыхъ основывается высокое политическое образованіе учрежденій. «Мы», говоритъ Уваровъ, «по примѣру Европы, начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ.... Политическая

¹) Jb. № 2.

²) О конституціи (Сынъ Отеч. 1818, № 18).

³) Рѣчь изд. 1818 г.

свобода не есть состояніе мечтательнаго благополучія, до котораго можно бы было достигнуть безъ трудовъ. Политическая свобода, по словамъ знаменитаго оратора нашего вѣка (лорда Эрскина), есть послѣдній и прекраснѣйшій даръ Бога: но сей даръ пріобрѣтается медленно, сохраняется неусыпною твердостію; онъ сопряженъ съ большими жертвами, съ большими утратами». Воейковъ написалъ похвальное посланіе къ оратору [1], а Куницынъ посвятилъ двѣ статьи разсмотрѣнію рѣчи [2]. Приведя слова Уварова, что «мы начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ», критикъ замѣчаетъ: «конечно, такъ; но мы давно о нихъ помышляли; никогда не были они чужды россійскому народу»,—и за тѣмъ приводитъ изъ исторіи доказательства своей мысли. «Опытъ теоріи налоговъ», Н. Тургенева (1818), возбудилъ, не менѣе рѣчи Уварова, сильное вниманіе журналистики. Въ этомъ серьезномъ трудѣ для читателей имѣло особенную важность не столько главное его содержаніе, о которомъ, какъ о спеціальномъ предметѣ, могли судить весьма немногіе, сколько прикосновенные къ нему предметы, именно замѣтки о крѣпостномъ правѣ и о гласности [3]. Къ тому же авторъ касался новаго духа времени, жалѣя, что общей дѣятельности, общему стремленію къ образованности и благосостоянію препятствовало существованіе рабства. Критикомъ этой книги явились Куницынъ [4] и Ѳ. Глинка [5]. Наконецъ, упомянемъ еще о книгѣ Куницына: «Право естественное», знакомящей какъ съ образомъ мыслей автора, такъ и вообще съ направленіемъ тогдашнихъ умовъ [6].

Само собою разумѣется, что вышеизложенные факты не могли заглушить вопроса о крѣпостномъ правѣ; напротивъ онъ, находя себѣ опору въ рѣчи Государя при открытіи варшавскаго сейма, еще сильнѣе выдвинулся на передній планъ. Періодическая литература съ большею настойчивостью проводила мысль о личной

---

[1]) В. Евр. 1819, № 5.

[2]) Сынъ Отечества 1818, №№ 23 и 24.

[3]) Напр. стр. 118—121, 124—125, 274—275 (2-е изд. 1819).

[4]) С. От. 1818, №№ 50 и 51.

[5]) Въ брошюрѣ: Нѣсколько мыслей о пользѣ политическихъ наукъ (1819).

[6]) Въ двухъ частяхъ: 1-ая часть (право чистое) — 1818; 2-ая (право прикладное) — 1820. По выходѣ второй части, заслужившей одобрительный отзывъ главнаго правленія училищъ, предполагалось поднести ее Государю, но чрезъ нѣсколько дней, согласно съ мнѣніемъ члена правленія Рунича, книга была запрещена, изъята изъ продажи и отобрана какъ изъ библіотекъ, такъ и отъ частныхъ лицъ, успѣвшихъ пріобрѣсть ее («Магницкій» въ Рус. Вѣст. 1864, іюнь). Но такой исходъ дѣла объясняется уже поворотомъ внѣшней и внутренней политики, съ 1820 года, въ противоположную сторону.

свободѣ крестьянъ. Укажемъ на статьи: «о рабствѣ въ иностранныхъ государствахъ», и «взглядъ на постепенный упадокъ рабства и крѣпостнаго состоянія въ Европѣ и въ ея колоніяхъ» ([1]). Особенное дѣйствіе произвела рѣчь малороссійскаго генералъ-губернатора, кн. Н. Г. Репнина, при открытіи дворянскихъ собраній въ Полтавѣ и Черниговѣ (3 и 20 января 1818) ([2]). Напомнивъ дворянамъ волю Государя, чтобы благоустройство внутреннихъ дѣлъ частію было совершаемо самимъ дворянствомъ, а именно — попеченіями его о судьбѣ крѣпостныхъ крестьянъ, начальникъ края обратился потомъ къ благородному сословію съ слѣдующими словами: «Корыстолюбіе изгнано будетъ изъ сердецъ вашихъ; вы не будете изыскивать все, что можетъ дать вамъ крестьянинъ доходу, а то, что вы можете отъ него требовать, не уменьшая благоденствія его; напротивъ, вы изыщете способы увеличить оное; вы пожертвуете для сего изъ доходовъ вашихъ; вы устроите училища для малолѣтнихъ, больницы для недугующихъ; вы улучшите хижины крестьянъ вашихъ; вы снабдите неимущихъ скотомъ и плугами для воздѣлыванія земли; вы займетесь нравственностію подвластныхъ вамъ и отвлечете ихъ отъ порока, столь между простолюдинами здѣсь обыкновеннаго, и не будете на немъ основывать дохода своего. Но сіи отеческія попеченія ваши да не будутъ подвержены кратковременности жизни человѣческой: оснуйте и на будущія времена благоденствіе чадъ и внучатъ вашихъ. По мѣстнымъ познаніямъ вашимъ изыщите способы, коими, не нарушая спасительной связи между вами и крестьянами вашими, можно бы было обезпечить ихъ благосостояніе и на грядущія времена, опредѣливъ обязанности ихъ. Чрезъ сію единственную мѣру предохраните вы ихъ навсегда отъ тѣхъ притѣсненій, которыя, по несчастію, еще доселѣ случаются; избавите правительство отъ горестной обязанности преслѣдовать оныя, а благородное сословіе ваше отъ нареканія, происходящаго чрезъ поступки людей, недостойныхъ быть сочленами онаго». На сколько этими и другими такого же смысла заявленіями, исходившими какъ отъ правительства и его органовъ, такъ и отъ частныхъ лицъ, путемъ печати, были взволнованы и напуганы многіе, достаточно показываютъ письма Сперанскаго къ Столыпину, 1818 и 1819-го годовъ ([3]).

[1]) Первая въ Духѣ журналовъ (1818, кн. 12); вторая въ В. Евр. (1819, № 14), переведена изъ Шторхова курса политической экономіи, который былъ напечатанъ на иждивеніи Государя.

[2]) Изданная отдѣльно, она была перепечатана въ Духѣ журналовъ (1818, № 20).

[3]) Рус. Архивъ 1871.

Направленіе, сложившееся подъ союзнымъ дѣйствіемъ указанныхъ вліяній, получило названіе либеральнаго, а лица, его усвоившія, отличались именемъ либераловъ или, по тогдашнему, либералистовъ. Въ образѣ мыслей этихъ лицъ, иначе въ либеральныхъ идеяхъ, выражался духъ времени. «Нынѣшній духъ времени», сказано въ одномъ журналѣ, «на обветшалыхъ развалинахъ творящій новыя лучшія зданія, есть самый благодѣтельный: посему-то онъ оживляется содѣйствіемъ самихъ государей, имѣющихъ благороднѣйшій образъ мыслей. Подъ руководствомъ такихъ вождей предадимся благотворному стремленію и въ сладостной надеждѣ будемъ ожидать еще счастливѣйшихъ временъ» ([1]). Такъ называемые либералы составили образованное меньшинство общества. Но и этотъ небольшой общественный кругъ имѣлъ, конечно, разныя степени; ибо если, съ одной стороны, нѣкоторые способны усвоивать тѣ или другія идеи не болѣе, какъ усвоивается извѣстное знаніе, безъ убѣжденія въ ихъ истинности и безъ душевной потребности осуществить ихъ въ жизни, то, съ другой, тѣ же самыя идеи становятся для иныхъ жизненнымъ началомъ, неизмѣннымъ обязательствомъ. Люди послѣдняго рода и составляли высшую часть образованнаго меньшинства эпохи Александра I. Въ ихъ сознаніи твердо заложено было понятіе о правильномъ, нормальномъ образѣ человѣческаго существа. Устроить свою собственную судьбу соотвѣтственно этому идеальному понятію было ихъ задачею, для рѣшенія которой они запасались и твердыми основами, какъ точкой исхода, и образованіемъ, какъ средствомъ къ достиженію цѣли, и силою внутренняго влеченія, необходимой для того, чтобы не останавливаться на полпути. Интересы умственные, нравственные и эстетическіе возбуждали ихъ полное сочувствіе, какъ высшія блага человѣческой природы. По своей осмысленной жизни, по своему просвѣщенію, справедливости, честности и благородству, они возвышались надъ другими тѣмъ, что были знакомы съ вопросами о состояніи отечественнаго и общеевропейскаго быта, съ тѣми законными нуждами, которыя заявляла современность, и съ тѣми орудіями, которыми можно было удовлетворить заявленное. Сознаніе нравственнаго превосходства и умственной самостоятельности сообщило ихъ характеру независимость. Они понимали, что въ средѣ ихъ образуется разумное общественное мнѣніе, которое должно давать тонъ большинству, а не подчиняться сужденіямъ большинства.

Въ виду указаннаго прогрессивнаго движенія, Карамзинъ

---

[1]) Въ ст. «О духѣ времени» (Украинскій Вѣстникъ 1818, іюнь).

остался при своихъ прежнихъ понятіяхъ. Онъ держался въ сторонѣ отъ современнаго ему либерализма, не находя въ немъ духа истинной свободы—ни гражданской, ни человѣческой, и сопоставляя его съ доктриной революціонныхъ дѣятелей XVIII-го вѣка. Когда онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, въ 1816 г., то на него многіе смотрѣли какъ на человѣка отсталаго, ретроград. Одинъ изъ министровъ ([1]), не смотря на давнее съ нимъ знакомство, даже оказалъ ему холодный пріемъ, какъ противнику новыхъ идей. Политическія движенія въ Германіи, Италіи и Испаніи усилили отвращеніе Карамзина отъ «либералистовъ», или «просвѣтителей», какъ онъ называлъ ихъ. Онъ боялся за успѣхъ человѣческаго совершенствованія, какъ уже прежде боялся въ эпоху французской революціи. Въ письмѣ изъ Царскаго Села за границу (1822), онъ указываетъ роль, предназначенную государю: «Вы служите орудіемъ провидѣнію. Здѣсь (въ Россіи) либералисты, тамъ сервилисты; истина и добро въ срединѣ: вотъ ваше мѣсто, прекрасное, славное!» Отрывокъ, написанный въ послѣдній годъ его жизни, излагаетъ нѣсколько мыслей объ истинной свободѣ. Дѣйствія аристократовъ и сервилистовъ, демократовъ и либералистовъ объясняются здѣсь единственно домогательствомъ личныхъ выгодъ. Кто же даетъ истинную свободу, «безъ которой для существа нравственнаго нѣтъ блага?» Ее, по отвѣту Карамзина, «даетъ не государь, не парламентъ, а каждый изъ насъ самому себѣ, съ помощію Божіею. Свободу мы должны завоевать въ своемъ сердцѣ миромъ совѣсти и довѣренностію къ провидѣнію.» Изъ этого отвѣта видно, что Карамзинъ выступилъ собственно изъ области предмета: онъ говорилъ о внутренней независимости, которая пріобрѣтается самосовершенствованіемъ человѣка, а не о политической свободѣ, которая утверждается правительственными учрежденіями и мѣрами, согласно съ общественнымъ мнѣніемъ. Отношеніемъ Карамзина къ «новымъ идеямъ» объясняется недовольство, возбужденное имъ въ сторонникахъ этихъ идей и обнаружившееся при появленіи въ свѣтъ «Исторіи». Злыя эпиграммы были написаны на нее Грибоѣдовымъ и Пушкинымъ. Послѣдній, въ своихъ «Запискахъ», говоритъ, что «молодые якобинцы негодовали на исторіографа за его умѣренность». Появились пародіи на тонъ ея изложенія (переложеніе первыхъ главъ Тита Ливія слогомъ Карамзина) и неблагопріятное мнѣніе объ ея основной мысли, принадлежащее Н. М. Муравьеву ([2]). Самъ Карамзинъ, въ письмѣ къ Дмитріеву,

[1]) По догадкѣ Погодина, Козадавлевъ, министръ внутреннихъ дѣлъ.

[2]) Оно напеч. Погодинымъ въ «Матеріалахъ для біографіи К—на» (ч. 2, стр. 199—203).

(28 ноября 1818 г.) говоритъ, что Н. И. Тургеневъ, авторъ «Опыта теоріи налоговъ», смотрѣлъ на него косо.

§ 12. Одновременно съ либеральнымъ движеніемъ происходили два другія: масонское и мистическое.

Масонство, о которомъ, по иностраннымъ свѣдѣніямъ, при императорѣ Павлѣ и слуху не было, возобновило свою дѣятельность въ царствованіе Александра I въ 1803 г. Съ его разрѣшенія, на ряду съ организаціей новыхъ ложъ стали возстановляться и прежде существовавшія, такъ какъ были еще живы многіе масоны Екатерининскаго времени (Новиковъ, Лопухинъ, Тургеневъ, Гамалѣя, Поздѣевъ, Ключаревъ...) и послѣдователи ихъ (Лабзинъ, Невзоровъ...). Въ 1810 г. основана «Директоріальная ложа Владиміра къ порядку», а въ 1815-мъ «Великая ложа Астреи»: первая управляла тремя соединенными ложами въ Петербургѣ, а въ союзѣ второй состояли уже двадцать четыре ложи. Кромѣ столицъ, ложи находились во многихъ провинціальныхъ городахъ. Направленіе масонскихъ работъ въ ложахъ зависѣло отъ разныхъ вліяній, частію приходившихъ изъ Германіи, частію возникавшихъ въ самой русской общественной средѣ. Къ числу первыхъ принадлежали: система Шредера, который отвергалъ высшія масонскія степени, не имѣвшія никакого смысла, и, слѣдуя Лессингу, старался придать масонству значеніе космополитической человѣчности, и ученіе Фесслера, вызваннаго Сперанскимъ въ Россію на профессуру еврейскаго языка, а потомъ философіи въ с. п. б. духовной Академіи: онъ ставилъ масонству высокія философическія задачи, видѣлъ въ немъ средство для нравственнаго воспитанія, на которомъ должно основываться гражданское. Вліяніе втораго рода внесено въ ложи лицами либеральнаго круга, которые желали направить дѣйствія масонскаго союза на политическую пропаганду. Такое намѣреніе было уже рѣшительнымъ уклоненіемъ отъ основнаго характера общества, которое единственною цѣлію своихъ занятій поставило «усовершеніе благополучія человѣковъ исправленіемъ нравственности, распространеніемъ добродѣтели, благочестія», или, по словамъ Лопухина, «моральное перерожденіе, которое дѣлаетъ человѣка образомъ и подобіемъ Божіимъ». Указанныя вліянія служили причиной разногласія въ средѣ масонскаго общества: одни его члены дѣйствовали въ духѣ старой московской мистики; другіе слѣдовали новѣйшему, болѣе раціональному масонству, въ системѣ Шредера и Фесслера; третьи хотѣли сообщить ложамъ стремленія политическія. Къ этому присоединились большія злоупотребленія, обращавшія собраніе въ ложахъ въ игру большихъ дѣтей, которыя добивались высшихъ степеней, потому что съ ними соединены были наружные знаки

отличія, или въ средство предаваться разгульному пиршеству, какъ это раскрыто многими свидѣтельствами [1]. Но подобныя злоупотребленія не закрываютъ, однакожъ, пользы масонства: оно развивало въ серьезныхъ людяхъ сознаніе человѣческаго достоинства и тѣсно связанное съ тѣмъ чувство собственной независимости, какъ это и видимъ на примѣрѣ многихъ масоновъ и Екатерининскаго и Александровскаго времени. Безпорядки, возникшіе въ другихъ государствахъ отъ существованія разныхъ тайныхъ обществъ, побудили наше правительство, указомъ 1822-го года, закрыть всѣ масонскія ложи и впредь не дозволять ихъ учрежденія [2].

Движеніе мысли въ области мистики, значительное уже въ прошломъ столѣтіи, усилилось при Александрѣ I и выразилось рядомъ переводныхъ и оригинальныхъ сочиненій, образующихъ богатый и во многихъ отношеніяхъ любопытный отдѣлъ мистико-религіозной литературы, сущность и важнѣйшіе факты которой будутъ изложены ниже.

Мистику не должно смѣшивать съ масонствомъ. Она возникла раньше масонства, хотя адепты его и возводятъ начало этого общества къ отдаленной эпохѣ. Если масоны были болѣе или менѣе мистики, то отсюда вовсе не слѣдуетъ, что каждый мистикъ есть непремѣнно масонъ. Если, съ одной стороны, мистика развивалась въ масонскомъ кругу, то, съ другой, существовали такія масонскія ложи, которыя положительно преслѣдовали мистическое направленіе масонства. Хотя масонъ можетъ быть въ тоже время и мистикомъ, равно какъ и мистикъ можетъ быть въ тоже время масономъ; однакожъ, не смотря на это, мистика и масонство—явленія сами по себѣ, особенныя и самостоятельныя.

Какъ мы видѣли, главными представителями религіозной мистики, во второй половинѣ прошлаго вѣка, были Новиковъ, Тургеневъ, Лопухинъ, Гамалѣя. Кромѣ оригинальныхъ трудовъ двухъ послѣднихъ лицъ, явились переводы нѣкоторыхъ твореній, приписываемыхъ Діонисію Ареопагиту, а также книгъ Арндта (объ истинномъ христіанствѣ), Бема (таинство креста) и Сеня-Мартена (о заблужденіяхъ и истинѣ)—составившихъ наиболѣе капитальный матеріалъ, посредствомъ котораго любители духовнаго чтенія, во второй половинѣ XVIII-го вѣка, знакомились съ ученіемъ ми-

[1] Записки Вигеля; романъ Нарѣжнаго: «Россійскій Жильблазъ»; Разсказъ и письмо Степанова о принятіи его въ ложу (Рус. Старина 1870, т. 1).

[2] Общественное движеніе при Александрѣ I, А. Пыпина; Матеріалы для исторіи массонскихъ ложъ (Вѣст. Европы 1872, январь, февраль и іюль) и Хронологическій указатель русскихъ ложъ (массонскихъ), его же; Уничтоженіе масонскихъ ложъ въ Россіи (Рус. Старина 1877, т. 18).

стиковъ, хотя это знакомство и не могло имъ сообщить ясныхъ понятій о мистикѣ въ чистомъ ея значеніи, такъ какъ и переводчики и авторы наши не имѣли сами опредѣленныхъ свѣдѣній о предметѣ, ихъ интересовавшемъ: они постоянно смѣшивали, даже отождествляли его съ піетизмомъ, теософіей, алхиміей, кабалистикой и другими предметами, такъ что въ результатѣ выходила смутность, запутанность представленій.

Начиная съ первыхъ годовъ текущаго столѣтія, за все царствованіе Императора Александра I выходятъ или новыя изданія прежде изданныхъ книгъ, или новые переводы и новыя оригинальныя сочиненія. Къ Діонисію Ареопагиту, Бему, Арндту, Сенъ-Мартену и другимъ присоединяются Таулеръ, Эккартсгаузенъ, Юнгъ Штиллингъ, Дю-Туа, Гюйонъ... Вообще, періодъ времени съ 1814 г. по 1825-ый наиболѣе обогатилъ нашу мистическую литературу, что и заставило одного переводчика сказать съ радостью: «благодареніе Богу! у насъ теперь довольно вышло и выходитъ мистическихъ книгъ, такъ что въ средствахъ нѣтъ недостатка».

Журналъ «Сіонскій вѣстникъ», начатый и прекращенный въ 1806-мъ году, а потомъ возобновленный въ 1817-мъ, въ трехлѣтнее свое существованіе наполнялся почти исключительно статьями мистико-религіозными. Издатель его, Лабзинъ, «ученикъ масоновъ», какъ онъ называлъ себя [1], былъ самымъ дѣятельнымъ и самымъ даровитымъ распространителемъ идей Бема, Эккартсгаузена, сочиненія которыхъ также переводилъ на русскій языкъ. Другой журналъ, «Другъ юношества», значительную часть своего отдѣла посвящалъ тому же мистико-религіозному ученію, давая тѣмъ знать, что оно служитъ назидательнѣйшей пищей не только для старыхъ и возрастныхъ, но и для юношества. Въ трудахъ его издателя, Невзорова, принималъ ревностное участіе Лопухинъ, доставляя ему и собственныя свои работы, и сочиненія князя Н. В. Репнина, сановника при Екатеринѣ II и Павлѣ I и масона-мистика, пользовавшагося большимъ почетомъ въ средѣ людей одного съ нимъ религіознаго духа. Въ общемъ съ двумя указанными журналами направленіи издавался, при с. петербургской духовной академіи, третій журналъ: «Христіанское чтеніе» (съ 1821 г.); по крайней мѣрѣ въ первыхъ годахъ этого изданія несомнѣнно его стремленіе въ сторону мистико-религіозныхъ взглядовъ и представленій.

Но на этомъ непрерывномъ пути религіозной мистики былъ

---

[1]) Почему и подписывался подъ статьями своими: У. М.

моментъ ея ускореннаго движенія, ея наибольшаго возбужденія, именно—вторая половина царствованія Александра I (1812—1825). Что же служило къ тому поводомъ? Историки нѣмецкой мистики приписываютъ развитіе оной въ Германіи, въ первой четверти нашего столѣтія, слѣдующимъ обстоятельствамъ: во-первыхъ, индифферентизму къ религіи вообще, унаслѣдованному отъ прошлаго вѣка и своею крайностью вызвавшему противоположное ему явленіе, какъ реакцію; во-вторыхъ, политическому положенію Германіи, приниженному деспотизмомъ Наполеона и принизившему народный духъ, который, за невозможностью проявить свою силу во внѣшнихъ дѣйствіяхъ, долженъ былъ погрузиться во внутрь самого себя и здѣсь искать успокоенія и развитія; въ-третьихъ, философіи Канта, Фихте и въ особенности Шеллинга, ученіе котораго заключаетъ въ себѣ богатый родникъ мистическихъ созерцаній. Изъ этихъ трехъ обстоятельствъ только первое могло у насъ имѣть мѣсто, такъ какъ извѣстно, что многіе русскіе второй половины XVIII-го и первой четверти XIX вѣка, увлекшись вольтеріанизмомъ, совершенно охладѣли къ вѣрѣ, въ чемъ и полагали свое умственное превосходство. Такимъ явленіемъ объясняется другое, состоящее въ томъ, что наши мистики постоянно воюютъ съ французской философіей XVIII-го вѣка, какъ съ главнымъ врагомъ своимъ. Лекціи Шварца, журналы Новикова, Лабзина и Невзорова, равно какъ и всѣ другія сочиненія одного съ ними характера, настойчиво опровергая французскихъ энциклопедистовъ, раскрываютъ нравственную гибель, кроющуюся въ нихъ для христіанъ (1). Что касается до втораго обстоятельства, то положеніе Россіи не только не имѣло никакого сходства съ бѣдственнымъ положеніемъ Германіи, но и оказалось совершенно ему противоположнымъ. Борьба съ Наполеономъ доставила Россіи первенствующее политическое значеніе, а императору Александру — имя освободителя Европы. Вмѣсто уничиженія народнаго духа, она возвысила его, была источникомъ его торжествъ и славы. Но это же самое и породило усиленное движеніе религіозной мистики. Неожиданныя послѣдствія міровыхъ событій, превысивъ мѣру самыхъ пламенныхъ патріотическихъ желаній, самыхъ отважныхъ предположеній оптимизма, направило тогдашнихъ людей къ признанію сверхъ-естественной силы, дѣйствовавшей, по своимъ предначертаніямъ, на перекоръ земнымъ расчетамъ и замысламъ. Торжествующій духъ видѣлъ свой первый долгъ въ смиреніи предъ непостижимымъ ходомъ вещей. Все

(1) По свидѣтельству Сперанскаго, одинъ изъ преподавателей въ Александро-Невской семинаріи проповѣдывалъ ученикамъ Вольтера и Дидро.

склоняло его къ таинственному и погружало въ таинственность. Самъ Государь смотрѣлъ на себя, какъ на избранника свыше, какъ на орудіе Провидѣнія, отрицая вліяніе собственной силы. Мистическое чувство, при врожденной къ тому наклонности, равно какъ и подъ дѣйствіемъ всемірно-исторической роли, выпавшей ему на долю, глубоко коренилось въ его сердцѣ. Нельзя объяснять такого явленія какимъ-либо постороннимъ, случайнымъ фактомъ, напр. знакомствомъ съ г-жею Крюднеръ ([1]): послѣднее могло совпадать съ первыми, главными причинами—и только.

Побуждаемый этимъ чувствомъ, императоръ любилъ бесѣдовать о внутреннемъ дѣйствіи Св. Духа, ожидалъ духовныхъ благъ и получалъ ихъ посредствомъ внутренняго назиданія и озаренія свыше, молился духовной молитвой ([2]). Имена его и великаго князя Константина Павловича стоятъ во главѣ лицъ, получавшихъ Сіонскій Вѣстникъ на 1817 г. Высочайшему же имени посвящены переводы «Христіанской философіи», Дю-Туа (1815—1817), и «Благоговѣйныхъ размышленій о жизни и страданіяхъ Христа Спасителя», Таулера (1823). Послѣдній изданъ по повелѣнію Государя; а въ предисловіи къ первому, переводчикъ (Трескинъ), указавъ характеръ ученія, изложеннаго въ книгѣ Дю-Туа, говоритъ: «Се наука, се философія, се свѣтъ и просвѣщеніе, коимъ ты, Государь, желаешь озарить народъ твой! Се еще то знаменіе, по коему высочайше-премудрый Іисусъ Христосъ образуется въ Тебѣ и ты въ Немъ». Министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, кн. А. Н. Голицынъ, искренно былъ преданъ тому же настроенію и, благодаря своему высокому посту, много содѣйствовалъ къ распространенію религіозной мистики. Идея внутренняго возрожденія захватила въ свой кругъ многихъ дамъ образованнаго и высшаго круга (княгиню Анну Голицыну и сестру ея княгиню Софью Мещерскую, Стурдзу, Хвостову). Нѣкоторые члены духовенства, высшаго и низшаго, сочувствовали дѣятельности тѣхъ, которые или своимъ служебнымъ вліяніемъ, или путемъ литературы давали пищу мистическому настроенію духа ([3]). Изъ свѣтскихъ лицъ достаточно назвать Сперанскаго, предавшагося мистическимъ занятіямъ съ 1804-го года, и Лубяновскаго. Наконецъ мистическая атмосфера охватила и дѣтей: по разсказамъ кн. А. Н. Голицына

---

[1]) Vie de mad. de Krudener, par Eynard.

[2]) Записки квакера о пребываніи въ Россіи 1818—1819 г. (Рус. Старина, 1874, январь).

[3]) И. И. Глазуновъ передавалъ мнѣ, что между бумагами покойнаго отца его, книгопродавца, находятся письма многихъ священниковъ, которые нетерпѣливо желали знать, когда выйдетъ новая книжка «Сіонскаго Вѣстника».

американскому квакеру, на записки котораго мы ссылались, дѣти, озаренныя Св. Духомъ, дѣлались орудіями обращенія своихъ родителей (¹). Конечно, не каждый отупалъ на путь мистики по искреннему убѣжденію, но и за вычетомъ лицъ, платившихъ дань простому подражанію или модѣ, оставался еще значительный итогъ, который и служитъ доказательствомъ дѣйствительно-усиленнаго распространенія религіозной мистики во второй половинѣ царствованія Александра I.

Вышеизложенными причинами обусловилась наибольшая сила мистическаго движенія въ извѣстный періодъ нашей исторіи. Но кромѣ того необходимо указать причину общую, производившую одинаковое послѣдствіе, гдѣ бы и когда бы оно ни обнаруживалось. Исторія мистики показываетъ, что возникновеніе послѣдней всегда было вызываемо тѣмъ состояніемъ, въ какомъ находилась господствующая церковь. Мистика, равно какъ и другіе родственные ей предметы (напр. піетизмъ), развивалась обыкновенно какъ противодѣйствіе формализму и разсудочной теологіи. Духъ вѣрующаго, стѣсненный внѣшностью культа и оцѣпенѣлой догматикой, стремился освободиться отъ того и другаго, и находилъ свое освобожденіе въ чистой, внутренней, духовной религіозности: онъ погружался въ мистическое созерцаніе. Въ буквѣ, въ непреложныхъ постановленіяхъ, онъ видѣлъ не одежду, прикрывающую истину, а покровъ, скрывающій истину, и потому отвергалъ ихъ, вмѣстѣ съ ихъ служителями, какъ преграду ближайшему отношенію человѣка къ Богу, непосредственному общенію конечнаго съ безконечнымъ. Такъ было въ религіяхъ некристіанскихъ, такъ было и въ христіанствѣ. Противъ инквизиціоннаго вѣроученія выступила мистика альомбрадовъ, противъ іезуитизма—квіетизмъ. Когда, въ XVI вѣкѣ, протестантизмъ отъ чистой, правдивой вѣры сердца хотѣлъ замкнуться въ ученіе мертвящей буквы, тогда явились Арндтъ и Яковъ Беме, изъ которыхъ первый своею книгою «объ истинномъ христіанствѣ» старался возвратить церковную ортодоксію на истинный путь. Тѣми же причинами объясняется дѣятельность Шпенера, творца нѣмецкаго піетизма, въ XVII-мъ вѣкѣ, и дѣятельность Лафатера и Юнга Штиллинга на пользу мистицизма въ XVIII-мъ (²).

Судя по свидѣтельствамъ современниковъ, и у насъ формализмъ обращалъ на себя вниманіе какъ недостатокъ, который долженъ былъ устремить религіозное чувство въ противоположную сторону. Въ разговорѣ съ квакеромъ, Александръ I жаловался на то, что

¹) Записки квакера.

²) Статья «мистика», въ Real-Encyklöpedie für protestantische Theologie und Kirche, von Herzog, t. 10.

былъ съ дѣтства пріученъ къ формальной молитвѣ, не удовлетворявшей его внутреннимъ потребностямъ. Такого же рода жалобы слышалъ иностранецъ и отъ свѣтскихъ людей, утомленныхъ формами и обрядами внѣшней церковной жизни и искавшихъ дѣйствительнаго и существеннаго въ предметахъ вѣры, и отъ лицъ духовныхъ. Одинъ монахъ въ Москвѣ сказалъ ему: «всѣ внѣшніе обряды и церковные обычаи составляютъ лишь форму; Христосъ же и Духъ Его суть сущность; на нихъ мы должны опереться, а безъ нихъ все прочее не принесетъ намъ никакой пользы (¹). Самыя слова митрополита Михаила, имѣвшія преимущественною цѣлью направить паству на путь внутренней, духовной жизни, служатъ нѣкоторымъ указаніемъ не только того, что составляетъ истинное христіанство, но и того, въ чемъ онъ видѣлъ недостатокъ поучаемыхъ имъ христіанъ.

Вторымъ предметомъ обвиненія служили проповѣдное слово и другія духовныя сочиненія того времени. Здѣсь мы ссылаемся на переписку Сперанскаго съ архіепископомъ калужскимъ Ѳеофилактомъ (Русановымъ) (²). Какъ Арндтъ, въ книгѣ «объ истинномъ христіанствѣ», такъ и Сперанскій указывали на одинаковое явленіе въ разныя эпохи—на преобладаніе полемическаго характера въ церковной литературѣ. Сочиненія, сюда относящіяся, пишетъ Сперанскій, говорятъ не съ христіанами, а съ безбожниками и деистами, тогда какъ первое было бы нужнѣе послѣдняго. Каждый пастырь прежде всего долженъ сохранить и усовершить стадо, ему ввѣренное. Споръ и препинаніе не лучшее къ тому средство: они возбуждаютъ только пытливость духа и рѣдко убѣждаютъ; долгъ пастырей—наставлять христіанъ на переходѣ отъ внѣшняго христіанства къ внутреннему (³). Для этой цѣли онъ и рекомендуетъ христіанамъ читать творенія Климента Александрійскаго и Августина, «Добротолюбіе», «О подражаніи Христу», Ѳомы Кемпійскаго, равно сочиненія Фенелона и Гюйонъ. Вопросъ, какъ видно, касался преобладанія богословскаго догматизма надъ ученіемъ христіанской нравственности. Въ одномъ мѣстѣ «Сіонскаго вѣстника», по поводу статей: «Духъ и истина», издатель журнала (Лабзинъ) замѣтилъ, что онѣ предлагаются тѣмъ читателямъ, которые въ «обыкновенныхъ» наставленіяхъ о религіи не находятъ полнаго себѣ удовлетворенія. Чѣмъ же отличаются эти обыкновенныя наставленія? Особенность ихъ состоитъ въ томъ, что Сперанскій въ письмѣ къ Ѳеофилакту назвалъ внѣшнимъ путемъ

¹) Записки квакера.

²) Въ память гр. М. М. Сперанскаго (1872).

³) Письмо 5 сентября 1804 г.

христіанина: «Я называю внѣшнимъ путемъ сію нравственную религію, въ которую стѣснили мірскіе богословы ученіе божественное; я называю внѣшнимъ путемъ сіе обезображенное христіанство, покрытое всѣми цвѣтами чувственнаго міра, соглашенное съ политикою человѣческихъ обществъ, ласкающее плоти и страстямъ, или по крайней мѣрѣ ихъ не умерщвляющее, христіанство слабое, уклончивое, самоугодливое, которое отъ языческаго нравственнаго ученія различно только словами, которое мѣста трудныя въ св. писаніи изъясняетъ тропами и фигурами и истинный ихъ разумъ насилуетъ тщетнымъ разумомъ суемудрія. Въ семъ христіанствѣ самые обряды потеряли ихъ истинный смыслъ и превратились въ мертвую букву» (¹). Въ такомъ же смыслѣ выразился Штиллингъ объ одномъ разрядѣ нѣмецкаго духовенства, которое проповѣдывало только о должностяхъ человѣка, только одну мораль, едва упоминая о томъ, что принадлежитъ до спасенія человѣка, или и вовсе не касаясь этого. Проповѣдниковъ этого рода онъ называетъ друзьями нынѣшняго просвѣщенія, неологами или нововѣрами (²).

§ 13. Теперь намъ предстоитъ обзоръ литературныхъ произведеній, въ главныхъ отдѣлахъ поэзіи и прозы.

Относительно формы, литература первыхъ двадцати лѣтъ XIX вѣка, въ большинствѣ своихъ явленій, служила продолженіемъ литературы Екатеринина времени. Французскій классицизмъ долго не уступалъ своей власти другимъ направленіямъ. «Исключительная любовь къ французской словесности», писалъ Батюшковъ въ 1814 г., «неизлечима: она выдержала всѣ возможныя испытанія и времени и политическихъ обстоятельствъ. Все было сказано на сей счетъ; всѣ укоризны, всѣ насмѣшки Таліи и людей просвѣщенныхъ остались безъ пользы, безъ вниманія» (³). Но укорять и смѣяться легко; другое дѣло—замѣстить достойное укора и смѣха чѣмъ-либо инымъ: вотъ здѣсь-то возникаетъ настоящая трудность. Наши служители Таліи, выставляя на публичный смѣхъ пристрастіе къ французской словесности, шли по слѣдамъ той же словесности: они переводили Мольера, Детуша и другихъ комиковъ временъ Людовика XIV и Людовика XV, или подражали имъ по мѣрѣ своихъ способностей. Наша сатира противъ галломаніи страдала тою же самою болѣзнію: она была переводомъ сатиръ Буало или такъ называемымъ ихъ воспроизведеніемъ, которое нерѣдко огра-

¹) Въ память Сперанскаго, стр. 373—374.

²) Угрозъ Свѣтовостоковъ, переводъ Лабзина, 8 ч. или 30 кн. (1806—1815). См. книжку 16-ую.

³) Письмо къ И. М. Муравьеву-Апостолу о сочиненіяхъ М. Н. Муравьева (Полное собраніе сочиненій М. Н. Муравьева, 1819, ч. 1).

ничивалось заменой иностранных собственных имен русскими. Просвещенные люди, о которых упоминает Батюшков, всё почти получили свое просвѣщеніе изъ французскихъ книгъ, на французскій ладъ. Исключительное господство псевдоклассицизма въ нашей литературѣ извѣстнаго періода есть явленіе историческое, необходимое слѣдствіе нашей цивилизаціи, общее съ такимъ же слѣдствіемъ въ другихъ странахъ. Отрѣшеніе отъ избранной доктрины или образца возможно только при помощи новыхъ доктринъ или новыхъ образцовъ. Для знакомства же съ произведеніями другихъ литературъ, кромѣ французской, и другими теоретиками, кромѣ Буало, прежде всего необходимо знаніе иностранныхъ языковъ, не одного французскаго. Это знаніе заходило въ среду нашихъ литераторовъ случайно. Да и случайное знаніе обращалось на пользу лжеклассицизма. Ломоносовъ зналъ нѣмецкій языкъ, но подражалъ нѣмцамъ именно въ томъ, что они заимствовали у французовъ; Княжнинъ зналъ италіянскій языкъ, но его Дидона и Софонисба— трагедіи совершенно французской постройки. Мы и греко-римскихъ классиковъ переводили съ французскихъ переводовъ. Что касается до теоріи изящныхъ искусствъ и поэзіи въ особенности, то въ нашихъ университетахъ, или лучше въ московскомъ университетѣ, эстетика и піитика преподавались не такимъ образомъ, который могъ бы указывать односторонность и недостатки французскаго классицизма и внушать сочувствіе къ другимъ поэтическимъ направленіямъ. Профессоръ Сохацкій и его преемникъ Мерзляковъ вооружались противъ возникавшаго романтизма. Еще строже осуждалъ Мерзляковъ произведенія А. Пушкина. Онъ никакъ не хотѣлъ приписать успѣхъ комической оперы «Мельникъ» (Аблесимова) тому обстоятельству, что она, по общему тогда понятію, «сочинена въ русскихъ нравахъ». Съ его точки зрѣнія популярность піесы объясняется сохраненіемъ въ ней законовъ классической драмы. Въ одномъ изъ критическихъ чтеній ([1]) онъ доказываетъ, что «Мельникъ», подобно лучшимъ трагедіямъ и комедіямъ, вполнѣ оправдываетъ эстетическіе законы Аристотеля, наставленія Горація и Буало, и вообще правила науки о вкусѣ. Между тѣмъ критикъ, по своему происхожденію, стоялъ близко къ народу и сочинилъ нѣсколько пѣсенъ въ духѣ народной поэзіи; онъ зналъ древніе языки, а изъ новыхъ, кромѣ французскаго, нѣмецкій и италіянскій; слѣдовательно имѣлъ способы отрѣшиться отъ одностороннихъ вліяній. Чего же было ожидать отъ тѣхъ литераторовъ, которые, по своему образованію, чуждались народной поэзіи и не знали сущности истиннаго

---

[1]) Вѣст. Европы 1817, № 6.

классицизма? Волею-неволею приходилось имъ вращаться въ единственномъ для нихъ, неизбѣжномъ кругу французскихъ воззрѣній на искусство и французскихъ образцовъ. Комедія Грибоѣдова: «Горе отъ ума» была встрѣчена ожесточенными нападками нѣкоторыхъ критиковъ преимущественно по той причинѣ, что она не напоминала собою обычной французской комедіи.

Восьмнадцатый вѣкъ былъ временемъ господства нашей торжественной лирики, а Ломоносовъ и Державинъ главными ея представителями. Хотя многіе стихотворцы, замѣнявшіе одушевленіе высокопарностью, содѣйствовали упадку этого поэтическаго рода; хотя кредитъ его былъ подрываемъ меткою сатирой на оды-реляціи или оды-поученія, какъ назвалъ ихъ Дмитріевъ въ «Чужомъ толкѣ» (1795): однакожъ онъ не тотчасъ потерялъ свое значеніе, и только по силѣ особенныхъ обстоятельствъ уступилъ свое мѣсто другимъ отдѣламъ лирической поэзіи. Отсюда не слѣдуетъ, чтобы оды, извѣстныя подъ именемъ торжественныхъ (героическихъ, похвальныхъ), навѣки отошли въ область исторіи: онѣ могутъ существовать до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать и предметы, способные своимъ величіемъ возбуждать одушевленное чувство, и поэты, способные вдохновляться великими предметами природы и человѣчества. Но въ историческую область отойдутъ тѣ указныя формы и пріемы, которыми наши стихотворцы, въ подражаніе чуждымъ образцамъ, пользовалисв при выраженіи своихъ чувствъ.

И. Дмитріевъ, такъ остроумно смѣявшійся надъ одоманіей въ упомянутой сатирѣ «Чужой толкъ», написалъ три стихотворенія по поводу современныхъ или давнопрошедшихъ событій отечественной исторіи: «Гласъ патріота на взятіе Варшавы», «Ермакъ» и «Освобожденіе Москвы» (Пожарскимъ). Первое стихотвореніе, по тону, языку и пріемамъ, до такой степени подходитъ къ лирѣ Державина, что даже почиталось произведеніемъ сего послѣдняго. Чувство, выражаемое вторымъ стихотвореніемъ, развито въ формѣ разговора между двумя сибирскими шаманами—старымъ и молодымъ; только въ началѣ и концѣ авторъ говоритъ отъ своего лица. Соединеніе эпическаго элемента (разсказа шамана) съ изліяніемъ чувствъ заставило назвать эту піесу лирической поэмой. Въ «Освобожденіи Москвы», Дмитріевъ отъ настоящаго состоянія первопрестольнаго города—его блеска и красоты—переносится мыслью къ прошедшимъ его бѣдствіямъ, когда онъ страдалъ отъ поляковъ. Общее достоинство этихъ одъ—патріотическое чувство, выраженное, если не въ цѣломъ, то въ частяхъ, сильными стихами, почему современные читатели и критики причисляли ихъ къ образцовымъ произведеніямъ русской лиры. Нѣкоторыя мѣста, какъ примѣры изящнаго

слова, вошли въ руководства къ риторикѣ и піитикѣ. Обращеніе къ Екатеринѣ (въ Ермакѣ): «речешь—и двигнется полсвѣта», и обращеніе къ Ермаку: «великій! гдѣбъ ты ни родился», стояли въ ряду такъ называемыхъ фигуръ чувствъ. Бой между Ермакомъ съ Мегметъ-Куломъ—близкое подражаніе единоборству Сварана, сына Старнова, съ Фингаломъ (въ пѣсняхъ Оссіана)—цитировался, какъ образецъ поэтической живописи. Недостатокъ, общій всѣмъ тремъ піесамъ, состоитъ въ гиперболизмѣ представленія, который прежніе стихотворцы неправильно почитали какъ бы дозволенною поэтическою вольностью. Особенно страдаетъ имъ конецъ лирической поэмы «Ермакъ». Чтобы ни думалъ авторъ о подвигѣ завоевателя Сибири, похвала этому подвигу крайне превысила мѣру его историческаго значенія:

... ты, великій человѣкъ,
Пойдешь въ ряду съ полубогами
Изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ;
И славы лучъ твоей затмится,
Когда померкнетъ солнца свѣтъ,
Со трескомъ небо развалится
И время на косу падетъ.

Такъ нельзя сказать ни объ одномъ воителѣ или можно сказать о весьма немногихъ герояхъ. Послѣ этого мы не найдемъ уже ни достаточно сильныхъ словъ, ни достаточно приличныхъ образовъ для возвеличенія Петра—бога Россіи, по выраженію Ломоносова. Подобнымъ преувеличеніемъ страдаютъ и послѣдніе стихи въ Освобожденіи Москвы. Вторая погрѣшность Ермака—фигуры шамановъ, которыхъ рѣчи, мысли и чувства начертаны по образцу оссіановскихъ героевъ: это не дикіе служители дикаго язычества, а плодъ авторскаго воображенія, настроеннаго пѣснями шотландскаго барда.

Удачнѣе похвальныхъ одъ вышелъ у Дмитріева гимнъ: «Размышленіе по случаю грома» (1795). Авторъ подражалъ стихотворенію Гете: Die Grenzen der Menschheit, замѣнивъ пантеистическое воззрѣніе подлинника христіанскимъ понятіемъ о всемогуществѣ Божіемъ и о ничтожности человѣка. Искреннее чувство выражено достойнымъ его словомъ, въ которомъ русская стихія искусно соединена съ церковно-славянской. Главные представители нашей лирики, Ломоносовъ и Державинъ, имѣли даровитаго себѣ подражателя въ Мерзляковѣ (1778—1830), профессорѣ краснорѣчія и поэзіи въ московскомъ университетѣ. Особенно были извѣстны духовныя его оды: «На разрушеніе Вавилона» (изъ пророка Исаіи) и «Пѣснь Моисея по прехожденіи Чермнаго моря» (изъ Исхода). Достойныя стоять на ряду съ одой Ломоносова, выбранной изъ книги Іова, онѣ занимали мѣсто въ каждомъ сборникѣ поэтиче-

скихъ образцовъ и, какъ таковые, изучались и въ школахъ и любителями духовныхъ стихотвореній. Другія оды Мерзлякова, въ особенности торжественныя, большею частью замѣняли силу одушевленія риторическою настроенностью: онѣ длинны и скучны.

Изъ библейскихъ книгъ, Псалтирь преимущественно настраивалъ лиру нашихъ стихотворцевъ. Переложенія пѣсней Давида слѣдовали одни за другими въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій. Даже тѣ занимались ими, чьи дарованія были мало способны къ такъ называемому пѣснопѣнію. Примѣромъ служитъ переложеніе 37-го псалма, удачно сдѣланное баснописцемъ Крыловымъ. Нѣкоторые же стихотворцы почти исключительно посвящали себя этому дѣлу. Двѣ части стихотвореній Шатрова (1765—1841), одного изъ первыхъ и вѣрныхъ партизановъ Шишкова, содержатъ въ себѣ подражанія псалмамъ и пѣсни духовныя. Подражанія выказываютъ умѣнье строить звучные, а по мѣстамъ и сильные, стихи, хотя, съ другой стороны, нельзя не согласиться съ замѣткой Жуковскаго, что стихотворецъ постоянно заботился о томъ, какъ бы «извѣстное и обыкновенное сказать необыкновеннымъ образомъ». Но такое замѣчаніе въ равной мѣрѣ относится ко многимъ не первоклассньмъ писателямъ нашимъ, и къ Мерзлякову, быть можетъ, еще болѣе, чѣмъ къ кому нибудь иному. Позднѣе Шатрова, пріобрѣлъ извѣстность духовными стихотвореніями Ѳ. Н. Глинка, родной братъ Сергѣя Николаевича (род. 1788). Сборникъ его переложеній изъ Библіи, принимавшихся съ почетомъ журналами и альманахами двадцатыхъ годовъ, изданъ подъ именемъ «Опытовъ священной поэзіи» (1826). Лучшія между ними: «Земная грусть», «Исканіе Бога», «Гласъ къ Господу», «Горе и благодать», и др. Недостатокъ же ихъ происходитъ главнѣйшимъ образомъ отъ того, что авторъ не столько прелагалъ подлинники, сколько распространялъ ихъ. Второй недостатокъ еще важнѣе: это—субъективная настроенность переложеній, отъ чего они и вышли замѣтно однообразными. Прелагатель не нашелъ въ себѣ столько поэтической силы, чтобы вполнѣ отрѣшиться отъ своего личнаго чувства. Однимъ изъ прекрасныхъ памятниковъ торжественной лирики былъ и остается «Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ» (1812), Жуковскаго. Написанное послѣ сдачи Москвы, передъ сраженіемъ при Тарутинѣ, это стихотвореніе было вѣрнымъ отголоскомъ общаго патріотизма, заслужившъ автору имя Тиртея, воспламенявшаго въ воинахъ бранное мужество и жажду мщенія врагу. Другія два стихотворенія того же рода: «Императору Александру I-му» (1814) и «Пѣвецъ въ Кремлѣ» (1814) вышли менѣе удачны.

Другому виду лирической поэзіи, пѣснѣ, у насъ меньше по-

счастливилось, не смотря на то, что она сосредоточивается на выраженіи непосредственнаго чувства, возбуждаемаго предметомъ. Мы не имѣли тогда авторовъ, которые прославили бы свое имя исключительно пѣсенной поэзіей. Нѣкоторыя пѣсни, пользовавшіяся особеннымъ успѣхомъ въ нашемъ обществѣ, большею частію были явленіемъ случайнымъ, какъ бы нежданной обмолвкой стихотворцевъ, занятыхъ другимъ дѣломъ. Таковы, напримѣръ: «Пятнадцать мнѣ минуло лѣтъ» (Богдановича), «Вечеркомъ въ румяну зорю» (Николева), «Кто могъ любить такъ страстно» (Карамзина). Притомъ ихъ и немного. Пѣсни Нелединскаго-Мелецкаго (1751—1829) и И. Дмитріева долгое время принадлежали къ любимѣйшимъ нашей публики. Онѣ отвѣчали сентиментальному настроенію литературы и общества. Кто восхищался «Бѣдной Лизой», тотъ, конечно, могъ съ большимъ удовольствіемъ пѣть «Голубка». Ошибка Нелединскаго и Дмитріева состояла въ томъ, что они, служа сентиментализму, думали совмѣщать два элемента—народный и цивилизованный. Первый изъ этихъ элементовъ вводился единственно для поддѣлки подъ безъискуственную поэзію, чуждую сентиментальности и въ которой, кромѣ того, не чувствовалось надобности. Съ какою цѣлію пѣсни, сочиняемыя для благороднаго, больше или меньше образованнаго круга и назначаемыя для пѣнія въ гостинныхъ, украшались или, говоря по справедливости, обезображивались приправой кой-какихъ простонародныхъ словъ и выраженій? Они видимо не ладили съ тономъ цѣлаго и, какъ фальшивыя ноты, поражали слухъ каждаго, кому была хорошо знакома лирическая поэзія русскаго народа. Употребленіе нерусскихъ, иногда и миѳологическихъ именъ, нисколько не вредило сентиментальной пѣснѣ или романсу: Хлоя (въ пѣснѣ: «всѣхъ цвѣточковъ болѣ») и подобныя ей существа были на своихъ мѣстахъ тамъ, гдѣ героиня представлялась пастушкой, а ея милый—пастушкомъ. Еслибы Нелединскій и Дмитріевъ, при сочиненіи своихъ пѣсенъ, имѣли въ виду воспроизведеніе народной поэзіи, по ея духу и складу, то, конечно, они заслуживали бы строгой критики. Но у нихъ и въ мысляхъ не было такой задачи, которой они, замѣтимъ, не съумѣли бы исполнить. Оба они писали подъ вліяніемъ французскихъ образцовъ. Дмитріевъ, говоря его словами, «прилѣпился къ вѣтренному Дорату (Dorat) [1] и его товарищамъ». А Нелединскаго кн. Вяземскій не въ шутку называлъ «русскимъ Шольё» [2], котораго сами французы признаютъ «любезнымъ поэтомъ» (aimable poëte).

[1]) Дора († 1780), французскій стихотворецъ, отличался въ легкой поэзіи.

[2]) Шолье († 1720) воспѣвалъ эпикуреизмъ, почему и заслужилъ прозвище французскаго Анакреона.

Художественное подражаніе народному творчеству доступно лишь тому, кто, обладая поэтическимъ даромъ, основательно изучилъ обычаи, понятія и чувства простонародья; еще доступнѣе оно тому, кто, по своему происхожденію, состоя въ близкомъ родствѣ съ народомъ, не отрѣшился отъ роднаго корня и въ то время, когда поступилъ въ среду высшей, образованной жизни. Тогда онъ вдвойнѣ постигаетъ сущность народной поэзіи: и путемъ непосредственнаго сочувствія, и путемъ научнаго знакомства. Примѣръ такого счастливаго постиженія представляетъ Мерзляковъ, сынъ небогатаго купца. Его пѣсни и романсы, сложенныя, какъ онъ выразился, «во время мечтаній о той сладостной жизни или не-жизни, о которой жалѣемъ и въ которой не можемъ дать себѣ отчета, какъ во снѣ», отличаются неподдѣльнымъ чувствомъ. Пѣсни звучатъ чисто-русскими звуками; въ нихъ личное чувство автора изливается по образу и свойству народнаго чувства, которое не имѣетъ ничего общаго съ сентиментализмомъ: здѣсь горесть не является въ видѣ унылой томности или меланхоліи, и мысль о другѣ не переходитъ въ мечтательность или раздумчивость. Знаменитѣйшая между пѣснями Мерзлякова: «Одиночество», по моему мнѣнію, несвободна отъ искуственности. Первый стихъ ея: *«среди долины ровныя, на гладкой высотѣ»*, даже страдаетъ неопредѣленнымъ указаніемъ мѣстности. Но пѣсни: «Я не думала ни о чемъ въ свѣтѣ тужить», «Ахъ, чтожъ ты, голубчикъ, не весело сидишь?» «Чернобровый, черноглазый, молодецъ удалый», не даромъ сдѣлались общеизвѣстными. Начало послѣдней содержитъ въ себѣ выраженія, почерпнутыя прямо изъ родника наивной русской лирики:

Чернобровый, черноглазый,
Молодецъ удалый,
Вложилъ мысли въ мое сердце,
Зажегъ ретивое!

Вторая половина ея начинается вѣрною картиною нашей печальной зимы въ деревняхъ:

Воетъ сыръ боръ за горою,
Мятелица въ подѣ;
Встала вьюга, непогода,
Запала дорога.

Задушевнымъ чувствомъ проникнуты и застольныя пѣсни Мерзлякова, сочиненныя для пѣнія въ кругу друзей: «Къ друзьямъ», «Что есть жизнь?», «Пиръ», «Къ добродѣтели». По нимъ можно судить о добромъ сердцѣ автора, горячаго въ дружбѣ, любившаго всѣхъ людей и смотрѣвшаго на жизнь не глазами легкомысленнаго эпи-

курейца. Мысль, что «жизнь смертныхъ—тяжелое бремя», заводила его пѣсни на грустный тонъ. Прибавимъ, что Мерзляковъ, какъ слагатель пѣсенъ, стоитъ въ противорѣчіи съ своими понятіями объ искусствѣ. По доктринѣ строгій классикъ, онъ забывалъ ея уставы подъ вдохновеніемъ живаго сочувствія къ красотамъ народной лирики: тогда поэтъ побѣждалъ въ немъ профессора и критика.

Третій видъ лирики—элегія—одолжена своимъ развитіемъ и долгимъ господствомъ Жуковскому, поэзія котораго, вмѣстѣ съ поэзіей Батюшкова, и по содержанію, и по формѣ, образовала новый и важный моментъ въ исторіи нашей лирики вообще. Въ чемъ состоитъ значеніе этого момента, равно какъ и значеніе элегическихъ стихотвореній Жуковскаго, будетъ указано ниже, при изложеніи его дѣятельности.

§ 14. Уваженіе къ искуственному эпосу, образецъ котораго представила Россіада, равно какъ и авторитетъ ея сочинителя, крѣпко держались въ нашей литературѣ до 1815 г. Отвергать первое значило, по тогдашнимъ понятіямъ, не понимать относительной важности поэтическихъ родовъ; не признавать втораго—значило впадать въ тяжкую литературную ересь. Фантазія эпическаго стихотворца цѣнилась несравненно выше той силы изобрѣтенія, какая нужна трагику или комику; даже чудесное искуственныхъ поэмъ, получившее у французовъ названіе «machinerie», было предпочитаемо наивнымъ вѣрованіямъ Гомера, его непосредственному, полному свѣжести и силы, міросозерцанію. Не смотря, однакожъ, на трудности, предстоявшія эпику, явились продолжатели дѣла, начатаго еще Кантемиромъ. Неконченная поэма Ломоносова: «Петръ Великій» соблазнила нѣсколькихъ нашихъ стихотворцевъ. Двое изъ нихъ: князь С. Шихматовъ (1783—1837) и Грузинцевъ, болѣе извѣстный своими трагедіями, не только начали, но и кончили восхваленіе преобразователя Россіи. Лирическое пѣснопѣніе Шихматова: «Петръ Великій» (1810) состоитъ изъ восьми пѣсенъ; эпическая поэма Грузинцева: «Петріада» (1812)—изъ десяти (¹). На сколько личность Петра изображена въ нихъ согласно съ ея историческимъ величіемъ, всего лучше сказало знаменитое четверостишіе Батюшкова:

Какое хочешь имя дай
Твоей поэмѣ полудикой:
Петръ длинный, Петръ большой, но только Петръ Великій
Ее не называй.

---

¹) Третья поэма: «Петръ Великій» (1803), Романа Сладковскаго, по языку и эпическому складу самой низкой пробы, долгое время служила для литераторовъ предметомъ смѣха.

Если и отбросить отъ эпиграммы ея лишнюю колкость, вызванную отношеніемъ Карамзинистовъ къ Шишкову и его «любимому сыну по литературѣ»—князю Шихматову, то все же останется въ ней много правды. Вообще ни одна изъ нашихъ поэмъ, воспѣвавшихъ Петра, не удовлетворитъ историка. На сколько же поэмы Шихматова и Грузинцева удовлетворяютъ требованіямъ эпическаго стиля, законы котораго должны сохранять свою силу и въ искуственномъ эпосѣ? На столько, на сколько эпическій стиль сохраненъ въ Ломоносовѣ, Херасковѣ, Вольтерѣ. Послѣднему особенно подражалъ Грузинцевъ, усвоивъ внѣшніе пріемы своего образца, отъ изложенія предмета и воззванія съ одной стороны, до риторическаго тона и стихотворнаго метра съ другой. Первые восемь стиховъ Петріады не что иное, какъ переложеніе первыхъ шести стиховъ Генріады; русскій стихотворецъ за вдохновеніемъ обращается также къ Истинѣ, богинѣ новыхъ временъ, и также дѣлитъ свою поэму на десять пѣсенъ. Различіе между обѣими поэмами опредѣляется не эпическимъ ихъ складомъ, который въ сущности тамъ и здѣсь одинаковъ, а другими особенностями, зависящими отъ степени авторскаго таланта: новизною и достоинствомъ мыслей, силою чувствъ, картинностью описаній, разнообразіемъ вымысловъ, искусствомъ версификаціи и т. п. Въ этомъ отношеніи, конечно, смѣшно и сравнивать подражаніе съ образцемъ, какъ было бы смѣшно называть Грузинцева Вольтеромъ или Вольтера Грузинцевымъ. Лирическое пѣснопѣніе Шихматова, какъ ни смѣялись надъ нимъ въ свое время, представляетъ нѣкоторыя достоинства; по крайней мѣрѣ оно оригинально, хотя эта оригинальность и служила предметомъ эпиграмматическаго остроумія. Нужно было немалое искусство избѣгать риѳмъ на глаголы, почему Пушкинъ и прозвалъ Шихматова «безглагольнымъ». Языкъ поэмы славено-россійскій, въ которомъ много сложныхъ прилагательныхъ, безъ насилія укладываемыхъ въ четырехстопный ямбъ. Шихматовъ видимо заботился о томъ, чтобы оправдать мнѣнія Шишкова на практикѣ: нѣкоторыя слова, восхваляемыя послѣднимъ (напр. искидокъ вм. извергъ, доилица вм. корова), употреблены въ поэмѣ, которая, съ своей стороны, наводила «отца славянофиловъ» на новыя догадки и соображенія. И дѣйствительно, Шишковъ былъ въ восторгѣ отъ лирической поэмы «Петръ Великій» (¹).

Другія поэмы явились въ эпоху борьбы съ Наполеономъ, подъ вліяніемъ патріотическаго духа. Здѣсь намъ снова встрѣчаются тѣже лица: С. Шихматовъ написалъ лирическую поэму въ 3-хъ пѣсняхъ: «Пожарскій, Мининъ, Гермогенъ, или Спасенная Россія» (1807);

¹) Семейная Хроника и воспоминанія. С. Аксакова.

Грузинцевъ—поэму въ 4-хъ пѣсняхъ: «Спасенная и побѣдоносная Россія въ девятомъ на-десять вѣкѣ» (1813). Воспѣвая событіе XVII вѣка, авторъ первой поэмы имѣлъ въ мысли и новѣйшую исторію Россіи. Онъ говорилъ о самозванцахъ и въ то же время разумѣлъ Наполеона. А заключеніе уже прямо относится къ современнымъ русскимъ людямъ. Стихотворецъ даетъ имъ совѣтъ, какъ чтитель родной старины, по духу «Разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ». Поэма исполнена обычныхъ лиро-эпическихъ пріемовъ, образующихъ внѣшнюю связь однѣхъ ея частей съ другими: «я зрю; отверсты очи мнѣ душевны»; «я вижу таинства временъ» и т. п. Олицетворенія убійства, грабежа, мятежа введены какъ риторическія украшенія, избавляющія сочинителя отъ необходимости прибѣгать къ языческимъ божествамъ или отъ неумѣнья замѣнить ихъ чудесными христіанскаго міра. Тоже самое событіе служитъ предметомъ поэмы Александра Волкова: «Освобожденная Москва» (1820). Сознавая, что для поэмъ ложно-классическаго стиля проходитъ время, авторъ вошелъ въ разсужденіе объ основахъ своего стихотворенія. Онъ старался построить механизмъ поэмы не на олицетвореніи понятій, ни тѣмъ менѣе на чудесахъ миѳологіи, а на верховномъ Промыслѣ, введя въ противодѣйствіе этой благой силѣ другую силу—сатанинскую. Пусть такъ, но произведеніе нисколько отъ того не выиграло въ поэтическомъ достоинствѣ, по явному отсутствію въ авторѣ творческаго таланта.

Означенныя поэмы не могли быть опасными соперницами Россіадѣ; напротивъ, онѣ только возвысили ея славу. Девятилѣтній трудъ Хераскова сравнительно съ трудами его подражателей выигрывалъ во всѣхъ отношеніяхъ: первый по времени, онъ остался и лучшимъ по достоинству опытомъ «высочайшаго рода поэзіи», какъ тогда понимали эпическую поэму псевдо-классическаго характера. Если Россіаду перестали почитать «безсмертнымъ» твореніемъ, а ея творца «русскимъ Гомеромъ», то это было дѣйствіемъ критики, дотолѣ отзывавшейся о ней въ общихъ и безусловныхъ похвалахъ. Въ одинъ и тотъ же годъ (1815) Россіада подверглась разборамъ въ двухъ журналахъ: «Амфіонѣ» (1) и «Современномъ наблюдателѣ россійской словесности» (2). Издатель перваго, Мерзляковъ, подробно разсмотрѣлъ содержаніе и расположеніе поэмы, ея чудесное, характеры, слогъ. Хотя онъ въ ней и находитъ нѣкоторые недостатки, но тѣмъ не меньше уподобляетъ ее храму св. Петра: «какъ громада неподвижная и въ буряхъ времени, и

---

1) №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9.
2) №№ 1 и 3.

въ буряхъ мнѣній, стоитъ Россіада, огражденная неизмѣннымъ своимъ величіемъ». Издатель «Современнаго наблюдателя», извѣстный археологъ П. М. Строевъ, бывшій тогда еще студентомъ московскаго университета, взглянулъ на дѣло иначе. Его критика справедливѣе, потому что не подкуплена господствовавшею въ то время теоріей поэзіи. Критикъ доказалъ, что Россіада часто грѣшитъ противъ исторіи, что она не заключаетъ въ себѣ и поэтическихъ красотъ, что даже истинно хорошихъ стиховъ въ ней очень мало. Изъ разбора выводится рѣшительное заключеніе: «мы не имѣемъ еще хорошей эпической поэмы; Россіада недостойна тѣхъ громкихъ похвалъ, коими ее до сихъ поръ осыпали». Разборъ Строева принадлежитъ къ замѣчательнымъ явленіямъ нашей критики, почему и слѣдовало сказать о немъ, по поводу эпическихъ поэмъ. Надобно было имѣть немалое мужество, чтобы идти, какъ выразился критикъ, наперекоръ «стоглаву россійской словесности, который призналъ и нарекъ Хераскова великимъ поэтомъ». Надобно было также имѣть основательныя познанія въ исторіи и поэтическій тактъ, чтобы открыть недостатки произведенія, почитавшагося образцомъ эпоса. Разборъ принесъ несомнѣнную пользу, показавъ литераторамъ и судіямъ ихъ, что если въ словесности весьма часто *«имена* бываютъ болѣе безсмертны, чѣмъ *творенія»*, то будущимъ эпикамъ и вообще стихотворцамъ надлежитъ заботиться «не столько о томъ, чтобы ихъ имена были въ устахъ, сколько о томъ, чтобы ихъ творенія были въ рукахъ».

Слѣдуя примѣру многочисленныхъ подражателей Лесажа въ самой Франціи и другихъ странахъ, В. Нарѣжный (1780—1825) ([1]) сочинилъ романъ: «Россійскій Жилблазъ или похожденія князя Гаврилы Симоновича Чистякова», въ шести частяхъ, изъ которыхъ первыя три напечатаны въ 1814 г., а послѣднія три остались въ рукописи, потому что цензура осудила нѣкоторыя мѣста третьей части ([2]). Намѣреніе Лесажа — представить человѣческую жизнь, какъ она есть, — выполнено превосходнымъ образомъ. Дѣйствіе происходитъ въ Испаніи, а не во Франціи, гдѣ въ то время сатира была осуждена на молчаніе. Авторъ совѣтуетъ читателю внимательно замѣчать нравоученія, вытекающія изъ разсказа о похожденіяхъ героя: тогда только чтеніе принесетъ пользу и вмѣстѣ пріятность. Нарѣжный «вывелъ на показъ русскимъ людямъ рус-

[1]) Ист. Христ. II.

[2]) «Предосудительныя и соблазнительныя» мѣста указаны тогдашнимъ министромъ просвѣщенія, гр. Разумовскимъ. См. Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ Россіи въ царствованіе Александра I», М. Сухомлинова (Журналъ министерства народн. просв. 1866, ноябрь).

скаго же человѣка, считая, что гораздо сходнѣе принимать участіе въ дѣлахъ земляка, нежели иноземца»; слѣдовательно романистъ нашъ сдѣлалъ то, чего не могъ сдѣлать Лесажъ и на что, по его словамъ, нельзя было бы отважиться у насъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, т. е. безпристрастно описывать наши нравы ([1]). Своею задачею положилъ онъ изобразить человѣческую жизнь въ многоразличныхъ отношеніяхъ. И цѣль всего этого такая же, какую начерталъ себѣ Лесажъ: соединеніе полезнаго съ пріятнымъ.

Кромѣ характеристики русскаго человѣка въ различныхъ состояніяхъ, сатира Нарѣжнаго имѣла въ виду нѣсколько спеціальныхъ предметовъ, о которыхъ говорится въ предисловіи:

Да не прогнѣваются на меня изступленные любители *метафизики, славенскаго языка и всего, что есть нѣмецкаго*, что я не всегда съ должною почтительностію объ нихъ отзывался. Это отнюдь не значитъ, чтобы считалъ я метафизику наукою вздорною, славенскій языкъ варварскимъ, и все то, что выдумано нѣмецкою головою, глупою выдумкою. Сохрани отъ того, Боже! Но мнѣ всегда казалось, что перейти должные предѣлы въ чемъ бы то ни было есть крайнее неразуміе. Метафизика безъ сомнѣнія есть наука высокая и утончаетъ разумъ человѣка, однакожъ не до такой степени, чтобы могъ онъ опредѣлить, чѣмъ занималось Высочайшее Существо до созданія міра и чѣмъ заниматься будетъ по разрушеніи онаго. А есть такіе храбрые ученые, которые на то пускаются. Славенскій языкъ безспорно высокъ, точенъ, обиленъ; однакожъ тотъ изъ насъ, который, стоя передъ красавицею, будетъ нѣжить слухъ ея названіями: «лѣпообразная дѣво! голубице, краснѣйщая рая!»—едвали не долженъ быть почтенъ за сумасброда; а такіе витязи и до сихъ поръ у насъ находятся и не безъ послѣдователей. Что касается до нѣмчизны, подъ которымъ названіемъ, слѣдуя выраженію нашихъ прадѣдовъ, разумѣю я всякую чужеземщину, то весьма недовольнымъ почту себя, если кто нибудь назоветъ меня порицателемъ всего того, что не наше. Это была бы излишняя склонность ко всему своему, что также никуда не годится.

Нарѣжный писалъ романъ свой въ то время, когда еще не остыла любовь къ чтенію вымышленныхъ приключеній или похожденій. Чѣмъ они были диковиннѣе, тѣмъ книга больше нравилась читателямъ, которые не задавали себѣ вопроса о предѣлахъ вѣроятности и были бы въ затрудненіи отмежевать возможное отъ невозможнаго, быль отъ сказки. Нарѣжный самъ находился подъ вліяніемъ сказочной настроенности. При замѣчательномъ дарованіи, онъ еще не покинулъ обычая придумывать дѣйствіе похитрѣе и запутаннѣе. Существенное отличіе дальнихъ «похожденій» осталось, хотя въ меньшей степени, и въ похожденіяхъ «Россійскаго Жилблаза».

Главное лице романа—князь Гаврило Симоновичъ Чистяковъ, уроженецъ села Фалалеевки (курской губерніи), гдѣ «столько же

[1]) Россійскій Жилблазъ подвергся осужденію не за то, что онъ описываетъ отечественные нравы; а за «безнравственное» (съ точки зрѣнія тогдашняго министра) ихъ описаніе (Ib).

князей, сколько въ Малороссіи дворянъ, а въ Шотландіи графовъ». Эти князья сами пашутъ и орутъ не хуже однодворцевъ, о которыхъ сложилъ пѣсню мельникъ Аблесимова. Исторія Чистякова начинается тѣмъ, чѣмъ оканчивается исторія настоящаго Жилблаза: онъ *женился*—на Ѳеклушѣ, дочери другаго фалалеевскаго князя. Черезъ три года послѣ замужества, княгиня охотно дозволила похитить себя одному изъ столичныхъ князей. Трудно сказать, что правдоподобнѣе въ этомъ фактѣ: то ли, что свѣтскій молодой человѣкъ плѣнился Ѳеклушей, которая сама работала въ огородѣ и еле выучилась читать и писать, или то, что «чувствительная» женщина, какъ называетъ авторъ Ѳеклушу, три года жившая съ мужемъ въ любви и согласіи, бросила его и младенца-сына безъ всякой жалости, безъ всякой внутренней борьбы? Мало этого: она издѣвается надъ оставленнымъ, увѣдомляя его о своемъ побѣгѣ. Продѣлки такого рода приличны ловкимъ, искусившимся въ интригахъ актрисамъ, которыя описаны Лесажемъ и, вѣроятно, служили подлинникомъ Ѳеклушѣ. Послѣдняя и является актрисой въ концѣ третьей части, только не на театрѣ, а въ масонскихъ собраніяхъ, гдѣ она играла своего рода роль. Какой изумительный скачекъ отъ Фалалеевки до столицы, отъ княгини Ѳеклы Сидоровны, ничего не читавшей, кромѣ сказокъ, до прекрасной Лавиніи, блиставшей на пирахъ масоновъ! Подражаніе Лесажу завело Нарѣжнаго слишкомъ далеко: незамѣтно для себя прилажйвалъ онъ испанскіе обычаи къ русскому сюжету. Лишась жены, Чистяковъ вскорѣ испыталъ другую потерю: двухлѣтній сынъ его былъ похищенъ орловскимъ купцомъ Аѳанасіемъ Онисимовичемъ Причудинымъ. Съ какою цѣлію учинено похищеніе? Покойный дѣдъ Причудина былъ тоже князь Чистяковъ, бѣдный, какъ и всѣ его родственники; разбогатѣвъ, онъ бросилъ родовую фамилію, напоминавшую ему «сіятельное нищенство», и принялъ новую, въ память своего тестя. Разбирая отцовы бумаги, Причудинъ нашелъ тетрадку, содержащую въ себѣ имена усопшихъ, которые поминались за упокой; между ними онъ увидѣлъ имя князя Симона Гавриловича Чистякова, приходившагося ему родственникомъ въ осьмнадцатомъ колѣнѣ. «Вотъ», подумалъ Причудинъ, «остались еще князья моей фамиліи. Они вѣрно люди бѣдные. Почему мнѣ не взять у котораго нибудь изъ нихъ малолѣтняго сына, не воспитать какъ должно, не удѣлить части моего имущества, не обижая дочери, и не возставить чрезъ то благороднаго дома?» Сказано— и сдѣлано. Зачѣмъ, однако, выбранъ кривой и опасный путь для выполненія замысла? Россійскій Жилблазъ былъ такъ безпеченъ; всѣ его дѣйствія въ деревенской жизни, начиная съ волокитства

за Ѳеклушой, отличались такимъ легкомысліемъ, чтобъ не сказать глупостью, что онъ и добровольно уступилъ бы сына заботливой роднѣ. Какъ бы предвидя вопросъ, Причудинъ отвѣчалъ на него: «Отецъ не утерпитъ видѣть сына какъ можно чаще; дитя узнаетъ, что онъ князь, и притомъ имѣетъ богатаго родственника, который взялся воспитать его и слѣдовательно никогда не оставитъ. Это могло помѣшать его нравственности, успѣхамъ въ наукахъ и моимъ намѣреніямъ». Такіе-то расчеты руководили орловскаго купца въ его продѣлкѣ. Читатель видитъ здѣсь романическую диковинку, благодаря которой выступаетъ на сцену новое лице, являются два Жилблаза—отецъ и его сынъ Никандръ, также разсказывающій свои похожденія, и романъ теряетъ единство интереса. Что приключалось съ героемъ Лесажева романа, то естественно вытекало изъ хода человѣческой жизни вообще и изъ національныхъ особенностей жизни испанской: здѣсь все вѣрно—событія, характеры и языкъ дѣйствующихъ лицъ, почему и называютъ этотъ романъ поучительнымъ, какъ поучительна сама опытность. Жилблазъ Нарѣжнаго самъ отыскиваетъ приключенія, или, вѣрнѣе, они придумываются для него авторомъ, который умышленно наталкиваетъ на нихъ своего неразумнаго героя. Положивъ изобразить русскіе нравы, Нарѣжный не съумѣлъ приладить ихъ къ дѣйствіямъ, приличнымъ русскому человѣку. Сверхъ указанныхъ несообразностей, въ романѣ то и дѣло встрѣчаются другіе. Кромѣ купца, таинственнаго похитителя и благодѣтеля, желающаго возстановить княжескій родъ, есть купецъ, совѣтующій Чистякову не учиться метафизикѣ, которую онъ называетъ великою наукой. Крестьянинъ Чистякова, Иванъ, самовольно продаетъ сосѣдямъ господское поле,—и господинъ мирится съ беззаконнымъ фактомъ, какъ будто на него нѣтъ управы. Простолюдины выражаются литературнымъ языкомъ.

Если въ дѣйствіи романа нѣтъ правдоподобія, то изъ двухъ цѣлей—пріятности и пользы,—къ которымъ романистъ стремился, первая не достигнута. Разумный читатель не находитъ ничего пріятнаго въ невѣроятной интригѣ. Что касается до пользы, то она могла бы заключаться въ нравственныхъ правилахъ, которыя герой выводитъ изъ опытовъ своей жизни. Но такому герою, какъ Чистяковъ, не пристало быть моралистомъ, хотя онъ и любитъ при случаѣ брать на себя эту обязанность. Всѣ его начинанія оканчиваются недобромъ или смѣхомъ, по его собственной простотѣ, которая иногда хуже воровства. Мораль Лесажева сочиненія можетъ быть добыта внимательнымъ читателемъ изъ похожденій Жилблаза; самъ Жилблазъ ее не проповѣдуетъ. Жизнь этого героя представляетъ картину свойственнаго людямъ равно-

душія къ добродѣтели и пороку. Онъ, какъ и большинство смертныхъ, столько же готовъ на честное дѣло, сколько и на плутни, смотря по тому, что лучше ведетъ къ устройству благоденствія. Но онъ, однакожъ, понимаетъ достоинство одного и низость другаго, и нерѣдко скорбитъ, если обстоятельства вынуждаютъ его жертвовать дурному хорошимъ. Жаль одного, говоритъ онъ послѣ какой-то продѣлки, что нѣтъ тутъ столько же чести, сколько есть прибыли и удовольствія. Жилблазовскій индифферентизмъ не къ лицу «Россійскому Жилблазу»: послѣдній преступаетъ правила большею частію потому, что неясно различаетъ законное отъ незаконнаго. Его продѣлки—всегда почти несообразности. Еще меньше смысла имѣютъ въ его устахъ нравоучительные выводы. Что разсказывается Жилблазомъ Лесажа, то каждый человѣкъ можетъ примѣнять къ себѣ: отъ того-то авторъ и проситъ читателей не подозрѣвать въ его романѣ личныхъ намековъ. Что разсказывается о Чистяковѣ, того нельзя взять на свой счетъ, такъ какъ его дѣйствія несогласны съ русскою жизнію, исключительны и въ добавокъ глупы. Подобные герои не возбуждаютъ сочувствія. Мы не то хотимъ сказать, что сочиненіе Нарѣжнаго не выдерживаетъ сравненія съ сочиненіемъ Лесажа: это само собою разумѣется; мы хотимъ сказать, что подражать образцовому автору значитъ писать такъ, какъ бы онъ, будучи русскимъ, описывалъ дѣйствія и нравы русскихъ.

Несостоятельность «Россійскаго Жилблаза», какъ романа, выкупается сатирическимъ описаніемъ нѣкоторыхъ современныхъ нравовъ. Съ этой стороны надобно отдать справедливость и таланту, и здравому смыслу Нарѣжнаго, который лучше хотѣлъ имѣть дѣло съ настоящимъ положеніемъ вещей, каково оно ни есть, нежели рисовать сентиментальныя картины. Правда, онъ не соблюдаетъ должной мѣры въ своихъ изображеніяхъ, часто преувеличивая смѣшное, однакожъ въ самой карикатурѣ держится на дѣйствительномъ основаніи. Изъ многихъ предметовъ его сатиры въ предисловіи указана, какъ нѣчто особенное, «изступленная любовь къ метафизикѣ, славянскому языку и всему нѣмецкому». Насколько можно судить по словамъ Чистякова, подъ метафизикой авторъ разумѣлъ такую науку, которая измѣряетъ все сущее и несущее, разсуждаетъ о жизненныхъ духахъ, о душѣ, умѣ, адѣ, раѣ и т. п. Представитель подобнаго метафизика—Трисмегалосъ, провинціальный философъ-учитель, будто бы имѣвшій обязанность преподавать публичныя лекціи или говорить рѣчи о философіи. Конечно, здѣсь не безъ подражанія Лесажеву роману: Трисмегалосъ сбивается на баккалавровъ саламанкскаго университета; но есть и подлинныя черты бывшаго схоластическаго преподаванія въ нашихъ духовно-

*

учебныхъ заведеніяхъ, среднихъ и высшихъ, которыхъ воспитанники были упражняемы въ безполезныхъ диспутахъ и по окончаніи курса сообщали своимъ проповѣдямъ и другимъ сочиненіямъ характеръ школьной науки. Трисмегалосъ, знатокъ онтологіи, пневматологіи и психологіи, способенъ защищать или опровергать прямо-противоположныя мнѣнія: онъ доказываетъ, что «душа наша во лбу между глазами», а потомъ, съ такою же легкостью, что «она имѣетъ пребываніе въ затылкѣ, но съ тѣмъ однако, что властна перейти въ чело». Кромѣ схоластическаго мудрованія, подъ метафизикой разумѣется масонскій мистицизмъ, господствовавшій у насъ почти все время царствованія Александра I. Конецъ третьей части вводитъ Россійскаго Жилбдаза въ общество вольныхъ каменщиковъ; какъ новоизбранный членъ, онъ присутствуетъ на ихъ собраніяхъ съ рѣчами, пѣснями и символической обрядностью. Предсѣдатель ложи, посвящая Чистякова, предлагаетъ ему вопросъ: «хочешь ли имѣть понятіе о высокой таинственной мудрости, которая пронзаетъ небеса и освѣщаетъ сокровенныя движенія горнихъ духовъ?» Обстановка засѣданій въ ложѣ схвачена вѣрно, хотя самый взглядъ на масонство одностороненъ. Сатирикъ отнесся къ нему отрицательно. Онъ представляетъ явленія выродившагося, испорченнаго союза, который, уклонясь отъ своей цѣли—нравственнаго строенія людей, ударился въ тщеславіе, шарлатанство, обманъ и развратъ.

Трисмегалосъ не только философъ, но и славянофилъ. Онъ и говоритъ на церковно-славянскомъ языкѣ и объясняетъ пренебреженіе къ нему упадкомъ нравственности, какъ Шишковъ. Когда явился къ нему сынъ Чистякова, Никандръ, и изумилъ его знаніемъ почитаемаго имъ языка, а бывшій при этомъ посѣтитель (Горланіусъ) смѣялся надъ комическимъ изумленіемъ старца, послѣдній замѣтилъ ему съ упрекомъ: «что смѣешися, о Горланіе! Не есть ли во времена наши, *егда погибло всеизящное на земли и нравы развратишася*, — но есть ли, глаголю, чудо зрѣти юношу сего въ толикомъ благомысліи, вѣщающаго языкомъ мудрѣйшимъ и доброгласнѣйшимъ?»

Нѣмцоманію надобно понимать и въ собственномъ смыслѣ, какъ любовь къ нѣмцамъ, и въ болѣе обширномъ, какъ пристрастіе къ иностранному вообще. Временемъ сочиненія романа объясняются сатирическія его выходки. Нарѣжный трудился надъ нимъ въ эпоху великихъ нашихъ войнъ. Естественно было питать не только нелюбовь, но и ненависть къ двадцати языкамъ разорявшимъ Россію, какъ бы они ни пришли въ нее, волею или неволей; еще естественнѣе было осуждать благоволеніе русскихъ къ недавнимъ врагамъ ихъ отечества. Эта ненависть замѣчалась въ Малороссіи, и одинъ изъ украинскихъ дѣятелей, В. Н. Каразинъ, правитель дѣлъ

основаннаго имъ въ Харьковѣ «филотехническаго общества», счелъ за нужное возстать противъ чувства, которое обратилось въ предубѣжденіе, отвергаемое гуманностью, и съ этою цѣлію въ публичномъ собраніи общества, 1818 г., произнесъ рѣчь «объ истинной и ложной любви къ отечеству» (1). Рѣчь развиваетъ слѣдующее положеніе: «Любовь къ отечеству не есть исключительная привязанность къ странѣ рожденія, къ единоплеменникамъ: она согласуется съ любовію къ роду человѣческому... Государственное злословіе (т. е. ненависть къ чужимъ государствамъ и народамъ) не есть любовь къ отечеству: это ложный патріотизмъ». Въ одномъ мѣстѣ романа, помѣщикъ Простаковъ произноситъ грозную діатрибу противъ иностраннаго воспитанія русскихъ дѣтей. Въ другомъ выведенъ какой-то фонъ-Вольфъ-Кальбъ-Гаузовъ, гордящійся «достоинствомъ нѣмца, т. е. благородствомъ, чувствительностью и всегдашнимъ присутствіемъ духа». Россійскій Жилблазъ не могъ надивиться хвастовству и спеси этого нѣмецкаго пустомели. «Въ послѣдствіи времени», говоритъ онъ, «я узналъ, что многіе изъ сихъ спесивыхъ безумцевъ, не находя на родинѣ куска хлѣба, приходятъ въ Россію, нерѣдко съ котомкою за плечьми и въ лохмотьяхъ, и скоро, съ помощію такихъ же выходцевъ, какъ и они, подлостію, ласкательствами и всѣми низкими средствами, достаютъ себѣ выгодныя мѣста, и послѣ съ гордостію и безстыдствомъ презираютъ и тѣснятъ природныхъ Русскихъ. Тогда узналъ я, что мы въ гражданской образованности еще весьма далеки отъ другихъ націй, потому что такихъ примѣровъ нигдѣ не найдешь, кромѣ какъ у насъ». Нѣтъ сомнѣнія, что слова Чистякова и теперь вызовутъ сочувствіе многихъ; для современниковъ Нарѣжнаго они были еще понятнѣе и сочувственнѣе. Тогда не даромъ ходилъ анекдотъ объ одномъ лицѣ, которое, испытывая постоянныя неудачи на службѣ, будто бы пріѣхало въ столицу хлопотать о перемѣнѣ своей русской фамиліи на нѣмецкую.

Есть и другія мѣста, рекомендующія сатирическій элементъ романа. Антипатія къ такъ называемому свѣтскому кругу, съ его наружнымъ благоприличіемъ и внутренней растлѣнностью; заступничество за крестьянъ, тѣснимыхъ жестокосердыми владѣльцами; изображеніе присутственныхъ мѣстъ, отправлявшихъ неправосудіе.... все это является у Нарѣжнаго иногда съ цѣлью обличить дурное, а иногда съ цѣлью привлечь читателя къ хорошему. Забавна сцена на базарѣ между хранителемъ городскаго благочинія и Чистяковымъ, когда послѣдній не подѣлился съ нимъ завтра-

---

1) Сынъ Отечества, 1818, № 43.

комъ, и тотъ влѣпилъ ему около дюжины ударовъ плѣтью, приговаривая: «не чавкай, не нарушай тишины и порядка!» Столько же забавно, но больше правдоподобно распоряженіе канцеляриста Застойкина, который, исполняя данный ему ордеръ, вмѣсто убѣжавшаго купеческаго сына схватилъ попавшагося ему на дорогѣ Чистякова, нашелъ въ немъ всѣ прописанныя въ ордерѣ примѣты, обобралъ у него деньги и на вопросъ его: «развѣ мнѣ запрещено говорить въ свое оправданіе?» отвѣчалъ: «ни мало; въ ордерѣ о губахъ и языкѣ ни слова не сказано, и ты можешь дѣйствовать ими, сколь душѣ угодно». Встрѣчаются у Нарѣжнаго и такія картины, которыя, какъ сказано въ предисловіи, заставляютъ «пожилыхъ богомоловъ и богомолокъ, хотя притворно, застыдиться». Любопытно выслушать мнѣніе автора въ виду тѣхъ выговоровъ, которыхъ ожидалъ онъ отъ моральнаго пуризма: «можетъ быть, тоже дѣйствіе будетъ и надъ молодыми; но пусть молодые, почувствовавъ низость порока чужаго, краснѣютъ, не бывъ еще подвержены оному сами, нежели краснѣть въ лѣтахъ по сдѣланіи и когда уже будетъ мало случаевъ и силъ ему противиться».

Кромѣ «Россійскаго Жилблаза», Нарѣжный написалъ еще три романа: «Аристіонъ, или перевоспитаніе» (1822), «Бурсакъ» (1824) и «Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ» (1825). Общій ихъ недостатокъ—или запутанность, или неправдоподобіе сюжета; общее ихъ достоинство—частію комическое, частію сатирическое изображеніе нѣкоторыхъ дѣйствій и личностей.

«Аристіонъ» названъ «справедливою» повѣстью. Эта справедливость случайная. Мало ли что бываетъ на свѣтѣ? Не все анекдотическое можетъ служить предметомъ поэтическаго повѣствованія. А въ «Аристіонѣ» разсказанъ именно анекдотъ, и притомъ исключительный. Дѣйствіе происходитъ сначала въ столицѣ, едва не погубившей молодаго человѣка (Аристіона) своими соблазнами, а потомъ въ Украйнѣ, куда онъ былъ вызванъ нарочно-выдуманнымъ извѣстіемъ о смерти своихъ родителей. Въ деревнѣ, подъ надзоромъ мнимо-умершаго отца и его друга, совершается перевоспитаніе блуднаго сына: они приглашаютъ къ нему учителей, заставляютъ его читать книги, ведутъ съ нимъ назидательныя бесѣды. Послѣ годичнаго искуса, въ которомъ двадцатипятилѣтній Аристіонъ игралъ незавидную роль школьника, комедія оканчивается. Убѣдившись въ твердомъ поворотѣ сына на истинный путь, отецъ (бригадиръ Валеріанъ) объясняетъ ему благодѣтельный обманъ и въ заключеніе женитъ его на образованной дѣвушкѣ, дочери своего друга, какого-то графа Родіона, также украинскаго помѣщика. Не смотря на доброе намѣреніе повѣсти, легко замѣтить, что она испытываетъ

участь большей части нравоучительныхъ разсказовъ, то есть: ея мораль разногласитъ съ фактомъ. Въ завязкѣ говорится одно, а въ развязкѣ происходитъ другое. Завязка поучаетъ, что счастіе человѣческое не одно и тоже съ земными благами, а развязка самымъ дѣломъ, на судьбѣ главнаго лица доказываетъ, что если счастіе не заключается ни въ знатности рода, ни въ богатствѣ, ни въ почестяхъ, ни въ красотѣ, то, по крайней мѣрѣ, всѣ эти предметы — значительное число душъ, графское званіе, генеральскій чинъ, красавица жена—заключаются въ счастіи, какъ его необходимыя принадлежности. И потому читатель, сличая начало съ концемъ, недоумѣваетъ, чему меньше вѣрить—искренности ли нравоучителя, или искренности возрожденія, описаннаго повѣствователемъ. Между дѣйствующими лицами въ «Аристіонѣ» встрѣчаются при пана: Сильвестръ, Парамонъ и Тарахъ. Одинъ изъ нихъ страстный охотникъ, другой весельчакъ, третій — скаредъ, иронически названный «бережливымъ». Послѣдній особенно замѣчателенъ. У него слуга ходитъ въ лохмотьяхъ, а служанка босикомъ; онъ по каплямъ наливаетъ льняное масло въ пшнную кашицу; въ болѣзни не рѣшается ѣсть похлебку съ курицей и печеные яблоки; хотя богаче всѣхъ своихъ сосѣдей; не платитъ доктору за визиты и лекарства, и даже продаетъ зайца, подареннаго ему гостемъ. Ради сконидомства, онъ заманиваетъ крестьянскихъ коровъ, овецъ, куръ и гусей на свой кормъ, а потомъ сгоняетъ ихъ къ себѣ на дворъ, какъ вознагражденіе за потраву. Кромѣ этого случайнаго побора установлены имъ другіе, «христіанскіе»: «Буде въ праздничный день крестьяне захотятъ помолиться Богу въ церкви ближняго села, то прежде должны принести господину—кто курицу, кто утку, кто десятокъ яицъ, мѣрку меду, масла, сыру.... По приведеніи всего принесеннаго въ порядокъ и по надлежащей оцѣнкѣ, очередной крестьянинъ, на своей телѣгѣ, долженъ эту добычу везти въ ближайшій городъ, за двадцать верстъ, на продажу. Если ему не удастся продать по той цѣнѣ, какая назначена, то долженъ пополнить собственными деньгами, а буде заупрямится, то челядинцы придутъ на его дворъ и возьмутъ на господина то, что, по мнѣнію ихъ, вознаградитъ недоимку». Отклоняя всякія сравненія, можно сказать, что въ чертахъ этого малорусскаго Гарпагона, набросанныхъ Нарѣжнымъ, замѣчается фамильное сходство съ Гарпагономъ великорусскимъ, художественно представленнымъ въ лицѣ Плюшкина.

Въ «Бурсакѣ» главное лице (Неонъ Хлопотинскій) разсказываетъ свои черезъ-чуръ романическія похожденія: изъ мнимаго сына дьячка онъ, съ помощью разныхъ чудесъ, оказывается внукомъ малорусскаго гетмана. Дѣйствіе происходитъ въ Украйнѣ.

Неонъ — воспитанникъ духовнаго училища, бурсакъ. Описаніе бурсы, гдѣ онъ жилъ на казенномъ содержаніи, заведенныхъ въ ней порядковъ и обычаевъ, нравовъ ея учителей и учащихся составляетъ единственно-замѣчательную часть повѣсти. Здѣсь много вѣрныхъ, очень комическихъ сценъ изъ бурсацкой жизни, изображеніе которой достигло высшаго комизма подъ перомъ Гоголя. Но за Нарѣжнымъ остается честь почина въ ознакомленіи читателей съ предметомъ, до того почитавшимся недостойнымъ литературной сферы или каррикатурно выходившимъ на сцену въ однѣхъ театральныхъ пѣсахъ.

Знаменитый сподвижникъ Екатерины Великой, канцлеръ Безбородко, называлъ Малороссію страною прирожденныхъ повытчиковъ и секретарей. Подъ этимъ онъ разумѣлъ не только способность ея жителей къ юридической дѣятельности, но вмѣстѣ и неодолимую ихъ охоту къ сутяжничеству. Нигдѣ, конечно, глаголъ «позывать» (требовать къ суду) не употреблялся такъ часто, не приводился въ исполненіе такъ настойчиво и не оканчивался такимъ разореніемъ истцевъ и отвѣтчиковъ, какъ въ предѣлахъ благословенной Украйны. Малоруссы тягались какъ по необходимости, такъ еще изъ любви къ искусству, въ которомъ они большіе мастера. Ихъ процессы изумительны съ одной стороны ничтожностью поводовъ, съ другой — своею долговременностью. Десятилѣтняя ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ изъ-за слова «гусакъ» (¹) вовсе не выдумана; можно считать ее даже непреувеличенной. Эта страсть къ тяжбамъ, лежащая въ физіологическихъ особенностяхъ племени, развилась подъ вліяніемъ его исторической судьбы. Малоруссы отличаются стойкимъ упорствомъ. Выраженіе: «упрямъ какъ хохолъ», сдѣлалось почти пословицей. Въ этомъ свойствѣ есть и хорошая сторона: чувство самостоятельности, требованіе законной охраны и своему лицу, и своей собственности. То и другое, личность и имущество, приходилось въ теченіи многихъ лѣтъ защищать отъ польской справы иногда оружіемъ, а иногда гражданскимъ судомъ. Отъ давней привычки быть всегда на-сторожѣ, отстаивать свое добро, «угнѣздилась въ Малороссіи страсть къ тяжбамъ, это истинное порожденіе ада», какъ говоритъ Нарѣжный; «сама породила такъ чадъ и внучатъ и не выродится до дня страшнаго суда». Она-то составляетъ предметъ повѣсти «Два Ивана». Почтенные отцы взрослыхъ сыновей, Иванъ старшій (Зубарь) и Иванъ младшій (Хмара) ведутъ забавно-ожесточенную тяжбу съ почтеннымъ отцемъ взрослыхъ дочерей, Хари-

¹) Повѣсть Гоголя.

тономъ Занозой. Началась она изъ-за полдюжины кроликовъ, застрѣленныхъ послѣднимъ паномъ, и нѣсколькихъ десятковъ голубей, убитыхъ первыми. Половина повѣсти занята разсказомъ о непріятностяхъ, которыя сосѣди взаимно себѣ наносятъ: Харитонъ сжегъ у Ивановъ гумно, подкопалъ водяную мельницу и разорилъ пасѣку, а Иваны выжгли у Харитона цѣлое поле съ созрѣвшимъ хлѣбомъ, сожгли голубятню и подкопали двѣ вѣтряныя мельницы. За обоюдными пакостями слѣдуютъ позывы къ суду и самый судъ въ канцеляріяхъ, начинаясь съ низшей—сотенной, продолжаясь въ средней—полковой, и оканчиваясь въ высшей — войсковой. Разсказъ ведется веселымъ тономъ и возбуждаетъ комическій смѣхъ; ни одна сцена не кажется каррикатурною; прошенія тяжущихся и опредѣленія разныхъ судебныхъ инстанцій удовлетворяютъ читателя, какъ согласныя съ настроеніемъ фантазіи автора. Другая часть повѣсти описываетъ горькіе плоды ссоры, мировую пановъ и устройство ихъ дѣтей при посредствѣ благодѣтельнаго ихъ родственника, который у Нарѣжнаго словно изъ земли выростаетъ. Она не представляетъ интереса, потому что авторъ, талантливый въ разсказѣ о смѣшныхъ явленіяхъ жизни, преимущественно малорусской, не мастеръ вести и заканчивать интригу. Конецъ придумывается имъ всегда съ нравоучительною цѣлью, какъ бы для очищенія обязанности романиста, по тогдашнему на нее взгляду. Въ заключеніе скажемъ, что романы Нарѣжнаго, по предмету и грубой рисовкѣ, не могли нравиться всѣмъ читателямъ. Они, какъ замѣчено однимъ критикомъ, «обдаютъ насъ варенухою, и куда авторъ ни вводитъ насъ, все, кажется, не выходишь у него изъ корчмы»: посему-то и назвали его Теньеромъ русскаго романа, или Теньеромъ № 2, такъ какъ № 1 принадлежалъ А. Измайлову, Теньеру руской басни.

Повѣсти Бенитцкаго (1781 — 1809): «Ибрагимъ, или великодушный» (1807), «Бедуинъ» (1807), «На другой день» (1809), умныя по содержанію и замѣчательныя литературной отдѣлкой, доставили ему скорую извѣстность. Читатели и критики справедливо находили въ нихъ здравыя понятія, интересный сюжетъ, живой, остроумный разсказъ и чистый, пріятный языкъ. И теперь можно читать ихъ съ удовольствіемъ, какъ сочиненія несомнѣнно даровитаго человѣка. Онѣ принадлежатъ къ такъ называвшимся «восточнымъ» повѣстямъ, на которыя въ европейской литературѣ была мода, заимствованная потомъ и нашими писателями. Ихъ появленіе и господство объясняются, во-первыхъ, возможностью рѣшительнѣе высказывать истину, изображать, въ разсказѣ о чужихъ дѣйствіяхъ и лицахъ, современные недостатки своего об-

щества; второю причиною служило недовольство цивилизацiей, если она развивалась неправильно, и, въ слѣдствiе этого, стремленiе къ далекимъ народамъ, которые, не выходя изъ патрiархальнаго быта, не знали и печальныхъ явленiй европейской жизни. Бенитцкiй руководствовался первымъ побужденiемъ. Не русскiе сюжеты его разсказовъ имѣютъ значенiе формы, вымышлены какъ средство, ведущее къ извѣстной цѣли — нравоучительной истинѣ или сатирическому представленiю того, что совершалось передъ глазами автора. Бенитцкiй—разумный дидактикъ въ повѣсти. Его мораль—не дюжинная и меткая. Такъ небольшой разсказъ: «Бедуинъ» выставляетъ ошибочность людскаго мнѣнiя. Османъ, почитавшiйся образцомъ добродѣтельнаго человѣка, въ дѣйствительности былъ гордъ, скупъ, жестокосердъ и мстителенъ. Оскорбленный колкостью ответа въ спорѣ съ Бедуиномъ, спасшимъ его отъ смерти, онъ покинулъ своего спасителя въ аравiйской пустынѣ, на жертву всѣмъ бѣдствiямъ, и даже укралъ у него лошадь, чтобъ лишить его возможности настичь караванъ. «И судьба не наказала его?» заключаетъ авторъ. «Нѣтъ! онъ въ полномъ удовольствiи жилъ и, окруженный радостями, умеръ. Дiарбеккирцы воспоминаютъ объ немъ съ сожалѣнiемъ; отцы и матери ставятъ его въ примѣръ дѣтямъ своимъ. Увы! какъ много потребно знать, какъ долго надобно изслѣдовать человѣка, дабы не ошибиться и въ самой его добродѣтели!» Дѣйствiе повѣсти: «На другой день» происходитъ въ Индiи. Это — остроумная сатира на вредныя послѣдствiя легковѣрности властителей, себялюбiя приближенныхъ къ нимъ лицъ, лицемѣрства и любостяжанiя браминовъ, изувѣрства факировъ.

Стихотворныя сказки И. Дмитрiева, переведенныя изъ Лафонтена, Флорiана и Вольтера, почитались наилучшимъ украшенiемъ его литературнаго вѣнка, быстро и не трудно имъ прiобрѣтеннаго. Онъ былъ единственнымъ въ свое время сказочникомъ, не имѣвшимъ соперниковъ. Карамзинъ признавалъ его дарованiе всего болѣе способнымъ къ этому роду стихотворенiй. Въ ближайшее время къ «Письмамъ Русскаго Путешественника», «Бѣдной Лизѣ» и «Натальѣ, боярской дочери» ничто не читалось съ такимъ удовольствiемъ и не заслуживало такихъ похвалъ критики, какъ «Модная жена» (1792) и «Причудница» (1795), переведенная изъ Вольтера (La Begueule). Это понятно. Литературное произведенiе прежде всего рекомендуется своими внѣшними качествами; а въ сказкахъ Дмитрiева чистый и оживленный языкъ, свободная и плавная версификацiя. Кто же тогда лучше его владѣлъ стихомъ? Кто иной дѣлилъ съ Карамзинымъ славу искуснаго стилиста? Безъ

хорошаго слога книга не войдетъ въ свѣтъ. Къ внутреннимъ отличіямъ разсказа относятся вкусъ, остроуміе, приличіе тона. Поэтическая его стихія обнаруживается нѣкоторыми описаніями, которыя выказываютъ извѣстную степень воображенія, хотя не творческаго, а работающаго, но работающаго искусно подъ внушеніемъ ума. Таковы, напримѣръ, въ Причудницѣ, картины дворца, сада и другихъ чудесъ резиденціи волшебницы Всевѣды, нарисованныя не безъ подражанія Душенькѣ; таково же обращеніе къ ротмистру Брамербасу, въ началѣ сказки.

Какъ баснописецъ, Дмитріевъ общимъ мнѣніемъ былъ поставленъ въ «русскаго Лафонтена», хотя почти всѣ его басни переведены съ французскаго (другихъ языковъ онъ не зналъ). Созданное не имъ онъ разсказывалъ на своемъ языкѣ, почему главное ихъ достоинство заключается въ разсказѣ. Онѣ хороши на столько, на сколько знакомятъ насъ съ баснями Лафонтена, Флоріана, Ламотта, Арно... Но Сумароковъ и Хемницеръ также переводили; однакожъ они не пользовались такою славой, хотя перваго и величали «русскимъ Лафонтеномъ». Значитъ, они, какъ переводчики, уступали переводчику-Дмитріеву, который владѣлъ своимъ искусствомъ. Это искусство пріобрѣтается не всякимъ, потому что требуетъ особенныхъ дарованій. Весьма часто оно не удается самобытному поэту, именно въ силу его самобытности, и на оборотъ: весьма часто въ немъ успѣваетъ подражатель, именно по отсутствію творческаго дара. Въ чемъ же достоинство переводовъ Дмитріева? Его вѣрно оцѣнилъ Мерзляковъ, сказавъ: «Дмитріевъ отворилъ баснямъ двери въ просвѣщенныя, образованныя общества, отличавшіяся вкусомъ и языкомъ». Хорошій вкусъ и хорошій языкъ составляютъ первыя качества басенъ Дмитріева. Сочиненія, представляющія то и другое, являются и въ кабинетѣ литератора и на уборныхъ столикахъ свѣтскихъ дамъ, какъ замѣтилъ одинъ критикъ; по такимъ сочиненіямъ судятъ объ успѣхахъ литературы, о степени образованности (¹). И потому неудивительно, что басни Дмитріева равно служили и литературному, и педагогическому интересу. Имъ всегда было готово почетное мѣсто и въ сборникѣ образцовыхъ произведеній словесности, и въ книгахъ для дѣтей. Тотъ выказалъ бы крайнее невѣжество, кто бы не зналъ такихъ басней, какъ Дубъ и Трость, Два голубя, Чижикъ и Зяблица, Слѣпецъ и Разслабленный, Мышь, удалившаяся отъ свѣта, Лиса-проповѣдница, Пѣтухъ, Котъ и Мышенокъ, и другія.

Вопросъ о томъ: поэтъ или не поэтъ Дмитріевъ? рѣшался и при жизни его и послѣ его смерти. А. Измайловъ называлъ его

¹) Каченовскій, въ разборѣ сочиненій Дмитріева (В. Евр. 1806 г., №№ 8 и 9).

«хорошимъ, настоящимъ версификаторомъ» (1); это мнѣніе подробнѣе было высказано Н. Полевымъ (2). Но едва-ли не лучшее рѣшеніе вопроса находится въ Запискахъ самого Дмитріева, открыто исповѣдавшихъ характеръ его стихотворства, которое съ большими перерывами шло отъ 1777 до 1810 г., всего въ теченіи двадцати лѣтъ:

Вся моя забота (*въ первые годы авторства*) была только объ томъ, чтобъ стихи мои были менѣе шероховаты, чѣмъ у многихъ. Одну только плавность стиха и богатую риѳму я считалъ красотой и совершенствомъ поэзіи.

Привыкнувъ въ молодости писать урывками, я не могъ уже и въ зрѣломъ возрастѣ высидѣть за бумагой около часа: нетерпѣливъ былъ обдумывать предпринимаемую работу. При малѣйшемъ упорствѣ риѳмы, при малѣйшемъ затрудненіи въ краткомъ и ясномъ изложеніи мыслей моихъ, я бросалъ перо въ ожиданіи счастливѣйшей минуты: мнѣ казалось унизительнымъ ломать голову надъ парою стиховъ и насиловать самого себя, или самую природу.

Отъ того, можетъ быть, и примѣчается, даже самимъ мною, въ стихахъ моихъ скудость въ идеяхъ, болѣе живости, украшеній, чѣмъ глубокомыслія и силы. Отъ того послѣдовало и то, что ни въ которомъ изъ лучшихъ моихъ стихотвореній нѣтъ обширной основы.

Какъ бы то ни было, но я долженъ быть признателенъ къ счастливой звѣздѣ своей: едва ли кто изъ моихъ современниковъ проходилъ авторское поприще съ меньшею заботою и большею удачею.

Прим. Дмитріевъ, Иванъ Ивановичъ (1760—1837), родился Симбирской губерніи въ Сызранскомъ уѣздѣ. Весьма незначительное образованіе, полученное въ частныхъ пансіонахъ (въ Казани и въ Симбирскѣ), а потомъ въ полковой школѣ (въ Петербургѣ), онъ по возможности восполнилъ чтеніемъ книгъ на русскомъ и французскомъ языкахъ и знакомствомъ съ литераторами, московскими и петербургскими. Четырнадцати лѣтъ (1774) поступилъ въ гвардію въ семеновскій полкъ. Свободное отъ строевой службы время посвящалъ литературѣ. Онъ началъ писать стихи, еще не зная версификаціи, и образцами себѣ выбралъ Сумарокова и Хераскова. Первое его стихотвореніе: «Надпись къ портрету Кантемира», нап. въ «Ученыхъ Вѣдомостяхъ», издававшихся Н. Новиковымъ (1777). «Я стихотворствовалъ», пишетъ онъ въ своихъ «Запискахъ», «нѣсколько лѣтъ посреди черствой службы, въ малыхъ чинахъ, между строями и караулами, въ обращеніи съ товарищами, почти необразованными; въ уголкѣ тѣснаго, низменнаго домика, чрезъ перегородку, раздѣляющую меня съ братомъ, въ шуму входящихъ и выходящихъ; не бывъ почти никогда, ниже на двѣ минуты, въ совершенномъ уединеніи». Кромѣ того, Дмитріевъ занимался переводами съ французскаго небольшихъ прозаическихъ сочиненій и отдавалъ переводы книгопродавцамъ, которые платили ему за то книгами. Въ 1781 г. онъ познакомился съ землякомъ своимъ, Карамзинымъ, поступившимъ на службу также въ гвардію. Связь молодыхъ лю-

---

1) Разборъ 5-го изданія сочиненій Дмитріева (Благонамѣренный, 1819, № 3).
2) Разборъ сочиненій Дмитріева (Очерки русской литературы, ч. 2-ая, 1839).

дей, укрѣпленная единствомъ интересовъ, продолжалась слишкомъ сорокъ лѣтъ, до самой смерти Карамзина, котораго Дмитріевъ называлъ своимъ «единственнымъ» другомъ. Съ изданія «Московскаго журнала» начался болѣе зрѣлый періодъ стихотворства Дмитріева: помѣщенныя въ этомъ журналѣ пѣсня «Голубокъ» и сказка «Молодая жена» доставили ихъ автору извѣстность. 1794-ый годъ Дмитріевъ называетъ своимъ лучшимъ «піитическимъ» годомъ; онъ провелъ его посреди семейства въ Сызранѣ или въ странствованіяхъ по низовому краю, и написалъ слѣдующія піесы: «Гласъ патріота», «Ермакъ», Чужой толкъ», «Воздушныя башни», «Причудницу» и др. Подражая «Бездѣлкамъ» Карамзина, издалъ въ 1795 г. «И мои бездѣлки». Въ 1796 г. вышелъ въ отставку съ чиномъ полковника, но въ слѣдующемъ получилъ мѣсто оберъ-прокурора въ сенатѣ и званіе младшаго товарища министра въ новоучрежденномъ департаментѣ удѣльныхъ имѣній, которыя должности и занималъ до 1 января 1800 г. Чувства при свиданіи съ московскими друзьями, послѣ долгой съ ними разлуки, выразилъ онъ въ «Посланіи», одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній. Два года за тѣмъ проводилъ онъ то въ деревнѣ у родителей, то въ Москвѣ на одной квартирѣ съ Карамзинымъ, то въ Петербургѣ. Съ 1802 г. поселился въ Москвѣ, сообщая Карамзину басни и другія стихотворенія для «Вѣстника Европы». Въ 1806-мъ былъ назначенъ сенаторомъ; въ 1807-мъ, гр. Завадовскій, министръ народнаго просвѣщенія, предлагалъ ему званіе попечителя московскаго университета, на мѣсто умершаго М. Н. Муравьева, но Дмитріевъ, сознавая недостатокъ нужнаго для того образованія, отказался отъ предложенія. Въ 1810 г. назначенъ министромъ юстиціи, которымъ и оставался до 30 августа 1814 г. По увольненіи переѣхалъ снова въ Москву. Въ 1816 г., при учрежденіи коммиссіи для пособія разореннымъ въ Москвѣ отъ пожара и непріятеля, былъ назначенъ въ ея предсѣдатели. Труды его по этой обязанности были награждены (1818 и 1819 гг.) чиномъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и орденомъ св. Владиміра 1-ой степени (до того Дмитріевъ уже имѣлъ св. Анны 1-ой степени и св. Александра Невскаго). Съ тѣхъ поръ, въ теченіе 28 лѣтъ, Дмитріевъ постоянно жилъ въ Москвѣ, иногда выѣзжая изъ нея только на родину или въ Петербургъ.

«Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Дмитріева» исчислены М. Н. Лонгиновымъ (Рус. Архивъ 1863, стр. 710—720); дополненіе къ нимъ (ib. 1864, стр. 1251—1255). Здѣсь же указаны критическія и біографическія статьи о немъ; лучшія изъ нихъ: Каченовскаго (В. Евр. 1806, №№ 8 и 9), кн. П. А. Вяземскаго (Извѣстіе о жизни и стихотвореніяхъ И. И. Дмитріева, при 6-мъ изд. его стихотвореній, 1823), Н. Полеваго (Очерки русской литературы, 1839, ч. 2) и М. Дмитріева (Мелочи изъ запаса моей памяти).—Записки Дмитріева, съ приложеніями и примѣчаніями, изданы 1866 г., подъ заглавіемъ: «Взглядъ на мою жизнь». Много свѣдѣній о немъ находится въ письмахъ къ нему Карамзина, изданныхъ 2-мъ отдѣленіемъ Академіи Наукъ (1866).

§ 15. Первая четверть нынѣшняго вѣка останется памятною въ исторіи нашего театра и драмы. Замѣчательные ихъ успѣхи обусловились одновременнымъ появленіемъ талантливыхъ артистовъ и писателей. На петербургской сценѣ блистали Яковлевъ и Семенова,

а потомъ Каратыгинъ и Колосова (въ послѣдствіи Каратыгина); на московской славились Померанцевъ, Шушеринъ, Плавильщиковъ, Сандуновъ и Сандунова, и позднѣе Мочаловъ, первоклассный трагикъ, и Щепкинъ, первоклассный комикъ. Въ средѣ ихъ, какъ живое преданіе начальной эпохи русскаго театра, стоялъ Дмитревскій, руководствуя своею опытностью молодыхъ и немолодыхъ актеровъ. Взаимнодѣйствіе сценическихъ талантовъ и драматическихъ авторовъ естественно и несомнѣнно. Драма пишется для представленія, успѣхъ котораго невозможенъ безъ хорошихъ исполнителей. Озеровъ дѣлилъ съ Семеновой дань слезъ и рукоплесканій, вызванныхъ его трагедіями, и «шумный рой комедій» Шаховскаго не возбудилъ бы и половины смѣха безъ геніальной игры Щепкина. Если драматургъ образуетъ артиста, то и артистъ своей игрою дѣйствуетъ на него образовательно. По крайней мѣрѣ нельзя отвергать того факта, что драматическое творчество во многихъ случаяхъ принимало къ соображенію средства и способности извѣстныхъ сценическихъ сюжетовъ.

Но оживленный ходъ сценической и драматической дѣятельности немыслимъ безъ общественнаго къ ней сочувствія, которое, возбуждая и поддерживая ее, служитъ главнѣйшею причиною ея развитія. Въ публикѣ десятыхъ и двадцатыхъ годовъ усиленно распространялся вкусъ къ благороднымъ зрѣлищамъ, отбивающимъ охоту отъ зрѣлищъ неблагородныхъ, отъ грубаго времепровожденія. Изъ разныхъ слоевъ ея стало выдѣляться большее противъ прежняго количество лицъ, для которыхъ художественный интересъ занялъ мѣсто въ ряду потребностей, необходимыхъ человѣку образованному. Многіе, даже люди серьезные и дѣловые, предавались театру не какъ забавѣ только, но и какъ важному занятію. Литераторы, по старой памяти, видѣли въ немъ училище добрыхъ нравовъ, исправителя пороковъ и заблужденій. Сужденія о піесахъ, о постановкѣ ихъ на сцену и выполненіи служили предметомъ разговоровъ какъ во время самаго спектакля, такъ и на обѣдахъ или вечернихъ собраніяхъ, литературныхъ и нелитературныхъ. Съ цѣлью очищать вкусъ публики и направлять ея приговоры былъ еженедѣльно издаваемъ «Драматическій Вѣстникъ» (1808), заключающій въ себѣ два отдѣла: правила драматическаго искусства, извлеченныя изъ лучшихъ иностранныхъ писателей, и, согласно съ правилами, отчеты о піесахъ и ихъ выполненіи. По словамъ этого журнала, отечественный театръ сталъ обращать на себя вниманіе людей даже великосвѣтскихъ, пріученныхъ иностранными воспитателями презрительно отзываться о произведеніяхъ русскаго ума: они уже не стыдились признаваться, что плакали

въ «Эдипѣ» и «Пожарскомъ», смѣялись въ «Недорослѣ» и «Модной лавкѣ», и даже подшучивали надъ слѣпыми поклонниками чужеземщины. Въ подражаніе столичнымъ театрамъ заводились провинціальные, по губернскимъ городамъ, на содержаніи антрепренеровъ, и частные или домашніе, которые устраивались вельможами и зажиточными помѣщиками изъ крѣпостныхъ людей. Труппы тѣхъ и другихъ иногда доставляли столицамъ отличныхъ артистовъ. Въ числѣ посѣтителей театра явились страстные его любители, такъ называемые «театралы», къ которымъ принадлежали сановники на-ряду съ малочиновными, пожилые на-ряду съ молодежью. Искусство читать драматическую піесу, декламировать изъ нея наизусть монологи и даже цѣлыя сцены уважалось высоко; благодаря ему, передъ новичками въ литературѣ отворялись двери опытныхъ литераторовъ: С. Аксаковъ, С. Жихаревъ и П. Араповъ представляютъ тому доказательство. Послѣдній, не имѣя ничего для чтенія, отрекомендовалъ себя князю Шаховскому тѣмъ, что продекламировалъ у него на вечерѣ «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ». Поденныя записки С. П. Жихарева (Дневникъ чиновника) почти на-половину заняты театральными извѣстіями и отчетами. Какъ свидѣтельство рѣдкой театроманіи, хранилась у него коллекція ежедневныхъ афишъ за тридцать лѣтъ сряду! Для записнаго театрала, не пассивнаго, а дѣятельнаго, сочинить піесу, прочесть ее въ кругу знатоковъ драматическаго искуства и выслушать ихъ мнѣніе, наконецъ видѣть ея на сценѣ, составляло три постепенно восходившія ступени наслажденія.

Любовью къ театру отличались и лица, стоявшія при его управленіи. Директоры: Нарышкинъ и Майковъ въ Петербургѣ, Кокошкинъ въ Москвѣ, много сдѣлали для его совершенствованія. Особенную пользу оказалъ ему князь Шаховской, членъ театральной конторы по репертуарной части: онъ заботился не только о разнообразіи репертуара, но и объ улучшеніи сценическаго искусства. Его стараніемъ учреждена театральная школа для формированія «молодой труппы», обновлявшей составъ главной труппы замѣчательными дарованіями. При выборѣ и постановкѣ новыхъ піесъ, при разучиваніи ролей начальство и артисты дорожили его опытностью. Онъ распоряжался какъ знатокъ дѣла, возбуждая противъ себя много непріязней, изъ которыхъ иныя были заслужены, но не измѣняя своей заботливости объ успѣхахъ любезнаго ему искусства. Кокошкинъ соединялъ въ себѣ знаніе драмы съ сценическимъ талантомъ: онъ былъ авторъ, декламаторъ и отличный по тогдашнему времени актеръ. Московскіе старожилы помнятъ его классическую игру въ благородныхъ спектакляхъ, на которыхъ

временами являлась и Семенова, вышедшая замужъ за князя И. А. Гагарина. Домъ Шаховскаго былъ сборнымъ мѣстомъ образованныхъ любителей театра — Гнѣдича, Лобанова, И. Крылова, Катенина, Хмельницкаго, Жандра, Грибоѣдова, помогавшихъ ему своими знаніями. Туда приносилъ авторъ новую піесу читать и выслушивать замѣчанія объ ея достоинствахъ и недостаткахъ; тамъ же оцѣнивалась игра артистовъ или обсуждались мѣры для лучшей постановки преждеигранныхъ трагедій и комедій. Успѣхами русской сцены интересовался и Державинъ, на закатѣ своего таланта пустившійся въ сочиненіе драматическихъ піесъ. Но слава наиболѣе образованнаго знатока изящныхъ произведеній справедливо принадлежала А. Н. Оленину, президенту Академіи художествъ. Преданіе говоритъ, что въ его домѣ сосредоточивалось все, что являлось въ столицѣ замѣчательнаго по искусствамъ и литературѣ. У него впервые Озеровъ читалъ своего «Эдипа въ Аѳинахъ» и по его же совѣту написалъ «Фингала».

Наконецъ сильными поводами къ развитію сцены служили съ одной стороны права, данныя артистамъ, а съ другой отношеніе къ нимъ общества и литераторовъ. Въ 1806 г. театры поступили въ вѣдомство Императорской театральной дирекціи; это обрадовало и артистовъ, и драматическихъ авторовъ, ибо тѣ и другіе опредѣленно знали, съ кѣмъ они будутъ имѣть дѣло въ своихъ занятіяхъ. За извѣстный срокъ службы была положена актерамъ и актрисамъ пенсія, при назначеніи которой не пропадало время, проведенное ими у содержателей частныхъ театровъ. Окладъ ихъ жалованья возвышался соразмѣрно возвышенію ихъ извѣстности, такъ что наиболѣе извѣстные (Семенова, Колосова, Яковлевъ, Каратыгинъ) не имѣли права жаловаться на скудость средствъ для жизни. Привлекая къ себѣ сочувствіе публики талантомъ, становясь ея любимцемъ на сценѣ, артистъ дѣлался предметомъ общественнаго вниманія и внѣ сцены. Онъ принимался въ образованные круги, пользовался лаской и покровительствомъ вліятельныхъ лицъ. Въ Москвѣ князь М. А. Долгорукій особенно любилъ Плавильщикова, приглашая его къ своимъ обѣдамъ, вмѣстѣ съ Померанцевымъ и Зловымъ. На вечерахъ князя Шаховскаго, въ Петербургѣ, военный генералъ-губернаторъ графъ М. А. Милорадовичъ, одинъ изъ героевъ 1812 г., весьма часто дѣлилъ компанію съ присутствовавшими тамъ же артистами. Послѣдніе много выигрывали отъ своего общенія съ литераторами: оно восполняло ихъ чрезвычайно-бѣдную образованность и въ тоже время отучало отъ обычаевъ грубаго невѣжества, благодаря которому «актеръ» и «гуляка» означали одно и тоже. Первоклассные сценическіе сю-

жеты, Семенова и Яковлевъ, были драгоцѣнные самородки, не обдѣланные ученіемъ. Яковлева даже товарищи называли «неучемъ». Своими успѣхами они одолжены были всего болѣе природѣ. Инстинктивно выполняли они роли, не сознавая ни историческаго, ни психологическаго ихъ значенія. Они поражали публику вдохновенными «порывами», а не полнотою стройно-цѣлаго, художественно-обдуманнаго представленія. И для общаго образованія такихъ прирожденныхъ актеровъ, и для ихъ спеціальнаго образованія въ сценическомъ искусствѣ была необходима помощь разумныхъ наставниковъ, которые и нашлись въ литературной средѣ. Гнѣдичъ занялся обученіемъ Семеновой, Катенинъ давалъ совѣты Каратыгину и Колосовой. Они, употребляя техническія выраженія, «проходили» роли съ своими protégés или protégées, «ставили» ихъ на трагическія или комическія амплуа. Разсказываютъ, что Гнѣдичъ училъ Семенову читать «съ-голосу», на первое время тяжело добиваясь отъ своей ученицы толковой, согласной съ смысломъ рѣчи декламаціи. И однакожъ — такова сила таланта — игра Семеновой, проникнутая внутреннимъ огнемъ и чувствомъ, заставляла зрителей плакать и громомъ рукоплесканій выражать свой единодушный восторгъ. Другими знаками общественнаго одобренія служили вызовы артистовъ на сцену, сначала по окончаніи спектакля, а потомъ и непосредственно за нѣкоторыми сценами, патетическими или комическими. На провинціальныхъ театрахъ иногда оказывалось болѣе реальное вниманіе игравшимъ: актеру или актрисѣ бросали на сцену, во время самаго представленія, кошелекъ съ деньгами, собранными заранѣе или тутъ же въ антрактѣ. Особенное покровительство какому-нибудь таланту, желаніе выдвинуть его впередъ, дать ему первенствующее мѣсто на сценѣ, иногда поселяло непріятности между артистами, а иногда не оставалось безъ послѣдствій и для самого покровителя. Избѣгая интригъ, Семенова и Колосова принуждены были временно покинуть сцену. Катенину, расположенному къ Колосовой и нерасположенному къ Семеновой, запрещено было посѣщать театръ въ то время, когда послѣдняя на немъ играла, а потомъ онъ былъ высланъ изъ Петербурга въ свою деревню, гдѣ и провелъ десять лѣтъ (1).

---

1) О состояніи театра въ царствованіе Александра I см.: «Записки Современника (С. П. Жихарева) съ 1805 по 1819 г.» Часть 1—«Дневникъ студента» (1859); часть 2—«Дневникъ чиновника» (От. Зап. 1855, №№ 4, 5, 7, 8, 9 и 10) его же «Воспоминанія стараго театрала» (Отеч. Зап. 1854, № 10); «Яковъ Емельянычъ Шушеринъ», С. Аксакова (Семейная хроника и воспоминанія); его же «Литературныя и театральныя воспоминанія» (Рус. Бесѣда 1856, кн. 4); «Лѣтопись русскаго театра». П. Арапова (1861).

Въ драматической поэзіи шли рядомъ два направленія: одно выражалось быстрымъ развитіемъ вкуса къ мѣщанской драмѣ, появившейся у насъ во второй половинѣ прошлаго вѣка ([1]); другое держалось французско-классической трагедіей и комедіей.

Репертуаръ драмы состоялъ преимущественно изъ піесъ Коцебу, которыя стали появляться на русской сценѣ въ послѣднихъ годахъ XVIII столѣтія. Онъ былъ въ страшной модѣ. Нѣкоторыя его піесы: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе» (1792), «Сынъ любви» (1795), «Гусситы подъ Наумбургомъ» (1807), давались очень часто и всегда съ чрезвычайнымъ успѣхомъ. Первыя двѣ оставались на сценѣ слишкомъ тридцать лѣтъ, не теряя интереса для зрителей. Для обозначенія «модныхъ драмъ», какъ тогда назывались драмы Коцебу, водворившіяся на сценахъ петербургской и московской, было выдумано слово «коцебятина»:

Одинъ лишь *Сынъ любви* здѣсь трогаетъ сердца!
Гусситы, Попугай ([2]) предпочтены *Сорену* ([3])
И *коцебятина* одна теперь на сценѣ ([4]).

Коцебу не только обогащалъ репертуаръ, но и доставлялъ публикѣ занимательное чтеніе. Собраніе театральныхъ его произведеній вышло въ нѣсколькихъ переводахъ, и каждый переводъ имѣлъ по нѣскольку изданій. Кромѣ того почти каждая піеса печаталась отдѣльно. Блистательный успѣхъ Коцебу соблазнилъ и нашихъ авторовъ; явились оригинальныя драмы, въ подражаніе нѣмецкимъ: Н. Ильинъ написалъ «Лизу или торжество благодарности» (1803) и «Великодушіе или рекрутскій наборъ» (1804); В. Ѳедоровъ — «Лизу или слѣдствія гордости и обольщенія» (1804); Ѳ. Ивановъ—«Семейство Старичковыхъ, или за Богомъ молитва, а за царемъ служба не пропадаютъ» (1808). Нѣкоторыя изъ этихъ піесъ производили чрезвычайное впечатлѣніе и доставляли ихъ сочинителямъ извѣстность.

Вмѣстѣ съ сочувствіемъ публики, нѣмецкая драма возбуждала негодованіе тѣхъ литераторовъ, которые въ классической трагедіи и комедіи французовъ видѣли идеалъ драматическаго искусства. Противники Коцебу большею частію были тѣ самыя лица, которымъ не могъ угодить Карамзинъ своею дѣятельностью и которыя потомъ наполнили собою «Бесѣду»: явленіе понятное, объясняемое происхожденіемъ слезныхъ комедій, такъ какъ онѣ, по отношенію къ

---

[1]) Ист. Рус. Слов. I.

[2]) Драма Коцебу (1796).

[3]) Трагедія Николева, не допущенная на театръ за нѣкоторыя тирады противъ властителей.

[4]) Сатира кн. Д. Горчакова (Ист. Христ. II).

французской трагедіи, тоже, что «Бѣдная Лиза» относительно классико-эпическихъ повѣствованій. Желаніе противодѣйствовать успѣхамъ Коцебу и вмѣстѣ охранять преданія строгаго классицизма служило главнѣйшею причиною основанія «Драматическаго Вѣстника». Планъ театральнаго журнала съ такою цѣлью задуманъ впервые кн. Шаховскимъ, подобравшимъ издателя и сотрудниковъ одного съ нимъ образа мыслей—Марина, Писарева, Д. Языкова, И. Крылова. «Вѣстникъ» состоялъ изъ двухъ отдѣловъ: одинъ переводами изъ иностранныхъ теоретиковъ, преимущественно Вольтера, напоминалъ законы псевдоклассической драмы; другой велъ войну съ драмами нѣмецкими. Въ каждомъ почти нумерѣ восхвалялись свѣтила французской трагедіи и комедіи, и раскрывались нелѣпости мѣщанскихъ трагедій и слезныхъ комедій. Піесы Коцебу и подражателей его подвергались двойной атакѣ: со стороны ихъ содержанія, вреднаго для нравственности, и со стороны нарушенія французской піитики, портящаго хорошій вкусъ. Названіе комедій «слезными» сочтено вопіющимъ противорѣчіемъ, безсмыслицей; авторы ихъ въ насмѣшку провозглашены траги-комическими или комико-трагическими, неспособными производить ни истинно-забавнаго, ни истинно-трогательнаго. Отъ «Евгеніи» (Бомарше) ведется начало современнаго упадка драматической словесности, предсказаннаго Вольтеромъ. Критика «Ненависти къ людямъ» (переведенная съ французскаго) утверждаетъ, что эта піеса причинила много разводовъ и, разстроивъ много свадьбъ, оказалась не менѣе пагубною и для искусства: успѣхъ ея завалилъ театръ драмами подобнаго же разбора и сочиненія великихъ писателей (французскихъ) забывались для глупыхъ зарейнскихъ игрищъ. Въ томъ же тонѣ выражался кн. Горчаковъ и о нашей сценѣ въ упомянутой сатирѣ.

Походъ «Драматическаго Вѣстника» противъ піесъ Коцебу, безнравственности и дурнаго вкуса, не достигъ своей цѣли: онѣ продолжали болѣе и болѣе интересовать публику. Напрасно его издатели ожидали другихъ послѣдствій. Драма, въ тѣсномъ смыслѣ мѣщанскихъ трагедій, хотя у насъ была заноснымъ товаромъ, а не историческимъ явленіемъ, какъ на западѣ, однакожъ раздвигала границы репертуара, замкнутаго дотолѣ въ области французской Мельпомены и Таліи. Она возбуждала сочувствіе общечеловѣческимъ содержаніемъ, доступнымъ сердцу каждаго зрителя. Если бы критика «Вѣстника» доказывала, что это содержаніе въ трогательныхъ драмахъ Ифланда, Шредера и Коцебу захватывается мелко и представляется не художественно, тогда она могла бы назваться справедливою; но она говорила совсѣмъ не то: она безусловно отвергала мѣщанскія драмы, какъ незаконный видъ драматической

поэзіи, и впечатлѣніе, ими производимое, силилась объяснить единственно любовью толпы къ каррикатурамъ и нелѣпостямъ. Въ ихъ сценическомъ успѣхѣ она не замѣчала особенной пользы, которую онѣ приносили расширенію взглядовъ на поэзію вообще, ощутительно показывая, что не въ однихъ французскихъ трагикахъ спасеніе нашего театра, и слѣдовательно скорѣе освобождая большинство отъ пристрастія къ псевдоклассицизму, отъ вѣры въ его поэтическое единовластіе. Можно сказать, что театръ первый подкапывалъ у насъ основы французской эстетики, и не его вина, если наши литературные теоретики и критики закрывали глаза на очевидный фактъ. Другое освобожденіе совершалось въ сценической игрѣ, мало по малу отучая ее отъ преданій и обычаевъ французской сцены и пріучая къ простотѣ, естественности, свободѣ. Величественная поступь, размѣренныя движенія, пѣвучая дикція, соблюденіе приличныхъ формъ въ самомъ разгарѣ трагической страсти, всего менѣе допускающей мысль о какомъ-либо приличіи, не имѣютъ мѣста въ слезныхъ комедіяхъ: они вызвали бы смѣхъ тамъ, гдѣ дѣйствуютъ обыкновенные смертные, а не герои Корнеля и Расина. Кромѣ того, самое развитіе, постепенное расширеніе и осложненіе репертуара необходимо слѣдовало за развитіемъ общественнаго вкуса къ театру. Когда театральныя зрѣлища становятся уже не рѣдкой, такъ сказать праздничной, забавой, а частымъ, почти ежедневнымъ удовольствіемъ многихъ, когда изъ предмета роскоши они переходятъ въ предметъ потребности, тогда, конечно, является настоятельная забота о разнообразіи репертуара. Самое лучшее, безпрерывно повторяемое, наконецъ прискучитъ. Мольеръ, Корнель, Расинъ, Вольтеръ, Кребильонъ.... все это уже было переиграно и пересмотрѣно. Другихъ, подобныхъ имъ, писателей не являлось. Откуда же взять новаго, хотя бы въ томъ же родѣ? Противники мѣщанской драмы видятъ низкую пробу ея поэтическаго достоинства въ томъ, что она легко сочиняется. Но эта легкость — сущій кладъ въ томъ случаѣ, когда предстоитъ безотлагательная нужда въ обогащеніи репертуара. Сочиненіе героической трагедіи обставлено многими трудностями, изъ которыхъ только талантъ выходитъ съ счастливымъ успѣхомъ; переводчику ея также необходима извѣстная степень поэтическаго дарованія, кромѣ знанія языка и умѣнья владѣть стихомъ: поэтому не было физической возможности часто угощать публику піесами классическаго стиля. А между тѣмъ публикѣ некогда ждать нарожденія искусныхъ авторовъ и переводчиковъ: она требуетъ зрѣлищъ и зрѣлищъ. Нельзя отказать ей въ такомъ законномъ требованіи, и вотъ Коцебу, написавшій болѣе двухъ сотъ театральныхъ піесъ, очень кстати явился

на пополненіе и оживленіе нашего репертуара. Если онъ легко производилъ ихъ, то еще легче было переводить ихъ. Не маловажнымъ достоинствомъ «коцебятины» служила и ея сценическая удобоисполнимость. Въ первенствующихъ лицахъ классическихъ трагедій должны выступать отличные артисты; актеръ второстепенный непремѣнно роняетъ ихъ, а посредственность становится въ нихъ невыносимою. Напротивъ, и неперноклассные сценическіе сюжеты могутъ съ успѣхомъ представлять главныя лица мѣщанскихъ драмъ, не имѣющія ни величія, прирожденнаго героямъ Корнеля и Вольтера, ни патетическаго напряженія, изъ котораго эти герои не выходятъ въ теченіе пяти актовъ.

На основаніи высказаннаго, мы считаемъ рѣшительнымъ успѣхомъ появленіе драмъ въ нашей литературѣ и на сценѣ, равно какъ и возбужденный ими интересъ. Оригинальныя піесы того же рода были новымъ шагомъ впередъ, какъ выраженіе общечеловѣческаго содержанія въ національной формѣ. Попытки оказывались не вполнѣ удачными въ поэтическомъ отношеніи: онѣ часто нарушали законъ правдоподобія, такъ что критикѣ легко было разглядѣть живую нитку, которою авторъ сшивалъ оба элемента— общечеловѣческій и русскій. И самые зрители могли, напримѣръ, замѣтить въ драмѣ Ильина: «Лиза или торжество благодарности», что крестьянка выражается лучше иной благовоспитанной дѣвицы и разсуждаетъ не хуже иного профессора, или что отставной солдатъ Кремневъ изъ героическаго великодушія отказывается отъ дочери своего полковника. Но эти и подобныя имъ несообразности, отъ которыхъ несвободна и «Бѣдная Лиза» Карамзина, доказываютъ только неосмотрительное подражаніе автора иностраннымъ образцамъ, допустившимъ въ драму моральное резонерство. По крайней мѣрѣ въ именахъ, мѣстѣ дѣйствія и самомъ дѣйствіи зритель видѣлъ нѣчто свое, русское, хотя и не всегда согласное съ точною дѣйствительностью. Ему было пріятнѣе, въ «Рекрутскомъ наборѣ» (драмѣ того же Ильина), трогаться великодушнымъ дѣломъ крестьянина, идущаго въ рекруты на мѣсто своего женатаго брата, нежели великодушіемъ Пилада, покрытаго историческимъ мракомъ. Ради пріятнаго впечатлѣнія, онъ охотно прощалъ извощику Герасиму его резонерство, которымъ это дѣйствующее лице не уступаетъ любому пастору въ романахъ Августа Лафонтена.

Новымъ видомъ драмы была мелодрама, названная такъ отъ музыки, которою сопровождаются наиболѣе разительныя положенія и рѣчи дѣйствующихъ лицъ. Потомъ она утратила начальный смыслъ свой и выродилась въ такое представленіе, которое

разсчитываетъ единственно на возбужденіе сильныхъ ощущеній какимъ бы то ни было способомъ. Эффектамъ—главной цѣли автора—предается въ жертву и физическое, и нравственное, и историческое правдоподобіе: отсюда слово «мелодраматическій», для означенія всего эффектнаго, если послѣднее не дорожитъ ни истиной природы, ни истиной духа, а придумано какъ легкое средство, оправдываемое цѣлью. Одной изъ первыхъ мелодрамъ, явившихся на нашей сценѣ, была «Убійца и сирота» (1819); за нею слѣдовали «Обріева собака», «Христофоръ Колумбъ или открытіе новаго свѣта», «Тридцать лѣтъ или жизнь игрока», и другія большею частію переведенныя съ французскаго.

Обращаемся къ классической трагедіи, оригинальной и переводной. Прежде всего мы замѣчаемъ здѣсь, что піесы Сумарокова почти совсѣмъ изъяты изъ репертуара. Сходитъ со сцены и Княжнинъ, къ сожалѣнію литературныхъ старожиловъ, помнившихъ эффектъ, который производили Дидона и Росславъ. Трагедіи его возобновляются случайно, по какимъ-нибудь внѣшнимъ поводамъ: или для дебюта сценическихъ сюжетовъ, или изъ желанія артистовъ блеснуть талантомъ въ той роли, которая прославила ихъ предшественниковъ. Такъ Дидона давалась въ 1808 г. для Валберховой и въ 1820-мъ для Колосовой и Брянскаго.

Мѣсто Княжнина заступилъ Озеровъ, третій по времени нашъ трагикъ, о которомъ мы будемъ говорить особенно: его піесы подняли русскую классическую трагедію и долго держались на сценѣ. Одновременно съ блистательнымъ успѣхомъ его «Димитрія Донскаго» (1807) имѣла не меньшій успѣхъ и патріотическая трагедія Крюковскаго: «Пожарскій». Въ томъ же родѣ драматической поэзіи трудились Плавильщиковъ, Ѳ. Ивановъ, Висковатовъ и Грузинцевъ, какъ сочинители и какъ переводчики. Многія піесы французскаго трагическаго тріумвирата были переведены въ первый разъ или явились въ новыхъ переводахъ: Маринъ перевелъ «Меропу», Лобановъ — «Ифигенію въ Авлидѣ» и «Федру», Гнѣдичъ — «Танкреда», Катенинъ—«Эсфирь» и «Гоѳолію», и онъ же, по словамъ А. Пушкина, «воскресилъ Корнеля геній величавый» переводомъ «Сида». Надъ нѣкоторыми трагедіями, напримѣръ «Заирой» и «Горацiями», трудились литераторы сообща, для скорѣйшаго ихъ приготовленія къ бенефису любимыхъ артистовъ или артистокъ. На трагедіи англійскую и нѣмецкую наши драматурги еще мало обращали вниманіе. За исключеніемъ «Леара» (пер. Гнѣдича), посѣтители театра знакомились съ Шекспиромъ большею частію по передѣлкамъ Дюси, изъ которыхъ Вельяминовъ перевелъ «Отелло», а Висковатовъ «Гамлета». Не видно также замѣтнаго сочувствія

къ Шиллеру, хотя и были переведены двѣ его трагедіи въ прозѣ: «Заговоръ Фіеско въ Генуѣ» и «Коварство и любовь»; «Разбойники», въ переводѣ Сандунова (1793), явились на петербургской сценѣ только въ 1814 г. Очередь главнѣйшихъ представителей трагедіи наступила лишь въ то время, когда литераторы, писавшіе для театра, обнаружили охлажденіе къ классицизму.

Сдѣлаемъ такой же общій обзоръ важнѣйшимъ комедіямъ. Прежніе комики: Фонъ-Визинъ, Княжнинъ и Капнистъ уже рѣдко привлекають публику, уступая свое первенство новымъ ея любимцамъ. «Ябеду» смотрѣли еще съ удовольствіемъ, но «Хвастунъ», возобновленный въ 1825 г. для Сосницкаго, который занималъ роль Верхолета, казался стародавнею рѣдкостью. Главнымъ представителемъ русской Таліи въ разсматриваемый періодъ былъ князь А. А. Шаховской: свыше тридцати лѣтъ онъ обогащалъ комическій репертуаръ, неослабно поддерживая его интересъ; другія комедіи написаны Хмельницкимъ, Загоскинымъ, Кокошкинымъ, Грибоѣдовымъ. Изъ двухъ комедій И. Крылова: «Урокъ дочкамъ» (1807) и «Модная Лавка» (1807), мы упоминали о первой при изложеніи патріотической литературы, замѣтивъ, что эта піеса осмѣиваетъ безсмысленное пристрастіе русскихъ къ французамъ, въ особенности къ ихъ языку и модамъ. Сатира второй піесы сосредоточена на томъ же предметѣ. Та и другая имѣли большой успѣхъ на сценѣ, благодаря комизму нѣкоторыхъ лицъ и положеній, но въ цѣломъ онѣ не выдерживаютъ строгой критики, потому что имѣютъ цѣлію болѣе возбудить смѣхъ, нежели соблюсти правдоподобіе, почему и впадаютъ не рѣдко въ преувеличенія, доходящія до карикатуры. Все ихъ дѣйствіе, по примѣру французкихъ комедій, ведется слугой и служанкой, что не въ русскихъ нравахъ. Было говорено также о комедіи графа Ростопчина «Вѣсти, или убитый живой» (1808), осмѣивающей московскихъ вѣстовщицъ и вѣстовщиковъ въ войну съ французами 1807 г. При отсутствіи художественнаго достоинства, она выступаетъ изъ ряда многихъ піесъ оригинально-рѣзкою, желчною сатирою.

Водевиль былъ такою же новостью въ комическомъ репертуарѣ, какъ мелодрама въ отдѣлѣ драмы. Послѣ Аблесимовскаго «Мельника» и «Ѳедула съ дѣтьми», которыя почитаются первыми нашими водевилями, Шаховской написалъ «Казака-стихотворца» (1812), чрезвычайно нравившагося публикѣ. Затѣмъ онъ и Хмѣльницкій ставили другія піесы того же рода, иногда переводя ихъ съ французкаго безъ перемѣны, а иногда съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ прилаживая переводы къ русскимъ нравамъ. Во-

девильныя представленія скоро пришлись публикѣ по вкусу, хотя литераторы—даже тѣ самые, что снабжали ими театръ—смотрѣли на нихъ свысока, почитали ихъ выскочками, недостойными дѣлить компанію съ Таліей. Не смотря на такую строгость безсмертной Музы, приближалось то время, когда стихъ Репетилова

Лишь водевиль есть вещь, а прочее все—гиль,

долженъ былъ оказаться не совсѣмъ шуткой. Волею-неволею театръ широко отворилъ ворота водевилямъ, въ быстрой смѣнѣ однихъ другими утолявшихъ жажду публики къ игривому разнообразію спектаклей.

Между писателями, которымъ наша драма одолжена успѣхами въ первую четверть нынѣшняго вѣка, главное мѣсто, по старшинству дѣятельности и по количеству піесъ, принадлежитъ князю А. А. Шаховскому (1777—1846). Піесы его (числомъ до 70, если не больше) составили разнообразный и пріятный репертуаръ, долгое время державшійся на столичныхъ и провинціальныхъ театрахъ. Независимо отъ удовольствія, доставляемаго ими зрителямъ, онѣ дѣйствовали воспитательнымъ образомъ на артистовъ. Домъ Шаховскаго былъ сборнымъ пунктомъ не только для служившихъ при театрѣ и писавшихъ для театра, но и вообще для образованныхъ любителей сценическаго искусства. Бесѣды въ кругу людей, постоянно у него собиравшихся, развивали понятія о драмѣ и ея исполненіи, а также питали благородную привязанность къ этому роду поэзіи.

Шаховской имѣлъ чрезвычайную страсть къ театру, которая не охлаждалась въ теченіе сорока пяти лѣтъ, съ того самаго времени, какъ онъ получилъ мѣсто репертуарнаго члена въ петербургской театральной дирекціи (1801), обязанность котораго въ то время состояла въ постановкѣ піесъ и въ содѣйствіи развитію молодыхъ сценическихъ талантовъ. Эта страсть не уступала даже служебнымъ непріятностямъ. Принужденный, по столкновенію съ директоромъ театровъ (кн. Тюфякинымъ), оставить свою должность (1818), онъ не переставалъ руководить артистовъ, обращавшихся къ нему за совѣтами, и съ прежнимъ усердіемъ поставлялъ одну за другой піесы. Уволенный (1825), по новому столкновенію съ кн. Долгорукимъ, предсѣдателемъ комитета, занимавшагося составленіемъ правилъ управленія театрами ([1]), онъ переселился въ Москву, гдѣ на свободѣ и по волѣ дѣлалъ тоже самое, что дѣлалъ въ Петербургѣ, по обязанностямъ службы.

---

[1]) Въ указѣ объ отставкѣ было сказано, что Шаховскій увольняется для лучшаго устройства комитета (Театральныя воспоминанія Р. Зотова, 1859).

Числу піесъ, написанныхъ Шаховскимъ, не уступаетъ ихъ разнообразіе. Между ними находятся всѣ виды и формы драматической поэзіи: собственно драма, трагедія, комедія, опера, водевиль, прологъ, балетъ. Каждый видъ обозначался иногда особеннымъ названіемъ: драма—романтическая; комедія—романтическая, анекдотическая, историческая; опера—анекдотическая, волшебная, волшебно-комическая, опера-водевиль; водевиль—волшебный, пословица-водевиль. Видовое отличіе піесы нерѣдко замѣнялось общимъ: зрѣлище, представленіе, быль, трилогія, драматическая поэма и т. п. Главнымъ же родомъ, свойственнымъ таланту автора, была комедія. Шаховскаго, и въ рецензіяхъ и въ эпиграммахъ, называли комикомъ, такъ что въ исторіи литературы онъ занялъ мѣсто «шумнымъ роемъ своихъ комедій», по выраженію Пушкина.

На долгомъ пути дѣятельности кн. Шаховскаго замѣчается нѣсколько направленій. Началъ онъ свою литературную карьеру строгимъ классикомъ, который видѣлъ высшіе авторитеты драмы въ произведеніяхъ французскихъ писателей. По его мысли былъ основанъ Драматическій Вѣстникъ, подъ редакціей Д. Языкова, отстаивавшій превосходство теоріи и преданій французскаго классицизма надъ мѣщанской трагедіей и другими явленіями, несогласными съ ученіемъ Вольтера. Первымъ чисто-внѣшнимъ уклоненіемъ отъ руководящихъ образцовъ служили вольные стихи, которые Шаховской сталъ вводить на мѣсто александрійскихъ. Незадолго до 1820 г., онъ перешелъ на сторону романтической драмы, сюжеты для которой заимствовалъ изъ Шекспира, В. Скотта, Оссіана и Пушкина. Сущность третьяго направленія (съ начала двадцатыхъ годовъ) объяснена самимъ авторомъ, въ письмѣ къ князю В. Ѳ. Одоевскому: «Успѣвши нѣсколько въ старомъ, или обыкновенномъ, я ищу для нашего театра если не совсѣмъ новаго, то по крайней мѣрѣ не столь условнаго, какъ драматическія подражанія, принесенныя къ намъ съ пудрою, шитыми кафтанами и красными каблуками изъ Парижа. Я хочу моими опытами открыть дорогу людямъ, имѣющимъ больше моего дарованія, для обогащенія нашей драматической литературы и даже къ созданію своего собственнаго театра на обширномъ и прочномъ фундаментѣ (¹). Стремясь къ этой цѣли, Шаховской написалъ русскимъ размѣромъ драму въ 4-хъ дѣйствіяхъ: «Соколъ князя Ярослава тверскаго или суженый на бѣломъ конѣ» (1823). Другими, позднѣйшими опытами такого направленія были двѣ піесы: драма «Двумужница» (1832) и опера «Чурова долина» (1844).

---

¹) Русскій Архивъ, 1864.

По количеству піесъ, сочиненныхъ кн. Шаховскимъ, можно, до нѣкоторой степени, заключать и объ ихъ качественномъ значеніи. Ему некогда было вдумываться въ драматическіе сюжеты и обработывать ихъ съ должнымъ тщаніемъ. Разнообразіе и плодовитость таланта рѣдко соединяются съ его глубиною. Только геніальность представляетъ сочетаніе такихъ свойствъ, а Шаховской вовсе не принадлежалъ къ числу геніальныхъ людей, и, какъ комикъ, вообще плавалъ не глубоко. Всѣ его піесы имѣли большее или меньшее достоинство относительное, но нѣтъ изъ нихъ ни одной съ достоинствомъ безотносительнымъ, которое даетъ поэтическому произведенію силу не только переживать своего творца, но и сохраняться надолго въ потомствѣ. По всему вѣроятію, самъ Шаховской чувствовалъ внутреннюю слабость своихъ піесъ, почему и старался прикрывать ее блестящей обстановкой: вводилъ въ нихъ, часто не кстати, музыку и танцы, пользовался машинами и декораціями, короче—угощалъ публику великолѣпнымъ спектаклемъ. Кромѣ того, любилъ онъ выставлять портреты современниковъ, извѣстныхъ публикѣ съ комической стороны, отчего вмѣсто лица, какъ представителя извѣстнаго общественнаго круга, являлась на сценѣ личность, принадлежащая одному человѣку. Публика смѣялась, потому что «смѣяться не грѣшно надъ тѣмъ, что есть смѣшно», и самъ авторъ оставался доволенъ успѣхомъ представленія, забывая, что подобный успѣхъ крайне недолговѣченъ, такъ какъ со смертію осмѣянной личности почти всегда умираетъ и піеса. Въ извиненіе Шаховскаго можно замѣтить, что современное ему значеніе театра обусловливало спѣшность авторской работы. Мы видѣли, какъ, при Александрѣ I, сильно развилась въ публикѣ охота къ сценическимъ представленіямъ. Развившейся охотѣ необходимо было удовлетворять разнообразнымъ репертуаромъ. Этому разнообразію много содѣйствовали бенефисы. Бенефиціанту, для его собственныхъ выгодъ, слѣдовало явиться предъ публикой съ какой-нибудь новой піесой, — и вотъ онъ обращался къ литератору съ просьбой приготовить для него, къ извѣстному сроку, драму, или комедію, или по меньшей мѣрѣ водевиль. Нѣкоторые изъ писателей для театра сами заинтересованы были въ судьбѣ бенефисовъ, потому что въ средѣ драматической труппы имѣли своихъ protegés или protegées. Отъ успѣха игры во многомъ зависѣлъ успѣхъ самой новопоставленной піесы, такъ что авторъ и бенефиціантъ какъ бы дѣлили пополамъ рукоплесканія зрителей. Такого срочнаго, заказнаго сочинительства на долю Шаховскаго приходилось гораздо больше, чѣмъ на долю другихъ драматическихъ писателей: въ годъ ставилъ онъ по двѣ, по три піесы, а

иногда и болѣе. Мудрено ли, что, при скорописаніи, онъ былъ вынужденъ многое брать изъ иностранныхъ образцовъ, не имѣя времени ни производить оригинальнаго, ни тщательно обдумывать передѣлку заимствованнаго? Не смотря, однакожъ, на это, и относительное значеніе піесъ Шаховскаго ставитъ его на видное мѣсто въ исторіи нашей драматической литературы. Въ драмѣ, равно какъ и въ другихъ родахъ поэзіи, кромѣ глубины содержанія и художественнаго строя, есть другія качества, производящія впечатлѣніе на публику — разнообразіе сюжетовъ, живость дѣйствія, непритворная веселость, остроуміе. Они-то и были причиною, по которой публика принимала піесы Шаховскаго съ большимъ удовольствіемъ. Многимъ также ему обязаны естественность и свободное теченіе разговора, какъ въ прозѣ, такъ и въ стихахъ, хотя при этомъ мы должны сдѣлать оговорку, что, навыкнувъ въ искусствѣ легко владѣть стихомъ, авторъ иногда безъ нужды развязывалъ языкъ своимъ героямъ и героинямъ, которые отъ того впадали въ многословіе. Не малой заслугой его служитъ и то, что онъ во второй половинѣ своей дѣятельности сумѣлъ отрѣшиться отъ условій французскаго классицизма, перешелъ на сторону романтической школы и даже старался нѣкоторыми опытами заложить основаніе народной русской драмы.

Лучшія изъ комедій Шаховскаго представляютъ характеръ и затѣи дворянъ средней руки, большею частію необразованныхъ и недальняго ума, которые, по своему состоянію и общественному положенію не принадлежа ни къ бѣднымъ помѣщикамъ, ни къ знатному, столбовому дворянству, тянулись за послѣднимъ, желая изъ полубаръ стать полными, настоящими барами. Отличительная черта такихъ личностей — смѣшное тщеславіе, чванство. Счастіе свое полагали они въ знакомствѣ, хотя-бы случайномъ и временномъ, съ важными по роду и сану особами. Не столько богатство, сколько титулъ и чинъ привлекали ихъ: первое могло быть имъ и не въ диковинку, а второй и третій служили для нихъ идеаломъ. Чтобы достигнуть этого идеала, они приводили въ движеніе всѣ имѣющіяся у нихъ средства: давали именитымъ лицамъ обѣды, устроивали для нихъ праздники и доморощенные спектакли, расточали передъ ними лесть и угодничество, отрекались отъ бѣдной и темной родни, навязывались въ родню къ титулованнымъ однофамильцамъ, не замѣчая въ простотѣ ума, что чествуемый ими знатный и чиновный людъ относится къ ихъ ухаживанію или съ презрительною снисходительностью или съ насмѣшкою, иногда даже нескрываемою. Не изъ желанія получить мѣсто это дѣлалось, а просто изъ желанія разыгрывать непривычную роль важнаго че-

ловѣка и почваниться передъ ровней, которая большею частію завидовала своему собрату, тѣмъ еще сильнѣе подстрекая его на тщеславныя затѣи. Удовлетвореніе такого желанія и служило самою сладкою наградою за хлопоты и расходы. Развязка выходила двоякая: или печальная, когда въ итогѣ кажущагося успѣха оказывалось разстроенное имѣніе; или комическая, состоявшая въ катастрофѣ разоблаченія, когда князья и графы отворачивались отъ притязателя на ихъ знакомство, и онъ испытывалъ положеніе человѣка, который случайно сѣлъ въ чужія сани, а потомъ былъ принужденъ изъ нихъ выдти со стыдомъ и снова стать на одной доскѣ съ своей братіей—полубарами. Одинъ изъ такихъ полубаръ представленъ Шаховскимъ въ двухъ (не напечатанныхъ) піесахъ: «Полубарскія затѣи» или «Домашній театръ» (представлена 1808), и «Чванство Транжирина или слѣдствіе полубарскихъ затѣй» (представлена 1822). Въ послѣдней, чванству главнаго лица (Транжирина) нанесла жестокій ударъ или, какъ выражается самъ Транжиринъ, зарѣзала его родная сестра, по батюшкѣ «Кондовна», которой онъ не хотѣлъ знать, хотя и побаивался ея отважнаго нрава. Эта бѣдная, но бойкая женщина, не смотря на строгое приказаніе брата не пускать ее, ворвалась къ нему съ дочерью, въ поношенномъ и старомодномъ платьѣ, въ самый разгаръ праздника, который онъ давалъ какому-то графу съ пѣснями и плясками дворовой челяди, смутила гостей грубыми упреками зазнавшемуся кровному родному, а его самого скомпрометировала самымъ жестокимъ образомъ. Піеса исполнена комизма и въ представленіи, успѣхомъ котораго одолжена была преимущественно московскому комику Щепкину (въ роли Транжирина), постоянно производила общій хохотъ. Обѣ комедіи выставили не воображаемую, а дѣйствительную забавную слабость средняго дворянства въ первую четверть текущаго столѣтія. О ней часто говорятъ мемуары и другія произведенія литературы, между прочимъ басня Крылова: «Лягушка и Волъ», переведенная изъ Лафонтена. Показавъ печальный исходъ затѣй Лягушки, вздумавшей сравняться съ Воломъ, баснописецъ заключаетъ:

«И диво ли, когда жить хочетъ мѣщанинъ,
Какъ именитый гражданинъ,
А сошка мелкая, какъ знатный дворянинъ.

Только на мѣсто мелкой сошки, т. е. мелко-помѣстныхъ дворянъ, Шаховской ставилъ дворянъ средней руки съ хорошимъ состояніемъ, полубаръ, которые къ настоящимъ барамъ относятся почти такъ же, какъ Мольеровъ «мѣщанинъ во дворянствѣ» относится къ дворянству. Третья комедія: «Пустодомы» (1820) представляетъ по-

мѣщика и помѣщичьи затѣи другаго рода. Князь Радугинъ, богатый землевладѣлецъ или, какъ тогда говорили, душевладѣлецъ, совершенно незнакомый съ русскою жизнію и условіями русскаго сельскаго хозяйства, производитъ реформы въ имѣніи, руководствуясь единственно книгами и совѣтами библіотекаря своего, тупаго педанта Инквартуса. На дѣлѣ оказалось, что различные проэкты, вмѣсто ожидаемыхъ отъ нихъ улучшеній и доходовъ, привели къ долгамъ и разоренію. Придумывая въ кабинетѣ съ Инквартусомъ планы хозяйственныхъ преобразованій, князь не видитъ, что въ домѣ его крайній безпорядокъ. Жена его, свѣтская дама, мотовствомъ своимъ еще болѣе усиливала пустодомство, которое ложилось тяжкимъ гнетомъ на крестьянъ и причиняло страшный вредъ дѣтямъ, остававшимся безъ надзора. Только горничная да управитель (онъ же и стряпчій), пользуясь слабостями господъ, умѣли набивать себѣ карманы. Чтобы поправить разстроенныя дѣла князя, сестра его отдала въ закладъ свое наслѣдство. Но это была временная помощь. Коренное спасеніе получаютъ пустодомы отъ дяди своего, простаго, но здравомыслящаго помѣщика; узнавъ о жизни племянника и племянницы, онъ пріѣзжаетъ въ городъ, выкупаетъ изъ залога ихъ имѣніе и увозитъ ихъ въ деревню. Хотя нѣкоторые театральные критики и ставили «Пустодомовъ» въ число лучшихъ піесъ Шаховскаго за многія искусно веденныя въ ней сцены и за свободный разговорный языкъ, однакожъ ясно, что комикъ, въ лицѣ Радугина, мѣтилъ въ явленіе исключительное, не подходившее подъ уровень обычнаго помѣщичьяго быта. Нѣтъ сомнѣнія, что и до 1820-го года, когда написана комедія, въ умѣ нѣкоторыхъ, впрочемъ очень немногихъ сельскихъ хозяевъ, возникала мысль объ устройствѣ земледѣлія на болѣе правильныхъ началахъ съ цѣлію—при возможно-меньшихъ расходахъ на землю получать возможно-большій доходъ съ нея. Это доказывается тѣми голосами въ нашей литературѣ, которые, въ слѣдъ за возникшею мыслію, раздавались какъ отпоръ ей, какъ защита прежняго, доморощеннаго. Такъ небольшая книжка «Плугъ и соха» (1807), графа Растопчина, стоитъ за старыя орудія для пахація, доказывая непригодность агрономическихъ нововведеній на Руси; такъ еще Крыловъ, въ «Огородникѣ и Философѣ» (1811), смѣется надъ послѣднимъ, потому что онъ, слѣдуя книгамъ, остался безъ огурцовъ, тогда какъ у перваго, не отступавшаго отъ старины, все въ огородѣ взошло и поспѣло. Но отъ такихъ явленій далеко еще до помѣщика въ родѣ Радугина, который замѣняетъ ручную работу машинами, разводитъ ревень и свекловицу, устроиваетъ водопроводы, употребляетъ торфъ для сидки вина. Когда очень та-

лантливый профессоръ московскаго университета Павловъ, по возвращеніи изъ-за границы, началъ въ началѣ двадцатыхъ годовъ читать лекціи раціональнаго сельскаго хозяйства, на которыхъ доказывалъ несостоятельность общепринятой у насъ трехпольной системы и развивалъ выгоды системы плодоперемѣнной, то лекціи его сильно дѣйствовали на умы молодыхъ слушателей, но сельскіе хозяева недовѣрчиво относились къ новымъ понятіямъ, заимствованнымъ у знаменитаго въ то время нѣмецкаго агронома Теэра. Поэтому я долженъ сказать, что комедія Шаховскаго, по малой мѣрѣ, была несвоевременна; отъ этого, вѣроятно, публика находила князя Радугина неестественнымъ. Въ самомъ дѣлѣ трудно представить, чтобы такой ученый болванъ, какъ Инквартусъ, могъ имѣть вліяніе на князя, хотя тоже педанта въ своемъ родѣ, но все же видавшаго людей умныхъ и дѣльныхъ. Притомъ Инквартусъ очень напоминаетъ собою другаго чудака—Синекдохоса, въ комедіи Княжнина: «Неудачный примиритель». Оба комика, ради смѣха, вывели каррикатуры, а не живыя лица. — Изъ другихъ піесъ Шаховскаго особенно нравились: Казакъ-Стихотворецъ, опера-водевиль; Урокъ кокеткамъ, или Липецкія воды, комедія; Өедоръ Григорьевичъ Волковъ, драма; Аристофанъ, или всадники, комедія; Финнъ, волшебная трилогія (изъ Руслана и Людмилы, Пушкина) (¹).

Прим. Что касается до отношеній кн. Шаховскаго къ современнымъ ему передовымъ литераторамъ, то въ этомъ случаѣ онъ пользовался дурною славою, которая, можетъ статься, была преувеличенною. Онъ навлекъ на себя неудовольствіе карамзинистовъ піесой «Новый Стернъ», осмѣявшей сентиментальнаго путешественника, графа Пронскаго. Хотя подъ этимъ графомъ разумѣется вѣрнѣе князь Шаликовъ, доведшій сентиментализмъ до комической крайности, но всѣ знали, что начало такому направленію въ нашей литературѣ положено Письмами русскаго путешественника и Бѣдной Лизой. Притомъ Шаховской былъ членъ «Бесѣды» и дѣятельный сторонникъ Шишкова, противника Карамзина. Другая его комедія: «Липецкія воды», направленная противъ Жуковскаго, увеличила число недруговъ комика, тѣмъ болѣе что піеса имѣла успѣхъ на сценѣ и раздѣлила петербургскую публику на двѣ партіи. Шаховской давалъ поводы обвинять себя въ недоброжелательствѣ къ талантамъ особенно драматическимъ. Утверждали, что онъ, восхищаясь трагедіями Озерова при чтеніи ихъ въ домѣ Оленина, старался однакожъ вредить ихъ успѣху на театрѣ. Самую болѣзнь и смерть трагика приписывали раздраженію горести, причиненнымъ интригами его недоброжелателя. Кому тогда не были

---

¹) Кромѣ матеріаловъ, означенныхъ въ подстрочныхъ указаніяхъ, см. еще: Лѣтопись русскаго театра, Арапова (1861); О заслугахъ кн. Шаховскаго въ драматической словесности и Литературныя и театральныя воспоминанія (Разныя сочиненія С. Аксакова, 1858).

извѣстны стихи Жуковскаго изъ Посланія къ кн. Вяземскому и В. Пушкину, что творецъ Димитрія (Донскаго) угаснулъ отъ печали, какъ слѣдствія зависти, вплетавшей терніе въ лавровый вѣнокъ? Нѣкоторыя лица драматической труппы имѣли также причину оставаться имъ недовольными: покровительствуя Валберховой, онъ тѣснилъ Каратыгину и Семенову. Коротко знавшіе Шаховскаго объясняютъ дурную его славу тѣмъ, что онъ, управляя театромъ, самъ находился подъ управленіемъ извѣстной особы (актрисы Ежовой). Вотъ слова С. Аксакова: «Ежова умѣла раздражать Шаховскаго, а въ раздраженіи Шаховской бывалъ несправедливъ и на словахъ, и на дѣлѣ.... Добродушный, горячій до смѣшнаго самозабвенія, онъ одну половину обвиненій наговорилъ и наклепалъ на себя самъ, а другая произошла отъ недоразумѣній, зависти и клеветы петербургскаго театральнаго міра, раздраженнаго нововведеніями Шаховскаго» [1]. (Рус. Архивъ 1869 г.: «Отношеніе Озерова къ Оленину»; «Къ біографіи Озерова» и по поводу этой статьи).

Представителемъ классической трагедіи былъ Озеровъ (1770—1816). Онъ написалъ пять трагедій: Ярополкъ и Олегъ (1798), Эдипъ въ Аѳинахъ (1804), Фингалъ (1805), Димитрій Донской (1807) и Поликсена (1809). Первая изъ нихъ, какъ начальный и слабый опытъ, а послѣдняя, какъ неимѣвшая успѣха на сценѣ и не представляющая интереса въ чтеніи, не заслуживаютъ разбора.

«Эдипъ въ Аѳинахъ» есть подражаніе французской трагедіи Дюси († 1816): «Эдипъ въ Колонѣ». Озеровъ много перевелъ изъ нея: первая сцена втораго акта—лучшее мѣсто нашей піесы—есть не что иное, какъ лучшее мѣсто подлинника, близкое и хорошее его переложеніе; да и слѣдующія за тѣмъ явленія съ Антигоной, до конца піесы, взяты изъ того же источника, съ тою разницей, что у Озерова умираетъ Креонъ и оставленъ въ живыхъ Эдипъ, тогда какъ у Дюси умираетъ Эдипъ, а Креона нѣтъ вовсе. Заслуга Озерова заключается собственно въ переводѣ французскаго образца такими стихами, какіе до него еще не раздавались на русской сценѣ. Ничего самостоятельнаго не представляетъ его трагедія; отмѣны, встрѣчаемыя въ ней противъ французскаго образца, такъ маловажны, что не измѣняютъ понятія о цѣломъ.

Основою трагедіи Софокла (Эдипъ въ Колонѣ) служитъ предсказаніе оракула, возвѣстившаго близкую смерть Эдипа, могила котораго станетъ залогомъ побѣды для той страны, гдѣ она будетъ находиться. Долговременнымъ бѣдствіемъ старецъ искупилъ свои невольныя преступленія: боги примирились съ нимъ и даруютъ ему мирную кончину. Въ мѣстечкѣ Колонъ, среди священнаго лѣса, гдѣ воздвигнутъ храмъ Эвменидамъ, обрѣтетъ онъ наконецъ вѣчное успокоеніе. Идея судьбы господствуетъ здѣсь, какъ

[1]) Литерат. и театр. воспоминанія.

и въ трагедіи «Царь Эдипъ», но уже очищенная вліяніемъ нравственнаго ученія. Эдипъ еще жертва, но онъ возвысился самосознаніемъ. Таинственное сцѣпленіе обстоятельствъ, не подчиненныхъ волѣ смертнаго, сдѣлало его преступникомъ; отсутствіе свободнаго участія въ преступленіяхъ успокоило его совѣсть: онъ говоритъ о нихъ безъ смущенія, зная, что они дѣло боговъ. Нѣсколько разъ замѣчаетъ онъ, что вина человѣка—въ намѣреніи; что нѣтъ тамъ вмѣняемости, гдѣ не было умышленнаго дѣйствія, а было только невольное исполненіе предреченнаго свыше. Такимъ образомъ Софоклъ различаетъ догматъ фатализма отъ догмата нравственности, проводитъ ясную черту между совѣстью, свободно выбирающею добро или зло, и роковою силою судьбы, которая устроиваетъ дѣло на перекоръ самымъ мудрымъ нашимъ распоряженіямъ. Дюси и въ слѣдъ за нимъ Озеровъ совлекли съ Эдипа таинственность, которая такъ идетъ къ нему, освященному грознымъ вниманіемъ боговъ. Преданіе о сверхъ-естественной смерти изложили они по своему: у Дюси, Эдипъ умираетъ, пораженный громомъ и проговоривъ нѣсколько сентенцій; у Озерова, онъ остается въ живыхъ, какъ будто ему значитъ что-нибудь жизнь послѣ всего, извѣданнаго имъ въ жизни. Впрочемъ, начальная развязка нашей трагедіи согласовалась съ преданіемъ; но Озеровъ измѣнилъ ее, внявъ совѣтамъ литераторовъ, дорожившихъ нравоучительнымъ внушеніемъ театральныхъ піесъ, по которому непремѣнно слѣдовало награждать добродѣтель и наказывать порокъ, какъ будто Креонъ былъ порочень. Изступленіе Эдипа, когда онъ узнаетъ, что находится близь храма Эвменидъ, неумѣстно, хотя и эффектно: оно портитъ характеръ трагедіи. Въ «Царѣ Эдипѣ» оно было бы кстати; но въ «Эдипѣ Колонскомъ» главное лице уже утратило силу угрызеній, которыя терзали его въ первое время открывшихся преступленій. Душа его сохранила только чувство несчастія да сознаніе своей невинности, и это душевное состояніе Софоклъ изобразилъ какъ бы символически, приведя страдальца окончить послѣднія минуты жизни въ святилищѣ фурій. Ходъ дѣйствія также измѣненъ. У Софокла оно происходитъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, куда пришелъ Эдипъ и откуда онъ не хочетъ выдти; Дюси и Озеровъ, напротивъ, передвигаютъ сцену. Самое мѣсто обрисовано не такъ. Въ греческой трагедіи, оно, своею красотою, представляетъ разительный контрастъ мрачной судьбы героя. Озеровъ, на вопросъ Эдипа: «гдѣ мы?» заставляетъ отвѣчать Антигону: «въ долинѣ мы, окрестъ *пустынны виды*»,—заставляетъ потому, что у Дюси, во второмъ же théâtre represente *un desert épouvantable* и Полиникъ восклицаетъ:

«quel désert affreux! des antres, des rochers, des cyprès tenebreux!» Этимъ оба новые трагика стали въ противорѣчіе съ хоромъ, который называетъ Колонъ *восхитительнымъ* мѣстомъ Аттики. Софоклъ искусно и непосредственно вводитъ зрителя въ сюжетъ; мѣсто дѣйствія, дѣйствующія лица, событія предшествовавшія и послѣдующія выступаютъ сами собою: завязка начата съ перваго же явленія, интересъ возбужденъ немедленно. У Дюси и Озерова, Эдипъ выходитъ на сцену только во второмъ дѣйствіи, съ котораго и слѣдовало бы начать піесу: первое посвящено такъ называемому *изложенію*, т. е. длиннымъ разсказамъ о дѣйствующихъ лицахъ и о томъ, что происходило до начала трагическаго дѣйствія. Нашъ авторъ ввелъ Креона, и въ этомъ отношеніи ближе къ греческому образцу, чѣмъ Дюси, исключившій, какъ мы видѣли, Креона. У Софокла, Тезей выходитъ уже послѣ многихъ явленій, когда царское вступничество оказалось необходимымъ: Дюси и Озеровъ вывели его съ самаго начала, чтобы выслушать разсказъ о завязкѣ дѣйствія. Оба они создали первосвященника: имъ хотѣлось показать внутренность храма и поразить—одному Креона, другому Эдипа—предъ лицемъ богинь мстительницъ. Ихъ Полиникъ остается до конца піесы, какъ свидѣтель смерти отца въ «Эдипѣ Колонскомъ», какъ свидѣтель его торжества и наказанія Креона «въ Эдипѣ въ Аѳинахъ». Софокловъ Полиникъ уходитъ или, вѣрнѣе, увлекается судьбою на гибель: ненависть къ брату, жажда мщенія заглушаютъ въ немъ всѣ прочія чувства. Что касается до характеровъ главныхъ лицъ, то мы уже показали, какъ невыгодно и Дюси и Озеровъ уклонились, въ этомъ отношеніи, отъ Эдипа. Вотъ еще примѣръ такого же уклоненія. У Софокла, Эдипъ непреклоненъ къ сыну. Напрасно Полиникъ умоляетъ его о прощеніи, напрасно и Антигона подкрѣпляетъ мольбы брата своимъ заступничествомъ: Эдипъ не хочетъ даже отвѣчать, ибо отцовскій голосъ, какъ святыня, потерялъ бы свою силу, вступивъ въ общеніе съ неблагодарнымъ. Потомъ онъ разрѣшаетъ молчаніе, но для того только, чтобы изречь проклятіе—и никто не смѣетъ противорѣчить ему—ни Тезей, ни дочь, ни хоръ. Новые трагики во многомъ измѣнили понятія и чувства древнихъ людей, сообразно понятіямъ и чувствамъ христіанскимъ. Эдипъ французской трагедіи есть отецъ новаго міра, какихъ XVIII вѣкъ любилъ выводить на сцену—снисходительный къ проступкамъ дѣтей, готовый плакать и прощать. Для очищенія грѣха, совершеннаго Полиникомъ Софокла, нужна жертва, а не прощеніе; въ религіи откровенной достаточно послѣднее, ибо зло, не наказанное въ здѣшней жизни, приметъ достойное наказаніе въ будущей.

Антигона начертана Софокломъ художественно. Это—воплощенный героизмъ дѣтской любви. Ея преданность отцу—долгъ, а не восторженное состояніе, могущее охлаждаться. Она говоритъ мало: только слова терпѣнія, соболѣзнованія, самопожертвованія выходятъ изъ ея устъ. Всего трогательнѣе это молчаніе, когда Эдипъ заводитъ рѣчь о своихъ несчастіяхъ; она слушаетъ, но не отвѣчаетъ, потому что ей, чистой и невинной, нечего сказать: несчастія отца ея—рядъ нечестивыхъ дѣлъ, такъ что утѣшенія нельзя здѣсь отдѣлить отъ воспоминанія объ ужасной судьбѣ. Но, скупая на слова, она много дѣйствуетъ, поддерживая отца, окружая его заботливостью, покровительствуя любовью. У Озерова или у Дюси, что одно и тоже, Антигона—если забыть греческій образецъ—хороша; но она уже сдѣлалась говорливѣе: она разсуждаетъ о своемъ значеніи, какъ помощницы въ несчастіяхъ, указываетъ на свою необходимость для слѣпаго отца. Конечно, это не самохвальство, но это—и не молчаливое исполненіе долга. Притомъ, она впадаетъ въ сентенціи; монологъ ея, которымъ открывается четвертое дѣйствіе, довольно длиненъ. Эта страсть къ сужденіямъ есть принадлежность французскихъ трагедій XVIII вѣка, любившихъ резонерство и риторику. Изъ Креона, сначала благороднаго мужа въ трагедіи Софокла: «Царь Эдипъ», а потомъ сдѣлавшагося честолюбивымъ и самовластнымъ и въ согласіи съ сыновьями безпомощнаго старца изгнавшимъ его изъ царства, Озеровъ сдѣлалъ непонятнаго мстителя Эдипу,—такого же врага ему, какимъ былъ Полиникъ въ отношеніи къ своему брату Этеоклу. Онъ не только злодѣй, но и злодѣй, величающійся самимъ собою. Князь Вяземскій справедливо замѣчаетъ о лицахъ, подобныхъ Креону: «Злодѣи, гордящіеся своими преступленіями и съ отвратительнымъ чистосердечіемъ судящіе себя безпристрастно, какъ судіи посторонніе, не находятся ни въ природѣ, ни въ произведеніяхъ геніевъ, ей подражавшихъ, но раждаются отъ безпечности или безсилія трагиковъ... Сей родъ изображенія есть одинъ изъ главнѣйшихъ пороковъ русской трагедіи и торжествуетъ въ Димитріи Самозванцѣ (Сумарокова). Въ первомъ явленіи третьяго дѣйствія «Эдипа» Озерова, Креонъ съ излишнею искренностью сообщаетъ Нарцесу исповѣдь свою, хотя и весьма поэтическую, но приносящую болѣе чести стихотворцу, нежели трагику» (¹). Заслуга нашего трагика, какъ уже замѣчено, состоитъ въ достойномъ переложеніи французской піесы. Для этого требовалось, во первыхъ, владѣть языкомъ и стихомъ, во-вторыхъ—стать на ряду съ авто-

---

¹) Извѣстіе о жизни и трудахъ Озерова, при его сочиненіяхъ (изд. 1813 г.)

ромъ подлинника, своимъ талантомъ состязаться съ его талантомъ. Озеровъ исполнилъ оба дѣла. Стихи его звучны и сильны; читая ихъ и теперь, легко себѣ представляемъ, какъ они были хороши въ то время. Сцены трагическаго ужаса и чувствительности переданы одушевленно. Озеровъ самъ надѣленъ былъ послѣднимъ качествомъ въ сильной степени, и потому трогательная преданность дочери, сыновнее разскаяніе, отцовская нѣжность и вмѣстѣ авторитетъ родительской власти нашли въ немъ глубокое сочувствіе и патетическое выраженіе. Когда же представимъ себѣ необычайный успѣхъ трагедіи на сценѣ, впечатлѣніе, произведенное ею на зрителей, то насъ нисколько не удивятъ посланія Державина, Капниста и Батюшкова къ автору, исполненныя похвалъ ему и благодарности: стихотворцы говорили то самое, что чувствовали всѣ посѣтители театра. «Эдипъ въ Аѳинахъ» былъ долгое время почетнѣйшею піесою въ нашемъ репертуарѣ: она заставила публику полюбить трагическія представленія болѣе, чѣмъ какія-либо иныя; образованные и полуобразованные знали наизусть многіе монологи главныхъ лицъ; нѣкоторые стихи ея обратились въ ходячія изреченія, которыя потомъ стали примѣняться къ другимъ, даже не трагическимъ предметамъ.

«Фингалъ» представляетъ событіе изъ жизни народа, совершенно противоположнаго греческому. Озеровъ имѣлъ цѣлью «описать Ахилла сѣверныхъ странъ». Новость предмета должна была интересовать публику, долго смотрѣвшую однихъ греческихъ и римскихъ героевъ. Содержаніе трагедіи взято изъ поэмы «Фингалъ», приписываемой сыну этого героя, Оссіану. Подлинникъ исполненъ оригинальной поэзіи—суровой, величественной, меланхолической. Бардъ Кариллъ славитъ храбрость и великодушіе Фингала, который, побѣдивъ локлинскаго царя Старна и захвативъ его въ плѣнъ, даровалъ ему свободу. Сердце Старна исполнилось гордости и злобы: онъ замыслилъ смерть побѣдителя, единственнаго соперника своей силы. Для выполненія замысла, онъ пригласилъ къ себѣ Фингала и предложилъ ему руку своей дочери. Дочь, изъ любви къ герою, открываетъ угрожающую ему опасность. Раздраженный отецъ убиваетъ ее. Тогда Фингалъ сзываетъ своихъ воиновъ, поражаетъ Локлинцевъ, уноситъ на корабль тѣло своей невѣсты и погребаетъ ее на одномъ изъ утесовъ своей родины. У Озерова другая причина мести: Фингалъ убилъ Старнова сына, Тоскара, и огорченный отецъ далъ обѣтъ успокоить тѣнь убитаго смертію убійцы; Моина, невѣста Фингала, избавляетъ его отъ смерти, но сама принимаетъ смерть отъ руки отца. Положеніе Старна трагическое; онъ самое интересное лице въ піесѣ, по твердой пре-

*

данности одной мысли, одному желанію, которому приноситъ въ жертву другое желаніе — видѣть дочь свою счастливой. Но онъ утратилъ свою оригинальную суровость и неподатливость. Оссіановы пѣсни приписываютъ ему характеръ дикій и свирѣпый; онъ не могъ выносить превосходства великодушнаго врага, и если прибѣгалъ къ хитрости, то не долго ее выдерживалъ: звѣрство брало верхъ надъ притворствомъ. У Озерова, Старнъ хитрѣе, осторожнѣе въ дѣйствіяхъ; авторъ далъ ему много скрытной злобы, а не той, которой трудно выдерживать тайные планы. Фингалъ удалился отъ подлинника: въ немъ много нѣжно-рыцарскаго элемента; онъ выражаетъ любовь свою, какъ сталъ бы выражать ее самъ Озеровъ, подъ вліяніемъ романической настроенности. Тоже до извѣстной степени должно сказать и о Моинѣ, хотя ей, какъ сѣверной дѣвѣ, очень къ лицу мечтательность и унылость. При всѣхъ недостаткахъ вымысла и плана и нѣкоторыхъ частныхъ несообразностяхъ, «Фингалъ» особенно нравился зрителямъ. Своимъ успѣхомъ онъ былъ одолженъ новости сюжета, сценической постановкѣ, игрѣ Семеновой и Яковлева, прекраснымъ стихамъ и еще болѣе чувствительности, разлитой по всей піесѣ и «создавшей душу Моины» (1).

Въ «Димитріи Донскомъ», авторъ пожертвовалъ исторіей своему вымыслу. Извѣстно, что Димитрій въ то время, къ которому относится дѣйствіе трагедіи, былъ женатъ, а трагедія представляетъ его домогающимся руки Ксеніи, княжны нижегородской, которая, кромѣ того, живетъ въ воинскомъ станѣ, на перекоръ обычаямъ древне-русскаго быта. Отступленіе отъ факта, котораго не могутъ не знать даже школьники, произошло отъ того, что трагикъ боялся нарушить законы и преданія французской трагической системы. Когда замѣтили Расину, что любовь Ипполита къ Арисіи (въ Федрѣ) противорѣчитъ подлинному характеру юноши, еще не испытавшаго страсти, онъ отвѣчалъ: «а что скажетъ публика, если въ моей піесѣ не будетъ любовной завязки?» Если Озерову приходило на умъ подобное замѣчаніе, то онъ, вѣроятно, думалъ: «а что сказалъ бы Расинъ, не нашедъ въ моей трагедіи любовной завязки?» И вотъ онъ въ важное и патріотическое дѣйствіе вводитъ романическую интригу. Но, при невѣрности исторической, піеса могла бы соблюсти вѣрность идеѣ патріотизма, воплощенной въ главномъ лицѣ, къ какой бы націи оно ни принадлежало. Героическая любовь отечеству требуетъ всецѣлой ему преданности, и нѣтъ такой жертвы, передъ которой было бы дозволено остано-

1) Выраженіе Жуковскаго въ посланіи къ кн. Вяземскому и В. Пушкину.

виться въ минуту критическаго его положенія, угрожающихъ ему бѣдствій. Такимъ ли чувствомъ воодушевленъ Димитрій Озерова? Нѣтъ, онъ заслуживаетъ справедливую укоризну и какъ лице, созданное воображеніемъ, не слѣдовавшимъ исторіи. «Предупреждая обвиненія судей», говоритъ кн. Вяземскій, «трагикъ влагаетъ въ уста князей Бѣлозерскаго, Смоленскаго и самой Ксеніи рѣшительный приговоръ осужденія поступкамъ Димитрія, законнымъ во всякое другое время, но преступнымъ въ день боя, когда отечество, требуя жертвы его страсти и обиженнаго самолюбія, ожидаетъ отъ него своего освобожденія. Не унижается ли достоинство Димитрія, когда Ксенія, не менѣе его страстная, находитъ довольно мужества въ душѣ, чтобы заглушить голосъ любви, и произвольною жертвою не укоряетъ ли она его въ постыдномъ малодушіи? Кончина Бренскаго, на смерть посланнаго Димитріемъ, не есть ли ужаснѣйшая и постыднѣйшая ему укоризна? Самый соперникъ Димитрія (князь Тверскій) не исторгаетъ ли невольной дани уваженія, отказываясь отъ руки Ксеніи, и не долженъ ли признаться каждый зритель вмѣстѣ съ Димитріемъ, что тотъ его превзошелъ?» ([1]).

Разсмотрѣвъ піесы Озерова, мы должны сдѣлать о нихъ слѣдующее заключеніе: всѣ онѣ принадлежатъ къ французской трагической системѣ. Озеровъ—псевдо-классикъ не только въ сюжетахъ, взятыхъ изъ греческаго міра, но и въ представленіи событій каледонской и отечественной исторіи. Въ этомъ смыслѣ, Фингалъ и Димитрій Донской тоже, что Эдинъ въ Аѳинахъ и Поликсена: единство родовыхъ отличій доказывается и постройкой, и характерами, и веденіемъ разговора. Чувствительность была врожденнымъ качествомъ Озерова: отсюда превосходство трогательныхъ сценъ, возбуждавшихъ жалость и умиленіе въ душѣ зрителей; отсюда же особенная наклонность къ созданію женскихъ характеровъ, которые вышли интереснѣе мужскихъ. Въ трагедіяхъ Озерова есть своя доля романтизма: мечтательность и грусть Моины, ея отношеніе къ Фингалу, равно какъ сцены Димитрія съ Ксеніей, воспоминанія Поликсены объ Ахиллѣ.... всѣ эти скорбныя жалобы на невѣрность земнаго счастія, смутныя предчувствія бѣдъ, идеальныя ожиданія будущаго блага, въ замѣну блага утраченнаго, не что иное, какъ элементы романтической поэзіи. Онъ значительно возвышается надъ Сумароковымъ и Княжнинымъ не только по языку и версификаціи, но и расположеніемъ піесъ, большею обдуманностью завязки и развязки, болѣе правильною постройкою харак-

[1]) Извѣстіе о жизни и сочиненіяхъ Озерова.

теровъ, и главное — тѣмъ поэтическимъ одушевленіемъ, которое отъ автора сообщалось артистамъ и посредствомъ игры ихъ переходило къ публикѣ. Лучшихъ трагедій въ духѣ французскаго классицизма мы не имѣемъ: онъ третій и послѣдній нашъ трагикъ въ этомъ родѣ. Современники превознесли похвалами заслугу Озерова: похвалы, можетъ быть, преувеличенныя, но легко объясняемыя современнымъ ея значеніемъ. Успѣхомъ піесъ своихъ на сценѣ онъ одолженъ въ особенности Семеновой: съ ней, по словамъ Пушкина, дѣлилъ онъ рукоплесканія публики.

Въ обществѣ Шаховскаго, Катенинъ (1792—1853) былъ строгимъ и неизмѣннымъ классикомъ. Французскіе трагики имѣли для него значеніе высшихъ образцовъ, и то не всѣ, а исключительно времени Людовика XIV и немногіе ихъ послѣдователи. Въ Вольтерѣ видѣлъ онъ уже отщепенца отъ прямаго искусства, виновника ложныхъ взглядовъ на драму. Раздѣленіе поэзіи на классическую и романтическую называлъ онъ вздорнымъ, ни на какомъ ясномъ различіи не основанномъ. Надъ восторженными поклонниками нашихъ литераторовъ Шекспиру смѣялся, замѣчая, не безъ основанія, что въ большинствѣ случаевъ этотъ восторгъ есть припадокъ моды, а не плодъ дѣйствительнаго знакомства съ предметомъ восторга. Когда Шаховской перешелъ къ романтическому направленію драмы, заимствуя сюжеты то изъ Шекспира, то изъ Вальтеръ-Скотта, Катенинъ упрекалъ его въ заблужденіи, въ поворотѣ съ настоящей дороги на ложную. Знаніе многихъ иностранныхъ языковъ дало ему возможность познакомиться съ теоріею словесности и исторіей литературъ по хорошимъ источникамъ. Усвоенныя имъ понятія о поэзіи вообще, о драматической въ особенности изложилъ онъ въ рядѣ статей, которыя подъ названіемъ «Размышленія и разборы» печатались въ «Литературной газетѣ», Дельвига (1830). Послѣднія пять статей (о театрѣ) заняты критикой Шлегелева курса драматической поэзіи и содержатъ въ себѣ апологію французско-классической трагедіи. Такимъ образомъ начитанность не измѣнила взглядовъ Катенина. Въ похвалу ему слѣдуетъ сказать, что эта вѣрность одному и тому же была въ немъ не упрямствомъ самолюбія, а искреннимъ убѣжденіемъ добросовѣстнаго человѣка, любившаго литературу и разсуждавшаго о ней не съ чужаго голоса. Его раздражали критическіе толки журналовъ, которые, единственно по пристрастію къ новымъ идеямъ, иногда воспринятымъ изъ десятыхъ рукъ, были несправедливы къ прежнему, старому, которому сами недавно поклонялись. «Врагъ непримиримый всѣхъ пристрастныхъ и одностороннихъ сужденій», говоритъ онъ о себѣ, «я старался обличить неправоту нынѣ господствую-

щихъ, отнюдь не съ намѣреніемъ ввести вмѣсто ихъ противныя— да и только; всѣ исключительныя системы вредны; во всѣхъ формахъ условныхъ можетъ жить красота неизмѣнная. Предметъ искусствъ вообще—человѣкъ; драматическаго въ особенности—человѣкъ въ дѣйствіи. Кто сумѣетъ пружины сего дѣйствія, нравы, чувства и страсти изобразить вѣрно, сильно и горячо, тотъ заслужитъ похвалу знающихъ, отдѣльно отъ принятаго имъ по-мѣстному обычаю или произвольному выбору костюма; симъ-то достоинствомъ равно стяжали себѣ безсмертіе и Софоклъ, и Шекспиръ, и Расинъ» (1). Пушкинъ вѣрно подмѣтилъ главную черту въ образѣ мыслей и въ литераторствѣ Катенина, сказавъ о немъ, что онъ питалъ отвращеніе отъ мелочныхъ способовъ добывать успѣхи и оставался самостоятельнымъ: «Никогда не старался онъ угождать господствующему вкусу въ публикѣ; напротивъ, шелъ всегда своимъ путемъ, творя для самого себя, что и какъ ему угодно. Онъ даже до того простеръ свою гордую независимость, что оставлялъ одну отрасль поэзіи, какъ скоро становилась она модною, удалялся туда, куда не сопровождали его ни пристрастіе толпы, ни образцы какого-нибудь писателя, увлекающаго за собою другихъ» (2). Литературная практика Катенина согласовалась съ его теоріей. За образцами обращался онъ къ Корнелю и Расину. Изъ перваго перевелъ онъ 4-е дѣйствіе Гораціевъ (1817) (3), Сида (1822); изъ втораго—Есѳирь (1816), и кромѣ того, въ подражаніе ему, написалъ Андромаху (1827). По словамъ Пушкина, Катенинъ «воскресилъ величавый геній Корнеля». Такое мнѣніе скорѣе голосъ пріязни, чѣмъ справедливый приговоръ. Достаточно сравнить переводъ 4-го дѣйствія Гораціевъ съ подлинникомъ, чтобы видѣть, на сколько сила чувствъ и ихъ выраженія у французскаго трагика потерпѣли отъ переводчика. Оригинальная же трагедія Андромаха вяла и безцвѣтна. Публика, по свидѣтельству самого Пушкина, относилась къ сочиненіямъ Катенина вообще холодно; но обвинять ее за это нельзя: въ нихъ нѣтъ того, что необходимо каждому поэтическому произведенію — поэзіи, есть соблюденіе извѣстныхъ правилъ и добросовѣстность исполненія (4).

---

1) Литер. Газета, Дельвига, т. II.

2) Соч. Пушкина, изд. Анненкова, т. V.

3) Первыя три дѣйствія переведены другими; пятое оставлено безъ перевода.

4) Предисловіе Н. Бахтина къ изданію сочиненій и переводовъ Катенина (2 ч. 1831); Отчетъ Ак. Н. по отдѣленію русскаго языка и словесности, П. Плетнева (въ 1-ой кн. Ученыхъ Записокъ этого отдѣленія, 1854); О сочиненіяхъ Катенина (въ сочин. Пушкина, изд. Анненкова, V).

Кокошкинъ съ 1818 по 1823 былъ членомъ конторы по репертуарной части при петербургскомъ театрѣ, а въ 1823-мъ, когда московскій театръ получилъ особое образованіе и особаго директора, онъ поступилъ на эту должность. Здѣсь оказалъ онъ много пользы: вызвалъ комика Щепкина изъ провинціи и пригласилъ другихъ талантливыхъ актеровъ; самъ владѣя исскуствомъ сценической игры, образовалъ нѣсколько новыхъ сюжетовъ и обучалъ начальной практикѣ воспитанниковъ театральной школы. Даже первоклассные артисты, какъ Щепкинъ и Мочаловъ, обращались къ нему за совѣтами, видя въ немъ не только знаніе дѣла, но и любовь къ дѣлу. Выборомъ піесъ, отчетливой ихъ постановкой, онъ старался сдѣлать изъ театра достойное образованной публики удовольствіе и въ самихъ артистахъ развить любовь и уваженіе къ искусству. Годы его директорства дѣйствительно были замѣчательнымъ временемъ въ исторіи московскаго театра. Драматическая труппа могла похвалиться многими талантами: кромѣ Щепкина и Мочалова, въ ней находились Сабуровъ и Сабурова, Рязанцевъ, Живокини, Лавровъ, Степановъ, Рѣпина, Львова-Синецкая, Кавалерова. Было кому играть и въ трагедіяхъ, и въ комедіяхъ, и въ водевиляхъ. Репертуаръ обогащался новыми піесами самого Кокошкина, кн. Шаховскаго, Загоскина, А. Писарева. Развилась и обстоятельная театральная критика въ статьяхъ С. Аксакова, В. Ушакова, Н. Полеваго. Короче, публика посѣщала театръ не потому единственно, что ей больше негдѣ было развлечься, а потому, что онъ не ронялъ значенія драматической поэзіи ни плохимъ репертуаромъ, ни плохимъ исполненіемъ репертуара.

Первое время драматической карьеры Загоскина (Михаила Николаевича, 1789—1852) протекло въ Петербургѣ, гдѣ онъ съ годъ служилъ при театрѣ помощникомъ члена по репертуарной части, познакомился съ Шаховскимъ и сдѣлался горячимъ его послѣдователемъ. Эту карьеру началъ онъ піесой, имѣвшей хорошій успѣхъ: «Комедія противъ комедіи, или урокъ волокитамъ» (1815), написанной въ защиту «Липецкихъ водъ», о чемъ самъ авторъ говоритъ въ предисловіи и что видно изъ разговоровъ нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ. Такой услугой Загоскинъ пріобрѣлъ расположеніе Шаховскаго, вскорѣ перешедшее въ дружескую между ними пріязнь, но въ то же время вооружилъ противъ себя враждебную Шаховскому партію литераторовъ [1]. Другую піесу: «Господинъ Богатоновъ, или провинціалъ въ столицѣ (1817)»,

---

[1]) Письмо Д. В. Дашкова къ кн. П. А. Вяземскому (Рус. Арх. 1866).

публика приняла еще лучше. Главное лице ея (Богатоновъ)— степной помѣщикъ, богатый и глупый невѣжда, помѣшавшійся на связяхъ съ знатью и переѣхавшій въ Петербургъ, гдѣ всѣ его обманываютъ и смѣются надъ нимъ, какъ надъ вороной въ павлиныхъ перьяхъ. Въ мысли піесы, равно какъ и въ главномъ лицѣ ея, видимо вліяніе «Полубарскихъ затѣй», почему Грибоѣдовъ и отозвался о Богатоновѣ, что онъ богатъ чужимъ добромъ, ходитъ въ кафтанѣ, который стащилъ съ Транжирина [1]. Комедія «Вечеринка ученыхъ» (1817) осмѣиваетъ бывшіе тогда въ модѣ литературныя вечера, на которыхъ читались новыя произведенія и нерѣдко присутствовали дамы. Одна изъ такихъ дамъ, въ родѣ «синяго чулка», собираетъ у себя сочинителей, а братъ ея смѣется надъ скучнымъ и нелѣпымъ времепровожденіемъ. Выслушавъ съ нетерпѣніемъ гимнъ, прочтенный лирическимъ стихотворцемъ, онъ не выдерживаетъ болѣе при видѣ тетради драматическаго писателя, вскакиваетъ съ мѣста и восклицаетъ: «нѣтъ, ужъ это чисто бѣда; посмотри-ка, какую онъ тетрадищу вывалилъ!» Контрастъ между педантическимъ увлеченіемъ женщины-писательницы и противоположнымъ взглядомъ ея брата-оригинала, не умѣющаго да и не желающаго скрывать ни симпатій, ни антипатій своихъ, и составляетъ искренній комизмъ піесы, возбуждавшій въ зрителяхъ столь же искренній смѣхъ. Комедія «Добрый малый» (1820) серьезнѣе по мысли. Она представляетъ плута и мошенника, который всѣхъ обманываетъ, навѣрняка обыгрываетъ своего пріятеля и хочетъ отбить у него невѣсту, но который умѣлъ такъ ловко и выгодно поставить себя во мнѣніи другихъ, что его принимаютъ за порядочнаго человѣка и называютъ «добрымъ малымъ». — По переѣздѣ изъ Петербурга въ Москву, Загоскинъ получилъ мѣсто въ конторѣ дирекціи Московскаго театра и продолжалъ драматическіе труды, изъ которыхъ особенно замѣчательны двѣ комедіи: «Урокъ холостымъ, или наслѣдники» (1822) и «Благородный Театръ» (1828). Въ первой, очень забавны сцены угодливости наслѣдниковъ богатому и холостому ихъ дядѣ, который однакожъ видитъ ихъ лицемѣрность и отдаетъ свое имѣніе другому лицу. Предметъ второй—благородные спектакли, которыми въ то время занимались не изъ удовольствія только, но и серьезно, какъ важнымъ дѣломъ. Это — лучшая піеса Загоскина

[1]) Въ 1817 г. Загоскинъ, вмѣстѣ съ Корсаковымъ, издавалъ журналъ «Сѣверный наблюдатель», въ которомъ помѣщались замѣтки объ игрѣ актеровъ. Загоскинъ выписалъ слабые стихи изъ комедіи Грибоѣдова: «Молодые супруги», съ своимъ комментаріемъ. Грибоѣдовъ по этому поводу сочинилъ шуточное стихотвореніе «Лубочный театръ», гдѣ осмѣялъ піесы Загоскина.

по комизму, по выдержанности характеровъ и по прекрасному стихотворному языку. Изъ лицъ особенно интересны: Любскій, задумавшій у себя благородный спектакль и съ начала до конца находящійся въ тревогѣ и волненіи; Волгинъ, грубый добрякъ, случайно попавшій въ закулисный міръ, вовсе ему неизвѣстный; наконецъ Посошковъ, человѣкъ умный, страстный любитель театра, сочинитель и актеръ, понимающій искусство и только потому смѣшной и даже глупый, что ничего кромѣ искусства не видитъ и не понимаетъ. Загоскинъ имѣлъ несомнѣнный комическій талантъ, и самою дорогою чертою его таланта была неподдѣльная, добродушная, чисто-русская веселость, которая поэтому инстинктивно понимается и очень цѣнится каждымъ русскимъ человѣкомъ. Эта веселость, по выраженію С. Аксакова, проступаетъ у Загоскина вездѣ: въ характерахъ, въ комизмѣ ихъ положеній, въ живой и свободной рѣчи, которою онъ владѣлъ мастерски, такъ что самые резонеры и добродѣтельные люди его комедій говорятъ по человѣчески, а не языкомъ автоматовъ. Ее нельзя замѣнить ни остроуміемъ, при которомъ піеса можетъ оставаться скучною и бездушною, ни замысловатой интригой, которая всегда возбуждаетъ любопытство зрителей, но не всегда заставляетъ ихъ смѣяться тѣмъ искреннимъ, задушевнымъ смѣхомъ, какимъ они смѣялись, смотря «Богатонова», «Наслѣдниковъ», «Благородный театръ». Вотъ почему его піесы имѣли въ свое время большой успѣхъ, да и теперь нельзя нѣкоторыхъ сценъ читать безъ смѣха. Что касается до сюжета, завязки и развязки, то они однообразны. Даже характеры часто повторяются, съ нѣкоторыми впрочемъ измѣненіями, хотя авторъ и въ видоизмѣненномъ умѣлъ найти забавныя черты и выставить ихъ съ свойственною ему добродушной веселостью. Схему почти каждой піесы начертать легко: неизбѣжная пара влюбленныхъ, противодѣйствующая имъ сила, въ видѣ тетушки или сестры, сила покровительствующая, въ видѣ дяди, брата или друга, изобличеніе какого-нибудь негодяя, искавшаго руки хорошей дѣвушки, и выдача ее за мужъ за добраго человѣка, ею любимаго. Загоскинъ не отступалъ отъ условныхъ пріемовъ французской комедіи, шелъ по дорогѣ уже избитой и новаго съ этой стороны у него нѣтъ (¹).

Хмѣльницкій (Николай Ивановичъ, 1789—1846) дебютировалъ комедіей «Говорунъ» (1817), за которой слѣдовали «Воздушные замки» (1818), «Бабушкины попугаи» (1819), «Семь пятницъ на

---

¹) Лѣтопись рус. театра; Біографія М. Н. Загоскина (въ Разныхъ сочиненіяхъ С. Аксакова).

недѣлѣ или нерѣшительный» (1820), «Актеры между собой, или первый дебютъ г-жи Троепольской» (1821), «Суженаго конемъ не объѣдешь» (1821), «Новая шалость или театральное сраженіе» (1822), и другія. Эти небольшія комедіи, водевили и оперетки почти всѣ переведены или передѣланы съ французскаго. Главное ихъ достоинство—остроуміе, но кромѣ того онѣ отличаются граціозною игривостью куплетовъ, благороднымъ тономъ, не оскорбляющимъ вкуса зрителей пошлою игрою словъ или неприличными двусмысленностями, наконецъ живымъ, легкимъ, свободнымъ разговоромъ. Въ силу этихъ качествъ онѣ имѣли чрезвычайный успѣхъ, долго держались на репертуарѣ и многія изъ нихъ сдѣлались любимыми піесами благородныхъ спектаклей. Можно сказать, что Хмѣльницкій впервые достойнымъ образомъ обработалъ для нашей сцены водевиль, бывшій тогда еще новинкой.

Первые опыты Грибоѣдова въ драмѣ относятся къ тому же времени, когда дѣятельность многихъ литераторовъ усильно была направлена на пользу театра. По переѣздѣ изъ Смоленска въ Петербургъ, онъ пристроился къ обществу Шаховскаго. Связь съ драматическими писателями (Катенинымъ, Хмѣльницкимъ, Жандромъ, Корсаковымъ) и артистами побудила его трудиться на томъ же поприщѣ. Въ 1815 г. была играна его комедія: «Молодые супруги», переведенная, по совѣту Шаховскаго, съ французскаго подлинника: Le secret du ménage. Другая комедія: «Притворная невѣрность» (1818) есть передѣлка, для бенефиса актрисы Семеновой, піесы Барта: «Les fausses infidélités», при участіи Жандра, которому впрочемъ принадлежатъ только двѣ сцены. Обѣ онѣ имѣли успѣхъ въ представленіи. Кромѣ того для комедіи Шаховскаго: «Своя семья или замужняя невѣста» (1818) онъ написалъ сцену племянницы съ скупою теткой, во 2-мъ дѣйствіи. О главномъ его произведеніи: «Горе отъ ума» будетъ сказано особенно.

§ 16. Чтобы поколебать въ нашей литературѣ исключительное господство псевдоклассицизма, необходимо было обратиться къ одному изъ самыхъ дѣйствительныхъ для того средствъ — къ знакомству съ другими областями всемірной поэзіи. Частію это и было дѣлано нѣкоторыми писателями. Но важнѣйшая заслуга по этому предмету совершена Жуковскимъ: художественными переводами образцовыхъ твореній онъ раздвинулъ передъ нами поэтическій горизонтъ, который дотолѣ ограничивался корифеями французскаго классицизма, какъ недосягаемыми идеалами словеснаго искусства, по ученію теоретиковъ.

Василій Андреевичъ Жуковскій (1783 — 1852), сынъ Аѳанасія Ивановича Бунина, родился въ имѣніи послѣдняго—селѣ Мишен-

изъ пансіона немного научныхъ свѣдѣній, то онъ несомнѣнно одолженъ мѣсту своего воспитанія собственно-литературнымъ образованіемъ, развитіемъ любви и вкуса къ словесности, и знаніемъ новыхъ языковъ, открывшимъ ему свободный доступъ къ поэзіи англичанъ и нѣмцевъ.

Въ 1801 г. основано было «новое дружеское литературное общество», въ которомъ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, участвовали двое братьевъ Тургеневыхъ (Андрей и Александръ), Воейковъ и Мерзляковъ, и уставомъ котораго члены были обязаны образовывать въ себѣ, «въ честь и славу добродѣтели и истины», талантъ — трогать и убѣждать другихъ произведеніями слова. На службу Жуковскій поступилъ въ главную соляную контору, гдѣ пробылъ до 1802 г. Вышедъ въ отставку, онъ оставилъ Москву и переѣхалъ на родину, неотразимо привлекавшую его воспоминаніями дѣтства и любовью къ роднымъ, у которыхъ онъ, учась въ пансіонѣ, каждое лѣто проводилъ вакаціи. Здѣсь въ Мишенскомъ, доставшемся, по смерти Бунина, семейству Юшковой, написалъ онъ элегію: «Сельское кладбище» (1802), которую назвалъ своимъ «первымъ напечатаннымъ стихотвореніемъ», вѣроятно въ томъ смыслѣ, что эта піеса была первымъ произведеніемъ, давшимъ литературную извѣстность ея автору и удостоеннымъ занять первое мѣсто въ собраніи его сочиненій. Въ Бѣлевѣ поселилась другая сестра поэта, Протасова съ дочерьми; здѣсь же жили мать его, для которой онъ построилъ домъ, и вдова Бунина: обѣ онѣ умерли въ одинъ и тотъ же годъ (1811). Такимъ образомъ, Жуковскій сталъ «мирнымъ жителемъ Бѣлева». Въ концѣ 1805 г. писалъ онъ къ сосѣду своему по деревнѣ, Ѳ. Г. Вендриху: «Я переселился въ Бѣлевъ, въ свой домъ; вся наша фамилія теперь живетъ у меня, слѣдовательно я не могу пожаловаться, чтобы вокругъ меня было пусто». Мы обстоятельно указываемъ семейную обстановку Жуковскаго потому, что она, находясь въ тѣсной связи съ его жизнію, сообщила, какъ увидимъ, и живое содержаніе его поэзіи.

На первыхъ порахъ своей литературной дѣятельности, Жуковскій поставленъ былъ въ необходимость трудиться надъ переводами, по заказу книгопродавцевъ: онъ перевелъ повѣсть изъ Коцебу «Мальчикъ у ручья» (1801) и «Донъ-Кихота» (1815) съ французскаго Флоріанова перевода. Въ 1808 г. онъ принялъ на себя завѣдываніе Вѣстникомъ Европы, который и издавалъ три года: первые два (1808 и 1809) при сотрудничествѣ Каченовскаго, а послѣдній (1810) въ соредакторствѣ съ нимъ. Новый издатель умѣлъ оживить журналъ, но не воротилъ ему того значенія, какое онъ имѣлъ въ рукахъ своего основателя. Отдѣлъ «изящной

словесности», дѣйствительно, вышелъ лучше; но цѣль, поставленная Карамзинымъ — знакомить русскихъ читателей съ Европою, успѣшнѣе достигалась въ первое двухлѣтіе «Вѣстника». Главный интересъ журнала заключался въ трудахъ самого Жуковскаго, которыя относятся къ четыремъ отдѣламъ: стихотвореніямъ, повѣстямъ и другимъ статьямъ для «легкаго чтенія», разсужденіямъ о разныхъ предметахъ, преимущественно о словесности, и критикѣ нѣкоторыхъ произведеній русской литературы. Изъ стихотвореній самыми замѣчательными піесами были: «Людмила» (передѣлка Бюргеровой Леноры на русскій ладъ), Кассандра (изъ Шиллера), Тоска по миломъ (изъ него же), Моя богиня (изъ Гете), къ Нинѣ, къ Филалету и пѣсня (Мой другъ, хранитель, ангелъ мой). Въ «Людмилѣ», прелесть гармоническихъ стиховъ и новость поэтическаго вида (баллады) произвели сильное впечатлѣніе на публику, подобное тому, какое, за пятнадцать лѣтъ, произвелъ Карамзинъ «Бѣдною Лизой». Въ подражаніе послѣдней Жуковскій написалъ «Марьину рощу», дѣйствующія лица которой, Марія и Усладъ, представляютъ образцы мечтательной настроенности. Разсужденіе: «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ», излагаетъ мысли автора о существенныхъ благахъ жизни, знакомитъ съ его идеальными стремленіями. Наконецъ, ему принадлежатъ двѣ критическія статьи: «О баснѣ и басняхъ Крылова», «О сатирѣ и сатирахъ Кантемира». Кромѣ оригинальныхъ статей, въ Вѣстникѣ Европы 1808—1810 гг. много переводовъ Жуковскаго изъ французскихъ и нѣмецкихъ писателей: Руссо, Шатобріана, Шанфора, Жанлисъ, Коцебу, Морица, Виланда, Энгеля, Мюллера и другихъ.

Передавъ Вѣстникъ Европы Каченовскому, Жуковскій снова поселился въ Бѣлевѣ, продолжая журнальную работу, «необходимую для кармана». По той же необходимости издано имъ «Собраніе русскихъ стихотвореній» (5 частей 1810 — 1811; 6-я—1815). Само собою разумѣется, что онъ не отказывался и «отъ набѣговъ на парнасскую область»: первая часть повѣсти въ стихахъ «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» явилась въ 1811 г. Но мысли Жуковскаго въ это время были направлены къ другому, существенному для него дѣлу. Сознавая недостатокъ своего образованія, онъ твердо рѣшился взять чтеніемъ то, чего не дала ему школа. Письмо его къ А. И. Тургеневу (1810) подробно объясняетъ намѣреніе поэта: «Между нами будь сказано, я совершенный невѣжда въ исторіи... Хочу получить о ней хорошее понятіе; не быть въ ней ученымъ, ибо я не располагаюсь писать исторію, но пріобрѣсть философическій взглядъ на происшествія въ связи. Для литератора и поэта исторія необходимѣе всякой другой науки; она

возвышаетъ душу, расширяетъ понятіе и предохраняетъ отъ излишней мечтательности, обращая умъ на существенное». Жуковскій хотѣлъ прочитать всѣхъ тогда извѣстныхъ классиковъ-историковъ, начавъ Гаттереромъ и Гереномъ. Стороннимъ побужденіемъ къ труду служили письма нѣмецкаго историка Іоанна Мюллера къ Бонстеттену, излагавшія важность историческихъ занятій (¹). Исторія русская составляла предметъ особаго изученія, необходимаго для задуманной Жуковскимъ поэмы «Владиміръ» (²): «тутъ ужъ нечего думать о классикахъ, а надобно добираться самому до источниковъ... Владиміръ будетъ моимъ фаросомъ». Кромѣ исторіи всемірной, какъ приготовленія къ русской и къ классикамъ, Жуковскій началъ изучать латинскій языкъ, а за тѣмъ думалъ приступить къ греческому: «Три года сряду будутъ посвящены труду *приготовительному*, необходимому, тяжелому, но услаждаемому высокою мыслію быть прямо тѣмъ, что должно. Авторство почитаю службою отечеству, въ которой надобно быть или отличнымъ, или презрѣннымъ: промежутка нѣтъ. Но съ тѣми свѣдѣніями, которыя имѣю теперь, нельзя достигнуть до перваго. И такъ лучше поздно, нежели никогда». Таковъ былъ планъ самоученія, начертанный двадцати-семилѣтнимъ поэтомъ, который, не успокоиваясь авторскою извѣстностью, сѣтовалъ на тѣсноту своего, исключительно-литературнаго образованія. Если обстоятельства и не дозволили ему провести трехъ лѣтъ сряду въ предположенныхъ занятіяхъ и выучиться древнимъ языкамъ, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ прочелъ много историческихъ сочиненій и познакомился, конечно помощію переводовъ, съ образцами древне-классической поэзіи. Начитанность его доказывается и письмами къ разнымъ лицамъ (³) и дальнѣйшими его произведеніями.

Война 1812 г. прервала уединенный трудъ Жуковскаго. Онъ отправился къ арміи и вступилъ въ московское ополченіе поручикомъ. Состоя при дежурствѣ главнокомандующаго Кутузова-Смоленскаго, онъ, вмѣстѣ съ другими волонтерамя, находился подъ Бородинымъ въ строю и за отличіе былъ награжденъ чиномъ штабсъ-капитана и орденомъ св. Анны 2-й степени. Передъ сраженіемъ при Тарутинѣ написалъ «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ»—патріотическое стихотвореніе, сдѣлавшее имя автора извѣстнымъ во всей Россіи. Изъ подъ Тарутина онъ временно пріѣзжалъ въ Муратово, имѣніе Протасовой (въ 30 верстахъ отъ

¹) Часть ихъ переведена Жуковскимъ (В. Евр. 1810, № 16, и 1811, № 6).

²) Это намѣреніе осталось неисполненнымъ.

³) Особенно замѣчательны въ этомъ отношеніи письма къ А. Ѳ. Фонъ-деръ-Бриггену (1845—1849). Рус. архивъ 1867, №№ 5 и 6.

Орла), а изъ Вильны вернулся сюда же въ самомъ началѣ 1813 г. и оставался до половины 1814-го; вторую же половину прожилъ въ Долбинѣ, родовомъ имѣнiи Кирѣевскихъ (калужской губернiи, въ 7 верстахъ отъ Муратова), гдѣ написалъ нѣсколько стихотворенiй ([1]). Все, отъ чего война оторвала поэта, было возвращено ему снова: «сладость мира, отчiй домъ, кругъ друзей, уединенный трудъ». Въ 1813 г. напечатана баллада Свѣтлана, написанная раньше, а къ 1814-му относится «Посланiе Императору Александру», обратившее на автора особое вниманiе Императрицы Марiи Өеодоровны, которая еще прежде того, выслушавъ чтенiе «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ», приглашала его въ Петербургъ. Но «другъ мирныхъ селъ» предпочиталъ «невѣдомую стезю» широкимъ, заманчивымъ для многихъ путямъ свѣта. Онъ не только не добивался близости ко двору, замѣчаетъ кн. Вяземскiй, но долго и довольно настойчиво отъ нея уклонялся. Только особенное возмущенiе въ ровномъ потокѣ жизни могло привести уединеннаго пѣвца именно въ ту сторону, которая и въ мечтахъ ему не представлялась. Въ концѣ 1813 г., А. Ө. Воейковъ посѣтилъ автора, жившаго въ Муратовѣ. Онъ умѣлъ очень понравиться Протасовой и женился на ея дочери, Александрѣ Андреевнѣ. Когда ему выхлопотали каөедру русской словесности въ дерптскомъ университетѣ, и семейство Протасовыхъ переселилось съ нимъ въ Дерптъ, Жуковскому не для чего было оставаться въ опустѣвшемъ, столь дорогомъ ему прiютѣ: онъ также отправился за родными и жилъ съ ними почти безвыѣздно, до начала 1817 г. Въ университетскомъ кругу онъ познакомился съ Эверсомъ, представителемъ исторической науки, и самъ принялся за прерванныя занятiя исторiей. Между тѣмъ мысль о поэмѣ не была имъ оставлена: въ половинѣ 1816 г. онъ думалъ сдѣлать путешествiе въ Кiевъ и Крымъ, нужное, какъ онъ говорилъ, для «Владимiра». Того же года началъ заботиться о собранiи русскихъ сказокъ и преданiй, по любви къ нимъ съ издѣтства. Для этого поручилъ онъ своимъ племянницамъ, остававшимся въ Бѣлевѣ, Зонтагъ и Кирѣевской, записывать и пересылать ему розсказни деревенскихъ разсказщиковъ, намѣреваясь послѣ привести собранные матерiалы въ порядокъ. На поэзiю нацiональную, писалъ онъ имъ, никто не обращаетъ вниманiя: въ сказкахъ заключаются народныя мнѣнiя, суевѣрныя преданiя даютъ понятiе о нравахъ и степени просвѣщенiя старины. Старанiями Тургенева, первое изданiе стихотворенiй Жуковскаго (2 ч., 1815—1816) было, чрезъ князя А. Н. Го-

---

[1]) Долбинскiя стихотворенiя (Рус. Архивъ 1864, № 10).

лицына, поднесено Государю, который назначилъ автору пенсію въ 4000 руб. Эта награда заставила его смотрѣть на свои дальнѣйшіе труды, какъ на святую обязанность передъ трономъ и отечествомъ: «слава достойная, писалъ онъ, есть для меня теперь тоже, что благодарность». Въ 1817 г. была издана баллада Вадимъ (вторая часть повѣсти Двѣнадцать спящихъ дѣвъ). Того же года, съ замужствомъ старшей дочери Протасовой, наступилъ второй, петербургскій періодъ жизни Жуковскаго. «Свадьба кончена», извѣщалъ онъ Тургенева, «и душа совсѣмъ утихла».

Лѣтомъ 1815 г. Жуковскій былъ представленъ Императрицѣ Маріи Ѳедоровнѣ С. С. Уваровымъ. Друзьямъ давно хотѣлось перетянуть его въ Петербургъ; но прежде чѣмъ уступить ихъ убѣжденіямъ, онъ выговаривалъ себѣ извѣстныя условія. Не столько перемѣна мѣста, сколько перемѣна образа жизни тревожила его, а послѣдней невозможно было избѣжать, водворясь въ столицѣ. Вотъ почему онъ и желалъ пріѣзжать въ Петербургъ лишь на время. «Чтобы сдѣлать для меня то, что мнѣ надобно», писалъ онъ Тургеневу (4 августа 1815), «вы должны имѣть настоящее понятіе о томъ, что мнѣ надобно. Боюсь я этихъ grands projets [1]. Могутъ составить себѣ за меня какой-нибудь планъ моей жизни, да и убьютъ все... Тебѣ, кажется, не нужно имѣть комментарія на то, что мнѣ надобно. Независимость — да и только. Способъ писать, не заботясь о завтрашнемъ днѣ. Что, и гдѣ, и когда писать, мнѣ на волю. Я не буду жильцомъ петербургскимъ; но каждый годъ буду въ Петербургѣ непремѣнно... Если писать сдѣлается для меня обязанностію непремѣнно, то сказываю напередъ, что написано ничего не будетъ». Недовольство настоящимъ и сожалѣніе о прошломъ выражено въ письмѣ къ Зонтагъ (осенью 1815 г.): «Мое *теперь* хуже прежняго. Здѣшняя жизнь (въ Петербургѣ) мнѣ тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь. Ваше *одно и тоже* кажется мнѣ прекраснымъ положеніемъ; работать безъ всякаго разсѣянія, въ кругу своихъ, отдѣлясь отъ прошедшаго и будущаго—вотъ чего мнѣ хочется.... Или все, меня окружающее, ничтожно; или я самъ ничто, потому что у меня ни къ чему не лежитъ сердце, и рука не поднимается взяться за перо, чтобы описывать то, что мнѣ какъ чужое. И воображеніе поблѣднѣло. Поэзія отворотилась.... Я здѣсь живу очень уединенно; никого кромѣ своихъ немногихъ не вижу, и, не смотря на это, все время проскакиваетъ между пальцевъ. И этой немногой разсѣян-

[1]) Слова «grands projets» показываютъ намѣреніе друзей Жуковскаго приблизить его ко Двору.

ности для меня слишкомъ много. Прибавьте къ ней какую-то неспособность заниматься, которая меня давитъ и отъ которой не могу отдѣлаться. Жестокая сухость залѣзла въ мою душу:

О рощи, о друзья, когда увижу васъ!»

Отъ этихъ жалобъ, порожденныхъ не столько мыслію о предстоящей жизни въ Петербургѣ, сколько воспоминаніемъ жизни прошлой, Жуковскій былъ отвлеченъ своими обязанностями при дворѣ. Придворная жизнь его началась еще съ того времени, какъ Императрица Марія Ѳедоровна опредѣлила его къ себѣ лекторомъ (чтецомъ). Въ 1817 г. онъ былъ избранъ въ преподаватели русскаго языка великой княгинѣ (впослѣдствіи Императрицѣ) Александрѣ Ѳедоровнѣ. Это заставило его заняться изученіемъ грамматики роднаго слова, которымъ на практикѣ онъ уже владѣлъ художнически. Въ 1818 г., когда дворъ находился въ Москвѣ, Жуковскій, для своей Августѣйшей слушательницы, переводилъ изъ первоклассныхъ нѣмецкихъ поэтовъ стихотворенія, которыя она знала наизусть. Переводы, вмѣстѣ съ подлинниками (texte en regard), печатались ежемѣсячно небольшими книжечками, подъ названіемъ «Для немногихъ» (Für Wenige), такъ какъ онѣ не поступали въ продажу, а раздавались немногимъ лицамъ (¹). Всѣхъ книжекъ вышло шесть. Въ послѣдней напечатанъ прологъ изъ Орлеанской Дѣвы. Однимъ изъ самыхъ производительныхъ годовъ для поэзіи Жуковскаго былъ 1821-ый. Въ теченіи его явились переводы Орлеанской Дѣвы (Шиллера), Шильонскаго узника (Байрона), Пери и Ангела, изъ повѣсти Мура: Лалла-Рукъ. Въ свободные отъ обязанности мѣсяцы, Жуковскій ежегодно ѣздилъ въ Дерптъ, на поэтическій отдыхъ среди родныхъ, къ которымъ съ дѣтскихъ лѣтъ и во всю жизнь былъ привязанъ самыми тѣсными узами дружбы и любви. Съ 1820 г. онъ жилъ у Воейкова, который, оставивъ каѳедру, переѣхалъ на службу въ Петербургъ. Смерть старшей его племянницы (М. А. Мойеръ) поразила его душу глубокою скорбію. Тѣмъ сильнѣе привязался Жуковскій къ оставшейся въ живыхъ.

По вступленіи на престолъ Императора Николая, Жуковскій былъ выбранъ въ наставники Великому Князю Наслѣднику (нынѣ царствующему Государю) Александру Николаевичу. Онъ всецѣло предался своей обязанности, сознавая ея величіе передъ отечествомъ и трономъ. Поэзія уступила мѣсто педагогическимъ трудамъ, такъ что въ собраніи его стихотвореній мы видимъ семи-

---

¹) Это внушило А. Пушкину посланіе къ Жуковскому, гдѣ сказано:
Ты правъ, творишь ты для *немногихъ*....

лѣтній пробѣлъ (съ 1823 по 1829). Все это время было имъ проведено въ обдумываніи плана и пріемовъ образованія, въ урокахъ Августѣйшему Питомцу и въ наблюденіи за уроками другихъ преподавателей. Жуковскій смотрѣлъ на свои занятія, какъ на многотрудный священный подвигъ. Вотъ что писалъ онъ по этому дѣлу къ роднымъ: «Моя настоящая должность беретъ все мое время. Въ головѣ одна мысль, въ душѣ одно желаніе... Какая забота и отвѣтственность! Занятіе, питательное для души! Цѣль для цѣлой остальной жизни! Чувствую ея великость, и всѣми мыслями стремлюсь къ ней! До сихъ поръ я доволенъ успѣхомъ, но кругъ дѣйствій безпрестанно будетъ расширяться. Занятій множество: надобно учить и учиться — и время все захвачено. Прощай навсегда, поэзія съ риѳмами! Поэзія другаго рода со мною, мнѣ одному знакомая, понятная для одного меня, но для свѣта безмолвная. Ей должна быть посвящена остальная жизнь». Къ поэзіи Жуковскій обратился съ 1829 г., посвящая ей часы свободные отъ занятій, а также время поѣздокъ за границу, совершаемыхъ для отдыха или для поправленія здоровья. Въ этотъ годъ перевелъ онъ Бюргерову балладу «Ленору», стихотворенія Шиллера: «Кубокъ», «Торжество побѣдителей», «Жалоба Цереры» и другія. Того же года понесъ онъ новую утрату въ семейномъ кругу. А. А. Воейкова скончалась въ Ливорно, куда она отправилась лечиться. Любовь свою къ умершей онъ перенесъ на ея сиротъ. Въ 1831 г., живучи въ Царскомъ, вмѣстѣ съ Пушкинымъ, онъ написалъ сказки: О царѣ Берендеѣ, Спящая Царевна, Война мышей и лягушекъ. Пять нумеровъ «Муравейника» (1831) [1], вѣроятно, издававшагося при участіи Жуковскаго, содержатъ въ себѣ нѣсколько его стихотвореній: «Сидъ» (извлеченіе изъ древнихъ романсовъ испанскихъ), «Перчатка», «Двѣ были и еще одна», «Сраженіе съ Змѣемъ» Въ 1836 г. онъ докончилъ «Ундину», начатую до того за четыре года. Путешествуя, въ свитѣ Наслѣдника по Европѣ (1838), онъ, въ подражаніе Гальму, сочинилъ драматическую поэму «Камоэнсъ» и перевелъ въ другой разъ «Сельское Кладбище» Грея; къ тому же году относятся «Очерки Швеціи» (въ прозѣ). Три года (1837 — 1840), въ досужное отъ занятій время, переводилъ онъ съ нѣмецкаго поэму «Наль и Дамаянти». По совершеніи бракосочетанія Государя Цесаревича Жуковскій получилъ чинъ тайнаго совѣтника и другія награды: ему до смерти предоставлено было все, чѣмъ онъ пользовался по должности наставника; онъ могъ жить тамъ, гдѣ найдетъ для себя удобнѣе и пріятнѣе; особенная сумма была на-

[1]) Книжная рѣдкость (Рус. Арх. 1867, № 2).

значена на первое обзаведеніе его хозяйства ([1]); наконецъ онъ и въ отсутствіе свое считался состоящимъ на службѣ при Государѣ Наслѣдникѣ. Въ 1841 г. онъ женился на дочери давнишняго своего друга, полковника Рейтерна, проживавшаго съ своимъ семействомъ въ Дюссельдорфѣ. Съ тѣхъ поръ ему не пришлось болѣе видѣть Россіи, за разными семейными обстоятельствами, преимущественно за болѣзнію жены. Въ заграничной жизни своей, на полной свободѣ, онъ посвятилъ свое время поэзіи, сдѣлавшись, по его выраженію, изъ романтика классикомъ: «подъ старость», писалъ онъ П. А. Плетневу, «я присосѣдился къ древнему разсказчику - Гомеру и началъ въ-слѣдъ за нимъ, на его ладъ, разсказывать своимъ соотечественникамъ Одиссею». Такое намѣреніе не должно было удивлять людей, знавшихъ поэта. Письма его къ Тургеневу показываютъ, какъ онъ уважалъ классическую литературу. Это уваженіе осталось при немъ навсегда. Сѣтуя на свое незнаніе латинскаго и греческаго языковъ, которымъ, по обстоятельствамъ, не могъ выучиться, онъ, однакожъ, еще въ 1822 г. перевелъ вторую пѣснь Энеиды (нап. 1823), а въ 1828-мъ — отрывки изъ Иліады (нап. въ Сѣверныхъ Цвѣткахъ 1829), по нѣмецкимъ переводамъ Фосса и Штольберга. Письма его къ фонъ-деръ Бриггену (1845—1849) выражаютъ убѣжденіе, что хорошіе переводы латинскихъ и греческихъ поэтовъ и прозаиковъ принесли бы чрезвычайную пользу и нашему языку, и нашему образованію. Онъ благодаритъ Бриггена за переводъ Цезаревыхъ Записокъ, который тотъ хотѣлъ посвятить ему, и совѣтуетъ впослѣдствіи приступить къ другимъ историкамъ — Саллюстію, Тациту и Титу Ливію, а также къ Цицероновымъ письмамъ. Первая половина Одиссеи напечатана въ 1847 г., вмѣстѣ съ «повѣстями и сказками», и съ поэмой «Рустемъ и Зорабъ», а вторая въ 1849 г. Того же 1849 г. былъ празднованъ пятидесятилѣтній юбилей дѣятельности Жуковскаго ([2]). Государь пожаловалъ знаменитому поэту орденъ Бѣлаго орла, въ ознаменованіе (какъ сказано въ грамотѣ) особеннаго своего уваженія къ трудамъ юбиляра на поприщѣ отечественной литературы и въ изъявленіе душевной признательности за заслуги, Царскому семейству оказанныя. Покончивъ съ Одиссеей, поэтъ принялся было за Иліаду, но успѣлъ изъ нея перевести только первую пѣснь и часть второй. Равнымъ образомъ не кончилъ онъ и поэмы «Вѣчный Жидъ». Одновременно съ поэзіей шли у Жуковскаго прозаическія занятія

[1]) Въ это время Жуковскій былъ женихомъ и занимался приготовленіями къ отъѣзду за границу, гдѣ жила его невѣста.

[2]) Юбилей приходился не въ 1849, а въ 1847 г.

и новые педагогическіе труды: онъ сталъ работать надъ учебнымъ курсомъ для дѣтей своихъ — дочери Александры и сына Павла, которымъ незадолго до смерти посвятилъ книжечку стихотвореній. Касательно же прозы, онъ писалъ П. А. Плетневу: «У меня уже готово на цѣлый толстый томъ. Матеріаловъ довольно для будущаго — и есть великій замыселъ, о которомъ поговоримъ, когда Богъ велитъ свидѣться». Среди этихъ замысловъ на новыя работы, поэта стали посѣщать недуги. Зрѣніе его слабѣло, слухъ тупѣлъ. Въ 1851 г. онъ не могъ уже видѣть однимъ глазомъ и писалъ съ помощію машинки, имъ самимъ изобрѣтенной. Занемогши 1 апрѣля 1852 г., онъ скончался въ Баденъ-Баденѣ 7-го того же мѣсяца, на семидесятомъ году своей жизни. Тѣло его, поставленное въ склепѣ на загородномъ Баденскомъ кладбищѣ, было перевезено въ Петербургъ и 29 іюля предано землѣ въ Александроневской Лаврѣ. «Слезы августѣйшихъ особъ» (заключаемъ нашъ очеркъ словами Плетнева), «оплакивавшихъ утрату наставника ихъ и друга, смѣшались съ слезами поклонниковъ незабвеннаго поэта на его гробѣ, который, наравнѣ съ друзьями его, несъ и царственный первенецъ изъ церкви до самой могилы, гдѣ Жуковскій покоится нынѣ подлѣ Карамзина».

Въ одномъ изъ посланій своихъ, Жуковскій сказалъ, что онъ желаетъ быть такимъ, какимъ себя изображаетъ. Произносимыя другими поэтами, подобныя слова большею частію имѣютъ случайный смыслъ, какъ плодъ преходящаго настроенія ихъ духа. Съ новымъ душевнымъ настроеніемъ мѣняется у нихъ и образъ идеальнаго человѣческаго достоинства. Въ устахъ такого поэта, какъ Жуковскій, сказанныя слова выражаютъ не капризъ и увлеченіе, а твердый обѣтъ слѣдовать тому идеалу, который оставался неизмѣннымъ въ его изображеніяхъ. Онъ постоянно славилъ добродѣтель, не отличая ее ни отъ поэзіи, ни отъ счастія: «поэзія есть добродѣтель», «истинно счастливый человѣкъ есть человѣкъ истинно добрый». Служенье музамъ, по его понятію, нераздѣльно съ служеніемъ всему доброму; «геній чистой красоты» есть въ тоже время вѣстникъ «нетлѣнныхъ благъ». Жизнь непорочная, куда бы ни привела его судьба: вотъ что положилъ онъ осуществлять своими мыслями, чувствами и дѣлами, и вотъ на что постоянно указывали его поэтическія представленія. По мнѣнію Карамзина, дурной человѣкъ не можетъ быть хорошимъ авторомъ. Жуковскій думалъ тоже: нечистый человѣкъ не можетъ быть хорошимъ поэтомъ; или, точнѣе, дѣйствіе, производимое его творчествомъ, будетъ недоброе. Жизнь поэтическому созданію, разсуждалъ онъ, даетъ *духъ поэта*, въ созданіи его тайно соприсутственный: и

потому нравственно-образовательное влiянiе поэтическаго произведенiя заключается не въ содержанiи его, а въ томъ, что есть самъ поэтъ. Каковъ самъ поэтъ, таково будетъ и творенiе. Если онъ есть духъ чистоты, если художественное созданiе (каковъ бы ни былъ предметъ его) проникнуто имъ такъ же, какъ образецъ его, Божiе созданiе, духомъ Создателя, то и дѣйствiе его будетъ благодатно, какъ дѣйствiе неизглаголаннаго мiрозданiя на душу. Напротивъ: самое святое подѣйствуетъ на насъ какъ отрава, когда оно выльется изъ сосуда души отравленной» ([1]). Мы привели эти слова не съ тѣмъ, чтобы, изложивъ взглядъ Жуковскаго на искусство, опредѣлить, вѣренъ ли онъ или нѣтъ, а для того только, чтобы показать, что Жуковскiй не рознилъ творца съ творенiемъ. Что же, исполнилось ли желанiе нашего поэта? былъ ли онъ таковъ, какимъ онъ изображалъ себя въ стихахъ, по идеалу нравственнаго достоинства? И одно искреннее стремленiе къ идеалу составляетъ немалую заслугу; гораздо выше, конечно, достиженiе идеала. Изъ матерiаловъ для бiографiи Жуковскаго, особенно изъ его писемъ, видно, что онъ выдерживаетъ самый взыскательный надъ собою судъ... Свидѣтельства его друзей и знакомыхъ, собственныя его письма, самыя интимныя, въ которыхъ человѣкъ является безъ притворства, выказываютъ въ немъ образецъ душевной чистоты. Не даромъ друзья называли его «Свѣтланой». Всегдашняя готовность дѣлать добро была въ немъ чутка какъ инстинктъ, сильна какъ сознанiе. Идти на встрѣчу нуждѣ—словомъ и дѣломъ—онъ почиталъ и обязанностiю, и счастiемъ. Что было имъ сказано, въ Сельскомъ кладбищѣ, объ уединенномъ пѣвцѣ, то безъ лести прилагалось къ нему самому: онъ дарилъ несчастныхъ чѣмъ только могъ. Въ этомъ отношенiи, любопытно одно изъ его писемъ къ Тургеневу, въ лицѣ котораго онъ сердито упрекаетъ петербургскихъ прiятелей за ихъ безпечность и легкомыслie: «Вы хвастаете своимъ Арзамасомъ. Хвастайте, хвастайте, голубчики! Правда, вы запаслись *Рейномъ* ([2]): пожива славная! Но, милые друзья, надобно помнить и о томъ, что ближе къ Арзамасу: Мещевскiй ([3]) въ Сибири; а вы, друзья, очень весело поживаете въ Петербургѣ! Если вы не собрались еще о немъ вспомнить отъ разсѣянности, то это срамъ и ребячество. Еслижъ отъ холодности къ его судьбѣ, то это.... что это? Я не знаю, какъ назвать это! На чтожъ намъ толковать о добрѣ, о общей пользѣ, о хорошихъ, возвышающихъ душу

[1]) Письмо къ Гоголю.

[2]) Т. е. приняли въ литературное общество «Арзамасъ» новаго члена, М. Ѳ. Орлова, подъ именемъ *Рейна*.

[3]) Стихотворенiя Мещевскаго печатались въ тогдашнихъ журналахъ.

стихахъ? На что смѣяться надъ Шаховскими и Rivarol? Ни на то, ни на другое не имѣемъ мы права, если способны быть столь безпечны, когда дѣло идетъ о судьбѣ, можетъ быть о жизни, а можетъ быть (что еще важнѣе) о нравственномъ спасеніи человѣка, который намъ себя ввѣряетъ! Признаться, мнѣ больно быть хлопотуномъ за Мещевскаго, безсильнымъ его орудіемъ. Своихъ способовъ нѣтъ, а вы не помогаете. Если бы у меня была сила въ рукахъ, я бы вамъ не поклонился». Не меньше трогательна заботливость Жуковскаго о другомъ ссыльномъ—Бриггенѣ: какъ родной, входитъ онъ съ нимъ въ переписку касательно его занятій, даетъ ему совѣты, беретъ на себя изданіе его перевода, предлагаетъ деньги... и все съ одною цѣлью, о которой онъ не упомянулъ ни словомъ, но которую очень хорошо понимала и чувствовала другая сторона, — съ цѣлью облегчить по возможности участь наказаннаго. Третьимъ свидѣтельствомъ глубокой чувствительности и высокаго доброжелательства Жуковскаго служатъ его отношенія къ извѣстному стихотворцу И. И. Козлову, когда этотъ лишился зрѣнія: Жуковскій сдѣлался у него домашнимъ человѣкомъ, неизмѣнною опорою всей его семьи. Его веселыя и задушевныя бесѣды бывали лучшимъ утѣшеніемъ несчастному поэту, и въ послѣдніе его часы все тотъ же дружескій голосъ читалъ отходныя молитвы умирающему другу. Мы выставляемъ крупные факты необычайной доброты поэта, а сколько такихъ, которыхъ еще не знаетъ его біографія и которые, вѣроятно, остались неизвѣстными самымъ близкимъ его друзьямъ!

Примѣромъ долговременной своей дѣятельности Жуковскій доказалъ несправедливость поговорки, что стихотворцы—народъ тщеславный, завистливый и раздражительный. Какъ въ первые успѣхи своего авторства, такъ и на высотѣ своей славы онъ отличался одинаковою скромностью. Рѣдкіе одобряли возникающій талантъ и содѣйствовали ему съ такимъ радушіемъ, какое онъ оказалъ Кольцову. Онъ былъ другомъ Батюшкова, который одинъ изъ современныхъ авторовъ могъ съ нимъ соперничать въ дарованіи и стихотворномъ исскуствѣ. Учитель Пушкина, по словамъ сего послѣдняго, онъ признаетъ въ ученикѣ своего побѣдителя и съ полной искренностью радуется его успѣхамъ. Передъ литературной къ нему непріязнію онъ держался такъ же благородно, какъ Карамзинъ, но еще снисходительнѣй и незлобивѣй. Природное добродушіе, сознаніе собственнаго достоинства и возвышенный взглядъ на поэзію не дозволили закрадываться въ его душу ни высокомѣрію, ни презрѣнію. Онъ былъ убѣжденъ, что нѣтъ ничего хуже той славы, которой всѣ обыкновенно ищутъ или которая всѣмъ дается свѣтомъ,

и поэтически уподоблялъ ее скелету, обвитому розами. Вотъ его исповѣдь, по поводу комедіи кн. Шаховскаго: «Липецкія воды», въ которой онъ былъ выведенъ подъ именемъ Фіалкина: «Здѣсь (въ Петербургѣ) есть авторъ князь Шаховской. Извѣстно, что авторы не охотники до авторовъ. И онъ поэтому не охотникъ до меня. Вздумалъ онъ написать комедію и въ этой комедіи смѣяться надо мною. Друзья за меня вступились... Теперь страшная война на Парнассѣ. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы всѣ молчали... Всѣ эти глупости еще болѣе привязываютъ къ поэзіи, святой поэзіи, которая независима отъ близорукихъ судей и довольствуется сама собою... Бѣда писателю, если у него душа доступна для оскорбленія глупцовъ и невѣждъ. Я благодаренъ этому глупому случаю: онъ болѣе познакомилъ меня съ самимъ собою. Я теперь знаю, что люблю поэзію для нея самой, не для почестей, и что комары парнасскіе меня не укусятъ никогда слишкомъ больно» (¹). Слова Жуковскаго еще тѣмъ замѣчательны, что они указываютъ его понятіе объ источникѣ нашего спокойствія и счастія: этотъ источникъ—въ довольствѣ самимъ собою, которое возможно только при внутренней самостоятельности. Къ чему стремился онъ всю свою жизнь? Конечно не къ богатству и почестямъ, никогда его не плѣнявшимъ. Онъ былъ идеалистъ, и къ нему прилагаются слова Шиллера, сказанныя объ идеалистахъ вообще, въ противоположность реалистамъ: онъ искалъ не независимости состоянія, а независимости отъ состоянія, какое бы ни выпало на его долю.

Излишне говорить о патріотизмѣ Жуковскаго, прославленномъ его поэзіей и доказанномъ дѣлами. Но нельзя умолчать о его глубокомъ религіозномъ чувствѣ. Онъ былъ истинный христіанинъ, питавшій неизмѣнную довѣренность къ Провидѣнію. Въ словахъ Спасителя: «да не смущается сердце ваше: вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте», находилъ онъ всевозможныя утѣшенія, данныя человѣку на всѣ житейскія бѣды. Эти слова начерталъ онъ «на двухъ родныхъ, земной судьбиною разрозненныхъ могилахъ» (на могилахъ М. А. и А. А. Протасовыхъ); ихъ же, говоритъ онъ, рука жены и рука дочери должны были начертать и на его гробовомъ камнѣ

Въ воспоминаніе земнаго счастья,
Въ возмагражденіе любви земныя
И жизни вѣчныя на упованье.

Упомянемъ еще объ одной чертѣ въ характерѣ Жуковскаго. Поэтъ по преимуществу элегическій, пѣвецъ меланхоліи и грусти,

¹) Письмо къ роднымъ 1815 (Рус. Архивъ, 1864, стр. 459—461).

онъ въ общежитіи, особенно въ кругу друзей, вовсе не былъ меланхоликомъ: веселость составляла отличительное свойство его добраго и уживчиваго нрава. Онъ любилъ и умѣлъ шутить, хотя и не дозволялъ себѣ злоупотреблять шуткой, обращая ее въ орудіе вредное или обидное ближнему. Шутливый элементъ виденъ въ нѣкоторыхъ его стихотвореніяхъ, большею частію неизданныхъ, напримѣръ въ протоколахъ Арзамаса, которые онъ велъ по званію секретаря этого общества ([1]).

«Жизнь и поэзія одно». Эти слова Жуковскаго допускаютъ различное толкованіе. Самъ авторъ выразилъ ими ту мысль, что онъ всецѣло отдался своему призванію, что поэзія составляла главное, существенное дѣло его жизни. Но можно понимать ихъ и въ томъ смыслѣ, что поэтъ старался устроить свою жизнь по тому идеалу нравственнаго достоинства, какой представлялъ въ своихъ созданіяхъ. Наконецъ они могутъ означать, что поэзія Жуковскаго есть звучный отголосокъ, вѣрное откровеніе его собственной жизни. Мы останавливаемся на послѣднемъ толкованіи, какъ на такомъ, которымъ разъясняется отношеніе поэтической дѣятельности Жуковскаго къ его біографіи.

Немногіе таланты находились подъ такимъ вліяніемъ первоначальной жизненной среды, какое испыталъ Жуковскій. Она дѣйствовала на него обаятельно и нескончаемо. Родина, «гдѣ онъ расцвѣлъ въ тѣни уединенья», представлялась ему обѣтованной землей, которую онъ по обстоятельствамъ долженъ былъ покинуть, но съ которой никогда не разлучался ни чувствомъ, ни воображеніемъ. Въ одномъ изъ раннихъ своихъ переводовъ онъ совѣтуетъ друзьямъ любить родительскій кровъ, потому что здѣсь только возможно счастіе «съ забвеніемъ суетъ, съ безпечностью свободы» ([2]). Вдали

---

[1]) Важнѣйшіе матеріалы для біографіи Ж-го:

Плетнева П. А.: «В. А. Жуковскій (Живописный сборникъ, изд. Плюшара, 1853) и отдѣльной книжкой, подъ заглавіемъ: «Жизнь и сочиненія В. А. Жуковскаго, 1854».

Доктора Зейдлица: «Очеркъ развитія поэтической дѣятельности Жуковскаго» (Журн. Мин. Нар. Просвѣщенія, 1869, №№ 4, 5 и 6).

Шевырева: «О значеніи Ж-го въ русской жизни и поэзіи» (Москвит. 1853, № 1, и отдѣльнымъ изданіемъ).

Бѣлинскаго: Сочиненія, т. 8.

Выдержки изъ старой записной книжки, кн. П. А. Вяземскаго (Рус. Архивъ разныхъ годовъ).

Письма Ж-го къ разнымъ лицамъ (ib).

Лонгинова М. Н.: Матеріалы для полнаго изданія сочиненій Ж-го (Рус. Арх. 1864, №№ 5 и 6; дополненіе къ нимъ, ib. 1866, №№ 11 и 12).

[2]) Сонъ Могольца.

отъ родины онъ непрестанно вспоминалъ о ней и какъ бы всегда имѣлъ ее передъ глазами. Дрезденскія окрестности представляли ему окрестности Бѣлева; въ извивахъ Эльбы онъ видѣлъ извивы Оки; а отдаленіе—несмотря на то, что на немъ синѣлись горы Саксонской Швейцаріи—имѣло для него что-то похожее на рощи, окружающія одну изъ родныхъ пустыней (¹). У подошвы швейцарскихъ горъ, онъ мысленно переносился на тотъ холмикъ, на которомъ стоялъ Мишенскій домъ съ своею церковью и гдѣ началась его поэзія переводомъ Греевой элегіи (²). Но привязанность къ людямъ, съ которыми онъ «расцвѣталъ въ тѣни уединенья», была еще сильнѣе привязанности къ естественнымъ красотамъ мѣсторожденія. Къ членамъ своего семейства онъ питалъ не простое чувство родства, но заботливую дружбу и горячую, неизмѣнную любовь. Подъ вліяніемъ окружавшей его родной среды и въ отношеніи къ ней сложился «идеалъ счастія», сдѣлавшійся основною темою поэзіи Жуковскаго. Черты этого идеала въ первый разъ опредѣлительно указаны «Письмомъ изъ уѣзда къ издателю Вѣстника Европы», которое, какъ программа или передовая статья, излагаетъ обязанности журналиста. Авторъ «письма» — самъ редакторъ (Жуковскій), но онъ выражаетъ мнѣніе не отъ себя собственно, а отъ лица Стародума (³).

Письмо наполнено разсужденіями Стародума, вошедшаго въ моду со времени «Недоросля». Объяснивъ существенную пользу журнала, какъ скорѣйшаго проводника полезныхъ идей въ обществѣ, Стародумъ указываетъ то поприще, на которомъ, для нашего счастія, общее просвѣщеніе должно дѣйствовать. Это поприще — мирный и тѣсный кругъ семейства: «въ семействѣ будетъ заключено сладкое счастіе, дѣятельность, награды, все, къ чему стремимся, къ чему привязано сердце, что радуетъ, возвеличиваетъ душу; имѣй въ виду семейство, въ которомъ, со временемъ, на самомъ дѣлѣ ты могъ бы исполнить всѣ лучшія мечты, озаряющія твою душу въ часы уединеннаго размышленія». Но если, при всѣхъ правахъ на счастье, просвѣщенный человѣкъ не найдетъ его тамъ, гдѣ оно блистаетъ наилучшимъ свѣтомъ, гдѣ оно единственно возможно, тогда пусть ищетъ замѣны «въ собственной дѣятельности,—въ томъ удовольствіи, которое неразлучно съ любовію къ прекрасному, съ трудами ума, съ работами воображенія, въ той неотъемлемой наградѣ, которая заключена во внутреннемъ спокойномъ увѣреніи, что исполнилъ свою должность, какъ *чело-*

¹) Отрывки изъ писемъ о Саксоніи, 1821 г.

²) Изъ письма къ Зонтагъ (1833) (Жив. Сбор. ч. 3).

³) В. Европы, 1808, № 1.

вѣкъ—совершенствуя свою натуру, какъ *гражданинъ*—трудясь съ намѣреніемъ приносить пользу отечеству». Основныя положенія Стародума повторены въ разсужденіи: «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ?». Не отдѣляя добродѣтели отъ счастія, авторъ мѣстомъ дѣйствій для нихъ назначаетъ семейство — «тихое, сокрытое отъ людей поприще, на которомъ совершаются *самые благородные, самые безкорыстные подвиги добродѣтельнаго*». За этимъ поприщемъ простираются болѣе обширные круги—отечество и человѣчество. О нихъ съ элегическимъ паѳосомъ разсуждаетъ Теонъ [1], имѣя передъ глазами памятникъ, воздвигнутый надъ могилою его супруги. Возвышенныя стремленія Стародума и Теона дышатъ скорбью потому именно, что они внушены сердцемъ, потерявшимъ верховный идеалъ свой. Напрасно это сердце ищетъ новыхъ, равносильныхъ или важнѣйшихъ, идеаловъ: ничто не въ силахъ замѣнить утраченнаго. Все остальное получаетъ цѣну лишь по отношенію къ утратѣ: или какъ воспоминаніе о ней, или какъ надежда на ея возвращеніе. Прошедшее, настоящее и будущее дружатся этими единственными чувства омраченной жизни. Въ отвѣтъ Д. Сѣверину, переведшему съ французскаго небольшую пьесу «Писатель въ обществѣ», Жуковскій напечаталъ въ журналѣ статью подъ тѣмъ же заглавіемъ. Переводъ оканчивается совѣтомъ Делиля автору: «du fond de ta retraite habite l'univers». Жуковскій, согласно съ своимъ взглядомъ, выразился такъ: «вселенная, со всѣми ея радостями, должна быть заключена въ той мирной обители (семействѣ), гдѣ онъ (писатель) мыслитъ и гдѣ онъ любитъ».

Поэтъ не только создалъ идеалъ счастія по тому образу, какой представляла ему родная семья, но и думалъ обрѣсти его въ той же семьѣ, гдѣ «сладость тайная во грудь его лилась». Онъ питалъ глубокую любовь къ своимъ племянницамъ, Протасовымъ. Его намѣреніе жениться на старшей (Марьѣ Андреевнѣ) могло бы исполниться, если бы мать ихъ въ родственныхъ отношеніяхъ не видѣла причины своему упорному отказу. Въ письмѣ къ Тургеневу 1810 г. Жуковскій бесѣдуетъ съ нимъ объ этой тайнѣ своего сердца: «Ахъ, братъ и другъ, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрыта какимъ-то туманомъ *недѣятельности душевной*, который ничего не даетъ мнѣ различить въ ней. Причина этой недѣятельности тебѣ извѣстна. А теперь, другъ мой, эта самая дѣятельность служитъ мнѣ лекарствомъ отъ того, что было прежде ей помѣхою. Если романическая любовь могла спасать душу отъ порчи, за то она уничтожаетъ въ ней и дѣятель-

[1]) Въ элегіи: «Теонъ и Эсхинъ».

ность, привлекая ее къ одному предмету, который удаляетъ ее отъ всѣхъ другихъ. Этотъ одинъ убійственный предметъ какъ царь сидѣлъ въ душѣ моей по сіе время. Но теперешняя моя дѣятельность, наполнивъ мою душу (или, лучше сказать, *начиная* наполнять), избавляетъ ее отъ вреднаго постояльца. Если бы онъ ушелъ самъ, *не уступивши* мѣста своего другому, то душа могла бы угаснуть; но теперь она только перемѣнила свое направленіе и, признаться, къ совершенной своей выгодѣ... Не подумай, однако, чтобы моя мысль о дѣйствіи любви была *общею* мыслію, а не моею; нѣтъ, она справедлива и неоспорима, но только тогда, когда будешь предполагать нѣкоторыя особыя обстоятельства: она справедлива въ отношеніи ко мнѣ». Отсюда въ поэзіи Жуковскаго частые диѳирамбы труду. Но этотъ благотворный трудъ былъ для него только «цѣлителемъ скорбной души, а не животворителемъ счастія». Онъ мирилъ печальнаго съ судьбой, не измѣняя самой судьбы. По прежнему печаль осталась его спутницей и вдохновеніемъ. «Во дни печали я съ тобой», отвѣчаетъ онъ Тургеневу, а не во дни счастья, давая тѣмъ знать, что онъ всегда помнитъ своихъ друзей. Какъ прежде Жуковскій жаловался на жребій, не судившій ему дѣлить свою жизнь съ тою, которой онъ готовъ былъ жертвовать всѣми благами земли; какъ прежде находилъ онъ въ любви «одну мечту, безумца тяжкій сонъ и невозвратное надеждъ уничтоженье»: такъ и теперь, съ обращеніемъ къ дѣятельности, прославляемый и призываемый имъ трудъ не былъ для него—и долго еще не будетъ—ни замѣной счастія, ни самимъ счастіемъ. Для знакомства съ его душевнымъ настроеніемъ того времени, о которомъ здѣсь говорится, любопытны стихи «въ альбомъ А. А. П.», отнесенные имъ къ 1814 г. Если не ошибаемся, они написаны для крестницы его Протасовой и, вѣроятно, послѣ того, какъ она была сосватана за Воейкова. Выписываемъ отсюда заключеніе:

Тѣснишься въ сердце ты изображеньемъ милымъ
Всего минувшаго, всего, чѣмъ жизнь была
Такъ сладостно полна, такъ пламенно мила,
Что вдохновеніемъ всю душу зажигало,
Всего, что лучшаго въ ней было и пропало...
О упоеніе томительной мечты,
Покинь меня! *Желать* безжалостно ты учишь;
Не воскрешая, смерть мою тревожишь ты;
Въ могилѣ мертвеца ты чувствомъ жизни мучишь.

Какъ ни туманны послѣднія четыре строки, но томительное чувство, ими выраженное, понятно: это — скорбь невольной и нежеланной, судьбою устроенной разлуки съ дорогимъ существомъ или дорогими существами. Потеря идеала въ жизни сообщила слѣдую-

щей за тѣмъ поэзіи Жуковскаго еще болѣе унылый тонъ. Меланхолія, какъ ожиданіе грядущей бѣды, перешла въ меланхолію, какъ ощущеніе бѣды совершившейся. Въ разныхъ образахъ поэтъ сталъ воплощать крушеніе надежды и разными причинами объяснять его: то отецъ, искатель богатства, разорвалъ сердечный союзъ (1); то тщеславная мать выдала свою дочь за другаго (2); то изгнаніе раздѣляетъ любовниковъ (3); то смерть похищаетъ одного изъ нихъ (4). Всегда и вездѣ разлука съ предметомъ любви—съ идеаломъ счастья. Такъ какъ отъ настоящаго ждать было нечего, то прошлое украсилось особенною прелестью. Только воспоминаніе могло приносить отраду: «разлуки жизнь—воспоминанье». Мысль о минувшемъ осаждала душу поэта сильными прибоями: чувствуя ея тяжесть, потому что въ его воображеніи живо возникало погибшее счастіе, онъ однакожъ не только не отбивался отъ нея, но и хотѣлъ постоянно имѣть ее при себѣ, какъ замѣну погибшаго. Всѣ обращенія къ прежнему времени исполнены трогательныхъ жалобъ:

Минувшихъ дней очарованье,
Зачѣмъ опять воскресло ты?
Кто разбудилъ воспоминанье
И замолчавшія мечты?...

О милый гость, святое *прежде*,
Зачѣмъ въ мою тѣснишься грудь?
Могулъ сказать: *живи*, надеждѣ?
Скажулъ тому, что было будь?...

Зачѣмъ душа въ тотъ край стремится,
Гдѣ были дни, какихъ ужъ нѣтъ?
Пустынный край не населится,
Не узритъ онъ минувшихъ лѣтъ... (5).

Этотъ пустынный край—родныя мѣста поэта; эти минувшіе дни—время, проведенное имъ на родинѣ, особенно въ семействѣ сестры его Протасовой. Живость воспоминанія, выраженная въ «Пѣснѣ» рядомъ вопросовъ, нашла еще сильнѣйшее и болѣе поэтическое выраженіе въ другой піесѣ. Посвятивъ «Громобоя» (1810) А. А. Протасовой, Жуковскій черезъ нѣсколько лѣтъ написалъ «Вадима» (1817), вторую и послѣднюю часть «Двѣнадцати спящихъ дѣвъ». Сравненіе времени, когда онъ началъ свою повѣсть, съ совершенно

1) Эльвина и Эдвинъ.
2) Алина и Альсимъ.
3) Эолова арфа.
4) Теонъ и Эсхинъ. Голосъ съ того свѣта.
5) Пѣсня (1816).

иными обстоятельствами, при которыхъ она была кончена, вызвало въ его душѣ «тоску по благамъ прежнихъ лѣтъ»:

Опять ты здѣсь, мой благодатный Геній,
Воздушная подруга юныхъ дней... (¹).

Прежніе годы надолго остались для поэта «лучшими» годами, «тѣмъ свѣтомъ», куда любилъ онъ носиться воспоминаніемъ, своимъ добрымъ геніемъ, внимательно прислушиваясь къ каждой вѣсти, оттуда къ нему приходившей. «Хотѣлось бы взглянуть на васъ» (писалъ онъ Зонтагъ 1824 г.), на моего представителя *прежнихъ*, *лучшихъ* лѣтъ.... Ваше письмо точно было голосъ съ того свѣта, а *тѣмъ свѣтомъ* я называю нашу молодость, наше бывалое, счастливое *вмѣстѣ*». Пользуясь славою поэта и достоинствомъ общественнаго положенія въ столицѣ, Жуковскій то и дѣло стремился къ бывалому, просилъ жизни по старинѣ. Что напоминало ему эту старину, въ чемъ видѣлъ онъ какое нибудь подобіе своей душевной настроенности, то немедленно облекалось въ поэтическій образъ или заводило элегическія пѣсни. Онъ перевелъ французское стихотвореніе (Листокъ), въ которомъ изображенъ жребій листка, отлученнаго отъ родной вѣтки и носимаго по волѣ случая. Полевая незабудка обращается для него въ «цвѣтъ завѣта», символъ воспоминанія (Цвѣтъ завѣта). Хотя эта піеса написана по особенному поводу, но содержаніе ея близко относилось къ автору. Онъ самъ, на далекомъ сѣверѣ, чувствовалъ то именно, что высказываетъ отъ другаго лица, для котораго сочинено стихотвореніе. Даже піесы на случай, у другихъ поэтовъ вялыя и холодныя, Жуковскій оживлялъ собственною печалью. Только изъ души, испытавшей тяжесть сердечной утраты, могли вырываться такія искреннія жалобы, какими наполнена элегія на кончину королевы виртемберской (Екатерины Павловны, 1818), сочиненная вскорѣ послѣ того, какъ старшая племянница поэта вышла за мужъ:

О наша жизнь, гдѣ вѣрны лишь утраты,
Гдѣ милому мгновенье лишь дано,
Гдѣ скорбь безъ крылъ, а радости крылаты,
И гдѣ на вѣкъ минувшее одно...
Почтожъ мы здѣсь мечтами такъ богаты,
Когда мечтамъ не сбыться суждено?
Внимая гласъ надежды намъ поющей,
Не слышимъ мы шаговъ бѣды грядущей.

Когда же умерла вторая его племянница (Александра Андреевна, въ февралѣ 1829), онъ перевелъ Шиллерову балладу: «Жалоба

¹) Эта элегія есть вольный переводъ «посвященія», написаннаго Гете по окончаніи 2-ой части «Фауста».

Цереры» (1829). Въ сѣтованіяхъ богини, лишившейся дочери, въ ея печальной встрѣчѣ весны:

Все цвѣтетъ,—лишь мой единый
Не взойдетъ прекрасный цвѣтъ,

не трудно слышать голосъ самого переводчика, который, еще задолго до этого времени, посвящая дорогой родственницѣ «Громобоя», называлъ ее «очарованьемъ сердецъ», своимъ «несравненнымъ цвѣтомъ». Какъ съ лѣтами онъ не измѣнялся нравственно, и былъ, говоря его словами, тотъ же дитя, житель уединенія, такъ и его поэзія оставалась неизмѣнною. Лирическія мѣста «Ундины» (1836) показываютъ, что въ немъ не замирала память о минувшемъ, хотя оно и скрывало въ своей дали много развалинъ и могилъ. Такъ, напримѣръ, пятая глава повѣсти начинается обращеніемъ къ читателю, которое, при всемъ спокойствіи тона, даетъ чувствовать сердечную боль автора. Коснувшись охлажденія рыцаря къ Ундинѣ, Жуковскій не хочетъ подробно описывать предстоящее ей горе, потому что оно напоминаетъ ему превратность собственнаго счастья (глава XIII):

. . . . позволь мнѣ
Лучше о томъ позабыть, что такъ больно душѣ; испытали
Всѣ мы невѣрность здѣшняго счастья; ты самъ, вѣроятно,
Былъ имъ обманутъ—таковъ ужъ земной человѣческій жребій.....
. . . . Можетъ быть, слушая нашу
Повѣсть, ты вспомнишь и самъ о своемъ минувавшемъ, и тихо
Милая грусть тебѣ черезъ душу прокрадется, снова
То, что прошло, оживетъ, и ты слезу сожалѣнья
Бросишь опять на цвѣты, которыми такъ любовался
Прежде на грядкахъ своихъ, давно ужъ растоптанныхъ. Полно жъ,
Полно объ этомъ, читатель.

И при самомъ почти вступленіи въ новый періодъ своей жизни, память минувшаго, еще живую и чувствительную, онъ высказалъ словами «Камоэнса» (1838):

О, святая
Пора любви! твое воспоминанье
И здѣсь, въ моей темницѣ, на краю
Могилы, какъ дыханіе весны,
Мнѣ освѣжило душу. Какъ тогда
Все было въ мірѣ отголоскомъ звучнымъ
Моей любви! какимъ сіяньемъ райскимъ
Блистала предо мной вся жизнь съ своимъ
Страданіемъ, блаженствомъ, съ настоящимъ,
Прошедшимъ, будущимъ...
Все переживешь
На свѣтѣ... Но забыть?... Блаженъ, кто носитъ
Въ своей душѣ святую память, вѣрность

Прекрасному минувшему! Моя
Душа ее во глубинѣ своей,
Какъ чистую лампаду засвѣтила,
И въ ней она поэзіей горѣла.

Поэзія Жуковскаго дѣйствительно горѣла чистымъ и ровнымъ свѣтомъ, зажженнымъ «тоскою по благамъ прежнихъ лѣтъ».

Отъ природы мечтательный, добрый и кроткій, Жуковскій не былъ способенъ ни къ ожесточенію, ни къ отчаянію, которыя поражаютъ многихъ людей, имѣвшихъ право роптать на судьбу. Онъ запасся утѣшеніемъ и сохранилъ взглядъ оптимиста на жизнь и природу. Утѣшительная доктрина его немногосложна; она состоитъ изъ двухъ-трехъ догматовъ, сущность которыхъ заключается въ слѣдующемъ:

Человѣкъ, лишась любимаго предмета, вмѣстѣ съ тѣмъ лишился и счастья. Но счастье, вдвоемъ столь живое, не изчезло: самая скорбь о погибшемъ идеалѣ есть наслажденье; страданье въ разлукѣ обращается въ благодѣтельную для сердца любовь. Идеалъ живетъ съ нами воспоминаніемъ, которое такъ чутко и сильно, что, при малѣйшемъ поводѣ, въ одно мгновеніе можетъ давноминувшее дѣлать настоящимъ, а настоящее отодвигать на далекое разстояніе:

Все близкое мнѣ зрится отдаленнымъ,
Отжившее, какъ прежде, оживленнымъ.

Могила служитъ святымъ завѣтомъ пережившему: свершить одному то, что онъ такъ достойно началъ вдвоемъ; взять въ образецъ своей жизни прекрасную жизнь тѣхъ, которыхъ уже нѣтъ на свѣтѣ. Мы всегда пребываемъ съ ними воспоминаніемъ: оно возвышаетъ душу въ счастіи, ободряетъ ее въ несчастіи, и есть, такъ сказать, двойникъ нашей совѣсти. Другое утѣшеніе печальный находитъ въ надеждѣ на возвратъ идеала: гробъ, сокрывшій друга, невѣсту, супругу, есть вѣрный свидѣтель,

Что лучшее въ жизни еще впереди,
Что вѣрно желанное будетъ.

Сей гробъ—затворенная къ счастію дверь;
Отворится... жду и надѣюсь!
За нимъ ожидаетъ сопутникъ меня,
На мигъ мнѣ явившійся въ жизни (1).

И потому-то огорченный долженъ не роптать на природу и жизнь, а примириться съ ними, какъ примирился «Эпимесидъ» (2), какъ примирился Теонъ:

1) Теонъ и Эсхинъ.
2) Эпимесидъ (Изъ Парни). Рос. Музеумъ 1815, № 2.

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ;
Все въ жизни къ великому средство;
И горесть и радость—все къ цѣли одной:
Хвала жизнодавцу—Зевесу (¹).

Такимъ образомъ жизнь человѣка, разлученнаго съ идеаломъ, слагается изъ двухъ элементовъ: изъ воспоминанія объ утраченномъ благѣ и изъ надежды на возвратъ его. Только прошедшее и будущее имѣютъ для него значеніе; настоящее какъ бы вовсе не существуетъ (²).

Жуковскій оставался вѣренъ и своей печали, и своей философіи. Сводъ его мыслей, взятыхъ изъ разныхъ піесъ, начиная съ разсужденія: «Кто истинно-добрый и счастливый человѣкъ», и оканчивая «Ундиной» (1837), на которой мы остановились, показываетъ, что въ теченіи *тридцати* лѣтъ, отдѣляющихъ первое сочиненіе отъ послѣдняго, когда поэту было уже *пятьдесятъ четыре* года, ни доктрина его, ни тоска по идеалу не измѣнились. Онъ любилъ и выражать эту доктрину, какъ лирикъ, и представлять ее въ символахъ — своихъ или заимствованныхъ изъ чужой литературы. Воспоминаніе и надежда—два чувства, данныя человѣку небомъ, въ замѣнъ потеряннаго счастья, изображались для него двумя ненадменными цвѣтками — незабудкой и анютиными глазками (pensée):

О милое *воспоминаніе*
О томъ, чего ужъ въ мірѣ нѣтъ!
О *дума сердца—упованіе*
На лучшій, неизмѣнный свѣтъ!
Блаженъ, кто васъ среди губящаго
Волненья жизни сохранилъ,
И съ вами низость настоящаго
И пренебрегъ, и позабылъ.

Поэтическій образъ загробнаго свиданія созданъ въ «Жалобѣ Цереры»—элегіи, переведенной изъ Шиллера. Послѣ долгихъ, но тщетныхъ поисковъ дочери, богиня нашла средство торжествовать надъ разлукой, сблизить мертвыхъ съ живыми: сѣмяна, которыя она осенью ввѣрила землѣ, изображаютъ вѣсть любви, посылаемую въ царство тѣней, а цвѣты, распустившіеся весною—голосъ дочери, отвѣчающей на материнскій привѣтъ:

Ими таинственно слита
Область тьмы съ страною дня,

¹) Теонъ и Эсхинъ.

²) Кромѣ указанныхъ піесъ, см.: къ К. М. С....ой (1807), Надгробіе Тургеневымъ (1807). Кто истинно-добрый и счастливый человѣкъ (1808), Голосъ съ того свѣта (1815).

И приходятъ отъ Коцита
Съ ними вѣсти для меня;
И ко мнѣ въ живомъ дыханьѣ
Молодыхъ цвѣтовъ весны
Подымается признанье,
Гласъ родной изъ глубины:
Онъ разлуку услаждаетъ,
Онъ душѣ моей твердитъ,
Что любовь не умираетъ
И въ отшедшихъ за Коцитъ.

Разъяснивъ достаточно предположенное нами значеніе словъ: «жизнь и поэзія — одно», мы имѣемъ право сказать о произведеніяхъ Жуковскаго, что они — *поэтическая лѣтопись его личной судьбы, преимущественно его романической любви.*

Сохранила ли эта поэзія тотъ же характеръ въ своихъ явленіяхъ, слѣдовавшихъ за «Ундиной» и «Камоэнсомъ»? Если Жуковскій славилъ трудъ, какъ цѣлителя печальной души, то у времени столько же цѣлебной силы: съ теченіемъ лѣтъ печаль неминуемо затихаетъ или и совсѣмъ прекращается, даже въ тѣхъ душахъ, которыя могутъ быть названы ея избранными сосудами. Самъ Жуковскій испыталъ на себѣ преходимость горя:

Какъ намъ, добрый читатель, сказать: къ сожалѣнью иль къ счастью, что наше
Горе земное не надолго? Здѣсь разумѣю я горе
Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
Горе, которое съ милымъ, потеряннымъ благомъ сливаетъ
Насъ во-едино, которымъ утрата для насъ не утрата,
Скорбь вдвоемъ бытіе, а жизнь—порывъ непрестанный
Къ той чертѣ, за которую милое наше изъ міра
Прежде насъ перешло. Есть, правда, много избранныхъ
Душъ на свѣтѣ, въ которыхъ святая печаль, какъ свѣча предъ иконой
Ярко горитъ, пока догоритъ; но она и для нихъ ужъ
Все не та подъ конецъ, какою была при началѣ,
Полная, чистая; много, много инаго, чужаго
Между утратою нашей и нами уже протѣснилось;
Вотъ, наконецъ, и всю измѣняемость здѣшняго въ самой
Нашей печали мы видимъ.... и такъ, скажу: къ сожалѣнью,
Наше горе земное не надолго.

Для Жуковскаго конецъ горя наступилъ вскорѣ послѣ того, какъ онъ выразилъ сожалѣніе о его невѣчности. Въ 1841 г. онъ женился. Тоска по благамъ прежнихъ лѣтъ изчезла, потому что идеалъ былъ найденъ, только въ лицѣ другаго существа, въ другомъ мѣстѣ и при другихъ обстоятельствахъ. Семейная жизнь осуществила то счастіе, къ которому поэтъ стремился съ юныхъ лѣтъ, но которое было у него похищено судьбою. «Наль и Дамаянти» (1840) стоитъ на рубежѣ, раздѣляющемъ два періода его жизни

и дѣятельности. Переводъ этой поэмы, представляющей идеалъ вѣрной жены, есть «послѣднiй цвѣтъ, данный ему поэзiей» перваго, почти сороколѣтняго перiода. Въ посвященiи раскрыто новое состоянiе души переводчика:

И нынѣ тихо, безъ волненья льется
Потокъ моей уединенной жизни.
Смотря въ лице подруги, данной Богомъ,
На освященье сердца моего,
Смотря, какъ спитъ сномъ ангела на лонѣ
У матери младенецъ мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тотъ покой,
Котораго такъ жадно здѣсь мы ищемъ,
Не находя нигдѣ; и слышу голосъ,
Земныя всѣ смиряющiй тревоги:
«Да не смущается твоя душа»,
Онъ говоритъ мнѣ, «вѣруй въ Бога, вѣруй
Въ меня».

Нѣкоторые, опираясь на заявленiе Жуковскаго (въ предисловiи къ переводу Одиссеи), что онъ «изъ мечтателя-романтика сдѣлался трезвымъ классикомъ», думаютъ видѣть въ послѣднихъ трудахъ его замѣтный поворотъ отъ прежняго направленiя къ новому. Мнѣнiе ошибочное: такъ называемый поворотъ ограничился тѣмъ, что, на старости, поэтъ захотѣлъ повеселить свой досугъ разсказами, и потому, оставивъ лиру, принялся за переводъ безсмертнаго разсказщика Гомера. Обусловилось же это желанiе фактомъ, важнымъ для каждаго человѣка: Жуковскiй «перешелъ въ спокойное пристанище семейной жизни». Было бы странно, по достиженiи пристани, обоготворять бывшую печаль, происходившую отъ долговременнаго одиночества. Напротивъ, очень естественно веселить умиротворенную душу первобытной поэзiей, которая «такъ тиха и покойна, такъ мирно украшаетъ все насъ окружающее». Здѣсь выборъ занятiя согласовался съ внутреннимъ настроенiемъ поэта. Сверхъ того, и до перевода Одиссеи Жуковскiй представлялъ образцы своего знакомства съ древне-классической поэзiей, отъ изученiя которой нашими литераторами ожидалъ большой пользы для русской словесности. Перемѣны, повторяемъ, не было, если только подъ классицизмомъ не разумѣть спокойствiя, которое, въ извѣстные годы, или даруется какъ награда за нравственныя заслуги, или является само собою, какъ результатъ физiологическаго процесса. Что же касается до слова «романтикъ», то оно крайне неопредѣленно, и въ примѣненiи къ Жуковскому должно быть употребляемо съ ограниченiями, если не хотимъ извращать и спутывать понятiй.

Элегическое чувство, которымъ проникнута поэзія Жуковскаго за первый періодъ, сохранилось и во второмъ ея періодѣ; только тамъ оно было печалью по утраченномъ идеалѣ, а здѣсь оно вытекало изъ тревогъ, нераздѣльныхъ съ пользованіемъ идеаломъ и убѣждающихъ, что «земная жизнь—страданія питомецъ». «Счастье досталось мнѣ именно такое (писалъ онъ къ А. О. С.***), какое я желалъ во снѣ и на яву; но вѣнецъ этого счастія есть вѣнецъ божественный, слѣдственно въ него должны быть необходимо вплетены терны изъ того вѣнца, передъ которымъ всѣ другіе земные вѣнцы исчезаютъ. Душа моя познакомилась съ тѣми тревогами, которыя составляютъ многочисленную свиту нашихъ любезнѣйшихъ земныхъ сокровищъ... Семейная жизнь есть та школа, въ которой настоящимъ образомъ научишься жизни; но не радостями беззаботными, не поэтическими мечтами, а болѣе тревогами, страхами, ссорами съ самимъ собою, ведущими отъ раздраженія души къ терпѣнію, отъ терпѣнія къ вѣрѣ, отъ вѣры къ сердечному миру, и все это наконецъ сливается въ одно — въ любовь безсмертную, а ея имя Богъ-Спаситель». И Жуковскій стремился къ этой цѣли, т. е. къ наукѣ жизни въ христіанскомъ духѣ. Опыты изученія видны въ «Размышленіяхъ и замѣчаніяхъ», въ «письмахъ къ Гоголю и Стурдзѣ», въ статьяхъ «о меланхоліи въ жизни и въ поэзіи» и «объ изящномъ искусствѣ», и другихъ. Къ поэтическимъ мечтамъ (независимо отъ перевода Одиссеи и Иліады) авторъ прибѣгалъ только какъ къ формамъ для выраженія догматовъ и правилъ той же науки: «сказка о Мудрецѣ Керимѣ» заключается выводомъ, что наша жизнь есть странствіе по свѣту въ исполненье верховной воли Высшаго Царя; «Выборъ креста» показываетъ, что каждый человѣкъ долженъ безропотно нести свой крестъ, не требуя облегченія крестнаго бремени; «Капитанъ Боппъ» есть исторія великаго нечестивца, раскаяніемъ примиреннаго съ Богомъ ([1]); основной идеей неконченной поэмы «Агасверъ» служитъ апотеоза страданій, закаляющихъ душу христіанскимъ смиреніемъ и любовью къ Искупителю міра, превышающею всякую иную любовь.

Поэтическія произведенія Жуковскаго обогатили нашу лирику новымъ, плодотворнымъ содержаніемъ, которое составляетъ важный моментъ въ ея историческомъ развитіи. Они впервые раскрыли передъ нами внутренній міръ человѣка, міръ его души, какъ пред-

---

[1]) «Капитанъ Боппъ» есть переводъ французскаго прозаическаго разсказа: «Le capitaine de vaisseau et son mousse, histoire véritable», publié par la Société des traités religieux de Paris (1825). Въ эпиграфѣ слова Спасителя ученикамъ: «Развѣ вы никогда не читали: изъ устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей Ты устроилъ хвалу? (Пс. VIII, 3).

мета, наиболѣе достойнаго вдохновенныхъ пѣсенъ. Душевная исповѣдь служитъ господствующею ихъ темою, не возбуждавшею дотолѣ сочувственнаго вниманія писателей, которые притомъ и не были къ тому призваны ни характеромъ своихъ талантовъ, ни качествами своей природы. До чего бы ни касалась поэтическая дѣятельность Жуковскаго, въ какія бы формы ни облекались его представленія и чувства, онъ никогда не подчиняетъ явленій психическаго міра предметамъ и фактамъ другихъ сферъ: душа постоянно занимаетъ у него первенствующее мѣсто. Красота любви, дружбы, поэзіи, таинственнаго соотношенія между природой и человѣкомъ, радость въ наслажденіи ими, печаль при ихъ утратѣ... выступаютъ предпочтительно даже въ тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя, ссылаясь на установленный обычай, могли бы ограничиться прославленіемъ героическихъ дѣлъ, заявленіемъ внѣшняго величія и славы. Такъ «Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ» содержитъ въ себѣ не мало мѣстъ, выражающихъ тоску объ утраченномъ счастіи (при воспоминаньѣ о Кутайсовѣ) или прелести дружбы, любви и служенья музамъ, и эти мѣста проникнуты задушевнымъ чувствомъ. Такъ въ піесѣ «на кончину королевы Виртембергской», не довольствуясь трогательнымъ воспоминаніемъ объ умершей, поэтъ вводитъ строфы о бѣдности нашей жизни, о гибели всего прекраснаго на земли.

Господствующій тонъ въ этой душевной лирикѣ—элегическій. Причины тому двоякія: частныя и общія. Первыя намъ извѣстны: это—врожденная наклонность поэта къ меланхоліи, въ соединеніи съ обстоятельствами его жизни. Что касается до вторыхъ, то онѣ указаны самимъ Жуковскимъ, который назвалъ меланхолію «одною изъ самыхъ звучныхъ струнъ лиры, настроенной послѣ распространенія христіанства». «Христіанство, говоритъ онъ, открывъ намъ глубину нашей души, увлекло насъ въ духовное созерцаніе, соединило съ міромъ внѣшнимъ міръ таинственный, что отразилось и въ жизни дѣйствительной, и въ поэзіи». И вотъ онъ постоянно обращался въ этой области: задачею его было—углубляться въ міръ внутренній, преслѣдовать душу въ ея движеніяхъ, высказывать подробно ея тайны. А для высказыванія такихъ предметовъ элегія, какъ лирика рефлексіи, служитъ наиболѣе пригодною художественною формою. Элегія не ограничивается, подобно пѣснѣ, сосредоточеннымъ изліяніемъ непосредственнаго чувства; не покушается, подобно одѣ, на смѣлые образы, порождаемые сильнымъ одушевленіемъ: она свои думы и чувства выражаетъ рядомъ образовъ, состоящихъ во взаимной, внутренней связи. Основная тема ея—преходимость всего земнаго. Оба элемента ея: описаніе и раз-

мышленіе (образы и думы), равно служатъ къ достиженію цѣли, т. е. къ передачѣ читателю того чувства, которое овладѣло элегикомъ: описываемый образъ вызываетъ мысль, а высказанная мысль находитъ себѣ подтвержденіе или отраженіе въ ново-представляющемся образѣ. Естественно-художественная смѣна одного элемента другимъ, ихъ разумное чередованіе и равновѣсіе и составляютъ прелесть элегическаго рода.

Самыя лучшія, наиболѣе характеристическія произведенія Жуковскаго относятся къ этому роду. Элегіей началась его поэзія. Онъ выбралъ для перевода «Сельское кладбище» Грея, который, вмѣстѣ съ другимъ англійскимъ писателемъ XVIII вѣка, Гольдсмитомъ, сообщилъ элегіи идиллическій характеръ, безъ сомнѣнія нравившійся переводчику, какъ «любителю мирныхъ селъ». «Лѣтній вечеръ» написанъ подъ вліяніемъ той же любви къ сельскому быту. Элегическое чувство проникаетъ почти каждое стихотвореніе Жуковскаго, хотя бы оно и не называлось элегіей. Большая часть его пѣсенъ, романсовъ, балладъ—тѣже элегіи. Какое впечатлѣніе производятъ Ахиллъ, Алина и Альсимъ, Эолова Арфа, Жалоба Цереры? Не вырываются ли грустныя жалобы даже въ стихотвореніяхъ его на торжественные случаи? и самая преходимость горя не служитъ ли источникомъ горя и поводомъ къ элегической вставкѣ въ повѣсть объ Ундинѣ? Тяготѣніе Жуковскаго къ одному и тому же роду поэзіи обнаружилось также выборомъ образцовъ иностранной литературы для переложенія ихъ на русскій языкъ. Изъ Овидіевыхъ превращеній взялъ онъ «Цеикса и Гальціону» — изображеніе разлуки супруговъ и свиданія ихъ по смерти; изъ Мессіады «Аббадону» — раскаяніе ангела и тоску его по небѣ; изъ лирическихъ поэмъ Байрона «Шильонскій узникъ»—страданія узника въ темницѣ при смерти и по смерти братьевъ; изъ Мура «Пери и Ангелъ»—стремленіе души отъ земли на небо.

Существенное содержаніе элегій Жуковскаго намъ уже извѣстно. Скорбя объ утраченномъ идеалѣ, онѣ одною стороной обращены къ прошедшему—воспоминаніемъ, другою къ будущему—надеждой на возвратъ идеала за гробомъ. Но эта скорбь, было также замѣчено, не есть безотрадно-тяжелое, ничѣмъ неумиряемое чувство: она находитъ свѣтлый для себя исходъ не только въ ожиданіи счастія за предѣлами земной жизни, но еще и на земномъ пути—въ бодромъ стремленіи къ нравственной цѣли, къ которой прежде оно совершалось вдвоемъ, въ сладости возвышенныхъ мыслей, особенно въ мысли о красотѣ и величіи человѣческаго существа. Въ жалобахъ Жуковскаго нѣтъ и тѣни презрѣнія къ жизни, той горечи духа, которой проникнуты элегіи нѣкоторыхъ другихъ по-

этовъ. Онѣ завершаются внутреннимъ покоемъ, благодушнымъ примиренiемъ съ природой и жизнью. О спутникахъ, которые своимъ присутствiемъ животворили для насъ мiръ, онѣ говорятъ не съ печалью: *ихъ нѣтъ*, но съ благодарностiю: *были*. Разсказъ о смерти супруги Теонъ заключаетъ восклицанiемъ: «хвала живнодавцу-Зевесу»! Такую же хвалу возноситъ богамъ Эпимесидъ, испытавшiй на себѣ, какъ унылъ жребiй смертнаго. Въ этомъ отношенiи, элегiи Жуковскаго представляютъ сходство съ элегiями А. Пушкина, который тоже не давалъ печали овладѣвать собою надолго и всецѣло, но существенная между ними разница въ идеяхъ и побужденiяхъ, отъ имени которыхъ внутреннiй раздоръ замирялся.

Основныя мысли и чувства Жуковскаго выражались, меньшею частью его собственными сочиненiями и большею — переводами. Но онъ переводилъ преимущественно то, что своимъ содержанiемъ совпадало съ его душевною настроенностью, съ его идеальными стремленiями. «У меня, писалъ онъ Гоголю (1847), почти все чужое или по поводу чужаго—и все однако мое», т. е. заимствуемое у другихъ было вмѣстѣ его собственностью, такъ какъ постигнутое и прочувствованное оригинальнымъ авторомъ постигалось и чувствовалось имъ въ той же мѣрѣ, и находило въ немъ художественнаго воспроизводителя. Поэтому Жуковскiй-переводчикъ долженъ быть признанъ за самобытнаго творца; переводы его имѣютъ значенiе оригинальныхъ созданiй; повсюду выступаетъ его личность, родственная чужой личности, насколько эта послѣдняя отразилась въ образцѣ. Вѣрное понятiе объ обязанности и значенiи переводчика поэтическихъ произведенiй изложено Жуковскимъ въ нѣкоторыхъ критическихъ статьяхъ. Главная заслуга поставляется въ томъ, чтобы переводъ производилъ такое же дѣйствiе, какое производитъ оригиналъ; для этого необходимо наполниться духомъ переводимаго поэта (¹). «Переводчикъ-стихотворецъ есть въ нѣкоторомъ смыслѣ самъ творецъ оригинальный. Конечно, первая мысль, на которой основано зданiе стихотворное, и планъ этого зданiя принадлежатъ не ему; но онъ остается творцемъ *выраженiя*. Онъ не найдетъ выраженiй оригинальнаго автора въ собственномъ своемъ языкѣ: ихъ долженъ онъ сотворить. А сотворить ихъ можетъ только тогда, когда, наполнившись идеаломъ, представляющимся ему въ творенiи переводимаго имъ поэта, преобразитъ его, такъ сказать, въ созданiе собственнаго воображенiя;

---

¹) О переводахъ вообще и въ особенности о переводахъ въ стихахъ (В. Евр. 1810, № 3).

когда, руководствуемый автором оригинальным, повторить съ начала до конца работу его генія. Но сія способность дѣйствовать одинаково съ творческимъ геніемъ не есть ли сама по себѣ ужъ творческая способность?» [1].

Но изъ двухъ переводчиковъ, при равномъ ихъ дарованіи, легче тому наполняться духомъ переводимаго поэта, кто самъ одаренъ такимъ же духомъ, или питаетъ къ нему сочувствіе, нежели тому, кто, для этого наполненія, принужденъ насильственно отрѣшаться отъ своей личности; легче тому воспламеняться идеаломъ оригинальнаго созданія, кому онъ родственъ и близокъ, нежели тому, кто, для воспламененія, долженъ забывать собственные идеалы. Жуковскій находился въ благопріятномъ положеніи перваго переводчика: онъ обращался большею частію къ такимъ произведеніямъ, которыми выражались мысли и чувства, бывшія его собственными идеями и чувствами; онъ, какъ говорится, бралъ «свое» вездѣ, гдѣ только находилъ его. Находилъ же онъ его всего болѣе у нѣмцевъ, извѣстныхъ своимъ поэтическимъ идеализмомъ. Съ особеннымъ чувствомъ обращался онъ къ Шиллеру, мастерски передавая тѣ его стихотворенія, въ которыхъ созерцаніе и рефлексія идутъ рука объ руку и которыя означаются именемъ «дидактической лирики». Образецъ такой лирики, проводящей чувства и образы сквозь среду мысли и знанія, представилъ самъ Жуковскій нѣкоторыми своими стихотвореніями (особенно Теономъ и Эсхиномъ). Кромѣ Шиллера, онъ переводилъ Гете, Уланда, Бюргера, Гебеля, Зейдлица, Маттисона, Клопштока и другихъ, а изъ англійскихъ—Грея, Саути, Вальтеръ-Скотта, Байрона, Мура... Не всѣ его переводы изъ этихъ и изъ другихъ писателей были вызваны потребностью передать, на родной рѣчи, что̀ жило въ его собственной душѣ, какъ неизмѣнный идеалъ, и въ чемъ заключается характеристическая особенность его поэзіи. Кругъ его дѣятельности по этому предмету оченъ обширенъ. Труды его образуютъ значительный по объему и художественный по выполненію отдѣлъ нашей переводной изящной литературы. Переводы представляютъ образецъ вѣрности какъ внѣшней (по формѣ и выраженію), такъ и внутренней (по духу, идеѣ и тону). Нельзя, конечно, отрицать, чтобы на нѣкоторыхъ переводахъ не отражалась личность нашего поэта; но, вообще говоря, имя Жуковскаго, какъ переводчика, справедливо сдѣлалось представителемъ искусства овладѣвать духомъ разнообразныхъ поэтическихъ явленій, разныхъ

[1]) Разборъ Кребильоновой трагедіи: «Радамистъ и Зенобія», переведенной Висковатовымъ (ib. 1810, № 22).

временъ и народовъ, мастерски выражать ихъ на отечественномъ языкѣ, и такимъ образомъ производить переводами то самое впечатлѣніе, какое производится подлинниками. Подобная заслуга останется навсегда памятною. Доставляя соотечественникамъ наслажденіе изящнымъ, Жуковскій расширялъ нашъ поэтическій горизонтъ знакомствомъ съ лучшими созданіями нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ и тѣмъ показывалъ, что французскій классицизмъ—не единственная въ мірѣ поэзія, но что есть многое кромѣ его и выше его, т. е. ближе къ истинному существу поэзіи. Переводы Жуковскаго оказывали и оказываютъ также большую пользу въ отношеніи педагогическомъ: по разнообразному выбору и художественному достоинству они служатъ, въ нашемъ учебномъ мірѣ, необходимымъ пособіемъ при изученіи такъ называемой теоріи поэзіи. Преподаватель найдетъ въ нихъ образцы очень многихъ, если не всѣхъ поэтическихъ родовъ и видовъ. Для знакомства съ древнимъ эпосомъ—греческимъ, индѣйскимъ, персидскимъ,—онъ изберетъ «Одиссею», «Наля и Дамаянти», «Рустема и Зораба», для знакомства съ средневѣковымъ—«романсы о Сидѣ», а съ комическимъ—«Войну мышей и лягушекъ». «Орлеанская Дѣва» представитъ ему примѣръ романтической драмы, а «Ундина» — примѣръ романтической повѣсти. О лирикѣ и говорить нечего: онъ найдетъ почти всѣ ея формы — оду, гимнъ, пѣсню, элегію, балладу... Безъ всякой опасности, но всегда съ выгодой можетъ онъ, въ подкрѣпленіе своихъ уроковъ или для вывода научныхъ положеній, читать и разбирать съ воспитанниками сочиненія Жуковскаго, которыя если и не всегда окажутся вполнѣ вѣрными подлинникамъ, то всегда дадутъ учащимся превосходный образецъ поэтическихъ представленій, изящнаго стиха и языка.

Исторія нашей литературы обыкновенно поставляла заслугу Жуковскаго въ томъ, что онъ ввелъ къ намъ романтизмъ. Этими словами выражался взглядъ литераторовъ и образованныхъ читателей на характеръ его поэзіи. Жуковскій самъ причислялъ себя къ романтикамъ. Въ предисловіи къ переводу Одиссеи (1848), нмъ положительно заявлено, что онъ «*изъ мечтателя романтика* сдѣлался трезвымъ классикомъ»; а въ письмѣ къ Стурдзѣ (1849) онъ называетъ себя «родителемъ на Руси *нѣмецкаго романтизма* и поэтическимъ дядькою чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ». Какой смыслъ, въ этихъ выраженіяхъ, придавалъ онъ понятіямъ «романтикъ» и «романтизмъ»? Не стѣснялъ ли онъ объемъ ихъ, присоединяя къ одному признакъ «мечтательности», а къ другому—признакъ «нѣмчизны»? Шлегели разумѣли подъ романтизмомъ поэзію ново-христіанскихъ народовъ, въ отличіе отъ древне-клас-

сической. Жуковскій думалъ почти также, по крайней мѣрѣ относительно лирики, сказавъ, что «меланхолія есть одна изъ самыхъ звучныхъ струнъ *романтической* лиры, т. е. лиры, настроенной послѣ распространенія христіанства». Сводъ приведенныхъ мѣстъ показываетъ, что Жуковскій противополагалъ свою поэзію — съ одной стороны древнеклассицизму, не знавшему меланхоліи въ томъ смыслѣ, какой она получила со введеніемъ христіанства, а съ другой—классицизму французскому, думавшему возстановить поэзію Грековъ и Римлянъ. До Жуковскаго не было у насъ той сферы поэзіи, которая отличается идеальными стремленіями къ таинственному; онъ первый далъ намъ образцы новохристіанской поэзіи, какъ она явилась въ произведеніяхъ нѣмецкой музы извѣстной школы. Эта школа—Шиллеро-Гетевская или Гете-Шиллеровская, а не собственно-романтическая, имѣвшая своими главными представителями Фридриха Шлегеля и Тика: послѣдняя не пользовалась сочувствіемъ Жуковскаго, который только переложилъ Ундину (Ламотъ-Фуке) русскими стихами. Возникнувъ подлѣ Шиллера и Гете, романтическая школа нѣкоторое время стояла на одной съ ними почвѣ, но потомъ не только отрѣшилась отъ нихъ, но и высказала враждебное къ нимъ отношеніе. Обѣ школы сходны между собою идеалистической основой: ихъ творчество вытекало не изъ современныхъ побужденій, а вопреки современности, пошлой, недостойной поэтическаго воспроизведенія. Существенное же между ними различіе опредѣлилось различными путями, выбранными тою и другою для достиженія цѣли: Шиллеръ и Гете, избѣгая *своей* дѣйствительности, не отрицали дѣйствительности *вообще*; романтики, напротивъ, въ негодованіи на пошлость окружающей среды, совершенно покинули дѣйствительность, не старались воспроизводить ее, но при помощи воображенія вступили съ нею въ борьбу. Такимъ образомъ идеализмъ Шиллера и Гете обратился у романтиковъ въ фантастику и мистику. Нѣкоторые историки романтической школы ведутъ ея начало отъ Фихте и Шеллинга, доказывая, что романтики поэтически представляли то самое, что философы выводили логически и метафизически; что первый изъ этихъ философовъ открылъ путь къ романтической ироніи, а второй — къ романтической мистикѣ и романтическому одухотворенію природы(1).

И такъ Жуковскій можетъ быть названъ романтикомъ, но только не въ томъ смыслѣ этого слова, какой оно имѣетъ въ исторіи *собственно-романтической* нѣмецкой поэзіи, а въ двухъ другихъ значеніяхъ. Онъ романтикъ, какъ всѣ поэты христіанскаго

1) Hettner. Die romantische Schule.

міра, и преимущественно, какъ поэты школы Шиллера, парившаго надъ жизнью своими идеалами; онъ романтикъ и потому, что лучшія его стихотворенія, какъ переводныя, такъ и оригинальныя, отступали отъ правилъ французскаго классицизма: въ этомъ послѣднемъ значеніи и Пушкина называли новымъ романтикомъ, основателемъ ново-романтической русской поэзіи.

Красота внѣшней формы въ произведеніяхъ Жуковскаго соотвѣтствуетъ достоинству ихъ содержанія. Его стихъ и проза выказываютъ какъ глубокое знаніе русскаго языка, такъ и свободное, вполнѣ артистическое умѣнье владѣть имъ.

Особенно важенъ его стихъ, составляющій замѣчательную эпоху въ исторіи нашего стихосложенія. По двумъ періодамъ поэтической дѣятельности Жуковскаго, онъ представляетъ два отличія: первое выказалось въ такъ называемыхъ романтическихъ піесахъ; второе преимущественно обнаружилось съ того времени, когда Жуковскій, говоря его словами, изъ мечтателя-романтика сдѣлался классикомъ.

Въ піесахъ перваго рода, стихъ Жуковскаго отличается главнѣйшимъ образомъ легкостью и музыкальностью. По выраженію Гоголя, онъ «безтѣлесенъ, какъ видѣніе», «порхаетъ, какъ неясный звукъ Эоловой арфы». Ни одинъ русскій писатель не употреблялъ до Жуковскаго столь разнообразныхъ стихотворныхъ размѣровъ: онъ первый ввелъ ихъ въ нашу метрику и водворилъ въ ней навсегда; каждый его опытъ по этому дѣлу былъ въ тоже время изящнымъ образцомъ. Замѣтивъ монотонность хореевъ съ дактилическими окончаніями, которыми Карамзинъ, въ подражаніе народнымъ пѣснямъ, написалъ «Илью Муромца», онъ употреблялъ эти окончанія черезъ стихъ, отъ чего они получили особенную гармонію (въ монологѣ Іоанны д'Аркъ: «ахъ, почто за мечъ воинственный»). Драма «Орлеанская Дѣва» переведена пятистопными ямбами, что было въ то время новизной. Въ «Шильонскомъ узникѣ» однѣ мужескія риѳмы, которыя, однако, не утомляютъ читателя монотонностью, а еще усиливаютъ выраженіе чувства. Въ балладѣ «Замокъ Смальгольмъ» чередуются трехстопный и четырехстопный анапестъ, на который рѣдко покушались наши стихотворцы, какъ на тяжелый размѣръ. Къ гексаметру обращался поэтъ не изъ желанія избѣгнуть шестистопнаго ямба, а по внутреннему соотвѣтствію его эпическому стилю. Благозвучіе стиха, доведенное до совершенства, не исключаетъ другаго его свойства — изобразительности, которая является всегда, гдѣ нужно, почему Баратынскій имѣлъ право назвать Жуковскаго «живописнымъ». Этотъ эпитетъ не прилагается, конечно, къ лирикѣ, выражающей чувство чего-

либо неопредѣленнаго, туманнаго и таинственнаго: въ подобныхъ піесахъ — стихи, говоря словами Гоголя, слышны какъ «неясные звуки Эоловой арфы». Но когда надобно представить картину природы, или ясный ходъ событія, или ясно заявленное чувство, тогда и стихотворная рѣчь Жуковскаго становится картинною.

Въ произведеніяхъ Жуковскаго, относящихся ко второму періоду, преимущественно начиная съ перевода Одиссеи, стихъ отличается крѣпостью, мужественностью, пластичностью. Вездѣ господствуетъ ровное, спокойно-эпическое одушевленіе; вездѣ видна забота о ясномъ и точномъ выраженіи, свободномъ отъ искуственныхъ выраженій. Послѣднее время поэтъ даже раззнакомился съ риѳмой. Простота формы становится его идеаломъ Съ стихотворнымъ размѣромъ онъ старался и умѣлъ согласовать безъискуственность прозы, такъ что вольный разсказъ нисколько не стѣснялся необходимостію укладывать слова въ стопы. Любимыми метрами Жуковскаго сдѣлалися ямбы безъ риѳмъ и сказочный гексаметръ, отличный отъ гексаметра гомерическаго. Этотъ слогъ, по разсужденію творца его, долженъ былъ составлять средину между стихами и прозой, т. е., не смотря на затрудненіе метра, литься непринужденною рѣчью. Но такая «проза въ стихахъ», если дозволено такъ выразиться, не одно и тоже съ «стихомъ прозаическимъ», равно какъ «кадансированная проза» не одно и тоже «съ прозой поэтической».

Такимъ образомъ въ стихѣ Жуковскаго мы видимъ оба художественныя свойства рѣчи: музыкальность и изобразительность, возведенныя талантомъ и мастерствомъ поэта на высокую степень достоинства.

Проза Жуковскаго въ главныхъ своихъ формахъ, не разнится отъ прозы Карамзина, особенно въ первыхъ сочиненіяхъ. Но Жуковскій, говорили, внесъ въ прозаическій языкъ стихіи языка стихотворнаго, сообщилъ ему поэтическій колоритъ. Это отличіе не составляетъ, однакожъ, существенной особенности: оно естественно происходило отъ того настроенія, которое водило перомъ автора; другими словами: Жуковскій былъ поэтомъ и въ то время, когда выражался прозой, а не языкомъ боговъ. Для примѣра укажемъ на разсужденіе: «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ?», или на аллегорическую піесу «Три сестры», или наконецъ на «Воспоминаніе о торжествѣ 1834 г.» Въ первомъ сочиненіи авторъ находился подъ вліяніемъ своего идеала, истину котораго хотѣлось ему доказать; во второмъ, онъ олицетворилъ три времени—прошедшее, настоящее и будущее, отдавъ видимое сочувствіе прошедшему, воспоминанію; въ третьемъ, всѣ обстоятельства,

предшествовавшія торжеству и его сопровождавшія, равно какъ и памятникъ, служившій ему предметомъ, получили въ умѣ и воображеніи автора высокую знаменательность: они изображали ему судьбу Россіи въ минувшемъ, и ея назначеніе въ современномъ и будущемъ. Поэтически возбужденный авторъ долженъ былъ выражаться какъ поэтъ, и не могъ выражаться иначе. Съ теченіемъ времени этотъ «поэтическій цвѣтъ», которымъ окрашивалась его проза, сталъ изчезать. Она подверглась одинаковой перемѣнѣ со стихомъ, т. е. сдѣлалась простою, ясною, точно передающею мысли и воззрѣнія автора. Свидѣтельствами прозаической безъискуственности служатъ, между прочимъ: «Письма къ Гоголю», «О меланхоліи въ жизни и поэзіи», «Объ изящномъ искусствѣ» и другія статьи послѣднихъ лѣтъ Жуковскаго.

§ 17. Съ дѣятельностью Жуковскаго связывается исторія литературнаго общества «Арзамазъ», возникшаго въ противодѣйствіе «Бесѣдѣ любителей русскаго слова» и существовавшаго не болѣе трехъ лѣтъ (1815—1818). Онъ былъ однимъ изъ усерднѣйшихъ его членовъ вмѣстѣ съ Д. В. Дашковымъ и Д. Н. Блудовымъ; послѣднему принадлежитъ первая мысль объ основаніи общества.

«Арзамасъ» образовался частію изъ тѣхъ лицъ, которыя въ спорѣ о старомъ и новомъ слогѣ приняли сторону послѣдняго, и частію изъ другихъ, болѣе молодыхъ литераторовъ, хотя и не участвовавшихъ въ спорѣ, но развивавшихъ свой вкусъ къ словесности подъ вліяніемъ Карамзинской реформы. Всѣ они принадлежали къ передовымъ людямъ своего времени. Литературныя мнѣнія свои они заявляли сначала въ «Цвѣтникѣ» (1809—1810), а потомъ въ «Санктпетербургскомъ Вѣстникѣ» (1812). Но какъ журнальные голоса, вызываемые случаемъ и являясь только отъ времени до времени, не замѣняютъ постояннаго общенія людей единомысленныхъ, то чувствовалась надобность въ правильной организаціи взаимнаго обмѣна взглядовъ и понятій, обмѣна лицемъ къ лицу, въ живой устной рѣчи. Чтобы удовлетворить такой потребности, задумано было устроить особый литературный кружокъ. Внѣшнимъ поводомъ къ его устройству послужила комедія кн. Шаховскаго: «Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды» (1815). Осмѣявъ сентиментализмъ въ «Новомъ Стернѣ», комикъ желалъ поглумиться надъ балладами, какъ моднымъ поэтическимъ видомъ, и вывелъ въ «Липецкихъ водахъ» балладника Фіалкина. Самъ Жуковскій хладнокровно отнесся къ поступку автора, «не любившаго авторовъ»; но друзья его не могли хранить молчанія: они осыпали Шаховскаго эпиграммами и сатирами. Подражая французской шуткѣ: «Vision de l'abbé Morrelet» (1760), написанной

по поводу комедіи Палиссо: «Les philosophes», въ которой осмѣяны энциклопедисты и Руссо, Д. Н. Блудовъ сочинилъ: «Видѣніе въ Арзамасскомъ трактирѣ, изданное обществомъ ученыхъ людей», съ эпиграфомъ: «le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable». Это сонный бредъ какого-то проѣзжаго, остановившагося въ Арзамасскомъ трактирѣ, куда по назначеннымъ днямъ собиралось общество друзей литературы. Проѣзжій—авторъ «Липецкихъ водъ». Славяно-русскимъ языкомъ онъ разсказываетъ о Словесницѣ (Бесѣдѣ) и нѣкоторыхъ ея членахъ: Мѣшковѣ (Шишковѣ), Барабановѣ (Карабановѣ) и двухъ Хлыстовыхъ (Хвостовыхъ: гр. Д. И. Хвостовѣ, извѣстномъ метроманѣ, и А. С. Хвостовѣ, славившемся остроуміемъ). Мѣстомъ дѣйствія выбранъ Арзамасъ по той причинѣ, что за нѣсколько до того лѣтъ воспитанникъ Академіи Художествъ Ступинъ основалъ въ своемъ родномъ городѣ Арзамасѣ школу живописи. Д. Н. Блудовъ и его пріятели находили забавнымъ, что уѣздный городъ нижегородской губерніи, извѣстный гусями, прославится со временемъ и живописью, такъ что нѣкогда будутъ говорить: «арзамасская школа живописи», какъ говорятъ: школа венеціанская, болонская и другія. Посему и было положено новообразующійся литературный кружокъ назвать въ шутку Арзамасскимъ обществомъ ученыхъ людей, Арзамасской академіей или просто «Арзамасомъ».

Имѣя главною цѣлію смѣяться надъ литературными старовѣрами, «Арзамасъ», по своему устройству и характеру, былъ совершенною противоположностью «Бесѣды». Какъ засѣданія «Бесѣды» отличались степенностью и чинною важностью, такъ на сходкахъ Арзамаса постоянно господствовали веселая шутка и пародія. Не дѣлился онъ на разряды, словно на департатенты, но каждый членъ титуловался одинакимъ образомъ: «его превосходительство геній Арзамаса». Поступающему въ общество давалось имя изъ балладъ Жуковскаго, иногда по какому-нибудь сходству, внѣшнему или внутреннему, а иногда на оборотъ, по отсутствію всякаго сходства. Вотъ списокъ Арзамасцевъ съ ихъ балладными прозвищами: К. Н. Батюшковъ (Ахиллъ), Д. Н. Блудовъ (Кассандра), Ф. Ф. Вигель (Ивиковъ журавль), А. Ѳ. Воейковъ (Дымная печурка), кн. П. А. Вяземскій (Асмодей), Д. В. Давыдовъ (Армянинъ), Д. В. Дашковъ (Чу!), С. П. Жихаревъ (Громобой), Жуковскій (Свѣтлана), Д. А. Кавелинъ (Пустынникъ), М. Ѳ. Орловъ (Рейнъ), А. А. Плещеевъ (Черный вранъ), П. И. Полетика (Очарованный челнъ), А. С. Пушкинъ (Сверчокъ), В. Л. Пушкинъ (Вотъ), Д. П. Сѣверинъ (Рѣзвый котъ), А. И. Тургеневъ (Эолова арфа), Н. И. Тургеневъ (Варвикъ), С. С. Уваровъ (Старушка).

Сверхъ этого, такъ сказать штатнаго состава общества, нѣкоторыя лица выбирались въ почетные или прирожденные его члены: главнымъ изъ нихъ былъ Карамзинъ. Принятіе сопровождалось иногда символическими обрядами, указывавшими на сторонниковъ Бесѣды, въ особенности на кн. Шаховскаго и его сочиненія. Можно видѣть въ этой обрядности и пародію на посвященіе въ масонство, къ которому арзамасцы относились отрицательно, почитая его явленіемъ несовмѣстнымъ съ истинной цивилизаціей. Извѣстно, что современная масонская именитость, Лабзинъ, не пользовался ихъ расположеніемъ. Санктпетербургскій Вѣстникъ подвергъ строгой критикѣ переведенное имъ сочиненіе Эккартсгаузена «о фосфорной кислотѣ» (1811), какъ противорѣчающее положительной наукѣ, которая приносится въ жертву фантазіи.

Занятія общества представляли оригинальную особенность. Въ уставѣ его, написанномъ Блудовымъ и Жуковскимъ, сказано: «По примѣру всѣхъ другихъ обществъ, каждому нововступающему члену Арзамаса подлежало бы читать похвальную рѣчь своему покойному предшественнику, но всѣ члены новаго Арзамаса *безсмертны*, и потому, за неимѣніемъ собственныхъ готовыхъ покойниковъ, новоарзамасцы (въ доказательство благороднаго своего безпристрастія, и еще болѣе въ доказательство, что ненависть ихъ не простирается за предѣлы гроба) положили брать на прокатъ покойниковъ между халдеями ([1]) Бесѣды и Академіи, дабы воздавать имъ по дѣламъ ихъ, не дожидаясь потомства». Это значило «похоронить» бесѣдиста или академика: эти лица почти не различались, такъ какъ, съ назначеніемъ Шишкова президентомъ Россійской Академіи, членами ея сдѣлались многіе члены Бесѣды. На панегирикъ, произнесенный тому или другому халдею, отвѣчалъ очередной предсѣдатель, еженедѣльно мѣнявшійся: въ привѣтствіи своемъ онъ искусно мѣшалъ похвалы новоарзамасцу съ похвалами усопшему. Такъ графъ Блудовъ чествовалъ Захарова, предсѣдателя въ четвертомъ разрядѣ «Бесѣды», автора «Похвалы женамъ»,—сочиненія, обильнаго разными дикостями. Жуковскій прославилъ графа Хвостова, «избранныя притчи» котораго (1802) дали богатый матеріалъ оратору. Жихаревъ, бывшій прежде сотрудникомъ «Бесѣды», долженъ былъ отпѣвать самъ себя. Какъ рѣчи, такъ отвѣты на нихъ и протоколы, веденные Жуковскимъ въ гексаметрахъ, при серьезно-торжественномъ тонѣ, были содержанія комическаго и весьма часто пропитывались намѣренной безсмыслицей, какъ такимъ родомъ выраженія, который прямо отвѣчалъ литературному

---

[1]) Такъ Карамзинисты называли членовъ Бесѣды и Россійской Академіи.

значенію восхваляемыхъ «живыхъ покойниковъ» ([1]). Ихъ можно назвать какъ бы рапсодіями о членахъ Бесѣды, матеріалами для ирои-комической поэмы, о которой подумывалъ Жуковскій, замѣчая при каждомъ странномъ явленіи въ дѣятельности шишковистовъ: «ей, быть Бесѣдіадѣ».

Нѣкоторые арзамасцы (М. Ѳ. Орловъ и Н. И. Тургеневъ) находили занятія своего общества односторонними и несерьезными, и потому желали расширить кругъ его дѣятельности, вырвавъ ее изъ области пародіи и смѣха. При вступленіи въ Арзамасъ, Орловъ, вмѣсто того, чтобы, по заведенному обычаю, восхвалить въ пародическомъ стилѣ какого-нибудь бесѣдиста, произнесъ рѣчь, въ которой выразилъ своимъ сочленамъ, какъ недостойно людей умныхъ и образованныхъ тратить время на пустые литературные споры, когда ихъ отечество представляетъ обширное поле для просвѣщенныхъ дѣйствій въ пользу общества. На первый разъ, онъ предложилъ изданіе журнала, который оглашалъ бы не однѣ литературныя идеи, но и другія, остающіяся въ тайнѣ или ходящія въ оборотѣ только между арзамасцами. По одному свидѣтельству, это предложеніе было отклонено, изъ боязни измѣнить первобытный характеръ кружка введеніемъ въ него новыхъ элементовъ; по другому, была отвергнута только программа журнала, предложенная Орловымъ, какъ слишкомъ обширная, выступавшая за предѣлы чистой словесности, и принята другая, составленная гр. Блудовымъ. Есть извѣстіе, что для предназмѣреваемаго изданія было уже заготовлено нѣсколько статей, напримѣръ: гр. Блудова «о русскихъ пословицахъ», гр. Уварова и Батюшкова—«о греческой Антологіи», напечатанная потомъ отдѣльно въ 1820 г. Графъ Каподистрія, занимавшій важное мѣсто между тогдашними политиками, обѣщалъ доставлять редакціи политическія статьи и свѣдѣнія о ходѣ европейскихъ дѣлъ. Но предположеніе не осуществилось главнѣйшимъ образомъ потому, что самые ревностные арзамасцы, занятые службою, не могли удѣлять время литературѣ: гр. Блудовъ, назначенный (1818) совѣтникомъ посольства въ Лондонѣ, оставилъ Петербургъ; Дашковъ отправился въ Константинополь, гдѣ состоялъ также при посольствѣ; Жуковскій былъ приглашенъ ко Двору преподавать русскую словесность в. к. Александрѣ Ѳедоровнѣ. Такимъ образомъ кончилось существованіе Арзамаса. Но прежде кончины своей (замѣчаетъ одинъ изъ его членовъ—Вигель) породилъ онъ чувство, рѣдко встрѣчаемое—неизмѣнную,

[1]) Арзамасская критика, говорилъ Жуковскій, должна ѣхать верхомъ на галиматьѣ.

твердую дружбу между людьми, которые, оказывая великія услуги государству, въ вѣкъ обмана и златолюбія служили примѣромъ чести и безкорыстія.

Какіе слѣды оставилъ по себѣ Арзамасъ? Если значеніе литературнаго общества измѣрять только его печатными трудами, то онъ уступаетъ даже Бесѣдѣ, которая издала девятнадцать книжекъ «Чтеній». Но такая мѣрка ошибочна. Достоинство профессора состоитъ главнѣйшимъ образомъ въ томъ вліяніи, какое оказываютъ его лекціи на слушателей: равно и общество, не оглашая своихъ бесѣдъ, можетъ дѣйствовать ими плодотворно въ небольшомъ кругу своей аудиторіи. Таково именно и было дѣйствіе Арзамаса: относясь прямо къ своимъ членамъ, возбуждая, поддерживая и просвѣщая ихъ дѣятельность, онъ, посредствомъ нея, приносилъ несомнѣнную пользу и литературѣ вообще, нуждавшейся въ болѣе широкихъ началахъ и въ болѣе основательной критикѣ. Въ своихъ собраніяхъ, арзамасцы посвящали время не одной пародіи и шуткѣ. «Арзамасскія шалости», какъ назвалъ ихъ кн. Вяземскій, составляли только отрицательную сторону занятій общества: онѣ имѣли цѣлію похоронить бездарныхъ ревнителей стараго слога, съ его неизбѣжными спутниками — безвкусіемъ и педантствомъ. Гораздо важнѣе была сторона положительная, засвидѣтельствованная однимъ изъ самыхъ образованныхъ Арзамасцевъ, графомъ Уваровымъ: «направленіе этого общества, или, лучше сказать, этихъ пріятельскихъ бесѣдъ, было, преимущественно *критическое.* Лица, составлявшія его, занимались строгимъ разборомъ литературныхъ произведеній, примѣненіемъ къ языку и словесности отечественной всѣхъ источниковъ древней и иностранныхъ литературъ, изысканіемъ началъ, служащихъ основаніемъ твердой, самостоятельной теоріи языка, и проч. Въ то время и подъ вліяніемъ Арзамаса писались стихи Жуковскаго, Батюшкова, А. Пушкина; и это вліяніе отразилось, можетъ быть, и на иныхъ страницахъ Исторіи Карамзина» [1]. Автору этихъ строкъ принадлежало, конечно, первенство руководящихъ сужденій. Нѣтъ сомнѣнія, что подъ его вліяніемъ сложилось убѣжденіе Жуковскаго въ важности древне-классической поэзіи, заставившее его въ послѣдствіи приняться за Гомера. Оно же, надобно думать, направило Батюшкова на знакомство съ антологической поэзіей древнихъ: по крайней мѣрѣ мы знаемъ, что нѣсколько стихотвореній этого рода переведено Батюшковымъ на русскій языкъ съ французскаго ихъ пе-

---

[1]) Литературныя воспоминанія (Современникъ 1851, № 6).

ревода, сдѣланнаго Уваровымъ ([1]). Строгою разборчивостью отличались сужденія Дашкова, не щадившія и произведеній пріятельскаго пера. Особенно преслѣдовалъ онъ излишества въ выраженіи мыслей, ненужныя отступленія отъ темы, внѣшнія прикрасы, отъ которыхъ толстѣло сочиненіе безъ всякой выгоды для своего содержанія. Слова его: «давай ножницы!» означали, что авторъ долженъ былъ укорачивать свою напрасно растянутую піесу. Самъ Жуковскій не былъ изъятъ изъ критики. Посылая на просмотръ къ друзьямъ нѣкоторыя изъ новыхъ своихъ стихотвореній, онъ выслушивалъ ихъ замѣчанія, съ нѣроторыми соглашался, а справедливость другихъ оспаривалъ. Въ антикритикѣ онъ выказывалъ не только поэта, но и отличнаго знатока языка, образцоваго стилиста и версификатора ([2]).

Частныя литературныя собранія начали появляться съ первыхъ же лѣтъ Александрова царствованія, свидѣтельствуя любовь образованнаго общества къ словесности, наслѣдованную имъ отъ времени Екатерины II. Одно изъ такихъ собраній устроилъ у себя Державинъ, организовавъ его потомъ въ «Бесѣду». Другіе литературные вечера заведены были А. С. Хвостовымъ и И. С. Захаровымъ. Особенною извѣстностью въ этомъ отношеніи пользовался домъ А. Н. Оленина († 1843), президента Академіи художествъ, страстнаго любителя искусствъ и литературы. Писатели именитые на ряду съ возникавшими талантами находили у него и его образованной супруги (урожденной Полторацкой) самый радушный пріемъ. Сюда стекалось все, что могло интересовать людей, болѣе или менѣе движимыхъ любовью къ просвѣщенію: здѣсь Озеровъ читалъ свои трагедіи, прежде чѣмъ онѣ поступали на сцену, Гнѣдичъ — переводы изъ Иліады, а Крыловъ — басни прежде, чѣмъ онѣ являлись въ печати. Двое послѣднихъ питали самую искрен-

---

[1]) Въ брошюрѣ: «о Греческой Антологіи» (1820), написанной сообща Уваровымъ и Батюшковымъ, которые подъ предисловіемъ выставили свои арзамасскія имена: Ст. (Старушка) и А. (Ахиллъ).

[2]) Осьмое января 1851 (описаніе пятидесятилѣтняго юбилея службы гр. Д. Н. Блудова, въ Современникѣ 1851, № 3); Литературныя воспоминанія (гр. Уварова, написанныя по поводу этой статьи, ib. № 6); въ Матеріалахъ для біографіи Пушкина (Моск. Вѣд. 1855, № 142), П. Бартеневъ привелъ отрывки изъ произнесенныхъ въ Арзамасѣ рѣчей; «Матеріалы для литературнаго общества Арзамасъ», въ Библ. Зап. Лонгинова (Совр. 1856, № 8); «Арзамасъ», М. Н. Лонгинова (Энцикл. словарь, томъ пятый, 1862); Воспоминанія Вигеля, ч. V, гл. 4 (Рус. Вѣст. 1865, № 1, стр. 190-206); «Наши арзамасскія литературныя шалости» и «Письма Д. В. Дашкова», въ Выдержкахъ изъ старыхъ бумагъ Остафьевскаго Архива, кн. Вяземскаго (Рус. Арх. 1866, № 3).

*

нюю привязанность къ семейству Оленина, нашедъ въ его домѣ совершенно родственный пріютъ.

Всѣ эти домашнія литературныя общества, замѣчаетъ гр. Уваровъ, оказывали у насъ (равно какъ и въ другихъ мѣстахъ) замѣчательное вліяніе на успѣхи словесности, превышая своимъ дѣйствіемъ дѣйствіе подобныхъ оффиціальныхъ учрежденій. Эти послѣдніе большею частію не даютъ знаменитымъ писателямъ, а заимствуютъ отъ нихъ жизнь и направленіе; тогда какъ частныя собранія лицъ, связанныхъ между собою свободнымъ призваніемъ и личными талантами, имѣютъ силу возбуждать авторскія дарованія къ дѣятельности и направлять ее къ извѣстной цѣли.

§ 18. Рядомъ съ именемъ Жуковскаго современники его ставили имя Батюшкова, какъ такого поэта, которому наша лирика также одолжена сильнымъ развитіемъ. Съ младенчества «отторженный судьбой отъ своей матери» ([1]), страдавшей разстройствомъ умственныхъ способностей, Батюшковъ (Константинъ Николаевичъ, 1787—1855), не испыталъ счастія къ кругу роднаго семейства. Взаимныя отношенія между нимъ и отцемъ его не отличались нѣжностью. Родина (Вологда) и ссылка были для него одно и тоже. Дѣтство его протекло въ сиротствѣ; юность свою называлъ онъ печальною. Это нравственное одиночество, при всей своей горечи, осталось не безъ пользы: оно заставило Батюшкова сосредоточиваться въ самомъ себѣ и служило орудіемъ ранняго развитія способностей, которыя, говоря его словами, заимствуютъ свою силу отъ первыхъ впечатлѣній, отъ первыхъ свѣжихъ чувствъ. Семейными обстоятельствами объясняется также, почему, при независимомъ состояніи, дозволявшемъ имѣть при себѣ гувернеровъ и учителей, какъ тогда водилось у зажиточныхъ дворянъ, Батюшковъ воспитывался не дома, а въ петербургскихъ пансіонахъ, подъ надзоромъ двоюроднаго дяди, М. Н. Муравьева, которому собственно и одолженъ своимъ образованіемъ. Въ этихъ пансіонахъ онъ обучался преимущественно языкамъ: французскому, италіянскому и нѣмецкому; впрочемъ къ послѣднему онъ пристрастился и овладѣлъ имъ позднѣе, во время пребыванія своего въ Германіи. Лучшую школу нашелъ Батюшковъ въ домѣ своего воспитателя, Муравьева, и супруги, заступившихъ ему родителей, въ той нравственной средѣ, которая постоянно его окружала, въ общеніи съ образованными людьми, посѣщавшими его дядю. Съ малолѣтства принадлежалъ онъ къ кружку избранныхъ лицъ, не только уважавшихъ, но и двигавшихъ литературу. Благодаря примѣру и вну-

[1]) «Умирающій Тассъ». Нѣкоторые стихи этой элегіи выражаютъ личное чувство автора.

шеніямъ своего дяди и другаго родственника, И. М. Муравьева-Апостола, онъ пріобрѣлъ любовь къ словесности вообще, къ словесности классической и италіянской въ особенности. Надобно полагать, что за изученіе латинскаго языка онъ принялся уже по выходѣ изъ пансіона, гдѣ въ то время обращали вниманіе на одни новые языки, главнѣйшимъ образомъ на французскій разговорный.

Гражданская служба Батюшкова была, такъ сказать, номинальная. Онъ не имѣлъ опредѣленныхъ занятій, а только числился на службѣ, состоя сначала въ канцеляріи перваго министра народнаго просвѣщенія, гр. Завадовскаго, потомъ письмоводителемъ при товарищѣ министра, М. Н. Муравьевѣ, и наконецъ библіотекаремъ въ публичной библіотекѣ. Напротивъ, военную службу онъ несъ дѣйствительно, въ теченіи десяти лѣтъ (1806 — 1816), съ нѣкоторыми впрочемъ перерывами. Она обогатила его разнообразными и могучими впечатлѣніями, отразившимися въ его произведеніяхъ. Въ прусскую кампанію, подъ Гейлсбергомъ (1807), онъ получилъ тяжелую рану, которой приписываютъ существенное разстройство его здоровья, почему и видятъ въ ней одну изъ причинъ оказавшагося въ послѣдствіи умопомѣшательства. Раненный, онъ былъ отвезенъ въ Ригу, а отсюда, по выздоровленіи, пріѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ нашелъ родственный за собою уходъ въ семьѣ А. Н. Оленина. Шведская война (1808 — 1809) познакомила его съ природою страны, «дикой, но прелестной и въ дикости своей»; она же свела его съ Петинымъ, воспитанникомъ Благороднаго пансіона при московскомъ университетѣ, убитымъ въ Лейпцигскомъ бою. Дружба человѣка, отличавшагося прекрасными качествами ума и сердца, оставила глубокіе слѣды и въ жизни и въ поэзіи Батюшкова. Послѣ мира съ Швеціею, вышелъ въ отставку и отправился въ Москву, куда переѣхала его тетка, вдова М. Н. Муравьева. Но весною 1810 г. снова поселился въ Петербургѣ. Въ 1812 г., поступилъ опять на службу и назначенъ состоять адъютантомъ при генералѣ Бахметевѣ, лишившемся ноги въ сраженіи. Не дождавшись его выздоровленія, онъ состоялъ при генералѣ Раевскомъ и участвовалъ въ сраженьяхъ Кульмскомъ и Лейпцигскомъ. Недовольный наградою за свою службу, онъ въ 1816 г. вышелъ въ отставку. Походы 1813 — 1814 г.г. дали Батюшкову возможность, во время пребыванія въ Германіи, узнать бытъ, языкъ и поэзію нѣмцевъ, провести два мѣсяца въ Парижѣ, съѣздить въ Англію, а изъ Англіи въ Швецію, гдѣ «память сердца, болѣе сильная чѣмъ память разсудка», воскресила передъ нимъ и тревоги измѣнчивой боевой жизни, и наслажденія благороднымъ

дружествомъ. Элегія «Тѣнь друга» (1816) живо изображаетъ то душевное состояніе, которое испытывалъ поэтъ на морскомъ пути отъ Лондона до Готенбурга.

Обязанности воина мѣшали Батюшкову посвящать время истинному его призванію — поэзіи. Первые его опыты въ стихахъ относятся къ 1805 г. Но едва началъ онъ пробовать свое перо, какъ «судьбы премѣны», т. е. поступленіе въ военную службу (1806), «заставили его забыть источникъ Ипокрены». Онъ занимался литературою только въ то время, когда усаживался на одномъ мѣстѣ. А такихъ временъ было немного, чѣмъ и объясняется скудное количество всего имъ написаннаго. Они выпадали между выходомъ въ отставку и новымъ поступленіемъ на службу. Четыре года: по завоеваніи Финляндіи (1809 — 1810) и съ окончаніемъ наполеоновскихъ войнъ (1816 — 1817), составляютъ періодъ наибольшей поэтической дѣятельности Батюшкова. Это время проводилъ онъ то въ Петербургѣ, то въ Москвѣ. Въ первомъ изъ этихъ городовъ онъ сблизился съ Оленинымъ, Гнѣдичемъ, А. Тургеневымъ, Уваровымъ; во второмъ завязалъ крѣпкую пріязнь съ Жуковскимъ, Дашковымъ, кн. Вяземскимъ.

Батюшковъ и не могъ засиживаться на одномъ мѣстѣ, сколько по привычкѣ къ перемѣнной жизни, столько же по необходимости искать въ лучшемъ климатѣ подкрѣпленія разстроенному здоровью. Онъ называлъ себя «бездомнымъ странникомъ», постоянно мечтая о тихомъ пріютѣ. Сказка «Странствователь и домосѣдъ», въ лицѣ Филалета, показываетъ,

> Какъ трудно вѣкъ дожить на родинѣ своей
> Тому, кто въ юности изъ края въ край носился.

Особенно большіе разъѣзды выпали на 1818 г. Въ концѣ 1817 г., по случаю смерти отца своего, Батюшковъ отправился изъ Москвы въ Вологодскую деревню для устройства домашнихъ дѣлъ. Изъ деревни проѣхалъ онъ въ Петербургъ, потомъ въ Москву и Одессу, для пользованія морскимъ купаньемъ. Осенью онъ снова былъ въ деревнѣ и въ Петербургѣ, а къ исходу года въ Неаполѣ, гдѣ, по ходатайству А. И. Тургенева, получилъ мѣсто при посольствѣ. Но жизнь въ Италіи не помогла поэту. Здоровье его ветшало безпрерывно. 1820-й годъ былъ послѣднимъ его поэтической дѣятельности, а 1821-й—послѣднимъ нормальнаго состоянія его духа. Въ слѣдующемъ году поразило его тяжкое несчастіе — умопомѣшательство, причину котораго объясняютъ различно: наслѣдственною болѣзнію, такъ какъ его мать и младшая сестра кончили жизнь такимъ же образомъ; общимъ разстройствомъ, вслѣдствіе раны, остановившей ростъ, отъ чего голова развилась

чрезмѣрно; противорѣчіемъ между его убѣжденіями и ходомъ общественной мысли въ послѣдніе годы Александра I, что сильно тревожило его, поселяя въ немъ страхъ и вмѣстѣ недовѣріе къ близкимъ ему людямъ (за исключеніемъ гр. Блудова и Жуковскаго); наконецъ самолюбіемъ, которому будто бы нанесенъ былъ чувствительный ударъ нашимъ посланникомъ при неаполитанскомъ дворѣ, замѣтившимъ въ одной дипломатической бумагѣ, написанной Батюшковымъ, плохое знаніе латинскаго языка. Какъ бы то ни было, а въ 1823 г., когда Батюшковъ, на возвратномъ пути изъ Италіи, проѣхалъ въ Крымъ и находился въ Симферополѣ, психическая болѣзнь достигла уже сильнаго развитія. Отсюда родные перевезли его въ Вологду, гдѣ онъ и провелъ вторую половину своей жизни, свыше тридцати лѣтъ. Состояніе его, сначала тревожное, перешло потомъ въ болѣе спокойное и неопасное. Умственное просвѣтлѣніе случалось очень рѣдко; только въ послѣдній годъ жизни онъ пользовался нормальнымъ здоровьемъ. Въ журналахъ, съ 1824 по 1861 г., являлись его стихотворенія и письма, относящіяся ко времени до духовнаго разстройства. Послѣднимъ его стихотвореніемъ, кажется, должно почитать «Изреченіе Мельхиседека»:

Ты помнишь, что изрекъ,
Прощаясь съ жизнію, сѣдой Мельхиседекъ?
Рабомъ родится человѣкъ,
Рабомъ въ могилу ляжетъ,
И смерть ему едва ли скажетъ,
За чѣмъ онъ шелъ долиной скорбной слезъ,
Страдалъ, рыдалъ, терпѣлъ, исчезъ.

На судьбѣ Батюшкова оправдалась справедливость той мысли, что жизнь и волненіе—одно. Онъ почти не выходилъ изъ состоянія раздражительности и недовольства. Вѣрное свое подобіе видѣлъ онъ въ образѣ Тасса, почитая и его и себя «добычею злой судьбины», «бѣднымъ странникомъ, испытавшимъ всѣ житейскія превратности». Для полноты сходства слѣдовало бы прибавить, что превратности происходили не столько отъ внѣшнихъ событій, надъ которыми человѣкъ не властенъ, сколько отъ внутреннихъ стремленій, за которыя каждый отвѣчаетъ единственно самъ, своимъ лицемъ; что на ряду съ физическими недугами, безпокоившими поэта, шла и нравственная неустойчивость, которая есть также болѣзнь. Въ своемъ характерѣ носилъ онъ судьбу свою. Треволненія, какъ главная помѣха поэтическому призванію, большею частію зарождались внутри его, а не набѣгали извнѣ. Главная черта этого характера указана сознаніемъ самого Батюшкова: «я

честолюбивъ и суетенъ». Честолюбіе обнаруживалось желаніемъ не одной литературной общеизвѣстности, но и виднаго, упроченнаго положенія на службѣ и въ обществѣ. Слава перваго рода ставилась ниже второй, такъ какъ «успѣхи въ словесности», по отзыву Батюшкова, «не ведутъ ни къ чему». Онъ платилъ дань и особому виду честолюбія — чиновному. Тотъ или другой чинъ значилъ для него не одно и тоже. Служебныя неудачи, глубоко его оскорбляя, совершенно отвращали его отъ службы. Малѣйшій ударъ съ этой стороны отзывался на немъ болѣзненно: «одинъ отказъ и промахъ сдѣлали бы меня несчастнымъ человѣкомъ», говорилъ онъ своей теткѣ, Муравьевой, думая получить лестное для себя назначеніе и боясь неуспѣха. Онъ остался недоволенъ, когда при отставкѣ изъ военной службы былъ переименованъ въ коллежскіе ассессоры, а не въ надворные совѣтники съ правомъ «по болѣзни служить музамъ». Недовольство обманутой надежды просвѣчиваетъ въ шутливомъ письмѣ къ В. Пушкину (1817):

. . . . Я не поэтъ,
Я не ученый, не профессоръ;
Меня въ календарѣ въ числѣ счастливцевъ нѣтъ:
Я.... отставной ассессоръ.

«Въ Петербургѣ жить не хочу и не буду», писалъ онъ послѣ того, какъ изъ Петербурга пришло рѣшеніе, несогласное съ его ожиданіемъ. Конечно, при общемъ теченіи въ одну сторону трудно плыть противъ потока; несправедливо обвинять одного въ томъ, что, по духу времени, было общею слабостью: но въ такомъ случаѣ уже не слѣдовало пенять на судьбу и почитать себя ея жертвой. И любовь, вмѣсто украшенія жизни, только озабочивала и раздражала поэта, потому ли, что онъ былъ «непостоянен и вѣтренъ», въ чемъ упрекала его Муравьева, недовольная развязкою его сердечной привязанности въ небогатой дѣвицѣ, жившей въ домѣ Олениныхъ, или потому, что онъ не расчелъ своихъ силъ, думая быть счастливымъ одною любовью, «безъ упроченнаго состоянія». «Я три года мучился», писалъ онъ: «разсудокъ упрекаетъ меня въ страсти и въ потерянномъ времени. Богъ спасъ меня отъ пропасти. Не думаю, чтобы та особа меня любила». Намъ трудно рѣшить, оправдываютъ ли Батюшкова эти слова и что именно склонило его къ разрыву, но все же фактъ свидѣтельствуетъ о тревожномъ его духѣ. Въ другомъ письмѣ онъ говоритъ положительно, что безъ шести тысячъ дохода нельзя жить въ Петербургѣ. Отсюда можно заключать, что непостоянство, замѣченное въ Батюшковѣ родными, было сознательное, основанное на житейскомъ расчетѣ.

Распредѣляя по отдѣламъ сочиненія Батюшкова, мы относимъ къ первому изъ нихъ тѣ піесы, къ которыхъ авторъ, при воспоминаніи о важнѣйшихъ фактахъ своей жизни, передаетъ испытанныя имъ впечатлѣнія. Какъ военный человѣкъ, онъ пережилъ много ощущеній, физическихъ и нравственныхъ, которыя навсегда остаются памятны. Природа Финляндіи, своимъ суровымъ величіемъ, сильно поражала воображеніе поэта, въ шведскую войну. «Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о Финляндіи (1809)» въ живой картинѣ изображаетъ особенности новой земли. Хотя описаніе составлено по сочиненію французскаго натуралиста Ласепеда, который говоритъ о природѣ и жителяхъ другихъ странъ, имѣющихъ нѣчто общее съ Финляндіей; но оно составлено на самомъ мѣстѣ войны, подъ непосредственнымъ вліяніемъ походной жизни, и заключаетъ въ себѣ нѣсколько самостоятельныхъ образовъ, каковы: ратный станъ, черты финляндской кампаніи и стихотворная вставка о Біарміи, скальдахъ и Валкиріяхъ. Эта вставка внесена потомъ, какъ часть цѣлаго, въ стихотвореніе «Мечта» (1810). Кромѣ того, въ «Посланіи къ Петину» Батюшковъ вспомнилъ жаркое дѣло при Индесальми. Позднѣе, посѣтивъ театръ начальной своей военной службы, на пути изъ Лондона въ отечество, онъ снова обратился мыслью къ прошлому и настоящему Скандинавіи, доказательствомъ чего служатъ: переводъ Маттисоновой элегіи «На развалинахъ замка въ Швеціи» (1814) и «Пѣснь Гаральда Смѣлаго» (1816). Въ 1812 г. Батюшкову пришлось три раза побывать въ Москвѣ: въ первый разъ онъ былъ свидѣтелемъ бѣгства ея жителей, а потомъ, проѣздомъ изъ Нижняго Новгорода въ Вологду и обратно, онъ видѣлъ ее разграбленной и обгорѣлой. Чувства скорби надъ прахомъ древней столицы, жалости къ пострадавшимъ и ненависти къ виновнику народныхъ бѣдъ, вынесенныя изъ этого троекратнаго посѣщенія, излились въ «Посланіи къ Дашкову» (1813). Къ поэтическимъ представленіямъ заграничнаго похода относятся: «Переходъ черезъ Рейнъ» (1814) и «Плѣнный». Дополняются они нѣкоторыми мѣстами сказки «Странствователь и Домосѣдъ» и письмами къ друзьямъ изъ Парижа. Отдаваясь, по долгу службы, всевозможнымъ опасностямъ, воинъ въ тоже время отдаетъ себя всецѣло десницѣ Божіей, которая одна только можетъ отвести смертный ударъ при ежечасныхъ поводахъ къ смерти. И если ему, неожиданно для него, сохранена жизнь, то въ душѣ его слагается мужественная, неколебимая вѣра въ Провидѣніе. Гимнъ «Надежда» славитъ это мужество вѣры, сохраняющей свою силу и въ битвахъ человѣка внутреннихъ — съ самимъ собою, съ своими страстями и сомнѣ-

ніями. Задушевнѣйшія піесы этого разряда стихотвореній выражаютъ исповѣдь любви и дружбы. «Воспоминаніе» и «Посланіе къ гр. Віельгорскому» переносятъ поэта къ тому времени,

Когда, отвоевавъ подъ знаменемъ Беллоны,
Подъ знаменемъ любви онъ началъ воевать.

Эта первая любовь ([1]), не смотря на свою непродолжительность, оставила въ душѣ его пріятную память; онъ искренно и живо порывался къ ней въ мечтаніяхъ:

О мой любезный другъ, отдай, отдай назадъ
Зарю прошедшихъ дней и съ прежними бѣдами,
Съ любовью и войной!

Иного характера была вторая любовь ([2]), въ три года доставившая Батюшкову много внутреннихъ мученій. Но чѣмъ раздражительнѣе ихъ горечь, тѣмъ изящнѣе зараждаются пѣсни въ душевной глубинѣ поэта. Подобное явленіе нерѣдко; оно же имѣло мѣсто и въ судьбѣ нашего поэта: «Воспоминанія» (1814), «Мой геній» (1816), «Выздоровленіе» (1817), «Разлука» и «Таврида» принадлежатъ къ образцовымъ стихотвореніямъ. Лучшее изъ нихъ, по художественной формѣ, «Выздоровленіе». Дружба, какъ замѣчено выше, доставляла Батюшкову болѣе прочныя и чистыя наслажденія, чѣмъ любовь, которую онъ не отдѣлялъ отъ чувственныхъ восторговъ. Памяти Петина посвятилъ онъ превосходную элегію «Тѣнь друга» (1816); кромѣ того въ прозаической піесѣ: «Воспоминаніе о Петинѣ», изобразилъ онъ нравственныя качества умершаго, сознавая ихъ доброе вліяніе на свою личность.

Во второмъ отдѣлѣ сочиненій Батюшкова заключаются переводы изъ главнѣйшихъ италіанскихъ поэтовъ и характеристики ихъ литературнаго значенія. Хотя Батюшкову было усвоено имя страстнаго любителя авзонской Музы и онъ самъ не могъ говорить безъ восторга объ Италіи и пѣвцахъ ея, однакожъ мы не видимъ достаточныхъ доказательствъ ни его знанія италіанской поэзіи, ни особеннаго искусства воспроизводить ее на родномъ языкѣ. Двѣ прозаическія статьи: «Аріостъ и Тассъ» (1816) и «Петрарка» (1816) относятся къ самымъ обыкновеннымъ, легкимъ очеркамъ, не представляющимъ ни самостоятельнаго изслѣдованія, ни даже серьезной критики. Переводъ одного сонета Петрарки: «На смерть Лауры» (1810) и подражаніе одной его канцонѣ: «Вечеръ» (1810)—вовсе не лучшія между стихотвореніями Батюшкова. По двумъ отрывкамъ изъ Освобожденнаго Іерусалима (1817) и од-

---

[1]) Къ рижской нѣмкѣ, въ семействѣ которой Батюшковъ, раненный подъ Гейлсбергомъ, нашелъ гостепріимный кровъ.

[2]) Къ Аннѣ Ѳедоровнѣ Фурманъ, жившей у Олениныхъ.

ному отрывку изъ Неистоваго Орланда (1818) трудно рѣшить, былъ ли онъ въ состояніи передать намъ прославленныя поэмы, объ одной изъ которыхъ онъ выразился такимъ образомъ: «поэма Аріоста заключаетъ въ себѣ все видимое и всѣ страсти человѣческія: это—Иліада и Одиссея, однимъ словомъ — природа, порабощенная жезлу волшебника». Наибольшее сочувствіе питалъ Батюшковъ къ Тассу, которому «былъ обязанъ лучшими наслажденіями въ жизни», котораго тѣнь ставилъ «среди Элизія, близь древняго Омира», и какъ его, такъ и Гомера называлъ «вѣрными спутниками воина». Посланіе «къ Тассу» есть дань удивленія поэту, равно владѣвшему, по словамъ его поклонника, и эпическимъ созерцаніемъ, и пастушьей свирѣлью; а элегія «Умирающій Тассъ» служитъ апоѳеозой его славы. Послѣдняя піеса одна выступаетъ изъ втораго отдѣла стихотвореній, какъ образцовая, прекрасными стихами выражающая искреннее и глубокое чувство. Въ лицѣ Тасса авторъ не только представлялъ себѣ идеальный образъ поэта, но и находилъ въ немъ значительное съ собою сходство. Многое, что говорится о судьбѣ Тасса, примѣнялось Батюшковымъ къ обстоятельствамъ своей жизни ([1]), такъ что подъ изображеніемъ чужой печали скрывается элегическая настроенность собственнаго духа. По этой причинѣ элегія проникнута глубоко-искреннимъ чувствомъ.

Третій отдѣлъ составляютъ переводы древне-классическихъ произведеній. Ихъ очень немного: три элегіи Тибулла (1809, 1810 и 1816) и двѣнадцать піесъ изъ Антологіи (1820). Если вольное переложеніе Тибулловыхъ элегій не даетъ должнаго понятія объ ихъ поэтическомъ достоинствѣ, то въ антологическихъ піесахъ Батюшковъ является истиннымъ художникомъ, хотя онъ перелагалъ ихъ не съ греческаго подлинника, а съ французскаго перевода. Эти переводы показываютъ способность Батюшкова къ творчеству въ духѣ древне-классической поэзіи.

Характеръ послѣдняго отдѣла — эротическій. Сюда принадлежатъ переводы изъ Парни ([2]) и подражанія ему: Привидѣніе (1810), Ложный страхъ (1810), Источникъ (1810), Мщеніе (1816) и Вакханка, а также собственныя стихотворенія въ томъ же духѣ: Веселый часъ (1810), Отрывокъ изъ элегіи, Къ другу, Выздоровленіе (1817), Таврида, нѣкоторыя мѣста въ «Моихъ пенатахъ» (1814) и другихъ піесахъ. Весь этотъ отдѣлъ, по граціи поэтическихъ

[1]) Это примѣненіе видимо въ тирадѣ, отъ стиха: «отъ самой юности игралище страстей»... и до стиха: «карающей богинѣ обреченной».

[2]) Французскаго поэта, писавшаго въ эротическомъ и элегическомъ родахъ (1753—1814).

изображеній и по изяществу внѣшней формы, заслуживаетъ названіе образцоваго и долженъ быть поставленъ на ряду съ переводами изъ Антологіи.

Опредѣленіе литературной заслуги значительно облегчается, когда намъ извѣстно, какъ понималъ ее самъ авторъ. Взглядъ Батюшкова на характеръ и значеніе своей поэтической дѣятельности изложенъ въ «Рѣчи о вліяніи легкой поэзіи на языкъ» (1816). Выбранный въ члены Общества любителей русской словесности въ Москвѣ, онъ принялъ оказанную ему честь какъ свидѣтельство того, что «успѣхи и въ малѣйшей отрасли словесности могутъ быть полезны нашему языку». Эта малѣйшая отрасль словесности, и въ тоже время ея «прелестная роскошь», есть такъ называемая «легкая поэзія», которую онъ противополагаетъ эпопеѣ, драмѣ, восторженной лирикѣ, исторіи и краснорѣчіи, требующимъ «великихъ усилій ума, высокаго и пламеннаго воображенія». Главнѣйшее различіе между двумя противоположными родами, по мнѣнію Батюшкова, состоитъ въ стихотворномъ слогѣ: «Въ большихъ родахъ, читатель, увлеченный описаніемъ страстей, ослѣпленный живѣйшими красками поэзіи, можетъ забыть недостатки и неровности слога... Въ легкомъ родѣ поэзіи, читатель требуетъ возможнаго совершенства, чистоты выраженія, стройности въ слогѣ, гибкости, плавности; онъ требуетъ истины въ чувствахъ и сохраніи строжайшаго приличія во всѣхъ отношеніяхъ; онъ тотчасъ дѣлается строгимъ судьею, ибо вниманіе его ничѣмъ сильно не развлекается. Красивость въ слогѣ здѣсь нужна необходимо и ничѣмъ замѣниться не можетъ». Не смотря на скромный отзывъ о легкой поэзіи, сравнительно съ другимъ поэтическимъ родомъ, Батюшковъ отвелъ ей просторное и достославное мѣсто на парнассѣ всѣхъ народовъ. Число поэтовъ, къ категоріи которыхъ онъ причисляетъ и себя самого, не мало, и между ними есть громкія имена: у Грековъ—Віонъ, Мосхъ, Симонидъ, Ѳеокритъ, Анакреонъ, Сафо; у Римлянъ—Катуллъ, Тибуллъ и Проперцій; въ Италіи—Петрарка, во Франціи—Маро, въ Англіи—Валлеръ, въ Германіи—Гагедорнъ и другіе. Переходя къ нашей легкой поэзіи, Батюшковъ включаетъ въ ея область переводы и подражанія Анакреону Ломоносова и Державина, Душеньку, басни, сказки и посланія Дмитріева, басни Хемницера и Крылова, стихотворенія Карамзина, горацiанскія оды Капниста, пѣсни Нелединскаго, подражанія древнимъ Мерзлякова, баллады Жуковскаго, стихотворенія Востокова и Муравьева (М. Н.), посланія кн. Долгорукова и нѣкоторыя Воейкова,

Красота слога, возможное совершенство выраженія, какъ существенная принадлежность легкой поэзіи, и въ особенности важ-

нѣйшаго ея вида—эротическаго, отличаетъ и стихотворенія Батюшкова, входящія въ четвертый отдѣлъ. Онъ тщательно заботился объ изяществѣ формы, безъ которой немыслимо поэтическое представленіе. Яснымъ, отчетливымъ образомъ своихъ чувствъ и мыслей онъ сообщалъ прелесть граціи, раздѣляя мнѣніе Парни, что въ дѣлѣ искусства грація—все и что безъ граціи нѣтъ истиннаго искусства. О вѣрности его художественнаго вкуса можно судить по многимъ піесамъ. Приводимъ для примѣра одно изъ самыхъ характеристическихъ: «Выздоровленіе»:

Какъ ландышъ подъ серпомъ убійственнымъ жнеца
Склоняетъ голову и вянетъ:
Такъ я въ болѣзни ждалъ безвременно конца
И думалъ: Парки часъ настанетъ.
Ужъ очи покрывалъ Эреба мракъ густой,
Ужъ сердце медленнѣе билось:
Я вянулъ, исчезалъ, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приблизилась, о жизнь души моей,
И алыхъ устъ твоихъ дыханье,
И слезы пламенемъ сверкающихъ очей,
И поцѣлуевъ сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милыхъ словъ,
Меня изъ области печали,
Отъ Орковыхъ полей, отъ Леты береговъ
Для сладострастія призвали.
Ты снова жизнь даешь; она—твой даръ благой;
Тобой дышать до гроба стану.
Мнѣ сладокъ будетъ часъ и муки роковой;
Я отъ любви теперь увяну.

Не смотря на краткость какъ этого стихотворенія, такъ и другихъ одного съ нимъ рода, всѣ они удовлетворяютъ эстетическое чувство читателя ровностью тона, полнотою впечатлѣнія, законченностью образа. Переводы изъ Парни принадлежатъ къ лучшимъ піесамъ эротическаго отдѣла потому, что у нашего переводчика много общаго съ французскимъ стихотворцемъ въ талантѣ и направленіи. Не даромъ того и другаго называли Тибулломъ. Характеръ любви—чувства, наиболѣе ими выражаемаго—одинаковъ: она положительная, а не идеальная, дѣйствительная, а не мечтательная. Въ этомъ отношеніи, Батюшковъ—рѣшительная противоположность Жуковскому. «Въ то время», говоритъ Гоголь, «когда Жуковскій отрѣшалъ нашу поэзію отъ земли и существенности и уносилъ ее въ область безтѣлесныхъ видѣній, Батюшковъ, какъ бы нарочно ему въ отпоръ, сталъ прикрѣплять ее къ землѣ и тѣлу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой суще-

ственности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ для него самомъ идеальномъ, такъ этотъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимаго, которое такъ ясно слышалъ и такъ сильно чувствовалъ. Все прекрасное во всѣхъ образахъ, даже и незримыхъ, онъ какъ бы силился превратить въ осязательную нѣгу наслажденія. Онъ слышалъ, выражаясь его же выраженіемъ, *стиховъ и мыслей сладострастье*».—Послѣднее слово часто встрѣчается въ сочиненіяхъ Баюшкова, который прилагаетъ его даже къ предметамъ духовнымъ, называя, напримѣръ, совѣсть «сладострастіемъ возвышенныхъ душъ», но чаще пользуется имъ въ томъ случаѣ, когда надобно выразить ощущеніе, доставляемое эпикуреизмомъ, упоеніемъ земными благами, а изъ нихъ наиболѣе страстью въ тѣсномъ смыслѣ—любовью:

О пламенный восторгъ! о страсти упоенье!
О сладострастіе.... себя, всего забвенье!

Тамъ поэтъ напоминаетъ своему другу, какъ они «пили чашу сладострастья»; здѣсь приглашаетъ друга «упиться сладострастьемъ». Изъ цѣлыхъ сутокъ онъ желалъ бы отдать по одному часу дружбѣ, Вакху и сну, а остальнымъ временемъ подѣлиться съ предметомъ своей страсти. Такое направленіе, опредѣляясь въ началѣ темпераментомъ, потомъ развивается и укрѣпляется образомъ мыслей. Это—философія Аристиппа, удобно соглашаемая съ природными инстинктами. Мы узнаемъ ее изъ стихотвореній: «Мечта», гдѣ отвергается ученіе стоиковъ; «Веселый часъ», гдѣ дается совѣтъ сѣять на пути розы, наслаждаться жизнью и полной чашей пить радость; «Отрывокъ изъ Элегіи», приглашающей славить безпечность и любовь; «Посланіе къ Петину», почитающее счастливымъ того, кто цвѣтами украшалъ дни любви. Потому-то Жуковскій, зная капитальную слабость своего друга, совѣтовалъ ему бѣжать сладострастныхъ мечтаній, какъ губительницъ душевной чистоты ([1]).

Различіе въ характерахъ поэзіи Жуковскаго и Батюшкова видна и на элегіяхъ послѣдняго. Какъ самая печаль, ими выражаемая, не расплывается въ меланхолію или уныніе и не затемняется ни мудреной рефлексіей, ни другимъ постороннимъ чувствомъ, но выходитъ изъ потрясенной души ясною, безхитростною, непосредственною, такъ и выраженіе, по наглядности художественныхъ образовъ, не только легко воспринимается внутреннимъ ощущеніемъ, но и какъ бы становится доступнымъ внѣшнему зрѣнію.

[1]) Посланіе къ Батюшкову (1813).

Доказательствомъ служатъ элегіи: Пробужденіе (1816), Разлука, Послѣдняя весна (1816), Къ другу, Тѣнь друга (1816). Батюшковъ, по свойству таланта и по образованію, которымъ руководилъ Муравьевъ, былъ способенъ къ поэтическому созерцанію и представленію въ античномъ духѣ. Цѣлыя піесы выливались у него, какъ отчетливыя изваянія мыслей и впечатлѣній, и въ каждомъ его стихотвореніи есть мѣста, убѣждающія, что онъ могъ бы съ равнымъ искусствомъ и передавать древне-классическія произведенія на родномъ языкѣ, и подражать имъ.

Переводъ антологическихъ піесъ наилучшимъ образомъ характеризуетъ поэтическій талантъ Батюшкова. Мы уже говорили, что въ 1820 г. была издана (Д. Дашковымъ) небольшое сочиненіе «о Греческой Антологіи». Предисловіе къ нему подписано арзамасскими именами гр. Уварова (Ст.—Старушка) и Батюшкова (А.—Ахиллъ). Послѣднему принадлежатъ стихотворенія, переложенныя съ французскаго текста, а не съ греческаго подлинника, а первому—объясненіе, содержащее въ себѣ историческія свѣдѣнія объ антологіи и характеристику піесъ, ее образующихъ. Антологіей называется собраніе небольшихъ стихотвореній, а именно: надписей и эпиграммъ (піесъ, написанныхъ элегическимъ размѣромъ—гексаметромъ и пентаметромъ). «Все служитъ предметомъ эпиграммы», говоритъ Уваровъ въ объясненіи: «она то поучаетъ, то шутитъ, и почти всегда дышитъ любовію. Часто она не что иное, какъ мгновенная мысль, или быстрое чувство, рожденное красотами природы или памятниками искусства». Совершенство внѣшней формы, которое Батюшковъ ставилъ необходимымъ условіемъ произведеній легкой поэзіи, есть существенная принадлежность антологическаго рода. Безъ граціи и артистической отдѣлки древняя эпиграмма немыслима. Эти-то художественныя качества умѣлъ Батюшковъ сохранить въ своемъ переводѣ. А такъ какъ многія изъ его собственныхъ сочиненій отличаются тѣми же качествами, то критика имѣла право заключить, что онъ могъ бы лучше, чѣмъ кто-либо изъ современныхъ ему поэтовъ, познакомить насъ съ красотами древне-классической поэзіи. Жаль только, что тревожныя обстоятельства не дозволили ему настойчиво послѣдовать своему призванію. Вообще онъ написалъ мало. Въ теченіи пятнадцати лѣтъ (считая съ 1805 по 1820) оставилъ онъ небольшое число стихотвореній. Однакожъ и этимъ немногимъ пріобрѣлъ онъ славу первокласснаго нашего поэта. Современная критика ставила его на ряду съ Жуковскимъ, говоря, что въ отношеніи къ нему Батюшковъ былъ не вторымъ, а другимъ (non secundus, sed alter); что поэтическій талантъ послѣдняго нисколько не уступалъ

таланту перваго: только характеры этихъ талантовъ были различные, равно какъ различны и пути, ими выбранные.

Цѣлый томъ сочиненій Батюшкова содержитъ въ себѣ прозу. Значеніе ея—преимущественно стилистическое: по чистотѣ, правильности, благозвучію и образности языка, она заслуживаетъ названіе образцовой. Въ этомъ отношеніи наиболѣе замѣчателенъ «Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о Финляндіи». Содержаніемъ же своимъ прозаическія статьи уступаютъ слогу, не поднимаясь выше посредственнаго уровня. Въ нихъ нѣтъ глубины или обилія мыслей, нѣтъ и многосторонняго или своеобразнаго ихъ развитія. Авторъ видимо заботился не столько о томъ, что сказать, сколько о томъ, какъ сказать. Критическія сужденія его слабы, не то что эпиграммы—острыя, меткія, сжатыя. Такія статьи, какъ «Письмо къ И. М. Муравьеву-Апостолу о сочиненіяхъ М. Н. Муравьева», «Аріостъ и Тассъ», «Петрарка», не даютъ существенной характеристики обсуждаемыхъ лицъ и ихъ авторства. ([1])

§ 19. Система французскаго классицизма возникла изъ невѣрно истолкованной піитики Аристотеля, изъ превратно или односторонне понятыхъ образцовъ древней поэзіи, почему и называется лжеклассическою. Чтобы открыть ложь, принятую французами за истину и перешедшую отъ нихъ къ другимъ народамъ, необходимо было ближайшее, непосредственное знакомство какъ съ поэтическимъ ученіемъ грековъ и римлянъ, такъ и съ ихъ художественными произведеніями. Этимъ путемъ нѣмцы свергли съ себя вѣковое иго псевдоклассицизма; этотъ же путь предстоялъ и намъ при освобожденіи нашей литературы отъ вліянія французскихъ понятій объ искусствѣ, стѣснявшихъ ее также въ теченіе цѣлаго столѣтія, съ Кантемира и Тредьяковскаго до Пушкина.

Для непосредственнаго знакомства съ содержаніемъ и формой истиннаго классицизма, требовалось, кромѣ знанія древнихъ языковъ, и безпристрастное, не стѣсняемое французскимъ авторитетомъ, отношеніе критики къ поэтическимъ образцамъ древности. Средства наши, въ томъ и другомъ отношеніи, большею частію были слабы. Немногіе изъ нашихъ литераторовъ могли похвалиться серьезнымъ филологическимъ образованіемъ; немногіе также умѣли отрѣшиться отъ французскихъ воззрѣній какъ на самые подлин-

---

[1]) Главнѣйше матеріалы для біографіи и поэтической дѣятельности Батюшкова: Матеріалы для полнаго изданія его сочиненій, М. Лонгинова (Рук. Арх. 1863 г. № 12).

К. Н. Батюшковъ. Его письма и очерки его жизни, съ 1806 по 1819 г., двѣ статьи П. Бартенева (ib, 1867, №№ 10 и 11).

Письма Б-ва къ Гнѣдичу (Рус. Старина, т. т. 1, 3, 10).

ники, такъ и на способъ ихъ перевода. Отсюда происходило, что имена Аристотеля, Горація и Буало мы ставили на одну доску, не различая ихъ поэтической науки и почитая каждаго законодателемъ изящнаго вкуса; что въ Расинѣ и Вольтерѣ видѣли не только воскресителей Софокла и Эврипида, но и усовершенствователей трагическаго искусства, доведшихъ его до nec plus ultra; что переложенія греческихъ и римскихъ стихотвореній, сдѣланныя съ французскихъ вольныхъ переводовъ, удовлетворяли насъ, вызывая громкія себѣ похвалы. Трудно было, при такихъ взглядахъ, ожидать воспроизведенія подлинниковъ, по ихъ духу и художественному смыслу: оно могло явиться только при здравыхъ понятіяхъ объ искусствѣ вообще, объ искусствѣ грековъ и римлянъ въ особенности, при несомнѣнномъ поэтическомъ талантѣ, необходимомъ переводчику. Разсмотримъ же важнѣйшіе факты нашего знакомства съ древне-классической поэзіей.

М. Н. Муравьевъ служилъ примѣромъ и какъ бы руководителемъ тѣхъ, которые заботились о внесеніи классическаго элемента въ отечественную литературу. Они справедливо поставляли на видъ его классическую образованность, вѣрныя мысли о пользѣ изученія древнихъ писателей, нѣкоторые труды по этой части и содѣйствіе такимъ же трудамъ другихъ. Ободряемый имъ, какъ товарищемъ министра народнаго просвѣщенія и вмѣстѣ попечителемъ московскаго университета, Мерзляковъ задумалъ «представить образцы древнихъ писателей во всѣхъ родахъ стихотворныхъ сочиненій, дабы учащійся могъ ихъ имѣть на своемъ языкѣ при самомъ истолкованіи правилъ піитики». Первые опыты его переводовъ: сцены изъ Эврипидовой трагедіи «Альцеста» и «первая олимпійская ода Пиндара» явилась въ 1804 г.; за ними слѣдовали: «Эклоги Виргилія», съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ эклогъ Ѳеокрита, Біона и Мосха (1807), и «Наука Стихотворства» (Ars poëtica) Горація (1808). Какъ эти, такъ и дальнѣйшіе труды переводчика, помѣщенные въ журналахъ или напечатанные отдѣльно, собраны и изданы въ двухъ томахъ, подъ заглавіемъ: «Подражанія и переводы изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ (1825—26)». Первый томъ содержитъ въ себѣ, кромѣ разсужденія «о началѣ и духѣ древней трагедіи и о характерахъ трехъ греческихъ трагиковъ», переводы эпическихъ и драматическихъ твореній—изъ Гомера, Виргилія, Эсхила, Софокла и Эврипида; второй—переводы изъ лириковъ: Каллимаха, Клеанта, Тиртея, Пиндара, Сафо, Теокрита, Біона, Горація, Тибулла, Проперція, Овидія.

Мерзляковъ различаетъ два способа перелагать древнихъ: бук-

вальный, для занимающихся исключительно изученьемъ языковъ греческаго и латинскаго, и вольный, или подражаніе. Такъ какъ первый большею частію выходитъ каррикатурнымъ, а второй невѣрнымъ, то переводчикъ выбралъ средину, т. е. не позволялъ себѣ ни лишняго стѣсненія, ни лишней вольности. Намѣреніе его могло бы принести большую пользу, если бы удовлетворительно было исполнено. Къ сожалѣнію, трудъ его представляетъ нѣкоторые существенные недостатки, происшедшіе главнымъ образомъ отъ французскаго взгляда на искусство и на способъ перелагать произведенія искусства. Во-первыхъ, Мерзляковъ иногда знакомитъ съ піесой посредствомъ отрывковъ: мысль ошибочная, несогласная съ значеніемъ греческой трагедіи, которой достоинство, особенно у Софокла, заключается въ стройномъ единствѣ частей, въ художественной красотѣ цѣлаго. Полный переводъ одной Софокловой трагедіи былъ бы соотвѣтственнѣе цѣли труда. Во-вторыхъ, отрывки переданы не въ настоящемъ видѣ: переводчикъ многое сокращалъ, что ему казалось слишкомъ растянутымъ или не относящимся къ дѣйствующей страсти, иное переставанливалъ и соединялъ (напримѣръ, первый актъ съ пятымъ), дабы образовать изъ того нѣчто цѣлое драматическое. Кромѣ того, языкъ въ переводахъ разныхъ писателей безразличный. Стихъ то настраивается на риторическій ладъ, въ подражаніе Ломоносову, то падаетъ пѣвучимъ дактилическимъ окончаніемъ, которое такъ любилъ Карамзинъ. Гармоніи его много мѣшало излишнее употребленіе славянской стихіи, почитавшейся необходимостью каждый разъ, когда стихотворецъ хотѣлъ сообщить своей рѣчи особенную важность и величіе. Къ лучшимъ переводамъ Мерзлякова относятся Виргиліевы эклоги и греческія идилліи; второе мѣсто занимаютъ Тиртеевы оды и Горацієва «Наука о стихотворствѣ». Что касается до понятій, изложенныхъ въ «Разсужденіи о началѣ и духѣ древней трагедіи», то они убѣждаютъ въ эмпирическомъ взглядѣ автора на искусство. Согласно съ французской теоріей, онъ объяснялъ происхожденіе поэтическихъ родовъ подражаніемъ природѣ, а не даромъ творчества, присущимъ человѣку и проявляющимъ свою дѣятельность созданіемъ разнообразныхъ предметовъ особаго, эстетическаго міра. Этотъ ложный взглядъ подвергся основательной критикѣ со стороны Веневитинова ([1]), выступившаго противъ французской теоріи съ новыми началами нѣмецкой эстетики.

«Подражанія и переводы» Мерзлякова, представляя образцы греческихъ и латинскихъ стихотвореній, должны были служить по-

[1]) Сынъ Отеч. 1825, т. 3.

собіемъ при изученіи поэтическихъ родовъ. Пользу учащагося юношества имѣлъ въ виду и Мартыновъ, директоръ департамента министерства народнаго просвѣщенія († 1833), при своемъ переводѣ греческихъ классиковъ. Многолѣтній трудъ его изданъ въ 26 томахъ (1823—28) и заключаетъ въ себѣ Гомера, Софокла, Пиндара, Анакреона, Каллимаха, Езопа, Иродота и Лонгина. Переводъ каждаго классика снабженъ разсужденіями о немъ самомъ и его сочиненіяхъ, обширнымъ историко-филологическимъ комментаріемъ и другими объясненіями, выбранными изъ древнихъ и новыхъ писателей, а также и своими собственными. Кромѣ того, первая пѣснь Иліады переведена еще подстрочно, съ цѣлью показать различіе между языками греческимъ и русскимъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ трудность и невозможность сохранить въ переводѣ всѣ обороты, частицы и слова подлинника. Видимо, Мартыновъ прилагалъ всѣ старанія, чтобы русскому читателю облегчить знакомство съ классическими твореніями. Въ работѣ своей положилъ онъ правиломъ не удаляться отъ подлинника, для «лучшаго удержанія его смысла», сохраняя однакожъ свойства русскаго языка. Это и заставило его переложить стихотворцевъ прозой, за исключеніемъ Анакреона, переданнаго бѣлыми стихами. О поэтическомъ достоинствѣ переводовъ и говорить нечего. Оно было невозможно по самой обширности задачи. Надобно имѣть геніальныя способности, быть великимъ поэтомъ, чтобы художественно воспроизвести образцовыя созданія древности по всѣмъ родамъ поэзіи— эпосу, драмѣ и лирикѣ; а Мартыновъ, лишенный поэтическаго дарованія, не владѣлъ даже и стихомъ, какъ доказываетъ его переводъ Анакреона. Хотя ложная теорія часто сбивала Мерзлякова, но врожденное ему чувство изящнаго противодѣйствовало ложнымъ понятіямъ, и потому въ его переводахъ встрѣчаются такіе, которые удачно передавали красоты подлинниковъ; Мартыновъ же, по отзыву его начальника, отличался больше всего «пространнымъ» трудолюбіемъ, котораго недостаточно для удовлетворительнаго перевода греческихъ классиковъ.

Въ числѣ лицъ, которыя своими сужденіями содѣйствовали распространенію вѣрныхъ мыслей о значеніи французской литературы сравнительно съ литературами другихъ народовъ, и въ особенности съ греко-латинской, одно изъ главныхъ мѣстъ занимаетъ И. М. Муравьевъ-Апостолъ († 1851), служившій по дипломатической части и бывшій нашимъ посланникомъ въ Испаніи. По классической образованности и знанію многихъ языковъ, онъ составлялъ исключеніе въ томъ кругѣ, къ которому принадлежалъ по своему рожденію и общественному положенію. Въ нѣкоторыхъ

взглядахъ на воспитаніе и словесность онъ сходился съ Шишковымъ, былъ членомъ «Бесѣды» и для «Чтеній» перевелъ двѣ Гораціевы сатиры (первую и третью 1-ой книги), приложивъ къ первому переводу разсужденіе о Гораціи, а ко второму—разсужденіе о причинахъ, побудившихъ Горація написать третью сатиру (¹). Подъ живымъ впечатлѣніемъ недавно конченной борьбы съ Наполеономъ, Муравьевъ-Апостолъ писалъ замѣчательныя письма изъ сожженной Москвы въ Нижній Новгородъ, къ другу (²). Проникнутыя ненавистью къ французамъ, они направлены главнѣйшимъ образомъ противъ галломаніи, которая господствовала въ высшемъ дворянствѣ. Употребленіе французскаго языка называетъ авторъ несказаннымъ зломъ, отравившимъ у насъ главный источникъ общественнаго благоденствія—воспитаніе. Родители, говоритъ онъ, не думаютъ ни о серьезномъ школьномъ образованіи сыновей, ни о пріученіи дочерей къ обязанностямъ хозяйки и матери: единственная цѣль ихъ состоитъ въ томъ, чтобы мальчика какъ можно раньше нарядить въ офицерскій мундиръ, а дѣвочку какъ можно скорѣе вывозить на балъ. Два таковыхъ поколѣнія—и чего ожидать?.... того, что мы часто видимъ: *русскихъ не-русскихъ*. Отъ чего же такое зло вкралось къ намъ? давно-ли стало укореняться? почему есть люди, умные и хорошіе, которые увѣрены въ томъ, что намъ нельзя обойтись безъ французскаго языка? не это ли предубѣжденіе причиною, что мы еще не далеки на поприщѣ словесности? Таковы вопросы, предлагаемые авторомъ себѣ и другимъ на рѣшеніе. Въ настоящемъ случаѣ для насъ важны два послѣдніе, рѣшенные въ четвертомъ письмѣ, гдѣ передается разговоръ Неотина и Археонова. Неотинъ, представитель господствующаго мнѣнія, доказываетъ, что мы, русскіе, обязаны французскому языку почти всѣми успѣхами нашей словесности и что лучшіе французскіе писатели первенствуютъ во всѣхъ литературныхъ родахъ: трагедія не можетъ выставить никого подобнаго Расину, Корнелю и Вольтеру; истинная комедія основана Мольеромъ; Лафонтенъ неподражаемъ и самъ никому не подражалъ; во всемъ французы сдѣлались образцами—въ поэзіи высокой и легкой, въ краснорѣчіи, въ слогѣ повѣствовательномъ. Отсюда и заключеніе: языкъ французскій, подобно латинскому, переживетъ народъ и останется классическимъ; онъ долженъ быть таковымъ и для насъ: мы обязаны учиться ему въ школахъ, не

¹) Чтеніе, книга вторая, № 2 (1811) и кн. шестая (1812).

²) Всѣхъ писемъ пятнадцать; они нап. въ Сынѣ Отеч. 1813, 1814 и 1815 гг. Перепечатаны въ Рус. Арх. 1876 г., книга 3.

опасаясь вреднаго вліянія на нравы.—Археоновъ, т. е. самъ авторъ письма, опровергаетъ оба тезиса своего собесѣдника. Критику французской литературы начинаетъ онъ съ Расина. Въ чемъ очаровательная сила этого трагика? въ искусствѣ подражать древнимъ и въ мастерствѣ владѣть языкомъ. Если отнять у него то, что принадлежитъ Гомеру, Софоклу, Эврипиду, Виргилію, Сенекѣ, то въ остаткѣ получится только прекрасный механизмъ стиха,—достоинство хотя и великое, но далеко не то, которое требуется отъ генія-творца. Археоновъ очень умно отличаетъ *общій* вкусъ къ изящному, неизмѣнно принадлежащій всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ просвѣщеннымъ народамъ, отъ вкуса *особеннаго*, образуемаго характеромъ каждаго народа, его нравственными свойствами, образомъ правленія. «Я самъ, говоритъ онъ, ничѣмъ такъ не восхищаюсь, какъ искуснымъ представленіемъ Расиновой трагедіи; но въ правѣ ли я отъ того заключить, что всѣ непремѣнно должны точно такъ чувствовать и мыслить, какъ я, и что напрасно предпочитаютъ Расину: англичане Шекспира, нѣмцы Шиллера, итальянцы Альфіери? Мое заключеніе, можетъ статься, и несходно съ истиною. Кто увѣритъ меня, что не дѣйствовало надъ нимъ сильное вліяніе привычекъ и предубѣжденій, съ которыми нельзя справедливо судить о вещахъ? Буде на это мнѣ возразятъ, что привычки и предубѣжденія могутъ точно также находиться и въ другихъ людяхъ, тогда я изо всего этого выведу одно то, что на счетъ народнаго вкуса не должно никого ни винить, ни оправдывать; что всякій будетъ правъ у себя, и виноватъ, если вздумаетъ судить о другихъ по себѣ. Ипполитъ на сценѣ французской исторгаетъ у насъ, русскихъ, слезы; а на аѳинскомъ театрѣ греки бы расхохотались, еслибъ услышали его открывающагося въ любви къ Арисіи». Переходя отъ трагедіи къ эпической поэзіи, Археоновъ не видитъ у французовъ ни одного достойнаго ея произведенія, ибо слишкомъ смѣло назвать поэмой холодную въ стихахъ декламацію Вольтера (Генріаду). Нельзя и сравнивать ее съ поэмами Данта, Аріоста, Тасса. Что касается до французской комедіи, то Мольеръ въ характерахъ, ходѣ дѣйствія и развязкѣ заимствовалъ частію у древнихъ, частію у испанцевъ: «Кальдеронъ и Лопе де-Вега были во многомъ его учителями: ихъ дѣйствующія лица, въ рукахъ Мольера, принаровились къ парижскимъ обычаямъ, перерядились во французское платье и сдѣлались для французовъ оригинальными; намъ же, русскимъ, предпочтительно нравятся потому, что и мы принаровились къ парижскимъ обычаямъ и перерядились во французское платье. Если комедія есть живое въ лицахъ представленіе господствующихъ нравовъ, то каждый на-

родъ долженъ имѣть свою комедію, по той самой причинѣ, что каждый народъ имѣетъ свои собственные нравы и обычаи: Ифландъ на театрѣ своемъ представляетъ нѣмцевъ, Шериданъ англичанъ, а мы *французовъ*, потому что мы по обычаю французы, и съ такими французскими, т. е. нелѣпыми, предразсудками, что не стыдимся называть порокомъ того, что составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ въ нѣмцахъ и англичанахъ,—что они не обезьяны, какъ мы».

Изъ отвѣта своего Неотину, Археоновъ выводитъ два заключенія:

Во-первыхъ, французы не во всѣхъ родахъ словесности успѣли; у нихъ нѣтъ ни поэмы, ни исторіи, ни живописной поэзіи (poësie descriptive), ни пастушеской, ни даже романа своего. Во-вторыхъ, если они могутъ гордиться своими Расиномъ, Корнелемъ, Буало, Мольеромъ, а особливо Лафонтеномъ, за то другіе народы имѣютъ право хвалиться такими высокими умами, каковымъ нѣтъ подобныхъ во Франціи. Испанцы скажутъ: у насъ Сервантесъ; англичане, и не упоминая о Шекспирѣ, Мильтонѣ, Драйденѣ, Томсонѣ, выставятъ рядъ историковъ таковыхъ, какъ Юмъ, Фергюсонъ, Робертсонъ; нѣмцы укажутъ на Виланда, Лессинга, Гете, Шиллера; а мы развѣ не въ правѣ гордиться нашимъ Державинымъ, котораго природа одарила геніемъ удивительнымъ, а случайность предохранила въ воспитаніи отъ робкаго, изнѣженнаго вкуса французовъ? Такъ, я смѣло утверждаю, что Державинъ много обязанъ незнанію французскаго языка: опутанный цвѣтками, поддѣланными изъ атласа и тафты, не размахнулся бы никогда нашъ богатырь.

Я осмѣлился сказать: «робкій, изнѣженный вкусъ», и къ этой смѣлости прибавляю еще дерзость утверждать сказанное. Всѣ художества основаны на подражаніи природѣ: очарованіе ихъ состоитъ въ вѣрности сего подражанія, и тотъ художникъ наиболѣе выполнитъ необходимое условіе, который, избравъ предметъ, будетъ умѣть представить его взорамъ нашимъ въ изящнѣйшемъ его видѣ, т. е. придавъ ему тѣ украшенія, которыя сродны ему и естественны. Это французы называютъ embellir la nature—*украшать природу*: явная безсмыслица! ибо украшать природы невозможно; напротивъ того: лишнимъ тщаніемъ давать несродныя ей прикрасы значитъ портить ее,—то, что французы же въ художествахъ называютъ «genre maniéré», а я—изнѣженнымъ, жеманнымъ вкусомъ.

Превознесеніе французской литературы надъ всѣми прочими, по мнѣнію Археонова, происходитъ у насъ отъ знакомства съ первою, которое начинается еще въ дѣтскомъ возрастѣ, и отъ совершеннаго незнанія послѣднихъ, котораго мы не стыдимся. Мы и не можемъ знать ихъ, потому что не знаемъ другихъ языковъ, кромѣ французскаго,

Хочешь ли имѣть основательное понятіе о свойствахъ, преимуществахъ и недостаткахъ народовъ, наиболѣе въ письменахъ отличившихся? Сперва учись ихъ языкамъ. Прочитай Данта на италіанскомъ, Сервантеса на

испанскомъ, Шекспира на англійскомъ, Шиллера на нѣмецкомъ: тогда ты пріобрѣтешь нѣкоторое право произносить надъ ними приговоръ, и тогда конечно ты не скажешь подобно тому, что я читалъ въ одномъ изъ нашихъ журналовъ: «долго ли нѣмцамъ быть педантами»?... Долго ли намъ быть невѣждами и бранить то, что мы не разумѣемъ! Мы привыкли ко всему прикладывать французскій масштабъ, и что нейдетъ къ нему въ-мѣру,—отбрасывать, какъ недостойное сравненія: такимъ образомъ и Шиллеръ провинился предъ нами, и именно въ томъ, что онъ не соблюдалъ необходимой (для насъ только) благопристойности—представить героевъ своихъ въ видѣ французскихъ маркизовъ. Я такъ за это его не виню и, обращаясь къ тому, съ чего началъ, скажу, что вкусъ изнѣженности у французовъ господствуетъ вездѣ, даже и въ лучшихъ ихъ писателяхъ. Не говоря о другихъ, довольно сказать, что и Расинъ не избавился отъ заразы: Пирръ въ Андромахѣ его, Ахиллесъ въ Ифигеніи, Ипполитъ въ Федрѣ, Неронъ въ Британникѣ—не тѣ идеалы, которые мы воображаемъ по начертаніямъ въ Гомерѣ, Виргиліи, Эврипидѣ и Тацитѣ. Они чрезвычайно хороши у Расина, можно сказать прелестны, но все-таки изъ подъ палліи или тоги выказываются у нихъ французскіе красные каблучки. Когда же Расинъ, великій Расинъ, не ушелъ отъ упрека въ *изнѣженности*, то что же сказать о другихъ? ума много, а изящной природы, во всей очаровательной ея простотѣ, нѣтъ ни въ одномъ. Вездѣ натяжка; нигдѣ нѣтъ цвѣтовъ, которые мы видимъ въ природѣ: наблюдатель строгій тотчасъ догадается, что картина простой сельской жизни писалась въ парижскомъ будуарѣ, а Ѳеокритовы пастухи срисованы въ оперѣ съ танцовщиковъ. И быть иначе не можетъ. Французы осуждены писать въ одномъ Парижѣ; внѣ столицы имъ не дозволяется имѣть ни вкуса, ни дарованій: то какъ же имъ познакомиться съ природою, которой ничего нѣтъ противоположнѣе, какъ большіе города? Напротивъ того, въ нѣмецкой землѣ писатели рѣдко живутъ въ столицахъ; большая часть ихъ разсѣяна по маленькимъ городамъ, а нѣкоторые изъ нихъ цѣлую жизнь свою провели въ деревняхъ: за то они знакомѣе съ природою, и за то между тѣмъ какъ Фоссъ начерталъ прелестную «Луизу» свою въ Эйтинѣ, подражатель приторнаго Флоріана въ Парижѣ, смотря въ окно на грязную улицу, описываетъ испещренные цвѣтами андалузскіе луга, или пышно рисуетъ цѣпь Пиренейскихъ горъ, глядя съ чердака на Мормартръ.

Указать невѣжественное пристрастіе и объяснить его причины не значитъ еще исправить его. Оно и неисправимо въ тѣхъ, которые ничего другаго не читали, кромѣ французскаго, ничему другому не учились, какъ только по французски. Убѣждать ихъ напрасно: они отживутъ свой вѣкъ, какъ его начали и какъ его продолжаютъ. Чтобъ искоренить зло, которое не ограничивается односторонностью литературныхъ сужденій, надобно дѣйствовать не на поколѣніе, заматорѣлое въ галломаніи, а на юношество. Главное же къ тому средство — перемѣна учебной нашей методы:

Учиться новѣйшимъ языкамъ не только можно, да и похвально; но французскому оставаться у насъ классическимъ такъ, какъ онъ былъ до сихъ поръ, это значитъ тоже, что убивать природныя наши способности, и доколѣ это продолжится, мы будемъ оставаться въ сущемъ младенче-

ствѣ на поприщѣ ученія. Ни одна изъ новѣйшихъ литературъ не усовершенствовалась отъ подражанія новѣйшимъ же: всѣ онѣ, безъ изъятія, почерпнули красоты свои въ единственномъ и неизсякаемомъ источникѣ всего изящнаго — у грековъ и римлянъ. Для того и намъ пора бы приняться за настоящее дѣло, и потому я смѣло скажу и всегда говорить буду, что пока мы не будемъ учиться, т. е. посвящать все время перваго возраста, отъ 7 до 15 лѣтъ, на изученіе греческаго или, по крайней мѣрѣ, латинскаго языка, вмѣстѣ съ русскимъ, основательно, эстетически, — до тѣхъ поръ мы, большая часть толпы, будемъ не говорить, а болтать, не писать, а лишь марать бумагу.

Представленныя нами сужденія Муравьева-Апостола не удивять теперь никого, по своей общеизвѣстности. Но они имѣли достоинство важной и смѣлой новизны, за пятьдесятъ лѣтъ до нашего времени. Тогда нельзя было назвать ихъ азбукой науки. Тогда и въ стѣнахъ московскаго университета передавалось слушателямъ почти тоже самое, что журнальная критика принимала въ основу своихъ приговоровъ о литературѣ. Сохацкій и Мерзляковъ, руководители юношества въ изученіи изящнаго и въ способахъ его оцѣнивать, не смотри на основательное знаніе древнихъ языковъ и слѣдовательно на возможность непосредственнаго знакомства съ классическими образцами, не могли вполнѣ отрѣшиться отъ французскаго устава поэзіи. Сохацкій старался соединять этотъ уставъ съ воззрѣніями Винкельмана, а Мерзляковъ съ психологической теоріей Эшенбурга. Оба они были эклектики. Устранивъ односторонность французской теоріи, они не замѣнили ее другимъ началомъ, положительно-твердымъ и единымъ. На ихъ взглядъ, новыя движенія словесности, выступавшія изъ круга, обведеннаго Гораціемъ и Буало, были болѣзненными припадками времени. И тотъ и другой съ неудовольствіемъ относились къ романтическому направленію. Послѣдній не признавалъ и поэзіи Пушкина, потому только, что не могъ подогнать ее подъ мѣрку французскихъ понятій объ искусствѣ. Позднѣе писемъ Муравьева, рѣшая вопросъ: «отъ чего такъ долго и постоянно опера «Мельникъ» (Аблесимова) удерживается на театрѣ?» Мерзляковъ высказалъ свою преданность разъ навсегда усвоенной теоріи. Успѣхъ «Мельника» объясняется не тѣмъ, что она «сочинена въ русскихъ нравахъ», какъ тогда говорили, а тѣмъ, что эта піеса, подобно всѣмъ лучшимъ трагедіямъ и комедіямъ, вполнѣ оправдываетъ законы Аристотеля, наставленія Горація и Буало, и вообще правила науки о вкусѣ. Поэтому Муравьевъ-Апостолъ не ошибался, полагая, что мнѣнія Археонова будутъ сочтены ересью, которая напугаетъ даже умныхъ людей, не только тѣхъ, у кого «пружины языка проведены къ ушамъ безъ всякаго сношенія съ мозгомъ.»

Опасеніе его оправдалось. Очень умный человѣкъ, Д. В. Дашковъ, разсердился на Муравьева, какъ видно изъ письма его къ кн. П. А. Вяземскому (25 іюня 1814 г.): «Письмо о московскомъ праздникѣ (¹) тотчасъ было мною послано къ издателю Сына Отечества и, по увѣдомленію его, уже напечатано. Каково напечатано, ради Бога у меня не спрашивайте: со времени *проклятаго письма Муравьева о словесности*, отъ котораго точно у меня желчь разлилась въ первый разъ, я не беру въ руки его пасынка» (т. е. Сына Отечества) (²). Что же такъ сильно взволновало Дашкова? Сужденія Муравьева не могли казаться ему ни софистическими, ни небывалыми въ нашей литературѣ. Задолго до «писемъ въ Нижній Новгородъ», Карамзинъ говорилъ о французской трагедіи тоже самое, что они говорятъ о французской словесности вообще: Корнель, Расинъ и Вольтеръ поставлены имъ ниже Шекспира и Шиллера. Объяснять неудовольствіе Дашкова единственно духомъ партіи едва ли будетъ справедливо: члены «Бесѣды» до того времени большею частію возбуждали въ немъ смѣхъ, но не портили его крови. Была, слѣдовательно, иная причина непріятнаго чувства, произведеннаго письмомъ о словесности. Эта причина, какъ я думаю, заключается въ отношеніи писемъ къ литературному дѣлу Карамзина и его послѣдователей. Изъ критическихъ замѣтокъ Муравьева оказывается, что онъ не признавалъ полезнаго значенія ни за новымъ слогомъ, ни за новымъ направленіемъ литературы. То и другое почиталъ онъ явленіемъ поверхностнымъ, ложнымъ въ своемъ началѣ, вреднымъ въ послѣдствіяхъ, и потому относился къ нему съ видимымъ равнодушіемъ, безъ всякаго уваженія. Ни разу не упомянулъ онъ писателя, котораго имя уже сдѣлалось общеизвѣстнымъ: только Державинъ заслужилъ почетнаго сравненія съ богатыремъ. Большинство критиковъ утверждало, что Карамзинъ создалъ новую литературную рѣчь, а «Письма» доказываютъ, что книжнаго языка у насъ еще нѣтъ и до тѣхъ поръ не будетъ, пока мужчины не получатъ классическаго воспитанія, а женщины не научатся новѣйшимъ языкамъ для того только, чтобы читать на нихъ. По мнѣнію Муравьева, нашей словесности нужно не то, что далъ ей

¹) Письмо изъ Москвы (описаніе праздника, даннаго въ Москвѣ 17 мая 1814 г., по случаю занятія Парижа русскими войсками, съ приложеніемъ пѣтыхъ въ этотъ вечеръ стихотвореній кн. П. А. Вяземскаго и В. Пушкина). Сынъ От. 1814, № 26.

²) Рус. Арх. 1866, № 3.

Карамзинъ: ей нужна классическая основа, то есть изученіе древнихъ языковъ, чтеніе греческихъ и римскихъ писателей, подражаніе имъ въ собственныхъ сочиненіяхъ. Такого фундамента не могъ заложить Карамзинъ, чуждый классическаго образованія. Еще меньше слѣдовало возлагать надежду на силы его послѣдователей, большею частію получившихъ одностороннее французское образованіе. Вотъ что думалъ Муравьевъ, подкрѣпляя свои мысли доводами, которые выказывали въ немъ человѣка многознающаго, не дилетанта въ наукѣ, а дѣйствительно ученаго. Съ такимъ соперникомъ трудно было бороться: отсюда раздраженіе.

Основныя мысли Муравьева-Апостола вошли въ «Разсужденіе Гнѣдича о причинахъ, замедляющихъ успѣхи нашей словесности» (1814) ([1]). Авторъ его рѣшаетъ вопросъ: «отъ чего, при такомъ множествѣ выходящихъ у насъ книгъ, мы такъ мало видимъ хорошихъ переводовъ, даже выборовъ для нихъ хорошихъ»? Конечно, не отъ скудости и слабости дарованій, на которыя русскій человѣкъ не можетъ жаловаться, а отъ того, что мы дурно пользуемся дарами природы, т. е. не развиваемъ ихъ ученіемъ, не упражняемъ искусствомъ. Что же надобно изучать для успѣховъ нашей словесности, гдѣ искать правилъ для искусства хорошо выражать свои мысли? «Отъ временъ Рима и до нашихъ, во всѣхъ странахъ Европы и у насъ, образованіе языка тогда только начиналось, когда писатели знакомились съ языками древнихъ; а успѣхи тамъ только быстрѣе возрастали и словесность народную возвысили до совершенства, гдѣ писатели основательно изучали творенія древнихъ, признанныя образцами превосходнаго первымъ законодателемъ вкуса: «читайте образцы греческіе, читайте ихъ денно и нощно, говоритъ Горацій». Указавъ единственныя пособія, образующія и совершенствующія писателя, Гнѣдичъ съ горестью замѣчаетъ, что изученіе древнихъ языковъ у насъ или вовсе не существуетъ, или находится въ крайнемъ небреженіи. Отсюда, по его мнѣнію, и происходитъ печальное состояніе русской словесности: поэтическія свѣдѣнія нашихъ молодыхъ литераторовъ ограничиваются миѳологическимъ словаремъ, а научныя—словаремъ историческимъ; французская словесность служитъ для нихъ исключительнымъ образцомъ. А если бы древность, общая наставница просвѣщенныхъ народовъ, была и нашею наставницею,—мы спаслись бы отъ многихъ заблужденій Вандаловъ (французовъ), омрачившихъ Европу, отъ варварскаго вкуса Готтовъ, обременившаго ея поэзію

[1]) Читано 2 января 1814 г. въ торжественномъ собраніи И. П. Библіотеки, по случаю ея открытія. Напечатано въ «Описаніи этого открытія» и отдѣльной брошюрой.

варварскими цѣпями; не бряцали бъ великолѣпныхъ одъ своихъ на готическихъ лирахъ; не основывали бъ своей эпопеи на скудномъ зданіи поэмы французской; не дѣлали бъ нашего театра зрѣлищемъ однихъ любовныхъ приключеній; не дали бъ иностранцамъ упредить насъ глубокими познаніями и изысканіями нашей исторіи. Конечный выводъ «Разсужденія» тождественъ съ главнымъ тезисомъ Муравьева: словесность наша никогда не достигнетъ совершенства, если не будетъ у насъ классическаго ученія и если въ обществахъ мы не станемъ говорить по-русски.

Гнѣдичъ былъ откровеннѣе Муравьева-Апостола въ указаніи недостатковъ или темныхъ пятенъ нашей словесности. «Письма въ Нижній-Новгородъ» ратуютъ противъ пристрастія русскихъ къ французскому языку и французскимъ писателямъ, а «Разсужденіе», кромѣ того, затрогиваетъ и другія направленія современной литературы, видя въ нихъ свидѣтельства дурнаго вкуса. На ряду съ развращенною философіей (XVIII вѣка), оно осуждаетъ метафизическую поэзію, заимствованную у нѣмцевъ, приторную чувствительность и меланхолію—болѣзни новыхъ стихотворцевъ, и подобныя тому «странности, не имѣющія ни роду, ни имени, занятія праздности и лѣни, которыя внушаетъ дурной вкусъ, но которымъ прихоть и мода даютъ иногда въ обществахъ торжество кратковременное». Критика Гнѣдича могла возбудить неудовольствіе въ извѣстнѣйшихъ писателяхъ того времени. Онъ не упомянулъ даже имени Жуковскаго, который имѣлъ право принять на свой счетъ метафизическую поэзію и маланхолію. Карамзинъ не ирizнается образователемъ желаннаго средняго слога. Понятно, что нѣкоторые карамзинсты недружелюбно относились къ Гнѣдичу, какъ литератору инагó образа мыслей. Графъ Блудовъ, въ письмѣ къ Дмитріеву, замѣтилъ, что въ домѣ Олениныхъ удивляются только Гнѣдичу, какъ въ Бесѣдѣ—Шихматову, а въ Москвѣ—Мерзлякову; Жуковскій въ шутку прозвалъ Гнѣдича «гнѣдко», примѣнивъ къ его гексаметрамъ стихъ изъ «Овсянаго киселя»:

Вотъ и *гнѣдко* потащился на мельницу съ возомъ тяжелымъ.

Съ вопросомъ о важности изученія классическихъ писателей неизбѣжно соединялся вопросъ о способахъ переводить ихъ. Послѣдній разъясненъ С. С. Уваровымъ, почерпавшимъ свои доводы не изъ одного знакомства съ образцами, но также изъ нѣмецкой науки, которую онъ зналъ основательно. Состояніе современной филологіи и эстетики было ему извѣстнѣе, чѣмъ Муравьеву-Апостолу и Гнѣдичу. Онъ въ надлежащемъ свѣтѣ показалъ отношеніе формы къ идеѣ въ поэтическихъ созданіяхъ, — отношеніе, опре-

дѣляемое самою сущностью искусства. Свои мнѣнія объ этомъ предметѣ онъ высказалъ по случаю первыхъ опытовъ русскаго переложенія Иліады, предпринятаго Гнѣдичемъ. Извѣстно, что первыя шесть пѣсенъ этой поэмы, переведенныя Костровымъ, напечатаны 1787 г. Трудъ его, какъ человѣка «благоискуснаго въ красотахъ отечественной словесности», уважался многими и дѣйствительно заслуживалъ уваженія. Гнѣдичъ началъ съ 7-ой пѣсни, выбравъ для перевода, въ подражаніе своему предшественнику, александрійскій стихъ, которымъ и перевелъ четыре пѣсни съ половиной [1]. Въ 1811 г. нашлось продолженіе перевода Кострова, именно пѣсни 7, 8 и половина 9-ой [2]. Это открытіе не остановило Гнѣдича, но онъ уже сознавалъ бѣдность выбраннаго имъ стихотворнаго размѣра и невозможность передать имъ въ точности красоты подлинника, хотя и не осмѣливался прибѣгнуть къ гексаметру, почитая его несвойственнымъ русской просодіи, послѣ Тилемахиды. Сомнѣнія его были разсѣяны Уваровымъ, по настоянію котораго онъ рѣшился замѣнить однообразный шестистопный ямбъ героическихъ стихомъ грековъ. Письмо Уварова къ Гнѣдичу о греческомъ гексаметрѣ [3] содержитъ въ себѣ также умныя сужденія о слѣпомъ подражаніи нашихъ поэтовъ французамъ, благодаря которому мы усвоили не только иноземныя идеи, но даже иноземныя формы. Подражаніе идетъ отъ Ломоносова. Увлеченный общимъ въ его время предубѣжденіемъ, онъ написалъ двѣ пѣсни поэмы «Петръ Великій» шестистопными ямбами, хотя самъ, (въ «Письмѣ о правилахъ россійскаго стихотворства», наилучшею формою стиховъ почитаетъ гексаметръ. Съ тѣхъ поръ всѣ роды нашей словесности подчинились французскому вліянію: прежде чѣмъ образовался нашъ театръ, мы стали строго соблюдать правила лжеклассической трагедіи и комедіи; характеръ, постройку и стихотворную форму одъ мы заимствовали у Малерба и Руссо. Чтобы высвободиться изъ-подъ ига, необходимо знать древность. Для распространенія этого знанія существуютъ два средства: правильное изученіе древнихъ языковъ и хорошіе переводы лучшихъ классическихъ писателей. Обращаясь затѣмъ къ гексаметру, Уваровъ ставитъ общее положеніе, что версификація каждаго народа соотвѣтственна образу его мысли и генію его языка. Поэтому стихосложеніе грековъ есть одна изъ важнѣйшихъ красотъ ихъ поэзіи: каждый поэтическій родъ имѣлъ свой размѣръ, каждый размѣръ — не только свои законы и пра-

[1]) Переводъ 7-ой пѣсни изданъ отдѣльно (1809), а 8-ой нап. въ 5 кн. Чтенія въ Бесѣдѣ (1812).

[2]) Нап. въ В. Евр. 1811, №№ 14 и 15.

[3]) Чтеніе въ Бесѣдѣ, кн. 13 (1813).

вила, но, такъ сказать, свой духъ и свой языкъ. Эпопеѣ былъ предоставленъ гексаметръ—ясный, плавный, богатый измѣненіями, гармоническій. Онъ также служилъ эпическимъ стихомъ у римлянъ. Изъ новыхъ народовъ, французы, по свойству языка своего, неспособнаго къ поэзіи, принуждены были метрическую систему грековъ замѣнить другою, въ которой не расположеніе слоговъ, а число ихъ принимается въ расчетъ, и риѳма служитъ прикрытіемъ бѣдности склада. У нихъ-то явился александрійскій стихъ—совершенная противоположность гексаметру: сухой, монотонный, съ невольнымъ удареніемъ на полустишіи. «Когда вмѣсто плавнаго, величественного гексаметра, говоритъ авторъ, я слышу скудный и сухой александрійскій стихъ, риѳмою прикрашенный, то мнѣ кажется, что я вижу божественнаго Ахиллеса во французскомъ платьѣ... Прилично ли намъ, имѣющимъ изобильный, метрической просодіею наполненный языкъ, заимствовать у иноземцевъ бѣднѣйшую часть языка ихъ, просодію, совершенно намъ несвойственную?... Если нѣмцы, владѣя языкомъ весьма непокорнымъ, достигли до того, что имѣютъ хорошіе и вѣрные метрическіе переводы, зачѣмъ намъ, русскимъ, не имѣть наконецъ перевода Омера гексаметрами?» Въ возможности русскихъ гексаметровъ Уваровъ убѣждается первыми памятниками нашего стихотворства, основаннаго на весьма опредѣленномъ произношеніи *долгихъ* и *краткихъ* слоговъ: надобно только воскресить просодію этого древне-русскаго стихотворства.

Въ отвѣтѣ своемъ Гнѣдичъ изложилъ формы гексаметрическихъ измѣненій, чтобы показать превосходство эпическаго стиха древнихъ предъ александрійскимъ, и приложилъ опытъ перевода изъ 6-ой пѣсни Иліады гексаметрами ([1]). Ни этотъ опытъ, ни мнѣніе Уварова не понравились Капнисту (автору Ябеды), не знавшему, по его собственнымъ словамъ, древнихъ языковъ, да и въ новѣйшихъ не очень искусному. Въ письмѣ къ Уварову ([2]) онъ старался доказать, что гексаметръ въ русскомъ языкѣ существовать не можетъ, такъ какъ онъ долженъ непремѣнно оканчиваться спондеемъ, а спондеевъ у насъ очень мало, да и тѣ противны русскому уху. Вмѣсто слѣпаго подражанія древнимъ, онъ совѣтуетъ, для усовершенствованія русскихъ стиховъ, искать свойственнаго имъ, пріятнѣйшаго склада—въ народныхъ пѣсняхъ. Совѣтъ подкрѣпленъ переводомъ отрывка изъ Иліады размѣромъ пѣсни: «какъ

[1]) Чтеніе, кн. 3 (1813).
[2]) ib., кн. 17 (1815).

бывало у насъ, братцы, черезъ темный лѣсъ» (хореями съ дактилическимъ окончаніемъ, по образцу сказки Карамзина: «Илья Муромецъ»).

Возраженія Капниста были опровергнуты Уваровымъ (¹), который выражалъ мнѣніе, для многихъ тогда новое, но въ другихъ литературахъ, особенно въ нѣмецкой, общепринятое, какъ согласное съ понятіемъ о внѣшней формѣ поэтическихъ созданій. Уваровъ находитъ даже страннымъ защищать Гомера: это значило бы оправдывать его въ томъ, что онъ родился въ Греціи и воспѣвалъ троянскую войну. Стихосложеніе Гомерово есть совершеннѣйшій плодъ эпической поэзіи или, лучше сказать, источникъ оной, почему Аристотель и называетъ ее «повѣствующею и гексаметрами изображающею». Мнѣніе, будто мы не можемъ имѣть этого стиха потому, что у насъ нѣтъ спондеевъ, несправедливо: Уваровъ доказываетъ своему противнику, что не спондей, а дактиль есть истинная основа гексаметра, который весьма часто оканчивается хореемъ. Если и невозможно образовать настоящаго гексаметра, со всѣми отличіями, какія онъ представляетъ у древнихъ грековъ, то все же лучше пожертвовать нѣкоторою метрическою строгостью, какъ это и сдѣлали нѣмцы, нежели отказаться отъ надежды обогатить нашу просодію превосходнѣйшимъ размѣромъ, вполнѣ соотвѣтствующимъ широкому, безграничному потоку эпическаго творенія. Переходя за тѣмъ къ предполагаемому переводу Иліады размѣромъ народныхъ русскихъ пѣсенъ, Уваровъ обличаетъ несостоятельность такого намѣренія, какъ несогласнаго ни съ понятіемъ о художественномъ воспроизведеніи образцовъ (со всѣми отличіями времени, мѣста и народнаго характера), ни съ понятіемъ о самой сущности поэтическихъ твореній, въ которыхъ идея и форма составляютъ единое и нераздѣльное:

Не въ томъ дѣло состоитъ, чтобъ написать поэму съ поэмы или чтобъ сохранить впечатлѣніе, производимое чтеніемъ Омера или всѣхъ древнихъ вообще надъ нѣсколькими только читателями. Мы должны стараться утвердить впечатлѣніе, производимое чтеніемъ ихъ надъ всѣми просвѣщенными умами, слѣдственно представить *отпечатокъ* творенія Омерова въ духѣ оригинала, съ его формами и со всѣми оттѣнками, такимъ образомъ, чтобъ мы имѣли въ глазахъ не Кострова, не Гнѣдича, но Омера—Омера въ яснѣйшемъ созерцаніи его красоты, Омера въ томъ видѣ, въ какомъ онъ плѣнялъ законодателя Спарты, побѣдителя Азіи, Александрійскихъ мудрецовъ и весь, однимъ словомъ, блистательный рядъ его любителей въ древнемъ и новомъ мірѣ. Вотъ въ какомъ отношеніи могутъ древніе дѣйствовать надъ нами. Но чтобъ достигнуть сей цѣли, чтобъ распростра-

¹) Въ отвѣтѣ Капнисту (ib).

нить благодѣтельное ихъ вліяніе, необходимо нужно признать первымъ правиломъ, что *формы* въ поэзіи неразлучны съ *духомъ*; что между формами и духомъ поэзіи находится таже самая таинственная связь, какъ между тѣломъ и душою; что обоюдное ихъ вліяніе и дѣйствіе—формы на мысль, а мысли на форму — такъ тѣсны, что никакъ нельзя опредѣлить истинныхъ границъ ихъ, а еще менѣе расторгнуть ихъ союзъ, не жертвуя тою или другою. Союзъ сей въ поэзіи древнихъ еще сильнѣе, нежели въ стихотвореніяхъ новѣйшихъ народовъ. Въ греческой поэзіи всѣ формы изобрѣтены такъ счастливо, опредѣлены такъ глубокомысленно, что составъ ихъ служитъ путеводителемъ въ хранилище генія древности. Кто не чувствуетъ изящности стопосложенія Омера, Эсхила, Теокрита, Анакреона, тотъ теряетъ половину ихъ красотъ.... Если доказано будетъ, что гекзаметрами переводить намъ Омера не можно, то я бы скорѣе предпочелъ *переводъ въ прозѣ*. Омеръ въ русскомъ зипунѣ столько же мнѣ противенъ, какъ и во французскомъ кафтанѣ. Переводить Иліаду русскимъ народнымъ размѣромъ еще хуже, чѣмъ переводить александрійскими стихами: ибо сей послѣдній стихъ, по большому употребленію, принадлежитъ *всѣмъ* и занимаетъ мѣсто героическаго стиха во *всѣхъ* почти новѣйшихъ языкахъ.

Въ заключеніи письма, снова подтверждена необходимость образовать метрическую просодію, на геніи языка основанную, какъ она уже существовала въ нашемъ древнемъ стихотворствѣ: нужно только воскресить его. Наконецъ указаны способы для благоуспѣшнаго развитія отечественной словесности:

Безъ основательныхъ познаній и долговременныхъ трудовъ въ древней словесности никакая новѣйшая существовать не можетъ; безъ тѣснаго знакомства съ другими новѣйшими мы не въ состояніи обнять все поле человѣческаго ума — обширное и блистательное поле, на которомъ всѣ предубѣжденія должны бы умирать и всякая ненависть гаснуть; но безъ собственныхъ формъ, языку нашему свойственныхъ, намъ никогда нельзя имѣть истинно-народной словесности. И такъ, на изысканіе сихъ формъ мы должны употребить всевозможное стараніе.

Въ слѣдствіе споровъ между Уваровымъ и Капнистомъ, Гнѣдичъ рѣшился перевести «Иліаду» размѣромъ подлинника: онъ взялъ смѣлость «отвязать отъ позорнаго столба стихъ Гомера и Виргилія, прикованный къ нему Тредьяковскимъ». За Уваровымъ и Капнистомъ слѣдовали другіе литераторы, принявшіе участіе въ спорѣ о гексаметрахъ. Одни доказывали, что гексаметръ рѣшительно несвойственъ нашему языку и не можетъ быть замѣненъ никакимъ другимъ размѣромъ; другіе, напротивъ, утверждали, что просодія наша способна къ полному и точному воспроизведенію древняго героическаго стиха; третьи, держась средняго мнѣнія, думали, что хотя у насъ нѣтъ настоящаго гексаметра, однакожъ мы имѣемъ средства образовать стихъ, ему подобный и могущій, въ случаѣ надобности, замѣнять его.

От суждений следовало перейти къ опытамъ, которые своимъ достоинствомъ показали бы ихъ состоятельность и вѣрность. Первымъ капитальнымъ опытомъ былъ переводъ Иліады—добросовѣстный, двадцатилѣтній трудъ Гнѣдича (1784—1833), тѣмъ болѣе заслуживающій уваженія, что онъ начатъ и конченъ при обстоятельствахъ мало для него благопріятныхъ.

Переводчику предстояли большія трудности въ совершеніи задуманнаго имъ подвига.

Главнѣйшая изъ нихъ есть общая для всѣхъ поэтовъ, которые рѣшались воспроизвести Гомера на своемъ языкѣ. Истинно-изящный, художественный переводъ поэтическаго созданія обязанъ сохранить неизмѣннымъ не только его содержаніе, но и тонъ, характеръ, духъ его, опредѣляемый взаимнымъ отношеніемъ содержанія и формы. Это отношеніе должно во всей чистотѣ и ясности явиться на языкѣ перевода такимъ же, какимъ оно явилось на языкѣ подлинника. Если художественно-вѣрная передача ново-европейскаго поэтическаго произведенія, близкаго намъ по идеямъ, характеру и изложенію, требуетъ большаго искусства, то несравненно труднѣе имѣть дѣло съ твореніемъ вполнѣ народнымъ, отдаленнымъ отъ насъ на тридцать вѣковъ, изображающимъ совершенно чуждую намъ жизнь. Гнѣдичъ вѣрно сознавалъ эту трудность: онъ опредѣляетъ ее «непрерывной борьбой переводчика съ собственнымъ духомъ, съ собственною внутреннею силою, которыхъ свободу должно обуздывать на каждомъ шагу, ибо выраженіе оной было бы совершенно противоположно духу Гомера». Такое всецѣлое, никогда не выпускаемое изъ виду отрѣшеніе отъ собственной личности, или, что одно и тоже, такое всецѣлое соблюденіе объективности есть идеалъ, къ которому необходимо стремиться, но который достигается только до извѣстнаго предѣла. Большею или меньшею мѣрою предѣла и опредѣляется болѣе или менѣе удовлетворительное выполненіе задачи. Проникнуть въ духъ подлинника можно путемъ долговременнаго его изученія, даже безъ помощи высокаго поэтическаго таланта; но чтобы воспроизвести этотъ духъ въ переводѣ, одной науки недостаточно: надобно быть истиннымъ художникомъ. Къ сожалѣнію, Гнѣдичъ не владѣлъ высокимъ поэтическимъ дарованіемъ, хотя его рачительное изученіе подлинника не подлежитъ спору.

Кромѣ борьбы съ собственнымъ духомъ, Гнѣдичъ велъ еще борьбу и съ греческимъ языкомъ, съ его богатыми, разнообразными формами и оборотами. Для перевода Гомеровой поэмы необходимо было создать эпическій складъ, по возможности равносильный складу подлинника, чтобы на чуждомъ языкѣ она возбуждала въ читателѣ

тоже настроеніе, какое производила на языкѣ родномъ. Гнѣдичъ хорошо чувствовалъ и эту трудность, тѣмъ болѣе, что онъ началъ поздно изучать греческій языкъ, почему и не успѣлъ усвоить его въ совершенствѣ, но въ тоже время видѣлъ, что русскій переводчикъ найдетъ средство для побѣды надъ ней въ своемъ языкѣ — богатомъ, гибкомъ, просодическомъ, обладающемъ драгоцѣннѣйшимъ свойствомъ, особенно для перевода съ греческаго, *свободнымъ словорасположеніемъ*. «Я былъ вѣренъ Гомеру», говоритъ онъ, «и, слѣдуя умному изреченію: *должно переводить нравы, такъ же какъ и языкъ*, я ничего не опускалъ, ничего не измѣнялъ. У великихъ писателей есть такія выраженія, которыхъ сила, хорошо чувствуемая, болѣе, нежели цѣлая книга, даетъ понятіе о лицѣ, которое произноситъ ихъ, или о народѣ, который ихъ употребляетъ. Дѣлая выраженія греческія русскими, должно было стараться, чтобы не сдѣлать русскою мысли Гомеровой, но что еще болѣе—не украшать подлинника. Очень легко украсить, а лучше сказать—подкрасить стихъ Гомера краскою нашей палитры: и онъ покажется щеголеватѣе, пышнѣе, лучше для нашего вкуса; но несравненно труднѣе сохранить его Гомерическимъ, какъ онъ есть, ни хуже, ни лучше. Вотъ обязанность переводчика, и трудъ, кто его испыталъ, не легкій. Квинтиліанъ понималъ его: facilius est plus facere, quam idem (легче сдѣлать болѣе, нежели тоже) (1)».

Послѣдняя трудность—самый стихъ, гексаметръ, еще мало обработанный русскими поэтами въ то время, когда Гнѣдичъ принялся за переводъ Гомера. Извѣстно, что разсужденія Тредьяковскаго о свойствахъ героическаго метра древнихъ гораздо лучше, чѣмъ самый метръ, употребленный имъ, впервые, въ Тилемахидѣ. Въ первыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія Востоковъ представилъ опыты стихотворныхъ размѣровъ, между прочимъ и гексаметра, взятыхъ, по примѣру нѣмцевъ, съ латинскаго и греческаго. Но первенство приложенія гексаметра къ переводу древняго эпоса, равно какъ и обработка этого стиха, не имѣвшаго почти образцовъ и неустроеннаго, безспорно принадлежатъ Гнѣдичу. Поэтому онъ справедливо смотрѣлъ на Жуковскаго и Дельвига, какъ на своихъ послѣдователей, хотя и очень скромно отзывался о самомъ себѣ: «если мои собственныя усилія несчастны, по крайней мѣрѣ послѣдствія не безплодны».

Изложивъ, въ предисловіи къ своему труду, условія, при которыхъ переводъ Гомера становится вѣрнымъ и вмѣстѣ художественнымъ, Гнѣдичъ не вполнѣ ихъ выдержалъ, и потому его переводъ,

(1) Предисловіе къ Иліадѣ.

при существенныхъ достоинствахъ, имѣетъ и недостатки. Главное достоинство его—точность, не исключающая художественности, по крайней мѣрѣ въ извѣстной степени. Главный недостатокъ его—отсутствіе простоты: переводчикъ сообщилъ гомерическимъ пѣснямъ какую-то торжественность, настроилъ ихъ на риторическій тонъ, чему особенно способствовало излишнее и не всегда разборчивое употребленіе славянскихъ словъ и оборотовъ. Справедливо упрекая современное ему общество въ предвзятыхъ понятіяхъ о древности, Гнѣдичь не могъ однакожъ освободиться отъ обычнаго мнѣнія, будто искуственная важность тона есть необходимая принадлежность эпоса. Языкъ перевода, вообще крѣпкій и мужественный, иногда тяжелъ: стараясь о вѣрнѣйшемъ воспроизведеніи подлинника, переводчикъ тѣмъ самымъ повредилъ конструкціи и характеру родной рѣчи.

Великая заслуга Гнѣдича не была и не могла быть оцѣнена современною ему публикой, по недостатку знакомства съ древнею поэзіей и слѣдовательно по невозможности постигать красоты ея, даже въ средѣ литераторовъ, которые очень часто произносили имя Гомера, но большинство ихъ не читало ни Иліады, ни Одиссеи, не только въ подлинникѣ, даже во французскомъ переводѣ (¹). О нелитературныхъ кругахъ и упоминать нечего. «Древняя тьма лежитъ на рощахъ русскаго Ликея», говоритъ Гнѣдичъ: «у насъ нѣтъ еще никакихъ руководствъ къ понятіямъ справедливымъ о древности, и слѣдственно къ чтенію древнихъ писателей съ удовольствіемъ и пользою»,—не то что въ Германіи, гдѣ «изученіе Гомера такъ же тѣсно соединено съ воспитаніемъ юношества, какъ могло быть у Грековъ. Наши учители до сихъ поръ головы героевъ Гомеровыхъ ненаказанно украшаютъ перьями, а руки вооружаютъ сталью и булатомъ. И мы, ученики ихъ, оставляемые учителями въ понятіяхъ о древности, совершенно превратныхъ, удивляемся, что Гомеръ своихъ героевъ сравниваетъ съ мухами, богинь съ птицами; сожалѣемъ о переводчикахъ его, которые такими дикостями оскорбляютъ вкусъ нашъ. *Надобно подлинникъ приноравливать къ странѣ и вѣку*, въ которомъ пишутъ: такъ нѣкогда думали во Франціи и Англіи; такъ еще многіе не перестали думать въ Россіи. У насъ еще господствуютъ тѣ одно-

¹) Одинъ изъ немалыхъ тому примѣровъ—Хмѣльницкій, драматическій писатель. Онъ рѣшился прочесть Иліаду, во французскомъ переводѣ, только по настоянію своего пріятеля Катенина, человѣка образованнаго, не допускавшаго, что можно быть литераторомъ безъ положительнаго знакомства съ классическими образцами литературы. Хмѣльницкій признался ему, что онъ прочиталъ только четыре пѣсни. Скука страшная! говорилъ онъ: только и дѣло, что герои ругаются какъ извощики, да жрутъ барановъ.

стороннія литературныя сужденія, которыя достались намъ въ наслѣдство отъ аббатовъ». Равнодушіе соотечественниковъ глубоко огорчило Гнѣдича, тѣмъ болѣе, что онъ, предвидя всѣ трудности своего подвига, имѣлъ право думать, что эти трудности были имъ преодолѣны по мѣрѣ силъ и что переводъ его, при всѣхъ недостаткахъ, долженъ занять въ нашей литературѣ такое же почетное, если не высшее, мѣсто, какое занимаетъ Фоссовъ переводъ въ литературѣ нѣмецкой. Утѣшеніемъ Гнѣдичу служили одобрительные, сочувственные отзывы хотя немногихъ, но просвѣщенныхъ любителей изящнаго. Пушкинъ въ томъ числѣ поэтически выразилъ впечатлѣніе, произведенное на него чтеніемъ перевода:

Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи;
Старца великаго тѣнь чую смущенной душой.

Сказавъ о переводѣ Иліады, мы не должны забыть перевода Аристофановой комедіи: «Облака» (1821). Переводчикъ, И. М. Муравьевъ-Апостолъ, издалъ его вмѣстѣ съ греческимъ текстомъ, снабдилъ подробными историко-филологическими примѣчаніями и въ предисловіи старался объяснить причины, которыя побудили аѳинскаго комика осмѣять Сократа. Хотя вопросъ объ отношеніи комедіи къ знаменитому философу рѣшается теперь иначе, но для насъ, въ сужденіяхъ переводчика, замѣчателенъ не самый отвѣтъ, а непредубѣжденный взглядъ на классическую древность. Переводчикъ ставитъ себѣ и другимъ за правило отрѣшиться отъ обычаевъ и предразсудковъ XIX вѣка, когда идетъ рѣчь о Перикловомъ вѣкѣ, забыть современныя «условныя понятія» о театральной пристойности, не имѣющей никакого сходства съ тѣмъ, что было терпимо на театрѣ въ Аѳинахъ. Умный знатокъ и любитель древности остался вѣренъ взглядамъ, изложеннымъ въ извѣстныхъ намъ «письмахъ». Онъ постоянно держалъ на умѣ зависимость искусства отъ времени и мѣста, отъ свойствъ народа и его исторіи: «при Людовикѣ XIV Аристофанъ былъ бы Мольеромъ, точно такъ какъ Мольеръ при Периклѣ, въ Аѳинахъ, не могъ бы ничѣмъ инымъ быть, какъ только Аристофаномъ. Вмѣнимъ ли мы сему послѣднему въ порокъ, что онъ принадлежалъ таковому вѣку, а не иному?» (1).

---

1) О Мерзляковѣ см. Біографич. словарь профессоровъ Москов. университета.

О Мартыновѣ: «И. И. Мартыновъ», двѣ статьи г. Колбасина (Соврем. 1856, № 3 и 4).

О Гнѣдичѣ въ 2-мъ т. моей Истор. хрестоматіи.

О Муравьевѣ-Апостолѣ (Иванѣ Матвѣевичѣ, род. 1765, ум. 1851): Отчетъ Акад. Н. по отдѣленію русск. языка и словесности (Журн. Мин. Нар.

§ 20. **Знакомство съ поэтическою производительностью древняго и новаго міра, въ переводахъ или въ подражаніяхъ, раздвигало предѣлы нашей изящной литературы, указывая многоразличіе художественныхъ образцовъ и ослабляя пристрастіе къ французскому классицизму. Для дальнѣйшихъ ея успѣховъ необходимо было развитіе самостоятельной поэзіи, постигающей характеръ народной жизни и выражающей ее въ подлинномъ ея видѣ. Высокимъ ея проявленіемъ, равно удовлетворявшимъ и чувству народности, и другимъ требованіямъ образованнаго вкуса, были басни Крылова.**

Иванъ Андреевичъ Крыловъ (1768—1844) родился въ Москвѣ, но первые годы дѣтства провелъ въ Оренбургѣ, по службѣ отца своего, бѣднаго армейскаго офицера, извѣстнаго храброю защитой Яицкой крѣпости отъ Пугачева. Съ окончаніемъ пугачевщины, отецъ его переселился на родину, въ Тверь, гдѣ занялъ мѣсто предсѣдателя губернскаго магистрата. Ему, конечно, а не матери, не знавшей даже грамоты, Крыловъ былъ обязанъ умѣньемъ читать и писать; дальнѣйшее образованіе получилъ онъ въ семействѣ предсѣдателя уголовной тверской палаты, Николая Петровича Львова, дяди Николая Александровича. Чтеніе книгъ, оставшихся по смерти отца (1780), служило другимъ образовательнымъ средствомъ, на этотъ разъ болѣе дѣйствительнымъ, чѣмъ уроки учителя: оно возбудило интересъ къ литературѣ и стремленіе къ авторству, такъ что на пятнадцатомъ году (1782) Крыловъ написалъ оперу «Кофейница», вѣроятно, въ подражаніе одной изъ прочитанныхъ имъ піесъ. Почти одновременно съ ученіемъ началась и служба. Вынуждаемая бѣдностью, мать Крылова записала его подканцеляристомъ въ калязинскій уѣздный судъ, откуда онъ вскорѣ былъ переведенъ канцеляристомъ въ тверской магистратъ. Досужное время онъ любилъ проводить на базарѣ, площадяхъ, гдѣ происходили кулачные бои, или на плоту, куда

Просв. ч. LXXII); Воспоминанія Вигеля, ч. VI, гл. 8; Біографическій очеркъ (Рус. Старина, VII, 654—657). Письма изъ Нижняго-Новгорода содержатъ въ себѣ нѣсколько біографическихъ о немъ указаній: въ 1797 г., проѣзжая чрезъ Кенигсбергъ, былъ представленъ Канту; по прошествіи нѣкотораго времени поселился въ Гамбургѣ и сблизился искреннею пріязнію съ Клопштокомъ, жившимъ тогда въ Альтонѣ; въ Парижѣ былъ во время Наполеонова консульства. Литературные труды его: переводы двухъ комедій — Шеридана «Школа злословія», съ англ. (1794) и Аристофана «Облака», съ греч. (1821); сочиненія: ком. «Ошибки, или утро вечера мудренѣе» (1794), «Путешествіе по Тавридѣ въ 1820 г.» (1823). Изъ мнѣній его, какъ сенатора, замѣчательно мнѣніе о цензурѣ, по дѣлу Попова (Чтенія Общества Исторіи и древностей, 1859, кн. 4).

стекались водовозы и прачки; эти народныя сборища были для него школой чисто-русскаго языка и вмѣстѣ предметомъ наблюденія коренныхъ свойствъ русскаго человѣка. Въ 1782 г., мать его, желая выхлопотать себѣ пенсію и пристроить сына, отправилась въ Петербургъ ([1]). Здѣсь Крыловъ опредѣлился сперва въ казенную палату, съ жалованьемъ по 2 руб. мѣсяцъ, а потомъ (1788) въ Кабинетъ Государыни, гдѣ и оставался до конца 1790 г. Тяготясь службой, какого бы то ни было рода, онъ вышелъ въ отставку, чтобы посвятить себя литературѣ, и по смерти матери (1788) вполнѣ предался театру и журналистикѣ. Вскорѣ по пріѣздѣ въ столицу, онъ продалъ рукопись «Кофейницы» книгопродавцу, взявъ у него, вмѣсто денегъ, сочиненія Расина, Мольера и Буало, представился Княжнину, какъ автору «Дидоны» и «Росслава», а черезъ него познакомился съ актеромъ Дмитревскимъ. За «Филомелой», оставшейся въ рукописи, слѣдовали еще двѣ трагедіи: «Клеопатра» (1785), тоже не изданная въ свѣтъ, и «Филомела» (1786) — первое напечатанное сочиненіе Крылова. Отъ театральныхъ піесъ Крыловъ перешелъ къ журналистикѣ: въ 1789 г., при сотрудничествѣ Радищева, онъ издавалъ «Почту духовъ», въ формѣ переписки жителей подземнаго царства; въ 1792, съ Клушинымъ, «Зритель»; въ 1793, также съ Клушинымъ, «Петербургскій Меркурій». Всѣ эти журналы были сатирическіе, служа какъ бы продолженіемъ литературной дѣятельности того же направленія, начатой «Всякою всячиной». Покончивъ съ повременными изданіями, Крыловъ возвратился къ театру и въ теченіи двухъ лѣтъ написалъ три комедіи: «Бѣшеная семья» (1793), «Проказники» (1793), «Сочинитель въ прихожей» (1794). О литературныхъ занятіяхъ его въ слѣдующіе два года (1795 и 1796) не сохранилось свѣдѣній; извѣстно только, что онъ, прекрасно играя на скрипкѣ, участвовалъ въ пріятельскихъ концертахъ и, кромѣ того, выучился италіянскому языку, такъ что могъ свободно читать на этомъ языкѣ книги. Съ 1797 до 1801 г. жилъ онъ въ Казацкомъ (кіевской губ.), имѣніи кн. С. Ѳ. Голицына, который, вскорѣ послѣ коронаціи Павла I, впалъ въ немилость за неуваженіе къ одному изъ временщиковъ и получилъ повелѣніе не выѣзжать изъ деревни. Здѣсь онъ давалъ уроки русскаго языка сыновьямъ князя, устраивалъ концерты на скрипкѣ для домашнихъ и написалъ двѣ піесы: трагедію «Трумфъ» (забавную

---

[1]) По словамъ г. Кеневича, Крыловъ ѣздилъ въ Петербургъ, отпросясь въ отпускъ на 29 дней, а за нимъ отправилась мать его (И. А. Крыловъ. Біографическій очеркъ во 2-ой кн. Вѣст. Европы 1868 г.).

пародію на классическія трагедіи французовъ) и комедію «Пирогъ». Въ числѣ учениковъ Крылова находился также Вигель (авторъ «Записокъ»), начертавшій замѣчательную характеристику своего учителя, какъ человѣка. Когда кн. Голицынъ былъ назначенъ рижскимъ военнымъ губернаторомъ (1801), онъ взялъ съ собою и Крылова правителемъ канцеляріи. Но Крыловъ не выказалъ ни охоты, ни способности къ этой должности, отъ которой былъ уволенъ въ 1803 г., оставшись при князѣ въ качествѣ собесѣдника. Въ 1804 г., по выходѣ своего патрона въ отставку, Крыловъ воротился въ Петербургъ. Гдѣ онъ провелъ 1804 и 1805 гг., біографы его не сообщили указаній. Полагаютъ, что онъ, пристрастившись въ Ригѣ къ картамъ и выигравъ тамъ значительную сумму (до 30 тысячъ руб.), разъѣзжалъ для карточной игры по разнымъ городамъ и между прочимъ посѣтилъ нижегородскую ярмарку. На обратномъ пути изъ Нижняго Новгорода (вѣроятно въ концѣ 1805 г.) былъ онъ въ Москвѣ, познакомился съ И. Дмитріевымъ и вручилъ ему переводы трехъ Лафонтеновыхъ басень: «Дубъ и Трость», «Разборчивая Невѣста», «Старикъ и трое молодыхъ», которыя напечатаны въ 1 и 2 №№ Московскаго Зрителя, издававшагося кн. Шаликовымъ въ 1806 г. На слѣдующій годъ вышли въ свѣтъ три драматическія піесы, безъ сомнѣнія, подготовленные прежде — въ деревнѣ кн. Голицына или въ Ригѣ: комедіи — «Модная лавка» и «Урокъ дочкамъ», и опера «Илья Богатырь». 1807-мъ годомъ заканчивается первая половина жизни и дѣятельности Крылова и начинается вторая: сочинитель драмъ и журналистъ-сатирикъ становится баснописцемъ.

Какъ прежде, изъ любви къ театру, Крыловъ познакомился съ Княжнинымъ и Дмитревскимъ, такъ и теперь, воротясь въ Петербургъ, по тому же чувству сблизился съ кн. Шаховскимъ. «Драматическій Вѣстникъ», основанный послѣднимъ, украшался его баснями, первое изданіе которыхъ (въ числѣ 23-хъ) вышло въ 1809 и которыя поставили автора на ряду съ первоклассными нашими литераторами. Тѣснѣйшею дружбою и вмѣстѣ благодарностью за постоянное въ немъ участіе былъ онъ связанъ съ А. Н. Оленинымъ. Подъ начальствомъ Оленина началъ онъ снова службу при монетномъ дворѣ (1808) и продолжалъ въ Императорской Публичной Библіотекѣ помощникомъ библіотекаря по русскому отдѣленію (съ 1812 по 1841). Но служба, какъ мы уже видѣли, имѣла для Крылова значеніе не столько серьезной обязанности, сколько синекуры, доставлявшей ему возможность жить и по временамъ писать басни. «Съ этой эпохи» (съ поступленія

на службу въ Библіотеку), говоритъ Плетневъ, «началась для нашего поэта новая жизнь, тихая, беззаботная, однообразная, почти неподвижная. До 1841 г. (т.е. до выхода въ отставку) не перемѣнилъ онъ ни службы, ни литературныхъ занятій, ни даже квартиры. . . . Кромѣ выходовъ къ должности, очень легкой и неголоволомной, кромѣ выѣздовъ къ обѣду въ англійскій клубъ (гдѣ онъ послѣ игралъ нѣкоторое время по привычкѣ въ карты, а подъ конецъ только дремалъ) и на вечеръ иногда къ Оленинымъ, Крыловъ ничего не полюбилъ какъ человѣкъ общественный и образованный, какъ писатель геніальный. Онъ продолжалъ отъ скуки сочинять иногда новыя басни, а больше читалъ самые глупые романы, особенно старинные, — читалъ не для пріобрѣтенія новыхъ идей, а чтобы убить только время. Можно одну сторону найти въ этомъ хорошую. Онъ доказалъ, что мелочное честолюбіе, чиновническое или писательское, не общая у насъ слабость. Не увлекаясь никакими замыслами, онъ отсторонился отъ людей, можетъ быть, не чувствуя въ себѣ столько свѣжести силъ, чтобы съ вѣрнымъ успѣхомъ раздвигать дорогу между ними. Но онъ и тутъ не былъ позабытъ ни въ какомъ отношеніи» [1]. Дѣйствительно, въ первый годъ службы своей библіотекаремъ, Крыловъ, сверхъ жалованья, получилъ пенсію въ 1500 руб. ас. изъ Кабинета Государя, которая черезъ восемь лѣтъ (1820) была удвоена, а въ 1834 г. къ этимъ тремъ тысячамъ прибавилась новая пенсія, также въ 3000 руб., изъ государственнаго казначейства. Въ 1814 г. былъ ему пожалованъ чинъ коллежскаго ассесора, «въ уваженіе (какъ сказано въ рескриптѣ) отличныхъ дарованій въ россійской словесности». Въ 1838 г., по случаю пятидесятилѣтняго юбилея его литературной дѣятельности, была выбита медаль съ его портретомъ и открыта подписка для учрежденія стипендіи (Крыловской) на воспитаніе одного или нѣсколькихъ молодыхъ людей, смотря по суммѣ, въ какомъ либо учебномъ заведеніи; самъ юбиляръ получилъ орденъ св. Станислава 1-ой степени. Эта дѣятельность Крылова, какъ баснописца, дѣлится на два неравномѣрные періода. Первыя двѣнадцать лѣтъ (1806—1818) отличаются особенной плодовитостью: въ это время написано 140 басенъ; тогда какъ въ слѣдующее за тѣмъ двадцатипятилѣтіе (1818—1843) явилось только 58 басенъ, изъ которыхъ 39 падаютъ на два года (1825 и 1830), а на остальные 23 года приходится только 19. Самъ авторъ объяснялъ такую неравномѣрность не лѣнью и рав-

[1]) Жизнь и сочиненія Крылова.

нодушіемъ, а другою причиной. На вопросъ одной дамы, почему онъ болѣе не пишетъ басенъ, онъ отвѣчалъ: потому, что я болѣе люблю, чтобы меня упрекали, для чего я не пишу, нежели дописаться до того, чтобы спросили, зачѣмъ я пишу. По выходѣ Крылова въ отставку (1841), повелѣно было производить ему въ пенсію 5700 руб., что съ прежними шестью тысячами составило 11,700 рублей. Родныхъ у Крылова не осталось: братъ его (Левъ Андреевичъ) умеръ прежде него. За нѣсколько лѣтъ до смерти Крыловъ усыновилъ семейство крестницы своей (Савельевой), съ которымъ и жилъ на одной квартирѣ. Прибавимъ, что Крыловъ, съ самаго основанія «Бесѣды любителей русскаго слова», находился въ числѣ ея членовъ, сходясь съ Шишковымъ въ нѣкоторыхъ взглядахъ на литературу и воспитаніе, и что изъ писателей самымъ близкимъ къ нему человѣкомъ былъ Гнѣдичъ, сослуживецъ его по Библіотекѣ.

Давно утвердилось мнѣніе, что Крыловъ созналъ свое истинное призваніе только съ 1806 г., т. е. съ того времени, какъ началъ писать басни. На это обстоятельство смотрѣли какъ на новое сходство нашего автора съ Лафонтеномъ, къ которому любили его приравнивать и который прежде, чѣмъ сдѣлаться баснописцемъ, пробовалъ свои силы въ другихъ родахъ поэзіи. Сходство оказывается, однакожъ, мнимымъ. Что вѣрно по отношенію къ Лафонтену, то невѣрно по отношенію къ Крылову. Если подъ словами Плетнева: «Крыловъ родился для насъ только въ 40 лѣтъ», разумѣется художественное превосходство второй половины его литературной дѣятельности, сравнительно съ первою, то еще можно допустить справедливость остроумной замѣтки, хотя не безъ оговорки, ибо превосходнѣйшее не есть что-либо совершенно новое. Если же въ переходѣ Крылова къ баснямъ открываютъ новый родъ дѣятельности, не имѣющій съ прежнимъ близкой внутренней связи, то замѣтку надобно отбросить какъ ошибочную и остановиться на мнѣніи совершенно противоположномъ, что Крыловъ, какъ писатель, никогда не измѣнялъ себѣ. Характеръ его сочиненій — постоянно сатирическій ([1]). Сатира его мѣняла только формы, выражаясь сначала въ журнальныхъ статьяхъ и драмѣ, а потомъ уже, самымъ яркимъ образомъ, въ басняхъ, упрочившихъ за нимъ славу знаменитаго баснописца. Единство направленія доказывается, вопервыхъ, общностью предметовъ, которые интересовали Крылова

[1]) Мнѣніе это выяснено въ статьѣ Я. Грота: «Сатира Крылова и его Почта духовъ» (Вѣст. Европы 1868, кн. 3).

въ обѣ половины его авторскаго поприща, а во-вторыхъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что какъ послѣ выставлялъ онъ личные и общественные недостатки въ притчахъ, такъ и прежде, въ сатирѣ своихъ журналовъ, любилъ пользоваться притчочной формой. Ниже увидимъ, какъ зачатки нѣкоторыхъ басенъ были имъ начертаны еще въ раннюю пору его дѣятельности; позднѣе, они явились у него развитыми, полными образами, какъ художественныя произведенія. Форму басни почиталъ онъ наилучшею для цѣлей писателя. Признавая особенную силу за нравоучительными правилами, выводимыми не изъ однѣхъ басенъ, но также и изъ другихъ сочиненій, онъ говоритъ: «надлежало бы поставлять въ число благотворителей рода человѣческаго того, кто главнѣйшія правила добродѣтельныхъ поступковъ предлагаетъ въ короткихъ выраженіяхъ, дабы они глубже впечатлѣвались въ памяти». Что бы ни разумѣлъ Крыловъ подъ нравоучительными правилами, но гдѣ они могутъ быть предложены короче и выпуклѣе, какъ не въ апологахъ, и когда прочнѣе ложатся въ памяти, какъ не при чтеніи апологовъ?

Разсмотримъ же значеніе сатиры Крылова въ послѣдовательныхъ ея проявленіяхъ: сначала въ журнальныхъ статьяхъ, потомъ въ комедіяхъ и наконецъ въ басняхъ.

I. Крыловъ издавалъ три журнала: Почта духовъ (1789), Зритель (1792) и Санктпетербургскій Меркурій (1793). Первымъ изданіемъ завѣдывалъ онъ самъ, какъ его полный хозяинъ; вторымъ же и третьимъ въ сообществѣ съ Клушинымъ.

«Почта духовъ, или ученая, нравственная и критическая переписка арабскаго философа Маликульмулька съ водяными, воздушными и подземными духами», была чисто-сатирическимъ сборникомъ, при названіи котораго Крыловъ, вѣроятно, имѣлъ въ виду изданіе Ѳ. Эмина: «Адская почта или переписка хромоногаго бѣса съ Кривымъ (1779)» (¹). По преданію, Крылову принадлежатъ только 18 писемъ жителей Плутонова царства, гномовъ: Зора, Буристона и Вѣстодава (²). Въ этихъ письмахъ, первомъ опытѣ своей сатиры, двадцатилѣтній писатель обнаружилъ рѣдкія для такого возраста качества: твердую постановку нравственно-общественныхъ требованій отъ русскаго человѣка, рѣшительный тонъ и силу обличеній и значительную литературную отдѣлку. Главная тема обличеній — иностранное воспитаніе нашихъ дворянъ, которое, со-

¹) Первообразомъ же этого и подобныхъ ему изданій должно почитать Le diable boiteux, Лесажа.

²) Этимъ преданіемъ руководствовались издатели «Полнаго Собранія сочиненій Крылова». Остальныя письма, по соображеніямъ г. Пыпина, принадлежатъ Радищеву (Крыловъ и Радищевъ, В. Евр. 1865, кн. 5).

общая имъ внѣшній обликъ европейца, не только не дѣлало ихъ просвѣщенными, но и вытравляло изъ нихъ похвальныя черты отечественныхъ нравовъ. Отсюда, по мысли сатирика, взяли начало важнѣйшіе недостатки современнаго ему общества: презрѣніе къ родинѣ, ея обычаямъ и языку, безумная расточительность, легкое понятіе о бракѣ, внутренняя пустота, грубый, ничѣмъ не сдерживаемый произволъ. Щеголяя моднымъ платьемъ и французскимъ общежитіемъ, петиметры въ тоже время щеголяли и развратомъ; отъ дрянныхъ родителей происходили дрянныя отрасли, которыя, однакожъ, готовились занимать важныя мѣста въ государствѣ; роскошь падала всею своею тягостью на земледѣльческій классъ и кромѣ того причиняла страшную дороговизну въ городахъ и упадокъ отечественной торговли: «богатый помѣщикъ превращалъ свой хлѣбъ и своихъ крестьянъ въ модные товары, а французы имѣли искусство дѣлать эти товары такими, чтобы превращались они черезъ мѣсяцъ въ ничто». На ряду съ этими фактами домашней и публичной безнравственности, особенно преслѣдуемыми Крыловымъ, въ изображеніяхъ его являются: игроки, плуты-купцы, взяточники, спесивцы, съ ихъ самовеличіемъ не по заслугамъ, писатели-льстецы, скрывающіе пороки своихъ одноземцевъ и воспѣвающіе небывалыя доблести вельможъ, или гнусные сатирики, ругающіе свое отечество частію изъ тщеславія, частію изъ злорадства и т. п.

Въ сущности эта сатирическая тема не была новостью. Начиная съ Кантемира, внѣшній европеизмъ служилъ предметомъ негодованія или глумленія нашихъ писателей: Фонъ-Визинъ представилъ его въ Бригадирѣ; журналы 1769 — 74 гг. посвящали ему почти половину своихъ разсказовъ. Тоже дѣло преемственно продолжалъ Крыловъ, при которомъ сильнѣе распространились и ярче обозначились слѣдствія французскаго вліянія на русскихъ дворянъ. Но для сатириковъ первой половины царствованія Екатерины II, особенно для Новикова, эти слѣдствія составляли только одну сторону ихъ наблюдательности, и при томъ менѣе важную, чѣмъ другая сторона — грубое невѣжество старины. У Крылова отношеніе между двумя источниками общественнаго нестроенія измѣнилось: по его понятію, главное зло кроется въ невѣжествѣ новаго рода—полуобразованности, почему онъ особенно и не расположенъ къ ней. Нѣкоторыя мѣста «Почты духовъ» прямо указываютъ, что нравственность русскихъ ухудшалась по мѣрѣ ихъ равнодушія къ предкамъ. Гнѣвъ сатирика болѣе падаетъ на современныхъ родителей и дѣтей ихъ; онъ меньше касается дѣдушекъ, и бабушекъ, «скучныя предразсужденія которыхъ не занимаютъ уже

новыхъ кавалеровъ и дамъ на пути ихъ тайныхъ приключеній». Крыловъ иронически отзывается о просвѣщеніи, съ развитіемъ котораго бытъ всѣхъ сословій пришелъ въ разстройство. Въ одномъ письмѣ купецъ говоритъ: «были здѣсь варварскія времена, когда у насъ спрашивали лучшаго (товара); но *просвѣщеніе* перемѣнило такіе грубые нравы, и мы теперь нерѣдко беремъ за серебро обыкновенную цѣну, по 24 коп. и менѣе, за золотникъ, а за такой же золотникъ стали платить намъ по 120 руб.» Просвѣщеніе, измѣняя званія и названія, не ослабляетъ пороковъ и дурныхъ наклонностей, а, напротивъ, даетъ имъ большую пищу и благовидный покровъ: «въ старину плутовство было во всей своей силѣ, но какъ *просвѣщеніе* начало умножаться, то наши промышленники приняли на себя разныя имена: первостатейные сдѣлались старшинами и законниками, другіе купцами, а третьи ремесленниками и поселянами; но, перемѣняя званія, жители не перемѣнили своихъ склонностей, и плутовство никогда столько не владычествовало надъ ними, какъ послѣ сей перемѣны, такъ что наконецъ оно превратилось въ совершенный грабежъ, которому, однакожъ, даны самые честные виды».

Такое направленіе мысли въ двадцатилѣтнемъ сатирикѣ замѣчательно. Оно доказываетъ степенность не по возрасту, такъ сказать врожденное благоразуміе, которое не подкупается никакимъ блескомъ и новизной. Молодость всегда почти порывается впередъ, нерѣдко переступая въ своемъ порывѣ должную мѣру; Крыловъ, напротивъ, сколько по темпераменту и воспитанію, столько же по образу мысли, съ самаго начала объявилъ себя консерваторомъ. Къ перемѣнамъ, въ какой бы то ни было сферѣ, относился онъ равнодушно или недовѣрчиво; а если онѣ являлись съ самонадѣянностью и рѣзкостью, обнаруживая при этомъ угловатости и педантизмъ, то онъ встрѣчалъ ихъ ироніей. Охранительный, устойчивый взглядъ на вещи сводилъ его съ людьми, отличавшимися тѣмъ же направленіемъ, и разводилъ съ тѣми, въ которыхъ онъ замѣчалъ стремленіе къ чужеземной образованности. Этимъ обстоятельствомъ объясняется непріязненное отношеніе «Зрителя» къ Карамзину, издававшему въ то время «Московскій Журналъ». Цѣль Зрителя состояла въ томъ, чтобы «порокъ, представленный во всей гнусности, вселялъ отвращеніе, а добродѣтель, изображаемая во всей красотѣ, плѣняла собою читателя». Кромѣ соредактора Клушина, сотрудниками Крылова по этому журналу были: Дмитревскій (извѣстный трагикъ), Плавильщиковъ, Ѳ. Туманскій (издатель многихъ матеріаловъ по Русской Исторіи) и Н. Эминъ (сынъ издателя Адской Почты и авторъ ком. «Знатоки», имѣвшей

въ свое время успѣхъ). Независимо отъ раздраженія, возбужденнаго въ нихъ критикой Московскаго Журнала, были и другія причины ихъ неблаговоленія къ Карамзину. Они почитали себя представителями національнаго чувства, а въ Карамзинѣ видѣли представителя европеизма на французскій ладъ, противоположнаго себѣ дѣятеля. Имъ не могли нравиться нововведенія русскаго путешественника въ языкѣ и литературѣ: этотъ языкъ, по ихъ мнѣнію, искажалъ чисто-русскій складъ рѣчи несвойственными ей словами и оборотами; эта литература представила образцы сентиментализма, занесеннаго изъ чужихъ краевъ. Въ понятіяхъ о театрѣ, «Зритель» держался ложно-классическаго ученія и французскихъ образцовъ, обзывая Шекспировъ вкусъ кабацкимъ, тогда какъ Карамзинъ осуждалъ неестественность французской трагедіи, ставя Шекспира несравненно выше Корнеля, Расина и Вольтера. При томъ направленіи мысли, какое усвоилъ себѣ Крыловъ, неудивительно, что онъ стоялъ на сторонѣ Шишкова и былъ членомъ «Бесѣды», принимая участіе въ ея чтеніяхъ.

Лучшее содержаніе «Зрителя» составляютъ статьи Крылова, преимущественно: «Каибъ» (повѣсть) и «Похвальная рѣчь въ память моему дѣдушкѣ». Каибъ принадлежитъ къ разряду такъ называемыхъ восточныхъ повѣстей. Главная часть разсказа—мнѣнія визирей о томъ, какимъ бы образомъ калифу совершить путешествіе такъ, чтобы подданные не замѣтили его отсутствія. Рѣшенія этой задачи, высказанныя Дурсаномъ, Ослашидомъ, Грабилеемъ, мастерски представляютъ раболѣпство дивана передъ повелителемъ, который, только подъ своимъ смотрѣніемъ, дозволяетъ совѣтникамъ мыслить. Повѣсть содержитъ также забавныя выходки противъ «безпріютныхъ строителей храмовъ славы» (сочинителей похвальныхъ одъ) и противъ идилликовъ, изображающихъ золотой вѣкъ въ жизни поселянъ. «Похвальная рѣчь въ память моему дѣдушкѣ» иронически восхваляетъ достоинства помѣщика (какихъ въ то время было не мало), «лучшаго друга собакъ всего свѣта и сердце котораго было, такъ сказать, стойломъ его лошади». Кромѣ дарованія въ псовой охотѣ, дѣдушка «имѣлъ тысячу другихъ, приличныхъ и необходимыхъ нашему брату дворянину: онъ показалъ, какъ должно проживать въ недѣлю благородному человѣку то, что двѣ тысячи подвластныхъ ему простолюдиновъ выработаютъ въ годъ; онъ сильные подавалъ примѣры, какъ эти двѣ тысячи человѣкъ можно пересѣчь въ годъ раза два-три съ пользою; онъ имѣлъ дарованіе обѣдать въ своихъ деревняхъ пышно и роскошно, когда казалось, что въ нихъ наблюдался величайшій постъ». Описаніе, не уступая въ ѣдкости лучшимъ очеркамъ Но-

виковскаго «Живописца», превосходитъ ихъ остроуміемъ и литературной отдѣлкой. Въ «Санктпетербургскомъ Меркуріи» Крыловъ помѣстилъ двѣ сатиры: «Похвальная рѣчь наукѣ убивать время» и «Похвальная рѣчь Ермалафиду (¹), говоренная въ собраніи молодыхъ писателей». Обѣ онѣ исполнены рѣзкихъ нападеній—первая на празднолюбцевъ, вторая на бездарныхъ авторовъ.

Многія мѣста журнальныхъ статей Крылова давали чувствовать, что басня со временемъ сдѣлается любимою формою его сатиры. Идеи и образы нѣкоторыхъ басенъ вырабатывались имъ прежде, чѣмъ онъ направилъ свою дѣятельность исключительно на этотъ родъ произведеній. Что̀ прежде было отрывочнымъ представленіемъ, назначеннымъ подкрѣплять какую-нибудь мысль или разъяснять характеристику какого-нибудь лица, то впослѣдствіи получало самостоятельное значеніе и поэтическую отдѣлку. Такъ, напримѣръ, тема басни Вельможа (1835) занимала Крылова въ «Почтѣ духовъ» и въ «Ночахъ». По разсказу гнома Вѣстодава, изъ трехъ адскихъ судей — двое (Родомантъ и Эакъ) совершенно оглохли, а третій (Миносъ) невозвратно лишился ума. Чтобы не обидѣть ихъ, изъ уваженія къ ихъ долговременной службѣ, поданъ совѣтъ—«приставить къ нимъ умнаго секретаря, который бы, вмѣсто ихъ, разсматривалъ дѣла, а они подписывали бы то, что̀ онъ имъ скажетъ». Въ разсказѣ: «Ночи», «превосходительный господинъ привыкъ думать секретарскою головою, которая есть его душа, а вельможа — ея тѣло», такъ что «онъ основательно можетъ сказать въ извиненіе безпрерывнаго своего сна: духъ бодръ, но плоть немощна, т. е. секретарь рожденъ обдумывать, а я подписывать съ просонья его мысли». Первообразъ басни «Вороненокъ» (1811) находится въ разсказѣ о судейскихъ приговорахъ бѣдняку и богачу, несоразмѣрно ихъ виновности: бѣднякъ, голодомъ вынужденный украсть платокъ, былъ присужденъ къ висѣлицѣ, а богачъ, наворовавшій изъ государственной казны нѣсколько милліоновъ, оправданъ. Ясный очеркъ басни: «Слонъ и Моська» (1808), только подъ другимъ иносказаніемъ, представляютъ «Мысли философа по модѣ»: «Ничто такъ не блистательно, какъ молодой человѣкъ, когда онъ шутитъ надъ важными вещами, не понимая ихъ. При всей мелкости своего ума, онъ тогда такъ милъ, какъ болонская собачка, которая бросается на драгунскаго рослаго капитана и хочетъ его разорвать, между тѣмъ какъ онъ равнодушно куритъ трубку, не занимаясь ея гнѣвомъ. Какъ мила и забавна смѣлость этой собаченки, такъ точно забавна смѣлость ума, когда огры-

---

¹) Ермалафидъ — человѣкъ, несущій *ермолафію* или чепуху.

зается онъ на вещи, передъ которыми онъ менѣе, нежели болонская собачка передъ драгунскимъ капитаномъ». Крыловъ любилъ прибѣгать къ подобію, какъ зародышу басни, изъ котораго она легко развивается при посредствѣ фантазіи. Въ повѣсти «Каибъ» погоня кота за мышью, старающейся увернуться отъ своего врага, уподобляется погонѣ судьи за взяткой: «такъ точно челобитчикъ желаетъ увернуться отъ подарка своему судьѣ; но напрасно заговариваетъ онъ съ нимъ о дурной погодѣ и о хорошей, о старыхъ временахъ и о нынѣшнихъ; хотя бы онъ заговорилъ съ нимъ о Эмпедокловыхъ туфляхъ, взяткобратель и отъ нихъ искусно склонитъ рѣчь на то, что ему надобны деньги». Но есть у Крылова и цѣльная, развитая басня, съ нравоученіемъ, въ повѣсти Каибъ: «Славный живописецъ, плѣнясь новою мыслью, вздумалъ написать Венеру, натянулъ кусокъ полотна и съ великимъ успѣхомъ исполнилъ свое намѣреніе. Картина была драгоцѣнна и современемъ стала украшеніемъ чертоговъ славнѣйшаго императора. Множество зрителей стекалось ее смотрѣть. Полотно, на которомъ была написана Венера, вздумало, что оно причиною всѣхъ восторговъ, примѣчаемыхъ въ зрителяхъ. Паукъ, раскидывая на немъ сѣти для мухъ, вывелъ его изъ заблужденія. Ты напрасно гордишься, полотно, сказалъ онъ: еслибъ не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то ты давно бы истлѣло, бывъ употреблено на обтирку посуды».

II. Изъ драматическихъ піесъ Крылова только двѣ имѣли успѣхъ на сценѣ: «Модная лавка» и «Урокъ дочкамъ».

Преслѣдуя французское воспитаніе, какъ главную причину легкаго взгляда нашихъ дворянъ на нравственность и пристрастія ихъ къ роскоши и мотовству, Крыловъ еще въ «Почтѣ духовъ» постоянно выставлялъ тотъ вредъ, который причиняли намъ иностранные учителя и иностранныя торговки модными товарами. Одно изъ писемъ гнома Зора вводитъ читателя въ магазинъ, содержимый француженкой, которая «покупала у русскихъ купцовъ гнилые товары и завертывала ихъ въ бумаги, украшенныя французскими надписями, чтобы послѣ продавать за иностранныя». Сверхъ того, магазинъ служилъ притономъ недозволенныхъ свиданій: здѣсь щеголь Скотонравъ обольщалъ молодую дѣвушку разными подарками при содѣйствіи ея гувернантки. По уходѣ покупателей, содержательница модной лавки передаетъ своему брату, бѣжавшему изъ смирительнаго дома, правила обращенія съ жителями русской столицы и способъ выгодно пользоваться ихъ легковѣріемъ. Таже тема положена въ основаніе комедіи «Модная лавка». Другая комедія названа «Урокомъ дочкамъ» потому, что доч-

ки, за ихъ слѣпое пристрастіе къ французскому языку, получаютъ чувствительный урокъ: съ слугой проѣзжаго офицера, назвавшимся маркизомъ Глаголемъ, онѣ обращаются какъ съ французскимъ маркизомъ. Здѣсь авторъ заимствовалъ главную мысль піесы (урокъ) изъ ком. Мольера: «Les précieuses ridicules», а одну сцену изъ прежнихъ своихъ сочиненій, именно: первая сцена между Дашей и Семеномъ есть возпроизведеніе разговора между Машей и Мірабродомъ въ «Ночахъ». Плетневъ далъ справедливый отзывъ объ этихъ комедіяхъ: «хотя онѣ несравненно выше прежнихъ комедій Крылова движеніемъ и правдоподобіемъ событія, очертаніемъ характеровъ, указаніями на мѣстность и современные нравы, самымъ языкомъ, довольно естественнымъ, довольно разнообразнымъ; но въ подробностяхъ дѣйствій, въ составѣ сценъ, въ развитіи предпріятій много еще ложнаго, изысканнаго, — и отъ того цѣлое больше утомляетъ зрителя, нежели проникаетъ въ его сердце. Между тѣмъ есть здѣсь явленія, исполненныя комическаго достоинства».

Шуточная трагедія «Трумфъ» презабавно пародируетъ постройку, тонъ и языкъ лжеклассическихъ французскихъ трагедій и кромѣ того осмѣиваетъ нѣмецкій выговоръ русскихъ словъ.

III. Въ развитіи басни различаютъ нѣсколько періодовъ и въ каждомъ періодѣ особый ея характеръ, какъ видоизмѣненіе существенныхъ ея свойствъ. Къ какому періоду относятся басни Крылова? Рѣшеніе этого вопроса необходимо для ихъ точнѣйшей характеристики.

Существуютъ два мнѣнія о происхожденіи басни: одно изложено Я. Гриммомъ, въ его изслѣдованіи средневѣковаго нѣмецкаго сказанія о жизни и похожденіяхъ Лисы; другое, совершенно противоположное, высказано, по поводу этого изслѣдованія, Гервинусомъ [1]. Мнѣніе Гримма, какъ несомнѣннаго авторитета во всѣхъ случаяхъ касательно сущности и развитія естественной поэзіи, принято наукой. Оно состоитъ въ томъ, что корнемъ басни, произведшимъ всѣ ея дальнѣйшіе виды, должно почитать сказаніе о животныхъ, животный эпосъ (Thierepos). Начало животнаго эпоса лежитъ въ непосредственномъ сочувствіи человѣка къ природѣ. Онъ возникаетъ у народовъ, въ историческую эпоху ихъ существованія, по глубокой, естественной потребности ихъ духа. Разсматривая многоразличныя способности и свойства животныхъ, человѣкъ признавалъ ихъ почти подобными себѣ существами. Отсюда явились тѣ представленія и вѣрованія, которыя и теперь еще

---

[1]) Rinhart Fuchs, von Iacob Grimm, 1835. Geschichte der poëtischen Nationnal-Literatur der Deutschen, v. Gervinus.

могутъ жить среди наивно-дѣтскихъ, патріархальныхъ обществъ. Отъ однихъ животныхъ человѣкъ ожидалъ совѣта и помощи въ опасности; отъ другихъ, напротивъ, вреда и напасти. Постоянно открывалъ онъ въ нихъ сверхъ естественныя силы и суевѣрно остерегался произносить ихъ имена, замѣняя ихъ ласкательными. Обращеніе людей въ животныхъ было вѣрованіемъ, произведшимъ догматъ переселенія душъ. Безъ животныхъ не совершались нѣкоторыя жертвы, не произносились нѣкоторыя предсказанія. Они служили вожаками массъ при ихъ переселеніи съ одного мѣста на другое, помѣщались на небо для означенія созвѣздій, исполняли обязанности вѣстниковъ, предрекали счастіе или бѣдствіе. Нѣкоторымъ изъ нихъ приписывалось долголѣтіе, далеко превышавшее положенный человѣку срокъ жизни. Поэзія, овладѣвъ этими и подобными имъ представленіями, сдѣлала дальнѣйшій и послѣдній шагъ въ отношеніи человѣка къ міру животныхъ: она надѣлила послѣднихъ, созерцаемыхъ по образу человѣка, необходимымъ средствомъ ближайшаго съ нимъ общенія — даромъ членораздѣльной рѣчи. Выраженіе: «когда звѣри говорили», встрѣчающееся въ басняхъ и лишенное теперь значенія, имѣло въ первобытной баснѣ понятный смыслъ: оно указывало на близкое отношеніе людей къ животнымъ, воспоминаніе о которомъ сохранилось только въ поэтическихъ образахъ.

Изъ происхожденія и характера животнаго эпоса видно, что ему, какъ изображенію идеальной жизни животныхъ, созданному безмятежно-наивнымъ творчествомъ народа, вовсе несвойственна наклонность къ сатирѣ, будетъ ли то осмѣяніе людей вообще, или насмѣшка надъ сословіями и личностями. Сатира всегда безпокойна, исполнена намековъ, дѣйствуетъ сознательно и намѣренно, преслѣдуетъ какую-нибудь цѣль, которой и подчиняетъ самое содержаніе. Животный же эпосъ не питаетъ ни къ чему ни намѣреннаго пристрастія, ни намѣренной нелюбви; онъ спокоенъ и безстрастенъ, исходя изъ внутренняго побужденія, а не изъ предвзятой цѣли. Онъ можетъ выродиться и въ сатиру, даже личную, но только позднѣе, когда сословія политически усложняются, удаляясь отъ непосредственнаго созерцанія природы: такъ народное остроуміе, впослѣдствіи, примѣнило къ историческимъ событіямъ и лицамъ характеры и прозвища животныхъ, встрѣчающіяся въ германской сагѣ о Лисѣ. Еще меньше можно почитать животный эпосъ пародіей эпоса героическаго: искаженное, намѣренное подражаніе поэтическимъ памятникамъ принадлежитъ также позднѣйшему времени.

Равнымъ образомъ животному эпосу чуждо направленіе дидак-

тическое. Онъ не поучаетъ и не имѣетъ намѣренія поучать. И какое бы нравоученіе можно было извлечь изъ него? Не то ли, что прожорливая хитрость (въ образѣ Лисы) всегда одерживаетъ верхъ надъ глупымъ обжорствомъ (въ образѣ Медвѣдя)? Но думать такъ еще смѣшнѣе, чѣмъ думать, что пѣснь Нибелунговъ основана на ученіи, что убійство должно быть наказано, а Одиссея на томъ, что жены должны быть вѣрны мужьямъ своимъ. Конечно, животный эпосъ поучителенъ въ томъ смыслѣ, какъ поучительно каждое произведеніе поэзіи; но онъ возникаетъ не изъ желанія поучать. Нравственный урокъ добывается изъ поэтическихъ произведеній, какъ сокъ изъ винограда; но сладость винограднаго сока еще не содержитъ въ себѣ совершенно готоваго вина. Дидактическія, равно какъ и сатирическія цѣли приходятъ позднѣе, свидѣтельствуя не о свѣжести животнаго эпоса, а объ его ослабленіи и упадкѣ.

Животный эпосъ, по ученію Гримма, былъ общимъ достояніемъ народовъ индоевропейскаго племени въ доисторическій періодъ ихъ совмѣстной жизни, а съ выселеніемъ каждаго народа изъ первобытнаго отечества въ новое мѣстопребываніе становился его достояніемъ обособленнымъ. Но въ цѣльности онъ сохранился только у германцевъ: жизнь и похожденія Лисы (Рейнгарта, Рейнеке) — единственный памятникъ сказанія о животныхъ, которое у другихъ одноплеменныхъ народовъ (Индѣйцевъ, Грековъ, Славянъ), съ теченіемъ времени и въ силу различныхъ обстоятельствъ, распалось на отдѣльныя сказки о животныхъ. Поэтому въ такъ называемыхъ Езоповыхъ басняхъ Гриммъ видитъ обломки или разрозненные члены первобытной, нѣкогда цѣльной, многообъемлющей греческой животной саги. Разрозненность почитаетъ онъ свидѣтельствомъ ослабленія или порчи поэтическаго и наивнаго элементовъ народнаго эпоса. Таже гипотеза, конечно, должна быть распространена и на басни Индѣйцевъ и Славянъ. Сходствомъ басенъ у разныхъ народовъ, даже у тѣхъ, которые не имѣли между собою никакого общенія и не могли ихъ заимствовать другъ у друга инымъ путемъ въ позднѣйшее время, подтверждается мысль о первоначальномъ единствѣ животнаго эпоса.

Таковъ взглядъ Гримма, принятый большинствомъ ученыхъ, какъ наиболѣе согласный съ существомъ и развитіемъ естественной поэзіи и ея переходомъ въ поэзію искуственную. Гервинусъ, напротивъ, разсматриваетъ животную басню независимо отъ животной саги, какъ предметъ самостоятельный, приписывая баснямъ Езопа если не старшинство происхожденія, то первенство по значенію предъ нѣмецкимъ сказаніемъ о Лисѣ. Заслуга его полемики съ Гриммомъ состояла въ томъ, что онъ обратилъ вниманіе на раз-

личіе между животнымъ эпосомъ (Thierepos) и животною баснею (Thierfabel). Впрочемъ, нѣкоторые ученые, становясь на сторону Гримма, тѣмъ не менѣе находятъ нужнымъ видоизмѣнить его мнѣніе въ виду литературныхъ, не подходящихъ подъ него фактовъ. Самымъ крупнымъ фактомъ служитъ отсутствіе животнаго эпоса у Грековъ. Не смотря на разительное сходство отдѣльныхъ Езоповыхъ басенъ съ нѣмецкими, можно утвердительно сказать, что до-гомерическаго существованія басенной сокровищницы у Грековъ не было; напротивъ, всѣ свидѣтельства ручаются за относительно позднѣйшее введеніе и дальнѣйшее усовершеніе этого рода поэзіи въ Греціи. Нельзя искать животной саги въ Ватрахоміомахіи (Войнѣ мышей съ лягушками), которая ограничила дѣйствующія лица двумя видами животныхъ низшаго сорта, что явно противорѣчитъ столь необходимому для животнаго эпоса разнообразію, а введеніемъ цѣльныхъ двухъ народовъ, мышинаго и лягушечьяго, уничтожила въ особенности свойственную эпосу обрисовку характеровъ. Это—«пародія эпической формы», имѣвшая цѣлью, посредствомъ забавнаго контраста между выраженіемъ и содержаніемъ, осмѣять возвышенный полетъ героическаго гексаметра. Но какъ такая пародія могла представлять значеніе лишь въ то время, когда эпическая поэзія уже совершила свою миссію, послуживъ всестороннимъ выраженіемъ поэтическаго содержанія эллинской жизни, то Ватрахоміомахію почитаютъ позднѣйшимъ издѣліемъ, пріурочивая ее къ періоду послѣ персидскихъ войнъ, когда народный эпосъ сомкнулъ свой кругъ и дальнѣйшіе труды въ этомъ родѣ не переступали болѣе за предѣлы исключительной учености. Отсутствіе животнаго эпоса у Грековъ объясняется отсутствіемъ въ нихъ сочувствія къ природѣ, какимъ въ сильной степени одарено германское племя. Эллинскому духу, исключительно обращавшемуся къ созерцанію и представленію чисто-человѣческаго, свойственно было пренебречь міромъ животныхъ. Развитіе человѣка въ народной и государственной сферахъ, могущественно проявившись при самомъ первомъ вступленіи Грековъ въ міровую исторію, овладѣло, какъ несравненно важнѣйшее, интересомъ поэзіи до того цѣлостно и всесторонне, что она не имѣла ни времени, ни желанія витать въ сферѣ низшей. Народъ, котораго колыбельною пѣснію были Иліада и Одиссея, достигнувъ болѣе зрѣлаго возраста, не могъ, по всей вѣроятности, забавляться похожденіями Лисицы. Замѣчательно, что даже первые начатки греческой басни приписываются чужеземцамъ (фригійцамъ, ливійцамъ, сирійцамъ).

Образованіе животной басни, въ отличіе отъ сказанія о животныхъ, выводится изъ послѣдняго такимъ образомъ. Какъ въ ге-

роическомъ эпосѣ нѣкоторыя саги не были захвачены широкимъ потокомъ первостепенной пѣсни о герояхъ и существовали отдѣльно, а другія хотя и вошли въ составъ главнаго творенія, но могли на ряду съ нимъ жить и самостоятельною жизнію, такъ точно и въ эпосѣ животномъ: здѣсь находимъ многія саги, которыхъ нѣтъ въ связной повѣсти о главныхъ герояхъ животнаго царства, тогда какъ другія, въ ней находящіяся, существуютъ съ тѣмъ вмѣстѣ въ отдѣльной обработкѣ и иной формѣ. Когда уже глохнетъ въ народѣ непосредственное чувство природы, умѣющее уживаться съ звѣрями и дозволяющее звѣрямъ принимать участіе въ человѣческомъ быту, тогда этими обособленными, отдѣльно сохранившимися членами животной саги овладѣваетъ мыслительная способность, которая разсматриваетъ животное какъ существо строго отличное отъ человѣка и цѣнитъ только внѣшнее между тѣмъ и другимъ сходство. Искуственная поэзія обработываетъ сказаніе о животныхъ, согласно съ ихъ сущностью, какъ изображеніе человѣческой природы и человѣческой жизни; непосредственная истина жизни животныхъ становится подобіемъ человѣческихъ обстоятельствъ, безсознательное и безцѣльное представленіе дѣйствій между звѣрями—сознаваемымъ, къ одной цѣли направленнымъ разсказомъ; изъ саги, способной къ многоразличнымъ примѣненіямъ, хотя она нисколько не имѣла ихъ въ виду, извлекается одно опредѣленное примѣненіе; спокойное, широко разливающееся изложеніе замѣняется краткимъ, сосредоточеннымъ вокругъ одной цѣли выраженіемъ,—и животный эпосъ даетъ начало животной басни. Оба эти рода поэзіи имѣютъ свое право на существованіе, какъ естественная или народная поэзія по праву существуетъ подлѣ поэзіи искуственной. Мы уже видѣли, что греческому духу свойственно было, пренебрегши животнымъ эпосомъ, исключительно образовать такъ называемую Езопову басню. Но басня можетъ образоваться и тамъ, гдѣ есть животный эпосъ, если только культурная поэзія развилась въ достаточной степени, какъ это и видимъ въ нѣмецкой поэзіи еще XIII в.

Въ первыхъ образцахъ своихъ, басня у Грековъ, равно какъ и у всѣхъ исторически извѣстныхъ намъ народовъ, обыкновенно присоединялась къ какому-нибудь опредѣленному происшествію, изобрѣталась для поясненія обстоятельствъ, и свою цѣль имѣла не въ самой себѣ, а въ изъясняемомъ обстоятельствѣ, входила ли она въ составъ публичныхъ рѣчей и поэтическихъ произведеній, или (что, вѣроятно, бывало чаще) придумывалась для минутной потребности и обращалась въ общественной жизни. Посему понятно сужденіе Квинтиліана, что простотѣ басеннаго міра и прелести чудеснаго въ особенности свойственно убѣждать людей, стоящихъ на

*

низкой степени развитія. Какъ примѣръ, приводимый въ доказательство чего нибудь, басня представляла подчиненное значеніе: она служила намѣреніямъ поэта или оратора. Преданіе нерѣдко указываетъ дѣйствительныя событія и случаи, давшіе поводъ къ составленію тѣхъ примѣровъ, которые вообще приписываются Езопу: то удерживаетъ онъ самосцевъ отъ приговора надъ какимъ-то демагогомъ, то предвѣщаетъ дельфійцамъ небесное мщеніе, то убѣждаетъ коринѳянъ не осуждать невиннаго на казнь, то удачнымъ оборотомъ рѣчи отдѣлывается отъ насмѣшекъ грубыхъ матросовъ. Такъ какъ Езопъ вымышлялъ свои басни не для собственнаго увеселенія или для забавы другихъ, и не въ духѣ общихъ тенденцій, а на извѣстный случай, то и нельзя назвать его вымыслы поэтическими произведеніями въ собственномъ смыслѣ. Никто изъ древнихъ и не называлъ ихъ этимъ именемъ. Аристотелева піитика не упоминаетъ о баснѣ. Да и не могла она въ то время пользоваться такою почестью, ибо понятіе о поэзіи соединялось съ понятіемъ о стихотворной формѣ. Сократъ видѣлъ въ баснѣ грубый матеріалъ, изъ котораго только помощію метра и другихъ прикрасъ можетъ выдти произведеніе поэзіи. Что басня, въ первую эпоху своего существованія у Грековъ, имѣла значеніе простаго риторическаго средства, это видно и изъ того, что Аристотель и Квинтиліанъ помѣстили ее въ общей риторикѣ между пособіями для доказательствъ. И такъ, на первомъ стадіи, басня была не что иное, какъ *уподобленіе, придуманное для отдѣльнаго случая и изложенное въ формѣ разсказа, въ которомъ неразумныя существа, подобно существамъ разумнымъ, выводятся говорящими и дѣйствующими.* Басня, въ такомъ видѣ, служила выраженіемъ народной мудрости, какъ и пословица, съ тѣмъ различіемъ, что послѣдняя гораздо болѣе запечатлѣна національнымъ духомъ и въ созерцаніи предмета и въ его выраженіи. Названіе пословицы или присловья даже перешло на басню, которая въ XIII столѣтіи у нѣмцевъ называлась «Hispel» (Beispiel) или «Biwurti»—рядомъ идущая рѣчь, присловье.

Когда поводы къ составленію басенъ, приписываемыхъ Езопу, были забыты, тогда онѣ начали снабжаться общею моралью. *На этомъ стадіи, басня обратилась въ аллегорическій разсказъ, полагавшій свою цѣль въ выводимомъ изъ него нравоученіи.* Переходъ отъ перваго ея направленія къ нравоучительному легко представить. Басня, придуманная для какого нибудь факта, связывается съ нимъ предложеніемъ, къ которому онъ относится какъ нѣчто единичное къ общему. Это общее, важное какъ соединяющій членъ (tertium comparationis между фактомъ и баснею), и поставили конечною цѣлью басни. Такъ, напримѣръ, мысль, что слабый, но

уступчивый предметъ противостоитъ силѣ гораздо лучше, нежели крѣпкій, но упрямый, выразилась въ отношеніи тростника и дуба къ бурѣ. Общностью мысли, направленной къ поученію, басня перешла въ область дидактической литературы, сдѣлалась чѣмъ-то среднимъ между поэзіей и прозой. Явились сборники, заключающіе въ себѣ большею частію такія басни, изъ которыхъ извлекается опредѣленный нравственный урокъ. Древнѣйшій между ними составленъ Дмитріемъ фалерейскимъ (300 до Р. X.). Ко времени Тиверія (14—37 по Р. X.) относится переложеніе Езоповыхъ басенъ латинскими стихами; переводчикъ, Федръ, укрѣпилъ за ними, равно какъ и за своими собственными, поучительное направленіе, которое съ этихъ поръ и утвердилось въ литературѣ, такъ что нравоучительный выводъ былъ признанъ существеннымъ элементомъ басни, а самая басня элементомъ прибавочнымъ или служебнымъ, чуждымъ всякаго самостоятельнаго значенія. Дидактизмъ особенно пришелся по вкусу тому понятію о поэзіи, которое, назначая ее для пользы и забавы читателей, желало удовлетворить стремленію вѣка къ холодной морализаціи и сказкамъ, какъ это и видимъ въ византійскихъ сборникахъ Езоповыхъ басенъ. Первый по времени изъ этихъ сборниковъ составленъ монахомъ Максимомъ Планудомъ, жившимъ въ XIV в. по Р. X. Образцы басенъ исключительно нравоучительныхъ породили ложныя теоріи, а теоріи, въ свою очередь, отразились на новыхъ, соотвѣтственныхъ имъ образцахъ. Лессингъ, имѣя передъ собою византійскіе сборники, усвоилъ тотъ же взглядъ: по его опредѣленію, басня есть вымышленный разсказъ о животныхъ, въ которомъ наглядно выступаетъ общее нравоучительное положеніе. Какъ видно, въ его опредѣленіи нѣтъ ни одного признака (кромѣ вымысла), который напоминалъ бы о поэтической натурѣ басни. Басня, какъ чисто-дидактическое средство, отброшена имъ въ область нравственной философіи. Онъ низводитъ ее до примѣра и лишь краткости ради замѣщаетъ животными людей. Такимъ образомъ басня превращается въ упражненіе разума, въ школьную хрію. Лессингъ дѣйствительно и предназначалъ ее для педагогической цѣли, и чтобы не осталось на ней ни малѣйшаго слѣда поэзіи, онъ не допускалъ и употребленія стихотворной рѣчи. Его собственныя басни—не что иное, какъ умныя словопренія: звѣри лѣсовъ и пустынь говорятъ у него такъ же образованно, утонченно и остро, какъ самъ великій критикъ, ихъ создавшій (1).

1) Басни Лессинга нашли себѣ панегириста въ Гервинусѣ. Исходя изъ своей гипотезы о происхожденіи басни, историкъ нѣмецкой литературы говоритъ, что форма и направленіе, данныя баснѣ Лессингомъ, принадлежатъ ей исключительно и первоначально, что Лессингъ возвратилъ ей тотъ наивный, простой и всеобщій характеръ, которымъ отличалась она во времена Езопа.

Лессингово опредѣленіе басни съ одной стороны слишкомъ тѣсно, а съ другой слишкомъ обширно. Оно тѣсно, потому что признакомъ «нравоучительный» исключается изъ ея области множество очень хорошихъ стихотвореній, которыя во всѣ времена пользовались названіемъ басенъ, но которыя, по замѣчанію Гердера, ведутъ къ самымъ безнравственнымъ правиламъ, освящая хитрость, дерзость и насиліе. Оно обширно, потому что возвышаетъ на степень басни каждый примѣръ, придуманный для поясненія какого-нибудь нравоучительнаго положенія. Причина извращеннаго понятія заключалась именно въ томъ, что общее сужденіе, которому басня служитъ примѣромъ, обратили въ нравоученіе. Поэтому въ баснѣ, какъ стихотвореніи дидактическомъ, поучительномъ, эпическій и нравоучительный элементы распались на двѣ кое-какъ сплоченныя половины. Непоэтическая половина, какъ будто нѣчто существенное, овладѣла главнымъ мѣстомъ и сдѣлала поэтическую половину своимъ средствомъ. А такъ какъ средство поглощается цѣлью и, по достиженіи послѣдней, теряетъ всякое значеніе, то при такомъ направленіи басня не могла расчитывать на самостоятельность. Она стала самостоятельнымъ стихотвореніемъ подъ руками нѣкоторыхъ поэтовъ, противъ ихъ вѣдѣнія и воли, по инстинкту, который одерживалъ верхъ надъ тенденціей. Увлекаемый изобрѣтеніемъ повѣствованія, поэтъ углублялся въ свойства животныхъ характеровъ и въ интересъ дѣйствія съ такою любовію, что забывалъ о своей цѣли. Творческій порывъ заглушалъ предвзятую мысль, и поученіе являлось не темою для поэтическаго упражненія, а органическимъ результатомъ дѣйствія: баснописецъ не высказывалъ его явно и точно, предоставляя мыслящему читателю извлечь его вмѣстѣ съ нѣсколькими другими поученіями, или влагалъ его въ уста одного изъ дѣйствующихъ лицъ не въ видѣ нравоучительной сентенціи, а въ видѣ меткаго изреченія, соотвѣтствующаго вымыслу и прямо вытекающаго изъ характера говорящаго лица. Такимъ образомъ не басня служила сентенціи, а сентенція служила баснѣ, относясь къ ней, какъ живой членъ относится къ здоровому тѣлу. Въ басняхъ самого Лессинга, хотя онъ и не признавалъ себя поэтомъ, есть нѣчто поэтическое. Заключительной остротой (pointe) читатель наводится самъ собою, безъ помощи автора, на извѣстное нравоученіе. Это заключеніе кладетъ на басни печать замаскированныхъ эпиграммъ и удерживаетъ ихъ въ области поэзіи. Но хотя достаточно эпиграмматической силы, чтобы воззвать басню къ самобытной жизни, однакожъ одними остроумными оборотами далеко не исчерпывается ея достоинство. Гораздо пріятнѣе, если она изъ множества разноцвѣтныхъ нитей составитъ обширную ткань для

живаго дѣйствія, въ которомъ всѣ моменты соотвѣтствуютъ комическому положенію цѣлаго. Здѣсь-то во всей полнотѣ проявляется цѣнность животныхъ характеровъ, и не столько по ихъ неизмѣнности (стереотипности), сколько по ихъ односторонности. Еще древніе подмѣтили эту односторонность, противоположную многосторонности человѣческаго характера. Животныя—точно живыя карриатуры людей. Чѣмъ больше уклоняются люди отъ развитія своихъ духовныхъ способностей и вдаются въ одно изъ тѣхъ одностороннихъ направленій, которые усвоены природой отдѣльнымъ видамъ животныхъ, тѣмъ больше становятся ограниченными. Просторѣчіе клеймитъ такихъ людей меткими остротами или прозвищами, заимствованными изъ міра животныхъ (лисица, баранъ, оселъ, быкъ и т. п.). Басня же есть театръ, на которомъ эти животныя занимаютъ роли актеровъ. Въ греческой баснѣ и въ позднѣйшихъ ей подражаніяхъ достоинство поэтическаго изображенія опредѣляется постоянной относительностью животныхъ характеровъ къ человѣческому міру, яркимъ ихъ отраженіемъ на поступкахъ людей. И взаимной игрой этихъ обоихъ элементовъ (животнаго и человѣческаго) нисколько не двоится и не ослабляется самый интересъ: какъ элементы, такъ и интересъ сосредоточиваются въ одномъ пунктѣ, ибо животныя не являются простыми двойниками человѣка, но какъ бы отождествляются съ нимъ. Никому уже не приходитъ на мысль почитать животныхъ простыми уподобленіями. Хотя образы людей отражаются въ зеркалѣ поэтическаго генія съ нѣкоторымъ преувеличеніемъ, но они всегда вѣрны и соотвѣтственны ихъ индивидуальной природѣ. Эти маски кажутся намъ истиннымъ выраженіемъ того, что скрывается подъ ними, и мы смотримъ на нихъ, какъ на живыя лица. Одно только можетъ казаться намъ несообразностью—костюмъ ихъ: въ дѣйствительности, хитрецъ не носитъ рыжей шкуры и лисьяго хвоста, а хищный человѣкъ, по внѣшности, не всегда похожъ на волка. *Въ такомъ видѣ басня есть не что иное, какъ сатира въ повѣствовательной формѣ, гдѣ дѣйствующія лица замѣнены соотвѣтствующими имъ характерами животныхъ.* Это понятіе рѣдко сознавалось во всей своей чистотѣ даже самыми лучшими баснописцами, хотя они и осуществляли его въ своихъ сочиненіяхъ. Изъ грековъ только Бабрій (около 80 по Р. Х.) усвоилъ эту форму въ стихотворной обработкѣ Езоповой басни, какъ самостоятельнаго вида. Онъ не почитаетъ разсказа пустымъ украшеніемъ, а поученія—единственною сущностью, какъ Федръ. Ему нужно, чтобы читатель интересовался столько же разсказомъ и животными, выводимыми на сцену, сколько примѣненіемъ разсказа къ житейскому благоразумію или строгой морали.

Басни его отличаются безъискуственной простотой и живостью наивнаго выраженія. Одна изъ нихъ (Больной левъ) по отчетливой характеристикѣ животныхъ, по остроумно-выбраннымъ положеніямъ и юмористическому тону есть замѣчательное произведеніе, представляющее до извѣстной эпической широты доведенный матеріалъ животной саги.

Извѣстнѣйшими представителями этого направленія басни справедливо почитаются Лафонтенъ и Крыловъ. Они возвысили ее достоинствомъ обоихъ ея членовъ: разсказа и заключительной, лежащей въ основаніи его мысли. Разсказъ отличается поэтическимъ изображеніемъ, которое и само по себѣ, независимо отъ вывода, интересуетъ читателя. Событіе изъ міра животныхъ выступаетъ какъ драма. Дѣйствующія лица являются не простыми аллегоріями, годными лишь для доказательства нравственныхъ или другихъ положеній и нисколько не теряющими отъ того, если они замѣнятся отвлеченными понятіями: хищность, хитрость, глупость, и пр., но дѣйствительно-живыми существами, съ плотію и кровію, съ разнообразіемъ внѣшняго вида и движеній, каждое съ отправленіями неизмѣннаго своего характера. Значеніе вывода расширено: онъ не вращается исключительно въ средѣ поучительныхъ изреченій, хотя и можетъ принадлежать къ міру нравственныхъ идей и правилъ. Не всегда занимаетъ онъ особое мѣсто, въ концѣ или началѣ басни, но часто выговаривается въ рѣчи дѣйствующаго лица, почему и становится своего рода фактомъ, живою частію разсказа. Иногда и того нѣтъ: баснописецъ представляетъ самому читателю сдѣлать заключеніе, а самъ только даетъ поводъ къ нему своимъ разсказомъ; басня ведетъ основную мысль не за собою, а съ собою, какъ выразился Лафонтенъ (1). Наконецъ, иныя басни допускаютъ не одинъ выводъ, а нѣсколько. Въ вымышленныхъ событіяхъ изъ міра животныхъ, и Лафонтенъ и Крыловъ изображаютъ явленія нашей собственной жизни, преимущественно со стороны сатирической. Съ этой стороны знаменательно названіе «Свѣтъ», данное Штриккеромъ, нѣмецкимъ писателемъ XIII в., сборнику его басенъ, хотя онѣ, по своему направленію, исключительно моральныя. Съ большимъ основаніемъ Лафонтенъ назвалъ свои басни пространной, стоактной комедіей, разыгрываемой на сценѣ міра:

Une ample comédie à cent actes divers,
Et dont la scène est l'univers.

Въ постановкѣ на сцену и заключается поэтическій интересъ басни.

(1) Le conte fait passer la morale avec lui.

Одно изъ достоинствъ этой постановки—вѣрное изображеніе выводимыхъ тварей, согласное съ ихъ природой, напоминаетъ о родствѣ животной басни съ животнымъ эпосомъ; другія отличія принадлежатъ ей собственно, какъ произведенію искуственной поэзіи: это—ограниченность объема, юмористическій тонъ, точный прицѣлъ и вѣрный, эпиграмматическій ударъ. Не всѣ, конечно, смотрѣли одинаково на Лафонтенову басню. Лессингъ и Гриммъ, каждый съ своихъ точекъ зрѣнія, дали объ ней неблагосклонные отзывы. Лессингъ осуждалъ ее именно за поэтическія украшенія, а Гриммъ за то, что наивныя черты, вмѣняемыя въ заслугу Лафонтену, не вознаграждаютъ ни утраченной простоты животной саги, ни эпической ея полноты. Но какъ бы ни было, а то несомнѣнно, что разсказъ у Лафонтена и Крылова не представляетъ скелета, голаго доказательства какой нибудь истины; что выводъ не отсѣкается онъ него ex abrupto, въ видѣ особой статьи, шатко приставленной къ предъидущему или послѣдующему, и что басни этихъ лицъ долгое время читались людьми всѣхъ возрастовъ, тогда какъ басни Лессинга любопытны единственно, какъ опытъ критика, написанный въ подтвержденіе теоріи.

Чтобы не сбиваться въ приговорахъ о басняхъ Крылова, необходимо имѣть въ виду, что хотя онъ, равно какъ и Лафонтенъ, постоянно заботился, и по творческому инстинкту, и по сознанію, о поэтическомъ достоинствѣ разсказа, который могъ бы интересовать читателя даже помимо своего внутренняго смысла, однакожъ тѣмъ не менѣе главное вниманіе его устремлялось къ этому смыслу, а не къ оболочкѣ или средству, каковымъ служилъ разсказъ. Самъ Лафонтенъ называетъ басню (вымыселъ) тѣломъ аполога, а моральный выводъ (moralité) — его душою, показывая тѣмъ подчиненное отношеніе первой части аполога ко второй. Какъ дорожилъ моралью нашъ баснописецъ, мы уже знаемъ: въ числѣ благотворителей рода человѣческаго ставилъ онъ того, кто главнѣйшія нравоучительныя правила предлагаетъ въ короткихъ словахъ, дабы они глубже впечатлѣвались въ памяти. Понятіе Крылова о баснѣ вытекало изъ его взгляда на литературу вообще: онъ требовалъ отъ сочиненій улучшающаго, облагораживающаго дѣйствія. Между прочимъ, театръ долженствовалъ быть училищемъ нравовъ, судомъ заблужденій (¹). Притомъ же, сказали мы, басня Лафонтена и Крылова есть сатира, представляющая явленія человѣческой жизни въ формѣ повѣсти о явленіяхъ въ мірѣ животныхъ, а сатирикъ дѣйствуетъ намѣренно, съ извѣстной цѣлью, болѣе

¹) Почта духовъ, письмо XVII.

или менѣе подчиняя ей и поэтическія средства. Никто изъ развитыхъ людей временъ Лафонтена и Крылова не мечталъ наслаждаться басней, какъ дѣти сказкой. Каждый зналъ, что басня скрываетъ мысль, которая или выводится самимъ читателемъ или выговаривается авторомъ. Вышезамѣченное сходство между басней и пословицей подтверждается здѣсь снова. Кто пользуется пословицей, тотъ имѣетъ въ виду не столько ея выраженіе, какъ бы оно ни было фигурально, сколько опытъ практической народной мудрости, или правило житейскаго благоразумія, которымъ нужно подкрѣпить какую-нибудь мысль. Равнымъ образомъ, кто читаетъ басню, тотъ, любуясь поэтическою красотою вымысла, все же ожидаетъ вывода, дающаго ему знать или объ одномъ фактѣ изъ современной жизни или о цѣломъ рядѣ общественныхъ явленій. Взглядомъ баснописца на значеніе вывода, какъ «нравоучительнаго правила», объясняется многое въ его сочиненіяхъ, и между прочимъ ихъ невыгодныя стороны. Къ такимъ недостаткамъ принадлежитъ у Крылова, вопервыхъ, манера предпосылать выводъ разсказу, какъ его наглядному объясненію: заранѣе высказанная мысль даетъ возможность на половину, а иногда и вполнѣ, угадывать исходъ слѣдующей за тѣмъ повѣсти и тѣмъ самымъ подрываетъ ея интересъ. Такъ изъ перваго стиха басни «Волкъ и Ягненокъ»: «у сильнаго всегда безсильный виноватъ», ясно, что въ разсказѣ виноватымъ окажется Ягненокъ. Второй недостатокъ состоитъ въ изображеніи нѣкоторыхъ особенностей и дѣйствій, противныхъ природѣ животныхъ. Критика осуждала, напримѣръ отвѣтъ волковъ слону-воеводѣ:

Нё ты ль намъ къ зимѣ на тулупы
Позволилъ легонькій оброкъ собрать съ овецъ?

На что, спрашивала она, волкамъ тулупы и какая имъ надобность въ овечьихъ шкурахъ? Недостаткомъ должно назвать также обстановку разсказа представленіями въ духѣ французскаго классицизма, которыя Лафонтенъ находилъ пристойными какъ для удовольствія публики, такъ и для собственнаго развлеченія въ работѣ, Въ одной изъ лучшихъ своихъ басенъ: «Оселъ и Соловей», Крыловъ испортилъ картину и производимое ею впечатлѣніе слѣдующей вставкой:

Внимало все тогда
Любимцу и пѣвцу Авроры:
Затихли вѣтерки, замолкли птичекъ хоры
И прилегли стада.
Чуть-чуть дыша, пастухъ имъ любовался,
И только иногда,
Внимая соловью, пастушкѣ улыбался.

Если можно еще допустить первые четыре стиха, какъ прикрасу, хотя она и придаетъ миѳическое значеніе соловьиному голосу, то послѣдніе три непріятно вырываютъ читателя изъ русской среды и переносятъ его въ пасторальный міръ Фонтенеля и мадамъ Дезульеръ. Подобною идилліей начинается и басня Ручей:

Пастухъ у ручейка пѣлъ жалобно, въ тоскѣ,
Свою бѣду и свой уронъ невозвратимый:
Ягненокъ у него любимый
Недавно утонулъ въ рѣкѣ.

Замѣчательно, что эти строки написаны тѣмъ же самымъ перомъ, которое въ «Каибѣ» съ такимъ здравымъ смысломъ и остроуміемъ осмѣяло русскихъ идилликовъ. Чтожъ это доказываетъ? Или указанные недостатки Крыловъ не почиталъ недостатками, или смотрѣлъ на нихъ сквозь пальцы, какъ на букашекъ и козявокъ, въ сравненіи съ слономъ, на которомъ слѣдуетъ въ особенности останавливать вниманіе. Онъ могъ мириться съ ними ради меткой сатиры или нравственнаго внушенія, думая, что и читатель, по тому же расчету, отпуститъ автору кой-какія уклоненія отъ выдержанности или неестественности. Конечно, неприлично волкамъ просить себѣ тулуповъ на зиму, когда природа и безъ того одѣла ихъ теплыми тулупами; но развѣ не было у насъ такихъ воеводъ, для которыхъ резоны вопіющей нелѣпости имѣли силу крайнихъ, добросовѣстныхъ убѣжденій? Чтобы рельефнѣе выставить «мудрость» подобныхъ администраторовъ, Крыловъ рѣшился, въ докладѣ волковъ, приписать имъ потребность, несогласную съ ихъ природой. Пускай въ разсказѣ о соловьиномъ пѣньѣ закралось аркадское освѣщеніе, но этотъ оселъ, отъ позы своей до изреченнаго имъ приговора, есть чисто-русскій оселъ, въ тупой самоувѣренности почитающій себя знатокомъ, судьею и меценатомъ. Правда и то, что начало басни «Ручей», по идиллическому тону, расходится съ слѣдующимъ за тѣмъ разсказомъ; но Крыловъ направлялъ разсказъ къ заключенію, указывающему на быструю перемѣну въ людяхъ съ возвышеніемъ ихъ общественнаго мѣста:

Какъ много ручейковъ текутъ такъ смирно, гладко,
И такъ журчатъ для сердца сладко
Лишь только отъ того, что мало въ нихъ воды!

Это заключеніе и было цѣлью басни, своимъ значеніемъ покрывавшее «кудрявый складъ» первыхъ стиховъ.

Указавъ мѣсто, занимаемое баснями Крылова въ исторіи басни, мы должны теперь разсмотрѣть ихъ предметы или темы. Этимъ разсмотрѣніемъ опредѣлится ихъ общественное значеніе, равно и

взгляды автора на тѣ явленія, по поводу которыхъ онъ принимался за перо. Такъ какъ онъ приступилъ къ новой дѣятельности съ понятіями, твердо сложившимися и достаточно заявленными въ комедіяхъ и журналахъ, то она сохранила прежнее, консервативное направленіе. Слѣдовъ внутренней непослѣдовательности также трудно найти въ его басняхъ, при сличеніи однѣхъ съ другими, какъ и между его баснями съ одной стороны и прежними сочиненіями съ другой. Отсутствіе противорѣчій происходило не отъ старанія оставаться вѣрнымъ самому себѣ, а отъ трудности быть себѣ невѣрнымъ. Крыловъ не испытывалъ по этому поводу никакого умственнаго насилія или внутренняго раздора. Дѣло дѣлалось легко и естественно, безъ спора съ убѣжденіями и чувствами.

На первомъ планѣ слѣдуетъ поставить басни, вызванныя мыслію о воспитаніи, которому авторъ и прежде посвящалъ большую часть своихъ сужденій, связывая въ нихъ воспитательный вопросъ съ вопросомъ о патріотизмѣ и народной нравственности. Сюда относятся: Воспитаніе Льва (1811), Крестьянинъ и змѣя (1813), Бочка (1814) и Кукушка и Горлинка (1817). Самъ Крыловъ придавалъ этимъ баснямъ особенную важность, что доказывается серьезнымъ, строго-внушительнымъ тономъ ихъ наставленій, прямо обращенныхъ къ родителямъ:

Отцы, понятно ль вамъ, на что здѣсь мѣчу я?...
(*Крестьянинъ и Змѣя*).
Старайтесь не забыть, отцы, вы басни сей.
(*Бочка*).
Отцы и матери! вамъ басни сей урокъ.
(*Кукушка и Горлинка*).

Въ своихъ совѣтахъ баснописецъ выставляетъ необходимость національнаго воспитанія и личнаго родительскаго надзора за дѣтьми, на ряду со вредомъ, приносимымъ юношеству иностранными наставниками и наставницами. Басня «Крестьянинъ и Змѣя» явилась вскорѣ послѣ войны съ Наполеономъ и какъ бы напоминаетъ русскимъ, что у нихъ коротка память золъ, которые онъ причинилъ нашему отечеству: французы, по прежнему, находили себѣ радушный пріемъ и выбирались въ руководители умственнаго и нравственнаго образованія дѣтей. «Бочка» представляетъ слѣдствія вредныхъ ученій, которыми съ юныхъ дней напитывается русскій человѣкъ. Въ чемъ состоятъ эти ученія, авторъ не высказалъ: онъ только обратилъ на нихъ вниманіе родителей. Предположеніе, что подъ ними разумѣется мистицизмъ, не можетъ быть подкрѣплено исторіей: мистицизмъ развился позднѣе 1814 г. и притомъ усвоивался не въ школѣ и не въ домашнемъ воспитаніи, а по выходѣ

изъ школы и семейства при условіяхъ извѣстной самостоятельности въ характерѣ и въ жизни: развѣ возможно быть мистикомъ дитяти или учащемуся юношѣ? Вреднымъ ученіемъ Крыловъ, безъ сомнѣнія, называлъ образъ мыслей, передаваемый молодому племени тѣми же иностранцами. Смыслъ басни: «Воспитаніе Льва» показываетъ, чему должно обучать наслѣдниковъ престола:

. . . Важнѣйшая наука для царей—
Знать свойство своего народа
И выгоды земли своей.

Эта наука обязательна для каждаго гражданина и есть не что иное, какъ національное образованіе. Не безъ основанія думаютъ, что авторъ своею баснею намекалъ на неправильное образованіе Императора Александра I, которое бабка его, Екатерина Великая, поручила женевцу Лагарпу, человѣку благороднаго образа мыслей, но не знавшему Россіи ([1]).

За баснями, выражающими понятія о воспитаніи, ставимъ басни, предметъ которыхъ — обличеніе невѣжества. Таковы: Пѣтухъ и жемчужное зерно (1809), Мартышка и очки (1815), Свинья подъ дубомъ (1825) и Голикъ (1825). Хотя первая изъ нихъ есть подражаніе Федровой или Лафонтеновой, но Крыловъ расширилъ ея значеніе: латинскій баснописецъ примѣнилъ свой разсказъ къ тѣмъ лицамъ, которые не цѣнили его басенъ; французскій—къ людямъ, ничего не смыслящимъ въ ученыхъ драгоцѣнностяхъ (рѣдкихъ манускриптахъ); Крыловъ разумѣлъ невѣждъ вообще:

Невѣжи судятъ точно такъ:
Въ чемъ толку не поймутъ, то все у нихъ пустякъ.

Въ «Мартышкѣ и очкахъ», невѣжда не только называетъ драгоцѣнную или полезную вещь пустою, потому только, что она ему ни на что не годится, но и дурно отзывается объ ней;

А ежели невѣжа познатнѣй,
Такъ онъ ее еще и гонитъ.

«Свинья подъ дубомъ» есть образъ невѣжды, который, будучи не въ состояніи цѣнить науки и ученые труды, бранитъ ихъ,

Не чувствуя, что онъ вкушаетъ ихъ плоды.

Невѣжественное отношеніе къ наукѣ представлено также въ «Голикѣ», что видно изъ толкованія этой басни:

Бываетъ столько же вреда,
Когда

[1]) Кеневичъ: Примѣчанія къ баснямъ Крылова.

Невѣжда не въ свои дѣла вплетется
И поправлять труды ученаго возьмется.

Преслѣдуя невѣжество, Крыловъ, казалось бы, долженъ былъ восхвалять просвѣщеніе. Но такихъ басенъ у него нѣтъ, а есть другія, выставляющія, напротивъ, вредъ или смѣшныя стороны просвѣщенія. Не могъ онъ, конечно, не знать важности науки, которую самъ же защищалъ противъ неблагодарныхъ или сильныхъ невѣждъ. Значитъ, та образованность, что развилась передъ его глазами въ нашемъ обществѣ, была ему не по вкусу. Чѣмъ же она ему не нравилась? Или какая образованность ему нравилась? Баснею «Червонецъ» (1812) доказывается слѣдующая «святая истина»:

Полезно ль просвѣщенье?
Полезно, слова нѣтъ о томъ;
Но просвѣщеніемъ зовемъ
Мы часто роскоши прельщенье,
И даже нравовъ развращенье.
Такъ надобно гораздо разбирать,
Какъ станешь грубости кору съ людей сдирать,
Чтобъ съ ней и добрыхъ свойствъ у нихъ не растерять,
Чтобъ не ослабить духъ ихъ, не испортить нравы,
Не разлучить ихъ съ простотой,
И, давши только блескъ пустой,
Безславья не навлечь имъ вмѣсто славы.

Ясно, о какомъ просвѣщеніи здѣсь говорится. Это—давно извѣстная намъ наружноевропейская образованность, пріобрѣтавшаяся русскими въ ущербъ ихъ народному и человѣческому достоинству. Крыловъ имѣлъ полное право отвергнуть это мнимое и вредное просвѣщеніе: образъ его мыслей раздѣляли съ нимъ всѣ благонамѣренные люди. Но кромѣ лже-просвѣщенія, ослаблявшаго народное чувство, портившаго нравы, отлучавшаго отъ доброй простоты и навлекавшаго безславье, развивалось у насъ, много или мало, и другое, достойное симпатій патріота: московскій университетъ продолжалъ свою полезную дѣятельность, университеты новооснованные доставляли возможность провинціальному юношеству получать высшее образованіе, число гимназій и другихъ учебныхъ заведеній увеличивалось, законъ 1809, хотя и насильственнымъ образомъ—приманкою чиновныхъ привиллегій,—побуждалъ дворянъ добиваться университетскаго аттестата, литература представляла не мало явленій, ручавшихся за ея успѣхъ. Баснописецъ не могъ не знать фактовъ современнаго ему, передъ его глазами происходившаго образовательнаго движенія: почему бы не отнестись къ нимъ сочувственно? Развѣ опасность отъ поверхност-

ной, внѣшней подражательности европейцамъ была до того велика, что заслоняла передъ нимъ добрыя начинанія и ходъ истиннаго образованія? Или и это послѣднее онъ признавалъ опаснымъ?... Крыловъ, какъ видно изъ письма къ нему Оленина (¹), долго занимался вопросомъ о пользѣ истиннаго просвѣщенія и пагубныхъ слѣдствіяхъ суемудрія. Обращикомъ его воззрѣній на то и другое можетъ служить басня «Водолазы» (1813). Какого-то царя тревожило страшное сомнѣніе:

Не болѣе ль вреда, чѣмъ пользы отъ наукъ?
Не разслабляетъ ли сердецъ и рукъ
Ученье?
И не разумнѣе ль поступитъ онъ,
Когда ученыхъ всѣхъ изъ царства вышлетъ вонъ?

Сомнѣнье царя разрѣшилъ пустынникъ притчею о рыбакѣ и троихъ его сыновьяхъ. Бросивъ скудный отцовскій промыселъ, они задумали добывать жемчугъ. Одинъ изъ нихъ, лѣнивый, сбиралъ лишь тотъ жемчугъ, что волной выбрасывало ему на берегъ; другой, умѣя выбирать глубину себѣ по силамъ, отыскивалъ жемчугъ на днѣ и всечасно богатѣлъ; третій, томимый алчностью къ сокровищамъ, пустился въ открытое море, гдѣ и нашелъ свою смерть. Отсюда заключеніе:

Хотя въ ученьи зримъ мы многихъ благъ причину,
Но дерзкій умъ находитъ въ немъ пучину
И свой погибельный конецъ,
Лишь съ разницею тою,
Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою.

И такъ Крыловъ не противъ наукъ: онъ только требуетъ ученья по силамъ человѣку, умѣреннаго, срединнаго между невѣжествомъ, происходящимъ отъ лѣности, и глубокимъ, пучиннымъ знаніемъ, или всезнаніемъ, происходящимъ отъ дерзости ума и ведущимъ, по словамъ пустынника, къ гибели. Съ какой стороны ни судить о притчѣ, она оказывается несостоятельною, построенною на такомъ сравненіи, которое, по французской поговоркѣ, ничего не доказываетъ. Алчность къ пріобрѣтенію матеріальныхъ богатствъ нельзя уподоблять жаждѣ умственныхъ изслѣдованій, глубины знанія. Въ стремленіи къ истинѣ, умъ не можетъ остановиться на серединѣ. Врожденная, совершенно законная пытливость духа влечетъ человѣка нескончаемо и безгранично, хотя бы за это влеченіе онъ жертвовалъ жизнью или навсегда утрачивалъ счастіе, какъ юноша въ Шиллеровомъ стихотвореніи: «Покрытый истуканъ

¹) Письмо помѣщено въ Описаніи торжественнаго открытія И. П. Б. 1814 г.

въ Сансѣ». Эта пытливость есть столько же прирожденное намъ свойство, сколько и необходимое условіе нашего совершенствованія, почему и нельзя сказать, будто водолазъ Крылова «погибаетъ отъ того, что рѣшился на дѣло, противное природѣ человѣка» ([1]). Если же на притчу пустынника смотрѣть по отношенію ко времени ея появленія, то ее по малой мѣрѣ слѣдуетъ назвать несвоевременною и неумѣстною. Мы и теперь еще не можемъ похвалиться успѣхами въ любомудріи: если любомудріе—зло, то оно и теперь у насъ въ большомъ недостаткѣ, а не въ большомъ излишкѣ. Разумѣется, и предки наши, въ первую половину царствованія Александра I, не до такой степени погружались въ знанія, чтобы слѣдовало удерживать ихъ рвеніе; напротивъ, было бы благоразумнѣе и патріотичнѣе возбуждать въ нихъ охоту къ умственнымъ трудамъ, которымъ очень немногіе посвящали свое время. Мнѣніе, что Крыловъ, по существенному отличію своего таланта, ко всему относился не иначе, какъ критически, можетъ оправдывать другаго писателя, а не нашего, который такъ высоко цѣнилъ нравоучительные выводы и цѣлью авторской дѣятельности ставилъ пользу согражданъ. Такой писатель и при выборѣ предметовъ для сатиры и въ самой сатирѣ обязанъ руководствоваться не однимъ естественнымъ позывомъ таланта, но и взглядомъ на литературу, имъ же самимъ высказаннымъ. Въ неумѣньѣ на первыхъ порахъ приняться за хорошее дѣло, или въ неловкости, съ какой принимаются за него новички, и въ происходящихъ отсюда комическихъ сценахъ, онъ не дозволитъ себѣ видѣть уже крайность зла и не замѣчать начала добра; иначе сатира нанесетъ вредъ самымъ уважительнымъ стремленіямъ общества. Настроеніе сатирика сообщится читателямъ, которые, ради нелѣпостей и неудачъ, обнаруживаемыхъ при вступленіи въ неизвѣданныя дотолѣ области, сочтутъ и послѣднія нелѣпостью. Къ числу такихъ областей принадлежала въ нашемъ обществѣ наука. Въ старину запрещали читать Библію, потому-де что на этомъ чтеніи многіе сошли съ ума; при Ломоносовѣ превратные толкователи слова Божія вооружались противъ изслѣдователей, желавшихъ проникнуть въ тайны естества; и за послѣдніе годы царствованія Александра слылъ, по выраженію Грибоѣдова, опаснымъ мечтателемъ тотъ, кто умъ свой, алчущій познаній, вперялъ въ науки. Крыловъ, можетъ быть незамѣтно для него самого, роднился съ исчисленными здѣсь, старыми и новыми, противниками ученія, почему и сѣтовали на него образованнѣйшіе изъ его современниковъ,

---

[1]) Примѣчанія къ баснямъ Крылова, г. Кеневича, стр. 119.

какъ литераторы, такъ и нелитераторы. По мнѣнію г. Кеневича, Крыловъ указываетъ въ «Водолазахъ» на вредныя послѣдствія увлеченія не истинною, а ложною идеей, говоритъ о политическомъ и религіозномъ вольнодумствѣ, какъ «пагубномъ суемудріи» и причинѣ народныхъ бѣдствій ([1]). Но мы уже замѣтили, что исканіе глубочайшихъ истинъ вовсе не противно, а на оборотъ—свойственно природѣ человѣка, и потому не можетъ быть относимо къ ложнымъ идеямъ или ложнымъ увлеченіямъ. А если бы и такъ, то ложныя идеи не одно и тоже съ глубокими идеями и вольнодумство не одно и тоже съ глубиною мудрости, слѣдовательно по малой мѣрѣ выходитъ, что аллегорическій образъ, взятый баснописцемъ, не соотвѣтствуетъ его мысли. Остается третья, по моему мнѣнію, ближайшая къ истинѣ точка зрѣнія на басню «Водолазы». Источникъ ея въ равнодушіи автора къ знанію, какъ знанію, независимо отъ его практическихъ надобностей, которыя онъ цѣнилъ по преимуществу и даже исключительно. Тяжелый на подъемъ, онъ и въ другихъ не одобрялъ качествъ, противоположныхъ своей собственной природѣ. Сравнивая себя, какъ баснописца, съ морякомъ, который отъ того только не испыталъ бѣдъ, что не хаживалъ далеко въ море, онъ боялся за отважныхъ, пускавшихся въ открытый океанъ. Продолжая сравненіе, можно сказать, что, кромѣ поэтическаго моря, есть другое, еще болѣе обширное—море науки. Кто недолго и недалеко странствовалъ по немъ, тотъ не можетъ, конечно, судить ни объ его опасностяхъ, ни объ его сокровищахъ. Образованіе Крылова было очень ограниченно и мелко, и въ этомъ заключается истинная причина его неблагосклоннаго отношенія къ глубинѣ знаній.

Грѣха таить нечего, мы способны слишкомъ быстро вдаваться въ крайности, иногда смѣшныя, иногда и вредныя. Сатира имѣетъ полное право обличать грѣхи, но не должна бросать камнемъ въ самый предметъ нашихъ увлеченій, за которыя онъ не отвѣчаетъ, и, поражая крайности, не охлаждать сочувствій къ тому, что въ сущности полезно. Догадка и простой пріемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ рѣшаютъ дѣло лучше, чѣмъ трудъ и мудрость: это извѣстно каждому; но отсюда никакъ не слѣдуетъ, чтобы «трудъ и мудрость», напрасно потраченные какимъ-нибудь педантомъ, вообще уступали въ своемъ значеніи простой догадливости русскаго человѣка. «Ларчикъ» Крылова (1808) октрывался просто, безъ помощи механики; однакожъ, сколько есть такихъ вещей, которыя можно открыть и устроить только съ помощью механики! Между тѣмъ

[1]) Ib. 118—119.

ироническія и колкія слова: «механики мудрецъ» ([1]), показываютъ, на чью сторону склонялись вѣсы баснописца: на сторону ли врожденной намъ смѣтливости, которой намъ не учиться стать, или на сторону раціональнаго веденія всѣхъ частей нашей жизни, что пріобрѣтается лишь наукой. Не меньше насмѣшки и въ заключительныхъ стихахъ басни «Огородникъ и философъ» (1811):

А философъ
Безъ огурцовъ.

Правда, философъ былъ «недоученый, лишь изъ книгъ болтавшій про огороды». Авторъ могъ бы вывести отсюда другую, слѣдующую мораль: начавъ чему нибудь учиться, должно доучиваться; свѣдѣнія, почерпнутыя изъ книгъ, необходимо провѣрять на практикѣ, примѣняя ихъ къ мѣстнымъ условіямъ. Но онъ поступилъ не такъ: онъ философіи (т. е. наукѣ вообще) и книжнымъ знаніямъ противополагаетъ «прилежность и навыкъ», какъ бы признавая ихъ наиболѣе правильными и безошибочными орудіями успѣха, выгоднѣйшею замѣною науки. Замѣтивъ, какъ въ свѣтѣ часто упускаютъ изъ виду цѣли дѣйствій и видятъ силу вещей не тамъ, гдѣ она пребываетъ, Крыловъ написалъ басню «Крестьянинъ и Лисица» (1830). Лисица удивляется дружбѣ крестьянина къ лошади—изъ всѣхъ звѣрей едва ли не глупѣйшаго, по ея мнѣнію. Что же отвѣчаетъ крестьянинъ?

Эхъ, кумушка, *не въ разумѣ тутъ сила!*
. . . . . *Все это суета:*
Мнѣ нужно, чтобъ она меня возила,
Да чтобы слушалась кнута.

И здѣсь, безъ натяжки, можно придти къ такому заключенію: не только безъ науки, даже безъ ума нѣкоторыя цѣли достигаются скорѣе и лучше, чѣмъ съ умомъ. По поводу басни «Любопытный» (1814) справедливо было замѣчено, что Крыловъ ни въ басняхъ, ни прежде не выразилъ своего сочувствія ни къ какимъ открытіямъ, изобрѣтеніямъ или нововведеніямъ, но что, напротивъ, онъ больше представлялъ ихъ недостатки, чѣмъ выгоды: такъ въ «Огородникѣ и философѣ» онъ смѣется надъ агрономическими опытами, отдавая преимущество простому навыку, а въ «Любопытномъ»—надъ кропотливыми изслѣдованіями ученыхъ ([2]). Боязнь за

[1]) Такая-же иронія и въ стихѣ: «какъ видно, молодецъ механикой былъ страстенъ» (Механикъ, 1816).

[2]) Замѣчаніе высказано г-мъ Флери въ его статьѣ о Крыловѣ (Journal de S.-Petersbourg 1867, № 219). Нѣкоторыя мѣста изъ нея приведены въ «Примѣчаніяхъ» г. Кеневича.

вредныя послѣдствія, которыя губятъ не одинъ только дерзкій умъ, но и другихъ людей, имъ увлекаемыхъ, заставили Крылова умалчивать о добрыхъ послѣдствіяхъ науки и даже смотрѣть на нее вообще неблагосклонно. Слова: «философія», «философъ», почти тождественныя по значенію съ словами: «ученость, ученый», заклеймены въ его басняхъ характеромъ смѣшныхъ прозвищъ. Скворецъ (въ баснѣ: «Котенокъ и Скворецъ», 1825) хотя плохо пѣлъ, но былъ «презнатный философъ, до дна исчерпавшій философію» и ставшій самъ ея жертвою. Кого бы ни имѣлъ въ виду Крыловъ, сочиняя басню «Сочинитель и разбойникъ» (1817): именно ли Вольтера, какъ думаютъ сами французы, или вообще сочинителей съ развратнымъ и злымъ направленіемъ, какъ полагаетъ Гоголь— все равно; между обоими толкованіями нѣтъ существенной разницы: очень часто случается, что басня, написанная на извѣстное лице или опредѣленный случай, получаетъ потомъ общее примѣненіе ко всѣмъ подобнымъ лицамъ и случаямъ. Важны здѣсь два другія обстоятельства: во-первыхъ то, что Крыловъ, по своему понятію о пользѣ моральнаго направленія въ литературѣ, долженъ былъ казнить сочинителя, разливавшаго тонкій ядъ въ своихъ твореніяхъ, несравненно строже, чѣмъ разбойника; во-вторыхъ то, что онъ съ особеннымъ стараніемъ останавливался на вредныхъ или смѣшныхъ сторонахъ науки и литературы, какъ будто та и другая возбуждали въ его время особенный страхъ своею безнравственностью, всѣмъ видною, для всѣхъ ощутительною. Послѣднее обстоятельство толкуется различно: одни (г. Кеневичъ) утверждаютъ, что Крыловъ, по существенному отличію своего таланта, относился ко всему критически; по мнѣнію другихъ (Плетневъ), онъ воевалъ противъ крайностей во всемъ, зная, какъ близко отъ нихъ до бѣды. Смотря на басни Крылова съ любой изъ этихъ точекъ зрѣнія, не трудно, конечно, оправдать ихъ. Въ нихъ не найдешь ни странности, ни неумѣстности и несвоевременности; напротивъ, онѣ окажутся пригодными для каждаго времени и мѣста. Авторъ можетъ сказать: баснею «Ларчикъ» я хотѣлъ представить смѣшной педантизмъ мудрованія; баснею «Любопытный»—крайность пустаго любопытства, которое обращаетъ вниманіе на мелочи, не замѣчая крупнаго и важнаго; баснею «Огородникъ и философъ»— педантизмъ книжнаго знакомства съ предметами, и т. д. Трудно будетъ что-либо возразить противъ этихъ словъ, если отрѣшиться мыслію отъ того общества, для котораго они писаны. Но общественное значеніе литературныхъ произведеній опредѣляется какъ подборомъ ихъ предметовъ, такъ и взглядами, въ нихъ выражаемыми. И предметы и взгляды пріобрѣтаютъ большую или меньшую

*

важность, смотря по ихъ отношенію къ мѣсту и времени. Что хорошо и кстати въ одну эпоху, то непригодно и даже вредно для другой. Съ этой точки зрѣнія, басни Крылова, о которыхъ мы говорили, подлежатъ осужденію. Дѣйствительно, баснописецъ долженъ былъ подумать, чѣмъ болѣе страдало современное ему русское общество: привычкою ли видѣть то, чего нельзя не видѣть, что, по величинѣ своей, бросается въ глаза каждому, большому и малому, умному и глупому, или неумѣньемъ замѣчать такія вещи, которыя, кромѣ глазъ, требуютъ умственнаго зрѣнія и вниманія? поклоненіемъ ли навыку, державшему легіоны въ крѣпостной у себя зависимости, или педантическимъ стремленіемъ замѣстить безсознательный навыкъ сознательнымъ образомъ мыслей,—желаніемъ, которое заявляли единицы и десятки? довѣріемъ ли къ наукѣ и страстію рыться и погибать въ ея глубинахъ, или, на оборотъ, мелкимъ плаваніемъ по знанію, ученьемъ чему-нибудь, а чаще полнымъ равнодушіемъ къ ученію? развивалась ли на виду у баснописца литература съ безнравственнымъ направленіемъ? гдѣ сочинители, отравлявшіе ядомъ своихъ твореній общество, или философы-наставники, заражавшіе ядовитымъ ученіемъ юношество? Если отвѣты на эти вопросы легки и ясны, то непонятна случайность, по которой человѣкъ такого ума и таланта, какъ Крыловъ, обходилъ большинство явленій, наиболѣе тяжкихъ, будто ихъ вовсе не существовало, и выбиралъ предметомъ своей сатиры меньшинство противоположныхъ явленій, какъ будто въ нихъ сосредоточивалась вся сила народнаго зла. Послѣдніе въ отношеніи къ первымъ были тоже, что мушки и букашки относительно слона. Почему и какъ баснописецъ преслѣдовалъ мушекъ и букашекъ, и не замѣчалъ слона? Мы находимъ главный, если не единственный тому источникъ—въ совершенномъ недостаткѣ научнаго образованія, безъ котораго нельзя ни судить о наукѣ, ни сочувствовать ей, а можно только относиться къ ней или равнодушно, или недоброжелательно. По этой же причинѣ современники Крылова, научно образованные, умѣли отличать въ немъ силу таланта отъ малознанія. Въ числѣ ихъ, Сперанскій отзывался о немъ, какъ «о порядочномъ невѣждѣ» (¹).

Басня «Конь и Всадникъ» (1814) страдаетъ, по моему мнѣнію, тѣмъ же недостаткомъ, какъ и вышеприведенныя, направленныя противъ крайностей просвѣщенія, а именно: серьезность ея обличающаго разсказа и заключительной мысли не отвѣчала значенію обличаемаго. По вымыслу и выводу, она—прямая противополож-

---

¹) Рус. Архивъ 1868, № 7 и 8, въ Письмахъ къ дочери.

ность баснѣ, помѣщенной въ Аристотелевой Риторикѣ и придуманной поэтомъ Стезихоромъ въ поученіе Гимерейцамъ, которые, рѣшась воевать съ непріятелемъ, вручили главное начальство надъ войскомъ тирану, Филарису Агригентскому. «На лугу», разсказываетъ Стезихоръ, «паслась лошадь. Пришелъ олень и испортилъ пастбище. Задумавъ отомстить ему, лошадь просила человѣка о помощи. Человѣкъ обѣщалъ ее, но съ условіемъ, чтобы лошадь дозволила взнуздать себя и сѣсть на нее верхомъ. Лошадь согласилась. Тогда человѣкъ вмѣсто того, чтобы мстить оленю, обратилъ лошадь въ свою рабыню. Такъ и вы, Гимерейцы, страшитесь, чтобы лукавый всадникъ Фаларисъ, уже наложившій на васъ узду, не сѣлъ на васъ верхомъ: тогда навѣки погибнетъ ваша свобода». Горацій посвятилъ тому же сюжету нѣсколько стиховъ, а Лафонтенъ обработалъ его въ баснѣ: «Лошадь, хотѣвшая отмстить оленю», заключивъ свой разсказъ слѣдующею мыслію:

Quel que soit le plaisir que cause la vengeance,
C'est l'acheter trop cher que l'acheter d'un bien
Sans qui les autres ne sont rien (¹).

У Крылова и посылки другія, и выводъ не тотъ. Его всадникъ разнуздалъ коня, и ретивый конь, почуя волю, бѣшено помчался по полю, сбросилъ съ себя сѣдока и самъ убился до смерти въ оврагѣ. Сѣдокъ искренно раскаялся въ своемъ поступкѣ, причинившемъ такую напасть, а баснописецъ раскрываетъ передъ нами внутренній смыслъ повѣсти:

Какъ ни приманчива свобода,
Но для народа
Не меньше гибельна она,
Когда разумная ей мѣра не дана.

Г. Кеневичъ думаетъ, что Крыловъ, сочиняя «Коня и всадника», могъ имѣть въ виду французскую революцію и бѣдственныя ея послѣдствія. Если это справедливо, то басня чужда всякаго отношенія къ «русскому народу», и притомъ отодвинута на далекое разстояніе отъ совершившагося факта. Вѣрнѣе, мнѣ кажется, примѣнять ее къ намѣреніямъ правительства уничтожить крѣпостное право, которыя въ однихъ лицахъ встрѣчали сочувствіе, а другими были неодобряемы. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и Крыловъ, по свойственному ему консерватизму. Такъ какъ басня, въ изданіи 1825 г., помѣщена авторомъ въ самомъ началѣ, съ приложеніемъ къ ней картинки, наглядно удостовѣряющей читателей въ неразу-

¹) Le cheval s'étant voulu venger du cerf (книга IV, басня 10).

міи всадника и въ гибели коня, то было естественно, по справедливому замѣчанію г. Кеневича, искать въ ней прямыхъ намековъ на дѣйствительность и почитать ее, какъ выразился Плетневъ, отвѣтомъ на ходившіе въ обществѣ политическіе толки, которыхъ не могъ не вѣдать Крыловъ, если бы—что, впрочемъ, несомнѣнно—и не принималъ въ нихъ ни малѣйшаго участія. Хотя толки сами по себѣ—тоже фактъ, знаменующій настроеніе общества, но отъ нихъ до совершенія дѣла цѣлая бездна. Баснописецъ мысленно перешагнулъ эту бездну и представилъ себѣ крайность въ то время, когда еще не было сдѣлано и десяти твердыхъ начальныхъ шаговъ. Такое-то представленіе предмета и должно быть названо несоотвѣтствующимъ предмету, каковъ онъ былъ или есть.

Неправедный судъ, производимый «лихими супостатами» закона, постоянно занималъ Крылова. Ему посвятилъ онъ многія письма въ «Почтѣ духовъ»; его же не выпускалъ изъ виду и въ то время, когда обратился исключительно къ формѣ аполога. Одна изъ первыхъ его басенъ «Оракулъ» (1808), гдѣ подъ образомъ деревяннаго истукана представлены судьи, умные до той лишь поры, пока при нихъ умный секретарь, и одна изъ позднѣйшихъ «Вельможа» (1835), который не погубилъ цѣлаго края потому только, что не принимался за дѣла, показываютъ, съ какою неутомимостью преслѣдовалось имъ кривосудіе. Басни, относящіяся къ этой темѣ, были вызваны не простыми толками, заключенными въ предѣлахъ образованнаго меньшинства, но дѣйствительнымъ, закоренѣлымъ зломъ, тяготѣвшимъ, въ большей или меньшей мѣрѣ, надъ всѣми классами, — зломъ, отъ котораго, по выраженію поэта, «плакала Россія». Говорить о немъ было не поздно, такъ какъ его обличеніе, и послѣ многихъ, предшествовавшихъ тому обличеній, не сдѣлалось общимъ мѣстомъ; и наговориться о немъ нельзя было вдоволь, однажды навсегда. Причину повальнаго его господства баснописецъ объяснилъ въ «Почтѣ духовъ» слѣдующимъ образомъ: «разумъ съ честностью въ превеликой ссорѣ, такъ что теперь въ свѣтѣ можно сыскать добродушныхъ дураковъ и умныхъ бездѣльниковъ, но добродѣтельные мудрецы очень рѣдки, а особливо на судейскихъ стульяхъ». Что выйдетъ, если лица первой категоріи (добродушные дураки) сами начнутъ вершить дѣла и полагать резолюціи, видно изъ басни «Слонъ на воеводствѣ»: воевода дозволяетъ волкамъ взять съ каждой овцы по одной только шкурѣ. Образъ другаго добродушнаго дурака, къ счастію не занимавшагося дѣлами и потому, при всей своей власти, не погубившаго въ-конецъ ввѣреннаго ему края, нарисованъ въ «Вельможѣ». Представителемъ лицъ второй категоріи (умныхъ бездѣльниковъ), искусныхъ

въ томъ, чтобы при вопіющей неправдѣ соблюдать всѣ законныя формальности, служитъ Лиса — то секретарь, то прокуроръ; отъ нея преимущественно зависятъ судейскіе приговоры: въ баснѣ «Щука» (1830) она подаетъ совѣтъ утопить щуку въ рѣкѣ, въ наказаніе за ея плутовство и разбои, а въ баснѣ «Крестьянинъ и овца» (1823)—казнить овцу, обвиняемую въ истребленіи куръ. Взяткобрательствомъ заражены всѣ, отъ низшихъ инстанцій до высшихъ: ручейки и рѣчки, разорявшіе крестьянъ при своемъ разливѣ, несли половину похищеннаго ими въ рѣку (Крестьяне и рѣка, 1814). По пословицѣ: «свой своему по неволѣ братъ», всѣ жалобы въ этомъ отношеніи безполезны:

На младшихъ не найдешь себѣ управы тамъ,
Гдѣ дѣлятся они со старшимъ пополамъ.

«Нажиться на службѣ» сдѣлалось правиломъ для служащихъ и цѣлью поступленія на службу (Лисица и сурокъ 1813). Находя причину зла въ томъ, что разумъ съ честностью въ превеликой ссорѣ, Крыловъ доходитъ до пессимизма при взглядѣ на судопроизводство: онъ не ожидаетъ его исправленія ни отъ честныхъ глупцовъ, которые могутъ надѣлать столько же бѣдъ, сколько и умные бездѣльники, если еще не болѣе, ни отъ добродѣтельныхъ мудрецовъ, которыхъ трудно отыскать даже со свѣчкой, ни отъ повышенія окладовъ, улучшающихъ бытъ чиновника, ни отъ строгихъ указовъ, преслѣдующихъ судейское лихоимство. Гдѣ нѣтъ нравственной сдержки безчестнымъ поползновеніямъ, тамъ безсильны правительственныя мѣры. Внѣшній законъ окажется непрочною сѣтью для крупныхъ и мелкихъ администраторовъ: крупные прорвутъ ее, мелкіе проскользнутъ въ ея клѣтки. Только законъ внутренній (совѣсть) обезпечитъ правильное веденіе суда, и потому, для пресѣченія зла, необходимо нравственное образованіе гражданъ:

Въ комъ есть и совѣсть, и законъ,
Тотъ не украдетъ, не обманетъ,
Въ какой бы нуждѣ ни былъ онъ;
А вору дай хоть милліонъ—
Онъ воровать не перестанетъ.

Нѣкоторые педагоги осуждали послѣдніе два стиха, которые будто бы «придаютъ какой-то роковой характеръ воровству и очень легко могутъ заронить ложную мысль о неисправимости пороковъ вообще». Забавная черта нравственно-педагогическаго пуризма! Крыловъ, въ своихъ басняхъ, выражалъ наличныя, передъ его глазами происходившія явленія общественной жизни нашей, а не то,

что ему или другимъ было бы желательно видѣть. Что же ему было дѣлать, если онъ зналъ азартныхъ игроковъ, которые, хотя и рѣдко, забастовывали послѣ того, какъ большимъ выигрышемъ обезпечивали свою жизнь, но если не случалось ему ни слыхать, ни самому встрѣчать, чтобы судья добровольно оставлялъ теплое мѣстечко, приносившее ему большіе доходы! Да и желательны ли обществу такіе его члены, которые были нѣкогда ворами, а теперь, наживъ воровствомъ милліонъ, бросили свое ремесло и успокоились на добычѣ, какъ на лаврахъ? Хотя они, быть можетъ, и лучше нераскаянныхъ воровъ, но все же не служатъ отраднымъ знаменіемъ прошедшаго и не предвѣщаютъ ничего добраго будущему.

Обличая неправедный судъ, Крыловъ давалъ уроки и тѣмъ лицамъ, отъ власти которыхъ зависитъ обезпеченіе правильной администраціи путемъ законодательства. Хотя онъ, какъ мы видѣли, и плохо довѣрялъ силѣ внѣшнихъ побужденій, карательныхъ или поощрительныхъ, но все же требовалъ, чтобы законъ, по возможности, ограждалъ самъ себя точностью предписаній, чтобы каждая правительственная мѣра отвѣчала своей цѣли, а не имѣла свойства безплодно кружить около или приводить къ инымъ, рѣшительно нежелаемымъ результатамъ. Представленіемъ того, какъ нѣкоторые законы и учрежденія, при кажущейся ихъ стройности и прочности, оказываются негодными, служитъ басня «Лиса-строитель» (1811), оставившая для себя лазейку при возведеніи новаго курятнаго двора. Смыслъ басни тотъ, что нѣтъ пользы въ замѣнѣ стараго новымъ, когда послѣднее, благодаря эгоистическимъ расчетамъ учредителей, открываетъ свободный къ себѣ доступъ злоупотребленіямъ. По словамъ Плетнева, въ «Мірской сходкѣ» (1816) изъяснена несообразность многихъ общественныхъ постановленій. Дѣйствительно, отъ мѣропріятій всякаго рода нельзя ожидать ничего путнаго, если они обсуждаются и рѣшаются, по большинству голосовъ, людьми недобросовѣстными или незнакомыми съ предметомъ сужденій, если отъ совѣщаній о дѣлѣ устраняются эксперты, твердо его знающіе, или лица, наиболѣе въ немъ заинтересованныя. Сходка звѣрей единогласно и единодушно выбрала волка въ овечьи старосты....

Да что же овцы говорили?
На сходкѣ вѣдь онѣ ужъ, вѣрно, были?
Вотъ то-то нѣтъ! Овецъ-то и забыли!
А ихъ-то бы всего нужнѣй спросить.

Желаніе обезопасить гражданъ отъ враговъ общественнаго спокойствія заставляетъ иногда увеличивать число чиновниковъ. Басня

«Овцы и собаки» (1819) выставляетъ неудобство такой мѣры. Не говоря уже о томъ, что слишкомъ большіе штаты дорого обходятся казнѣ, дѣйствіе ихъ оказывается вреднымъ и въ другомъ отношеніи: собакъ, по разсказу Крылова, развелось столько, что онѣ переѣли всѣхъ овецъ, слѣдовательно учинили тоже самое, что безъ нихъ учинили бы волки. Одно другаго стоитъ. Баснописецъ требуетъ, чтобы при назначеніи лицъ на должности принимались къ соображенію единственно ихъ личныя достоинства: такой воевода, какъ слонъ, надѣлаетъ больше бѣдъ, чѣмъ дѣловой бездѣльникъ, по пословицѣ — простота хуже воровства. Если же, по невѣдѣнію или съ вѣдома назначающихъ, лисица поставится въ судью, секретаря или прокурора, а медвѣдь, охотникъ до меда, займетъ мѣсто надсмотрщика надъ ульями, пусть ихъ противозаконныя дѣйствія не останутся безъ возмездія. Хорошо, что административный обманъ лисицы, въ «Рыбьихъ пляскахъ» (1824), потерпѣлъ ото льва достойную кару; но онъ могъ окончиться и совершенно иначе, какъ это видно изъ первой редакціи басни (¹). Нерѣдко онъ оканчивается номинальнымъ наказаніемъ, безъ всякой боли для преступника, или тратою словъ вмѣсто употребленія власти, или оставленіемъ наворованнаго въ рукахъ вора: такъ судъ приговорилъ медвѣдя, потаскавшаго медъ, пролежать зиму въ теплой берлогѣ (Медвѣдь у пчелъ, 1816); такъ поваръ думалъ исправить кота Ваську поученіями, дѣйствуя на его стыдъ и совѣсть, а Васька слушалъ да ѣлъ (Котъ и Поваръ 1812) (²); такъ баринъ хотѣлъ побоями отучить шаловливую собаку отъ воровства, не отнимая у ней кражи (Собака, 1816). Съ другой стороны, Крыловъ осуждаетъ какъ неразборчивое взысканіе, налагаемое сплошь и рядомъ на правыхъ и неправыхъ (Хозяинъ и мыши, 1811), такъ и поздно приходящую награду, которою уже не въ силахъ пользоваться лице, долговременно и безупречно служившее (Бѣлка, 1830). Наконецъ, въ баснѣ «Бритвы» (1829), онъ изобразилъ, по объясненію Гоголя, тѣхъ доброжелательныхъ, но недогадливыхъ начальниковъ, которые

Людей съ умомъ боятся
И терпятъ при себѣ охотнѣй дураковъ.

Изображеніемъ обще-человѣческихъ отношеній не ограничивается сфера басни: она можетъ идти дальше—изображать взаимныя отношенія гражданъ, по различію ихъ сословій и государственной

¹) «Примѣчанія» Кеневича. См. также «Замѣтки для біографіи Крылова», Я. Грота.

²) По преданію, котъ представлялъ министра финансовъ при Александрѣ I.

службы. Въ первомъ случаѣ, баснописецъ имѣетъ предметомъ указаніе законной равноправности людей, какъ существъ разумныхъ и нравственныхъ; во второмъ — указаніе законной равноправности гражданской и политической. Двѣ басни Крылова: «Листы и корни» (1811) и «Пушки и паруса» (1829) относятся къ последнему разряду. Первая изъ нихъ, по замѣчанію Плетнева, устанавливаетъ правильныя отношенія между двумя сословіями: высшимъ, или дворянскимъ, и низшимъ—крестьянскимъ. Она полагаетъ между ними такое различіе: листья съ каждою весною нарождаются вновь, а если засохнетъ корень, то не станетъ ни ихъ, ни дерева. Отсюда видно, что авторъ признавалъ въ земледѣльческомъ сословіи основный пластъ общества, которымъ, какъ деревья корнями, питаются и держатся всѣ прочіе общественные пласты. Къ рѣчи о сословіяхъ кстати указать здѣсь басни, выставляющія образъ мыслей или бытъ дворянства. Крыловъ обличалъ два крупныхъ недостатка этого класса: съ одной стороны, ложное пониманіе благородства (Гуси, 1811), съ другой—умѣнье разстраивать свое состояніе и неумѣнье поправлять состояніе разстроенное (Тришкинъ кафтанъ, 1815, и Мельникъ, 1825). «Пушки и паруса» опредѣляютъ отношенія двухъ родовъ службы: военной и статской, утверждая за каждой надлежащее мѣсто и значеніе въ государственномъ строѣ:

Держава всякая сильна,
Когда устроены въ ней всѣ премудро части:
Оружіемъ — врагамъ она грозна,
А паруса — гражданскія въ ней власти.

Басня написана въ то время, когда, по словамъ Гоголя, нѣкоторые военные люди стали утверждать, что въ государствѣ все должно быть основано на одной военной силѣ, а чиновники штатскіе, въ свою очередь, начали подтрунивать надъ всѣмъ, что ни есть военнаго. Но хотя она явилась въ 1829 г., а по своему содержанію была бы кстати и въ царствованіе Александра I. И тогда статская, или гражданская, служба ставилась ниже военной, особенно гвардейской, съ которой могло равняться только служеніе по дипломатической части.

До сихъ поръ мы говорили о басняхъ, имѣвшихъ или теперь имѣющихъ общественное значеніе. Онѣ могутъ назваться «историческими» въ томъ смыслѣ, что каждая изъ нихъ относится къ цѣлой области явленій, которыя извѣстное время господствовали въ обществѣ и слѣдовательно занимаютъ болѣе или менѣе видное мѣсто въ исторіи этого времени. Такъ, безъ сомнѣнія, понималъ ихъ и смотрѣлъ на нихъ самъ авторъ. Но кромѣ того есть у Кры-

лова басни собственно «историческія», т. е. такія, которыя написаны по поводу извѣстныхъ лицъ или событій. Въ числѣ этихъ историческихъ басенъ замѣчательны относящіяся къ войнѣ съ Наполеономъ въ 1812—13 гг. Ихъ четыре: «Волкъ на псарнѣ», «Обозъ», «Ворона и курица» (всѣ 1812), «Щука и котъ» (1813). О баснѣ: «Ворона и курица» упомянуто выше (1). «Волкъ на псарнѣ» представляетъ стѣсненное положеніе Наполеона послѣ Бородинской битвы, его попытки вступить въ переговоры съ Кутузовымъ, изображеннымъ въ лицѣ хитраго ловчаго. Цѣль басни «Обозъ» — оправдать медлительность дѣйствій Кутузова, возбуждавшаго противъ него общественное мнѣніе. Поводомъ къ сочиненію басни «Щука и котъ» послужила неудача адмирала Чичагова, который долженъ былъ пресѣчь путь Наполеону черезъ Березину (2).

---

1) Въ изложеніи патріотической литературы.

2) Какъ эти, такъ и другіе историческіе поводы указаны г. Кеневичемъ въ его любопытныхъ и тщательно собранныхъ «Библіографическихъ и историческихъ примѣчаніяхъ къ баснямъ Крылова». Замѣтимъ, однакожъ, что въ иныхъ мѣстахъ «Примѣчанія» увлеклись излишнимъ желаніемъ отыскивать, *кого именно* или *что именно* разумѣлъ авторъ, сочиняя свои басни. Отсюда явилось нѣсколько натянутыхъ и даже неправильныхъ толкованій. Приведемъ два примѣра. Басню «Парнассъ» (1808) г. Кеневичъ относитъ къ любимцамъ Императора Александра I, въ началѣ его царствованія—людямъ благороднымъ, образованнымъ, но совершенно неопытнымъ, которые были удалены послѣ Тильзитскаго свиданія. Между тѣмъ, эти люди въ баснѣ представлены *ослами*, названы *невѣждами* и заставили баснописца напомнить имъ старинное мнѣнье,

Что если *голова пуста*,
То головѣ ума не придадутъ мѣста.

Могъ ли Крыловъ, съ своимъ здравомысліемъ и осторожнымъ тактомъ, написать такую несообразность? Всегда за собой надзирая, всегда помня себя, онъ соблюдалъ мѣру какъ въ похвалахъ, такъ и въ порицаніяхъ. По мнѣнію Греча, въ баснѣ «Орелъ и паукъ» (1812) изображена судьба Сперанскаго. Г. Кеневичъ, находя такое объясненіе *правдоподобнымъ*, допускаетъ однакожъ другое, болѣе вѣрное предположеніе, что Крыловъ «предугадалъ (?) судьбу этого замѣчательнаго человѣка, который своимъ быстрымъ возвышеніемъ возбуждалъ зависть, а реформами—ненависть и злобу». Не говоря уже о томъ, что означенная басня принадлежитъ къ переводнымъ, выводъ ея показываетъ всю несостоятельность и объясненія Греча, и предположенія г. Кеневича: на этихъ пауковъ, заключаетъ баснописецъ, похожи

Тѣ, кои *безъ ума и даже безъ трудовъ*,
Тащатся вверхъ, держась за хвостъ вельможи.

Сперанскій—безъ ума и безъ трудовъ!... Надобно думать, что консерватизмъ довелъ Крылова до неимовѣрной ненависти и злобы.... Но въ томъ-то и дѣло, что чувства, какого бы рода они ни были, никогда не дѣйствовали на Крылова такъ сильно, чтобы потемнить его разумъ, и слѣдовательно никогда не могли его довести до такого вопіющаго противорѣчія между дѣйствительностью и ея представленіемъ.

Сдѣлавъ обзоръ главнѣйшихъ басенъ Крылова по ихъ предметамъ, обратимъ вниманіе на значеніе ихъ морали, и вообще на значеніе выводовъ изъ разсказа. Какого свойства тѣ нравственныя правила, которымъ авторъ приписывалъ благодѣтельную силу и которыя онъ или высказывалъ самъ отъ себя, или заставлялъ высказывать дѣйствующія лица?

Съ этой точки зрѣнія, нѣкоторые французскіе писатели, вслѣдъ за Руссо, осуждаютъ Лафонтена, находя въ его басняхъ полное отраженіе «гальскаго духа» (esprit gaulois), по природѣ своей способнаго съ одинаковымъ легкомысліемъ относиться къ важному и неважному. Руссо укорялъ матерей въ томъ, что онѣ даютъ своимъ дѣтямъ учить наизусть басни, смысла которыхъ дѣти не въ состояніи понять, но которыя, если бы были поняты, испортили бы дѣтское сердце, такъ какъ мораль ихъ, смѣшанная, безразличная, непослѣдовательная, направляетъ больше къ пороку, чѣмъ къ добродѣтели. Въ примѣръ индифферентизма (политическаго) историки французской литературы приводятъ стихи изъ басни «Летучая мышь и двѣ ласточки»:

Le sage dit, selon les gens:
Vive le Roi! Vivé la Ligue!

Мудрость, по такому понятію, равнозначительна вѣроломству, хитрому плутовству, и басня, подмѣняя одно другимъ, учитъ быть болѣе ловкимъ, нежели честнымъ, выпутываться изъ непріятнаго положенія, а не стоять на сторонѣ права, если эта стойкость можетъ причинить какой-нибудь житейскій вредъ. Какъ примѣръ непослѣдовательности, состоящей въ томъ, что разныя басни говорятъ и pro и contra одного и тогоже предмета, указывается противорѣчіемъ между стихами:

On ne peut trop louer trois sortes de personnes:
Les dieux, sa maîtresse et son roi,

и другими баснями, въ которыхъ авторъ смѣется надъ служителями боговъ, дервишами, хвалитъ не одну только любимую женщину, но и многихъ женщинъ, и, прославляя короля, часто представляетъ его подъ страшнымъ образомъ царя звѣрей, котораго сила не всегда равняется справедливости. Порицаютъ также начальный стихъ басни «Волкъ и ягненокъ», выражающій общее, ничѣмъ неограниченное положеніе:

La raison du plus fort est toujours la meilleure;

гдѣ же, спрашиваютъ, нравственная сдержка, воспрещающая сильному злоупотреблять своею силой? гдѣ законъ, карающій злоупо-

требленія? или гдѣ общественное мнѣніе, ограждающее слабыхъ отъ произвола? Вообще, по заключенію французской критики, Лафонтенова мораль не отличается ни возвышенностью, ни строгостью. Она не предлагаетъ ни опредѣленныхъ правилъ, ни твердыхъ и благородныхъ цѣлей. Она не способна направлять и регулировать. Это—мораль практическаго, житейскаго благоразумія, которое болѣе боится промаховъ въ свѣтѣ, нежели нравственныхъ проступковъ, которое учитъ сносить зло, для избѣжанія горшаго зла, а не бороться съ нимъ и уничтожать его, которое охотно принимаетъ совершившіеся факты, оцѣнивая ихъ достоинство только по успѣху и посмѣиваясь надъ потерпѣвшими неудачу, которое, выказывая дурныя слѣдствія недостатковъ и совѣтуя исправиться въ нихъ, преимущественно имѣетъ въ виду недостатки, лично намъ вредящіе, а не тѣ, что вредятъ другимъ. Это—мораль опытности, а не принципа, проповѣдующая искусную принаровку къ обстоятельствамъ вмѣсто сопротивленія и самопожертвованія, любящая удовольствія жизни легкой и свободной свыше душевной независимости въ бѣдахъ и нуждѣ. Старайтесь знакомиться съ свѣтомъ, не будьте глупцами, не давайтесь въ обманъ ни самимъ себѣ, ни другимъ: вотъ сущность Лафонтевыхъ совѣтовъ (¹).

Хотя приведенные отзывы и справедливы до нѣкоторой степени въ отношеніи къ Лафонтену, однакожъ было бы ошибочно принимать ихъ за основу сужденій о Лафонтенѣ вообще, какъ о баснописцѣ. Такая критика противорѣчила бы значенію басни, навязывая ей требованія, нисколько необязательныя ни для нея, ни для другаго какого-либо поэтическаго вымысла. Изъ любви къ моральному догматизму она постоянно смѣшивала бы нравственную идею произведенія съ его нравоучительнымъ направленіемъ. Это смѣшеніе часто встрѣчается у французовъ и въ теоріи и на практикѣ. Басня въ томъ значеніи, какое сообщили ей Лафонтенъ и Крыловъ, не что иное какъ сатира. Она говоритъ о томъ, что есть, а не о томъ, что должно быть; изображаетъ зрѣлище міра дѣйствительнаго, а не лучшаго или идеальнаго. Если изображеніе вѣрно; если, притомъ, отступленія отъ разумности и нравственности не получаютъ характера общихъ, безусловныхъ положеній, не возводятся въ правило, не рекомендуются какъ обязательный образъ дѣйствій, то баснописецъ правъ; въ противномъ случаѣ, онъ виноватъ. Лафонтенъ грѣшитъ лишь тамъ, гдѣ выводу изъ явленій опредѣленнаго времени и мѣста придаетъ смыслъ повсемѣстности и всевре-

¹) La Fontaine et ses fables, par H. Taine (изд. 4-ое, 1861); La Fontaine et les fabulistes, par Saint-Marc Girardin (1867).

менности, или гдѣ снисходительно смотритъ на то, чего не могутъ извинить истина и нравственное чувство. Не выдавай онъ за мудрость умѣнье летучей мыши причислять себя и къ млекопитающимъ и къ птицамъ, т. е. мѣнять убѣжденія по эгоистическимъ расчетамъ; не называй онъ доводы волка наилучшими потому только, что волкъ сильнѣе ягненка: критикѣ не было бы возможности придраться къ двумъ вышеупомянутымъ баснямъ. Замѣтимъ кстати, что басня Волкъ и Ягненокъ нашла сильнаго порицателя въ Наполеонѣ. Живучи на островѣ Св. Елены, онъ заставилъ однажды малолѣтняго сына генерала Монтолона прочесть ее. Первый стихъ привелъ его въ негодованіе. Если такъ случается на самомъ дѣлѣ, сказалъ онъ, то это-злоупотребленіе силы, достойное наказанія: «волкъ долженъ былъ подавиться, пожирая ягненка». Будь на мѣстѣ Монтолонова сына мальчикъ поразвитѣе, онъ могъ бы возразить грозному воителю: а какъ же вы, волкъ изъ волковъ, пятнадцать лѣтъ сряду глотали цѣлыя стада барановъ—и не давились? Почему же съ Лафонтеновымъ волкомъ должна была случиться такая напасть именно въ то время и именно за ту добычу, о которыхъ идетъ рѣчь въ баснѣ? Можетъ быть, это первый опытъ его хищничества; можетъ быть, онъ и подавится на пятнадцатомъ ягненкѣ; а можетъ быть—кто знаетъ?—онъ будетъ своевольничать въ теченіе всей своей жизни и останется невредимымъ. Нѣсколько разъ касались мы сходства пословицъ съ баснями. Какъ пословица есть выводъ изъ житейскаго опыта, такъ и баснописецъ выводитъ изъ своего разсказа заключеніе, объясняющее внутренній его смыслъ. И пословица и басня выражаютъ то, что творится на бѣломъ свѣтѣ, вовсе не думая, что творимое принадлежитъ къ явленіямъ постояннымъ и должно быть непремѣнно таковымъ, а не чѣмъ-либо инымъ. Пословицы: «повадился кувшинъ по воду ходить, тамъ ему и голову сломить», «каковъ въ колыбелку, таковъ и въ могилку», «рука руку моетъ», вовсе не означаютъ ни неисправимости людей, сбившихся съ прямаго пути, ни роковой силы природныхъ наклонностей, ни обязанности стакиваться для воровскихъ дѣлъ. Строгіе моралисты, если угодно, могутъ находить эти изреченія, равно какъ подобныя имъ сентенціи въ басняхъ, предосудительными; но въ такомъ случаѣ половина народныхъ пословицъ окажутся безнравственными. Требуя возвышенной морали отъ басенъ, французскіе критики забыли, что содержанію этого рода произведеній, по самой сущности дѣйствующихъ въ немъ тварей, гораздо приличнѣе элементъ разсудочный, необходимый для здравой практичности въ общественномъ и частномъ быту, нежели элементъ моральный; что попытки надѣлить

басню серьезнымъ паѳосомъ просто смѣшны и обличаютъ совершенное безвкусіе; что, поэтому, ни одному талантливому баснописцу не придетъ на мысль пользоваться животными, какъ примѣрами благороднѣйшихъ чувствъ и подвиговъ—патріотизма, самоотреченія, терпимости, сознанія долга и т. п.

Обращаясь къ баснямъ Крылова, мы должны предварительно замѣтить, что, по отношенію къ морали, онѣ могутъ быть раздѣлены на два разряда: въ однѣхъ авторъ указываетъ лишь то, что происходитъ между людьми, не сопровождая своего указанія нравоучительнымъ выводомъ; въ другихъ представленіе людскихъ дѣяній заключается урокомъ читателю.

Въ обоихъ разрядахъ нашъ баснописецъ осторожнѣе, солиднѣе Лафонтена. Осторожность его доказывается, во-первыхъ, тѣмъ, что онъ частный кругъ явленій не выдаетъ за общее состояніе человѣческой жизни или современнаго ему общества, а во-вторыхъ тѣмъ, что онъ нерѣдко воздерживается отъ собственнаго приговора надъ явленіями, предоставляя читателю судить о нихъ по впечатлѣнію, производимому разсказомъ. Крыловъ съ большимъ уваженіемъ смотрѣлъ на выбранную имъ литературную форму, обязывая ее, согласно съ своимъ взглядомъ на литературу, дѣйствовать въ пользу нравственности. Можно, какъ мы видѣли, обвинять его за нападки на такіе предметы, которые, по своей сущности, заслуживали сочувствія, а по своему уклоненію отъ правильнаго пути еще не представляли опасности и слѣдовательно не заслуживали укоризны; но это обвиненіе не относится къ морали: оно падаетъ на образъ мыслей баснописца о наукѣ и просвѣщеніи. Что же касается до морали, то она никогда не спускалась до того, чтобы вѣроломную измѣнчивость называть мудростью, а доводы сильнаго—справедливѣйшими. Хотя Крыловъ не отвѣчаетъ за басни, переведенныя изъ Лафонтена, однакожъ и въ переводахъ своихъ онъ, по возможности, устранялъ недоумѣнія и рѣзкости, могущія смутить здравое нравственное чувство. Первый стихъ басни «Волкъ и ягненокъ»: «La raison du plus fort est toujours la meilleure», онъ замѣнилъ стихомъ: «у сильнаго всегда безсильный виноватъ». Изъ того, что ягненокъ виноватъ по мнѣнію волка, еще не слѣдуетъ, что онъ виноватъ дѣйствительно, и что его оправданія хуже придирчивыхъ, наглыхъ обвиненій хищника. Конечно, слово *всегда* неутѣшительно для безсильныхъ, но нѣтъ повода принимать его въ смыслѣ общемъ, такъ какъ самъ авторъ стѣснилъ его объемъ въ слѣдующемъ затѣмъ стихѣ: «тому мы *тьму* въ исторіи примѣровъ слышимъ». И что же дѣлать, если такъ бываетъ на свѣтѣ? Не скрывать же сатирику дѣйствительную

быль, выдумывая небылицы. Въ Лафонтеновой баснѣ: «Ворона и лисица» обманщикъ даетъ наставленіе обманутому, прибавляя, что оно стоитъ сыра. Нашъ переводчикъ выразилъ отъ собственнаго лица, что «льстецъ всегда отыщетъ уголокъ въ сердцѣ». Справедливость этого положенія доказана множествомъ примѣровъ, которые наблюдательный умъ не могъ не замѣтить и о которыхъ заявить онъ имѣлъ полное право. Читатель смѣется надъ вороной, вовсе не думая одобрять своимъ смѣхомъ поступокъ лисицы. Только неугомонный педантизмъ способенъ допытываться у автора, зачѣмъ онъ, представивъ, какъ опасно внимать лести, не представилъ тутъ же неблагородства, безнравственности льстецовъ. За тѣмъ, конечно, чтобы не двоить морали. Пусть другой баснописецъ займется второю темой и напишетъ басню, въ которой, напримѣръ, лисица потеряетъ неправедно пріобрѣтенную добычу или должна будетъ уступить ее сильнѣйшему животному. Басня «Заяцъ на ловлѣ» заключается двустишіемъ:

Надъ хвастунами хоть смѣются,
А часто въ дѣлежѣ имъ доли достаются.

Крыловъ не говоритъ, хорошо ли это или дурно. Не мнѣніе свое хотѣлъ онъ выразить, а фактъ, извѣстный каждому, кто умѣлъ видѣть, что вокругъ него происходитъ. Слово «часто» показываетъ, что не всегда же хвастуны могутъ разсчитывать на успѣхъ своего хвастовства, которое, притомъ, и не рекомендуется какъ хорошее средство для извѣстныхъ цѣлей. Искать, въ выписанныхъ стихахъ, одобренія лжи или тщеславной похвалы, значитъ подражать мудрецу механики. Басня: «Моръ звѣрей» окончена нѣсколько иначе въ сравненіи съ подлинникомъ:

И въ людяхъ тоже говорятъ:
Кто посмирнѣй, такъ тотъ и виноватъ (¹).

Справедливъ ли людской говоръ, слышимый также въ пословицѣ: «чья сильнѣе, та и правѣе?» этого вопроса переводчикъ не затрогиваетъ. Мы не вправѣ сердиться на его молчаніе, или удивляться, зачѣмъ онъ громомъ и молніей не поразилъ звѣрей, засудившихъ вола. Пристрастный судъ и невинность жертвы очевидны; самый тонъ разсказа, безъ прибавочныхъ сентенцій, ясно показываетъ, на чьей сторонѣ сочувствіе разскащика. Басня «Левъ и комаръ» внушила Лафонтену два заключенія: первое—изъ враговъ нашихъ

---

¹) У Лафонтена:

Selon que vous serez puissants ou miserables,
Les jugements de cour (Cour de justice) vous rendront blanc ou noir.

самые мелкіе иногда оказываются страшнѣйшими; второе — иной, умѣвшій избѣгнуть великихъ опасностей, погибаетъ отъ ничтожной вещи. У Крылова одно нравоученіе:

Безсильному не смѣйся
И слабаго обидѣть не моги!
Мстятъ сильно иногда безсильные враги:
Такъ слишкомъ на свою ты силу не надѣйся.

Какъ видно, побужденіемъ къ тому, чтобы не смѣяться надъ безсильными и не обижать слабыхъ, выставленъ здѣсь житейски-благоразумный расчетъ: «мстятъ сильно иногда безсильные враги». Но развѣ нѣтъ другихъ, болѣе высшихъ и благороднѣйшихъ мотивовъ, чѣмъ эгоистическое самосохраненіе? Конечно есть, и разсудительнымъ людямъ они хорошо извѣстны: это—уваженіе къ личности, сознаніе человѣческаго достоинства, понятіе о равноправности, христіанское ученіе о любви къ ближнимъ... Но дѣло въ томъ, что не къ лицу животнымъ быть проповѣдниками возвышенныхъ движеній души, гуманныхъ стремленій, разумно-сознательнаго образа дѣйствій. Животныя по преимуществу пригодны для выставки такихъ недостатковъ человѣка, въ которыхъ обнаруживаются грубые, животные инстинкты его натуры. Злоупотребленіе силой есть одинъ изъ этихъ звѣриныхъ инстинктовъ. Осуждали совѣтъ, выведенный изъ басни «Музыканты» и напоминающій пословицу: «пьяница проспится, а дуракъ никогда»:

По мнѣ ужъ лучше пей,
Да дѣло разумѣй.

Нѣтъ спора, было бы нравоучительнѣе сказать: «дѣло разумѣй, а все-таки не пей», если бы такое нравоученіе могло отучить искусныхъ дѣльцовъ отъ пьянства. Но какъ эта возможность не существуетъ, то совѣтъ баснописца справедливъ и полезенъ. Кто же, въ самомъ дѣлѣ, желая насладиться музыкой, будетъ справляться о поведеніи знаменитыхъ виртуозовъ или пойдетъ слушать плохую игру людей, которыхъ кондуитный списокъ безупреченъ? Бездарный писака весьма часто бываетъ примѣрнымъ семьяниномъ: знакомые его почтутъ въ немъ добраго отца или добраго сына, порадуются его счастію, но не станутъ читать его писаній. Народъ говоритъ: «пьянъ да уменъ — два угодья въ немъ». Крыловъ не простираетъ такъ далеко снисходительности къ пьянству: онъ только изъ двухъ золъ выбираетъ меньшее, потому что другаго, болѣе выгоднаго выбора не оказывается. Подражая Руссо, нѣкоторые наставники юношества разсматривали педагогическое значеніе басенъ Крылова и пришли почти къ тому заключенію, къ какому

пришелъ авторъ Эмиля. Что внутренній смыслъ многихъ басенъ недоступенъ дѣтскому уму,—это такая истина, на доказательство которой не стоило тратить «ни времени, ни масла»; но что многія изъ нихъ, по художественному интересу, представленіямъ въ русскомъ духѣ и чисто-русскому языку, служатъ пріятнымъ и полезнымъ чтеніемъ для дѣтей, — это также не подлежитъ спору. Красота ихъ непосредственно дѣйствуетъ на прирожденное большимъ и малымъ народное чутье. Короче, философія Крылова — если такъ надобно называть его уроки и мысли, выводимые изъ басенъ—есть именно философія здраваго смысла, опытной мудрости, житейскаго реализма. Это — философія нашихъ народныхъ пословицъ.

По своему художественному значенію, басни Крылова принадлежатъ къ классическимъ. Русская литература справедливо гордится ими, какъ превосходными образцами того рода поэзіи, за который, по мнимой его легкости, брались многіе, но въ которомъ до Крылова пріобрѣлъ знаменитость только Лафонтенъ. У нашего баснописца иносказательное изображеніе всегда представляетъ самостоятельное поэтическое достоинство. Басня увлекательна и своимъ собственнымъ, прямымъ смысломъ, независимо отъ смысла внутренняго, раскрываемаго въ ея заключеніи или началѣ. Дѣйствіе между животными, выведенными съ ихъ отличительными, типическими свойствами, образуетъ замысловатую драму, которая плѣняетъ читателя и прежде чѣмъ приподнятъ аллегорическій покровъ и послѣ того какъ аллегорія истолкована.

Первенствующая красота въ этихъ художественныхъ басняхъ есть красота ихъ народности. Явленія общечеловѣческой жизни изображаютъ онѣ въ образахъ русскаго быта, въ чертахъ русскаго характера. Проникнутый духомъ своего народа, баснописецъ воплотилъ его и въ свои вымыслы. Крылову, говоритъ И. Кирѣевскій, принадлежала честь единственная, ни съ кѣмъ въ его время нераздѣленная: онъ успѣлъ быть и, что еще важнѣе, онъ хотѣлъ быть русскимъ въ то время, когда подражаніе почиталось просвѣщеніемъ, когда слово «иностранное» было однозначительно съ словомъ «умное» или «прекрасное». Въ это время Крыловъ не только былъ русскимъ въ своихъ басняхъ, но умѣлъ еще сдѣлать свое русское плѣнительнымъ» ([1]). Это искусство олицетворять стихіи народной индивидуальности очевидно не только въ собственныхъ басняхъ Крылова, но и въ его переводахъ или передѣлкахъ басенъ иностранныхъ. Заимствованные сюжеты обработывалъ онъ сооб-

[1]) Моск. 1845, № 1.

разно представленіямъ русскаго человѣка, почему и имѣлъ право причислять свою обработку къ оригинальнымъ созданіямъ. При сличеніи, напримѣръ, басенъ: «Оселъ и Соловей», «Демьянова уха», «Лжецъ», съ ихъ источниками [1], открывается превосходство нашего баснописца, умѣвшаго посредственнымъ разсказамъ сообщать высокое поэтическое достоинство и цвѣтъ народности.

Преобладающею силою духовной природы Крылова былъ умъ— трезвый, смѣтливый, наблюдательный, просто и прямо смотрящій на предметы, не подкупаемый никакими теоріями и пристрастіями,— тотъ здравый умъ, которымъ, по выраженію Гоголя, крѣпокъ русскій человѣкъ, умъ выводовъ, такъ называемый задній умъ, заявившій себя въ пословицахъ. Крыловъ и любилъ черпать изъ этой сокровищницы практической, житейской мудрости. Пользовался же онъ ею не для внѣшняго украшенія своихъ басенъ, а потому что пословица была естественною, слѣдовательно удобнѣйшею формою прирожденнаго ему склада ума, пріемовъ его мысли. Въ свою очередь, словарь народныхъ изреченій одолженъ баснописцу значительнымъ матеріаломъ: собиратели русскихъ пословицъ (Снегиревъ, Даль) внесли въ свои сборники многіе стихи изъ его басенъ. Каждый образованный находитъ въ этихъ басняхъ чрезвычайно меткія апоѳегмы или поговорки, и при случаѣ поясняетъ ими свою мысль, такъ что нѣтъ уже надобности ни въ другихъ толкованіяхъ, ни въ другихъ доводахъ. Между свойствами ума, которымъ природа надѣлила Крылова, одно въ особенности заслуживаетъ вниманія, какъ бы подтверждая ту мысль, что русскій человѣкъ преимущественно передъ другими народами обладаетъ критическою силою, почему и въ литературѣ его наиболѣе выказывается отрицательное отношеніе къ жизни. Это свойство — иронія, веселая и лукавая вмѣстѣ, совершенно противоположная наивности, въ которой Крыловъ вовсе неповиненъ и которую хотѣли навязать ему насильно, вѣроятно изъ желанія доказать всестороннее сходство нашего баснописца съ Лафонтеномъ, тогда какъ, говоря серьезно, сходство ограничивается лишь тѣмъ, что тотъ и другой писали превосходныя басни. Ироніей отзываются сужденія и взгляды самыхъ характеристичныхъ басенъ Крылова. При встрѣчѣ съ новыми, или выступающими изъ ряда явленіями, умъ его тотчасъ принимаетъ

---

[1]) Эти источники: L'âne et le rossignol (Дидро), La politesse villageoise (стихотвореніе Барба) и Le paysan et son fils (Эмбера, переведшаго басню Геллерта: Bauer und sein Sohn), помѣщены въ «Примѣчаніяхъ» г. Кеневича. Въ Лафонтеновой баснѣ: Dépositaire infidèle, также выставленъ лжецъ. Образцомъ ея служилъ одинъ изъ средневѣковыхъ басенныхъ разсказовъ (fabliaux) о рыцарѣ и его оруженосцѣ, сходный по сюжету съ баснею Крылова.

*

скептическое, насмѣшливое направленіе: видитъ пустую, а иногда и вредную затѣю тамъ, гдѣ другіе привѣтствуютъ перемѣну къ лучшему; любитъ сомнѣваться въ успѣхѣ, а не предполагать успѣхъ; опасается зла, имѣющаго возникнуть, а не поощряетъ возникающаго добра. Что же дальше, кромѣ ума? Можно думать, что онъ сильно переросъ всѣ прочіе элементы духовной природы, которые потому и сдѣлались незамѣтны, если нельзя думать, что ихъ вовсе и не было. Въ біографіи Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковскаго, Пушкина встрѣчаешь разнообразіе какъ литературныхъ, такъ и умственныхъ и нравственныхъ качествъ. Говоря о Крыловѣ, волею-неволею говоришь о его умѣ—и только объ умѣ. Подкупленный высокою цѣнностью этого ума, читатель можетъ забывать отсутствіе другихъ сторонъ личности; но историческая правда требуетъ сказать, что Крылову не доставало чувства, которое привязываетъ человѣка къ извѣстнымъ идеямъ, къ извѣстному образу дѣйствій и согрѣваетъ внутреннимъ огнемъ всѣ проявленія его таланта. Разсматривая его басни, легко узнать, чего онъ не хотѣлъ; трудно опредѣлить, чего именно хотѣлъ онъ. Конечно, такое направленіе частію условливалось сущностью басни какъ сатиры, но большею частію (такъ мнѣ кажется) оно зависѣло отъ недостатка положительнаго сочувствія къ чему бы то ни было. Переходъ отъ многихъ отрицаній, выражаемыхъ Крыловымъ, къ общему утвержденію теменъ и затруднителенъ. Есть мнѣніе, что положительный идеалъ баснописца выраженъ въ баснѣ «Орелъ и пчела» (1813), представляющей пользу тружениковъ для общаго блага; но справедливо ли называть идеаломъ одиночное заявленіе, высказанное, можетъ быть, по извѣстному, также одиночному, поводу и не запечатлѣнное печатью владычества надъ разными другими заявленіями? Идеалъ даетъ себя знать всегда и повсюду, больше или меньше проникаетъ каждое поэтическое сознаніе; его нельзя скрыть: онъ обнаруживается такъ или иначе — подборомъ ли предметовъ, характеромъ ли нравоученій, или вспышкой лирической, причемъ самъ авторъ выдвинется изъ-за своей работы. Ничего подобнаго у Крылова нѣтъ. Большинство его басенъ какъ бы говоритъ за него: моя хата съ краю, ничего не знаю.. Тотъ ошибется, конечно, кто на слово повѣритъ этой пословицѣ. Напротивъ, Крыловъ очень хорошо зналъ, но отъ знанія дѣла до сочувствія къ дѣлу далеко, еще дальше до участія въ дѣлѣ, а самое большое разстояніе до иниціативы въ немъ. Безстрастіе было отличительнымъ свойствомъ его духовной природы; въ покоѣ безстрастія заключался его идеалъ. Чтобы написать простое письмо, онъ долженъ былъ превозмогать свою лѣнь. «Природа надѣлила его

всѣми талантами, говоритъ Вигель.... Одного ему дано не было: душевнаго жара, священнаго огня.... Вездѣ умъ, нигдѣ не проглянетъ чувство.... Человѣкъ этотъ никогда не зналъ ни дружбы, ни любви, никого не удостоивалъ своего гнѣва, никого не ненавидѣлъ, ни о комъ не жалѣлъ; никогда не вспоминалъ о прошедшемъ, никогда не радовался ни славѣ нашего оружія, ни успѣхамъ просвѣщенія.... Двѣ трети столѣтія прошелъ онъ одинъ сквозь нѣсколько поколѣній, одинаково равнодушный какъ къ отцвѣтшимъ, такъ и къ зрѣющимъ». Хотя и безразсудно вполнѣ довѣрять автору, который въ своихъ Запискахъ охотно набрасывалъ тѣнь на замѣчательнѣйшихъ людей своего времени, въ томъ числѣ и на Сперанскаго, однакожъ каждый, знакомый съ біографіей Крылова и съ чертами его психическаго настроенія, насколько онѣ обнаруживаются его баснями, согласится, что въ приведенныхъ словахъ много правды. Физіономія баснописца, какъ человѣка, схвачена удачно. Сходство портрета подтверждается отзывомъ Плетнева: «Крыловъ ничего не полюбилъ, какъ человѣкъ общественный, какъ писатель геніальный». Тяжелый на подъемъ духа, безъ чего не возможны ни побужденія къ дѣятельности, ни успѣхи въ ней, Крыловъ и своему литературному слогу сообщилъ ту оригинальную особенность, которую Плетневъ означилъ словомъ «увѣсистый» и которая отличаетъ способъ выраженія баснописца отъ выраженія современныхъ ему литераторовъ.

Матеріалы для біографіи Крылова и для опредѣленія его дѣятельности:

Басни И. Крылова, критическая статья Жуковскаго (Вѣстн. Евр. 1809, № 9).

Жизнь и сочиненія И. А. Крылова, ст. Лобанова (Сынъ Отеч. 1847, № 1).

Жизнь и сочиненія И. А. Крылова, ст. Плетнева, въ Полн. Собр. сочиненій И. Крылова.

Народное и общественное значеніе Крылова, О педагогическомъ значеніи Крылова, четыре статьи В. Водовозова (Журналъ Мин. Нар. Просв. 1862, №№ 4, 5, 8, 9).

Рѣчь о басняхъ Крылова въ художественномъ отношеніи, А. Никитенко (1868).

Библіографическія и историческія примѣчанія къ баснямъ Крылова. Составилъ В. Кеневичъ (1868).

Литературная жизнь Крылова. Академическое чтеніе Я. Грота въ день юбилея Крылова, 2 февраля 1868.

Замѣтка для біографіи Крылова, Я. Грота (1868).

И. А. Крыловъ (Біографическій очеркъ), В. Кеневича (Вѣстн. Евр. 1868, кн. 2).

Сатира Крылова и его «Почта духовъ», Я. Грота (ib. кн. 3).

Крыловъ и Радищевъ, А. Пыпина (ib. кн. 5).

О Крыловѣ и его литературной дѣятельности, Н. Лавровскаго (Журн. Мин. Нар. Просв. 1868, февраль).

Въ характеристикѣ Крылова, какъ писателя, Гоголь обратилъ вниманіе на то, что Крыловъ «выбралъ себѣ форму басни, всѣми пренебреженную, какъ вещь старую, негодную къ употребленію и почти дѣтскую игрушку» (1). Это не совсѣмъ такъ. Когда Крыловъ началъ писать басни, еще не казалось страннымъ мнѣніе одного изъ корифеевъ швейцарской школы нѣмецкой поэзіи—Брейтингера († 1776), почитавшаго басню высшимъ родомъ стихотворства. Мнѣніе это вытекало изъ понятія о чудесномъ, какъ основѣ поэзіи, которая, сверхъ того, должна производить моральное дѣйствіе на читателя. А какъ басня, по своей сущности и происхожденію, есть чудесное, дающее поводъ къ нравоученію, то и отдано ей первенство передъ другими родами поэтическихъ произведеній. Что она въ эпоху Крылова не теряла своего значенія, ни у насъ, ни въ литературѣ запада, доказывается, между прочимъ, баснями Арно (Arnault) († 1834), имѣвшими большой успѣхъ во Франціи, и баснями А. Измайлова (1779—1831), современника Крылова, которыя читались съ удовольствіемъ: въ теченіе тринадцати лѣтъ (съ 1814 по 1826) вышло ихъ пять изданій.

Успѣхъ и значеніе басенъ Измайлова опредѣляются особенностью его дарованія, которое не осталось незамѣченнымъ даже при славѣ Крылова. На эту особенность указывалъ самъ авторъ, называвшій себя «Россійскимъ Теньеромъ 1-мъ» (2). Любимымъ его выраженіемъ было: «я *теньерю* по прежнему». Сфера жизни обыкновенной, наивно-грубой, а иногда и цинической, подходила къ таланту Измайлова, который вѣрно схватывалъ черты ея и рисовалъ ихъ искусно. По врожденному «чутью дѣйствительности», онъ не увлекся сентиментализмомъ Карамзина, хотя храбро стоялъ за его реформу языка. Въ повѣсти «Маша», служащей подражаніемъ «Бѣдной Лизѣ», трогательная часть перешла въ забавный мелодраматизмъ; сцены простыхъ, низменныхъ характеровъ и происшествій принадлежатъ къ лучшимъ мѣстамъ ея, каковы, напримѣръ: сватовство въ домѣ Простаковыхъ и письмо Филимона Фатюева къ Простакову. Къ сатирѣ Измайлова прилагается оправданіе какого-то автора, обвинявшагося въ томъ, что онъ пишетъ личности:

Твои портреты очень схожи.
На лица пишешь ты!—«Нѣтъ, я пишу на рожи».

Это не значитъ, что у Измайлова изображенія выходили каррикатурными; это значитъ, что Измайловъ былъ искусенъ рисовать

---

1) Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.

2) «Il est le Teniers des écrivains russes», сказано о немъ въ Revue Encyclopedique 1821 г.

только такія лица, которыя зовутся рожами. Высокое, нѣжное, утонченно-образованное, деликатное, граціозное.... рѣшительно ему не удавалось. Всѣ притязанія на патетизмъ оканчивались крайней неловкостью. Хотѣлъ ли онъ начертать изящный образъ? образъ, вопреки его намѣренію, поражаетъ отсутствіемъ изящества. Думалъ ли растрогать читателей? читатели оставались равнодушными или улыбались. Его нѣжныя пѣсенки и мадригалы—посягательство на нѣжность, его оды—посягательство на лиризмъ. То и другое скорѣе примешь за пародіи, чѣмъ за настоящіе образцы. Описаніе водопада (въ баснѣ «Водопадъ и Ручей») оканчивается двумя стихами, изъ коихъ послѣдній смѣшонъ, на перекоръ желанію автора изобразить величавое:

Ни птица, ниже звѣрь къ нему не приближались,
И ноги смертнаго въ него не опускались.

Не менѣе смѣшно уподобленіе кота сибариту, а мертвой мыши— статуѣ Венеры:

Вотъ мышку въ зубы онъ беретъ,
Потомъ передъ себя кладетъ....
Глядитъ, какъ сибаритъ на статую Венеры (1).

Но какъ только авторъ выходитъ изъ несвойственной ему сферы патетическаго, нѣжнаго и граціознаго, и вступаетъ въ сферу низшаго, необразованнаго или малообразованнаго слоя общества, гдѣ бытовая сторона, не отличаясь чистоплотностью, обнаруживается откровеннѣе, наивнѣе и грубѣе, тамъ онъ дѣйствуетъ свободно, умѣетъ находить и выдерживать соотвѣтственный сюжетамъ тонъ; тамъ нѣтъ разлада между изображеніемъ и изображаемымъ. Міръ его басенъ населенъ такими личностями, которыя по табели о рангахъ не восходятъ выше титулярнаго совѣтника и съ которыми часто имѣла дѣло управа благочинія. Двери салоновъ затворены для нихъ, но за то открытъ имъ входъ въ неприхотливыя увеселительныя заведенія. Одна изъ лучшихъ басенъ Измайлова «Пьяница» вполнѣ выказываетъ свойство его таланта, равно какъ и его манеру разсказа. Дѣйствующее лице въ ней —

Пьянюшкинъ, отставной квартальный,
Совѣтникъ титулярный,
Исправно насандаливъ носъ,
Въ худой шинелишкѣ, зимой, въ большой морозъ,
По улицѣ шелъ утромъ и шатался.

---

(1) Въ баснѣ: Черный Котъ.

Получивъ отъ кума полсотни рублей, онъ отправился въ трактиръ, напился мертвецки пьянъ,

Къ несчастію еще въ трактирѣ онъ подрался,
А съ кѣмъ, за что,—и самъ того не зналъ,
На лѣстницѣ споткнулся и упалъ,
И весь, какъ чортъ, въ грязи, въ крови перемарался.
Вотъ вечеромъ его по улицѣ ведутъ
Два воина осанки важной,
Съ сѣкирами, въ бронѣ сермяжной.

Представивъ безобразіе, до котораго доводитъ пьянство, авторъ заключаетъ:

Однако надобно, чтобъ больше пилъ народъ:
Хоть людямъ вредъ, за то откупщикамъ доходъ.

Другая басня: «Пьяница и судьба», хотя неоригинальная по вымыслу, начинается оригинальнымъ изложеніемъ:

Въ ночь темную, зимой,
Подъячій пьяный шелъ черезъ рѣку домой;
Съ прямой дороги сбился,
И гдѣжъ? у полыньи каналья очутился,
Споткнулся и на край на самый повалился;
Заснулъ и думаетъ, что онъ на съѣзжей спитъ;
На чистомъ воздухѣ, какъ богатырь, храпитъ....

И между тѣмъ, по странной прихоти человѣческой природы или по трудности распознавать талантъ свой, Измайловъ, называвшій себя Теньеромъ, въ смыслѣ непритворнаго описателя случаевъ и лицъ, въ родѣ вышеприведенныхъ, домогался чести прослыть «писателемъ для дамъ» и не шутя почиталъ себя таковымъ. Въ одномъ посланіи онъ величаетъ себя однимъ изъ главныхъ дамскихъ поэтовъ и многія статьи скрѣплялъ подписью: «писатель для дамъ», а въ послѣдствіи, какъ бы недовольный такимъ ограниченіемъ своего авторства, прибавлялъ: «и для мужчинъ». Нельзя было сильнѣе задѣть его, какъ не признавая за нимъ этого титула. Въ сатирѣ Воейкова: «Домъ сумасшедшихъ», одна строфа посвящена Измайлову:

Вотъ Измайловъ—авторъ басенъ,
Разсужденій, эпиграммъ;
Онъ пищитъ мнѣ: «Я согласенъ,
Я писатель не для дамъ.
Мой предметъ—носы съ прыщами;
Ходимъ съ музою въ трактиръ
Водку пить, ѣсть лукъ съ сельдями;
Міръ квартальныхъ—вотъ мой міръ!»

Сверхъ простоты и теньеровской естественности, басни Измайлова отличаются простодушіемъ и откровенностью, отражая на себѣ характеристическія черты автора. Этими чертами, совершенно противоположными характеру Крылова, Измайловъ походилъ и на Хемницера, котораго онъ, по его словамъ, выбралъ своимъ наставникомъ, и на Лафонтена, который въ сочиненіяхъ своихъ любилъ говорить о самомъ себѣ, такъ что они доставляютъ значительный матеріалъ его біографу. Нашъ баснописецъ превзошелъ въ этомъ отношеніи и того и другаго. При каждомъ случаѣ онъ не скупился на откровенныя извѣстія о литературныхъ, служебныхъ и семейныхъ обстоятельствахъ своей жизни. Различныя черты его портрета, набросанныя имъ самимъ, даютъ возможность представить его личность,—личность добраго, безхитростнаго, прямодушнаго, достолюбезнаго человѣка, съ неважнымъ умомъ, любившимъ ограниченную истину и осязательную ясность, съ мелкимъ образованіемъ, не выступавшимъ изъ круга словесности и питавшимся воззрѣніями французскихъ теоретиковъ. Читатели его сочиненій и журнала, имъ издававшагося (Благонамѣренный), были посвящены даже въ частности его домашняго быта: они знали его наружность, одежду, мѣсто жительства, день рожденія супруги, фамиліи кумовьевъ и крестниковъ, имена кучера, кухарки и другихъ служителей.... Желаніе казаться инымъ, а не быть тѣмъ, что онъ есть, аффектація, притворство встрѣчали въ немъ постоянную антипатію. Отбросивъ ложный стыдъ, онъ исповѣдывался передъ публикой въ своихъ недостаткахъ и не таилъ недостатковъ чужихъ. При словѣ о метроманіи, онъ прямо говоритъ, что и за нимъ водится этотъ грѣхъ:

Люблю писать стихи и отдавать въ печать!
Не потаю грѣха: люблю ихъ и читать

не только друзьямъ сердечнымъ, но встрѣчнымъ и поперечнымъ.

Вышла книжка: «Разпознаваніе и леченіе геморроя», совѣтующая воздерживаться отъ употребленія горячихъ напитковъ,—Измайловъ тутъ же замѣчаетъ:

И даже отъ вина!...
Да лучше пусть болитъ спина!

Запоздалъ нумеръ журнала на масляницѣ, — издатель извиняется въ неакуратности и вмѣстѣ съ тѣмъ объясняетъ ея причину, а именно, что онъ,

Какъ русскій человѣкъ, на праздникахъ гулялъ,
Забылъ жену, дѣтей, не только что журналъ.

Таковъ же Измайловъ и въ своихъ басняхъ. Онъ не простой разсказщикъ того, что дѣлается между людьми или животными: онъ принимаетъ участіе въ событіяхъ и никакъ не можетъ воздержаться, чтобы не заявить своего мнѣнія или чувства. Заявленія эти, всегда искреннія, простодушныя, часто горячія и часто комичныя, составляютъ субъективный элементъ. По инымъ баснямъ можно подумать, что дѣло касается собственной персоны автора, что онъ лично заинтересованъ въ драмѣ и потому, не довольствуясь ролью зрителя, по временамъ выказываетъ свою фигуру изъ-за кулисъ. Длинное заключеніе басни «Клеветникъ» сообщаетъ, что авторъ въ перинной линіи видѣлъ картину страшный судъ. Описавъ, какія изображены на ней муки, уготованныя клеветникамъ, онъ прибавляетъ отъ себя:

Не худо-бъ и живыхъ ихъ жечь,
Или на перекресткахъ сѣчь
Подъ барабанъ лозами...
Однихъ клеветниковъ... А клеветницъ?—Щипцами
Горячими ихъ язычки припечь.

Начавъ басню «Черный Котъ» нѣжно-комическимъ тономъ:

Вы любите кота?
Любите: онъ вѣдь сирота;
Малюткой вамъ еще достался;
Кто подарилъ его, тотъ съ жизнію разстался,

Измайловъ оканчиваетъ ее сердитыми словами:

Всего противнѣй мнѣ Тартюфы—лицемѣры!
О, какъ бы я былъ радъ,
Когда бы поскорѣй они попали въ адъ!

Басня «Смѣтливый экономъ»—образецъ спокойно-добродушной веселости съ одной стороны и личнаго вмѣшательства автора съ другой. Но не всегда онъ оставался спокойнымъ: онъ умѣлъ вспылить, конечно не безъ резона, и въ искренней, любезно-комической вспышкѣ выказать всю свою простоту, наивность и незлобіе. Для примѣра выписываемъ заключительные стихи разсказа о «Дворянкѣ буянкѣ», ведшей себя неприлично въ церкви:

О стыдъ! о срамъ!
И это сдѣлала дворянка и дѣвица!
Проклятая срамница!
Будь я архіерей
Или хоть протоіерей,
То право бъ проучилъ злодѣйку:
На паперти бъ ее поставилъ у дверей,

Вздѣвъ ожерелье ей желѣзное на шейку ([1]).
Сошлось бы множество народа поглядѣть.
Дай Богъ ей вѣкъ весь въ дѣвкахъ просидѣть!

Послѣдній стихъ—совершенство въ своемъ родѣ. Трудно закончить басню болѣе наивнымъ и неожиданнымъ образомъ, и невозможно пожелать бо́льшей напасти дѣвицѣ, смышлявшей жениха.

Оригинальнаго вымысла въ басняхъ Измайлова почти нѣтъ вовсе. Онъ не имѣлъ для этого способности, въ чемъ и сознавался передъ публикой: большую часть своихъ басенъ онъ называлъ вольными подражаніями иностраннымъ баснописцамъ—Езопу, Лафонтену, Флоріану, Ламоту и многимъ другимъ:

Я подражателя названія желаю;
Свой трудъ достоинствомъ чужимъ я возвышаю.

Въ посланіи къ одному изъ друзей своихъ онъ съ горемъ и досадой восклицаетъ:

Бѣда и стыдъ съ моимъ нетворческимъ умомъ!
Я въ вымыслахъ совсѣмъ удачи не имѣю.

Но этотъ недостатокъ творчества вознаграждается другою оригинальностью, которая и служила причиною успѣха басенъ: будучи переводами или подражаніями, онѣ тѣмъ не менѣе своеобразны, какъ отраженіе своеобразной личности на заимствованномъ вымыслѣ, на манерѣ и тонѣ разсказа, на выводахъ, на языкѣ. Въ какомъ бы костюмѣ ни являлся переводчикъ, читатели узнавали въ немъ одну и туже особу—Александра Ефимовича Измайлова, баснописца или, какъ онъ любилъ именовать себя, «фабулиста», со многими достолюбезными качествами русскаго человѣка, которыя обнаруживались въ его литературныхъ произведеніяхъ со всею простотою и наивностью.

§ 21. Настроеніе духа, возбуждаемое отступленіями дѣйствительности отъ идеала, выражались частію въ эпосѣ и драмѣ, а частію и въ самостоятельной формѣ, какъ произведеніи дидактической лирики, т. е. въ собственно такъ называемой сатирѣ. Между писателями въ этомъ родѣ первое, по времени, мѣсто принадлежитъ И. Дмитріеву, хотя онъ сочинилъ только одну сатиру: «Чужой толкъ» (1795) и нѣсколько эпиграммъ, да перевелъ съ французскаго «Посланіе Попа къ доктору Арбутноту» (1793), своему современнику. Оба стихотворенія осмѣиваютъ безумную страсть къ

[1]) Въ старину надѣвали въ церквахъ ошейники на тѣхъ, которые дѣлали тамъ какое-либо безчиніе. Ошейники сіи прикованы были цѣпями къ стѣнамъ. *Примѣч. Измайлова.*

стихотворству, которая ведетъ свое начало издалека и скоро приняла характеръ хронической болѣзни. Еще Горацій замѣтилъ, что отъ страдающаго этою болѣзнію умные люди бѣгаютъ, какъ отъ заразы. Подъ нею, конечно, разумѣлъ онъ не творчество поэта, а ремесло версификатора. Стихотворное рукодѣлье развилось у французовъ въ литературныхъ салонахъ; поощряемое публикой, которая находила въ немъ пріятную для себя забаву, оно достигло крайняго педантизма и сдѣлалось предметомъ комедіи. На что есть запросъ, то и производится въ обиліи. Производство же сбывалось выгодно, доставляя производителямъ извѣстность, покровительство знатныхъ, а иногда выгодныя мѣста и деньги. На ловкаго стихотворца смотрѣли какъ на bel ésprit. Авторскому тщеславію было здѣсь много поживы, хотя, съ другой стороны, оно порождало много смѣшныхъ исторій. Сцена между Триссотиномъ и Вадіемъ, въ «Ученыхъ женщинахъ» Мольера, не выдумана комикомъ: онъ воспроизвелъ дѣйствительную ссору Котэна съ Менажемъ, случившуюся на одномъ собраніи, изъ за какого-то сонета. Стихобѣсіе послужило сюжетомъ и комедіи Пирона «Метроманія» (1738). Оно обуяло не однихъ служителей музъ: конторщики, мелкіе чиновники, отставные генералы брались за переводы Гораціевыхъ одъ и посланій, или за дидактическія поэмы, имѣвшія предметомъ какую-нибудь статью науки. На поэтическую арену выступали:

И крупный господинъ, слагатель мелочей,
И авторъ въ чепчикѣ, и бѣдный дуралей,
И молодой судья, на мѣсто чтенья правъ,
Кропающій экспромтъ, до полночи не спавъ ([1]).

Слѣдуя за направленіемъ вкуса, метроманія специализировалась, т. е. переходила отъ однихъ поэтическихъ родовъ къ другимъ. Французы утоляли свою стихотворческую фурію то на легкой поэзіи, то на басняхъ, то на одахъ. Начало русскаго стихотворства и метрофильства почти совпадаютъ: первымъ метрофиломъ былъ Тредьяковскій. Хотя оно уступало западному въ своемъ значеніи, однакожъ скоро сдѣлалось добычею сатиры ([2]). Особенно была преслѣдуема одоманія — охота писать торжественныя оды, которыя стали у насъ плодиться со времени Ломоносова и въ подражаніе ему. Легкая возможность трубить похвалы кому-

[1]) Изъ посланія къ Арбутноту.

[2]) Примѣръ отчаяннаго метромана въ прошломъ столѣтіи и притомъ самаго низкаго сорта представлялъ Струйскій († 1796), пензенскій помѣщикъ, бывшій владимірскимъ губернаторомъ (Рус. Архивъ 1865 г.).

угодно и на какой-угодно случай объяснена Крыловымъ въ восточной повѣсти «Каибъ» (1792): «Мы (говоритъ стихотворецъ Калифу) даемъ нашему воображенію волю въ похвалахъ, съ тѣмъ только условіемъ, чтобъ послѣ всякое имя выставить можно было. Ода, какъ шелковый чулокъ, который всякій старается растягивать на свою ногу»... Подражая Мольеру, Княжнинъ вывелъ въ комедіи «Чудаки» двухъ стихотворцевъ: идиллика Свирѣлкина и одописца Тромпетина. Но самое ловкое пораженіе хвалебной лирикѣ нанесла сатира Дмитріева: «Чужой толкъ». Съ большимъ остроуміемъ и вѣрностью она изобразила пріемы и свойства громкихъ одъ, выходившихъ изъ подъ пера бездарныхъ риѳмоплетовъ, а вмѣстѣ объяснила и причины неуспѣха нашего торжественнаго пѣснопѣнія. Многіе стихи ея сдѣлались пословицами. Личный характеръ автора и подражаніе французскимъ образцамъ сообщили ей тонъ приличія и уклончивость; но тѣмъ не менѣе, она исполнена колкихъ насмѣшекъ, которыя не теряютъ своей язвительности отъ того, что выговариваются не самимъ авторомъ, а двумя посторонними лицами, какъ показываетъ названіе піесы. «Чужой толкъ» примѣняется къ безталаннымъ слагателямъ одъ, какихъ у насъ было множество; однакожъ и нѣкоторыя произведенія нашихъ лучшихъ стихотворцевъ подходятъ подъ сужденіе и осужденіе умнаго аристарха. Уставу ложно-классической лирики подчинялись и Ломоносовъ, и Державинъ: и они не безъ вины передъ остроумнымъ «толкомъ». Въ частности же, сатирикъ разумѣлъ Николева, Клушина и Бухарскаго; двое послѣднихъ печатали свои стихотворенія въ журналѣ «Зритель» (1792). Слова сатиры, что иная торжественная ода въ двѣсти строфъ, оправдываются посланіемъ Николева къ княгинѣ Дашковой, содержащимъ въ себѣ сто три строфы, по десяти стиховъ въ каждой — всего 1030 стиховъ. Особенности сатирическаго таланта Дмитріева видны и въ его эпиграммахъ — большею частію подражаніяхъ французскимъ или переводахъ съ французскаго, но переводахъ мастерскихъ. Нѣкоторыя изъ нихъ (Живописецъ, Бригадиръ, «Мнѣ лекарь говорилъ», «Я разорился отъ воровъ»...) получили силу пословицъ, какъ типически-вѣрныя изображенія странностей или глупостей. Въ сказкахъ своихъ Дмитріевъ также сатирикъ по преимуществу. Онъ былъ призванъ для этого рода поэзіи, хотя не угадывалъ или не цѣнилъ призванія. Трудно повѣрить, что изъ послѣдняго собранія своихъ стихотвореній онъ хотѣлъ исключить наилучшее—«Чужой толкъ», и только настойчивые просьбы племянника (М. Дмитріева) удержали его отъ такого страннаго самонепониманія.

Поздравительные стихи не вышли изъ обычая и черезъ двадцать почти лѣтъ послѣ «Чужаго толка», какъ можно судить по сатирѣ кн. Долгорукаго «Черты свободнаго писателя» (1813):

Стихи писать теперь есть промыселъ торговый,
И къ праздничному дню бояра всѣ съ обновой.

«Тогда» (1813), замѣчаетъ при этомъ М. Дмитріевъ, «писали стихи и вельможамъ, и покровителямъ, и важнымъ родственникамъ, и богачамъ: ихъ получалъ не только графъ Н. П. Румянцевъ, издававшій на своемъ иждивеніи древнія грамоты и снарядившій корабль для кругосвѣтнаго плаванія, но и Поздняковъ, имѣвшій публичный театръ и дававшій публичные маскарады»(1). Читатели и авторы сошлись въ своемъ благоволеніи къ стихотворству. Хорошіе стихи всегда лучше хорошей прозы, сказалъ Карамзинъ въ разборѣ Душеньки, разумѣя, конечно, равное достоинство внѣшней формы и равнокачественность содержанія. Другіе, упустивъ изъ виду это обстоятельство, полагали, что и посредственные стихи стоятъ хорошей прозы. Лица малаго образованія, не заводившіеся книгами, но не чуждые литературныхъ интересовъ, охотно списывали стихи, которые приходились имъ по вкусу. Подобные сборники иногда достигали большихъ размѣровъ и хранятся въ библіотекахъ, какъ памятники новѣйшей письменности. На литературныхъ чтеніяхъ стихи большею частію приберегались къ концу, pour la bonne bouche, какъ самое лакомое угощеніе. Журналы были немыслимы безъ стихотвореній, которыя занимали первенствующее мѣсто въ отдѣлѣ изящной словесности. Кромѣ охоты писать, явилась неугомонная охота читать свои произведенія. Еще Мольеръ замѣтилъ несносный обычай авторовъ

D'être au Palais, aux Cours, aux ruelles, aux tables
De leurs vers fatiguants lecteurs infatigables.

Наши авторы также зачитывали друзей и недруговъ, которые убѣдились, что бѣда читанія еще злѣе бѣды писанія:

Не говорю, за чѣмъ онъ пишетъ,
Но для чего читаетъ онъ?

Послѣднимъ и самымъ отчаяннымъ представителемъ нашей метроманіи былъ графъ Д. И. Хвостовъ, даривщій свои сочиненія знакомымъ и незнакомымъ, даже станціоннымъ смотрителямъ, когда онъ останавливался для перемѣны лошадей. Онъ часто фигурировалъ, подъ именемъ Графова, и въ эпиграммахъ, и въ басняхъ,

(1) Князь Иванъ Михайловичъ Долгорукій и его сочиненія (1868).

и въ посланіяхъ. Въ особенности занимался имъ баснописецъ А. Измайловъ, самъ платившій дань слабости, надъ которой смѣялся. Укажемъ еще на два посланія кн. Вяземскаго: «Къ перу моему» (подражаніе Буало) и «къ И. И. Дмитріеву», какъ на остроумныя сатиры противъ стихоплетства.

Сатира князя И. М. Долгорукаго (1764—1823) обращалась въ кругу другихъ, болѣе серьезныхъ предметовъ. Она замѣчательна своей оригинальностью, равно какъ и его лирика. Собраніе своихъ стихотвореній авторъ издалъ подъ заглавіемъ: «Бытіе моего сердца» (1802), желая показать съ первой же страницы, что книга служитъ выраженіемъ умственно-нравственнаго бытія его. «Въ стихахъ моихъ», говоритъ онъ въ предисловіи, «я хотѣлъ сохранить всѣ оттѣнки чувствъ своихъ, видѣть въ нихъ, какъ на картинѣ, всю исторію моего сердца, его волненія, перемѣну въ образѣ мыслей, ходъ ихъ въ разныхъ возрастахъ жизни и постепенное развитіе малыхъ моихъ способностей... Всякій стихъ напоминаетъ мнѣ какое-либо или происшествіе, или мысль, или чувство, которое на меня дѣйствовало тогда и тогда; словомъ, мнѣ пріятно себя находить ребенкомъ, мальчикомъ, мужемъ совершеннымъ и наконецъ старикомъ, и видѣть, какою ниткою разсудокъ мой отъ 15 лѣтъ и до 50 прокладывалъ себѣ пути къ счастью въ томъ глубокомъ лабиринтѣ, что анатомисты назвали *сердцемъ*». Таже мысль выражена и нѣкоторыми стихотвореніями. Въ одномъ изъ нихъ Долгорукій откровенно исповѣдуетъ, съ какою цѣлью онъ брался за перо:

Пишу, что кроется во мнѣ:
Нѣмой бумагѣ безъ искусства
Ввѣряю искреннія чувства.
Угоденъ—пусть меня читаютъ,
Противенъ—пусть въ огонь бросаютъ:
Трубы похвальной не ищу.

Характеромъ этихъ искреннихъ чувствъ, сущностью моральнаго бытія автора (бытія его сердца) опредѣляются характеристическія, существенныя отличія его лирики. Здѣсь, по словамъ его, ключъ той оригинальности, которую многіе справедливо приписывали его сочиненіямъ,—оригинальности внутренние и внѣшней, въ содержаніи и въ формѣ.

Князь Долгорукій не любилъ скрывать себя, да и не имѣлъ въ томъ надобности; напротивъ, онъ могъ безъ опасеній *быть* постоянно *самимъ собою*, и дѣйствительно былъ таковымъ, не стараясь казаться чѣмъ-либо инымъ. Отъ природы получилъ онъ прямой, здравый и острый умъ, чувствительность, но не въ смыслѣ сентиментальности, добродушіе, любовь къ истинѣ и дѣйствитель-

ности. Какъ бы въ благодарность за хорошіе дары, онъ питалъ къ природѣ благоговѣйную любовь и преданность, называлъ ее другомъ, вождемъ и матерью, хотѣлъ жить заодно съ нею, потому что въ ней одной видѣлъ источникъ всевозможныхъ отрадъ и въ тоже время роковую непобѣдимую силу, которая не измѣняетъ своихъ, отъ вѣчности заведенныхъ порядковъ. Человѣкъ, по его понятію, есть «узникъ естества, крупный червь, ежечасно мятущійся». Изъ того, что мы давимъ другія творенія, еще не слѣдуетъ величать насъ царями земли:

Ничто здѣсь не для насъ; мы сами для того,
Чтобъ цѣпь кольцомъ связать творенія всего.

Что введено въ чинъ природы, то не можетъ быть намъ вредно, говоритъ Долгорукій, и въ «Посланіи къ Сердечкину» подчиняетъ ея уставу законы человѣческой жизни:

Натурой созданы, въ натурѣ мы живемъ:
Законами ея намъ должно управляться;
По милости ея мы спимъ, ѣдимъ и пьемъ,
По милости ея мы можемъ наслаждаться.

Поклоняясь своему кумиру-природѣ, Долгорукій искренно внималъ естественному чувству и сверхъ того голосу Руссо, котораго онъ цѣнилъ выше всѣхъ философовъ, какъ «благонравнаго» мудреца, и въ одномъ шутливомъ стихотвореніи назвалъ «Рыжимъ Яшкой»:

Ученіе сего философа любя,
Природа! здѣсь и я почувствовалъ тебя.

Поэтъ дорожилъ этимъ чувствомъ какъ истиннымъ благомъ, и никогда не измѣнялъ ему. Въ исторіи его внутреннихъ очущеній оно занимало самое видное мѣсто. Онъ былъ жизнелюбивъ не въ томъ смыслѣ, что боялся смерти, а въ томъ, что не боялся удовлетворять требованія своего естества, тѣлеснаго и душевнаго. Особенно наслаждался онъ *бытіемъ сердца*—«глубокаго лабиринта, въ которомъ прокладывалъ себѣ пути къ счастью». Преданность законамъ природы была возведена имъ въ доктрину, которая служила поэту и правиломъ и оправданіемъ: она узаконяла его страстныя наклонности, увлеченія чувствами, огонь любви, часто воспламенявшійся, долго горѣвшій. Стихи «на постриженіе благородной особы» выдаютъ основную мысль моральной системы автора:

Противу чувствъ вооружайся,
Но побѣдить не обѣщайся:
Природа царь всея земли.

Изъ сказаннаго понятно, почему все условное, идущее на перекоръ естественности, противное здравому смыслу, стѣснительное для свободныхъ отправленій духа и тѣла раздражало Долгорукаго и подвергалось рѣзкимъ его обличеніямъ. Охотно платя дань общечеловѣческимъ связямъ и обязанностямъ, безъ которыхъ невозможна жизнь, онъ ненавидѣлъ тѣ общественныя отношенія, которыя придумываются людьми на взаимную тягость, входятъ на время въ моду и бросаются какъ мода, замѣняясь другими, столькоже неразумными. Одна изъ лучшихъ сатиръ его: «Нѣчто для весельчаковъ» (1815) преслѣдуетъ пустошь стѣснительныхъ обрядовъ свѣта, деспотизмъ такъ называемаго *приличія*. Въ началѣ сатирикъ перечислилъ вѣковѣчные уставы, вполнѣ согласные съ природой и разумомъ; потомъ высказываетъ отличіе истинной морали отъ моднаго этикета, обращающаго живыя существа въ машины; а въ заключительныхъ стихахъ постановляетъ такое рѣшеніе:

Чему не учитъ насъ небесный нашъ Отецъ,
Не требуютъ чего гражданскіе законы,
По мыслямъ то моимъ пустыя лишь препоны...
Гдѣ страха вовсе нѣтъ, тамъ нечего страшиться;
Въ чемъ нѣтъ стыда, того напрасно и стыдиться.

Противоположность между естественнымъ бытомъ человѣка, какъ истиною, и бытомъ общества искуственнымъ, какъ порчею и ложью, развито также въ «Хижинѣ на Рпѣни» (1804) ([1]). Трезвымъ понятіемъ о жизни и ея обязанностяхъ объясняется непріязнь поэта къ болѣзненнымъ явленіямъ въ обществѣ и въ литературѣ, особенно къ болѣзнямъ напускнымъ, которыя въ иную эпоху предпочитаются здоровью. Литературный сентиментализмъ раздражалъ его, какъ несносная аффектація.

Замѣтимъ, что въ сочиненіяхъ Долгорукаго не видно не только подражанія Карамзину, но и сочувствія къ нему, можетъ быть именно по той причинѣ, что въ Карамзинѣ признавалъ онъ творца сентиментальнаго направленія нашей словесности. Долгорукій легко могъ соглашать съ своимъ ученіемъ чувственность, но никакимъ образомъ не могъ оправдывать имъ вздыханье кн. Шаликова. Любя послѣдняго, какъ человѣка, онъ не любилъ, подобно ему, веселиться мечтами, а существенность почитать бѣдой. Будь счастливъ только истиной, внушаетъ онъ ему въ посланіи. По его

---

[1]) Рѣчка близъ Владиміра. На берегу, противоположномъ городу, кн. Долгорукій, бывшій владимірскимъ губернаторомъ, устроилъ хижину, въ которой, въ свободные дни отъ службы, любилъ, по нѣскольку часовъ въ день, предаваться совершенному уединенію: тамъ онъ читалъ, мечталъ и писалъ стихи (Кн. Долгорукій, М. Дмитріевъ).

мнѣнію, Жанлисъ, Редклифъ и Сталь много разстроили жизнь своимъ сладкимъ вздоромъ. Химерическія мечты онъ называлъ отравой нашего спокойствія и къ числу ихъ относилъ нарумяненныя картины простонароднаго быта у русскихъ идилликовъ. Піеса «Жизнь» забавно представляетъ разочарованіе тѣхъ любителей сельской жизни, которые составили о ней понятіе по Геснеру. Измайловъ, кн. Шаликовъ и другіе сентиментальные вояжоры расписывали прелести путешествія по Россіи; Долгорукій, въ «Ропотѣ на дорогу», подтвердилъ справедливость замѣтки, что въ Россіи, при тогдашнихъ дорогахъ, можно было ѣздить по дѣламъ, но не путешествовать. Другое дѣло, разсуждаетъ онъ, за границей,

А здѣсь ѣзда—бѣда ужасна
На почтовыхъ ли, на своихъ!
Земля, кормилица несчастна,
Плодовъ не носитъ никакихъ.
Дороги нѣтъ, мосты поганы,
Въ избахъ вонь, чадъ и тараканы,
Путемъ нельзя ни лечь, ни сѣсть;
Вездѣ велитъ неволя драться,
Во всякой всячинѣ нуждаться, —
Не сыщешь мягкой булки съѣсть.

Это говорилъ истинно-русскій человѣкъ, которому и дымъ отечества былъ сладокъ,—говорилъ не ради обличеній, не изъ злорадства, а единственно потому, что, смотря на вещи прямо и возмущаясь всякою ложью, слѣдовательно и ложнымъ стыдомъ, онъ не боялся видѣть дыма, а видя его принималъ за то, что онъ есть.— Такъ какъ простоты и естественности прежде было больше, чѣмъ въ новое время, когда, на ряду съ выгодами образованія, развилось и «образованное зло», то, въ этомъ отношеніи, Долгорукій предпочитаетъ старинную жизнь современной, подъ маскою приличій скрывающей самыя неприличныя качества. Стихи: «Въ послѣднемъ вкусѣ человѣкъ» (1798) содержатъ въ себѣ съ одной стороны похвалу предкамъ, а съ другой — сатиру на людей новѣйшаго фасона. Сочувствіе къ природѣ, прямой взглядъ на дѣйствительность и оцѣнка впечатлѣній по ихъ искренности и правдѣ спасли талантъ Долгорукова отъ ложныхъ направленій въ литературѣ. Онъ свободно пошелъ по прямой и открытой дородѣ, гдѣ ему предстояло своеобразное развитіе, не по примѣру другихъ, а скорѣе въ примѣръ другимъ.

Форма стихотвореній Долгорукова обусловлена качествами ихъ содержанія. Простота и естественность въ понятіяхъ и чувствахъ повела къ простому, естественному ихъ выраженію. Какъ онъ по жизни умственной и нравственной любилъ оставаться самимъ со-

бою, такъ и на словѣ его лежитъ печать самобытности. Онъ это сознавалъ положительно и заявилъ въ предисловіи: «книга моя не похожа ни на чью; она не соображена ни съ римскими, ни съ греческими древними красотами». Другими словами: книга Долгорукова отбросила направленіе, тонъ и формы лжеклассицизма, подъ которымъ большинство писателей представляло себѣ древне-классическую поэзію. Но такая свобода стихотворца, какъ нарушеніе общепринятыхъ правилъ, была для того времени смѣлою ересью. Оригинальность, которую мы теперь хвалимъ, тогда непріятно поражала критиковъ и могла вызвать укоры, а не похвалу. Авторъ счелъ нужнымъ если не оправдывать, то по крайней мѣрѣ пояснять несходство своихъ произведеній со всѣми прочими: «конечно, для всякаго творца эпопеи или трагедіи предосудительно стать выше общаго мнѣнія и попирать деспотически всѣ правила принятаго вкуса; но неужли и Ѳеклу пѣть надобно такимъ же размѣромъ, какимъ пѣвали трубадуры своихъ красавицъ?» Это, могъ прибавить Долгорукій, была бы пародія, своего рода обезьянство, не потому что предметъ носитъ простое имя, а потому что чувства, возбужденныя предметомъ въ душѣ автора, должны были облечься не въ классическую одежду, а въ одежду соотвѣтственно бытію авторскаго сердца. Не ровняя себя ни съ Ломоносовымъ, ни съ Державинымъ, ни съ Мерзляковымъ, ни съ Карамзинымъ, Долгорукій показалъ тѣмъ, что онъ такъ-же хорошо понимаетъ ихъ, сколько и себя самого. Поэтическій инструментъ свой называлъ онъ «балалайкой», а игру на немъ «мурныканьемъ», хотя ему слѣдовало бы прибавить, что вѣрно настроенная балалайка лучше разстроенной арфы и задушевное мурныканье пріятнѣе громогласнаго, но фальшиваго пѣнья. Не видно у него заботы отчеканивать стихи; напротивъ, частенько онъ довольствовался такими словами, о которыхъ можно сказать: живетъ, годится. Но, уступая другимъ въ изяществѣ слога, его стихи представляютъ драгоцѣнное преимущество: на нихъ—чеканъ русскаго ума, русской рѣчи. У инаго стихотворца піеса выведена словно красивое зданіе, а толку въ ней нѣтъ или очень мало; въ піесахъ Долгорукаго всегда народный толкъ, народный складъ. Самыя заглавія нѣкоторыхъ піесъ выбраны изъ чисто-русскаго словаря и непереводимы на иностранный языкъ, равно какъ ихъ содержаніе взято изъ нашего кореннаго быта. Таковы: «Авось», «Везетъ», «Живетъ». Авторъ любилъ бойкіе руссизмы, въ реченіяхъ и оборотахъ, и безъ боязни пользовался обычными умопредставленіями и обычнымъ матеріаломъ для ихъ выраженія, отъ которыхъ вѣроятно морщились тогдашніе пуристы въ поэзіи, дозволявшіе ея слу-

*

жителямъ только избранный языкъ. Примѣровъ не приводимъ: они встрѣчаются почти въ каждомъ его стихотвореніи. Здѣсь-то и причина, почему Долгорукій такъ легко и сочувственно сказывался чистокровному русскому человѣку и почему многія его произведенія встрѣчаются въ рукописныхъ сборникахъ стиховъ. Существенными чертами своей лирики онъ живо напоминаетъ Державина, но съ тѣмъ различіемъ, что въ ней нѣтъ Державинскаго поэтическаго взмаха. Онъ не хваталъ, какъ говорятъ, звѣздъ съ неба, но за то и не спотыкался на гиперболы, какъ иногда Державинъ въ своемъ заоблачномъ полетѣ. Вотъ, для примѣра, двѣ строфы изъ стихотворенія: «Мой театръ»:

Тарифъ меня не безпокоитъ,
Въ сукнѣ я толку не знавалъ;
Иной безъ сахару все поитъ,
Я чай и съ патокой пивалъ.
Въ карманѣ рубль коль залежится,
Поставлю въ мигъ его ребромъ:
Моя забава — суетиться,
Мой рай—людьми набитый домъ.

Мнѣ нужды нѣтъ, гдѣ миръ, гдѣ драка,
Куда полки бѣгутъ солдатъ,
Который баринъ скушалъ рака,
Какому данъ вельможѣ матъ;
Въ моемъ углу храня свободы
Благонамѣренный законъ,
Лѣнюсь, и радъ, что воеводы
Уже не грезится мнѣ сонъ.

Хотя всѣ стихотворенія Долгорукаго выражаютъ «бытіе его сердца», однакожъ въ нихъ можно различить три рода: одни шутливыя, исполненныя умной и веселой ироніи, а иногда и юмора (Авось, Везетъ, Живетъ, Семира Болеславна); другіе, въ стилѣ Горацiанскихъ одъ, но въ духѣ русскомъ, относятся къ дидактической лирикѣ (Каминъ въ Пензѣ, съ котораго началась поэтическая извѣстность автора и за которымъ слѣдовали: «Каминъ въ Москвѣ» и «Война каминовъ»; Завѣщаніе, Размышленіе о смерти, Послѣдняя пѣснь моимъ современникамъ, Взглядъ старца на заходящее солнце); третьи принадлежатъ къ сатирамъ (Въ послѣднемъ вкусѣ человѣкъ, Черты свободнаго писателя, Приказъ швейцару, Нѣчто для весельчаковъ, Торжество совѣсти, Пиръ, Пріятелю). Личность автора, какъ человѣка, всецѣло и прекрасно изображена въ стихотвореніи «Я» [1].

---

[1]) Князь Иванъ Михайловичъ Долгорукій и его сочиненія. Сочиненіе М. А. Дмитріева (изд. 2-ое, 1863). Извѣстіе о запискахъ кн. И. М. Долгорукова,

О сатирѣ князя Д. П. Горчакова (1756—1824) [1] нельзя сказать того же, что мы замѣтили о произведеніяхъ двухъ предъидущихъ сатириковъ: она не выказываетъ въ авторѣ, какъ у Дмитріева, человѣка уклончиваго, соблюдающаго, при всей колкости остроумія, пріемы и формы салоннаго круга, и не смягчается, какъ у кн. Долгорукаго, шуткой или юморомъ. Князь Горчаковъ не любилъ золотить пилюли; желая нанести меткіе и тяжелые удары, онъ не облекалъ своей руки въ лайковую перчатку. Его негодованіе — холерическое, безъ мысли не только о мирѣ, но даже о временномъ примиреніи. Онъ дѣйствовалъ перомъ съ воинственной отвагой и противъ подлыхъ чувствъ и дѣлъ шелъ такъ же смѣло, какъ на приступъ Измаила, не щадя враговъ. Враги были не внѣшніе, какъ прежде, а внутренніе и многочисленные — «новыя неистовства вѣка». Это—игроки, вѣжливо и хладнокровно пускающіе цѣлыя семейства по міру; Подлягины, не правители, а разорители ввѣренныхъ имъ губерній; казнокрады, грабящіе казну за невозможностью ограбить согражданъ; подрядчики, болѣе чумы и картечи пагубные для арміи; откупщики, настроившіе себѣ чертоговъ на разбавленное или приправленное вино.... короче: «злодѣйствъ мерзительный соборъ». Особенному гнѣву сатирика подвергаются тѣ дворяне, что совершенно забыли французское изреченіе: «la noblesse oblige». Онъ выставляетъ на позоръ постыдную ничтожность Пустоновъ и Праздиолюбовъ, утрату чести, долженствующей быть главнымъ отличіемъ благороднаго сословія, и пренебреженіе къ службѣ, составляющей главную его обязанность. Корень такого зла сатирикъ находитъ въ антинаціональномъ воспитаніи русскихъ бояръ, которое и преслѣдуется имъ нещадно. Въ комедіи «Безпечный», Легкосердъ винитъ отцовъ за недостойное поведеніе ихъ дѣтей:

Куда своихъ дѣтей свернули вы умы?
Дворянства должности въ ихъ сердцѣ истребили
И чужестранною лишь пустошью набили.
А что причиною прямою этихъ бѣдъ?
Обычай общій нашъ—брести боярамъ въ слѣдъ.
Они дѣтей своихъ пошлютъ въ заморски школы,—
И мы, не осмотрясь, богаты или голы,

М. Н. Лонгинова (Рус. Архивъ 1865); его же: Хронологія нѣкоторыхъ стихотвореній кн. Долгорукаго (ib). Капище моего сердца, соч. Долгорукаго, любопытное для характеристики его страстной натуры (Чтенія въ Москов. Обществѣ Исторіи, 1878 г.); Выдержки изъ старой записной книжки (Рус. Арх. 1876, кн. 3).

[1]) Отецъ Михаила Дмитріевича, бывшаго главнокомандующимъ нашими войсками въ Крымскую войну.

Своихъ туда же шлемъ, какъ будто бы у насъ
Наукъ и разума совсѣмъ исчезнулъ гласъ.
Да ужъ добро бъ они тамъ стали мудрецами;
А то противное: еще бѣднѣй умами.

Гораздо рѣзче и язвительнѣй осмѣиваются русскіе французы, подъ именемъ «невѣроятныхъ (incroyables), въ «Посланіи къ кн. С. Н. Долгорукому» (1). Это — лучшее стихотвореніе кн. Горчакова, по энергическому пылу родственное тирадамъ Чацкаго, въ «Горѣ отъ ума». Другія сатиры его большею частію хранятся въ рукописи; изъ нихъ замѣчательна «Святки». Вообще кн. Горчаковъ печаталъ мало. Онъ былъ дилетантомъ въ литературѣ, а не записнымъ словесникомъ. Современники отдавали справедливоость его уму, дарованіямъ и остротѣ. Въ шуточномъ произведеніи Воейкова: «Парнасскій адресъ-календарь», онъ титулованъ дѣйствительнымъ поэтомъ, экзекуторомъ при наказаніи сатирическимъ бичемъ разврата, ябеды и грабительства, и кавалеромъ лавроваго листа съ надписью: «за сатиры» (2).

Въ число «новыхъ неистовствъ вѣка» князь Горчаковъ включилъ и новыя литературныя явленія: реформу Карамзина, сентиментализмъ, размноженіе періодическихъ изданій, мѣщанскія драмы. Онъ смѣялся надъ ними остроумно, хотя и невсегда справедливо. Нѣкоторые стихи его по этому предмету сдѣлались поговорками. Имъ изобрѣтено слово «коцебятина»; имъ же удачно противопоставлены журналы книгамъ:

Исполнить торопясь писательски желанья,
Всѣ въ ежемѣсячны пустилися изданья,
И наконецъ я зрю въ странѣ моей родной
Журналовъ тысячи, а книги ни одной.

Извѣстна также эпиграмма, сочиненная имъ на Карамзина, въ формѣ обращенія къ поклоннику послѣдняго:

Когда и отъ кого (скажи мнѣ безпристрастно)
Хвалить Карамзина помѣху ты встрѣчалъ?
Тебѣ самъ Буало въ наукѣ стихотворства,
Окончивъ перву пѣснь, на это право далъ (3).

Недовольство сатирика новымъ слогомъ и новымъ направленіемъ словесности нашей понятно. Онъ не могъ признать ихъ законности,

---

1) Ист. Христ. II.
2) Рус. Арх. 1866.
3) Первая пѣснь Буало оканчивается стихомъ:

Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire.

(Библіогр. Записки М. Лонгинова, въ 5 № Соврем. на 1857 г.).

потому что все его сочувствіе было безраздѣльно отдано такъ называемымъ классическимъ писателямъ временъ Людовика XIV и Людовика XV. Въ Вольтерѣ видѣлъ онъ образцоваго трагика, не имѣвшаго себѣ соперниковъ. А какъ Вольтеровы трагедіи служили органомъ религіозныхъ и политическихъ мнѣній, то и русскія піесы того же рода почти исключительно нравились Горчакову, который въ «Совѣтѣ Пустону» (1793) говоритъ:

Старался ль ты себя на верхъ Парнасса взнесть,
Испивъ отъ свѣтлыхъ струй изъ тока Ипокрены,
Насъ тронуть бѣдствіемъ Семиры и Сорены?

Похвалы Соренѣ объясняются, конечно, не одною дружбою Горчакова къ ея автору (Николеву), но дидактизмомъ самой драмы, разсыпанными въ ней сентенціями о долгѣ властителей и о злоупотребленіяхъ власти. Сатирикъ не могъ переварить того факта, что мѣщанскія драмы, освободившія насъ отъ «издревле чтимыхъ узъ», перебиваютъ дорогу у французской Мельпомены:

Къ законнымъ дѣтямъ дверь чувствительности скрыта:
Нѣтъ жалости къ бѣдамъ несчастна Ипполита,
Иль Ифигеніи, стенящей отъ отца.

Въ замѣткѣ на одинъ стихъ изъ посланія къ кн. Долгорукову, авторѣ презрительно отзывается объ англійской и нѣмецкой драматической поэзіи: «англичане, а болѣе нѣмцы смѣшатъ въ комедіяхъ глупостями выведенныхъ на сцену пошлыхъ дураковъ или сумасшедшихъ. Изобрѣтеніе сего способа, избавляющаго автора отъ трудной обязанности быть умнымъ, должно заслуживать отъ многихъ нынѣшнихъ писателей общую благодарность». Преслѣдуя въ новой драмѣ порчу вкуса, князь Горчаковъ осмѣивалъ русскихъ Стерновъ и «дамскихъ прозопіитовъ» за ихъ лжечувствительность и разстроенную фантазію. По образу мыслей, онъ былъ «бесѣдистъ», т. е. членъ Бесѣды любителей русскаго слова, и въ стихахъ раскрывалъ тѣ самыя явленія общественной безнравственности, о которыхъ постоянно говорилъ Шишковъ въ своихъ рѣчахъ, критикахъ и разсужденіяхъ. Какъ Шишковъ, онъ ставитъ идеаломъ—доблестные примѣры отцовъ, «громъ прошедшей славы», а причиною уклоненій отъ идеала почитаетъ учителей-софистовъ, подрывающихъ уваженіе къ родству, священной власти и русскому имени. Съ одной стороны указывается имъ чувство народной гордости, безъ котораго невозможна героическая преданность отечеству, а съ другой чувство самости, себялюбія, которое способно производить только подлыя души и подлыя дѣла ([1]).

[1]) Нѣсколько стихотвореній кн. Горчакова помѣщены въ Другѣ просвѣщенія (1804—1806). Укажемъ главнѣйшія: «Стансы» (1804, №№ 5 и 10), «Письмо къ

имѣли уже три изданія (1815, 1816 и 1822). Не доказываетъ ли это, между прочимъ, что при распредѣленіи писателей по табели литературныхъ ранговъ обращалось большое вниманіе на предметы ихъ произведеній? Чѣмъ важнѣе былъ предметъ сочиненія, по своей природной сущности или общественному значенію, чѣмъ сильнѣе занималась имъ мысль образованной публики, тѣмъ скорѣе оно подкупало критику, способную при этомъ не замѣчать ни другихъ его достоинствъ, ни его недостатковъ. Пѣвецъ столичной жизни могъ разсчитывать на большее число слушателей, чѣмъ описатель провинціальнаго быта. Кто изображалъ моря, озера, рѣки, тотъ сильнѣе привлекалъ глаза и чувство, нежели живописецъ какой-нибудь лужи. Извѣстнѣйшія сатиры Милонова имѣли своимъ предметомъ широкія водныя пространства: временщика-Рубеллія, вельможъ, Римъ; сатирамъ Нахимова досталось мелководье: подьячіе, Кутейкины, Мерзилкины (русскіе выродки, превратившіеся въ офранцуженныхъ гадинъ), Пурсоньяки (французы-выходцы и проидохи, бѣжавшіе на родинѣ съ галеръ и водворившіеся въ Россіи на хлѣбное гувернерство) и т. п. Что эта мелочь въ сравненіи съ Рубелліемъ? и стоитъ ли она ювеналовскаго гнѣва? Нахимовъ и не думалъ посягать на лиру Пиндара, или на бичъ фурій. Онъ даже написалъ похвальную «Пѣснь лужѣ», находя въ ничтожномъ предметѣ законную причину его существованія. За то шутливыя сатиры его ясны и положительны, какъ нельзя лучше: нѣтъ въ нихъ общихъ мѣстъ или намековъ, остающихся для большинства читателей загадками. Конечно, ему легче было справляться съ низменными мѣстностями: онъ могъ ступать по грязному мѣсту не оглядываясь и даже не снимая сапоговъ. За то сочинеія его пріобрѣли популярность въ обширной средѣ людей, образованіе которыхъ не отличалось высокимъ уровнемъ. Это доказывается, во-первыхъ, частыми ихъ изданіями ([1]); во-вторыхъ тѣмъ, что сатиры и эпиграммы Нахимова быстро огласились не только на его родинѣ — въ Малороссіи, но и между великоруссовъ. «Элегію-сатиру» (1809) знали наизусть и приказные, въ ней осмѣянные, и школьники, забавлявшіеся ея содержаніемъ и формой. Авторъ пародировалъ въ ней высоко-лирическій тонъ:

Восплачь канцеляристъ, повытчикъ, секретарь,
Надсмотрщикъ возрыдай и вся приказна тварь!
Ланиты въ горести чернилами натрите
И въ перси перьями другъ друга поразите!

---

[1]) Семь изданій съ 1815 по 1852.

Источникъ горести приказной твари—въ ея разрушенномъ идеалѣ:

О чинъ ассесорскій, толико вожделѣнный!
Ты убѣгаешь днесь, когда я, восхищенный,
Мнилъ обнимать тебя, какъ друга, какъ алтынъ;
Быть можетъ—навсегда прости любезный чинъ.

«Элегія-сатира» была піесою кстати. Она сочинена въ самый годъ указа объ экзаменахъ на гражданскіе чины (коллежскаго ассесора и статскаго совѣтника) для лицъ, не получившихъ университетскаго образованія. Цѣль указа состояла въ уничтоженіи «удобства достигать чиновъ не заслугами и познаніями, а однимъ пребываніемъ на службѣ и счисленіемъ лѣтъ ея». Испытанія производились изъ правовѣдѣнія, наукъ словесныхъ, историческихъ и физико-математическихъ. По русскому языку требовалось знаніе его грамматики и умѣнье правильно сочинять на немъ. Чтобы доставить способъ состоящимъ на службѣ лицамъ пріобрѣсти требуемыя свѣдѣнія, въ университетскихъ городахъ ежегодно открывались курсы вышеозначенныхъ наукъ на лѣтніе мѣсяцы (съ мая по октябрь). Нахимова пригласили преподавать грамматику. Подъ вліяніемъ юмора и сатирической настроенности открылъ онъ въ Харьковѣ свои уроки чтеніемъ стиховъ: «Предисловіе къ Россійской Грамматикѣ» (1810):

Блаженъ, кто въ жизни сей съ указкой межъ перстовъ,
Прошедъ сквозь *юсъ* и *кси*, достигнулъ до складовъ,
И тамо въ *бра* и *дра* (¹) прилежно углублялся, и пр.

Онъ заставлялъ однихъ слушателей писать на доскѣ «Похвалу гусиному перу», передъ которымъ подьячіе, въ знакъ благодарности, должны преклонять свою главу (²), или басню «Дьякъ и Нищій», другихъ — склонять имена «сучекъ» и «крючекъ», или спрягать глаголы «брать» и «драть». Можно замѣтить, что со стороны молодаго учителя, недавно сошедшаго съ студентческой скамьи, было неделикатно издѣваться въ лицо надъ своими земляками, между которыми находились, безъ сомнѣнія, люди почтенныхъ лѣтъ и уважаемыхъ качествъ. Надобно было помнить, что указъ 1809 г. прекращалъ имъ всякое движеніе по службѣ, такъ какъ въ извѣстные годы тяжело учиться и трудно удовлетворять обширной программѣ испытанія. Съ этой стороны Карамзинъ не одобрялъ исключительности указа и, главное, его обратнаго дѣйствія. Можетъ статься, Нахимовъ ясно представлялъ себѣ всю пользу постановле-

¹) Намекъ на глаголы *брать* и *драть*.
²) Сочиненія Нахимова, изд. Смирдина.

нія, которое, рано или поздно, хотя и принудительною мѣрою, наполнитъ наши университеты слушателями и быстро двинетъ высшее образованіе юношества, которое, въ особенности изъ дворянскаго сословія, рѣдко шло далѣе корпусовъ и пансіоновъ. Указъ 1809 г. «гласилъ о просвѣщеніи», а просвѣщеніе угрожало конечною гибелью взяточничеству и ябедѣ. Подобно Нарѣжному, Нахимовъ смотрѣлъ на ябеду, какъ на «исчадіе ада», и въ Малороссіи видѣлъ примѣры ея опустошительныхъ дѣйствій. Можно ли было ему не радоваться, что, наконецъ, пущено въ ходъ наилучшее средство противъ малограмотности, грубаго образа жизни и кривосудія дьяковъ и подьячихъ? И вотъ онъ, не хуже Сумарокова, пользуется каждымъ случаемъ задѣть «крапивное сѣмя»: въ стихотвореніи «Звѣринецъ», судья-медвѣдь носитъ имя Ворворворъ, риѳмующее слову «живодеръ»; въ эпиграммѣ: «Чортъ и смерть», курносая дивится, какъ можно искать души въ секретарѣ; «Сказаніе о Ѳемидѣ и объ иноплеменныхъ приказныхъ» повѣствуетъ, что чувствительное сердце Юпитеровскаго (на планетѣ Юпитеръ) дьяка, какъ натуральная рѣдкость, или игра природы, было отослано Ѳемидой въ кунсткамеру. Другимъ, ненавистнымъ Нахимову предметомъ были французы вообще, французскіе гувернеры въ частности и обученные ими русскіе. Первыхъ изобразилъ онъ въ статьѣ: «Словесныя обезьяны», на вторыхъ написалъ комическую поэму «Пурсоніада», а третьимъ досталось въ «Мерзилкинѣ». Сатира во всѣхъ этихъ сочиненіяхъ слишкомъ откровенна и переходитъ въ брань. Какъ видно, авторъ хотѣлъ лучше быть грубымъ, нежели скрывать свою антипатію, которая объясняется господствовавшею въ то время галломаніей, а потомъ пробужденіемъ народнаго чувства въ войнахъ съ Наполеономъ.

Воейковъ (1778—1839) имѣлъ большую наклонность къ сатирѣ, какъ доказывается его «Посланіемъ къ Сперанскому» (1806), «Домомъ сумасшедшихъ» (1814—1838) [1] и «Парнасскимъ адресъ-календаремъ». Онъ умѣлъ подмѣчать смѣшныя стороны и крупные недостатки людей и выражать ихъ рѣзкимъ словомъ. Но этотъ сатирическій даръ, подъ вліяніемъ другихъ психическихъ свойствъ, принялъ одностороннее направленіе. Авторъ не могъ придать своей сатирѣ ни собственно-поэтическаго, ни нравственнаго достоинства: она постоянно впадала либо въ каррикатуру, либо въ пасквиль; орудіями ея были—оскорбительно-рѣзкій тонъ, злые намеки, гру-

---

[1]) Первая редакція этой сатиры относится къ 1814 г.; потомъ, въ теченіи 24-хъ лѣтъ, она пополнялась (Русская Старина 1874, мартъ).

бая брань, хотя не лишенная силы, но весьма часто лишенная правды, которая почти не принималась во вниманіе. На людей Воейковъ смотрѣлъ не иначе, какъ на пріятелей своихъ или на своихъ враговъ. Не типы ему были нужны, а личности; не литературные интересы вообще, а отношенія къ той или другой литературной партіи двигали перомъ его. Члены «Арзамаса» могли быть увѣрены въ его похвалахъ, такъ же какъ члены «Бесѣды» въ его хулѣ: каждый изъ послѣднихъ являлся у него либо пошлымъ дуракомъ, либо подлецомъ. Но стоило только бесѣдисту выдти изъ Бесѣды, стать экс-бесѣдистомъ, какъ онъ изъ глупаго и подлаго преображался въ умницу и честнаго. Мѣры не было ни въ чемъ— ни въ порицаніяхъ, ни въ похвалахъ; но всего меньше было чувства правды, даже желанія быть правдивымъ. Что, напримѣръ, нашелъ Воейковъ смѣшнаго въ занятіяхъ Каченовскаго русской археологіей? Какъ онъ отозвался объ одномъ изъ образованнѣйшихъ своихъ современниковъ — И. М. Муравьевѣ-Апостолѣ? Намѣренная неразборчивость, подведеніе разнородныхъ личностей подъ одинъ уровень роняетъ значеніе сатиры и сатирика, выказывая въ немъ стремленіе не обличать дѣйствительные недостатки, а выдумывать небылицы.

Лучшее изъ сатирическихъ стихотвореній по внутреннему достоинству—«Посланіе къ Сперанскому», частію подражаніе, частію переводъ пятой сатиры Буало (A. m. le marquis de Dangeau). Какъ извѣстно, Сперанскій не пользовался расположеніемъ тщеславныхъ отраслей именитыхъ родовъ: гордые мыслію о своемъ высокомъ происхожденіи, они смотрѣли на государственнаго дѣятеля, какъ на выскочку изъ низменной среды. Литератору, при сочувствіи къ человѣку, собственными трудами возвысившему свой родъ, было весьма кстати напомнить этимъ гордецамъ, не имѣющимъ лично за собою никакихъ заслугъ передъ отечествомъ, тѣ истины, которыя въ первой половинѣ XVIII-го вѣка Кантемиръ высказалъ во второй своей сатирѣ. Умѣстно также обращеніе сатирика къ дураку, «воспитанному французами», какъ къ представителю тщеславнаго высшаго дворянства: оно указываетъ на сильное развитіе и укорененіе французскаго воспитанія русскаго юношества въ высшемъ сословіи, при Александрѣ I. Вообще паѳосъ сатирика, возбужденный съ одной стороны раздраженіемъ противъ людей, величающихся титлами предковъ, украшающихся чужимъ добромъ, а съ другой—государственными дѣйствіями Сперанскаго, есть чувство благородное и даетъ истинную цѣну посланію.

Достойнаго представителя нашла себѣ сатира въ князѣ П. А. Вяземскомъ (род. 1792 г.). Сознаніе своего мѣста и значенія среди

русскихъ писателей высказано имъ самимъ въ рѣчи на юбилеѣ пятидесятилѣтней литературной его дѣятельности (¹). Вотъ что отвѣчалъ онъ на привѣтствіе графа Д. Н. Блудова: «Вы во мнѣ радушно привѣтствуете и ласково провожаете живое и нечуждое сочувствіямъ вашимъ преданіе. Вы въ моемъ лицѣ празднуете умилительную тризну славнымъ покойникамъ, которыхъ нѣкогда былъ я питомцемъ, современникомъ и товарищемъ. Не мои дѣла, не мои труды, не мои побѣды празднуете вы. Вы заявляете сердечное слово, вы подаете ласковую руку простому рядовому, который удѣлѣлъ изъ побоища смерти и пережилъ многихъ знаменитыхъ сослуживцевъ.... На литературномъ поприщѣ я живое воспоминаніе великой эпохи. Я напоминаю вамъ имена ея, имена Карамзина, Жуковскаго, Пушкина и нѣкоторыхъ другихъ знаменитыхъ ея дѣятелей.... Это не заслуга, но это право на сочувственное вниманіе ваше. Вы вмѣняете мнѣ въ заслугу счастіе, которое сблизило и сроднило меня съ именами, вамъ любезными и съ блескомъ записанными на скрижаляхъ памяти народной» (²). Никто не имѣетъ права сомнѣваться въ искренности этого мнѣнія, которое юбиляръ назвалъ своимъ убѣжденіемъ; но можно, однакожъ, думать, что въ него вошла значительная доля сдержанности. Какъ воспитанникъ Карамзина, какъ другъ Жуковскаго и Пушкина, кн. Вяземскій, конечно, стоялъ къ нимъ близко и былъ сослуживцемъ двухъ послѣднихъ, но одною современностью жизни и службы съ почетнѣйшими именами нашей словесности не пріобрѣтается литературная извѣстность: для нея необходимо собственное дѣло, нужна личная заслуга, независимо отъ родственныхъ или пріятельскихъ связей, хотя и при этихъ связяхъ, какъ вообще въ жизни, не теряетъ своей силы умное изреченіе: «скажи мнѣ, съ кѣмъ ты водишься, и я скажу тебѣ, кто ты». Становиться на сторонѣ Карамзина, Жуковскаго, Пушкина значило становиться на сторонѣ выдающихся талантовъ и производимаго ими литературнаго движенія впередъ. Такой выборъ по малой мѣрѣ обнаруживаетъ въ избирателѣ инстинктивное чувство лучшаго, болѣе живаго и свѣжаго, болѣе отвѣчающаго состоянію времени. Высшая же мѣра опредѣляется сознаніемъ законности выбора и трудами на пользу выбраннаго предмета. Тогда дѣятель

---

¹) Первымъ сочиненіемъ кн. Вяземскаго было «Посланіе къ *** въ деревню» (Вѣст. Евр. 1808 г.); слѣдовательно пятидесятилѣтіе исполнилось въ 1858, но по нѣкоторымъ обстоятельствамъ оно праздновалось въ 1861-мъ.

²) Юбилей пятидесятилѣтней литературной дѣятельности кн. Петра Андреевича Вяземскаго (Спб. 1861).

становится самъ почетнымъ членомъ той школы, которая предназначила себѣ цѣлью улучшеніе языка или обновленіе и расширеніе поэзіи. Въ этомъ-то содѣйствіи прогрессивному литературному движенію и состоитъ заслуга кн. Вяземскаго. Она тѣмъ болѣе достойна вниманія, что образованіе кн. Вяземскаго совершилось почти подъ исключительнымъ вліяніемъ такъ называемой классической словесности французовъ ([1]), которые упорно держатся литературныхъ правилъ и преданій, какъ бы въ противоположность той быстротѣ и отвагѣ, съ какими они производятъ соціальные и политическіе перевороты. Своимъ знакомствомъ съ французскими классиками кн. Вяземскій пользовался какъ ловкимъ орудіемъ не для поддержки того, что нашими литераторами было заимствовано у французскихъ писателей XVII и XVIII вв., а для осмѣянія ревнителей стараго слога и псевдоклассическаго вкуса, для отраженія нападокъ на новый слогъ и исторію Карамзина, на романтизмъ Жуковскаго, на новоромантизмъ Пушкина. Его сатиры, эпиграммы и полемическія статьи, по поводу этихъ предметовъ, отличаются здравымъ умомъ, мѣткимъ остроуміемъ и своеобразнымъ стилемъ, разумѣя подъ послѣднимъ не одинъ складъ рѣчи, но и способъ представленія. Какъ членъ «Арзамаса», кн. Вяземскій, вмѣстѣ съ другими лицами того же кружка, пріобрѣлъ навыкъ самостоятельно относиться къ литературнымъ вопросамъ и подвергать критикѣ новыя произведенія писателей одного съ нимъ направленія. Этотъ обычай круговой пріятельской цензуры сохранилъ онъ и въ послѣдствіи, какъ показываетъ его переписка съ Жуковскимъ и Пушкинымъ. Въ «Арзамасѣ» же, собравшемъ почти всю литературную знать того времени, безъ сомнѣнія выработалось и умѣнье писателя держать себя въ печати, — тотъ приличный и достойный тонъ, который многіе въ укоръ или насмѣшку называли аристократизмомъ, но которымъ благовоспитанный человѣкъ обязывается изъ уваженія къ себѣ самому, литературѣ и публикѣ. — Изъ сатиръ, относящихся къ эпохѣ Александра I, укажемъ слѣдующія: «Къ перу моему» (1816), «Къ Жуковскому» (1821), «Къ Дмитріеву» (1823), «Къ Каченовскому» (1821). Въ первыхъ трехъ авторъ подражалъ Буало (сатиры 2, 3 и 9), въ послѣдней Вольтерову стихотворенію на зависть (de l'envie). Какъ Буало преслѣдовалъ писателей, которые подъ вліяніемъ Ронсаровой школы или испанскихъ и италіянскихъ образцовъ породили во французской литературѣ извращенный вкусъ, такъ сатиры кн. Вяземскаго

[1]) Служа въ Польшѣ (1817—1820), кн. Вяземскій познакомился съ литературою польской и съ лучшими ея тогдашними представителями.

имѣютъ своимъ предметомъ бездарное и пошлое писательство, обратившее поэзію въ ремесло, цеховыхъ стиходѣевъ, напыщенную фразеологію одописцевъ и трагиковъ, комическій сентиментализмъ, педантизмъ и зависть авторовъ, невѣжество большинства читателей, для коихъ «каждый печатный листъ кажется святымъ». Посланіе къ Каченовскому отличается особенною рѣзкостью, объясняемою тѣмъ, что въ лицѣ, къ кому оно адресовано, сатирикъ замѣчалъ постоянно-недружелюбное отношеніе къ Исторіи Карамзина. Эпиграммы кн. Вяземскаго большею частью направлены противъ П. И. Картузова (Голенищева-Кутузова) и Шутовскаго (кн. Шаховскаго), какъ литературныхъ непріятелей Карамзина и Жуковскаго, или осмѣиваютъ Вздыхалова (кн. Шаликова) и Бибриса (Боброва), изъ которыхъ первый довелъ до забавной крайности сентиментализмъ, а второй сдѣлалъ тоже самое относительно стихотворческой напыщенности.

Обличенія кн. Вяземскаго не ограничивались литературною сферою. По своему уму и наблюдательности онъ и не могъ смотрѣть только въ одинъ уголъ края. Онъ обращалъ внимательную мысль и на другія его стороны, замѣчая недостатки общаго внутренняго состоянія нашего, отъ неустройства дорогъ и *квасного* патріотизма до стѣснительнаго устройства цензуры и дальше, и передавая замѣченное письму. Стихотворенія, сюда относящіяся, отличаются еще бо̀льшимъ внутреннимъ вѣсомъ и бо̀льшею силою выраженія. Но какъ они, хотя и знаемыя наизусть всѣми любителями русской сатиры, не имѣются въ печати, то нечего о нихъ и говорить. Свидѣтельствомъ же того, какъ сатирикъ ясно понималъ характеръ нашего общества и положеніе въ немъ выдающихся личностей, можетъ служить письмо его къ Пушкину, 1825 г. [1].

§ 22. Въ исторіи нашей драмы Грибоѣдовъ занялъ высокое мѣсто, какъ авторъ «Горя отъ ума» (1823), оригинальной комедіи, далеко оставившей за собою всѣ предшествовавшія произведенія того же рода.

Главная мысль этой комедіи выражена въ слѣдующихъ стихахъ:

Какъ посравнить, да посмотрѣть
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій,—
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ (Дѣйст. II, явленіе 2).

Понятно, что задачею автора было выставить противоположность двухъ послѣдовательныхъ временъ. Но такъ какъ характеръ времени выражается въ драмѣ посредствомъ образовъ, то Чацкій вы-

---

[1]) Рус. Архивъ 1874, № 1.

веденъ, какъ представитель нынѣшняго вѣка, или, точнѣе, первой его четверти, а всѣ прочія лица служатъ представителями вѣка минувшаго, или, точнѣе, второй его половины.

Какимъ образомъ выработалась личность Чацкаго, въ чемъ его особенности, полагающія между нимъ и другими лицами комедіи различіе, доходящее до противоположности,—такое различіе, которому вѣрится съ трудомъ—это мы видѣли выше (§ 11). Чацкій принадлежитъ къ числу личностей первой четверти нашего вѣка, жившихъ осмысленною жизнію. Онъ передовой человѣкъ того времени, либералъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Фамусовъ, съ своей точки зрѣнія, правъ, выразивъ совѣтъ свой Чацкому такимъ образомъ:

> Пожалуйста при немъ [1] не спорь ты вкривь и вкось,
> И *завиральныя* идеи эти брось....

Еслибъ онъ вмѣсто *завиральныя* сказалъ *либеральныя* (что, конечно, и разумѣлось имъ), стихъ ни малѣйше не потерпѣлъ бы отъ того ни въ содержаніи, ни въ строѣ.

Новыя убѣжденія перестраиваютъ убѣжденнаго на новый ладъ. Ими отмѣняется прежній взглядъ на человѣческія и гражданскія отношенія, выросшій и окрѣпшій на почвѣ низшаго развитія общества, и устанавливается другой въ уровень съ бо̀льшею высотою общественнаго сознанія. Это и обнаруживается въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ Чацкаго. Начнемъ съ его понятія объ отношеніи гражданина къ отечеству. Какъ смотрѣло большинство на службу? Чѣмъ оно обязывало себя передъ государствомъ и чего, въ награду за свои обязательства, искало у государства? Не говорю о томъ многочисленномъ классѣ людей, которые служили единственно по необходимости служить, такъ какъ жалованье давало имъ средство къ существованію; говорю о томъ не менѣе многочисленномъ классѣ служилыхъ, которые или, кромѣ жалованья, имѣли въ виду наживу, или, не нуждаясь въ послѣднемъ, по своей матеріальной обезпеченности, стремились удовлетворить свое чиновническое честолюбіе рангами и знаками отличія. Тотъ и другой классы руководствовались исключительно расчетами себялюбія, безъ всякой мысли о гражданскомъ долгѣ, объ общей пользѣ. Чѣмъ мѐньшимъ трудомъ могли они достигнуть личныхъ цѣлей, тѣмъ этотъ трудъ считался пригоднѣе. Были сплошь и рядомъ такіе, которые только числились на службѣ, не неся никакой ея тягости и однакожъ пріобрѣтая значительныя выгоды отъ своего номинальнаго служенія. Средства къ добыванію видныхъ или теплыхъ мѣстъ не могли,

---

[1]) При Скалозубѣ.

конечно, отличаться совѣстливою разборчивостію; они напоминали іезуитскую сентенцію: цѣль оправдываетъ средство. Наиболѣе употребительное изъ нихъ состояло въ услужливости, угодничествѣ тому лицу, отъ котораго зависѣла карьера, въ заискиваніи его расположенія. Родители внушали это житейское правило своимъ дѣтямъ съ малолѣтства, такъ что составилось и укоренилось слово «искательный», съ особымъ смысломъ или, по крайней мѣрѣ, съ особымъ оттѣнкомъ смысла. Назвать кого-либо «человѣкомъ искательнымъ» значило воздать ему большую похвалу, такъ какъ онъ пріобрѣлъ способность «втираться» въ милость къ начальствующимъ лицамъ и припасать въ нихъ себѣ сильныхъ покровителей. Понятіе Чацкаго о службѣ совершенно иное. На слова Фамусова: «поди-ка послужи», онъ отвѣчаетъ:

Служить бы радъ, прислуживаться тошно.

Онъ хочетъ «служить дѣлу, а не лицамъ». Онъ знаетъ, что

Чины людьми даются,
А люди могутъ обмануться.

Если онъ нѣкогда увлекался мундиромъ, какъ приманкой къ военной службѣ, то это увлеченіе онъ самъ же называетъ ребячествомъ. Другія менѣе ребяческія приманки, какъ-то: занятіе мѣста, повышеніе въ чинъ, полученіе ордена и т. п., потеряли для него цѣну, послѣ того, какъ онъ выработалъ честное понятіе о службѣ и о наградѣ за нее. Независимо отъ своего собственнаго образа мыслей, онъ имѣлъ передъ глазами нѣкоторые примѣры въ современникахъ, составлявшіе исключеніе изъ обычаевъ чиновническаго тщеславія. Онъ могъ сослаться на такія лица, какъ Новосильцовъ и Чарторижскій, которые, имѣя возможность, по своему положенію, представлять другихъ къ высшимъ наградамъ, сами отказывались отъ знаковъ отличій, заявляя тѣмъ, что не эти отличія должны быть предметомъ и стимуломъ патріотическаго исполненія обязанностей. Вмѣстѣ съ перемѣною взгляда на службу отечеству, уничтожилась и прежняя ея исключительность, по которой дворянство обречено было избрать одну изъ двухъ дорогъ—или военную, или статскую. Прежде всѣ прочія занятія или считались неприличными, даже зазорными для благороднаго сословія, или вовсе не считалось дѣломъ равнозначительнымъ оффиціальной службѣ. Передъ людьми новаго направленія открывались не менѣе почетныя поприща для упражненія своихъ способностей и приложенія знаній. Дворянинъ-помѣщикъ могъ оказать большую пользу государственному благоустройству сельско-хозяйственными трудами, конечно не въ томъ

смыслѣ, какой кроется въ словахъ Фамусова: «имѣньемъ, братъ, не управляй оплошно» (т. е. собирай, во что бы ни стало, побольше дохода), а въ смыслѣ обоюдныхъ выгодъ крестьянъ и владѣльца. За тѣмъ дворянству предстояли благородныя занятія наукой и литературой, которыми оно также могло сослужить великую службу своимъ соотечественникамъ. На послѣдній родъ гражданской дѣятельности указываетъ Чацкій:

Теперь пускай изъ насъ одинъ,
Изъ молодыхъ людей, найдется врагъ исканій,
Не требуя ни мѣстъ, ни повышеній въ чинъ,
Въ науки онъ вперитъ умъ, алчущій познаній,
Или въ душѣ его самъ Богъ возбудитъ жаръ
Къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ,—
Они тотчасъ: разбой! пожаръ!
И прослыветъ у нихъ мечтателемъ опаснымъ.

Наконецъ, дворянинъ могъ отправиться за границу для пополненія своего образованія или удалиться въ имѣніе, съ тою же цѣлію, какъ это видно изъ примѣра самого Чацкаго, «на три года уѣзжавшаго вдаль», и изъ стиха:

Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ...

а также изъ отзыва Скалозуба о своемъ двоюродномъ братѣ:

Чинъ слѣдовалъ ему—онъ службу вдругъ оставилъ,
Въ деревню—книги сталъ читать.

Фамусовъ объясняетъ эти непонятныя для него явленія молодостью, не умѣющею исправно вести себя, но люди «новыхъ правилъ» (какъ отнесся о нихъ Скалозубъ) очень хорошо знали, что̀ дѣлали: чтеніе было для нихъ могучимъ орудіемъ умственнаго развитія и знакомства съ наукой. Нельзя при всемъ сказанномъ не обратить вниманія и на чиновничью сферу, въ которую могли попасть люди, подобные Чацкому. Выборъ этой сферы весьма часто зависитъ не отъ лица, желающаго служить. Это дѣло случая или другихъ какихъ-либо обстоятельствъ. Дикій цвѣточекъ, по апологу И. Дмитріева, попалъ въ букетъ изъ гвоздикъ и, благодаря такой средѣ, самъ сталъ душистымъ. Но баснописецъ не выразилъ своего мнѣнія о томъ, что̀ бы сталось съ гвоздикой, если бы она одна-одинешенька попала въ пучекъ сорныхъ травъ съ дурнымъ, тяжелымъ запахомъ. Трудно, напримѣръ, представить себѣ положеніе Чацкаго въ обществѣ городничаго, судьи, смотрителя училищъ и другихъ блюстителей правосудія, дѣйствующихъ въ «Ревизорѣ». Они ли бы ушли отъ него, или онъ бы бѣжалъ отъ нихъ? Послѣднее вѣ-

роятнѣе: чтобы приносить какую-нибудь пользу своей службою, честный человѣкъ долженъ же имѣть хоть малѣйшую долю общихъ интересовъ и стремленій съ сослуживцами. Когда Онѣгинъ нѣсколько облегчилъ судьбу своихъ крестьянъ—сосѣди его надулись. Но помѣщикъ независимѣе чиновника. Послѣдній, чтобы помириться съ своей судьбой, долженъ вооружиться тѣмъ правиломъ житейской философіи, по которому «съ волками жить, по волчьи выть».

Но на такую философію Чацкій рѣшительно былъ не способенъ. Эту неспособность пріобрѣлъ онъ нравственною независимостью и самостоятельнымъ образомъ мыслей: вотъ другая черта, отличающая его отъ людей того времени, которое въ піесѣ названо «прямымъ вѣкомъ покорности и страха» въ противоположность новому вѣку, когда «всякій дышалъ вольнѣе» и когда даже ревнители старыхъ предразсудковъ, съ ихъ «непримиримой враждой къ свободной жизни», даже тѣ, что не знали никакихъ нравственныхъ сдержекъ и побужденій, «боялись смѣха и держались въ уздѣ стыдомъ». Въ этомъ отношеніи Чацкій рѣшительная крайность Молчалину, для котораго «чужія мнѣнія святы» и непремѣнно надобно зависѣть отъ другихъ. Онъ разорвалъ связь съ министрами—вѣроятно не по случайному капризу. Онъ не принадлежитъ къ безмолвнымъ или безсловеснымъ, хотя послѣднихъ любили и въ его время. Онъ врагъ исканій, низкопоклонства, угодничества, которыми Молчалинъ пользовался по завѣщанію своего отца, какъ средствомъ «дойти до извѣстныхъ степеней»:

Мнѣ завѣщалъ отецъ,
Во-первыхъ, угождать всѣмъ людямъ безъ изъятья:
Хозяину, гдѣ доведется жить,
Начальнику, съ кѣмъ буду я служить,
Слугѣ его, который чиститъ платье,
Швейцару, дворнику для избѣжанья зла,
Собакѣ дворника—чтобъ ласкова была (¹).

Кругъ друзей и знакомыхъ у такой личности, какъ Чацкій, образуется не случайностью, а умнымъ выборомъ. Связи между ними завязываются и крѣпнутъ по сходству мнѣній, нравственныхъ началъ и цѣли въ жизни. Они дорожатъ одними и тѣми же инте-

---

¹) Нѣкоторое подражаніе словамъ Генріеты, въ Мольеровой комедіи «Les femmes savantes»:

Un amant fait sa cour où s'attache son coeur;
Il veut de tout le monde y gagner la faveur;
Et, pour n'avoir personne à sa flamme contraire,
Jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire.
(Актъ I, сцена 3).

ресами и не допустятъ интимнаго отношенія къ людямъ другаго покроя, для которыхъ эти интересы лишены всякаго значенія. Если они строги въ своемъ выборѣ, иногда даже исключительны, то это обнаруживаетъ не кичливость ихъ духа, а только сообразность съ понятіемъ ихъ о достоинствѣ или недостоинствѣ общественнаго и сердечнаго сближенія. Подобными резонами не руководилось московское общество того времени:

Кто хочетъ къ намъ пожаловать—изволь,
Дверь отперта для званыхъ и незваныхъ....
Хоть честный человѣкъ, хоть нѣтъ,
Для насъ ровнехонько: про всѣхъ готовъ обѣдъ.

У насъ, говоритъ Горичевъ Чацкому, «ругаютъ вездѣ, а всюду принимаютъ». При безразличіи званыхъ и незваныхъ, доказывающемъ полнѣйшее нравственное равнодушіе общества, не удивительно встрѣтить на балу у Фамусова отъявленнаго мошенника, плута и подлеца Загорѣцкаго. За неимѣніемъ честности онъ могъ утѣшаться тѣмъ, что если въ одной сторонѣ обзываютъ его позорными эпитетами, то въ другой благодарятъ за дрянную услужливость. Что новаго могло показать такое общество Чацкому?

Вчера былъ балъ, а завтра будетъ два,
Тотъ сватался—успѣлъ, а тотъ далъ промахъ:
Все тотъ же толкъ и тѣ жъ стихи въ альбомахъ.

Чтобы убѣдиться въ правдѣ этихъ стиховъ, достаточно прочесть письма г-жи Волковой, отличавшейся образованіемъ и умною наблюдательностью (¹). А между тѣмъ эти «обѣды, ужины и танцы зажимали каждому ротъ»; пересуды свѣтскіе не только страшили тѣхъ, для которыхъ вопросъ: «что скажутъ?» замѣнялъ чувство совѣсти или чужой голосъ правды, но и могли повредить благородному человѣку: изъ нихъ составлялось своего рода общественное мнѣніе:

Не надо пищи—сказку, бредъ
Имъ лжецъ отпуститъ въ угожденье,
Глупецъ повѣритъ, передастъ;
Старухи, кто во что гораздъ,
Тревогу бьютъ... и вотъ общественное мнѣнье!

«Праздный, жалкій, мелкій свѣтъ!» восклицаетъ Чацкій. Жизнь этого свѣта кружилась въ бездѣльности, пустотѣ, ничтожности; не было у ней ни смысла, ни цѣли. Въ душной ея атмосферѣ голова Чацкаго страдала «отъ всякихъ пустяковъ»; онъ испытывалъ тамъ «милліонъ терзаній», истинное «горе отъ ума».

---

¹) Грибоѣдовская Москва (В. Евр. 1874 и 1875).

При выдачѣ дочерей за мужъ, московскій свѣтъ слѣдовалъ сентенціи Фамусова:

Кто бѣденъ, тотъ тебѣ не пара.

Но въ этой сентенціи взято только одно изъ двухъ необходимыхъ условій замужества: женихъ долженъ былъ сверхъ того занимать видное мѣсто на общественной лѣстницѣ по своему рангу или по крайней мѣрѣ имѣть возможность занять его, благодаря родству и покровительству. Княгиня Тугоуховская, узнавъ, что Чацкій не богатъ и не камеръ-юнкеръ, не видитъ уже надобности приглашать его на свои вечера. Понятно, почему отъ жениховъ требовали «съ имѣньемъ быть и въ чинѣ»: первая статья представляла способъ проводить жизнь пріятно, т. е. давать обѣды и балы, а вторая льстила пустому тщеславію, которое не отличалось отъ истиннаго славолюбія. Само собою разумѣется, что мысль о согласной, хорошей жизни супруговъ представлялась каждому отцу и каждой матери, которые, не смотря на извращенность своихъ понятій и увлеченіе общимъ обычаемъ, все же питали родительскія чувства къ дѣтямъ и искренно желали имъ счастія, но дѣло въ томъ, что этотъ предметъ не составлялъ, подобно имѣнію и чину, conditio sine qua non. Это скорѣе былъ прибавочный пунктъ къ расчету, своего рода pium desiderium, которое могло исполниться со временемъ, но не должно было мѣшать капитальнымъ соображеніямъ родителей невѣсты. Не изъ такихъ мутныхъ источниковъ излилась привязанность Чацкаго къ Софьѣ. Объ ея искренности, достоинствѣ и силѣ говоритъ самъ Чацкій, когда, противополагая себя Молчалину, исповѣдуетъ свои чувства Софьѣ:

...Есть ли въ немъ та страсть, то чувство, пылкость та,
Чтобъ кромѣ васъ ему міръ цѣлый
Казался прахъ и суета?
Чтобъ сердца каждаго біенье
Любовью ускорялось къ вамъ?
Чтобъ мыслямъ были всѣмъ и всѣмъ его дѣламъ
Душею—вы, вамъ угожденье?
Самъ это чувствую, сказать лишь не могу;
Но что теперь во мнѣ кипитъ, волнуетъ, бѣситъ,
Не пожелалъ бы я и личному врагу.

Любви Чацкаго не охладили «ни даль, ни развлеченія, ни перемѣна мѣстъ». Онъ «безпрерывно былъ занятъ движеніями своего сердца, жилъ, дышалъ ими». Разочарованіе повергаетъ его «въ пучину золъ, мечтаній и печали».

Москвичи Фамусовскаго округа были также враждебны къ наукѣ, какъ и къ либеральнымъ идеямъ. Они связывали первую съ по-

слѣдними, какъ причину съ слѣдствіемъ. Фамусовъ называетъ ученье чумою; ученость, по его понятію, развела множество безумныхъ людей, безумныхъ дѣлъ, безумныхъ мнѣній. Отсюда прямой его выводъ: чтобы вырвать съ корнемъ зло, надобно сжечь книги. Гости на его балу, дамы и кавалеры, какъ и слѣдовало ожидать, вооружаются именно противъ тѣхъ новыхъ учебныхъ и ученыхъ заведеній, которыми или распространялась грамотность, или сообщалось среднее и высшее образованіе, — противъ ланкастерскихъ школъ, гимназій, лицеевъ, педагогическаго института, оживленнаго, при Уваровѣ, учрежденіемъ новыхъ каѳедръ, но гдѣ профессора будто бы упражняются въ расколахъ и въ безвѣріи. Они боялись университетскихъ лекцій, сознавая, болѣе или менѣе ясно, что молодой человѣкъ, подъ вліяніемъ слышаннаго и изученнаго, становится на высшую степень образованія и кромѣ того пріобрѣтаетъ тотъ нравственный закалъ, которымъ Чацкіе отличаются отъ жалкаго, пустаго свѣта. Чацкій, съ своей стороны, не щадитъ ревнителей невѣжества. Въ глаза Софьѣ онъ смѣется надъ ея родственникомъ, чахоточнымъ врагомъ книгъ,

Въ ученый комитетъ который поселился
И съ крикомъ требовалъ присягъ,
Чтобъ грамотѣ никто не зналъ и не учился.

Онъ смѣется также надъ воспитаніемъ или вѣрнѣе ученіемъ, при которомъ заботились не о далекости въ наукѣ, а о наборѣ учителей,

Числомъ поболѣе, цѣною подешевле.

Но особенно поднимается его желчь при воспоминаніи о жестокихъ подвижникахъ крѣпостнаго права:

Тотъ Несторъ негодяевъ знатныхъ,
Толпою окруженный слугъ.
Усердствуя, они, въ часы вина и драки,
И честь и жизнь его не разъ спасали—вдругъ
Онъ вымѣнялъ на нихъ борзыя три собаки.
Или—вотъ тотъ еще, который для затѣй
На крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ
Отъ матерей, отцевъ отторженныхъ дѣтей.

Собравъ черты, отличающія, въ лицѣ Чацкаго, «вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій», я долженъ прибавить, что Чацкій не только представитель лучшей части образованнаго меньшинства въ царствованіе Александра I, но и самый разумный его представитель, по правильности взгляда на способъ, какимъ гражданинъ-патріотъ долженъ служить въ пользу распространенія добрыхъ началъ и

осуществленія ихъ въ жизни. Москва заключала въ себѣ тоже либераловъ, которые образовали общество или, по слову Репетилова, «секретнѣйшій союзъ» и завели собранья въ англійскомъ клубѣ. Грибоѣдовъ иронически, если не презрительно, относится къ разсказу Репетилова объ этихъ сходкахъ, называя бесѣды, на нихъ происходящія, «бѣснованьемъ». Конечно, восторгъ такого болтуна, какъ Репетиловъ, очень компрометировалъ членовъ «секретнѣйшаго союза»; однакожъ на основаніи догадокъ о лицахъ, послужившихъ оригиналами для портретовъ, изображенныхъ Репетиловымъ, между ними находились и такіе, на которыхъ нельзя было махнуть рукой, примолвивъ: «Богъ съ ними»! Возражая на замѣчаніе Скалозуба, что онъ всѣмъ этимъ умникамъ «дастъ фельдфебеля въ Вольтеры», Репетиловъ говоритъ:

Повѣрь, любезный мнѣ,
Что вашей братіи у насъ (¹) есть не одинъ
Полковникъ,—всѣ съ имѣніемъ, служаки,
Грудь въ орденахъ, съ умомъ, рубаки.
Умомъ однимъ лишь красенъ чинъ!

Этихъ пяти стиховъ не было въ прежнихъ изданіяхъ: ихъ исключилъ самъ авторъ, по совѣту своего друга А. Одоевскаго (²). Во всей сценѣ съ Репетиловымъ, у Чацкаго ясно проглядываетъ нежеланіе сблизиться «съ сокомъ умной молодежи», отвращеніе отъ тайныхъ собраній и вообще отъ всѣхъ косвенныхъ или окольныхъ путей къ благородной и полезной цѣли. Это несочувствіе происходило, какъ мы сказали, отъ правильнаго, разумнаго взгляда на способъ дѣйствій истиннаго патріотизма. Чацкій, какъ мнѣ кажется, не питалъ вѣры въ силу закрытыхъ средствъ, какими бы положеніями они ни обставлялись и какими бы цѣлями ни задавались. Онъ допускалъ только одно общество—общество просвѣщенныхъ, благонамѣренныхъ гражданъ, соединенныхъ тождествомъ понятій о томъ, что вредно и что полезно ихъ отечеству, и ясно понимающихъ другъ друга безъ особыхъ формальностей и условныхъ знаковъ. Каждый членъ этого общества, дѣйствуя въ своей сферѣ, тѣмъ не менѣе, безъ всякой стачки, дѣйствуетъ согласно съ другими членами. Индивидуальныя намѣренія и индивидуальныя усилія каждаго, не таимыя во тьмѣ, порождаютъ болѣе или менѣе успѣшные результаты, т. е. проводятъ въ общественное сознаніе и въ общественную дѣятельность господство гуманныхъ идей. Въ этомъ отношеніи Чацкій, по моему мнѣнію, представ-

¹) Въ обществѣ московскихъ либераловъ.

²) См. біографію Грибоѣдова, изложенную А. Н. Веселовскимъ (Рус. Библіотека—А. С. Грибоѣдовъ. 1875).

ляетъ замѣтное единомысліе съ однимъ изъ своихъ современниковъ, авторомъ «Теоріи налоговъ» (¹).

Совсѣмъ другаго рода, сравнительно съ либеральною молодежью, былъ кругъ такъ называемыхъ «московскихъ тузовъ», большею частію людей старыхъ. Они, какъ знать, стояли у всѣхъ на виду и нисколько не стѣснялись въ своихъ рѣчахъ и сужденіяхъ. Фамусовъ благоговѣетъ передъ ними:

Вѣдь столбовые всѣ; въ усъ никому не дуютъ
И о правительствѣ иной разъ такъ толкуютъ,
Что еслибъ кто подслушалъ ихъ—бѣда!
. . . .
Прямые канцлеры въ отставкѣ по уму!
Я вамъ скажу: знать время не приспѣло,
Но что безъ нихъ не обойдется дѣло.

Большею частію это были лица, или недовольныя реформами Александрова времени, или обиженныя тѣмъ, что правительство не призвало ихъ къ себѣ въ пособники. Удалившись на покой въ древнюю столицу, они находили отраду въ томъ, что могли свободнѣе заявлять протестаціи, которыя охотно и съ почтеніемъ выслушивались ихъ поклонниками. Такимъ вниманіемъ облегчалось ихъ оскорбленное самолюбіе. Притомъ они питали надежду, что, рано или поздно, наступитъ пора и имъ дѣйствовать. Эта надежда основывалась, между прочимъ, на неудовлетворительности, а иногда и ошибочности нѣкоторыхъ правительственныхъ мѣръ. Не будучи «канцлерами по уму», государственными людьми, московскіе тузы понимали однакожъ, что шаткость или неуспѣхъ реформъ проистекалъ значительною частію отъ недостатка административной опытности и близкаго знакомства съ условіями русской жизни въ реформаторахъ. А такъ какъ сами они навыкли въ дѣлахъ, были не только практики, но и рутинеры, знали лучше жизнь и пріобрѣли установившійся, хотя и узкій взглядъ, то и мечтали, что эти-то именно качества и нужны для созданія высшихъ государственныхъ плановъ, соотвѣтственно потребностямъ новаго времени (²).

Кромѣ главной мысли, въ «Горѣ отъ ума» есть другая, хотя второстепенная или побочная, но тѣмъ не менѣе очень замѣчательная. Авторъ страстно выразилъ ее въ извѣстномъ монологѣ, заключающемъ третье дѣйствіе. Это — мысль о пустомъ, рабскомъ, слѣпомъ подражаніи нашемъ всему иностранному. Она

---

¹) La Russie et les Russes, t. I.

²) Сперанскій и его государственная дѣятельность, Ѳ. Дмитріева (Рус. Арх. 1868).

подверглась критикѣ одного изъ образованнѣйшихъ русскихъ людей, И. В. Кирѣевскаго, который нашелъ ее несправедливою и одностороннею. Мнѣ кажется, критикъ, въ своемъ сужденіи, не принялъ достаточно въ расчетъ различія временъ. Комедія несомнѣнно была уже готова въ 1822-мъ году, а критическая статья о ней напечатана черезъ десять лѣтъ ([1]). Въ этотъ срокъ времени взгляды на нѣкоторые предметы могли измѣниться. Въ 1831 г. иностранцы потеряли свое прежнее значеніе въ глазахъ правительства и высшихъ сферъ общества не какъ иностранцы только, но какъ образцы, представители западно-европейскаго просвѣщенія съ его послѣдствіями, нравственными и политическими, въ характерѣ и направленіи которыхъ видѣли противоположность началамъ и цѣлямъ собственно-русскаго просвѣщенія. Кирѣевскій, издатель «Европейца», однимъ названіемъ своего журнала, не говоря уже о его характерѣ, обязанъ былъ отнестись неодобрительно къ патетическому негодованію Чацкаго и высказать мысль о необходимости усвоенія общеевропейской образованности для развитія просвѣщенія русскаго. Такой фактъ понятенъ. Но Грибоѣдовъ вращался въ томъ обществѣ, въ которомъ пристрастіе къ французскому вовсе не совпадало съ желаніемъ усвоить себѣ просвѣтительные элементы европеизма. Онъ каждый день могъ быть свидѣтелемъ сценъ — то комическихъ, то оскорбительныхъ русскому чувству, то вредныхъ въ смыслѣ умственномъ и нравственномъ. Здѣсь мадамъ Розье дозволила сманить себя за лишнихъ пятьсотъ рублей; тамъ тетушка посѣдѣла съ досады, когда молодой французъ сбѣжалъ у ней изъ дому. Пріѣхавъ въ Россію, французъ

Ни звука русскаго, ни русскаго лица
Не встрѣтилъ: будто бы въ отечествѣ, съ друзьями,—
Своя провинція! Посмотришь—вечеркомъ
Онъ чувствуетъ себя здѣсь маленькимъ князькомъ!

Гостепріимство московское готовило столы для званыхъ и незваныхъ, но «особенно для иностранныхъ». Отъ послѣднихъ невѣсты не требовали того, что требовалось отъ русскаго жениха, т. е. «съ имѣньемъ быть и въ чинѣ». Барышни наши, благодаря гувернанткамъ, становились копіями парижскихъ модистокъ, не смотря на всю свою дворянскую спесь. Все это зналъ хорошо Чацкій; все это видѣлъ въ томъ обществѣ, къ которому принадлежала Софья: удивительно ли, что онъ сильно былъ взволнованъ и что монологъ его выражаетъ страстное раздраженіе души?

---

[1]) Въ Европейцѣ 1831, кн. I (Горе отъ ума на московской сценѣ).

Но независимо отъ чувства, которое можетъ загораться въ душѣ мгновенно и случайно, сатира такого человѣка, какъ Грибоѣдовъ, имѣла источникомъ и высшія соображенія. Конечно, онъ не былъ славянофиломъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ это слово понималось тогда большинствомъ публики, т. е. любителемъ славянщины; но онъ, по моему мнѣнію, сознательно держался другаго, гораздо болѣе важнаго пункта славянофильскаго ученія, а именно понятія о самостоятельномъ развитіи русскаго народа, — того понятія, которое объяснялъ Карамзинъ въ своемъ разсужденіи «о любви къ отечеству и народной гордости» и о которомъ часто говоритъ Шишковъ въ своей книгѣ «о старомъ и новомъ слогѣ». Грибоѣдовъ, живя въ Петербургѣ, имѣлъ пріятельскія связи съ сторонниками Шишкова: кн. А. Шаховскимъ, Катенинымъ, Гнѣдичемъ. Несомнѣнно, что въ литературѣ онъ стоялъ на сторонѣ самостоятельнаго авторства русскихъ. Это доказано не только его комедіей, въ которой онъ отбросилъ опошлѣвшую выкройку французскихъ піесъ этого рода, когда еще всѣ почти наши театральные писатели строили по ней свои созданія, но и защитой Катенина отъ журнальныхъ нападокъ на его переводъ Бюргеровой баллады «Ленора», ставя его выше перевода Жуковскаго (Людмила) не за качество стиха, а за его національный колоритъ. Замѣчательно, что ни Карамзинъ, ни Жуковскій не пользовались сочувствіемъ Грибоѣдова, причину чего надобно искать единственно въ томъ, что онъ введенные ими въ нашу литературу элементы— сентиментальный и романтическій—находилъ не соотвѣтствующими характеру русской національности (¹). Если же требованіе литературной самостоятельности такъ сильно заявлялось Грибоѣдовымъ, то еще сильнѣе долженъ былъ онъ чувствовать законность и важность самобытности по отношенію къ русской жизни вообще, къ ея всестороннему развитію, и вмѣстѣ съ этимъ противоборствовать вліянію не однихъ французовъ, но европейцевъ вообще. Чацкій отъ французовъ не отдѣляетъ и нѣмцевъ:

> Какъ съ раннихъ поръ привыкли вѣрить мы,
> Что намъ *безъ нѣмцевъ* нѣтъ спасенья!

Смотря на «Горе отъ ума» съ эстетической точки зрѣнія, т. е. оцѣнивая піесу по отношенію къ законамъ и условіямъ комедіи вообще, большинство критиковъ находило въ ней одинъ главный недостатокъ — недостатокъ дѣйствія. Положеніе дѣйствующихъ лицъ, писалъ одинъ изъ нихъ, не измѣняется въ теченіи всѣхъ

---

¹) Путевыя замѣтки въ черновой тетради Грибоѣдова (Рус. Слово 1859, №№ 4 и 5).

четырехъ актовъ. Можно выкинуть каждое изъ лицъ, замѣнить другимъ, удвоить число ихъ—и ходъ піесы останется тотъ же ([1]). Почти такое же мнѣніе выражено кн. Вяземскимъ: «Дѣйствія въ драмѣ (Горе отъ ума) нѣтъ. Здѣсь всѣ почти лица эпизодическія, всѣ явленія выдвижныя: ихъ можно выдвинуть, вдвинуть, перемѣстить, пополнить, и нигдѣ не замѣтишь ни трещины, ни придѣлки» ([2]). Отсюда и выводится заключеніе, что «Горе отъ ума»—не комедія собственно, а сатира въ драматической формѣ, превосходно обдуманная, строго правдивая, кипящая огнемъ негодованія. Съ этимъ соглашались самые ревностные защитники автора, находя, что высокій талантъ его выразился и въ сатирѣ такъ блистательно, какъ другіе таланты не выражались въ десяткахъ комедій. Пусть это сатира, думали они: дѣло не въ имени, а въ самомъ дѣлѣ, достоинство котораго несомнѣнно.

Если лица ничего или очень мало дѣлаютъ, а только говорятъ, какъ замѣчали критики, то можно возразить имъ, что иная рѣчь лучше иныхъ дѣйствій характеризуетъ людей и живѣе представляетъ картину общественныхъ нравовъ. Умное изреченіе древняго грека: «говори, чтобы я могъ узнать тебя», вполнѣ прилагается къ драматическимъ діалогамъ и монологамъ. Бесѣды Фамусова съ дочерью, съ Чацкимъ и Скалозубомъ знакомятъ до тонкости съ его характеромъ, обнаруживаетъ до тла весь міръ понятій, стремленій, наклонностей современнаго ему московскаго свѣта. Онъ живьемъ стоитъ передъ нами, какъ баринъ, какъ отецъ, какъ чиновникъ, какъ членъ общества. Какъ баринъ, онъ дорожитъ дворянствомъ—но въ своемъ особенномъ смыслѣ, объясняя его слѣдующимъ образомъ:

.....У насъ ужъ изстари ведется,
Что *по отцу и сыну честь!*
Будь плохенькій, да если наберется
Душъ тысячи двѣ родовыхъ,
Тотъ и женихъ.
Другой, хоть прытче будь, надутый всякимъ чванствомъ,
Пускай себѣ разумникомъ слыви,
А въ семью не включать, на насъ не подиви!
Вѣдь только здѣсь еще и дорожатъ дворянствомъ!

Какъ отецъ, свое радѣніе о воспитаніи дочери онъ ограничиваетъ приглашеніемъ въ домъ мадамы; присмотръ за взрослою дѣвушкой сердитъ его, какъ несносная коммиссія; въ позорѣ съ дочерью тре-

[1]) Нѣсколько словъ о ком. «Горе отъ ума», Пилада Бѣлугина (М. Дмитріева). В. Евр. 1825, № 10.

[2]) «Фонъ-Визинъ».

вожитъ и сокрушаетъ его не чувство безнравственности, не голосъ совѣсти, не скорбь родительская, а боязнь пересудовъ и дурной молвы: «что станетъ говорить княгиня Марья Алексѣевна!» Какъ чиновникъ, онъ имѣетъ въ виду только формальную сторону службы, нисколько не думая о внутреннихъ обязанностяхъ. Онъ смертельно боится одного, чтобы не накопилось много бумагъ; поэтому онъ принялъ за правило: «что дѣло, что не дѣло — подписано, такъ съ плечъ долой». Истинный комизмъ Фамусова, говоритъ кн. Вяземскій, заключается въ томъ, что, воспитанный и постарѣвшій во лжи своего положенія, онъ дѣйствуетъ добродушно, отъ чистаго сердца убѣжденный въ превосходствѣ своей философіи, и не понимаетъ вреда, который творитъ вокругъ себя дѣйствіями, основанными на этой философіи. Въ такой наивности вреднаго человѣка критикъ видитъ преимущественно злую сатиру автора: «ибо никакъ не различишь насмѣшливости комика отъ замоскворѣцкаго патріотизма комическаго лица». Дѣйствительно, рѣчи Фамусова въ устахъ Чацкаго были бы самой ѣдкой ироніей, но, произносимыя самимъ Фамусовымъ, они отличаются своего рода патетизмомъ, какъ бы отражая величіе тѣхъ представленій, которыя служатъ для него незыблемыми идеалами.

Скалозубъ двумя-тремя выраженіями заявляетъ себя лучше, чѣмъ бы могъ заявить какими нибудь дѣйствіями на родной своей почвѣ — плацъ-парадѣ. Его опредѣленіе Москвы, какъ «дистанціи огромнаго размѣра», «къ украшенью которой много способствовалъ пожаръ», его «не знаю, мы съ ней вмѣстѣ не служили» — такія типическія рѣчи, послѣ которыхъ остается только воскликнуть: вотъ человѣкъ! О самомъ Чацкомъ, какъ лицѣ комедіи, давно сдѣланъ справедливый приговоръ, начиная съ мѣткихъ словъ Пушкина: «Чацкій совсѣмъ не умный человѣкъ, но Грибоѣдовъ очень уменъ», и оканчивая слѣдующимъ сужденіемъ кн. Вяземскаго: «Чацкій похожъ на Стародума (въ ком. Недоросль). Благородство правилъ его почтенно, но способность, съ которою онъ ex-abrupto проповѣдуетъ на каждый попавшійся ему текстъ, не рѣдко утомительна. Слушающіе рѣчи его точно могутъ примѣнить къ себѣ названіе комедіи, говоря: горе отъ ума. Умъ, каковъ Чацкаго, не есть завидный ни для себя, ни для другихъ. Въ этомъ главный порокъ автора, что посреди глупцевъ всякаго свойства вывелъ онъ одного умнаго человѣка, да и то бѣшенаго. Мольеровъ Альтестъ, въ сравненіи съ Чацкимъ, настоящій Филинтъ ([1]), образецъ терпимости». Съ этимъ нельзя не согласиться. Не заведено держать

---

[1]) Въ комедіи Мольера «Мизантропъ».

себя въ обществѣ такъ, какъ держитъ Чацкій, и въ глаза говорить то, что не говорится. Давно еще, при самыхъ восторженныхъ похвалахъ піесѣ, критики не скрывали неразсудительности главнаго дѣйствующаго лица, его заносчивости и нетерпѣливости, хотя оно само какъ бы желаетъ ослабить ѣдкость своей сатиры, въ отвѣтѣ Софьѣ:

Послушайте, ужель слова мои всѣ колки
И клонятся къ чьему нибудь вреду?
Но если такъ, умъ съ сердцемъ не въ ладу;
Я въ чудакахъ иному чуду
Разъ посмѣюсь, потомъ забуду;
Велите жъ мнѣ въ огонь—пойду какъ на обѣдъ.

Но пусть Чацкій — второй экземпляръ Стародума; пусть онъ выражаетъ образъ мыслей Грибоѣдова, какъ Стародумъ выражалъ образъ мыслей фонъ-Визина... что же отсюда слѣдуетъ? Если это ошибка въ отношеніи эстетическомъ, то, съ другой стороны, это великій выигрышъ по отношенію къ внутреннему содержанію пьесы, къ ея идеѣ. Ради послѣдней, какъ самаго важнаго предмета, авторъ уклонился отъ теоретическаго кодекса комедіи: кто, въ виду настоятельной и почтенной цѣли, будетъ строго взыскивать съ автора за то или другое средство, употребленное имъ для достиженія цѣли? Извѣстно, что «Недоросль» главнымъ своимъ успѣхомъ, въ средѣ образованныхъ зрителей, былъ одолженъ рѣчамъ Стародума. А въ наше время, при представленіи «Горя отъ ума», что особенно привлекаетъ публику, какъ не роль Чацкаго? Чьи рѣчи выслушиваются съ постояннымъ сочувствіемъ и напряженной внимательностью, какъ не рѣчи Чацкаго? Эти рѣчи держатъ и долго еще будутъ держать піесу на сценѣ; они увѣковѣчили имя автора въ памяти каждаго русскаго, сдѣлали его украшеніемъ нашей литературы. Для сценическаго успѣха Фамусова, Скалозуба, Репетилова нужна болѣе или менѣе талантливая игра актеровъ; для такого же успѣха Чацкаго таланта нужно меньше, а въ случаѣ нужды можно и вовсе безъ него обойтись: само содержаніе вынесетъ на плечахъ даже безталантность; будутъ осуждать игру, но за то непремѣнно будутъ внимать словамъ, покрывая ихъ громкодружными рукоплесканіями.

Софья является въ піесѣ именно такою дѣвушкой, какою она могла быть и дѣйствительно была, по своему воспитанію и другимъ обстоятельствамъ жизни. Лишившись матери, она осталась на попеченіи отца, который тяготится взрослой дочерью, какъ несносной коммиссіей, и подъ надзоромъ наемной француженки, которая за болѣе выгодный наемъ, не задумавшись, перешла въ

другое мѣсто. Ни въ гувернанткѣ, ни въ родителѣ-вдовцѣ не видѣла она добрыхъ себѣ примѣровъ. Обязанность быть хозяйкой въ домѣ, приглашать и принимать гостей развили въ ней извѣстную самостоятельность. Она чувствуетъ себя вольнѣе, держитъ себя свободнѣе, сравнительно съ тѣми изъ своихъ сверстницъ, которыя состоятъ подъ материнской опекой. Эта свобода, при отсутствіи нравственнаго призора, перешла въ своеволіе, которое, какъ весьма часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, легко могло принять ложное направленіе. Софья не труслива, не умѣетъ притворяться, не знаетъ, откуда взять скрытности. Она освободилась отъ страха при мысли: «что скажутъ?» Пересуды и говоръ потеряли надъ нею власть, перестали быть пугаломъ. «Что мнѣ молва?» возражаетъ она служанкѣ Лизѣ: «кто хочетъ, такъ и судитъ». Она цѣнитъ только свое желаніе, свою волю: «хочу — люблю, хочу—скажу», и нисколько не цѣнитъ знакомыхъ отца своего:

Да что мнѣ до кого? до нихъ? до всей вселенной?
Смѣшно?—пусть шутятъ ихъ! Досадно?—пусть бранятъ!

Она «не дорожитъ и собой», прямо и откровенно заявляя это Молчалину. При своей самостоятельности и самоуправности, Софья въ тоже время умна. Она не очень конфузится отъ рѣчей Чацкаго и его эпиграммы отражаетъ иногда ловкими репликами. Мысль о помѣшательствѣ Чацкаго пущена ею съ знаніемъ той среды, гдѣ она должна была распространиться, и слѣдовательно съ увѣренностію въ успѣхѣ:

А, Чацкій!... любите вы всѣхъ въ шуты рядить,
Вы никого не любите щадить,
Такъ неугодно ль на себѣ примѣрить.

Но какъ такая дѣвушка могла полюбить Молчалина? Чтобы не дивиться такому факту, не мѣшаетъ прежде имѣть въ виду натуру женщинъ вообще, которыя, по словамъ одного автора, представляютъ неразрѣшимую загадку даже для мудреца, ибо онѣ «часто любятъ головой и часто разсуждаютъ сердцемъ». Затѣмъ уже можно прибѣгнуть къ другимъ соображеніямъ, объясняющимъ естественность любви. Воображеніе Софьи было раздражено французскими романами: она «читала небылицы по ночамъ»; а потребность воплотить романическаго героя въ лицѣ того или другаго знакомаго есть самое обыкновенное явленіе въ сердечной исторіи дѣвушки. Софья воплотила свой идеалъ въ Молчалина, потому что онъ жилъ въ домѣ ея отца, былъ близокъ къ ней, находился, такъ сказать, у ней подъ руками. Въ движеніяхъ сердца, случайности играютъ большую роль: близость предмета, возможность ча-

стаго съ нимъ свиданія, нестѣснительность взаимнаго обмѣна чувствъ завязываютъ не только недуманныя, негаданныя связи, но и окончательно устраиваютъ судьбу противъ всякаго ожиданія. На кого изъ знакомыхъ могла обратить Софья свое предпочтительное вниманіе? Чацкаго она забыла или охладѣла къ нему, а можетъ статься и до его поѣздки не питала къ нему сильнаго чувства; Скалозубъ—герой, но только не ея романа; а изъ молодыхъ людей, пріѣхавшихъ на балъ къ Фамусову, вертѣлся одинъ Загорецкій, но онъ ужъ такъ дрянenъ, что не годится ни въ какіе герои: онъ просто лгунишка, воръ и мошенникъ. Конечно, Софья ошиблась; она строго наказана разочарованіемъ, но въ бѣдѣ своей она, какъ и слѣдовало ожидать отъ ея характера, сильно выказываетъ оскорбленную гордость и съ презрѣніемъ отвергаетъ свой бывшій идеалъ:

Я съ этихъ поръ васъ будто не знавала...
Упрековъ, жалобъ, слезъ моихъ
Не смѣйте ожидать: не стоите вы ихъ!
Но чтобы въ домѣ здѣсь заря васъ не застала,
Чтобъ никогда объ васъ я больше не слыхала.

Софья съ такою же рѣшительностью порываетъ свою любовь, съ какою, должно думать, и завязала ее.

«Если искать вывѣски современныхъ Грибоѣдову нравовъ въ Софіи», говоритъ кн. Вяземскій, «то должно сказать, что эта вывѣска—поклепъ на нравы». Почему же поклепъ, т. е. напраслина? Софья принадлежитъ къ такому разряду дѣвушекъ, которыхъ сравнительно было меньше въ московскомъ обществѣ, но это меньшинство есть не воображаемое нѣчто, не вымышленное, а дѣйствительно существовавшее, на ряду съ большинствомъ. Комикъ имѣетъ полную свободу отнестись къ меньшинству, выбирать изъ него представительныя лица и изображать ихъ: его изображенія будутъ вѣрными вывѣсками, живыми, законными типами опредѣленнаго общественнаго круга, хотя и болѣе тѣснаго, но въ такой же степени самобытнаго и полноправнаго, какъ и кругъ обширнѣйшій. Эти представители меньшинства даже могутъ отличаться бо́льшею оригинальностью, чѣмъ представители большинства. Софья, конечно, оригинальнѣе и выше своихъ знакомыхъ москвичекъ, пріѣхавшихъ къ ней на балъ—шести дочерей князя Тугоуховскаго и внучки графини Хрюминой. Послѣднія всѣ похожи одна на другую, какъ двѣ капли воды: ихъ характеръ—въ отсутствіи всякой особенности, ихъ индивидуальность — въ безличіи (1).

---

1) Въ послѣдніе годы вышло много матеріаловъ касательно біографіи, службы и литературной дѣятельности Грибоѣдова. На первомъ мѣстѣ ставлю двѣ

§ 23. Проповѣдное слово, никогда у насъ не понижавшееся въ своемъ значеніи, имѣло, въ Александрово время, многихъ достойныхъ представителей, между которыми болѣе громкою извѣстностью пользовались Іоаннъ Леванда, протоіерей кіевскаго софійскаго собора (1736—1814), Михаилъ Десницкій, митрополитъ с.-п.-бургскій и новгородскій (1761—1821), Августинъ Виноградскій, архіепископъ московскій (1766—1819), Амвросій Протасовъ, архіепископъ казанскій и симбирскій (1769—1830), и Филаретъ, митрополитъ московскій (1782—1867).

Главное свойство словъ Леванды—теплота чувства, какъ видно изъ надгробной рѣчи Самуилу, архіепископу кіевскому, и изъ слова на текстъ: «тако ли не возмогосте единаго часа побдѣти со Мною?». Но съ другой стороны они не отличаются ни художественной обработкой выраженія, ни строго-логическимъ развитіемъ выбранной темы. Громкую извѣстность, которою пользовался въ свое время Леванда, нѣкоторые объясняютъ его внѣшними качествами и способностью произносить.

Сочиненія Михаила относятся къ тому виду пастырскихъ поученій, которыя обозначаются именемъ «бесѣдъ», т. е. разсужденій о предметахъ вѣры, въ примѣненіи ихъ къ нравственности христіанъ. Бесѣды эти являлись въ печати подъ разными названіями: «Трудъ, пища и покой духа человѣческаго», «О внутреннихъ состояніяхъ человѣка, объ истинномъ покаяніи и о разныхъ степеняхъ его», «О внутреннемъ человѣкѣ, или изображеніе новаго, внутренняго духовнаго человѣка». Любимою темою проповѣдника было объяснять значеніе духовнаго рожденія въ насъ Іисуса Хри-

---

прекрасныя статьи А. Н. Веселовскаго: «Очеркъ первоначальной исторіи «Горя отъ ума» (Рус. Архивъ 1874, кн. 1) и «А. С. Грибоѣдовъ» (Рус. Библіотека, изд. М. М. Стасюлевича, т. V). Далѣе въ Рус. Архивѣ 1872 г.: «О смерти Грибоѣдова въ Тегеранѣ» (стр. 1492 — 1538), Письма Грибоѣдова 1828 и 1829 гг. къ Родофиникину, директору азіатскаго департамента (стр. 1538 — 1551); 1874 г.: «Письмо кн. Вяземскаго къ М. Н. Лонгинову о Грибоѣдовѣ (№ 2), по поводу статьи г. Родиславскаго: «Неизданныя піесы Грибоѣдова» (Рус. Вѣст. 1873 г., сентябрь). — Въ Рус. Старинѣ 1872 г.: «А. С. Грибоѣдовъ», изъ Записокъ П. Каратыгина (т. V); 1873 г.: «Персія и Персіяне», донесеніе Грибоѣдова въ 1827 г. гр. Паскевичу (т. VII); 1874 г.: «А. С. Грибоѣдовъ, біографическій очеркъ г. Сосновскаго (т. X), «Обзоръ всѣхъ изданій Горя отъ ума», г. Гарусова (т. X), «Горе отъ ума въ Тифлисѣ» въ 1832 г. (т. X), А. С. Грибоѣдовъ въ Персіи и на Кавказѣ, 1818 — 1828, А. Берже (т. XI), «А. С. Грибоѣдовъ, какъ дипломатъ, 1827 и 1828», А. Берже (т. XI), «Письмо Грибоѣдова къ Ю. К. Глинкѣ» (т. XIII), Письма Грибоѣдова къ Кюхельбекеру (т. XIII). — Статья Н. Гербеля: «А. С. Грибоѣдовъ» (въ изданіи Горя отъ ума, 1873). — Кромѣ того критическія статьи о «Горѣ отъ ума» въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго.

ста, указывать степени восхожденія души въ небесный храмъ Господень, внушать убѣжденіе, что истинное поклоненіе Богу должно быть совершаемо въ пустынѣ внутренняго уединенія, а не въ Египтѣ разсѣянія. Какъ воспитанникъ филологической семинаріи при московскомъ университетѣ, Михаилъ не остался безъ вліянія отъ лекцій Шварца, извѣстнаго своими близкими связями съ московскими масонами прошлаго вѣка. Поэтому возрожденіе человѣка составляетъ центральный пунктъ его словъ, въ которыхъ онъ, однакожъ, не отступаетъ отъ ученія Церкви, не становится съ нимъ въ противорѣчіе, какъ это видимъ у многихъ мистиковъ. Имѣя главною цѣлію назиданіе паствы, направленіе ея на путь истиннаго, дѣятельнаго христіанства, Михаилъ не заботился о какихъ-либо ораторскихъ движеніяхъ, о витійственной рѣчи. Поученія его отличаются яснымъ, простымъ, большинству слушателей доступнымъ изложеніемъ догматовъ и правилъ: въ этомъ ихъ отличительное достоинство, въ этомъ же и заслуга ихъ автора.

Лучшее изъ словъ Августина сказано имъ въ память воиновъ, положившихъ животъ свой на Бородинской битвѣ (1813). Извѣстностью своею, какъ проповѣдникъ, онъ обязанъ болѣе чрезвычайнымъ событіямъ эпохи, чѣмъ своему таланту или искусству. Тогдашнее время само за себя говорило громко и чувствительно. Оно было краснорѣчивѣе всякихъ ораторскихъ словъ. Пастырю, особенно такому, какъ Августинъ, на долю котораго выпало быть свидѣтелемъ нашествія враговъ и изгнанія ихъ изъ Россіи, разрушенія и обновленія первопрестольнаго города, возстановлять храмы, утѣшать паству при наступленіи бѣдствій и торжествовать спасеніе и славу отечества, небольшаго труда стоило произвести сильное дѣйствіе. Достаточно было простаго указанія на разоренную Москву или на трауръ семействъ, легкаго напоминанія пережитыхъ невзгодъ, даже одного сочувственнаго звука, чтобы потрясти смущенный духъ, взволновать наболѣвшее сердце, да и самому при этомъ испытать тѣже самыя чувства. И потому легко себѣ представить силу впечатлѣнія, произведеннаго на слушателей концемъ слова, содержащимъ въ себѣ обращеніе къ Бородинскому полю: «Земля отечественная! Храни въ нѣдрахъ любезные останки поборниковъ и спасителей отечества; не отяготи собою праха ихъ. Вмѣсто росы и дождя, окропятъ тебя благодарныя слезы сыновъ россійскихъ. Зеленѣй и цвѣти до того великаго и просвѣщеннаго дне, когда возсіяетъ заря вѣчности, когда солнце правды оживотворитъ вся сущая во гробѣхъ».

Амвросій прославился словами передъ избраніемъ и по избраніи судей въ губерніи, и словомъ на Успеніе Богородицы. Изъ

первыхъ особенно замѣчательно произнесенное въ Тулѣ, по случаю присяги лицъ, выбранныхъ на дворянскомъ собраніи 1815 г. Кому извѣстны побужденія, которыми, въ большинствѣ случаевъ, руководствовались избирающіе при балотировкѣ, и правила, какимъ слѣдовали избранные въ исполненіи своего долга послѣ данной ими присяги, тотъ нисколько не удивится ни содержанію, ни тону пастырскаго поученія. Съ одной стороны святость законовъ, обязательныхъ для каждаго человѣка, а для служителей правосудія еще болѣе взыскательныхъ; съ другой — боязнь нарушенія обязательства, скрѣпленнаго присягой, — боязнь не вымышленная, а основанная на многихъ и многихъ свидѣтельствахъ, сообщила его рѣчи хотя сдержанный, но сильный тонъ, по мѣстамъ рѣзкій и даже сатирическій. Исходя изъ той мысли, что одна только добродѣтель имѣетъ неотъемлемое право на благоговѣніе душевное, что одной только истинѣ долженъ воскуряться сердечный ѳиміамъ, онъ, не взирая на лица, не стѣсняясь житейскими отношеніями, возстаетъ противъ честолюбія, любостяжанія, самоугодія, служенія ради своихъ личныхъ выгодъ, а не ради общественной пользы. Выставивъ на видъ обстоятельства, которыми неправедный судья можетъ обманчиво облегчать свою совѣсть, онъ показываетъ несостоятельность каждаго и приходитъ къ тому заключенію, что оправданіе вины нерѣдко хуже самой вины. Строго-обличительное содержаніе слова обусловлено было еще особеннымъ случаемъ. Не видя въ начальникѣ губерніи тѣхъ качествъ, какія бы слѣдовало тому имѣть, Амвросій и обращаетъ къ нему сатирическія мѣста своего слова, нѣсколько разъ уподобляя его златому Ааронову тельцу: «ввергохъ злато во огнь—и изліяся телецъ» (Исхода гл. 32, ст. 24). Заключеніе обращенія вышло цѣлесообразнымъ и согласнымъ съ общимъ настроеніемъ: «Почести на недостойномъ суть зрѣлищныя украшенія: только достойный украсить можетъ и самыя почести. И высокій санъ для мужа неразумнаго есть то высокое мѣсто, на которое поставляется онъ, яко истуканъ, облеченный въ утварь златую для того только, дабы свѣтъ узрѣлъ его и рекъ: се человѣкъ, иже очи имать—и не видитъ, уши имать—и не слышитъ, уста имать—и не речетъ ни суда, ни правды! Ахъ, не сама ли истина должна рещи таковому вождю народа: брате! добро тебѣ будетъ отъити на село твое? Тамъ неизвѣстность покроетъ завѣсою забвенія и имя и недостатки твои; здѣсь, стоя превыше другихъ, содѣлаешися притчею во языцѣ твоемъ» (¹).

¹) Губернаторомъ былъ Н. И. Богдановъ. Произнося указанный текстъ, Амвросій обращался къ нему глазами и движеніемъ руки (Мелочи изъ запаса моей памяти, М. Дмитріева).

Проповѣдное слово, въ словахъ и рѣчахъ митрополита Филарета, выказало новую, до того небывалую силу, которая составляетъ высшую степень въ развитіи этого рода словесности. Особенности ихъ обнаружились въ первыхъ опытахъ проповѣдника, были тотчасъ замѣчены тогдашними любителями церковнаго краснорѣчія, какъ духовными, такъ и свѣтскими, и пріобрѣли ему быструю и громкую извѣстность. Рѣдкая природная даровитость, твердый діалектическій умъ и обширное богословское образованіе, доказанное «Записками на книгу Бытія (1816)», служили проповѣднику орудіями при изложеніи религіозныхъ догматовъ и правилъ. Никто изъ прежнихъ пастырей русской церкви не владѣлъ, никто и изъ послѣдовавшихъ за нимъ не владѣетъ еще до сихъ поръ такимъ искусствомъ раскрыть сущность выбраннаго текста, исчерпать полноту его содержанія, представить это содержаніе въ строго-послѣдовательномъ развитіи, найти прямое нравственное примѣненіе священной истины, дать тону и языку полное соотвѣтствіе достоинству излагаемаго. Если главное достоинство проповѣдей Филарета строится на способности сужденія, на силѣ діалектической мысли, которая и образуетъ господствующій элементъ ихъ, то главныя отличія его языка—точность и стройность, сообщающія рѣчи такъ сказать внутреннее изящество и показывающія въ авторѣ великаго знатока отечественнаго слова. Касательно послѣдняго предмета, нужно замѣтить, что возобновленіе старыхъ словъ и оборотовъ, нерѣдко встрѣчаемое у Филарета, основано на вѣрномъ тактѣ, почему никогда не противорѣчитъ образованному вкусу, равно какъ соединеніе языковъ церковно-славянскаго и русскаго представляетъ замѣчательную художественную мѣру. Какъ внутренній характеръ проповѣди долженъ возникать изъ духа Библіи и Церкви, и изъ отношеній этого духа къ духу народа: такъ и внѣшній ея характеръ, внѣшняя форма (языкъ, слогъ) тогда только получаетъ особую физіогномію, когда языкъ народный и литературы свѣтской въ такой степени растворяется языкомъ библейскимъ и церковнымъ, которая ставитъ обѣ стихіи въ надлежащее равновѣсіе.

Въ первый періодъ проповѣдничества Филарета (1803—1826) обратили на себя особенное вниманіе два его слова: «въ великій пятокъ (1813)» и «о гласѣ вопіющаго въ пустынѣ (1814)».

Оригинальный приступъ къ первому слову построенъ на двоякомъ значеніи одного и того же имени: Слова (какъ Искупителя міра) и слова (какъ бесѣды пастыря):

Чего теперь ожидаете вы, слушатели, отъ служителей Слова? Нѣтъ ѣе слова.

Слово, собезначальное Отцу и Духу, рожденное для нашего спасенія, начало всякаго слова живаго и дѣйственнаго, умолкло, скончалось, погребено и запечатано. Дабы вразумительнѣе и убѣдительнѣе *сказать человѣкамъ пути живота* (Пс. 15, 11), Слово сіе оставило небеса и облеклося плотію; но человѣки не захотѣли внимать Слову, растерзали плоть Его,—и се *взять отъ земли животъ Его* (Исаіи 53, 8). Кто же теперь дастъ намъ слово жизни и спасенія?

Сказавъ, что у служителей Слова какъ бы нѣтъ предмета для слова, проповѣдникъ потомъ отыскиваетъ этотъ предметъ:

Слово Божіе не связуется смертію. Какъ устное слово человѣческое не совсѣмъ умираетъ въ ту минуту, когда перестаетъ звукъ его, но паче воспріемлетъ тогда новую силу и, прошедъ чрезъ чувство, вселяется въ умахъ и сердцахъ слышавшихъ: такъ Ипостатное Слово Божіе, Сынъ Божій, въ своемъ спасительномъ вочеловѣченіи, умирая плотію, въ тоже время *исполняетъ всяческая* (Ефес. 4. 10) своимъ духомъ и силою... Воплощенное Слово умолкаетъ токмо для того, чтобы сильнѣе и дѣйственнѣе глаголать къ намъ; сокрывается для того, чтобы внутреннѣе *вселиться въ насъ* (Іоан. 1. 14); умираетъ, чтобы даровать намъ свое наслѣдіе. Будучи собраны Церковію бесѣдовать съ умершимъ Іисусомъ, слышите *живое слово* (Евр. 4, 12) умершаго; слышите данное отъ Него вамъ завѣщаніе: *Азъ завѣщеваю вамъ, яко же завѣща Мнѣ Отецъ Мой, царство* (Лук. 22. 29).

Но первые наслѣдники распятаго Іисуса не обрѣли по Его кончинѣ инаго сокровища, кромѣ древа креста, на которомъ Онъ пострадалъ и умеръ, и сей токмо крестъ, въ подражательныхъ образахъ, преподали всѣмъ желающимъ участвовать въ наслѣдіи царствія.

За этимъ переходомъ отъ приступа къ предложенію слова, слѣдуетъ самое предложеніе, т. е. указаніе темы:

Что сіе значитъ? То, что какъ Христу *подобаше пострадати*, дабы потомъ *внити въ славу* (Лук. 24, 26), которую имѣлъ Онъ у Отца, такъ христіанину *многими скорбьми подобаетъ внити въ царствіе* (Дѣян. 24, 22), которое завѣщаетъ ему Христосъ; что какъ крестъ Христовъ есть дверь царствія для всѣхъ, такъ крестъ христіанъ есть ключъ царствія для каждаго сына царствія. Вотъ сокращеніе *слова крестнаго* (1 Кор. 1, 18), толь необъятнаго уму, толь удобопріятнаго вѣрѣ, толь сильнаго Богомъ. Принесемъ оное, какъ каплю мѵра, ко гробу Слова животворящаго.

Такимъ образомъ предметъ для слова найденъ: это—слово крестное, слово о крестѣ. За симъ начинается изложеніе, раздѣляемое на двѣ части: первая изображаетъ крестъ, понесенный Спасителемъ, вторая—крестъ, который обязаны нести христіане.

Въ первой части показывается, что вся жизнь Іисуса отъ воплощенія его до исхода на спасеніе рода человѣческаго и отъ исхода до смерти была крестная. Исчисленіе крестовъ, понесенныхъ Спасителемъ, справедливо считается образцовымъ по силѣ и сжатости изображенія каждаго креста. Нѣкоторыя мѣста принадле-

жать къ патетическимъ изліяніямъ религіознаго чувства, всегда однакожъ сопровождаемаго и какъ-бы сдерживаемаго мыслію, напр.: «Почіешь ли ты, божественный Крестоносецъ, хотя на едино мгновеніе, отъ ига, безпрестанно возрастающаго на раменахъ твоихъ? Почіешь ли, если не для обновленія твоихъ силъ къ новымъ подвигамъ, по крайней мѣрѣ изъ снисхожденія къ немощи твоихъ послѣдователей?» Или: «Наше слово изнемогаетъ, слушатели, чтобы провождать еще великаго страдальца отъ Геѳсиманіи до Іерусалима и Голгоѳы, отъ внутренняго креста до внѣшняго... Онъ (*внѣшній крестъ*) столь болѣзненъ, что солнце не могло взирать на него, и столь тяжекъ, что земля потряслась подъ нимъ. Претерпѣть въ чистѣйшей непорочности всѣ мученія, внутреннія и внѣшнія, тягчайшія и поноснѣйшія, и претерпѣть вмѣсто награды за содѣланныя благодѣянія; страдать Всесвятому отъ пребеззаконныхъ, Творцу отъ тварей; страдать за недостойныхъ, неблагодарныхъ, за самыхъ виновниковъ страданія, страдать для славы Божіей, и быть оставлену Богомъ.... какая неизмѣримая бездна страданій!»

Во второй части слова показана спасительная необходимость креста для человѣка, исчислены дары Божіи, пріобрѣтаемыя крестнымъ несеніемъ, выставлены примѣры великихъ водителей и хранителей Церкви, воспитанныхъ въ училищѣ креста, наконецъ изображены люди, отрекающіеся отъ несенія креста Господня. Здѣсь замѣчательна мастерская по краткости и типичности характеристика внутренняго креста:

Какъ видимый, вещественный крестъ есть державное знаменіе видимаго царства Христова, такъ крестъ таинственный—печать и отличіе истинныхъ и избранныхъ рабовъ невидимаго царствія Божія. Онъ есть драгоцѣнный залогъ любви Божей, жезлъ Отчій, не столько наказующій и сокрушающій, сколько *пасущій и утѣшающій* (Пс. 2, 9; 22, 4), очистительный огнь вѣры, спутникъ надежды, укротитель чувственности, побѣдитель страстей, возбудитель къ молитвѣ, стражъ чистоты, отецъ смиренія, наставникъ мудрости, пѣстунъ сыновъ царствія. Гдѣ воспитаны всѣ великіе ангелы, водители и хранители Церкви—Іосифы, Моисеи, Даніилы, Павлы? въ училищѣ креста. Когда благословеннѣе вся церковь возрастала, процвѣтала и приносила плодъ во святыню? Тогда, какъ вся нива Господня непрестанно раздираема была крестомъ и напаяема кровію мучениковъ. Кто суть тѣ, которые окружаютъ славный престолъ Агнца? вопросили Іоанна въ видѣніи,—сіи, облеченніи въ ризы бѣлыя, кто суть и откуда пріидоша? и когда онъ не могъ узнать ихъ въ божественной славѣ сей, то ему сказано, что то были запечатлѣнные крестомъ: *сіи суть, иже пріидоша отъ скорби великія* (Апок. 7, 13 и 14).

Заключеніе, соотвѣтственно всему содержанію и направленію проповѣди, наставляетъ человѣка искать въ крестѣ средства изникнуть отъ міра и вознестись къ Богу.

Слово «о гласѣ вопіющаго въ пустынѣ» произнесено въ воспоминаніе событій 1812 г. Оно имѣетъ связь съ разсужденіемъ Филарета «о нравственныхъ причинахъ неимовѣрныхъ успѣховъ нашихъ въ отечественную войну съ французами (¹)». Настроеніе мысли здѣсь и тамъ одинаковое. Оно обусловлено было тѣми грозными историческими явленіями, которыя заставляли каждаго признать въ ихъ началахъ и послѣдствіяхъ, не подлежавшихъ человѣческому расчету, таинственные пути Провидѣнія и за спасеніе отчизны воздавать не намъ, а имени Его.

Разсужденіе, въ виду бича Божія, поражавшаго Европу такъ, что его удары раздавались во всѣхъ концахъ вселенной, приглашаетъ заблудившіеся народы услышать гласъ наказующаго и обратиться къ Нему, какъ къ единственному Спасителю. Слово, касаясь ударовъ, сотрясающихъ великую *пустыню* западнаго христіанства, напоминая *гласъ*, недавно возгремѣвшій въ предѣлахъ собственной земли нашей, въ *пустынѣ* града великаго, предостерегаетъ христіанъ-гражданъ отъ бездѣйствія и безпечности, призываетъ къ обращенію и перемѣнѣ житія.

Такъ какъ въ выбранной темѣ два понятія: пустыня и гласъ, то главная часть слова (изложеніе) дѣлится на два отдѣла: первый раскрываетъ значеніе пустыни, второй—значеніе гласовъ, въ ней вопіющихъ.

Какъ пустыня, для ока чувственнаго, есть мѣсто необитаемое и невоздѣлываемое людьми, такъ, для взора духовнаго, душа, овладѣваемая страстями и пожеланіями, есть пустыня; міръ, въ которомъ духовные человѣки рѣже, нежели класы, оставшіеся на пожатой нивѣ, есть пустыня; и самая церковь, приносящая вмѣсто гроздія терніе, есть пустыня. Въ сіи-то неустроенныя пустыни пролагаетъ себѣ путь Господь славы, поспѣшаетъ обрѣсти въ нихъ овча своего стада, блуждающее въ горахъ и дебряхъ. Поэтому работающіе міру должны воздвигнуться отъ него, какъ израильтяне воздвиглись отъ Египта, должны воззрѣть очами духа на лице пустыни, въ нихъ и окрестъ нихъ ожидающей посѣщенія, и, услышавъ гласъ Господа, не ожесточить сердецъ своихъ.

Послѣдними словами связывается второй отдѣлъ главной части съ первымъ. Гласъ Іоанна Крестителя, призывающій къ покаянію, не есть единственный гласъ вопіющаго въ пустынѣ: онъ только одинъ изъ многократныхъ и непрерывныхъ подобныхъ гласовъ. Есть гласъ отвнѣ—возглашающій въ видимой природѣ, гласъ

¹) Разсужденіе это написано по предложенію А. Н. Оленина и вмѣстѣ съ письмомъ его къ автору нап. въ 13-ой книжкѣ «Чтенія въ Бесѣдѣ» (1813).

извнутрь—исходящій изъ глубины души, гласъ свыше—нисходящій въ божественномъ откровеніи, гласъ долу—отражающійся въ происшествіяхъ міра. Объясненіе сущности каждаго изъ этихъ четырехъ гласовъ образуетъ подраздѣленіе втораго отдѣла на четыре пункта. Въ концѣ слова, какъ мы видѣли, общій его элементъ (гласъ Божій, вопіющій въ пустыни) прилагается къ частному явленію (гласу, вопіявшему въ отечественной войнѣ), и изъ приложенія выводится нравственный урокъ христіанамъ.

Проповѣди Филарета съ перваго же раза показали, что онѣ, по своему качественному значенію, какъ внутреннему такъ и внѣшнему, будутъ не въ уровень всѣхъ и каждаго. Для уразумѣнія ихъ требуется извѣстная доля образованности, а кругъ образованныхъ читателей или слушателей всегда меньше другихъ круговъ. Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ превосходства сочиненій въ томъ или другомъ родѣ почти всегда служитъ сравнительно меньшая мѣра ихъ количественнаго распространенія и слѣдов. количественнаго вліянія ([1]).

§ 24. Главнымъ органомъ мистики служилъ у насъ «Сіонскій вѣстникъ». Его и выбираемъ мы для обзора мистической литературы, какъ центральный пунктъ, къ которому сводятся какъ до него явившіяся, такъ и послѣ него появлявшіяся однородныя изданія и книги. При этомъ обзорѣ мы ограничиваемся слѣдующей задачей: показать, что всѣ главнѣйшіе пункты или положенія мистики, образующія такъ сказать, ея догматику, были выражены въ нашей мистической литературѣ временъ Екатерины II и Александра I.

Главнымъ предметомъ своего журнала Лабзинъ поставилъ христіанскую нравственность. Но какъ цѣли христіанско-нравственнаго назиданія могло удовлетворять само духовенство разными способами, между прочимъ и повременными изданіями, то необходимо думать, что содержаніе «Сіонскаго вѣстника» отличалось чѣмъ-нибудь отъ содержанія, предлагаемаго призванными наставниками христіанъ — или выборомъ предметовъ для нравоученія, или основами, изъ которыхъ нравоученіе истекало. Иначе останется непонятною замѣтка Лабзина, что нѣкоторые читатели въ «обыкновенныхъ» наставленіяхъ о религіи не находятъ полнаго себѣ удовлетворенія. Чѣмъ же они должны были удовле-

---

[1]) Слова и рѣчи Іоанна Леванды, 4 ч. (1821).—Бесѣды въ разныя времена говоренныя Михаиломъ, 16 ч. (1855—1856).—Сочиненія Августина, съ жизнеописаніемъ (1856).—Слова и рѣчи Амвросія (1856).—Сочиненія Филарета (новое изданіе): вышло 3 тома словъ и рѣчей.

творяться? На какой точкѣ зрѣнія стоялъ Лабзинъ, выговаривая свою замѣтку и разумѣя какія-то наставленія «необыкновенныя?»

Сущность христіанской нравственности должна вытекать изъ сущности истиннаго христіанства. Книга Арндта подробно разъясняетъ послѣднюю, заключая разъясненія однимъ выводомъ: «все христіанство состоитъ въ возстановленіи образа Божія въ человѣкѣ и въ истребленіи образа сатанинскаго» (¹). Этотъ выводъ, почти въ одной и той же формѣ, повторяется многими другими сочиненіями. «Златая книжица о прилѣпленіи къ Богу» (1784) говоритъ: «полное совершенство человѣка въ жизни сей есть соединеніе съ Богомъ, такъ, чтобы вся душа совершенно погрузилась въ Бога и была единый съ Богомъ духъ». Въ другой книжкѣ: «Пребываніе Божіе въ человѣкѣ христіанинѣ» (1821), читаемъ: «христіанство есть соединеніе души съ Богомъ, истинное сопричастіе божественнаго естества его, самый образъ Божій, начертанный въ душѣ, короче—божественная жизнь». «Сіонскій вѣстникъ» не могъ обойти этого кореннаго положенія мистиковъ. Онъ посвятилъ ему особую статью (²). «Нѣтъ ничего рѣже», говоритъ ея авторъ, «какъ посреди такъ называемаго христіанства найти правильное, ясному ученію приличное о истинномъ христіанствѣ понятіе», и въ-слѣдъ за симъ исчисляетъ сначала тѣ признаки, которые не могутъ служить точнымъ опредѣленіемъ предмета: христіанство состоитъ не въ частныхъ добродѣтеляхъ, не во внѣшнемъ богослуженіи, не въ почтенномъ въ глазахъ міра житіи, не въ слѣпой невѣдущей вѣрѣ, не въ нѣкоторыхъ чувствованіяхъ и ощущеніяхъ, не въ такъ называемомъ крестѣ, страданіи, бореніи, искушеніяхъ, — а потомъ указываетъ единственно-существенный признакъ истиннаго христіанства: оно состоитъ въ общеніи, соединеніи, дружествѣ или связи внутренности нашей, нашего сердца съ Іисусомъ Христомъ.

При означенномъ понятіи о христіанствѣ, мистики теряютъ значеніе различныхъ его исповѣданій, что и выражено въ статьѣ: «о раздѣленіяхъ между христіанами» (³), развивающей мысли Штиллинга о томъ же предметѣ (⁴). Статья направлена вообще противъ догматическаго богословія и въ частности противъ догматиковъ или, какъ называетъ ихъ авторъ, книжниковъ въ православіи. Содержаніе ея вращается около тѣхъ мыслей, что вѣра Христова не знаетъ раздѣленій, кромѣ раздѣленія вѣрующихъ отъ невѣрую-

---

¹) О истинномъ христіанствѣ.
²) Что есть собственно христіанство въ смыслѣ частномъ (1806, іюнь).
³) С. В. 1817, октябрь.
⁴) Угрозъ Свѣтовостоковъ, кн. 19.

щихъ, ветхаго человѣка отъ новаго; что единственнымъ путемъ къ соединенію церквей было бы то, еслибы каждый, ревнующій по православію, вникнулъ въ прямой смыслъ ученія Іисуса Христа, разсмотрѣвъ, подлинно ли онъ есть правовѣрный въ очахъ Божіихъ, а не въ своихъ собственныхъ; что правовѣрный есть тотъ, кто право вѣритъ ученію Спасителя, а ученіе Спасителя существенно состояло въ томъ, чтобы человѣку дѣлаться новою тварью, новымъ человѣкомъ, рожденнымъ отъ Бога. Такимъ образомъ отличительные догматы каждаго христіанскаго вѣроисповѣданія наши мистики почитали не основными, въ противоположность, по ихъ мнѣнію, единственно основному, лежащему въ каждомъ вѣроисповѣданіи и образующему такъ называемое общее, «универсальное» христіанство. Въ подкрѣпленіе своей мысли, они указывали на выраженіе идеи христіанства въ актѣ «священнаго союза», которымъ заявлено, что христіане составляютъ одно семейство, исповѣдующее одну и ту же религію, и что различныя названія вѣроисповѣданій не имѣютъ важности. Жозефъ де-Местръ, сардинскій посланникъ при нашемъ дворѣ, именно такъ и объяснялъ смыслъ конвенціи трехъ государей, находя ее благопріятной для «терпимости теологической», которая, однакожъ, по его мнѣнію, ведетъ къ «религіозному индифферентизму». Основные догматы христіанства иногда назывались, на языкѣ тогдашняго времени, «религіозностью», а частные догматы каждаго вѣроисповѣданія — «религіей» (¹).

Другіе мистики идутъ дальше и въ своей послѣдовательности впадаютъ въ фанатическую крайность. Они какъ бы ставятъ краеугольнымъ камнемъ своихъ сужденій слѣдующія слова Августина: «что называютъ теперь религіей христіанской, то существовало у древнихъ и не переставало существовать отъ начала рода человѣческаго до воплощенія Христа; съ этой же эпохи истинная религія, уже существовавшая, стала называться религіей христіанской» (²). Англійскій пасторъ Лау (Law), толкователь Бемова ученія, говоритъ, что христіанство также древне, какъ сотвореніе и паденіе человѣка. Съ паденіемъ Адама оно возвѣщалось всѣмъ падшимъ людямъ, во всѣхъ частяхъ вселенной. Оно было общей первобытной религіей патріарховъ, Моисея, пророковъ и каждаго кающа-

¹) Mémoires politiques et correspondance diplomatique de J. de Maistre, 2 т. (изд. 1859 и 1861).

²) Res ipsa, quae nunc religio christiana nuncupatur, erat apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani, quousque Christus veniret in carnem, unde vera religio, quae jam erat, coepit appellari christiana (Retractationes, кн. 1, гл. 13, § 3). См. Patrologiæ cursus completus, т. 32 (1845).

гося человѣка, въ какой бы части свѣта онъ ни жилъ. Различіе между идолопоклонниками и чтителями истиннаго Бога—одно, состоящее въ томъ, небо или земля обладаетъ и управляетъ сердцемъ человѣка. Люди перваго рода принадлежатъ къ истинной религіи, гдѣ бы и когда бы они ни существовали; люди втораго рода принадлежатъ къ идолопоклонникамъ, не смотря на различіе временъ и мѣстъ. Только любовь къ міру, вмѣсто любви къ Богу, составляетъ сущность невѣрія (1). Въ нашей мистической литературѣ такъ или иначе проводился подобный взглядъ. Имъ объясняется, между прочимъ, особенное уваженіе мистиковъ къ нѣкоторымъ языческимъ писателямъ. Въ мистическихъ журналахъ Новикова много переводовъ изъ Сенеки, Эпиктета, Плутарха, Платона. Цѣль двухъ статей Лабзина о философіи (2), обработанныхъ по Эккартсгаузену, видна изъ его собственныхъ словъ: «обратясь къ чтенію Цицерона и другихъ древнихъ авторовъ, я увидѣлъ, сколь древніе были ближе къ понятіямъ и истинамъ христіанскимъ, нежели мы, имѣющіе писанное Евангеліе и называющіеся христіанами». Крайній мистикъ Дю-Туа выражается еще рѣшительнѣе, утверждая, что, «собравъ мѣста изъ древнихъ философовъ и стихотворцевъ о религіи, мы увидимъ почти полную систему всѣхъ божественныхъ таинствъ, представляемыхъ нашей вѣрѣ откровеніемъ» (3). Напротивъ, голосъ Сперанскаго по этому предмету умѣреннѣе: онъ говоритъ, что таинственное, т. е. мистико-религіозное ученіе (которое, однакожъ, почиталось истиннымъ христіанствомъ) въ различныхъ образахъ понятій, на разныхъ языкахъ, разными выраженіями было проповѣдуемо между «свѣтоспособными» въ самой глубокой древности; при чемъ упоминаются школы Пиѳагора и Платона (4). Наконецъ укажемъ на статью «Древность христіанства», въ Христіанскомъ Чтеніи (5). Вотъ ея заключеніе: «Христіанство есть единая истинная религія, равняющаяся міру своею древностію. — Что Новиковъ, Лабзинъ, Сперанскій должны были высоко цѣнить Платона и другихъ «свѣтоспособныхъ» людей древности, видѣть въ ихъ ученіи своего рода откровеніе, а въ нихъ самихъ какъ бы христіанъ до христіанства, это объясняется сущностью мистики, въ образѣ мыслей которой есть много родственнаго съ философіей Платона и преимущественно съ философіей ново-платониковъ (Плотина, Прокла), такъ что мистику можно назвать христіанскимъ

---

1) Французскій переводъ сочиненія Лау: «La voie de la science divine».
2) С. В. 1806, январь и іюль.
3) Божественная философія, 5 ч. (М. 1818—1819). Томъ 2, кн. 4.
4) Письмо къ Ѳеофилакту, 15 октября 1804 (Въ память Сперанскаго).
5) 1821, ч. 3.

ученіемъ, подъ вліяніемъ неоплатоническихъ идей. Отдѣльно разсѣянные мистическіе элементы впервые образовали одно цѣлое въ сочиненіяхъ, которыя явились въ V или VI вѣкѣ по Р. Х. и долгое время несправедливо приписывались Діонисію Ареопагиту, ученику Апостола Павла (¹). Сочиненія эти, особенно главнѣйшія: «о таинственномъ богословіи» и «объ именахъ Божіихъ», установили мистическую теологію и сдѣлались обильнымъ источникомъ для послѣдующихъ мистиковъ. Авторитетное ихъ значеніе доказывается тѣмъ, что св. Максимъ Исповѣдникъ писалъ на нихъ толкованія, а Георгій Пахимеръ составилъ парафразъ оныхъ, не говоря уже объ изученіи ихъ въ католическомъ мірѣ. У насъ они пользовались великимъ уваженіемъ. Два рукописныхъ перевода ихъ (XVII в.) находятся въ Синодальной Библіотекѣ: одинъ сдѣланъ монахомъ Исаіей въ 1371 г., другой монахомъ Евѳиміемъ, ученикомъ Епифанія Славинецкаго. Послѣдній переводъ былъ пересмотрѣнъ при патріархѣ Адріанѣ, «печатнаго ради тисненія». Однакожъ въ печати сочиненія Ареопагита явились не раньше второй половины прошлаго вѣка. Въ нынѣшнемъ столѣтіи они были вновь переведены и изданы, кромѣ одного (объ именахъ Божіихъ) (²).

Соотвѣтственно понятію объ истинномъ христіанствѣ, мистики сводятъ его сущность къ тремъ пунктамъ, которые и поставляютъ на видъ каждому: первый—человѣкъ, по своему созданію, назначенъ быть причастникомъ божественнаго естества, какимъ и обладалъ Адамъ; второй—паденіе низвергло человѣка въ жизнь животную, земную и нечистую, въ жизнь плоти и крови; третій—искупленіе даровало ему возможность возстановить себя въ первобытномъ правѣ, сдѣлаться снова Адамомъ. И такъ возсоединеніе съ Богомъ, какъ источникомъ нашей души, послѣ разъединенія, произведеннаго паденіемъ, возстановленіе во всей чистотѣ образа Божія: такова цѣль жизни человѣческой. Это возсоединеніе обыкновенно называется вторымъ, духовнымъ рожденіемъ, или «возрожденіемъ». Оно составляетъ существенный догматъ мистики, и потому служитъ главнѣйшимъ предметомъ мистическихъ книгъ,

¹) Вопросъ о неправильномъ присвоеніи этихъ сочиненій Діонисію Ареопагиту, на основаніи тщательныхъ изслѣдованій, рѣшенъ окончательно. См. Die angeblichen Schriften des Areopagiten Dionisius, übersetzt von Engelhardt (1823); Русская литература о сочиненіяхъ съ именемъ св. Діонисія Ареопагита (Православное Обозрѣніе, 1872, іюнь, критич. статья священника Смирнова).

²) О небесной іерархіи, пер. іеромонаха Моисея Гумилевскаго (1786). Новый переводъ, напеч. по опредѣленію синода (1839), имѣлъ нѣсколько изданій.— О церковной іерархіи, пер. іером. Моисея (1787). Нов. переводъ 1855.—Письма къ разнымъ лицамъ (Хр. чт. 1825, ч. 19). — О таинственномъ богословіи (ib. ч. 20).

которыя предлагають и средства къ достиженію цѣли, начертывають путь «дѣятельнаго христіанства», противопоставляя свое ученіе ученію «догматико-критическому». Задача почиталась столь важною, что кромѣ сочиненій, изданныхъ на пользу совершеннолѣтнихъ, являлись и учебныя руководства, одинаковыя съ первыми по содержанію и назначенію. «Начальныя основанія дѣятельнаго христіанства, по отвѣтамъ и вопросамъ расположенныя» (1), предлагаютъ краткое начертаніе тѣхъ путей и степеней, по которымъ Господь приводитъ падшія души къ духовному ихъ возрожденію. Авторъ замѣчаетъ, что его сочиненіе полезно не для однихъ дѣтей, но и вообще для юныхъ — только не тѣломъ, а духомъ и умомъ. Кромѣ прямаго изложенія предмета, мистики прибѣгали нерѣдко къ пособію аллегоріи. Таково сочиненіе Бюніана: «Путешествіе христіанина и христіанки къ блаженной вѣчности» (2), въ которомъ, подъ видомъ сна, представлены душевныя состоянія кающагося грѣшника, и подражаніе ему Штиллинга: «Тоска по отчизнѣ» (3), изображающее, въ вымышленной исторіи, пути истиннаго христіанина. Рядомъ съ аллегорическими повѣствованіями шли небольшіе разсказы, написанные простымъ языкомъ и назначавшіеся для библіотеки духовно-нравственныхъ книгъ: одинъ изъ такихъ разсказовъ называется «Разговоромъ о возрожденіи» (4).

На языкѣ мистиковъ, «возрожденіе» обозначается разными названіями, большею частію заимствованными изъ Св. писанія: общеніемъ съ Іисусомъ Христомъ (1 Кор. I, 9), житіемъ Іисуса въ насъ (Гал. II, 20), пребываніемъ во Христѣ и Христа въ насъ (Іоан. XV, 4), житіемъ на небесѣхъ (Филип. III, 20), помазаніемъ отъ Святаго, сообщающимъ всезнаніе (1 Іоан. II, 20), обновленіемъ жизни (Римл. VI, 4), созерцаніемъ славы Божіей открытымъ лицемъ (2 Кор. III, 18), откровеніемъ (Ефес. I, 17) и пр. (5). Возрожденный также именуется различно: новымъ человѣкомъ (Ефес. IV, 24), потаеннымъ сердца человѣкомъ (1 Петр. III, 4), духовнымъ человѣкомъ (1 Кор. II, 15), единымъ духомъ съ Господомъ (1 Кор. VI, 17), новою тварью (Гал. VI, 15) (6). Самый процессъ возрожденія — лѣстница, по которой вѣрующій

---

1) Два изданія (1785 и 1786) нап. въ Москвѣ, третье въ Спб. (1805).

2) Русскаго перевода три изданія: 2-е (1786), 3-ье (1819).

3) Рус. переводъ 1817—1818.

4) Нов. изд. 1839.

5) Kurze Nachricht von der Mystik (при нѣм. переводѣ писемъ Гюйонъ, 1769).—Что есть собственно христіанство (С. В. 1806).

6) Христіанинъ или вѣрующій нова-тварь, сочиненіе Самуила Паркера. Пер. съ англ. (1815).

можетъ восходить на величайшую высоту духа—образуетъ нѣсколько степеней. Число ихъ въ однихъ сочиненіяхъ больше, въ другихъ меньше, но главнѣйшія, существенныя во всѣхъ одинаковы. Мистикъ XII—XIII в. Эккартъ опредѣляетъ слѣдующія стадіи на пути къ соединенію души съ Богомъ: оправданіе, т. е. отпущеніе грѣховъ, отрѣшеніе отъ всѣхъ тварей и отъ самого себя, соединеніе души съ Богомъ, или рожденіе Бога въ душѣ. Первая стадія начинается обращеніемъ грѣшника къ Богу: свободная воля, направляемая благодатію, удаляется отъ грѣха и сѣтуетъ о грѣхахъ содѣянныхъ. Въ этомъ сѣтованіи и заключается раскаяніе. Плодъ истиннаго раскаянія есть отпущеніе грѣховъ, или *оправданіе*. Вторая стадія образуется изъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ степеней духовнаго очищенія. Чтобы человѣку, по благодати, стать едино съ Богомъ, необходимо устранить все то, что отлучаетъ его отъ Бога. Грѣхъ уже устраненъ покаяніемъ; но остается еще многое: все конечное, препятствующее общенію съ Безконечнымъ. И потому первымъ актомъ человѣка на второй стадіи является внутреннее собраніе, сосредоточеніе самого себя, обозначаемое стариннымъ, прежде употреблявшимся словомъ *вовращеніе*. Всѣ свои силы и способности (разумъ, память, волю, силу представленія, и т. д.) и ихъ отправленія душа должна изъ внѣшней разсѣянности призвать домой, въ глубочайшую свою основу, для внутренняго дѣйствованія. За «вовращеніемъ» слѣдуетъ освобожденіе, отрѣшеніе отъ тварей какъ вѣдѣніемъ, такъ и желаніемъ. Далѣе—отлученіе человѣка отъ самого себя, какъ отъ индивидуальности. Душа должна забыть, утратить себя. Это исхожденіе человѣка изъ самого себя, это состояніе смертнаго бытія (умертвіе), самоопустошеніе, самоуничтоженіе и есть условіе высочайшаго дѣйствія благодати, т. е. *возсоединенія человѣка съ Богомъ* или рожденія Бога въ душѣ человѣческой. Къ нему-то мистическая теологія относитъ слова Апокалипсиса: «блаженны мертвые, умирающіе въ Господѣ» (XIV, 13) ([1]). Другой знаменитый мистикъ, Таулеръ (XIII—XIV в.), указываетъ три степени: вхожденіе человѣка въ себя самого, иначе: собраніе внутрь себя всѣхъ низшихъ и высшихъ силъ духа; исхожденіе всѣхъ силъ изъ души, иначе: самоотреченіе, самоуничтоженіе; соединеніе души съ Богомъ, иначе рожденіе Бога въ душѣ ([2]). Инымъ образомъ, хотя по сущно-

---

[1]) Meister Eckhardt, der mystiker, von Lasson (1868).

[2]) Predigten, Deutsche Theologia, Medulla animae и др. сочиненія Туалера, изд. 1692. Выборъ изъ этихъ сочиненій, преимущественно изъ проповѣдей, сдѣланный Тенигардомъ, переведенъ на рус. языкъ подъ заглавіемъ: Краткія разсужденія о важнѣйшихъ предметахъ жизни христіанской (три изданія: 1801, 1820, 1821).

сти не различнымъ, описывается путь возрожденія въ «Мысляхъ на досугѣ поучающагося истинамъ вѣры» (1815). Основываясь на словахъ Спасителя: «Азъ есмь путь, истина и животъ», авторъ говоритъ: «три степени на лѣствицѣ восхожденія въ жизнь вѣчную, а именно: Христосъ *путь* возрождаетъ чувственнаго человѣка чрезъ вѣру во Іисуса и чрезъ обращеніе отъ міра и чувственности къ духу и внутренности на путь крестный; Христосъ *истина* воспитываетъ обращеннаго и возрожденнаго чрезъ непрестанное укрѣпленіе его духомъ истины, истекающей изъ премудрости и любви Божіей; Христосъ *жизнь* созидаетъ въ обновленномъ сердцѣ возрожденнаго храмъ Духу Святому, который столь тѣсно соединяетъ вѣрующаго со Христомъ, что не только во внутренней, но и во внѣшней его жизни представляетъ живой списокъ Христа въ немъ».

Такимъ образомъ человѣкъ, возрожденный указаннымъ путемъ самоотреченія, изъ плотскаго и душевнаго прелагается въ духовнаго, истиннаго христіанина. Въ немъ, на послѣдней ступени лѣстницы, ведущей отъ земли на небо, воплощается Слово и своимъ воплощеніемъ обожествляетъ его, творитъ существомъ богоноснымъ. Бывъ дотолѣ микрокозмомъ, онъ получаетъ право называться микротеемъ (¹). На его внутреннемъ освящeніи ознаменовалась тайна нашего искупленія, которая и состоитъ именно въ преложеніи душевнаго въ духовное, въ «преображеніи» человѣчества, или, по словамъ Апостола Павла, въ «возглавленіи всяческихъ во Христа» (²). Такъ какъ бесѣда Спасителя съ Никодимомъ была ведена о новомъ рожденіи человѣка, или о рожденіи свыше, то всѣ мистики безъ исключенія видятъ въ ней основаніе вѣчнаго блаженства человѣческаго и указаніе судебъ Божіихъ о мірѣ (³). Въ своихъ воззрѣніяхъ они опираются преимущественно на Евангеліе отъ Іоанна и на посланія Апостола Павла, какъ на главнѣйшіе авторитеты касательно таинственнаго единенія человѣка съ Богомъ. Понятно также, почему возрожденіе служитъ постояннымъ предметомъ мистической проповѣди, сообщая ей видимую однообразность. Бесѣды Дю-Туа, собранныя въ пяти книгахъ, подъ именемъ «Христіанской философіи», вращаются около одного и того же пункта, объясняя или паденіе Адама, или тайну искупленія, или преобразованіе падшаго человѣка въ «нову тварь», т. е. начало, средину и конецъ верховныхъ судебъ о мірѣ. Любимѣйшая тема этихъ

---

¹) Божеств. философія, кн. 1, гл. 2.

²) Письмо Сперанскаго къ Броневскому (Въ память Сперанскаго).

³) С. В. 1817, май, ст.: Духъ и истина.

однообразныхъ поученій — Рождество Спасителя, ибо вочеловѣченіе Бога является для мистика знаменіемъ обожествленія человѣка, производимаго рожденіемъ Бога въ душѣ, и даетъ ему, какъ проповѣднику, обильный матеріалъ для таинственныхъ сопоставленій, для таинственнаго параллелизма. Вотъ причина, почему издатель Сіонскаго Вѣстника не былъ удовлетворенъ «обыкновенными» наставленіями нашихъ пастырей о религіи: эти пастыри, по его мнѣнію, почти не проповѣдывали о главномъ ученіи христіанства, или, вѣрнѣе, объ истинномъ христіанствѣ, т. е. о возрожденіи. «Нынѣшніе проповѣдники Евангелія», говоритъ онъ, «представляютъ Христа главою и учителемъ, который, находясь «внѣ насъ», учитъ насъ, чтѐ есть добро, а не говорятъ, что онъ долженъ «внутренно» владычествовать (т. е. жить и царствовать) и самъ совершать въ насъ добрыя дѣла. Не добрыя и благочестивыя дѣла дѣлаютъ человѣка добрымъ и благочестивымъ, а добрый и благочестивый человѣкъ дѣлаетъ добрыя и благочестивыя дѣла» (¹). Это недовольство и было причиною появленія въ Сіонскомъ Вѣстникѣ цѣлаго ряда статей, подъ заглавіемъ «Духъ и истина», составляющихъ наиболѣе характеристичную, капитальную часть журнала. Наконецъ самое посвященіе журнала (на 1817 г.) «Господу Іисусу Христу, вѣчному «*возродителю* и *обновителю* всяческихъ», ясно показываетъ, какой догматъ мистики долженствовалъ быть главною задачею издателя.

Изложенное нами понятіе о возрожденіи не представляло, однакожъ, для русскихъ читателей чего-то совершенно новаго, дотолѣ имъ неизвѣстнаго. Въ духовной литературѣ нашей давно уже существовало не малое число твореній, въ которыхъ тотъ же самый предметъ, съ полнымъ процессомъ его послѣдовательнаго развитія, обстоятельно разъяснялся если не тождественнымъ образомъ и не въ одинаковой формѣ съ доктриною протестантскихъ и католическихъ мистиковъ, то, по крайней мѣрѣ, очень сходственно и близко. Внутреннее, сокровенное пребываніе съ Богомъ, какъ истинная сущность истинной религіи, какъ верховная задача христіанина въ его земномъ существованіи, не только предлагалось и обсуждалось этими писаніями, но и дѣйствовалось и достигалось ихъ творцами, по ихъ собственному, откровенному заявленію. Главнымъ поприщемъ для такого дѣйствованія служили монастыри. Вообще развитіе мистики тѣсно связано съ развитіемъ иночества, которое, стремясь къ болѣе строгой нравственности, къ «дѣятельному» христіанству, стало уединяться отъ общей массы

¹) С. В. 1806, августъ, стр. 200. См. также 1817, декабрь, стр. 311.

вѣрующихъ въ пустынныя обители съ того времени, какъ замѣтило, что чистота первобытныхъ нравовъ омрачалась мірскими соблазнами. Тоже побужденіе, положивъ раздѣлъ на практикѣ, въ жизни, обнаружилось и на теоріи, въ доктринѣ. Когда ученіе Церкви, развившись и сложившись, сдѣлалось общимъ достояніемъ всѣхъ ея членовъ, тогда многіе изъ нихъ, преимущественно въ средѣ иноческой, устремились къ ученію, болѣе внутреннему и глубокому, чѣмъ обычное: послѣднее не удовлетворяло умы сосредоточенные и восторженные. Вотъ почему изъ монашества, особенно восточнаго, вышло большое число мистиковъ, а это и доказываетъ, что оно весьма благопріятствовало духовной дѣятельности созерцательныхъ натуръ. Между иноками являлось много такихъ, которые были не просто аскеты, согласно своему званію, но и аскеты-созерцатели.

Въ XIV вѣкѣ, иноки горы Аѳонской приняли наставленія о жизни созерцательной отъ Григорія Синаита, поселившагося между ними послѣ своего подвижничества на горѣ Синайской. Онъ поучалъ ихъ пути внутренняго очищенія, которымъ великіе отцы-пустынножители достигали небеснаго наитія, свѣтоносныхъ озареній Св. Духа. Русское иночество, при посредственныхъ или непосредственныхъ сношеніяхъ съ святою горою, усвоивало тоже ученіе. Преданіе Нила Сорскаго (XVI в.) ученикамъ о жительствѣ скитскомъ содержитъ въ себѣ выборъ изъ отеческихъ писаній, служившихъ руководствомъ на означенномъ пути духовнаго дѣйствованія. Но независимо отъ сокращенныхъ извлеченій, предки наши имѣли возможность знакомиться вполнѣ съ аскетической литературой этого направленія, по славянскимъ переводамъ твореній Исаака Сирина, Іоанна Лѣствичника, Максима Исповѣдника, Симеона новаго богослова, Григорія Синаита и другихъ. Самое замѣчательное собраніе твореній по предмету высшаго христіанскаго любомудрія, которымъ душа очищается, просвѣщается и возводится къ соединенію съ Богомъ, находится въ греческой книгѣ: «Добротолюбіе», переведенной на славянскій языкъ архимандритомъ Нямецкаго монастыря (въ Молдавіи), полтавскимъ уроженцемъ Паисіемъ Величковскимъ (¹). Предисловіе къ сборнику выражаетъ мысль, что совѣтъ Божій, искони предопредѣлившій «обожить» человѣка, пребываетъ во-вѣкъ. Исполненіе этого совѣта началось въ созданіи Адама по образу и подобію Творца его; продолжалось въ воплощеніи, т. е. въ воспріятіи Богомъ человѣче-

¹) Добротолюбіе, или словеса и главизны священнаго трезвѣнія, 4 ч. (1-ое изд. 1793).

скаго естества, которое по сему самому обожилось; а завершится духовнымъ преуспѣяніемъ человѣка, когда онъ достигнетъ въ мѣру возраста исполненія Христова (Ефес. IV, 13) и когда Христосъ водворится въ его сердцѣ, слѣдовательно обожитъ его. Богомудрые отцы указываютъ путь къ такому совершенству, предлагаютъ способъ для достиженія высочайшей цѣли нашего бытія. Этотъ способъ состоитъ въ особомъ духовномъ (иначе умномъ) художествѣ или дѣланіи, такъ называемомъ «священномъ трезвѣніи», которое, однакожъ, по важности своей, «многоименно» и потому обозначается и другими словами: храненіе сердца, блюденіе ума, вниманіе, сердечное (или мысленное) безмолвіе, чистая (умная, непарительная и непрестанная) молитва, и пр. Трезвѣніе, подобно огненной Илиной колесницѣ, возноситъ своихъ причастниковъ на высоту небесную. Постепенный въ немъ опытъ уподобляется лѣствицѣ Іаковлевой, на ней же Богъ пребываетъ и по ней же ангелы нисходятъ и восходятъ: «Восходите, елицы желаніе имате вселитися въ васъ Христу и во образъ Св. Духа преобразитися; пріидите, елицы разумомъ и искусомъ царствіе небесное, внутрь васъ сущее, познати и пріяти хощете» (¹). Ступени восхожденія исчисляются различно, смотря по основанію, принимаемому во взглядѣ на «обоженіе». Такъ какъ мѣра духовнаго совершенства, нужнаго для этого человѣку, есть мѣра «полнаго возраста Христова», то Григорій Синаитъ ведетъ ступени параллельно періодамъ земной жизни Іисуса Христа: зачатію соотвѣтствуетъ обрученіе духа, рожденію—дѣйство радованія, крещенію — чистительная сила духовнаго огня, преображенію — видѣніе божественнаго свѣта, воскресенію—животворное возстаніе души, вознесенію—изступленіе и восхищеніе ума (²). У инока Ѳеофана не шести, а десятистепенная лѣствица божественныхъ даровъ, извѣстная по опыту богоноснымъ: чистая молитва и происходящая отъ нея сердечная теплота, святое дѣйство, сердечныя слезы, миръ многоразличныхъ помысловъ, очищеніе ума, видѣніе высшихъ таинствъ, странное осіяніе несказаннымъ образомъ, неизреченное сердца просвѣщеніе, совершенство (³). Черты этого совершенства, изображаясь различно въ тѣхъ или другихъ аскетическихъ твореніяхъ, въ сущности одинаковы. Путь священнаго трезвѣнія именуется путемъ избраннымъ и царскимъ, ведущимъ къ сыноположенію Божію. Человѣкъ, прошедшій имъ, изъ существа животнаго обращается въ святаго, обожается въ духѣ. Подвигаясь присносущнымъ движеніемъ отъ

¹) Ib. ч. I, листы 7, 32, 36.
²) Ib. ч. I, л. 111.
³) Ib. ч. III, л. 132.

Духа Святаго, онъ, по словамъ Василія Великаго, принимаетъ достоинство пророческое, апостольское, ангельское и божественное, сый прежде сего земля и пепелъ ([1]). Душа пріобрѣтаетъ безстрастіе, воскресаетъ прежде тѣла, непосредственно соединяется съ Богомъ. Исправляющій трезвѣніе входитъ въ видѣнія святая святыхъ, просвѣщается отъ Христа глубокими таинствами, въ его душу входитъ Святый Духъ, силою котораго умъ человѣческій научается зрѣть откровеннымъ лицемъ ([2]). Какъ чувственное око зритъ на письмена и отъ нихъ пріемлетъ чувственныя разумѣнія, такъ и умъ, очистившись и первобытнаго достигнувъ достоинства, зритъ на Бога и отъ Него пріемлетъ разумѣнія божественныя: тогда онъ вмѣсто книги имѣетъ Духа, вмѣсто трости писательной— смыслъ и языкъ; тогда онъ познаетъ, какъ учитъ Богъ человѣка, по пророчеству, Духомъ (Іоан. VI, 45) ([3]). Преподобный Антоній былъ потому боговидецъ и предзритель, что трезвился сердцемъ. Потщись войти во внутреннее сокровище твое, учитъ Исаакъ Сиринъ, и ты узришь сокровище небесное. То и другое едино есть, и входя во едино—узриши и то и другое. Лѣствица царствія онаго (небеснаго) сокрыта внутри тебя—въ твоей душѣ ([4]). Дѣланіе и храненіе (священное трезвѣніе) утончаютъ умъ и сообщаютъ ему зрѣніе, душа возвышается въ чистоту ума, чистотою же ума приходитъ человѣкъ, во еже зрѣти тайны Божія, видѣть откровенія и знаменія, какъ видѣлъ пророкъ Іезекіиль ([5]). Во второмъ словѣ Нила Сорскаго приведены слова Симеона новаго богослова о блаженныхъ дарахъ чистой молитвы и умнаго безмолвія: «какой языкъ изречетъ, какой умъ скажетъ? Зрю свѣтъ, его же міръ не имѣетъ, внутри себя зрю Творца міра, и бесѣдую, и люблю, и питаюсь единымъ боговидѣніемъ, и, соединився съ Богомъ, превосхожду небеса. Гдѣ же тогда тѣло—не вѣмъ.... Любитъ меня и Онъ, и въ себѣ самомъ пріемлетъ меня, и въ объятіяхъ сокрываетъ; живущій на небѣ, пребываетъ въ моемъ сердцѣ: здѣсь и тамъ зрится мною.... Владыка показуетъ меня равнымъ ангеламъ, творитъ меня лучшимъ ихъ: ибо тѣмъ Онъ невидимъ по существу (естество Его неприступно); мнѣ же зрится всяко, смѣсився естеству моему своимъ существомъ ([6]). Въ мертвенномъ еще тѣлѣ таин-

---

[1]) Ib. II, 129—130.
[2]) Ib. 11, л. 4.
[3]) Ib. 1, л. 90.
[4]) Ib. II, лл. 37 и 41.
[5]) Ib. II, л. 99.
[6]) Нила Сорскаго преданіе о жительствѣ скитскомъ (М. 1849).

ственникъ ([1]) вкушаетъ безсмертной пищи; еще въ этомъ маловременномъ мірѣ сподобляется отчасти той радости, которая хранится въ небесномъ отечествѣ ([2]). Въ нѣскольких мѣстахъ Добротолюбія есть ссылки на псевдо-діонисіевы сочиненія. Въ правилѣ о безмолвіи и молитвѣ (Каллиста, патріарха констатинопольскаго, и сподвижника его Игнатія) духовная, божественная сладость, изливающаяся изъ сердца во время чистой молитвы, изображена по воззрѣніямъ «Таинственнаго богословія»: «Въ превысшій свѣта мракъ пріити мы молимся, и невидѣніемъ и неразумѣніемъ увидѣти и разумѣти сущаго паче видѣнія и разума, самымъ тѣмъ, еже не увидѣти, ниже разумѣти: се бо есть еже воистину увидѣти и разумѣти, и пресущественнаго пресущественнѣ воспѣти отъятіемъ всѣхъ сущихъ... Божественный мракъ есть неприступный свѣтъ, въ немъ же жити Богъ глаголется, и въ невидимѣмъ сущемъ, за превосходящую свѣтлость, и неприступнѣмъ, за превосхожденіе пресущественна свѣтосіянія. Въ сей приходитъ всякъ, Бога разумѣти и увидѣти сподобляйся, самымъ симъ, еже не видѣти, ниже разумѣвати, воистинну въ томъ, иже паче видѣнія и разума бывая, сіе самое разумѣвая, яко превыше всѣхъ есть чувственныхъ и умныхъ» ([3]). Приводимъ еще мѣсто изъ «главизнъ о любви и совершенствѣ житія» инока Никиты Стифата, ближайшаго ученика Симеона новаго богослова: «Обоженіе есть въ житіи умное и божественное священнодѣйство, въ немъ же священнодѣйствуетъ слово неизреченныя премудрости, и уготовльшимъ себѣ, елико можно, преподается. Сіе благолѣпно Богъ словесному естеству свыше дарова во единство вѣры, да ови убо, елицы за чистоту достоинства того разумомъ божественныхъ въ причастіи быша, уподобляются Богу, сообразни образу Сына его бывше, высокими и умными своими о божественныхъ движеньми, и тако положеніемъ бози будутъ инѣмъ человѣкомъ на земли; ови же очищеніемъ чрезъ божественное ихъ слово и священное сочетаніе совершаются въ добродѣтели, и по мѣрѣ своего предспѣянія и

[1]) Другое названіе созерцателей.

[2]) Преданіе Нила Сорскаго.

[3]) Доброт. II, л. 113. Сущность первой главы Таинственнаго Богословія: «что есть божественный мракъ?» состоитъ въ слѣдующемъ: Чтобы достигнуть таинственнаго созерцанія, чтобы возвыситься къ соединенію съ Тѣмъ, кто превыше всякой истины и всякаго познанія, необходимо абсолютно отрѣшиться отъ себя самого и всѣхъ прочихъ тварей. Тогда только умъ вступаетъ во мракъ непостижимости, по истинѣ таинственный; не существуя ни для себя, ни для другихъ, онъ существуетъ только для Того, который есть превыше всего, и соединяется съ непостижимымъ. И тѣмъ самымъ, что умъ не познаетъ ничего, онъ пріобрѣтаетъ знаніе превыше ума (Христ. Чт. 1825, ч. 20).

очищенія въ причастіи обоженія сихъ бываютъ и пріобщаются съ ними въ Бозѣ соединенія: яко да вси, во едино соединяеми и сообъемлеми единствомъ любве, съ единѣмъ Богомъ соединятся непрестанно,—и будетъ Богъ посредѣ боговъ благихъ дѣлъ виновенъ, иже естествомъ, сущихъ положеніемъ, ничто же порицательно на себе нося отъ созданія» (¹).

Такимъ образомъ трезвѣніе, или умная молитва, какъ по предуготовленію къ ней, такъ по ея свойству и дѣйствіямъ, въ сущности не разнится отъ вышеизложеннаго процесса, ведущаго, по ученію мистиковъ, къ рожденію Слова въ душѣ, къ обожествленію человѣка. Эта молитва есть утвержденіе христіанства, источникъ добродѣтелей, извѣщеніе сердца, образованіе святости, подательница откровеній и таинъ божественныхъ, обрученіе Святому Духу, сопребываніе и соединеніе съ Богомъ (²). Подготовленіе къ ней состоитъ во внутреннемъ собраніи всѣхъ душевныхъ силъ (вовращеніи), совершенномъ отсѣченіи собственнаго разума и собственной воли, безусловной преданности и послушаніи Богу, уничтожающемъ человѣческую самость смиреніи. Основа ея въ бесѣдѣ Спасителя съ самарянкой о поклоненіи Отцу духомъ и истиной (Іоан. IV) и въ словахъ Апостола Павла: «хощу (лучше) пять словесъ умомъ глаголати, нежели тьмы словесъ языкомъ» (1 Кор. XIV, 19). Практика такой молитвы, которая дѣйствительно есть не что другое, какъ поклоненіе духомъ и истиной, развилась въ монастыряхъ, какъ это доказывается и самыми твореніями аскетовъ-созерцателей, и «Бесѣдами» Іоанна Кассіана (IV — V в.) съ отшельниками, подвизавшимися въ Ѳиваидѣ (³). Слѣды ея существуютъ до сихъ поръ и въ нѣкоторыхъ нашихъ монастыряхъ и пустыняхъ. Сперанскій, во время пребыванія своего въ Великопольѣ, изъ разговоровъ съ монахами сосѣдственной обители Саввы Вишерскаго, узналъ, что они вовсе не чужды высшимъ степенямъ созерцательной молитвы (⁴). Ею, говоритъ онъ, молятся и въ Индіи и въ Саровской пустынѣ, ибо о Христѣ Іисусѣ нѣсть ни Іудей, ни Еллинъ, но все нова тварь (⁵).

Въ сочиненіяхъ мистическихъ ученіе о молитвѣ излагается съ особымъ тщаніемъ. Опредѣляя ея сущность, они указываютъ различныя ея степени, соотвѣтственно степенямъ духовнаго состоянія

---

[1]) Доброт. IV, л. 95—96, гл. 33.

[2]) Житіе и писанія Паисія Величковскаго (1847).

[3]) Collationes patrum (Бесѣды Кассіана съ отцами, достигшими наибольшаго искуса въ созерцательной жизни).

[4]) Жизнь Сперанскаго (1861), т. II.

[5]) Въ память гр. Сперанскаго.

нашего или другимъ предметамъ христіанскаго знанія и христіанской жизни. Г-жа Гюйонъ († 1717) въ двухъ книгахъ: «Краткій и легчайшій способъ молиться» (1821 и 1822) и «О послѣдованіи младенчеству Іисуса Христа» (1823) (¹), объясняетъ три вида молитвы: умственную, сердечную и созерцательную. Первая состоитъ въ умственномъ бесѣдованіи, или богомысліи; вторая въ воздыханіяхъ и пламенныхъ стремленіяхъ къ Богу; третья въ безмолвіи мыслей чувствъ и невозмущаемомъ покоѣ, причемъ душа, соединяясь съ Богомъ, созерцаетъ верховное благо. Русская мистичка, Хвостова, помогавшая Лабзину своимъ сотрудничествомъ, дѣлитъ молитву на три степени: устную (словесную), безъ помощи словъ совершаемую (мысленную) и высшую, или созерцательную, называя ее бесѣдой живущаго въ душѣ Сына съ превѣчнымъ Отцемъ. Эти степени она предположительно относитъ къ тремъ состояніямъ Слова, говоря: «не указываетъ ли первая на Богочеловѣка, тѣлесно (т. е. до воскресенія) проповѣдывающаго невѣжественному Израилю; вторая — на Него же, по воскресеніи своемъ бесѣдующаго съ Апостолами; третья—на Него, сѣдящаго, по вознесеніи, одесную Отца и глаголющаго своимъ искупленникамъ: се Азъ съ вами до скончанія вѣка? Восхищенный до третьяго небеси Апостолъ, можетъ быть, повѣствуетъ о сей третьей степени молитвы» (²).

Эта созерцательная (сверхчувственная) молитва одно и тоже съ священной умной молитвой «Добротолюбія». Подъ первымъ именемъ она и значится въ книгѣ преподобнаго Максима Исповѣдника «о любви» (³). Она совершается въ тишинѣ и безмолвіи, такъ какъ Самъ Богъ есть миръ, превысшій молвы и воплей (⁴), совершается безъ страха и надежды, въ полнѣйшей преданности молящагося волѣ Божіей и въ полнѣйшемъ отрѣшеніи его отъ себя и отъ всего сущаго. Высочайшей степени достигаетъ она въ то время, когда умъ, внѣ плоти и міра, внѣ вещества и образовъ, «непрестанно» молится. Плоды ея—вѣдѣніе свойствъ тѣлесныхъ и безтѣлесныхъ существъ, чистыя и ясныя извѣщенія о

---

¹) Сочиненіе Гюйонъ: «Moyen court et très-facile de faire oraison», содержитъ ученіе въ сущности одинаковое съ ученіемъ ея современника, монаха Лакомба. Другое ея сочиненіе: «О послѣдованіи младенчеству І. Х.» почти цѣликомъ помѣщено въ статьѣ: «о святомъ младенчествѣ Іисусовомъ» (С. В. 1818 февраль), безъ имени автора и переводчика.

²) Письма христіанки, тоскующей по горнемъ своемъ отечествѣ, къ двумъ друзьямъ ея — мужу и женѣ (1815). Нѣкоторыя изъ этихъ писемъ нап. въ С. В. Другое сочиненіе: «Совѣты душѣ моей» (1816). Слогъ Хвостовой отличается патетизмомъ, происходящимъ отъ женственно-мистическаго экстаза.

³) Издана съ русскимъ переводомъ стариннаго славянскаго текста (1817).

⁴) Доброт. 1, л. 125.

Богѣ [1]. Она есть знаменіе всѣхъ добродѣтелей, изъ коихъ главная любовь, почему и отождествляется съ высочайшею любовію къ Богу. Наконецъ она есть покой созерцанія, квіетизмъ, почему иноки Аѳонской горы въ XIV в. и получили названіе гезихастовъ (успокоителей). Исторія квіетизма, какимъ онъ явился въ понятіяхъ нѣкоторыхъ западныхъ мистиковъ, преимущественно останавливается на двухъ лицахъ XVII вѣка: испанскомъ богословѣ Молиносѣ и французской писательницѣ многихъ мистическихъ книгъ Гюйонъ. Ученіе перваго грубѣе и рѣзче, чѣмъ ученіе послѣдней [2]. Оба они сходны въ томъ основномъ принципѣ, что совершенство человѣка на землѣ состоитъ въ постоянномъ актѣ созерцанія и любви, что душа, соединившись съ Богомъ, должна совершевно въ немъ теряться и уничтожаться. Различіе же въ слѣдствіи, выводимомъ изъ принципа: Молиносъ обрекаетъ душу на состояніе абсолютнаго бездѣйствія, даже во время самыхъ ужасныхъ искушеній, а Гюйонъ не отвергаетъ положительнаго сопротивленія искушеніямъ. Вопросъ о молитвѣ созерцательной, безусловно-пассивной и о любви безусловно-безкорыстной или чистѣйшей послужилъ поводомъ къ замѣчательному состязанію между двумя французскими прелатами: Боссюэтомъ и Фенелономъ. Рѣшеніе вопроса было достойно славы этихъ богослововъ-философовъ: показавъ основныя начала совершенства, до котораго возможно достигнуть христіанину, оно отдѣлило бы сущность истинной духовности отъ представленій и фанатизма крайнихъ мистиковъ. Босюэтъ обвинилъ Гюйонъ, находя, что подъ видомъ чистой молитвы уничтожается всякое молитвословіе, всякое обращеніе къ Богу для испрашиванія у Него благъ, что любовь къ Богу не можетъ обойтись безъ всякаго отношенія къ нашему вѣчному блаженству, какъ высшему интересу, который и входитъ въ нее какъ побужденіе, хотя бы и второстепенное. Фенелонъ, напротивъ, сталъ на сторонѣ Гюйонъ и въ книгѣ своей: «Объясненіе изреченій святыхъ отцевъ о внутренней жизни» [3] развилъ слѣдующія положенія: внутренній путь христіанской жизни стремится къ безкорыстной, чистой любви къ Богу; цѣль искуса на пути этой жизни есть большее и большее очищеніе любви; созерцаніе, даже на высочайшей его степени, есть не что иное какъ мирное упражненіе любви; совершенство,

---

1) О любви, ст. 6, 26 и 61 второй сотницы.

2) Сочиненія Гюйонъ: Moyen court et très facile de faire oraison (рус. переводъ указанъ выше) и Le Cantique des Cantiques, interprété selon le sens mystique (рус. переводъ вмѣстѣ съ толкованіями другихъ Соломоновыхъ книгъ и книги Премудрости Іисуса, сына Сирахова, изд. 1828).

3) Explication des maximes des saints sur la vie intérieure.

называемое соединеніемъ человѣка съ Богомъ, есть не что иное, какъ полнѣйшая чистота и окончательно утвердившееся, обычное состояніе любви. Боссюэтъ одержалъ верхъ. Книга Фенелона была осуждена папою Иннокентіемъ XII. Большая часть осужденныхъ положеній сводятся къ двумъ пунктамъ: первый—есть въ этой жизни такое состояніе совершенства, въ которомъ желаніе благъ и боязнь мученій не имѣютъ мѣста; второй—есть души до того воспаленныя любовью къ Богу, что если, въ искушеніи, онѣ вѣруютъ, что Богъ осудилъ ихъ на вѣчную муку, то онѣ безусловно пожертвуютъ Богу своимъ спасеніемъ ([1]). Не смотря на торжество Боссюэта, мистики упрекаютъ его въ томъ, что онъ, отвергнувъ ученіе о чистой любви, нанесъ ударъ внутреннему христіанству и что онъ, вѣроятно, взглянулъ бы на дѣло иначе, если бы былъ знакомъ съ преданіями и духомъ мнѣній святыхъ пустынниковъ, изложенными въ «Бесѣдахъ Кассіана», а также съ ученіемъ греческихъ отцевъ церкви, проповѣдующимъ о любви и внутренней жизни христіанина. Дѣйствительно, малое знакомство Боссюэта съ указанными источниками доказывается тѣмъ удивленіемъ, которое испыталъ онъ при появленіи Фенелоновой книги (Explication des maximes des saints): онъ встрѣтилъ въ ней какъ бы новый кругъ духовныхъ воззрѣній, дотолѣ ему невѣдомыхъ.

Замѣтимъ здѣсь кстати, что ученый споръ двухъ знаменитыхъ прелатовъ, имѣвшій значеніе важнаго общественнаго факта, охватившій своимъ интересомъ всѣхъ мыслящихъ людей того времени, духовныхъ и свѣтскихъ, богослововъ и небогослововъ, и не остававшійся въ предѣлахъ одной Франціи, но далеко выступившій за ея предѣлы, нашелъ сходственное себѣ явленіе у насъ, только въ маломъ видѣ и въ кругу совершенно частныхъ сношеній. Я разумѣю переписку Сперанскаго съ Ѳеофилактомъ, архіепископомъ калужскимъ ([2]). Содержаніе ихъ письменной бесѣды относилось къ понятію объ истинномъ, внутреннемъ христіанствѣ, къ степени христіанскаго совершенства на землѣ, къ духовному разуму, какъ орудію при усвоеніи вещей духовныхъ, ко внѣшней и внутренней церкви, къ чистой любви, къ пастырскому слову, какимъ оно было въ то время и какимъ оно быть долженствуетъ, наконецъ къ Фенелону, Эккартсгаузену и Гюйонъ, съ которыми писавшій короче знакомилъ своего собесѣдника, до тѣхъ поръ слегка знавшаго,

---

[1]) Диспутъ между Боссюэтомъ и Фенелономъ подробно и обстоятельно изложенъ въ книгѣ: Histoire de Fénélon, par le cardinal de Bausset (4 тома, 1850).

[2]) Въ память Сперанскаго. — Всѣхъ писемъ Сперанскаго 15; изъ писемъ Ѳеофилакта помѣщено только два.

какъ онъ самъ сознавался, сочиненія Фенелона, а потомъ увидавшаго въ нихъ тайникъ благодати. Сперанскій, какъ сказано выше, былъ недоволенъ полемическимъ настроеніемъ современныхъ проповѣдей; Өеофилактъ доказывалъ, что полемика необходима для защиты религіи отъ деистовъ, ибо церковь не даромъ носитъ названіе «воинствующей». Второе разногласіе касалось участія разума въ дѣлахъ вѣры: Өеофилактъ отстаивалъ права этой способности; Сперанскій признавалъ его силу только для изслѣдованій въ мірѣ физическомъ, а не въ мірѣ духовномъ, у котораго свой собственный разумъ, называемый вѣрою. Далѣе, въ противоположность ученію Гюйонъ, «объятой безуміемъ духовности», Өеофилактъ думалъ, что здѣсь на землѣ любовь безкорыстная, чистая, безъ надежды и страха, невозможна; Сперанскій отвѣчаетъ ему такимъ сужденіемъ: «Если бы люди простѣе понимали Св. писаніе и менѣе его толковали, то одно прочтеніе первой заповѣди Моисеевой и евангельской довело бы къ совершенному ихъ въ сей истинѣ убѣжденію: возлюбиши Господа твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, всею мыслію твоею, всѣмъ помышленіемъ твоимъ. — Если по слову сему любовь наша къ Богу обыметъ такимъ образомъ всѣ способности наши, то чѣмъ же любить мы будемъ что-либо другое, кромѣ Его? Чѣмъ, какою способностію души будемъ мы желать собственнаго, личнаго счастія? Мы не имѣемъ ни двухъ сердецъ, ни двухъ душъ, ни двухъ силъ размышленія. Если же, что мы имѣемъ, поглощено будетъ въ любви Божіей, то что останется для любви къ міру и самимъ себѣ? Ничего; слѣдовательно не иначе можемъ мы любить себя и міръ, какъ удѣляя, похищая часть нашихъ способностей отъ любви Божіей, какъ преступая сію первую и важнѣйшую заповѣдь (1).

Изложеніе главнаго догмата мистики—догмата о возрожденіи человѣка, внутренняго пути къ нему ведущаго и духовныхъ плодовъ, имъ достигаемыхъ, не смотря на полноту и подробность, не свободно отъ одного недостатка. Оно возбуждаетъ своего рода недоумѣніе касательно того, какъ смотритъ мистикъ на то совершенство, которое обозначаетъ разными названіями, почерпнутыми большею частію изъ Священнаго писанія, а иногда имъ самимъ придуманными—соединеніе души съ Богомъ, рожденіе въ ней Слова, обожествленіе, Христосъ въ насъ, царство Божіе внутри насъ и проч.: видитъ ли онъ въ этомъ совершенствѣ только идеалъ, къ которому человѣкъ долженъ стремиться, но осуществленіе котораго предстоитъ въ будущей жизни, или нѣчто такое, что мо-

(1) Въ память Сперанскаго, стр. 393—394, въ выноскѣ.

жетъ быть осуществлено еще на землѣ? Причина недоумѣнія заключается преимущественно въ экстазѣ нѣкоторыхъ мистическихъ писателей, а экстазу подчинялся самый способъ выраженія: какъ въ представленіи, такъ и на языкѣ человѣка восторженнаго идеальное стремленіе къ цѣли сливается съ ея достиженіемъ, предметъ, къ которому суждено только приближаться, съ полнымъ обладаніемъ этимъ предметомъ. А что экстазъ играетъ здѣсь весьма значительную роль, это ясно изъ того, что онъ былъ поставленъ какъ средство для соединенія съ высшимъ благомъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно сличить приведенное выше извлеченіе изъ первой главы Таинственнаго богословія Ареопагита (что есть божественный мракъ?) или слова Исаака Сирина съ описаніемъ вдохновеннаго состоянія, по ученію Плотина ([1]).

Указаніе на то, какъ приличнѣе разрѣшать сказанное недоумѣніе, находимъ въ свидѣтельствахъ подвижниковъ-созерцателей. Вотъ конечные плоды безмолвія и молитвы, по изображенію иноковъ Каллиста и Игнатія: «безстрастіе, воскресеніе души прежде тѣла, по образу и подобію дѣяніемъ и видѣніемъ, вѣрою и надеждою и любовію возображеніе, и вовращеніе, и совершенное къ Богу горѣ простертіе, и непосредственное единеніе, изступленіе и почитіе, престаніе въ настоящемъ убо, яко въ зерцалѣ, въ гаданіи и обрученіи, въ будущемъ же лицу къ лицу, и совершенное совершеннѣ Божіе причастіе, и присносущнѣ наслажденіе» ([2]). И такъ здѣсь, на землѣ, согласно съ ученіемъ апостола Павла—зерцало и гаданіе, въ будущей же жизни—лицезрѣніе Бога, совершенное Ему причастіе и нескончаемое блаженство. По мысли Сперанскаго, начало и установленіе въ насъ царствія Божія равно возможно и дѣйствительно, какъ въ земной организаціи, такъ и въ будущей; но въ послѣдней предстоитъ наслажденіе царствіемъ, полнота и совершеніе всѣхъ обѣтовъ, великая суббота, а уже не исканіе, не трудъ, не работа надъ волею, не истребленіе самолюбія ([3]). Позднѣе писалъ онъ слѣдующее: «Тайна искупленія нашего состоитъ въ преложеніи душевнаго въ духовнаго, въ преобоженіи, которое начинается въ сей самой жизни и совершается въ вѣчности. Бытіе міра сего есть эпизода въ великомъ дѣлѣ творенія,—эпизода необходимая, но не цѣль и не конецъ поэмы» ([4]). Другой взглядъ приводитъ къ отважнымъ и опаснымъ толкованіямъ, и обращаетъ мистику въ мистицизмъ. Отсюда являются

[1]) Философія Плотина, соч. М. Владиславлева (1868).
[2]) Доброт. 11, л. 129.
[3]) Въ память Сперанскаго. Письмо къ Ѳеофилакту, 1805.
[4]) Письмо къ Броневскому (ib).

фальшивыя вѣрованія и странныя мечтанія; увеличенное понятіе о совершенствѣ возрожденнаго сообщаетъ послѣднему какую-то магическую силу, которая выражается въ видѣніяхъ, откровеніяхъ, предсказаніяхъ и исцѣленіяхъ. Такой точкѣ зрѣнія не чуждъ былъ Лабзинъ, охотно помѣщавшій въ своемъ журналѣ извѣстія и разсказы о разныхъ чудесахъ, за что упрекали его благоразумные люди мистико-религіознаго направленія, хотя съ другой стороны и отдавали справедливость его большой даровитости, умѣнью излагать отвлеченные предметы и языку, который, сохраняя серьезность и точность научнаго изложенія, представлялъ еще извѣстный патетизмъ, силу и весьма часто рѣзкость. Но такъ или иначе смотрѣли мистики на степень духовнаго совершенства, въ одномъ они всѣ согласны между собою: всѣ они признаютъ высокую важность возрожденія, единственно въ немъ полагаютъ сущность христіанства и существенный долгъ христіанской жизни. Возрожденіемъ образуется царское священство, народъ святый, избранный народъ Божій, назначенный къ вѣчной жизни (¹). Оно есть достопамятная эпоха, съ которой начинается эра. Какъ христіанскіе народы ведутъ свое лѣтосчисленіе отъ Р. X., такъ и внутренніе, истинно-духовные христіане, т. е. возрожденные и возрождаемые, должны числить время своей жизни отъ воплощенія въ нихъ Христова (²). Жизнь такихъ христіанъ есть постоянное хожденіе предъ Богомъ, какъ ходили Енохъ, Авраамъ, Моисей, Илія. Потому-то нашими мистиками было издано нѣсколько переводныхъ книгъ на эту тему: «Образъ житія Енохова, или родъ и способъ хожденія съ Богомъ», сочиненіе англійскаго богослова Іосифа (1784); «Присутствіе Божіе», соч. Дю-Туа, (1798); «Письма о томъ, сколь нужно и полезно всегда помнить о присутствіи вездѣсущаго и всевидящаго Бога» (2-ое изд. 1813); «Хожденіе предъ Богомъ или жизнь брата Л.... (1821)», съ эпиграфомъ: предзрѣхъ Господа предо мною выну (Пс. XV, 8) (³).

Обращаюсь къ другимъ положеніямъ мистики. Всѣ они имѣютъ значеніе второстепенныхъ въ томъ смыслѣ, что непосредственно или посредственно вытекаютъ изъ основнаго догмата.

Если истинное христіанство состоитъ въ возсоединеніи съ Богомъ, если истинное поклоненіе Ему есть поклоненіе духомъ и истиной, если истинные христіане суть только христіане внутренніе, живущіе единою со Христомъ жизнію, то отсюда слѣдуетъ,

---

¹) С. В. 1818, іюнь, стр. 305—306.

²) Ib. 1818, январь, стр. 4.

³) Вторая и третья книги переведены Лопухинымъ.

что соединеніе церквей не иначе можетъ быть достигнуто, какъ только соединеніемъ вѣрующихъ со Христомъ и духомъ Его. Тогда не будетъ никакихъ особенныхъ вѣроисповѣданій, никакихъ особенныхъ религіозныхъ сектъ или школъ. Такое рѣшеніе вопроса и предлагаетси статьею Сіонскаго Вѣстника: «О раздѣленіяхъ между христіанами» [1]. Такъ какъ эти раздѣленія обусловлены различіемъ нѣкоторыхъ догматовъ, то авторъ статьи и говоритъ: «Мы не найдемъ у Спасителя никакихъ толковъ о догматахъ, а однѣ практическія аксіоны, поучающія, что дѣлать и чего удаляться, и возвѣщающія смерть плотскому мудрованію разума и злой волѣ, или собственной жизни человѣка... Первымъ основаніемъ просвѣщенія, или истиннаго христіанства, поставилъ Онъ истинную перемѣну сердца и самоотверженіе. Въ первоначальной церкви не начинали дѣла на изворотъ, не думали дѣлать людей сперва учеными и искусными разсказчиками, а потомъ уже благонравными и вѣрующими христіанами; ибо не разумъ доставляетъ истинное познаніе божественныхъ таинъ, а духъ Истины, котораго міръ, доколѣ будетъ міромъ, принять не можетъ... Правовѣрный лишь тотъ, кто имѣетъ токмо Христа своимъ предметомъ... Въ Св. Писаніи мы вовсе не видимъ никакихъ условій со стороны понятій о вещахъ божественныхъ... Христосъ не требовалъ, чтобы всѣ *право мыслили*, но чтобы *право поступали*». Лабзинъ, согласно съ Штиллингомъ, которому какъ мы видѣли, онъ и слѣдовалъ въ своей статьѣ, дѣлитъ церковь на видимую, или церковь званныхъ, изъ всякаго рода христіанъ состоящую, и на невидимую, или церковь христіанъ избранныхъ (внутреннихъ). «Въ спорахъ о церквахъ» (т. е. о раздѣленіи христіанъ по христіанскимъ вѣроисповѣданіямъ), замѣчаетъ онъ, «дѣло идетъ объ одной видимой церкви. И сей-то низшій классъ — собственно едва оглашенныхъ — многочисленностью своею хочетъ подавить классъ вышній! думаетъ и утверждаетъ, что кромѣ ихъ сословія нѣтъ истинной церкви, ни Богу угоднаго человѣка; что ими утвержденныя мнѣнія суть единственныя основанія спасающей вѣры и что Богъ ни въ комъ не можетъ возставить образа Своего, не сдѣлавъ человѣка того ихъ секты — или католикомъ, или лютераниномъ, или реформаторомъ, и проч.».

Если духовно-возрожденные живутъ уже не сами, а живетъ въ нихъ Христосъ, то и молитвенный домъ ихъ внутри ихъ сердца. Отсюда понятіе о внутренней церкви, нѣкоторыя черты которой представилъ Лопухинъ въ своей книгѣ, пользовавшейся нѣкогда

[1]) 1817, октябрь.

отмѣннымъ уваженіемъ не только у нашихъ мистиковъ, но и за границей (1). Внутреннее святилище этого внутренняго храма доступно только «малому эдемскому собору избранныхъ» (2). Лопухинъ не отвергаетъ, впрочемъ, символовъ и обрядовъ внѣшней церкви: онъ находитъ ихъ достойными уваженія по ихъ происхожденію и предмету, такъ какъ «многіе изъ нихъ образуютъ божественныя таинства, будучи заимствованы отъ образа сокровенныхъ дѣйствій Божіихъ въ человѣческой душѣ, въ духовномъ тѣлѣ церкви Христовой и въ самой натурѣ». Онъ только не придаетъ имъ, какъ видно, внутренней силы. Гдѣ же та община, то собраніе вѣрующихъ, которымъ осуществлялась и осуществляется эта внутренняя церковь? Отвѣтъ на вопросъ дается Штиллингомъ въ «Побѣдной повѣсти» (3). По его толкованію, истинная церковь, иначе «духовный Израиль», началась на востокѣ Павликіанами (VII в.), продолжалась Вальденцами и Альбигойцами (XII в.), а теперь находится въ обществѣ Моравскихъ братьевъ или такъ называемой Гернгутерской братской церкви. Это, объясняетъ нѣмецкій мистикъ-мечтатель, и есть Ѳіатирская церковь—апокалипсическая жена, облеченная въ солнце. Всѣ христіане, изъ духовной Ѳіатиры, соберутся въ одинъ союзъ—въ церковь Филадельфійскую (братолюбскую). Филадельфійцы устроятъ новый Іерусалимъ, новое гражданство и царство Божіе,

---

1) Нѣкоторыя черты внутренней церкви (3 изданія: 1798, 1801, 1816). Франц. переводъ въ Петербургѣ (1799) и въ Парижѣ (1801). Нѣмецкій переводъ Эвальда (1803—1804) въ періодическомъ изданіи: Christliche Monatsschrift, а отдѣльно изданъ въ Нюренбергѣ (1809). Эккартсгаузенъ назвалъ эту книгу драгоцѣнною и исполненною истинной мудрости.

2) Что и изображено на виньеткѣ, объясненной во 2-й главѣ (Описаніе церкви во образѣ храма).

3) Побѣдная повѣсть или торжество вѣры христіанской (1815). Предметъ этого сочиненія—толкованіе Апокалипсиса, по поводу книги прелата Бенгеля: Cyclus oder Sonderbare Betrachtung des grössen Weltjahrs (1745). Русскій переводъ—вольный. Переводчикъ (Лабзинъ), сохраняя мысли автора, избѣгалъ повтореній, сокращалъ многое, иногда переносилъ сказанное въ подлинникѣ изъ одного мѣста въ другое и старался быть болѣе понятнымъ и нескучнымъ. «Вообще, говоритъ онъ, имѣя въ виду соотечественниковъ, согласовался съ тѣмъ и въ образѣ мыслей своего перевода, и вездѣ, гдѣ сказано у *насъ*, разумѣлъ то о *русскихъ, о Россіи*». Важнѣйшій пунктъ въ толкованіяхъ Штиллинга тотъ, что апокалипсическіе счеты приходятся между 1800 и 1836 гг. и что, вѣроятно, въ 1836-мъ, не позже, будетъ послѣдняя брань съ апокалипсическимъ звѣремъ ко вреду его и начнется царствіе Божіе на землѣ. «Побѣдная повѣсть» пользовалась чрезвычайнымъ уваженіемъ въ Германіи; одни изъ читателей ея въ апокалипсическомъ звѣрѣ видѣли папу, согласно со взглядомъ автора, другіе же—Наполеона, согласно съ тогдашними политическими обстоятельствами (Mémoires politiques de J. de Maiste, 1859).

которое будетъ теократическое (богоначальственное), или царесвященство ([1]).

Изъ ученія о возрожденіи вытекаетъ понятіе мистиковъ о нравственности. Принципомъ ея служитъ соединенный съ Богомъ духъ, для котораго поэтому добродѣтель сдѣлалась сущностью. Возрожденный необходимо творитъ благія дѣла, такъ какъ они суть непосредственныя дѣйствія пребывающаго въ немъ Христова Духа; онъ творитъ ихъ безъ борьбы и безъ выбора. Онъ желаетъ лишь того, что угодно Богу, а Богъ есть высочайшее благо. Что прежде было ему бременемъ, то, по возрожденіи, обращается для него въ свободное отправленіе. Всѣ добродѣтели заключены въ немъ, какъ въ существѣ гармоническомъ, и обнаруживаются безпрепятственно, не такъ какъ въ другихъ, невозрожденныхъ людяхъ, которые иногда являются нравственными, а иногда безнравственными. Внимая говорящему въ немъ Слову, онъ уже не способенъ заблуждаться, не можетъ грѣшить ([2]). Внѣшній законъ для него болѣе не существуетъ: законъ начертанъ въ немъ самомъ, внутренній, исполняемый свободно и радостно: «Живя по заповѣдямъ Божіимъ, онъ живетъ уже не подъ закономъ, но превыше закона. Заповѣдь Божія, говорящая ему отвнѣ, въ Писаніи или индѣ гдѣ нибудь, уже не возстанетъ противъ него, но требуетъ того, чего онъ самъ охотно желаетъ, запрещаетъ то, что теперь противно его природѣ, и потому буква закона сдѣлалась живымъ, духовнымъ закономъ, и слѣдовательно исполненнымъ» ([3]). Такой взглядъ на нравственность, какъ выводъ изъ понятія о внутреннемъ союзѣ человѣка съ Богомъ, породилъ въ квіетизмѣ Молиноса дикое и опаснѣйшее положеніе, состоящее въ слѣдующемъ: «Такъ какъ воля предана Богу вмѣстѣ съ попеченіемъ о душѣ, то не должно безпокоиться объ искушеніяхъ и заботиться о положительномъ сопротивленіи онымъ. Представленія и образы, испытываемые тогда чувственною частію души, совершенно чужды высшей ея части. Человѣкъ уже не отвѣчаетъ за самыя постыдныя дѣйствія, ибо тѣло его можетъ стать орудіемъ демона, тогда какъ душа, тѣсно соединенная съ Богомъ, никакого участія не принимаетъ въ томъ, что происходитъ въ плоти» ([4]). То есть: для совершеннаго, обожествленнаго человѣка всякое внѣшнее дѣйствіе и стремленіе безразличны и самый грѣхъ не есть уже грѣхъ.

---

[1]) ib. стр. 45, 51, 160.

[2]) Eckhardt, v. Lasson (266—271); Témoignage d'un enfant de la verité (1789).

[3]) Хр. Чт. 1822, ч. 5, въ ст.: Назидательныя мысли.

[4]) Histoire de Fénélon, par Bausset, т. 1.

Первоначальное развитіе мистики опредѣлялось духовной индивидуальностью христіанъ, изучавшихъ Священное писаніе. Смотря по тому, какая способность преобладала у каждаго изъ нихъ — разсудокъ или чувство и воображеніе — они или принимали слово Божіе съ вѣрою, не думая о чемъ-либо дальнѣйшемъ, болѣе глубокомъ, сокровенномъ, или, принимая съ вѣрою, не ограничивались простымъ знаніемъ, а испытывали на себѣ его силу. Опыты, какъ дѣйствія усвоеннаго ученія, становились для испытавшаго внутренними, духовными фактами, своего рода откровеніями, столь же истинными и несомнѣнными, какъ и чувственныя воспріятія извнѣ. Этотъ опытный путь издавна получилъ названіе мистическаго, въ отличіе отъ другаго, который останавливается на общемъ вѣроученіи и нравственномъ поведеніи, безъ мысли о цѣлостномъ образованіи человѣка, о внутреннемъ его обновленіи или перерожденіи. Въ послѣдствіи, просвѣщеніе, добываемое собственной практикой, собственными внутренними откровеніями многіе поставили рядомъ съ Священнымъ писаніемъ, вмѣсто того, чтобы подкрѣплять ими богодухновенное слово, какъ непреложное основаніе религіозныхъ истинъ и правилъ. На дальнѣйшемъ пути, когда установился мистическій догматъ обожествленія человѣка, значеніе внутренняго вѣдѣнія еще болѣе усилилось. Душа возрожденнаго состоитъ въ непосредственномъ общеніи съ ея Творцемъ. Это общеніе и есть, по ученію мистиковъ, собственно откровеніе, иначе внутренній свѣтъ, высшій, надежнѣйшій источникъ богопознанія. Посему исторія откровенія разсматривается мистиками не какъ отдѣльный, единожды совершившійся фактъ, но какъ непрерываемый процессъ: оно всегда было, всегда есть, всегда будетъ ([1]). Въ этомъ исконномъ и непрерывномъ откровеніи различается нѣсколько періодовъ: языческіе мудрецы смотрѣли на натуру видимаго міра и оттуда получали просвѣщеніе; израильскіе мудрецы смотрѣли духомъ вѣры на обѣщанное Слово Божіе, и отъ Него имѣли свѣтъ; христіанскіе мудрецы смотрятъ на живущее въ нихъ Слово Божіе вочеловѣчившееся, и отъ него учатся ([2]). Въ статьѣ Сіонскаго Вѣстника «о чтеніи духовныхъ книгъ» ([3]) читаемъ слѣ-

[1]) Engelhardt: Die angeblichen Schriften des Areopagiten Dionysius.—Lasson: Meister Eckhart.

[2]) Письма Гамалѣи, кн. 2.

[3]) Замѣчательно, что эта статья почему-то дважды появилась въ журналѣ: въ іюньской книжкѣ 1806 г. и сокращенно, подъ заглавіемъ: «о чтеніи книгъ», въ августовской 1817-го. Надобно думать, что Лабзинъ придавалъ ей особенную цѣну.

дующее: «Іисусъ Христосъ въ Богѣ, отцѣ всѣхъ, есть надъ всѣми и сверхъ всѣхъ и во всѣхъ насъ, и у каждаго человѣка находится въ совѣсти. Объ немъ Духъ Святый какъ въ ветхомъ завѣтѣ, чрезъ Моисея, такъ и въ новомъ чрезъ апостола Павла засвидѣтельствовалъ, что ко Христу не нужно ходить ни на небо, ни въ бездну, но у каждаго человѣка близь есть въ сердцѣ и во устахъ Слово Божіе, которое вочеловѣчилось и есть Христосъ Божій». Конечно, по сочувствію, Лабзинъ помѣстилъ въ своемъ журналѣ «догматы англійскихъ и американскихъ квакеровъ» ([1]). Второй, третій и четвертый догматы излагаютъ ученіе о внутреннемъ откровеніи, или внутреннемъ Словѣ, противополагая ему слово внѣшнее, т. е. Священное писаніе, и ставя первое выше втораго, которое (какъ гласитъ 2-й догматъ) «не приводитъ человѣка ко спасенію, ибо буквы и начертанныя слова, какъ вещи неодушевленныя, не могутъ имѣть силы просвѣщать сердца человѣческія и соединять ихъ съ Богомъ. Священныя книги приносятъ только ту пользу читающему, что возбуждаютъ и наставляютъ сердце его внимать внутреннему Слову и пріуготовляютъ оное къ принятію ученія, внутрь Христомъ преподаваемаго, или, что все одно: Священное писаніе есть нѣмый наставникъ, указующій знаками на живаго учителя, обитающаго въ сердцѣ». Люди, лишенные писаннаго слова, лишены только нѣкотораго средства и пути ко спасенію, а не самаго ученія, ибо если они обратятъ вниманіе свое ко внутреннему Наставнику, Учителю и Слову, то отъ Него обильно могутъ почерпнуть все нужное (догматъ 3-й). И потому церковь Іисуса Христа безпредѣльна: она заключаетъ въ себѣ весь родъ человѣческій, такъ какъ всѣ смертные имѣютъ въ сердцѣ своемъ Христа, и чрезъ Него, въ какой бы грубости и невѣдѣніи христіанскаго закона ни обрѣтались, могутъ быть и въ сей и въ будущей жизни блаженными (догматъ 4-ый). Въ смыслѣ этихъ догматовъ однимъ мистикомъ истолковано Посланіе апостола Павла къ Римлянамъ. Въ заключеніи толковникъ объясняетъ, что ученіе христіанской религіи есть вдохновенное Духомъ Божіимъ и преданное письму свидѣтельство о томъ, что произвелъ этотъ Духъ во всѣ времена и во всѣхъ людяхъ, отъ Адама до насъ, которые восхотѣли принять Его въ свое сердце; ибо о всѣхъ людяхъ сказано: вы родъ суще Божій (Дѣян. XVII, 28—29), т. е. Богъ есть общій отецъ всѣхъ, а у отца одинаковая любовь къ чадамъ, хотя, по различному расположенію сыновнихъ сердецъ,

[1]) С. В. 1817, декабрь. Догматы квакеровъ изложены были еще въ «Покоящемся трудолюбцѣ» (1784—85, ч. 3).

однимъ Онъ открывается больше, другимъ меньше (¹). Сенъ-Мартенъ (неизвѣстный философъ), авторъ знаменитой нѣкогда книги «о заблужденіяхъ и истинѣ» (²), еще отважнѣе въ своемъ взглядѣ, по которому священныя книги представляютъ краснорѣчивѣйшій и вѣрнѣйшій переводъ внутренняго откровенія, непосредственно исходящаго отъ Бога. До появленія своего въ формѣ видимой онѣ существовали въ душѣ человѣка въ формѣ духовной; онѣ вытекли изъ нашей природы; мы ихъ находимъ внутри насъ самихъ. Всѣ народы имѣютъ письменные памятники этого рода, но несравненное превосходство нашихъ, христіанскихъ, состоитъ въ полномъ ихъ соотвѣтствіи божественному тексту, внутри насъ начертанному (³). Вообще историческому знанію христіанства мистика не даетъ большой важности. Праведный христіанинъ не тотъ, кто довольствуется этимъ знаніемъ, т. е. признаетъ Христа и вѣруетъ, что онъ примирилъ насъ съ Богомъ; ибо извнѣ присвояемая правда ни къ чему не служитъ, а потребна врожденная въ насъ дѣтская правда (⁴). Уклоняясь мало по малу отъ положительныхъ свидѣтельствъ Св. писанія, мистики измѣнили ихъ по своимъ внутреннимъ чувствамъ и воззрѣніямъ до того, что Христосъ Евангелія какъ бы заслонился для нихъ Христомъ внутреннимъ, пребывающимъ въ душѣ каждаго человѣка, гдѣ Онъ изрекаетъ свои глаголы и дѣйствуетъ. Ученіе квакеровъ чуждо Христа «внѣ сущаго» и многіе изъ нихъ даже всю исторію о воплощенномъ Сынѣ Божіемъ почитаютъ аллегорическимъ сказаніемъ о Христѣ внутреннемъ (⁵).

Съ своимъ принципомъ внутренняго опыта мистика ставитъ себя въ независимость отъ внѣшняго авторитета. По ея ученію, вѣра есть непосредственно дѣйствующая божественная жизнь въ вѣрующемъ, и потому посредствующія силы церковнаго ученія и

---

¹) Témoignage d'un enfant de la verité et droiture des voies de l'Esprit ou Explication mystique et literale de l' Epître aux Romains (1739).

²) Рус. переводъ 1785.

³) Franck: La philosophie mystique en France à la fin du XVIII-ѐ siècle (1866).

⁴) Путь ко Христу, Бема, пер. Лабзина (1815).

⁵) Покоящійся трудолюбецъ, изд. Новикова (1784—85), ч. 3. Помѣстивъ статью «о квакерахъ», сокращенно перепечатанную потомъ Лабзинымъ въ Сіонскомъ Вѣстникѣ, издатель (Новиковъ) замѣчаетъ, что ученіе квакеровъ, по наружности кажущееся новымъ, въ самомъ дѣлѣ не таково; оно есть не что иное, какъ древняя «таинственная богословія», бывшая извѣстною уже во 2-мъ вѣкѣ и распространенная Оригеномъ, и что основатель квакерской секты (Фоксъ) почерпнулъ ученіе о Словѣ или внутреннемъ свѣтѣ, безъ сомнѣнія, изъ книгъ тайносказателей, или изустно отъ кого-либо предавшагося тайномудрію.

преданія занимаютъ, въ мистической доктринѣ, второстепенное мѣсто. Мы уже знакомы съ понятіями нашихъ мистиковъ о внутренней церкви. Присоединимъ къ тому выраженную въ одномъ мѣстѣ Сіонскаго Вѣстника мысль о томъ, что человѣку для достиженія цѣли его земной жизни, т. е. для соединенія съ Богомъ, нѣтъ надобности ни въ какомъ внѣшнемъ посредствѣ: «Сынъ Божій ко всѣмъ сказываетъ: пріидите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и Я упокою васъ, а о ходатайствѣ никакомъ и ничьемъ не упоминаетъ; ибо ходатайство человѣческимъ разумомъ выдумано: въ Священномъ же писаніи нигдѣ—ни въ ветхомъ, ни въ новомъ завѣтѣ—о немъ ни слова нѣтъ» ([1]).

Къ монастырской жизни мистики относятся неблагосклонно, хотя, какъ мы видѣли, они много заимствовали изъ писаній подвижниковъ. Діонисій Ареопагитъ отводитъ монашеству низшую ступень въ церковной іерархіи ([2]). Никита Стифатъ, монахъ и пресвитеръ Студійской обители (XI в.), отвергаетъ ученіе, по которому будто невозможно пріобрѣсти добродѣтель безъ бѣгства въ пустыню: «Навыкъ къ добродѣтели», говоритъ онъ, «есть возстановленіе силъ душевныхъ въ древнее благородство и собраніе первѣйшихъ добродѣтелей въ дѣйство еже по естеству.... Если, по гласу Господню, царствіе Божіе внутрь насъ, то пустыня есть вещь излишняя.... Покаяніе и храненіе заповѣдей можетъ быть на всякомъ мѣстѣ владычества Божія.... Быть инокомъ не значитъ быть внѣ человѣка и міра; но отречься себя, быть внѣ похотей плоти, пойти въ пустыню страстей» ([3]). Благочестіе есть чистѣйшій источникъ чистѣйшаго веселія: можетъ ли оно состоять въ несносномъ самомученіи, въ жестокомъ изнуреніи тѣла, въ пустынномъ отдаленіи отъ міра, въ печальномъ отреченіи отъ всего, что способствуетъ бодрости и радости? Ни Богъ, ни Іисусъ Христосъ, ни природа не представляютъ благочестиваго человѣка въ такомъ печально-сумрачномъ видѣ, въ какомъ онъ является по представленію нѣкоторыхъ богослововъ ([4]). Статья Сіонскаго Вѣстника: «о чтеніи духовныхъ книгъ», подкрѣпивъ себя авторитетомъ митрополита Платона ([5]), выступила съ рѣзкой выходкой противъ стрем-

---

[1]) С. В. 1806, іюнь, стр. 286.

[2]) Въ 8-мъ посланіи.

[3]) Доброт. IV, лл. 63 и 64.

[4]) Гарвоода радостныя мысли о блаженствѣ благочестивой жизни, пер. съ нѣм. (1783).

[5]) Изъ Краткой церковной россійской исторіи, Платона (по 1-му изданію 1805 г.), цитированы слѣдующія строки: «Не угоднѣе ли Богу пощадить одну невинную душу, нежели построить нѣсколько церквей? Многія причиненныя разоренія и убійства могла ли прикрыть монашеская ряса? И безъ постриженія, всякій

ленія къ отшельнической жизни: «обыкновенно за наилучшее почитаютъ оставить все, кромѣ себя и воли своей и удалиться въ монастырь, и тамъ мучить себя наружнымъ постомъ, поклонами, власяницами, веригами и прочимъ сему подобнымъ наружнымъ, не думая при томъ о внутренней борьбѣ съ мыслями, объ оставленіи и преломленіи своей воли, о воздержаніи языка, и не имѣя понятія о внутреннемъ человѣкѣ, живущемъ вѣрою, надеждою и любовію къ Богу и ко всѣмъ человѣкамъ; но единственно наружными дѣлами забавляютъ себя и, смотря по достатку своему, или образа украшаютъ, или ризы и прочую утварь церковную отъ себя дѣлаютъ, или и колокола льютъ, и церкви каменныя и деревянныя строятъ, думая, что за все то, яко за добрыя дѣла, наслѣдуютъ рай на небѣ.... Тогда еще не было монастырей, когда помѣщики—Ной, Авраамъ, Ісаакъ, Іаковъ, Іовъ, и пр. и пр.—угодили Богу (1).

Священное Писаніе дано человѣку не для простаго знакомства съ его содержаніемъ, но для спасительнаго по немъ дѣйствованія. Читая его, надобно помнить слова Бернара, что не чтеніемъ восхищается (пріобрѣтается) Богъ, а послѣдованіемъ ему въ жизни. Одно знаніе фактовъ и правилъ христіанства мало служитъ на потребу души. Если книги ветхаго и новаго завѣта изображаютъ процессъ возрожденія, если всѣ ихъ изреченія и сказанія свидѣтельствуютъ, какъ выше сказано, о томъ, что̀ искони Духъ Божій производилъ въ людяхъ, искавшихъ соединенія съ Богомъ, то каждому христіанину, чтобы возродиться, необходимо пережить тотъ же самый процессъ. Все Священное Писаніе должно духовно совершиться въ немъ, силою вѣры (2). Кто захочетъ найти его въ себѣ, тотъ несомнѣнно найдетъ, ибо что было, есть и будетъ въ семъ великомъ мірѣ, то все было, есть и будетъ въ маломъ мірѣ (3). Это внутреннее пережитіе даннаго намъ божественнаго откровенія наиболѣе важно по отношенію къ періоду земной жизни Спасителя: «Воскресеніе Христово полезно только тогда, когда Христосъ воскреснетъ въ тебѣ. Онъ въ тебѣ долженъ зачаться, родиться, жить и воскреснуть. Не воскреснетъ въ тебѣ Христосъ, если не умретъ прежде въ тебѣ Адамъ; не возстанетъ человѣкъ внутрен-

---

христіанинъ обязывается по Евангелію отрещися самого себя: то тѣмъ самымъ долженъ онъ отрещися чистолюбія, корыстолюбія, кольми паче съ обидою другихъ (ч. I, стр. 127).

(1) С. В. 1806, іюнь, стр. 279—284.

(2) Арндта, о истин. христіанствѣ (ч. I, гл. 6).

(3) Письма Гамалѣи.

*

ній, если не падетъ человѣкъ внѣшній; не взойдетъ въ тебѣ обновленіе духа, если прежде не придетъ ветхость плоти (¹).

Но чтобы увѣренно идти по пути внутренней жизни, соотвѣтственно откровенному слову, нужно вѣрное истолкованіе послѣдняго. Священное писаніе есть хранилище истины, но эта истина должна быть раскрыта въ своемъ внутреннемъ, глубокомъ смыслѣ. Еще древнѣйшіе церковные учители (Климентъ Александрійскій, Василій Великій) различали двоякое значеніе книгъ ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ: экзотерическое (внѣшнее, буквальное) и эзотерическое (внутреннее, духовное). Первое, какъ общедоступное, назначалось для большинства, неспособнаго обнимать чистую истину въ формѣ понятій и потому требовавшаго ея представленія въ образахъ; второе, какъ высшее, предлагалось умамъ духовно-зрѣлымъ, которые могли усвоять понятія, облеченныя въ символическую одежду, и каждое образное представленіе переводить на чистое знаніе. Послѣднее толкованіе и получило названіе таинственнаго, мистическаго. Но при этомъ для пониманія божественныхъ писаній требовалось особеннаго, богомысленнаго настроенія духа, соотвѣтственно духовному настроенію ихъ творцевъ: безъ такого условія многое или оставалось бы непонятнымъ или было бы понято ошибочно и превратно. Мистики постоянно держатся эзотерическаго способа, разоблачая внутренній смыслъ каждаго мѣста Библіи, къ какому бы роду ученія оно ни относилось: историческому ли, догматическому или нравственному, и направляя свой экзегисъ къ одному и тому же пункту. Хотя они безпредѣльность непостижимаго свѣта священнаго писанія и уподобляютъ солнцу, блистающему неисчетными лучами, изъ которыхъ каждый благотворно освѣщаетъ, грѣетъ и даетъ видѣть множество предметовъ (²), но они преимущественно направляютъ эти лучи на одинъ предметъ—на возрожденіе. Этимъ объясняется однообразность толкованій, допускающихъ кромѣ того натяжки и произволъ. Библейскіе тексты приводятся изъ тѣхъ или другихъ мѣстъ книги, какъ отдѣльныя предложенія, безъ мысли о томъ, что они должны быть понимаемы и обсуждаемы въ цѣльномъ ихъ составѣ, въ естественной связи между собою, и въ томъ смыслѣ и духѣ, какіе вложилъ

¹) Священныя христіанскія размышленія, или бесѣды съ Христомъ (1783). Руководствомъ автору служили Августинъ, Ансельмъ, Бернаръ, Таулеръ, размышленія которыхъ есть въ русскомъ переводѣ: Августина—Святыя и душеспасительныя размышленія (1784); Ансельма—Размышленія о искупленіи рода человѣческаго (1783), Бернара—Спасительныя размышленія о познаніи человѣческаго состоянія (1782), Таулера—Благоговѣйныя размышленія (1823).

²) Ежедневныя христіанскія упражненія.

въ нихъ Творецъ. Сочиненія мистическія исполнены подобныхъ толкованій на пользу одной и той же темы—возрожденія, отъ котораго все зависитъ и символами котораго, по основному ихъ взгляду, служатъ всѣ сказанія Священнаго писанія, всѣ его изреченія. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Исторія Каина и Авеля—это ветхій и новый человѣкъ со всѣми ихъ дѣлами, брань между плотью и духомъ. Потопъ—потопленіе скверны плоти; вѣрующій Ной долженъ сохраниться въ человѣкѣ. Брань Авраама съ пятью царями—брань человѣка противъ пяти царей, въ немъ сущихъ: плоти, міра, смерти, діавола и грѣха. Съ Лотомъ надобно отрещися отъ Содома и Гомора, т. е. отъ безбожной жизни міра.... Рожденіе Христа отъ Дѣвы Маріи—духовное Его рожденіе въ человѣкѣ (¹). Клѣть, въ которой Іисусъ Христосъ повелѣлъ молиться—сердце, затвореніе дверей клѣти—отвлеченіе себя отъ мірскихъ помышленій. Цѣль чуда въ Канѣ Галилейской—показать, что Спаситель пришелъ въ міръ для брака духовнаго; въ словахъ жены Елисею: «мужъ мой умеръ» (4 кн. Царствъ IV, I), мужъ означаетъ высшую силу души, жена—низшую; пять мужей Самарянки—пять чувствъ, городъ Наинъ—душа, ученики—божественный свѣтъ, стремящійся въ душу; толпа сопровождающая Господа—добродѣтели; ворота, въ которыя Онъ входитъ—любовь, сынъ вдовы—воля. Мистическимъ толкованіемъ Св. Писанія пріобрѣла себѣ большую извѣстность Гюйонъ. Особенно уважалось ея изъясненіе книги «Пѣснь Пѣсней», изображающей таинственное сочетаніе души со Христомъ (²); одинаково съ нею смотрѣло на эту книгу и Христіанское Чтеніе, видѣвшее также въ притчѣ о блудномъ сынѣ символъ духовнаго возрожденія человѣка (³). О толковании Посланія апостола Павла къ Римлянамъ упомянуто выше. Какъ въ человѣкѣ различаются душа и духъ, такъ и смыслъ Священнаго Писанія есть или душевный, почерпаемый изъ разума, самому себѣ предоставленнаго, или духовный, приходящій отъ Духа Святаго. Объ этомъ двоякомъ смыслѣ говоритъ апостолъ Павелъ: «Душевенъ человѣкъ не пріемлетъ яже Духа Божія, юродство бо

---

¹) Арндта: о истин. христіанствѣ, ч. I, гл. 6.

²) Избранныя сочиненія г-жи Гюйонъ или изъясненія и размышленія на Притчи, Экклезіаста, Пѣснь Пѣсней и Премудрость царя Соломона, и на Премудрость Іисуса Сына Сирахова, руководствующія ко внутренней жизни, 5 ч. (1823). Ежедневныя христіанскія упражненія, или Бесѣды, расположенныя по текстамъ Евангельскимъ на каждый день года, 4 ч. (1801).

³) 1821 г., ч. 3, и 1822, ч. 7. «Въ сей пѣсни описывается таинственный союзъ Іисуса Христа съ своею истинною церковью или истинно-вѣрующими вообще, а также, *и наипаче*, со всякою истинно-вѣрующею душею въ частности».

ему есть» (1 Кор. II, 14). Истый и полный смыслъ священныхъ книгъ открывается созерцанію человѣка духовнаго, могущаго принимать и разумѣть божественное, и имѣть самый умъ Христовъ (ст. 16) ([1]). На значеніе самой литургіи мистики смотрѣли съ точки зрѣнія ихъ перваго догмата: «Кажется мнѣ, что обѣдня есть не токмо повѣсть и образъ жизни и смерти Спасителя, но даже исторія души, ко просвѣщенію и посвященію назначенной ([2]).

Слово «мистика» принимается нѣкоторыми мистическими сочиненіями въ двоякомъ смыслѣ: обширномъ и тѣсномъ. Въ обширномъ она есть не что иное, какъ практика высшаго, божественнаго блаженства, основаннаго на внутренней перемѣнѣ человѣка и на дѣйствіи благодати, и тѣмъ отличающагося отъ простой естественной морали; въ тѣсномъ, или собственномъ, смыслѣ она означаетъ высшую степень опытнаго познанія Бога, духъ премудрости и откровенія, называемый просвѣщеніемъ (Ефес. I, 17), которое весьма отлично отъ просвѣщенія начальнаго, состоящаго только въ обращеніи человѣка отъ тьмы къ свѣту, изъ-подъ власти сатаны къ Богу (Дѣянія XXVI, 18). Оба значенія показываютъ, что средствомъ къ мистическому вѣдѣнію и къ мистическому состоянію служитъ опытъ, практика, какъ это мы уже видѣли, говоря о зарожденіи мистики, обусловленномъ фактами внутренней жизни христіанъ, которые на себѣ самихъ испытывали дѣйствіе откровеннаго ученія. Лишь тотъ, слѣдовательно, можетъ судить о внутренней сокровенной жизни, понимать мистическія писанія, кто самъ жилъ такою жизнію, кому извѣстенъ ея путь, отъ начала до конца, со всѣми его стадіями. Разумъ и ученость здѣсь ни при чемъ: необходимо опытное дознаніе, внутренне свидѣтельство, котораго никакая книга не можетъ ни дать, ни отнять. Чтобы истинно познать Христа, надобно самому начать жить Его жизнію, и мы по стольку будемъ познавать Его, по скольку этой жизни будетъ въ насъ прибывать ([3]).

На основаніи сказаннаго, мистики отрицаютъ право естественнаго разума судить о дѣлахъ вѣры. Они ведутъ постоянную войну съ нимъ не только въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ хочетъ заявить свою силу, относясь отрицательно къ предметамъ духовнымъ, но и въ случаяхъ противоположныхъ, когда онъ заявляетъ притязанія дѣйствовать на пользу вѣры, т. е. утверждать и поддерживать ее своею силою. По ихъ взгляду, умъ безсиленъ для

[1]) С. В. 1817, сентябрь, въ ст.: Духъ и истина (о двоякомъ смыслѣ словъ Св. писанія).

[2]) Письма христіанки (1815). Письмо 2-ое, стр. 20.

[3]) С. В. 1817, октябрь, стр. 66—67, и декабрь, стр. 312—313, 316—317.

такого дѣла; дары духа выше его; область, уму предоставленная, есть міръ физическихъ явленій, гдѣ онъ и долженъ вращаться съ своею способностію наблюдать, сравнивать и выводить общія заключенія. У міра духовнаго есть свой собственный разумъ, называемый иначе вѣрою. Методъ, которымъ этотъ разумъ руководствуется, состоитъ въ трехъ предметахъ: признаніи повсюднаго креста въ нашей жизни, т. е. двухъ, постоянно пресѣкающихся направленій, очищеніи и молитвѣ (1). Разумъ вѣры есть свѣтъ божественный: онъ сообщаетъ человѣку внутреннее свидѣтельство, которое ниспосылается самимъ Богомъ чрезъ Духа Святаго, и потому имѣетъ силу полной достовѣрности, непреложной истины: Знаніе, добываемое разумомъ вѣры, есть Божественная философія, противоположная философіи мірской: послѣдняя есть философія по преданію человѣковъ, по вещественнымъ началамъ міра, тогда какъ первая есть философія по Христѣ, въ которомъ сокрыты всѣ сокровища премудрости и вѣдѣнія (Колос. II, 3 и 8) (2).

Но чтобы имѣть духовный разумъ, или разумъ вѣры, человѣкъ долженъ возродиться, соединиться съ Богомъ. Невозрожденный не понимаетъ и не можетъ понять ни того, что̀ есть Духа Божія, ни того, что̀ есть духа натуры. Только въ Богѣ можно видѣть вещи, каковы онѣ суть (3). Чтобы истинно и вполнѣ знать какой-либо предметъ, надлежитъ самому сдѣлаться этимъ предметомъ: до тѣхъ же поръ настоящее познаніе каждаго предмета невозможно (4). Здѣсь мистики, какъ заграничные, такъ и наши, для разъясненія своей мысли пользуются трактатомъ Бема: «Mysterium magnum» (великое таинство). Подъ именемъ великаго таинства, Бемъ разумѣетъ Слово, какъ Творца всѣхъ существъ (Колос. 1, 15 и 16). Естественный разумъ никогда не созерцалъ образованія зародышей жизни; его еще не было, когда великое таинство совершало свои первыя дѣйствія; слѣдов. постигнуть это таинство также невозможно уму, какъ плоти и крови невозможно войти въ царствіе небесное. Постиженіе доступно только божественному вѣдѣнію, а средство къ такому вѣдѣнію состоитъ единственно въ томъ, чтобы таинство явилось въ человѣкѣ истиннымъ рожденіемъ въ душѣ его. Всякое знаніе, какъ духовное, такъ и физическое—чтобы быть дѣйствительнымъ знаніемъ—должно быть рождено въ насъ. Поэтому мы можемъ знать о Богѣ только посредствомъ Его рожденія въ

---

1) Въ память Сперанскаго, стр. 386—389.
2) Божеств. философія, Дю-Туа, т. 3, стр. 9—11 и д.
3) Въ память Сперанскаго (Письмо Сперанскаго къ Ѳеофилакту).
4) С. В. 1817, декабрь, стр. 316—317.

насъ. Богъ отсутствующій, отдѣленный отъ насъ, есть Богъ невѣдомый. Если свѣтъ открывается не иначе какъ свѣтомъ, а тьма не иначе какъ тьмою, то и Богъ открывается намъ не иначе, какъ Богомъ. Тоже самое относится и къ природѣ. Человѣку нельзя ничего знать о ней, если самыя дѣйствія ея не обнаружатся внутри его живымъ образомъ, рожденіемъ. Въ каждомъ существѣ является лишь то, что существуетъ въ немъ въ зародышѣ. Онъ можетъ произвести что-либо внѣ себя лишь развитіемъ сѣмянъ, предварительно въ него вложенныхъ. Думать, что возможно принести что-либо извнѣ и помѣстить внутри существа, сообщить ему какое-либо знаніе, которое не есть произведеніе его собственной жизни, такъ же безразсудно, какъ безразсудно помышлять о вырощеніи дуба съ его вѣтвями внѣ земли и о приставкѣ его потомъ къ корню, выросшему изъ земли ([1]). Такъ какъ возрожденный живетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ, то Бемъ и предлагаетъ читателю путь внутренней, самоотреченной жизни, приводящей къ соединенію съ Богомъ: чтобъ услышать глаголы Божіи, надобно воспарить туда, гдѣ нѣтъ никакой твари, замолчать всѣми своими мыслями, чувствованіями и желаніями. Оставя міръ, ты войдешь въ то, изъ чего міръ произошелъ; оставя жизнь и обезсиливъ свою собственную силу, ты обрящешь Бога, откуда произошла жизнь ([2]). Только при внутренней субботѣ (покоѣ) можно познавать истину вещей ([3]).

Основа мистики лежитъ въ воззрѣніи на религію. Существенный вопросъ религіозной доктрины — отношеніе конечнаго (человѣка) къ безконечному (Богу). Отъ двоякаго взгляда на это отношеніе являются два различныхъ направленія. По одному взгляду, конечное существенно соединено съ безконечнымъ, такъ что разъединеніе между ними, какъ нѣчто случайное, временное, можетъ и должно быть замѣнено возстановленнымъ единствомъ; по другому взгляду, безконечное находится въ неизмѣримомъ отдаленіи отъ конечнаго, почему они противополагаются одно другому и единство между ними почитается случайнымъ, только при извѣстныхъ условіяхъ достижимымъ. Направленіе, опредѣляемое первою точкою зрѣнія, называется имманентностью; направленіе, происходящее отъ второй точки зрѣнія — трансцендентностью. Оба направленія не исключаютъ другъ друга безусловно, а различаются преобладаніемъ того или другаго принципа, обусловливающимъ характеръ цѣлаго.

---

[1]) La voix de la science divine (разговоръ 2-ой—изложеніе Бемова ученія).
[2]) Путь ко Христу, Бема (книга 5: о сверхчувственной жизни).
[3]) Златая книжица, стр. 72.

Согласно первому воззрѣнію, мистикъ видитъ въ человѣкѣ твореніе Бога, къ которому онъ долженъ возвратиться, какъ къ своему источнику. Душа, по своему происхожденію, божественна. Сколь бы ни была она испорчена и потемнена земною жизнію, божественная сущность, печать ея происхожденія, всегда при ней остается. Основаніе души, такъ называемый центръ или искра, составляетъ ея высшую, духовнѣйшую часть. Оно-то постоянно стремится къ Богу; въ немъ-то никогда не замираетъ это стремленіе, почему воля и обладаетъ возможностью уклониться отъ всего конечнаго и направиться къ Безконечному. Но чтобы соединиться съ Богомъ, надобно отречься отъ самости, стяжать духовную нищету, обратиться въ ничто. Это исхожденіе человѣка изъ самого себя, для принятія въ себя Бога, прообразовано повелѣніемъ, даннымъ Аврааму: «изыди отъ земли твоея, и отъ рода твоего, и отъ дому отца твоего» (Быт. XII, I). И когда такимъ образомъ во внутреннѣйшемъ основаніи души будетъ уготовано надлежащее мѣсто, то скорѣе натура оставитъ что-либо не наполненнымъ, чѣмъ Богъ оставитъ уготованное мѣсто пустымъ, ибо это было бы противно Его сущности. Вхожденіе Бога въ душу называется иначе рожденіемъ Сына или Слова въ душѣ — высочайшей формой, въ которой Богъ является отдѣльной душѣ, изрекаетъ въ ней свое Слово. Процессъ этого рожденія, по толкованію мистиковъ, тождественъ съ вѣчнымъ имманентнымъ процессомъ рожденія Сына въ Божествѣ. И какъ о Богѣ, такъ и здѣсь о душѣ говорится, что она родила Сына. Вотъ почему Таулеръ и различаетъ, въ своихъ проповѣдяхъ, троякое рожденіе: предвѣчное рожденіе Единороднаго Сына отъ Отца, рожденіе Сына отъ Дѣвы Маріи, во времени совершившееся, и постоянное, духовное рожденіе Сына въ правовѣрной душѣ [1].

Къ мистикѣ примыкаетъ теософія, стремящаяся открыть въ явленіяхъ природы образы божественной сущности и процессы божественной жизни. Она была высоко цѣнима у насъ — и въ прошломъ вѣкѣ, людьми Новиковскаго круга, и въ царствованіе Александра I, издателемъ Сіонскаго Вѣстника, часто склонявшимся къ ея возрѣніямъ, почерпаемымъ изъ сочинеій Парацельса, Бема, Сведенборга, Сенъ-Мартена и другихъ. Увлеченіе теософіей Новиковъ сохранилъ до конца жизни, какъ видно изъ его писемъ къ Карамзину, въ которыхъ онъ мысли, выраженныя въ «Разговорѣ о счастіи» и «Письмахъ Мелодора

---

[1]) Lasson: Eckhart; Таулеръ: Predigten; Дю-Туа: Христіанская философія; Гюйонъ: Ежедневныя христіанскія упражненія.

и Филарета», противополагаетъ своей, «небесной философіи» (¹). Лопухинъ былъ также убѣжденъ въ высокой важности и пользѣ теософіи и называлъ ее «теоріей внутренняго познанія, происходящаго изъ училища небеснаго», вовсе не похожаго на познаніе школьное. По словамъ его, теософія «открываетъ въ самой послѣдней твари, въ самомъ бренномъ растеніи, образъ воплощеннаго Слова и всего того, что сотворило Оно для спасенія нашего, образъ всѣхъ его таинствъ, зачатія, рожденія и всего хожденія его въ мірѣ до самаго совершенія искупительнаго Его пришествія на землю. Не менѣе полезна и химія (разумѣется, теософическая)—«то искусство, которымъ нросвѣщенные соединяютъ, раздѣляютъ, разрушаютъ существа, развиваютъ ихъ составъ и возвращаютъ въ источныя ихъ стихіи, и при семъ дѣйствіи собственными ихъ очами созерцаютъ таинства Іисуса Христа, послѣдствіе страданія Его, и въ сокращеніи и въ химическомъ явленіяхъ видятъ все происшествіе и слѣдствія Его воплощенія» (²). Какъ ревнитель теософіи, Лопухинъ стоитъ близко къ Дю-Туа, который, разсуждая о трехъ зерцалахъ Божества (человѣкѣ, мірѣ или физической природѣ, откровеніи), во второмъ зерцалѣ видитъ во всей подробности таинства религіи: «натура подтверждаетъ все то, что изъ божественныхъ истинъ откровеніе предлагаетъ вѣрѣ христіанина; всѣ таинства религіи, безъ исключенія, можно видѣть и читать внимательными очами въ физикѣ, въ дѣяніяхъ натуры и во всемъ порядкѣ вселенныя (³). Другой теософъ (Дузтанъ) разсматриваетъ чудеса креста во внѣшней природѣ и доходитъ до такихъ странныхъ мечтательныхъ выводовъ, въ которыхъ было бы смѣшно искать какой-либо осмысленной овновы (⁴). Другими глазами смотрѣлъ на теософію Сперанскій: «вся наша духовность сводилась къ теософіи: къ ней же относятся творенія Бема, С. Мартена, Сведенборга и т. п. Это лишь азбука. Десять лѣтъ провелъ я въ ея изученіи, и когда я думалъ, что я овладѣлъ всѣмъ, я трудился лишь надъ начатками. Это было преддверіе царствія Божія» (⁵). Слова апостола Павла въ Посланіи къ Римлянамъ, что и тварь ожидаетъ откровенія сыновъ Божіихъ, потому что она подверглась суетѣ (не сама собою, но тѣмъ, кто подвергъ ее) съ надеждою, что она освободится изъ рабства тлѣнія въ сво-

¹) Письма Гамалѣи, изд. 2 (1836).

²) Нѣкоторыя черты о внутренней церкви, 2-ое изд. (1801).

³) Божеств. философія, т. 2, кн. 4, гл. 3, стр. 32 и д.; кн. 5, гл. 1.

⁴) Таинство креста, переводъ Лабзина (1814), гл. XIII.

⁵) Письмо къ Цейеру, 1814 г. (Рус. Арх. 1870, стр. 176). Сперанскій началъ слѣдовательно заниматься теософіей съ 1804 г.

боду славы чадъ Божіихъ, а теперь совокупно съ нами стенаетъ и мучится (гл. VIII, ст. 19—22), — эти слова дали теософамъ поводъ пускаться въ толкованія ихъ, сообразно съ своими понятіями. Міръ физическій, говоритъ Сенъ-Мартенъ, носитъ слѣды грѣхопаденія: онъ сдѣлался нашей темницей и могилой, а не жилищемъ славы; наша смертная скорбь проникла и въ него, и онъ ее чувствуетъ, на сколько въ немъ есть жизни и силы. Онъ на болѣзненномъ одрѣ, ибо, съ паденіемъ Адама, чуждое вещество вошло въ него и непрестанно стѣсняетъ и тревожитъ принципъ его жизни. Намъ предстоитъ принести ему слова утѣшенія, которыя помогли бы ему сносить его бѣдствія; намъ предстоитъ возвѣстить ему обѣтъ освобожденія ([1]). Возобновленіе человѣка и міра, приведеніе всего истекшаго изъ Бога и разсѣяннаго въ тваряхъ должно совершиться въ порядкѣ постепеннаго восхожденія. Сколь нужно человѣку, умерщвленіемъ обветшалаго существа своего, возстать изъ мертвыхъ чрезъ Христа и родиться въ жизнь вѣчную, стольκожъ и натура ожидаетъ прежде свободы сыновъ Божіихъ, чтобы потомъ самой освободиться отъ плѣна ([2]). Сіонскій Вѣстникъ изложилъ свои теософическія понятія въ нѣсколькихъ статьяхъ, содержаніе которыхъ сводится къ слѣдующему: Наука, имѣющая предметомъ своимъ отношеніе между видимымъ и невидимымъ, заключаетъ съ себѣ троякое познаніе: человѣка, природы и Творца. Человѣкъ есть малый міръ: слѣд. кто познаетъ самого себя, тотъ познаетъ природу въ ея концентраціи (микрокозмѣ) и для него не будетъ неизслѣдимыхъ въ ней тайнъ. Объясняя натуру откровеннымъ словомъ, а откровеніе натурою, мы должны познавать изъ оныхъ волю Божію и по ней учреждать свою жизнь для достиженія блаженной вѣчности ([3]). Между причинами, породившими разносторонніе толки въ путяхъ возсоединенія, или религіи, не послѣдняя есть та, что при чтеніи Св. Писанія мало совѣтовались съ натурою и не находили гармоніи между двумя свѣтами. Приведя вышеуказанные тексты изъ Посланія къ Римлянамъ, Сіонскій Вѣстникъ замѣчаетъ: вотъ что Св. Писаніе сказываетъ, а философская химія показываетъ. Что же показываетъ философская химія? какъ она толкуетъ тайное воздыханіе твари, молчаливое ожиданіе ею блаженства? «По наукѣ извѣстно, что самыя послѣднія изъ тѣлъ заключаютъ въ себѣ начала благороднѣйшія, коихъ они суть темницы; всѣ они содержатъ въ себѣ частицы огня,

---

[1]) Franck: La philosophie mystique en France (стр. 103).

[2]) Мысли на досугѣ, стр. 122.

[3]) Дружеская бесѣда о состояніи человѣка на земли (С. В. 1817, августъ)

повсюду разлитаго, который есть сокровищница натуры... Сей-то внутренній огонь, во всѣхъ тѣлахъ сокрытый, наружнымъ огнемъ возбужденный и освобожденный, сожжетъ всѣ тѣла и превратитъ нашу землю въ свѣтлый, прозрачный, кристалловидный шаръ... Такимъ образомъ въ послѣдній день великаго пожара самое грубое вещество просвѣтится и прославится и также воскреснетъ въ воскресеніе живота, т. е. неизмѣняемости, нетлѣнія, о чемъ вся тварь имѣетъ скрытное чаяніе, по словамъ апостола Павла. Изъ сего оказывается чудная гармонія между натурою и благодатію. Ученіе натуры показываетъ намъ, что всѣ существа всѣхъ трехъ царствъ ни истлѣніемъ, ни сожженіемъ не уничтожаются, но возводятся токмо въ свои начала или, какъ другіе то называютъ, въ свой хаосъ, изъ коего произошли. Ученіе благодати говоритъ также: «аще внѣшній нашъ человѣкъ тлѣетъ, внутренній обновляется» (2 Кор. IV, 16) ([1]). Статья, изъ которой приведена эта выписка, есть не что иное, какъ болѣе пространное развитіе мыслей Дю-Туа, объяснявшаго 22-й стихъ 8-ой главы Посланія къ Римлянамъ ([2]). Протестантскій теософъ находилъ предчувствіе вышеизложенныхъ истинъ (сожженія земнаго шара и его славнаго преобразованія) у язычниковъ. Онъ цитируетъ стихи Овидія: «придетъ время, когда море, земля и небесный чертогъ, охваченныя (пламенемъ) будутъ горѣть, и придетъ въ разстройство многотрудное сооруженіе міра» ([3]). Изреченіе это, по словамъ теософа, можетъ быть принаровлено къ тексту апостола Петра: «пріидетъ же день Господень яко тать въ нощи, въ онь же небеса съ шумомъ мимо идутъ, стихіи же сжигаемы разорятся, земля же и яже на ней дѣла сгорятъ» (2 Петр. III, 10). Вотъ глухое стенаніе матеріи и тѣлъ! заключаетъ авторъ. Вотъ нѣмое ихъ желаніе получить благороднѣйшее бытіе, которое и будетъ ихъ концемъ, когда учинятся они прославленными тѣлами, сообразными тѣламъ прославленныхъ и небесныхъ духовъ, подобно какъ нынѣ грубая земля сообразна грубости нашихъ тѣлъ.—Лопухинъ, въ Запискахъ своихъ, указываетъ занятія членовъ новиковскаго круга: они упражнялись въ познаніи самихъ себя, творенія и Творца по правиламъ той науки, о которой говоритъ Соломонъ въ книгѣ Премудрости: Сей (Богъ) даде мнѣ о сущихъ познаніе неложное, познати составленіе міра и дѣйствіе стихій, начало и конецъ и средину вре-

---

[1]) Дружеская бесѣда на день Преображенія Господня (ib. 1806, августъ).

[2]) Бож. философія, т. I. выноска на стр. 34—37. Главу эту, подавшую поводъ къ объясненіямъ, Дю-Туа называетъ «по истинѣ божественною».

[3]) Affore tempus, quo mare, quo tellus correpta quae regia coeli, ardeat, et mundi moles operosa laboret (Метаморфозы, кн. 1, стихи 255—257).

менъ, возвратовъ премѣны, и измѣненія временъ, лѣтъ круги, и звѣздъ расположенія, естество животныхъ, и гнѣвъ звѣрей, вѣтровъ усиліе, и помышленія человѣковъ, разнство лѣтораслемъ, и силы кореній (VII, 17—20). Теософы особенно уважали эту книгу, называя ее книгой натуры, а самую натуру — вѣдѣніемъ вещей божественныхъ и человѣческихъ. Впрочемъ, по сбивчивости представленій, ведущей за собой неумѣнье опредѣлять соотношенія предметовъ, различныхъ или сходственныхъ, они на ряду съ теософіей ставили герметическую науку (алхимію), изобрѣтеніе которой приписываютъ Гермесу Трисмегисту, египетскому Меркурію, а иногда и сливали ихъ во-едино.

Изложивъ религіозную мистику, какъ она явилась у насъ, въ нашихъ мистическихъ книгахъ и журналахъ, мы видимъ, что одни изъ ея положеній образуютъ такъ называемую чистую мистику, а другія относятся къ положеніямъ мистики нечистой. Къ послѣднимъ принадлежатъ тѣ именно, которыя впадаютъ въ противоположность утвержденнымъ догматамъ вѣры; таковы: мысли о вѣчномъ откровеніи и вѣчномъ христіанствѣ, о превосходствѣ внутренняго слова надъ Священнымъ Писаніемъ, о ненужности внѣшняго посредства между человѣкомъ и Богомъ, о внутренней церкви. Доказывать, что мистика есть первичная и единственная форма христіанскаго вѣдѣнія, что жизнь мистика есть абсолютный идеалъ истинно-евангельской жизни, значитъ уничтожать въ принципѣ всякую церковь: ибо на одномъ созерцательномъ погруженіи въ Богѣ и просвѣщеніи отъ Бога нельзя построить не только церкви, но и никакого религіознаго строя жизни, никакого общаго ученія, даже секты или школы. Но, съ другой стороны, несправедливо не давать мистикѣ никакого права въ области христіанскаго ученія и христіанской жизни; въ томъ и другомъ предметѣ она составляетъ необходимый элементъ, обусловливаемый сущностью Евангелія, но только какъ элементъ, который не можетъ обособляться самостоятельно, не впадая въ неправоту и заблужденіе. Плодотворное значеніе ея въ восточной церкви указано авторитетными судьями предмета: «Она развила въ послѣдователяхъ внутреннее, сердечное и искреннее благочестіе, которое не ограничивается исполненіемъ внѣшнихъ дѣлъ благочестія, но стремится достигнуть чистоты души и сердца, благодатнаго освященія всего человѣческаго существа. Богословско-мистическое направленіе стало въ связь съ христіанскимъ богослуженіемъ и руководило его разумѣніемъ: въ восточной церкви всѣ обряды богослуженія не остались внѣшними только дѣйствіями, но удержали таинственный смыслъ и духовное значеніе; мысль христіанская отъ внѣшняго и чувственнаго воз-

вышалось къ духовному и божественному. Направленіе это пріобрѣло такихъ послѣдователей, какъ Максимъ Исповѣдникъ, Георгій Пахимеръ, Николай Кавасила и Симеонъ архіепископъ ѳессалонійскій, которые были первыми людьми своего времени (¹).

Какъ отнеслись къ нашей мистической литературѣ и духовныя и свѣтскія лица? Сильное сочувствіе къ ней съ одной стороны равнялось столь же сильному неудовольствію съ другой. Лабзину извѣстно было и то и другое. Онъ гордился знаками особеннаго расположенія къ нему нѣкоторыхъ іерарховъ, напр.: Ѳеофилакта (архіепископа калужскаго) и Даніила (архіепископа могилевскаго и витебскаго), помѣщалъ письма разныхъ особъ, изъявлявшихъ ему благодарность, какъ издателю, и былъ увѣренъ, что журналъ его читается многими съ охотой и любовію; но въ тоже время онъ зналъ и предубѣжденіе, господствовавшее даже между многими добрыми христіанами противъ всего, что вообще называется мистическимъ, или таинственнымъ (²). Другой мистическій журналъ «Другъ юношества» не возбуждалъ такого любопытства, какъ Сіонскій Вѣстникъ, и не давалъ поводовъ къ толкамъ и пересудамъ. Его считали неважнымъ, даже смѣялись надъ нимъ. Въ немъ и не было ничего такого, что могло бы обратить на себя особенное вниманіе: издатель его, добрый и честный, но ординарный по своимъ способностямъ человѣкъ, принадлежалъ скорѣе къ піетистамъ, чѣмъ къ мистикамъ, и потому имѣлъ въ виду только нравственную цѣль — вести читателей къ благочестивой христіанской жизни.

Первое по времени сочиненіе, направленное противъ нѣкоторыхъ мистическихъ положеній, вышло въ свѣтъ еще до появленія Сіонскаго Вѣстника, подъ заглавіемъ: «О внѣшнемъ богослуженіи и наружныхъ дѣйствіяхъ человѣка христіанина» (3 тома, 1803). Авторъ его — Иванъ Петровъ (Полубенскій), священникъ московской единовѣрческой церкви, поставилъ себѣ цѣлью рѣшеніе слѣдующей обширной задачи: дать ясное и точное понятіе о истинномъ смыслѣ и разумѣ Евангелія для тѣхъ, которымъ оно еще не ясно; сравнить и взвѣсить мнѣнія инославныхъ по многимъ церковнымъ матеріямъ и богословскимъ вопросамъ; проникнуть, гдѣ слабое мѣсто въ философскихъ системахъ; писателямъ книгъ религіозныхъ дать нужныя наставленія; открыть секретъ узнавать антихристовыхъ служителей; научить узнавать, кто истинный смыслъ Христова ученія уклоняетъ въ сторону; удѣлить горушное

¹) Рус. литература о сочиненіяхъ съ именемъ св. Діонисія Ареопагита, свящ. Смирнова (Правосл. Обозрѣніе, 1872, іюнь).

²) О мистикахъ (С. В. 1817, октябрь).

зерно вѣры тѣмъ, кои мало о томъ думаютъ; внутреннее теченіе христіанства въ ясномъ видѣ представить; ложночтимые истуканы лжеувѣренности сокрушить; волшебное чудовище превратнаго мірскаго мнѣнія и ложной славы низвергнуть; іерихонскія стѣны грѣха гласомъ трубнымъ поколебать; дски безчеловѣчнаго любостяжанія опровергнуть; гдѣ была слѣпая радость плоти и мертвое веселіе— ввести благороднѣйшее сластолюбіе сея жизни (¹); убѣжденіемъ и примиреніемъ отмстить за честь вѣры ругателямъ (²). По отзыву Филарета, архіепископа черниговскаго, книга эта «въ свое время, безъ сомнѣнія, много принесла пользы, когда чувственная философія не хотѣла знать никакихъ другихъ наслажденій, кромѣ чувственныхъ, и довольная гордыми мечтами о своемъ служеніи уму презирала всѣ принадлежности внѣшняго богослуженія» (³). Но, кромѣ философіи, авторъ долженъ былъ вести счеты и съ мистиками. Такъ какъ въ книгѣ Лопухина: «Нѣкоторыя черты о внутренней церкви», все богослуженіе почти исключительно сведено на внутренность, то надобно было, въ противоположность такому взгляду, указать необходимость внѣшнихъ обрядовъ, что и поставилъ своею задачею авторъ означеннаго сочиненія. Онъ недоумѣваетъ, почему систематики мистическаго просвѣщенія нападаютъ на обряды, какъ будто бы всякій христіанинъ уже сдѣлался духомъ и столь уже совершенъ, что плоть ему ни малѣйше не препятствуетъ въ успѣхахъ благочестія и что ей не нужны никакія покаянныя помочи. Различая двоякую наружность: одну — лицемѣрную, или на-показъ, безъ внутренняго чувства вѣры и любви къ Богу, и вторую, необходимо связанную съ человѣкомъ-христіаниномъ, онъ утверждаетъ, что безъ послѣдней нельзя содержать своей вѣры и совершить дѣла спасенія своего и что ее наблюдали самъ Христосъ и всѣ святые. *Сердцемъ вѣруется въ правду, усты же исповѣдуется во спасеніе.* Слѣдов. не исповѣдовать устами свою вѣру, хотя бы сердечная вѣра и была каковая-нибудь, есть недостаточная и богопротивная внутренность. На мистику вообще смотритъ авторъ, какъ на такое ученіе, существенное содержаніе котораго доступно всѣмъ христіанамъ, держащимся наилучшаго, т. е. православнаго исповѣданія, заботящагося главнымъ образомъ о внутреннемъ, духовномъ возрожденіи; но приписывать ей что-либо особенное значитъ обнаруживать слѣпое

---

¹) На 126 стр. 1-го тома сказано, что сластолюбіемъ сей жизни преподобный Ефремъ Сиринъ называетъ вѣру христіанскую, какъ высочайшее веселіе духа.

²) Т. I, стр. 16—18.

³) Обзоръ русской духовной литературы (1861), кн. 2.

пристрастіе жаркаго сектатора и явно склоняться къ протестантскимъ мнѣніямъ. Протестантская систематика въ сужденіи о наружныхъ дѣлахъ имѣетъ въ виду только отборнѣйшій, аристократическій, по состоянію и образованію, классъ людей, какъ бы не желая знать народъ, во всѣхъ исповѣданіяхъ одинаковый. Авторъ критикуетъ нѣкоторыя мѣста выше упомянутаго извлеченія изъ сочиненій Таулера (Краткія разсужденія о важнѣйшихъ предметахъ жизни христіанской). Онъ иронически относится къ совѣту нѣмецкаго мистика крестьянину—не ходить въ церковь, а безпрестанно думать о Богѣ, даже во время работы: такой «земледѣлецъ долженъ быть весьма въ знаніи далекъ, чтобъ не заимствовать онаго въ церковныхъ собраніяхъ, въ которыхъ нечувствительно научается христіанинъ всему составу спасенія, поддерживается противъ искушеній, утѣшается въ скорбныхъ обстоятельствахъ. Притомъ если взять въ разсужденіе русскаго мужика, на господской работѣ состоящаго, ежедневно то тѣмъ, то другимъ дѣломъ до-сыта занятаго, то сіе будетъ явное немилосердіе отнять у него и послѣднее утѣшеніе сходить въ церковь, а между тѣмъ лошадямъ дать нѣкоторое время отдохнуть, да и господина самого симъ правиломъ ввести можно въ грѣхъ. Однимъ словомъ, христіанинъ, образованный по правиламъ и системѣ сего просвѣщенія, хотя можетъ учить и править цѣлымъ міромъ (какъ сказано въ Краткихъ разсужденіяхъ) ([1]), только не худо бы его передъ тѣмъ года на два-на-три опредѣлить пожить въ деревнѣ, чтобы онъ могъ тамъ удостовѣриться, что носящимъ тяготу дне и варъ поселянамъ истинно не очень выгодны быть могутъ нѣмецкіе пріемы». Осуждается также авторомъ теософія, слѣды которой, какъ мы видѣли, находятся въ нѣкоторыхъ чертахъ о внутренней церкви. На предложенный себѣ вопросъ: «есть ли въ созданной натурѣ какіе-либо слѣды, доказывающіе Троицу въ Богѣ?» онъ отвѣчаетъ: «Подобныя исканія только затемняютъ истину и напоминаютъ слова стихотворца: «fecistis probe! incertior sum multo, quam dudum, т. е. изрядно сдѣлали! я меньше разумѣю теперь сіи вещи, нежели зналъ прежде до васъ». Легкое и удобное было бы средство увѣрять Фреретскія и Буланжерскія души ([2]), когда бы изъ созерцанія натуры можно было доходить до познанія о таинствѣ Св. Троицы и даже видѣть точные слѣды страданія и смерти Христовой изъ натуральныхъ перемѣнъ многоразличныхъ существъ. Такимъ образомъ, чтобъ

---

[1]) 1-ое изд. (1801), стр. 176.

[2]) Фрере (Freret), ученому и критику XVIII-го, и Буланже (Boulanger), того же вѣка, приписывались нѣкоторыя антирелигіозныя сочиненія.

убѣдить невѣрующаго, стоило бы только послѣ катихизиса для усовершенствованія въ вѣрѣ посадить его въ классъ экспериментальной физики и химическихъ опытовъ, и послѣ сего не долго бы уже ему было дожидаться, чтобы сказать въ самомъ себѣ тоже, что Лютеръ негдѣ, издѣваясь, заставляетъ мыслить Меланхтона: «sic ego ero, qui ero». Замѣтимъ, что книга, о которой мы говоримъ, выказывая въ авторѣ большую начитанность, отличается однакожъ странно-оригинальнымъ способомъ изложенія. Это изложеніе напоминаетъ манеру нашихъ малорусскихъ ученыхъ XVII вѣка, которые въ своихъ богословскихъ трактатахъ допускали смѣшеніе тоновъ и даже проповѣди наполняли сатирическими, ироническими и комическими выходками, смотря на нихъ какъ на средство къ достиженію цѣли, т. е. къ убѣжденію слушателей въ истинѣ и къ направленію ихъ на путь истинной нравственности. Тоже въ большой мѣрѣ видимъ у священника Петрова, вѣроятно малорусскаго уроженца, судя по многимъ словамъ и выраженіямъ: серьезное и важное постоянно очередуется у него съ шуточнымъ и причудливымъ, примѣры чего представляемъ въ выноскѣ. Вся книга испещрена цитатами на иностранныхъ языкахъ, особенно на французскомъ, такъ какъ она преимущественно обличаетъ ученіе французскихъ философовъ XVIII вѣка. Самое посвященіе ея «театральнымъ, упражняющимся во врачебной наукѣ и отъѣзжающимъ въ чужіе краи» поражаетъ своею неожиданностью. Почему театральнымъ? потому, что «театръ хотя и пользуется гражданскою терпимостью, но церковь всегда будетъ не довѣрять театральной нравственности». Почему медикамъ? потому, что «христіане по тѣлу имѣютъ большую связь (т. е. сношеніе) съ ними; слѣдовательно надобно, чтобы въ недоумѣнныхъ толкованіяхъ никто со стороны церкви не наставленнымъ не оставался и чтобъ всякъ зналъ, что церковныя учрежденія соображены съ натурою человѣка и съ правилами самой медицины и что благонамѣренная медицина церковнымъ учрежденіямъ противорѣчить не можетъ, ибо какъ церковь, такъ и медицина равно хранятъ человѣческое здравіе тѣлесное и спасеніе души». Наконецъ, почему отъѣзжающимъ за границу? «Многіе отъѣзжаютъ на долгое время и съ перемѣною мѣста перемѣняютъ отечественныя мысли въ разсужденіи самаго закона (христіанскаго). Для многихъ путешественниковъ медики и театральные служатъ вмѣсто духовниковъ: по совѣту однихъ управляютъ они свою наружность, а по наставленію другихъ свою внутренность. Иногда жъ попадаютъ они на раскольническихъ бѣглыхъ ренегатныхъ жрецовъ природы. Для того предложены по возможности всѣ нужныя свѣдѣнія, чему тамъ (особенно въ Па-

рижѣ) полезному въ разсужденіи религіи научиться можно и отъ чего вреднаго предохраниться. По многимъ причинамъ мы совѣтуемъ путешествующимъ—на границѣ французской прочитать про себя символъ вѣры и въ мысленныхъ вмѣстительныхъ (скобкахъ) включить слѣдующее: «Распятаго же за ны при (французѣ) Понтійстѣмъ Пилатѣ», прибавивъ къ тому въ мысли Руфиново замѣчаніе: «Iulianus in Gallia Christum abnegavit», т. е. «Юліанъ въ Галліи Христа отвергся». Сіе сказано по великому множеству французскихъ книгъ, предосудительныхъ для христіанства» (1).

О первомъ годѣ изданія Сіонскаго Вѣстника (1806) мы имѣемъ отзывъ Евгенія Болховитинова, бывшаго въ то время епископомъ старорусскимъ (2). Выразивъ сожалѣніе, что большая часть журнала наполняется переводами съ нѣмецкаго изъ сочиненій Штиллинговыхъ, а также мартинистскихъ, Евгеній находитъ въ немъ два главныхъ недостатка: во-первыхъ, синкретизмъ, или мнѣніе, будто во всѣхъ религіяхъ, подъ разными только символами, была истинная религія, что ведетъ къ индифферентизму и чего нельзя согласить съ духомъ истиннаго христіанства; во-вторыхъ, миѳологизмъ, платонизмъ и математицизмъ, употребляемый мистиками къ изъясненію Троицы и другихъ таинствъ откровенія. Кромѣ того указаны нѣкоторыя отдѣльныя мистическія представленія, поражающія своею странностью. Впрочемъ о дѣятельности издателя Евгеній говоритъ съ большою похвалою: «Я получаю Сіонскій Вѣстникъ и читаю часто до чувствительнаго умиленія и даже до благодарности Богу, вложившему мысли Лабзину издавать сей журналъ. Онъ многихъ обратилъ, если не отъ развращенія жизни, то по крайней мѣрѣ отъ развращенія мыслей, бунтующихъ противъ религіи».

---

1) Вотъ еще два примѣра особенностей въ изложеніи и стилѣ автора:

Неудивительно, что у Бога не всякій безъ разбора будетъ въ раю и что для тѣхъ, которые не хотѣли быть Ему у себя царемъ, есть особливый смирительный Мальмезонъ (I, 50).

Приглашая грѣшника къ покаянію, авторъ даетъ ему такіе совѣты: «Не теряй времени, сдѣлай послѣднее усиліе, подвигни твое произволеніе хотя малѣйше на страну спасенія и мудрости, чтобъ потому можно было Христу Спасителю приняться излѣчить застарѣлую и неизлѣчимую твою болѣзнь. Ты сдѣлай сіе, буде хочешь, по философски, только въ другомъ видѣ. Подвигнись, хотя через силу, обернуться ко Христу, такъ какъ умирающій Вольтеръ употребилъ послѣднее усиліе отворотиться отъ священника и такъ умеръ. Мы тебя не обязываемъ слишкомъ къ строгому покаянію, къ покаянію русскому во всей строгости слова. Пусть на первый разъ покается по-нѣмецки, кто нагрѣшилъ по-русски. Пока до времени ligneus esto (ib. 54).

Подобныхъ мѣстъ въ книгѣ очень много.

2) Письмо отъ 7 іюля 1806 г. (Москвитянинъ 1848, № 8), слѣдов. послѣ полугодичнаго изданія журнала.

Нѣкоторые изъ противниковъ мистики, частію по невѣжеству, а частію по изувѣрству, скорѣе вредили себѣ, чѣмъ противному имъ дѣлу. Ревность не по разуму внушала имъ такія обвиненія, которыя не могъ признать справедливыми ни одинъ благомыслящій читатель. Они были даже смѣшны въ своемъ слѣпомъ ожесточеніи, потому что на ряду съ мистическими книгами ставили книги совершенно инаго рода, безразлично обзывая тѣ и другія антихристіанскими, еретическими, бѣсовскими, революціонными. Такими именно замѣтками характеризуетъ ихъ Фотій, архимандритъ юрьевскій (1). Кто читалъ Штиллинга и Эккартсгаузена и кромѣ того зналъ біографію этихъ лицъ, тотъ, конечно, не могъ понять, съ какой стороны слѣдуетъ причислить ихъ къ революціонерамъ или видѣть въ нихъ адептовъ энциклопедіи, какъ это видѣлъ Анастасевичъ въ своей одѣ: «Аттила девятаго-надесять вѣка» (т. е. Наполеонъ) (1812). Въ 1816 г., переводчикъ Московской Медико-Хирургической Академіи, губернскій секретарь Степанъ Смирновъ, написалъ письмо къ Императору о богохульныхъ книгахъ, въ свое время произведшее говоръ (2). Въ числѣ семи книгъ, имъ указанныхъ, значатся: Агаѳоклесъ или письма изъ Рима и Греціи, г-жи Пихлеръ, и Мученики, Шатобріана!! Наиболѣе опасною почитается Штиллингова «Побѣдная повѣсть», въ которой, «подъ видомъ изъясненія Апокалипсиса, содержатся оскорбительныя хуленія христіанства, наипаче греческаго исповѣданія». Рѣзкое, но мало толковое опроверженіе этихъ хуленій, написанное Смирновымъ, подъ заглавіемъ: «Вопль жены, облеченной въ солнце», не было издано.

Тоже сочиненіе Штиллинга обратило на себя вниманіе другаго критика. Экземпляръ его, поступившій изъ Библіотеки Царскаго Села въ И. П. Библіотеку, весьма любопытенъ по отмѣткамъ и припискамъ, сдѣланнымъ во многихъ мѣстахъ неизвѣстно чьею рукою. Этотъ неизвѣстный читатель, въ произведеніи, объясняющемъ Апокалипсисъ по мистико-религіозному толку, усмотрѣлъ лукавую проповѣдь масона, карбонара и революціонера. Заглавіе книги (Побѣдная повѣсть или торжество вѣры христіанской, твореніе І. Г. Юнга Штиллинга) съ прибавками, ниже означенными курсивомъ, вышло слѣдующее: «*Планъ и манифестъ революціи, подъ красивымъ названіемъ*: Побѣдная повѣсть или торжество *безвѣрія, подъ именемъ* вѣры христіанской, твореніе І. Г. Юнга Штиллинга, *единственнаго изъ усердныхъ членовъ тайныхъ обществъ. Не переводъ*,

---

1) Списокъ сочиненій, подвергавшихся критикѣ Фотія (Обзоръ рус. духов. литературы, Филарета, кн. 2).

2) Чтенія въ Обществѣ исторіи и древностей россійскихъ, 1858, кн. 4.

*

а большею частію подделка русскаго карбонарія о Россіи и для Россіи. Приводимъ образчики критическихъ замѣтокъ:

На стр. 223, переводчикъ говоритъ въ выноскѣ: «Слѣдовательно, любезный читатель, по словамъ автора, худа надежда на миръ, какой бы ни заключили. Кровію должна омыться земля, ибо кровію очищаются беззаконія. Французы, изъ коихъ составляется Франція, большею частію рождены или воспитаны среди ужасовъ революціи и къ нимъ привыкли». Подъ этой выноской читатель написалъ: *О Царь! возьми миръ; 1824!... 9 лѣтъ отъ заключенія мира* [1].

На стр. 247—248 говорится, что апокалипсическій звѣрь есть человѣкъ, великій властитель, какъ бы онъ ни назывался—папою, королемъ, императоромъ или просто генераломъ—и что онъ-то есть собственно антихристъ. Въ выноскѣ къ слову «императоромъ» Лабзинъ, смотрѣвшій на это мѣсто въ книгѣ, какъ на пророчество, замѣтилъ: «сей пунктъ весьма примѣчателенъ, ибо писанъ авторомъ, когда Франція была республикою. Противъ выноски написано: *Уже ли Наполеонъ?—врешь, діаволе.*

На стр. 277-ой, авторъ выражаетъ мысль, что Церковь, ко времени пришествія Господня, пріобрѣтетъ общественный духъ, который получитъ чистѣйшее направленіе къ единому на потребу, и что сей общій духъ есть чадо жены, облеченной въ солнце. Читатель отмѣтилъ на полѣ: *конституція.*

На стр. 376, при словахъ: «Мы теперь живемъ въ вечеру пятницы, и въ навечеріи субботы, въ 8-мъ часу: и такъ, братья, бдите и молитеся, и возжигайте свѣтильники! Въ 1836 г. будетъ 3 или 4 минуты девятаго и намъ остается ждать около трехъ четвертей часа только», читатель замѣтилъ: *терминъ революціи подъ видомъ религіознымъ.*

Кромѣ того, на многихъ страницахъ, слова и даже цѣлыя строки подчеркнуты чернилами, какъ скрывающія въ себѣ зловредный смыслъ, крамольныя тенденціи, и противъ подчеркнутаго, вмѣсто положительныхъ заявленій, стоитъ на поляхъ иногда слово *чти!* а иногда слово *зри!* [2].

Наконецъ таже самая книга, вмѣстѣ съ четырьмя другими: Избранныя творенія г-жи Гіонъ, Воззваніе къ человѣкамъ о послѣдованіи внутреннему влеченію Христову, Таинство Креста, Еванге-

---

[1]) Переводъ Побѣдной повѣсти нап. въ 1815 г., по окончаніи войнъ съ Наполеономъ.

[2]) Судя по характеру и тону замѣтокъ, рѣшаюсь приписать ихъ извѣстному архимандриту Фотію.

ліе отъ Матоея (католическаго патера Госнера), подверглась разбору и осужденію въ «Запискѣ о крамолахъ враговъ Россіи» ([1]). Общее мнѣніе какъ объ этихъ такъ и о подобныхъ имъ книгахъ, во множествѣ выпущенныхъ въ свѣтъ, состоитъ въ томъ, что «въ каждой изъ нихъ къ фунту пшеничной муки примѣшанъ фунтъ мышьяку, и потому онѣ, сладко питая своихъ читателей, вмѣстѣ пріятно отравляли ихъ».

Самое сильное нападеніе вообще на мистику и въ частности на Сіонскій Вѣстникъ было сдѣлано книгою Станевича: «Бесѣда на гробѣ младенца о безсмертіи души» ([2]). Хотя авторъ и держится того мнѣнія, по которому мистики почитались замаскированными революціонерами, врагами правительства и отечества, поклонниками дьявола, но по крайней мѣрѣ критика его направлена противъ всѣхъ почти пунктовъ мистическаго ученія и не довольствуется одними голословными порицаніями. Онъ входитъ въ разборъ каждаго пункта и старается показать его противорѣчіе понятіямъ церковной доктрины. «Мистикою» называетъ онъ то лжеученіе, которое, превращая Св. писаніе въ иносказательный, духовный и таинственный смыслъ, старается затмить истинный разумъ онаго и испровергнуть вѣру и церковь. Главнымъ обвиненіемъ служитъ взглядъ мистиковъ на церковь: оно составляетъ существенное содержа-

---

[1]) Руск. Арх. 1868. См. также: Записки (сокращенныя) А. С. Шишкова (1863) и Записки (полныя), мнѣнія и переписка А. С. Шишкова, изданіе Н. Киселева и Ю. Самарина, 2 т. (Берлинъ, 1870). Сочиненіе Записки приписываютъ князю С. Шихматову, любимцу Шишкова.

[2]) Первое изданіе этой книги (1818), въ министерство кн. Голицина, было запрещено, за содержащіяся въ ней «зловредныя и противныя нашему вѣроисповѣданію правила», но въ 1825-мъ разрѣшено второе изданіе оной, по представленію Шишкова, который, такимъ образомъ, загладилъ несправедливость своего предшественника.

Заглавіе книги объяснено авторомъ въ концѣ ея (стр. 304) словами, обращенными къ матери умершаго младенца: «я избралъ лучше содѣлать гробъ вашей дочери мѣстомъ христіанскаго поученія, назиданія, просвѣщенія, нежели надгробнымъ рыданіемъ». Авторъ сознавалъ смѣлость своего дѣла въ виду увлеченія мистикою: «Не неизвѣстенъ мнѣ духъ настоящаго времени, почему очень знаю, какъ многіе вознегодуютъ за такой отзывъ мой о нынѣ лелѣемыхъ у насъ писателяхъ (Сенъ-Мартенѣ, Дю-Туа), но также знаю, что *повиноватися подобаетъ Богови паче нежели человѣкомъ* (Дѣян. V, 29). Придутъ времена, прореченныя Іисусомъ, апостолами и пророками, когда антихристъ возсядетъ на мѣстѣ святѣ, а вѣдь онъ сядетъ не безъ помощи людей, которые равно будутъ защищать его царство и ученіе: вотъ и тогда избранные почтутся за безумцевъ. Чувствуя лесть оныхъ писателей, ужели должно мнѣ быть столько безстыдну, чтобы, убоясь человѣковъ, забыть судъ Божій и измѣнить церкви и Богу? И уже ли я долженъ повѣрить ученикамъ, когда вижу, по благодати Божіей, заблужденія ихъ учителей?» (выноска на стр. 74).

деть во всеобщую гармонію» ([1]). Станевичъ отвергаетъ и тѣнь возможности когда-либо соединить богоненавистную сущность съ естествомъ Божіимъ: «чтобы изъ демонскаго порожденія породить сыновъ благодати—сего ниже Богу возможно, не преставши быть тѣмъ, чѣмъ Онъ есть. Доколѣ Богъ есть Богъ, діаволъ долженъ пребыть діаволомъ... Судъ Божій надъ сатаною и аггелами его, непреложный чрезъ всю нескончаемость вѣчности, и есть то, что долженствуетъ служить неугасаемымъ свидѣтельствомъ неизмѣнности праведнаго его гнѣва на преступающихъ и унижающихъ его повелѣнія... Какимъ образомъ діаволъ отымется самъ отъ себя и, не преставая быть собою, содѣлается благимъ? Куда же дѣнется то, что въ немъ было демонскаго? Какъ измѣнится злая сущность на естество благое?... Вѣдаемъ, что у лже-мистиковъ чистительный огонь благодати всегда готовъ; но огонь чистительный есть огонь очищающій: отъ чего же станетъ онъ очищать зло? Онъ очищаетъ золото: это—любимое у мистиковъ доказательство. Но Священное Писаніе говоритъ о семъ огнѣ примѣнительно къ естеству человѣческому, а не къ демонскому; ибо и огонь не золото отъ золота, но всякую, золоту чуждую примѣсь отъ самого золота очищаетъ; самой же примѣси никогда въ золото не обращаетъ. Доколѣ въ человѣческой волѣ сколько нибудь остается еще непринадлежащаго демону, дотолѣ онъ не безъ надежды на спасеніе: онъ можетъ паки вообразить въ оной образъ истины, освобождающей его отъ тьмы, и содѣлаться чадомъ благодати; но когда воля его содѣлается уже престоломъ похотей діавольскихъ, тогда сей человѣкъ изъ сына свободы творится сыномъ погибели, творящимъ похоти отца своего». Станевичъ смѣется также надъ таинственнымъ мракомъ мистиковъ. Что такое этотъ таинственный или божественный мракъ? «Онъ есть тотъ неприступный свѣтъ, въ которомъ, по словамъ Писанія (1 Тим. VI, 16), живетъ Богъ. И поелику онъ отъ чрезвычайнаго сіянія невидимъ и отъ преизбытка пресущественнаго свѣта неприступенъ, то пребываетъ въ немъ только тотъ, кто достоинъ знать и видѣть Бога, и истинно пребывая въ немъ выше видѣнія и познанія, чрезъ сіе самое невидѣніе и незнаніе познаетъ то, что онъ выше чувственнаго и умнаго» ([2]). Мракомъ называется онъ потому, что свѣтъ Божій одолѣваетъ разумъ и помрачаетъ его, подобно тому, какъ солнце при восходѣ своемъ помрачаетъ звѣзды ([3]). Сперанскій также говоритъ

[1]) Franck: La philosophie mystique en France.—Swinden: Recherches sur la nature du feu de l'enfer et du lieu où il est situé, 1757 (пер. съ англ.).

[2]) Пятое письмо съ именемъ Діонисія Ареопагита (Хр. Чт. 1825, ч. 19).

[3]) Бож. философія, т. 5, кн. 5, гл. 4, стр. 31—92 (въ выноскѣ).

о сумракѣ вѣры, какъ главномъ предметѣ духовной жизни ([1]). Станевичъ, приведя слова изъ одного Фенелонова письма: «надобно подражать вѣрѣ Авраама и всегда идти—не зная куда идешь», пишетъ: «сколько уродливыхъ понятій породило такое понятіе! Не диво, что мистики, блуждая въ таинственномъ своемъ мракѣ (sacra caligo), не усмотрѣли того, что Авраамъ получилъ повелѣніе отъ Бога и слѣдственно, хотя не зналъ пути, но очень вѣдалъ, что повелѣніе дано ему не отъ кого другаго, какъ отъ самого Бога: заповѣдь же Господня свѣтла, просвѣщающая очи (Пс. XVIII, 9). Богъ вѣдалъ, куда посылалъ Авраама, а Авраамъ вѣдалъ очень, что знаетъ Богъ куда посылаетъ его: потому очень вѣдалъ и сіе, что послушаніе паче всякія жертвы предъ Богомъ. Слѣдовательно вѣра Авраамова не была темная, но, какъ заповѣдь Божія, свѣтлая, когда она выполняется. Тотъ же, напротивъ, не можетъ идти какъ не во тьмѣ, кто, не повѣривъ церкви, предается самъ себѣ подъ гнуснымъ предлогомъ, яко бы изъ самоотверженія послѣдуетъ влекущей его волѣ Божіей, между тѣмъ какъ онъ, якоже волъ на заколеніе ведется и яко песъ на узы, отъ того что послѣдовалъ въ объюродѣніи своемъ той церкви, которой путіе, ведя къ дому адову, низводятъ въ сокровища смертная (Притч. VII, 22, 27)». Далѣе вооружается Станевичъ противъ теософіи, т. е. познанія Бога изъ натуры—не въ смыслѣ богопознанія естественнаго, всѣми признаваемаго, а въ смыслѣ познанія таинствъ и дѣйствій христіанства: «Слово Божіе дается на то, да въ немъ, а не въ природѣ, учатся познанію Бога. Одно изъ двухъ: или природа для сего не нужна, или слово Божіе. Учащійся въ откровеніи пойдетъ ли еще усовершать свое познаніе о Богѣ въ природѣ? ибо или слово откровенное выше природы, или природа выше откровенія; слѣд. или отъ слова Божія не для чего возвращаться къ природѣ, или отъ природы не за чѣмъ идти къ слову Божію... Ужели мистики, выхваляющіе намъ числительную свою мудрость, сами преткнулись о камень ея и забыли сіе правило науки оныя, что ежели два уравненія равны одному какому-нибудь, то и сами они порознь равны между собою, и что, слѣдовательно, ежели Христосъ есть Слово Божіе, и натура также, то надобно, чтобы и натура и Христосъ были у нихъ одно и тоже». Кромѣ того отвергаются и другіе предметы: мистическое созерцаніе Бога, «въ которомъ человѣкъ видитъ все, не видя ничего, и въ которомъ видѣть что было бы у него обращеннымъ на себя самолюбіемъ»; мистическую любовь къ Богу —«странную, духу церкви чуждую и противную, и потому достой-

[1]) Письма къ Цейеру (Рус. Арх. 1870).

ную именоваться духовною похотью»; поглощеніе или упраздненіе вѣры этою любовью, что «есть вмѣстѣ упраздненіе лица того, въ него же вѣровати подобаетъ».

Одни изъ современниковъ осуждали книгу Станевича; другіе, напротивъ, находили ее правдивою ([1]). Надобно пожалѣть, что критика мистическаго ученія, какъ оно выражалось въ Сіонскомъ Вѣстникѣ, и преимущественно по отношенію его къ церкви, исходила отъ человѣка свѣтскаго, а не отъ авторитетнаго лица ея служителей. А такими авторитетами тогда были: Михаилъ, Филаретъ, Иннокентій, Ѳеофилактъ.

У людей ученыхъ или вообще тѣхъ, которые дорожили положительнымъ знаніемъ, наукой, была иная причина къ недовольству мистикой. Они стояли за права разума, какъ главнаго орудія при изслѣдованіи природы и человѣка, тогда какъ мистика ставила выше всего непосредственное созерцаніе, вовсе не нуждающееся въ умственной пытливости, способной только, по ея взгляду, постигать внѣшность дольняго міра. Поэтому, когда мистики случайно или намѣренно заходили въ область научной спеціальности, противники антинаучнаго образа мыслей любили обличать ошибки или незнаніе непризванныхъ ученыхъ. Примѣромъ такого обличенія служитъ разборъ одной книги Эккартсгаузена, переведенной У. М. (Лабзинымъ): «О фосфорной кислотѣ, яко вѣрнѣйшемъ средствѣ противъ гнилости» (1811). Она содержитъ въ себѣ частію химическія, частію медицинскія положенія о чистотѣ и порчѣ воздуха, составныхъ частяхъ его и происхожденіи въ немъ заразы, о кислотахъ и о фосфорной кислотѣ въ особенности. Содержаніе приправлено метафизико-моральнымъ введеніемъ о вредныхъ дѣйствіяхъ страстей человѣческихъ. Критикъ сильно напалъ на автора. По его мнѣнію, Эккартсгаузенъ въ дѣлѣ науки невѣжда, не имѣющій понятія о газахъ, ни о различіи между ядами и заразами, не знающій даже что такое разложеніе, химическое сродство и механическое смѣшеніе. Познанія «трансцендентальнаго богослова», какъ величали въ Германіи Эккартсгаузена, называетъ онъ ничтожными, а сужденія нелѣпыми. Лабзинъ, въ предисловіи къ переводу, замѣтилъ, что Штиллингъ писалъ для простыхъ людей, а Эккартсгаузенъ для учившихся и упражнявшихся въ наукахъ. Критикъ возражаетъ: «Эккартсгаузенъ никогда не имѣлъ въ Германіи имени истинно-ученаго писателя, хотя у насъ отъ многихъ почитается оракуломъ просвѣщенія, и по своему великому невѣжеству писать для упражняющихся въ наукахъ не могъ: онъ мѣшаетъ метафи-

---

[1]) Записки о жизни Филарета, Н. Сушкова, стр. 109—111.

зику съ ариѳметикой, богословіе съ химіей, нравоученіе съ скотоврачебною наукой, отъ созерцанія существа души нисходитъ до опытовъ въ хлѣвахъ, а отъ философическаго разсматриванія природы до шарлатанства». Къ стыду нашего времени, говорится въ заключеніи этого отзыва, сочиненія его переводятся на нашъ языкъ ([1]). Но авторъ книги нашелъ себѣ защитника въ Невзоровѣ, объявившемъ, что Эккартсгаузенъ могъ лучше Шапталя знать химію и созерцать таинства природы, ибо былъ больше христіанинъ, водимый высшимъ свѣтомъ, тогда какъ французскіе ученые были водимы одною языческою мудростію ([2]). Подобный аргументъ, конечно, не могъ убѣдить критика С.-п.бургскаго Вѣстника. И въ другихъ журналахъ раздавались жалобы на мечтанія нѣмецкихъ мистиковъ, пользовавшихся у насъ большою извѣстностью. По поводу предсказаній Штиллинга о преставленіи свѣта въ 1836 г. (въ Побѣдной повѣсти), издатель «Духа журналовъ» серьезно замѣтилъ: «мнѣ кажется, долгъ всѣхъ благомыслящихъ писателей, а особливо богослововъ православной церкви, требовалъ бы опровергать странныя и вредныя мнѣнія, распространяемыя симъ *больнымъ* человѣкомъ, который впрочемъ нравственною цѣлію своихъ сочиненій, добромъ, которое онъ оказываетъ страждущему человѣчеству, и примѣромъ добродѣтельной жизни заслуживаетъ любовь и уваженіе своихъ современниковъ» ([3]). Большинство же, не имѣющее ни возможности, ни желанія опредѣлять въ точности значеніе предмета, съ именемъ мистики не связывало никакого яснаго понятія, а разумѣло подъ нею нѣчто смутное, непонятное, слѣдовательно противное уму, неразумное. Карамзинъ, наблюдавшій за всѣми движеніями общества, въ томъ числѣ и за мистицизмомъ, относился къ нему иронически и даже называлъ его *вздорологіею*. Вотъ одно мѣсто изъ его письма къ И. И. Дмитріеву, въ 1817 г.: «я засмѣялся, читая о Кошелевѣ: онъ будетъ министромъ развѣ *вышняго* просвѣщенія. Соединеніе двухъ министерствъ (духовныхъ дѣлъ и просвѣщенія) послѣдовало съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы мірское просвѣщеніе сдѣлать христіанскимъ. Отнынѣ кураторы будутъ люди извѣстнаго благочестія. Клингеръ уволенъ: мнѣ сказывали, что онъ считается вольномыслящимъ. Не мудрено, если въ наше вре-

---

[1]) С.-п.бургскій Вѣстникъ, 1812, кн. 8.

[2]) Другъ юношества, 1818, іюнь (ст.: Мои мысли о сочинителѣ книги «о фосфорной кислотѣ»).

[3]) 1816 г. № 32, о представленіи свѣта. За эту статейку издатель Яценковъ получилъ замѣчаніе отъ министра народнаго просвѣщенія, кн. Голицына (Бесѣда въ обществѣ любителей Рос. Словесности, вып. 8, стр. 20).

мя умножится число лицемѣровъ» ([1]). Опасеніе Карамзина дѣйствительно сбылось, какъ ниже увидимъ.

Какъ всякое движеніе мысли, мистика могла отражаться въ литературѣ. Будучи ученіемъ о внутренной, сокровенной жизни съ Богомъ, о Христѣ въ насъ, она давала поводъ къ *дидактическимъ* произведеніямъ, съ цѣлію изложить существенные его догматы въ назиданіе христіанамъ. Но для поэтическаго воспроизведенія самой жизни мистика, духовныхъ подвиговъ и чувствъ ея личныхъ опытовъ и пріобрѣтаемыхъ ими откровеній и блаженнаго состоянія—приличнѣйшею литературною формою должна была служить, конечно, *лирика*.

Изъ сочиненій дидактическаго рода, состоящихъ въ связи съ мистическими идеями и посвященное ихъ представленію, замѣчательна поэма Хераскова: «Владиміръ возрожденный» (1785). Руководствомъ автору служили «многія духовныя книги, бесѣды съ цѣломудренными мужами и собственный опытъ». Повѣсть очень уважалась масонами и мистиками. По отзыву одного изъ нихъ, въ поэмѣ много христіанскихъ истинъ, полезныхъ и душеспасительныхъ для человѣка ([2]). Лабзинъ бралъ изъ нея отдѣльные стихи въ эпиграфы къ своимъ переводамъ Эккартсгаузена. Вниманіе читателя прежде всего останавливается на эпитетѣ Владиміра: почему «возрожденный», а не просто «крещенный»? Объясненіе дается самимъ авторомъ: онъ имѣлъ въ виду не столько разсказать о просвѣщеніи Руси христіанствомъ, сколько изъяснить сокровенныя чувствованія души, борющейся самой съ собою. Онъ совѣтуетъ читать «Владиміра» какъ повѣсть о странствованіяхъ человѣка путемъ истины, на которомъ онъ, послѣ долгой борьбы со страстями, достигнувъ просвѣщенія, возрождается. Но есть и другое объясненіе, указываемое понятіемъ мистиковъ о крещеніи. Въ этомъ таинствѣ различаютъ они двѣ степени: крещеніе водою и крещеніе духомъ и огнемъ. Первое, какъ приготовительное ко второму, есть крещеніе въ покаяніе (крещеніе Іоанново); второе, какъ совершительное, есть крещеніе въ жизнь Бога (крещеніе Іисусово). Первое отверзаетъ вѣрующимъ только преддверіе храма Господня; второе провождаетъ ихъ во святая и святая святыхъ. Надобно кре-

---

[1]) Письма Карамзина къ Дмитріеву (1866), стр. 204.—Кошелевъ—оберъ-прокуроръ синода, членъ государственнаго совѣта. Дмитріевъ, въ письмѣ къ Карамзину, вѣроятно, думалъ, что Кошелева назначатъ министромъ просвѣщенія. Соединеніе обоихъ министерствъ послѣдовало въ 1817 г.: управлялъ ими кн. А. Н. Голицынъ, который, находя Клингера слишкомъ вольнодумнымъ, уволилъ его отъ должности попечителя дерптскаго университета.

[2]) Встрѣча съ мартинистами, С. Аксакова (Рус. Бесѣда 1859, № 1).

ститься духомъ, чтобы увѣдать тайны христіанства, по словамъ апостола Павла (1 Кор. II, 10). Тайны эти извѣстны только внутреннимъ христіанамъ, а не внѣшнимъ, только возрожденнымъ, а не невозрожденнымъ (¹). Въ небольшой книжкѣ: «Дружескій совѣтъ всѣмъ тѣмъ, до кого сіе касаться можетъ» (1813), слѣдующія строки возбудили вниманіе современниковъ: «ты думаешь, вѣроятно, что крещеніе уже возродило тебя, но берегись обмануться заблужденіемъ, столь же опаснымъ, сколько вмѣстѣ съ тѣмъ и общимъ. Крещеніе есть обрядъ наружный, совершаемый надъ тѣломъ; новое рожденіе есть внутренняя работа надъ душею. Крещеніе есть только знакъ, сущность коего есть возрожденіе. Крещеніе производится подобными тебѣ человѣками; новое рожденіе есть дѣйствіе единаго Святаго Духа. Великое множество крестившихся не вошло во врата жизни, но ни одинъ изъ истинныхъ возрожденныхъ никогда по сю сторону оныхъ не оставался» (²). Прибавимъ къ этому, что Лабзинъ, въ статьѣ «о чтеніи духовныхъ книгъ» цитировалъ, съ цѣлію подкрѣпить себя авторитетомъ во взглядѣ на крещеніе, нижеслѣдующее мѣсто изъ Церковной россійской исторіи, митрополита Платона: «Владиміръ по ревности поспѣшилъ, а духовные греческіе рады были, чтобъ изъ язычниковъ сдѣлать христіанами чрезъ святое крещеніе: ибо сіе есть гораздо легче, нежели правилами Евангелія просвѣтить каждаго мысль, насадить въ сердце плодоносную вѣру и открыть ему, или паче вселить въ него, духъ Христовъ» (³). Херасковъ, нѣтъ сомнѣнія, не отдѣлялся по своимъ взглядамъ отъ «цѣломудренныхъ мужей», съ которыми любилъ бесѣдовать. Укажемъ нѣсколько мѣстъ во «Владимірѣ», выражающихъ мистическія идеи.

Въ 7-й пѣснѣ описывается долина, въ которой жилъ христіанинъ Идолемъ, братъ жреца Пламида, съ Законестомъ и Версоной, также христіанами. Владиміръ, преодолѣвъ «адскія препоны» (душевныя слабости), вступаетъ въ эту долину и, пораженный ея чудесными красотами, думаетъ видѣть мечту или сонъ. Идолемъ разувѣряетъ его:

---

¹) С. В. 1817, іюль, стр. 24 и 113; 1818, январь, 41—43 и дал.

²) Стр. 28—29. Брошюрка эта подверглась было преслѣдованію со стороны главнокомандующаго въ Москвѣ, гр. Растопчина, но по докладу о томъ Государю, повелѣно было разрѣшить ея выпускъ въ продажу (Бесѣды въ Обществѣ любителей Рос. Словесности, вып. 3-й, стр. 13—15). Авторъ ея—Д. П. Руничъ, бывшій потомъ попечителемъ петербургскаго университета. См. Письма къ нему Лопухина (Рус. Архивъ 1870 г.).

³) Кратк. Церков. Рос. Исторія изд. 1805 г. ч. 1, стр. 127 (С. В. 1806, іюнь, стр. 280).

. . . . ты видишь не мечту,
Но обнаженную натуры красоту,
Въ мракѣ тлѣнности сокрытую глубокомъ...

Являетъ вся страна, какъ въ зеркалѣ, сія
Всѣхъ созданныхъ вещей ликъ *пакибытія.*
Дабы передъ тобой дѣла свои прославить,
Творецъ духовный міръ хотѣлъ тебѣ представить,
Какимъ онъ прежде былъ и долженъ быть каковъ,
Когда отъ тлѣнности изыдетъ изъ оковъ....

Сіе отъ тлѣнности въ нетлѣнность прехожденье
Не можетъ *звѣздное* постигнуть *разсужденье.*

Подъ словомъ «пакибытіе» Херасковъ разумѣетъ преображеніе природы, достиженіе ею того блаженства, котораго она ждетъ и о которомъ воздыхаетъ, какъ мы видѣли, излагая теософическія воззрѣнія мистиковъ. Преображеніе это, по словамъ Дю-Туа, наступитъ по исполненіи числа избранныхъ: «Тогда благороднѣйшія начала, кои нынѣ матерія скрываетъ, освободясь, содѣлаютъ шаръ нашъ прославленнымъ и обратятъ его въ матерію сіяющую. Въ натурѣ все имѣетъ свои подобія и образы; равнымъ образомъ и сказанное мною здѣсь прообразуется драгоцѣнными каменьями, находимыми въ нѣдрахъ земли. Святый градъ, Новый Іерусалимъ (Апокалипсисъ) будетъ столько же, или еще и болѣе, блистать, говоря просто о физическомъ прославленіи, а не разумѣя здѣсь о сіяніи свѣта и любви духовъ, кои въ немъ обитать будутъ» [1].

Преображенные предметы природы являются у Хераскова въ такомъ видѣ при описаніи имъ жилища Идолемова:

Тогда широкія представили дороги
Межъ пальмовыхъ древесъ кристальные чертоги;
Тамъ своды радужный живый имѣли цвѣтъ,
Отъ стѣнъ происходилъ неизреченный свѣтъ.
Непостижимое и дивное явленье
Изъ удивленія ввергало въ удивленье.
Князь видитъ предъ собой подобное звѣздамъ
Сіянье чистое кремнистыхъ камней тамъ;
Тамъ солнечны лучи, во златѣ заключенны,
Блистаютъ, изъ цѣпей тѣлесныхъ извлеченны;
Освобожденная душа сребра видна
Сіяющая тамъ, какъ свѣтлая луна;
Металлы, получивъ изъ плѣна ихъ свободу,
Изображаютъ тамъ кристальну воду;
Всѣ вещи видимы душевныхъ для очей
Во первобытности существенно своей,
Какими созданы онѣ въ духовномъ мірѣ
Невидимыхъ небесъ въ сіяющей порфирѣ.

[1]) Бож. Философія, т. I, выноска на стр. 34—37.

Если природа приметъ нѣкогда просвѣтленный видъ, то и тѣлу человѣческому доступно такое же прославленіе не только по общемъ воскресеніи мертвыхъ въ день страшнаго суда, но еще и въ земной жизни, по духовномъ возрожденіи. Статья Сіонскаго Вѣстника: «Дружеская бесѣда въ день преображенія Господня» (¹) развиваетъ это положеніе мистики такимъ образомъ: Ѳаворское явленіе относилось до прославленія тѣла, которое слѣдуетъ за возрожденіемъ и которое также необходимо человѣку по слову Апостола: всесовершенъ вашъ духъ и душа и тѣло непорочно въ пришествіе Господа нашего Іисуса Христа да сохранится (1 Ѳессал. V, 23).... Имъ (преображеніемъ) показано, какую тѣлесность можетъ имѣть сынъ человѣческій *прославленный*, нося оную еще въ смертномъ тѣлѣ своемъ, ибо послѣ видѣнія сего Спаситель снова являлся ученикамъ въ тѣлѣ обыкновенномъ, которое и смерти подвержено было, но силою внутренняго просіянія, или прославленія, по трехъ дняхъ, превратилось въ таковое, которое могло являться *дверемъ затвореннымъ* и сокрываться *зрящимъ имъ* (ученикамъ) и быть при всемъ томъ истиннымъ тѣломъ, ибо и снѣдное вкушать и осязаемо быть могло. Къ такому преображенію зовутся всѣ сыны человѣческіе, ибо «подобаетъ тлѣнному сему облещися въ нетлѣніе и смертному сему облещися въ безсмертіе». Св. Іоаннъ говоритъ: «нынѣ чада Божія есмы, и не у явися, что будетъ» (Іоан. III, 2). Павелъ же пополняетъ: «преобразитъ тѣло смиренія нашего, яко быти сему сообразну тѣлу славы Его, по дѣйству, еже возмогати Ему и покорити себѣ всяческая (Филип. III, 21), и открываетъ великую тайну, что мы не всѣ умремъ, но всѣ преобразимся, вдругъ, въ мгновеніе ока, при послѣдней трубѣ: вострубитъ бо, и мертвіи востанутъ нетлѣнни и мы измѣнимся (1 Кор. XV, 52). Возможность сего измѣненія и въ здѣшней жизни представлена въ самомъ Св. писаніи въ житіи Эноха и Иліи пророка.

По той же мысли, Херасковъ описывалъ новыя, преображенныя тѣла Законеста и Версоны. Князь Владиміръ увидѣлъ ихъ въ славѣ:

Колико видъ ихъ былъ теперь преображенъ!
Краснѣйшій изъ мужей, краснѣйшая изъ женъ
Прельщали нѣкогда какъ масличныя лозы,
Теперь являются какъ полны цвѣтомъ розы;
Эдемскіе вѣнцы, сплетенны изъ лилей,
Сіяли у него и на челѣ у ней.
Князь видитъ лица ихъ, глаголы оныхъ внемлетъ,
Стремится ихъ обнять, но тѣнь одну объемлетъ.

---

¹) 1806, августъ.

Князь почелъ ихъ за призраки, или подозрѣвалъ хитрость, но Идолемъ выводитъ его изъ заблужденія:

О князь! царю вѣщалъ, тѣла ихъ очищенны;
Сіянье видишь ты, прозрачность видишь ихъ;
Въ небесну плоть прешли невѣста и женихъ.
Не мысли, что сіе видѣнье чародѣйство:
Коварство чуждо намъ и чуждо намъ злодѣйство;
Но вѣдай, что таковъ былъ первый человѣкъ,
Доколь мірскія тьмы ко свѣту не привлекъ.

Что такое «звѣздное разсужденье», которое, по словамъ Идолема, не можетъ понять перехода отъ тлѣнности въ нетлѣнность?

Мистики различаютъ, по отношенію къ человѣку, три рода духа или свѣта: стихійный, звѣздный и чистый, или божественный, свѣтъ Духа Святаго (¹). Божественный былъ присущъ душѣ Адама во время его райскаго блаженства, и онъ долженъ быть воспринятъ каждымъ возрожденнымъ человѣкомъ, по словамъ апостола Павла: «преобразуйтеся обновленіемъ ума вашего» (Римл. XII, 2); естественный же, просто разумный, но не преображенный человѣкъ его не имѣетъ. Второй свѣтъ—свѣтъ разума остался въ Адамѣ и по его паденіи переданъ отъ него всему потомству. Смотря потому, примѣшивается ли къ нему дѣйствіе чувствъ или не примѣшивается, онъ представляетъ два вида. Дѣйствуя какъ здравый смыслъ человѣка, т. е. пріобрѣтая мысли подъ вліяніемъ внѣшнихъ впечатлѣній, воспринимаемыхъ нашими чувствами, онъ есть «духъ стихійный»; тотъ же умъ, дѣйствуя независимо отъ чувствъ и внѣшнихъ предметовъ, есть свѣтъ или «духъ звѣздный», названный такъ по своему сходству съ свѣтомъ, освѣщающимъ звѣзды и дѣлающимъ ихъ блистательными. Этому звѣздному духу дано знать многое, но не дано вѣдать тайны Божіи, къ какимъ относится и переходъ отъ тлѣнности въ нетлѣнность. Такое вѣдѣніе принадлежитъ только духу божественному (²).

Въ 8-ой пѣснѣ монахъ Киръ объясняетъ Владиміру христіанское вѣроученіе:

Истолковалъ царю преданій смыслъ буквальный,
Потомъ открылъ и свѣтъ и духъ во буквахъ дальный,

т. е. направилъ свое истолкованіе къ тому, чтобы въ книгахъ Св.

---

¹) Гамалея принимаетъ три духа: стихійный, звѣздный (разумичный) и христіанскій (Письма, кн. 1, стр. 158; кн. 2, стр. 71).

²) Бож. фил. Дю-Туа, т. I, глава 1 и особенно гл. 3 (о происхожденіи разума и о звѣздномъ духѣ).

писанія раскрыть смыслъ мистическій, указывающій путь возсоединенія души съ Богомъ.

Въ *срединѣ всѣхъ вѣковъ* родился Божій Сынъ.
Весь міръ Всевышняго угодно было Сыну
Возставить—всѣхъ вещей *чрезъ сердце и средину*.

«Средина временъ или вѣковъ» значитъ время Рождества Христова, до котораго, по принятому мистиками лѣтосчисленію, прошло отъ сотворенія міра около 4000 лѣтъ ([1]). Процессъ возрожденія человѣка, говорятъ они, начатый съ перваго дня субботняго, дѣлится такимъ образомъ на два періода: до появленія Спасителя и послѣ Его смерти. Но смертію Богочеловѣка онъ не кончился; божественное сѣмя Слова вѣчныя жизни сообщается избранному стаду церкви до тѣхъ поръ, пока Сынъ Божій пріидетъ со славою во своя и съ избранными воцарится на тысячу лѣтъ ([2]). Главнѣйшія эпохи міра, по счисленію мистиковъ, оканчивались именно тысящелѣтіями: первая тысяча кончилась божественною жизнію Эноха, вторая—рожденіемъ Авраама, третья—построеніемъ Іерусалимскаго храма, четвертая—пришествіемъ Богочеловѣка. Еслибъ мы имѣли достовѣрную исторію внутренней Церкви Божіей, говоритъ Лабзинъ, то чрезъ 1000 лѣтъ по Р. X., можетъ быть, открыли бы новый свѣтъ. Онъ же замѣчаетъ, что каждые два великіе дня міра, или 2000 лѣтъ, составляли весьма важный періодъ. Въ первыя двѣ тысячи Церковь Господня не имѣла никакого наружнаго учрежденія: каждый отецъ былъ царемъ и священникомъ своего семейства. Во вторыя двѣ тысячи Богъ устроилъ наружное церковное правленіе, или теократію, которая по времени соединялась съ монархическимъ правленіемъ. Въ третьи двѣ тысячи Христосъ основалъ духовное свое царство, находящееся съ царствомъ тьмы въ непрестанной брани, которая въ концѣ сего времени взойдетъ на высочайшую степень и кончится славною побѣдою Господа. Тогда начнется мирное царство Его или великая суббота, продолжающаяся во все седьмое тысящелѣтіе ([3]).

«Сердцемъ и срединою» вещей Херасковъ назвалъ человѣка въ слѣдующихъ стихахъ той же пѣсни:

Изъ міра цѣлаго Всевышнимъ сокращенный,
Онъ самъ во существѣ міръ малый, совершенный;
Онъ *точка средняя*, онъ *сердце* всей природы:
Въ немъ воздухъ и земля, въ немъ скрыты огнь и воды.

---

[1]) Такъ говоритъ Штиллингъ въ Побѣдной повѣсти на стр. 371.

[2]) Мысли на досугѣ поучающагося истинамъ вѣры.

[3]) Розысканіе двухъ мнимыхъ противорѣчій въ библейскомъ лѣтосчисленіи (С. В. 1806, іюнь). Въ концѣ этой статьи Лабзинъ, прочитавъ «Побѣдную повѣсть», намекаетъ, что великая суббота наступитъ между 1806 и 1836 г.

Въ 13-й пѣснѣ, при описаніи чертоговъ суесвятства, Херасковъ относилъ къ суесвятамъ не однихъ свѣтскихъ внѣшнихъ христіанъ, но и духовныхъ особъ, смотрѣвшихъ на религію другими глазами, чѣмъ мистики, постоянно ратовавшіе противъ обрядовъ, полемической теологіи, приверженности къ буквальному смыслу Св. писанія, идеи о Богѣ, какъ неизмѣримо отдаленномъ отъ человѣка и потому грозномъ существѣ:

Евангеліе тамъ, сіе небесъ зерцало,
Имѣетъ на себѣ густое покрывало;
Людскія пренія, какъ будто нѣкій дымъ,
И толки ложные спираются надъ нимъ;
Тамъ видимы во тьмѣ житейскія прохлады,
Завѣсой служатъ имъ единые обряды;
Тамъ груды видимы и вервей, и веригъ,
Тамъ тучи праздныхъ словъ, тамъ горы темныхъ книгъ;
И подавило бы вселенну оныхъ бремя,
Когда бы книгъ такихъ не поядало время;
Орудій смертныхъ весь исполненъ сей чертогъ,
И самъ представленъ тамъ немилосердымъ Богъ.

Наконецъ, въ послѣдней (16-ой) пѣснѣ предлагается Владиміру крещенье. Киръ говоритъ ему:

Ты здѣсь..., Владиміръ, просвѣтишься,
Очистишь темну плоть, воскреснешь, *возродишься*,

и затѣмъ изображается самое возрожденіе «духовной водой», какъ сказано въ поэмѣ:

Водою омовенъ святою въ первый разъ,
Почувствовалъ кору отпадшею отъ глазъ;
Отцова имени при первомъ возглашеньѣ,
Возчувствовалъ души Владиміръ просвѣщенье;
Въ святыя нѣдра водъ вторично погруженъ,
Съ превѣчнымъ Сыномъ сталъ духовно сопряженъ;
Но въ третій разъ водой святою омовенный,
Восприялъ Духъ Святый сей мужъ благословенный:
Живый небесный огнь всю плоть его протекъ,
И новый сталъ теперь Владиміръ человѣкъ.
Сей огнь есть Божіе животворяще Слово,
Дающе душу намъ, дающе сердце ново;
Восприялъ Агнчью кровь, восприялъ Агнчью плоть,
Тогда облекъ его сіяніемъ Господь.
Броней смиренія покрытый, правды шлемомъ,
Преображенный царь сталъ новымъ Виѳлеемомъ;
Пречистой Дѣвою Мессія въ немъ рожденъ,
И въ яслехъ ребръ его увитъ и положенъ.

Это—«рожденіе Слово въ душѣ человѣка», иначе: «Христосъ въ насъ».

Лирическія піесы религіознаго содержанія помѣщались нерѣдко въ журналахъ Новикова, Невзорова и Лабзина; но они такъ ничтожны, что не стоитъ и говорить о нихъ. Нельзя также отнестись съ похвалою къ длинному стихотворенію Державина «Христосъ» (1814). Правда, оно выражаетъ нѣсколько мыслей, входящихъ въ мистическое ученіе, но въ цѣломъ вовсе не есть результатъ какого-либо разсудливаго усвоенія системы. Читая его, соглашаешься съ авторомъ, что онъ, какъ піитъ, въ иныхъ мѣстахъ писалъ «загадочно, подразумѣваемо, кратко», а въ иныхъ «съ нѣкоторою свободою или вольностію». Строгія замѣчанія духовной цензуры на это стихотвореніе касались не мистическихъ воззрѣній, какъ видно изъ объясненій Державина. По значенію поэтическому оно несравненно ниже оды «Богъ».

Въ свое время обращали на себя вниманіе духовныя стихотворенія Ѳ. Глинки (¹). Между ними замѣтимъ «Исканіе Бога» и «Жизнь анахоретовъ». Первое служитъ распространеніемъ Господнихъ словесъ пророку Иліи въ пещерѣ горы Хоривъ (²). Пророкъ не обрѣлъ Господа ни въ бурѣ, ни въ землетрясеніи, ни въ огнѣ: онъ обрѣлъ его въ тишинѣ (собственно въ вѣяньи вѣтерка—«въ дусѣ хлада тонка»).

И въ слѣдъ за бурей—тишина;
Душа предчувствіемъ полна:
Какъ молодой зари мерцанье,
Въ дыму серебряномъ горитъ
Святое алое сіянье.
На тайный зовъ душа летитъ
И дышитъ жизнью неземною....
Все стало сладкой тишиною,
И я вдали, какъ въ дивномъ снѣ,
Услышалъ Бога *въ тишинѣ*.

Мистики любили пользоваться этимъ мѣстомъ изъ ветхозавѣтной книги, для указанія, что во время дѣйствія Духа Божія надлежитъ воздерживаться отъ всего могущаго помѣшать происходящей въ душѣ работѣ, особливо должно оставаться *въ тишинѣ* и молчаніи, обращая умъ свой къ Богу; ибо самъ Богъ есть неизреченное, святое и вѣчное молчаніе Духа (³). Они разсуждаютъ такъ: «Откровеніе въ духовномъ мірѣ есть цѣль, для которой

¹) Духовныя стихотворенія, т. I (1869). Здѣсь помѣщены Опыты священной поэзіи (1826) и другія стихотворенія того же рода, написанныя съ 1815 г. до послѣдняго времени.

²) III Книга царствъ, гл. XIX, ст. 11—13.

³) Письмо христіанки о трехъ молчаніяхъ (С. В. 1817, августъ).

Христосъ нисходилъ на землю; а откровеніе во внѣшнемъ есть только путь къ сей цѣли. Въ огненной купинѣ, или въ огненномъ столпѣ, является Онъ только тогда, когда не можетъ непосредственно явиться самой душѣ во свѣтѣ; а когда она можетъ ощутить Его *въ вѣяніи вѣтерка*, тогда Онъ даетъ себя почувствовать въ вѣяніи Духа» (¹), т. е. вѣянье вѣтерка, или *духъ хлада тонка*, для мистиковъ есть символъ вхожденія Св. Духа въ душу.

Во второмъ стихотвореніи выражены чувства двухъ анахоретовъ, молодаго и стараго. Послѣднему уже открылось «незримое» и засвѣтилъ свѣтъ «иной». Онъ даетъ совѣты своему товарищу, еще новичку въ аскетизмѣ, еще не твердому въ молитвахъ и не испившему изъ кладязя созерцаній:

.... чаще ты уединяйся
И, погрузясь *въ себѣ самомъ*,
Жмись, молча, къ сердцу, умиляйся
И до *ничто* уничтожайся
Передъ Распятымъ и крестомъ!
Молись на *помыслы*—имъ скажутъ:
«Идите прочь»!
Съ очей душевныхъ *снимутъ* ночь,
И чувства всѣ твои развяжутъ,
И обновятъ и просвѣтятъ;
Приближатъ чашу *возрожденья*,
И непонятныя видѣнья
Кругомъ счастливца закипятъ!

Подобныя представленія, видимо, навѣяны чтеніемъ подвижническихъ книгъ. Впрочемъ и одна такая книга, какъ «Добротолюбіе», могла дать автору обильный источникъ для изображенія внутренней жизни аскетовъ-созерцателей.

Описательное стихотвореніе того же автора: «Карелія или заточеніе Мароы Іоанновны Романовой» выводитъ на сцену монаха и передаетъ его лирическія рѣчи. Этотъ монахъ, родомъ грекъ, жилъ прежде въ Смирнѣ, полюбилъ турчанку, которая приняла христіанство, за что и была убита отцемъ. Послѣ долгаго темничнаго заключенія, онъ странствовалъ въ разныхъ мѣстахъ. Въ Германіи проводилъ онъ время въ обществѣ алхимиковъ, но потомъ, внявъ велѣнію Богородицы идти на сѣверъ, пришелъ въ Карельскія пустыни и жилъ то въ лѣсахъ, то на скалахъ. Онъ посѣщаетъ Мароу, бесѣдуетъ съ ней и въ послѣднемъ съ нею свиданіи предрекаетъ будущее величіе царскаго рода Романовыхъ, и въ особенности побѣду Александра I надъ Аполліономъ (Напо-

¹) Духъ и Истина (С. В. 1817, май и декабрь).

леономъ), побѣду одержанную смиреніемъ. Отрывки изъ рѣчей карельскаго отшельника-тайнозрителя, путемъ созерцанія взошедшаго на высшія ступени духовности, наполняютъ четвертую часть описательной поэмы.

Было бы всего естественнѣе и умѣстнѣе мистикѣ найти себѣ выраженіе въ проповѣдномъ словѣ, какъ по существу своему, такъ и по тому обстоятельству, указанному свидѣтельствами, что она сочувственно воспринималась не малымъ числомъ духовныхъ особъ (¹). Разумѣется, это вліяніе оказалось бы безъ примѣси нечистаго мистицизма, а состояло бы въ ясномъ согласіи съ духомъ истинной церкви. Или лучше: проповѣдь нашихъ пастырей, и сама собою, независимо отъ современнаго движенія, имѣла полную возможность раскрывать мистическіе элементы христіанскаго ученія. Примѣромъ тому служатъ нѣкоторыя слова и бесѣды московскаго митрополита Филарета, содержаніе которыхъ относится къ возрожденію человѣка, соединенію его съ Богомъ. Я останавливаюсь на первомъ періодѣ его проповѣдничества (до 1820 г.) и привожу выписки по отдѣльнымъ изданіямъ его словъ, выходившимъ въ свѣтъ вскорѣ по ихъ произнесеніи (²).

«Слово на Рождество Христово» (1811) замѣчательно изображеніемъ самоуничтоженія, необходимаго человѣку для устройства внутри себя храма Божія. Нищета, какъ путь къ высочайшему благу, была постояннымъ требованіемъ мистиковъ. «Боже, да буду я ничто! и все, что не Ты, да истребится во мнѣ»! вотъ молитва, воплощающая въ насъ Слово» (³). «Человѣкъ тогда только сносенъ, когда онъ въ безсиліи», говоритъ Сперанскій: «сила или исканіе силы въ началѣ его погубило и губитъ въ послѣдствіи; въ безсиліи онъ соединяется съ Богомъ, въ силѣ воюетъ противъ Него» (⁴). Филаретъ ставитъ смиреніе Іисуса въ образецъ христіанину, желающему быть сообразнымъ образу Іисуса:

---

¹) Письмо архіепископа ярославскаго Симеона къ преосвященному Парѳенію, отъ 4 іюня 1823 г. (Православное Обозрѣніе, 1872, августъ). Архимандритъ Фотій выражалъ сильное неудовольствіе на равнодушіе Іоны Павинскаго, архіепископа казанскаго, обнаруженное при толкахъ мистиковъ о видимой церкви (Обзоръ рус. духов. литературы, кн. II, стр. 160). Станевичъ жаловался, что мистики находятся въ столицахъ, городахъ и селахъ, и что приверженцевъ ея очень много и въ свѣтскомъ, и въ духовномъ сословіи (Бесѣда на гробѣ младенца).

²) По экземплярамъ И. П. Библіотеки. Нѣкоторыя цитируемыя мною слова не вошли въ три изданія словъ и рѣчей Филарета, напечатанныя при его жизни (1844, 1848 и 1861), такъ какъ онъ при выборѣ былъ «особенно осмотрителенъ, строгъ и точенъ»; они перепечатаны въ 1-мъ томѣ изданія 1873 г.

³) С. В. 1817, декабрь (Союзъ Бога съ человѣкомъ).

⁴) Разные статьи и отрывки изъ сочиненій (Въ память Сперанскаго, стр. 819).

Нѣтъ высшей мудрости, какъ отречься отъ мудрости для Іисуса; нѣтъ большей славы, какъ раздѣлять безчестіе съ Іисусомъ; нѣтъ избыточнѣйшаго состоянія, какъ нищета Іисуса; нѣтъ совершеннѣйшаго возраста, какъ младенчество Іисуса; нѣтъ лучшаго украшенія для души, какъ видѣть себя чужду всѣхъ украшеній, подобно яслямъ Его. Токъ благодати, подобно рѣчнымъ устремленіямъ, изливается въ долы: кедры на горахъ блюдутся громамъ и молніямъ. Богъ творитъ изъ ничего: доколѣ мы хотимъ и думаемъ быть чѣмъ-нибудь, дотолѣ Онъ въ насъ не начинаетъ своего дѣла. Смиреніе и отверженіе себя есть основаніе въ насъ храма Его: кто болѣе углубляетъ оное, тотъ выше и безопаснѣе созиждетъ».

Другой примѣръ душа, стремящаяся къ соединенію съ Богомъ, должна видѣть въ совершенствѣ Богоматери, въ ея чистотѣ:

Кто далъ намъ сердце, не довольствуется большею или меньшею его долею: оно все должно принадлежать Владыкѣ всяческихъ. Онъ отвергаетъ всякую любовь, которая не основывается на любви къ Нему; всякое наслажденіе, въ которомъ ищемъ себя, есть огорченіе для Него; всякая мысль, наклонная къ тварямъ — измѣна Ему; всякая разсѣянность — удаленіе отъ Него. Строгая токмо надъ собою бдительность можетъ возвести къ блаженному съ Нимъ соединенію и удержать въ немъ. Небесный Женихъ обручается съ мудрыми токмо и непорочными дѣвами; дѣвственная, къ единому Богу обращенная душа зачинаетъ духовную жизнь и раждаетъ блаженство чистаго созерцанія. *Блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ*—и гдѣ? въ самомъ сердцѣ своемъ.

Въ заключеніи дается совѣтъ христіанамъ: «поспѣшимъ проходить примрачный путь вѣры, дабы свѣтъ суднаго дня не ослѣпилъ насъ» ([1]). Оно указываетъ на тотъ сумракъ вѣры, таинственный мракъ, который, какъ мы видѣли, часто служилъ темою мистическихъ сочиненій.

«Слово на третій день праздника Рождества Христова» (1812), сказавъ, что Богъ хочетъ во всѣхъ насъ явити Сына Своего (Гал. I, 16) посредствомъ благодатнаго рожденія, спрашиваетъ: какое знаменіе удостовѣряетъ насъ въ истинѣ нашего возрожденія? Рѣшеніе вопроса и составляетъ содержаніе слова.

Два пути ведутъ къ рождающемуся Христу: путь волхвовъ и путь пастырей. Первый есть путь свѣта и вѣдѣнія; второй—путь сѣни и тайны, путь вѣры. Тотъ и продолжительнѣе, и труднѣе, и опаснѣе; этотъ вѣрно достигаетъ цѣли. Нѣтъ иныхъ восхожденій къ Богу, кромѣ степеней, по которымъ Сынъ Божій нисходитъ къ человѣку: во внѣшнемъ знаменіи родившагося Спасителя заключено внутреннее знаменіе спасительнаго возрожденія. Этихъ восходящихъ степеней три: смиреніе, умерщвленіе и непостижимое истощаніе, знаменуемыя младенчествомъ, пеленами и яслями Бого-

---

[1]) Этихъ словъ нѣтъ и въ изданіи 1878 г.

человѣка. Послѣдняя степень есть наивысшая: «пусть человѣкъ теряетъ весь міръ, теряетъ себя самого въ безпредѣльной глубинѣ своего ничтожества: сія безпредѣльность есть предѣлъ сообщенія съ безпредѣльнымъ Божествомъ. Пусть, по изреченію псалмопѣвца, исчезаетъ душа его: она исчезаетъ во спасеніе» (Пс. CXVIII, 81).

«Слово на освященіе храма въ домѣ князя А. Н. Голицына» (1812) представляетъ освященіе нашего храма невидимаго въ обрядахъ освященія храма видимаго. Три предмета: очищеніе, украшеніе и посѣщеніе составляютъ всю тайну и всю славу храма внутренняго. Очищеніе есть отложеніе всего, что свойственно растлѣнному человѣческому естеству. Украшеніемъ долженъ быть образъ Божій, явленный въ воплотившемся Сынѣ Божіемъ: *да вообразится въ насъ Христосъ* (Гал. IV, 19). По украшеніи, въ духѣ человѣческомъ уже готовъ престолъ Богу, а престолъ Вездѣсущаго не можетъ быть празденъ: Господь не умедлитъ посѣтить домъ, коего единъ Онъ есть зиждитель и краеугольный камень, украситель и украшеніе.

Бесѣда на текстъ: «Коль возлюбленна селенія твоя, Господи силъ» (Пс. LXXXIII, 2) (1814), объясняетъ, до чего и какъ могутъ достигать стремящіеся къ соединенію съ Богомъ.

Блажени живущіе въ дому Твоемъ. Домъ Божій есть присутствіе Божіе. Кто живо и дѣятельно начинаетъ ощущать сіе святое и освящающее присутствіе и молитвенно къ нему обращаться: тотъ входитъ въ домъ Божій. Кто пребываетъ въ семъ ощущеніи постоянно и неуклонно, или, по древнему слову Писанія, ходитъ предъ Богомъ (Быт. XVII, 1): тотъ живетъ въ домѣ Божіемъ. Чѣмъ дѣйствительнѣе и плодотворнѣе ощущеніе присутствія Божія: тѣмъ внутреннѣе и совершеннѣе пребываніе въ дому Божіемъ.

Указавъ путь или лѣствицу духовнаго дома Божія и исчисливъ преимущества или блага жительства въ немъ, проповѣдникъ прибавляетъ:

Не думайте, что сіи блага совершенно заключены и запечатлѣны въ единомъ небѣ: нѣкоею частію онѣ и на земли сокрыты въ дому Божіемъ — въ непрестанномъ сердечномъ обращеніи къ Богу и всецѣломъ приближеніи къ нему человѣка вѣрою и любовію. Нѣкто изъ присныхъ Божіихъ испыталъ на земли такое восхищеніе, котораго, повидимому, небеса не вмѣщаютъ. *Что ми есть на небеси?* — взываетъ онъ къ Богу — *и отъ Тебе что восхотѣхъ на земли?* (Пс. LXX, 25). Не землею только пренебрегаетъ: *что восхотѣхъ на земли?*—самое небо не привлекаетъ его: *что ми есть на небеси?* Чѣмъ же толико исполненъ и удовленъ ты, друже Божій?—Мое сердце, говоритъ онъ, обрѣло и навѣки стяжало Бога своего: *Боже сердца моего, и часть моя Боже во вѣкъ* (Пс. LXXII, 26).

И такъ соединенный съ Богомъ можетъ ощущать еще на землѣ не только такія блага, наслажденіе которыми предоставлено въ

небѣ, но даже и такія, которыхъ, повидимому, самыя небеса не вмѣщаютъ.

Мы указали тѣ мѣста въ проповѣдяхъ Филарета, которыя говорятъ о соединеніи человѣка съ Богомъ. Этотъ предметъ былъ постоянною темою мистиковъ. На возрожденіе смотрѣли они не только какъ на единственную сущность христіанскаго ученія, но и какъ на единственное таинство, являемое внутреннимъ и внѣшнимъ откровеніемъ, познаніемъ природы и самопознаніемъ. Нѣкоторые изъ нихъ или вовсе отвергаютъ таинства церкви, подобно квакерамъ, видящимъ въ нихъ только символы—изображеніе невидимаго видимымъ образомъ (1), или, признавая ихъ, даютъ имъ второстепенное значеніе, почитаютъ ихъ слишкомъ простыми, объективными. Нисколько не отрицая внѣшнихъ чудесъ, напротивъ, вѣруя въ ихъ возможность и существованіе во всякое время, мистикъ, однакожъ, убѣжденъ, что всѣ эти чудеса—ничто въ сравненіи съ непостижимыми дѣйствіями Господа во внутреннемъ человѣкѣ: «Духъ человѣческій есть собственно храмъ Его чудесъ; здѣсь преимущественно открывается Онъ во всемъ своемъ величіи. Самомалѣйшее дѣйствіе Его во внутреннемъ есть болѣе самаго величайшаго чуда во внѣшнемъ мірѣ... А изъ внутреннихъ чудесъ наивеличайшее, все великое превосходящее, есть *возрожденіе*, производимое таинственно Духомъ Святымъ въ душѣ, ему предавшейся. Оно такъ велико, что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, самые ангелы какъбы завидуютъ падшему, но чрезъ Спасителя искупленному и возрожденному человѣку; потому что пріобрѣтеніе его несравненно превышаетъ его потерю (2).

Изъ нѣсколькихъ словъ митрополита Филарета въ великій пятокъ самое замѣчательное, по моему мнѣнію, сказано въ 1813 г. Въ одной его части, изображающей тяжесть креста, понесеннаго Спасителемъ (3), я вижу сходство съ 14-ой главой книги «Таинство креста»: *о уничижительномъ крестѣ Христовомъ* (4), и съ отдѣломъ бесѣды Дю-Туа въ великій четвертокъ: «душа Іисуса подав-

---

(1) Крещеніе—образъ таинственнаго очищенія душъ, тайная вечеря—божественнаго наслажденія душъ (Покоящійся трудолюбецъ, 1784—85, ч. 3, ст. о квакерахъ).

(2) Духъ и истина (С. В. 1817, декабрь).

(3) Отъ словъ: «Кто измѣритъ всемірный сей крестъ, понесенный начальникомъ нашего спасенія»... до словъ: «долго носилъ Іисусъ крестъ свой»... (Сочиненія Филарета, 1873, т. I, стр. 33—35).

(4) Книга эта, какъ мы видѣли, два раза переведена на рус. языкъ (1784 и 1814). Митрополитъ могъ читать и подлинникъ: Le mystère de la croix de Jesus Christ.

ляется бременемъ креста» (1). Но разница въ томъ, что подражаніе, по краткости и силѣ, по художественному строю, по достоинству языка и представленія вышло образцовымъ ораторскимъ изложеніемъ, далеко оставившимъ за собою подлинники—растянутые, малоустроенные и многословные (2). Въ самомъ заключеніи сло-

---

1) (Христ. философія, ч. 2, стр. 148—155). У Филарета отъ словъ: «долго носилъ Іисусъ крестъ свой» до словъ: «она была прискорбна даже до смерти» (Сочиненія, изд. 1873, стр. 35—37).

2) Чтобы мое предположеніе не показалось голословнымъ, представляю сличеніе сходныхъ мѣстъ въ первомъ подражаніи:

Таинство креста (*1814*), *гл. XIV*, *§§ 3—9*, *стр. 261—271.*	*Сочиненія Филарета* (*1873*), *т. I*, *стр. 33—35.*
Онъ (I. X.) принимаетъ поздравленія, но отъ бѣдныхъ пастуховъ стадъ.	Кромѣ убогихъ родителей, едва нѣсколько пастырей занимаются Его рожденіемъ.
Едва онъ родился, чрезъ восемь дней начинаетъ уже проливать кровь Свою обрѣзаніемъ.	Исчисляютъ Безначальному осмь дней новаго бытія—и порабощаютъ Его кровавому закону обрѣзанія.
За симъ вскорѣ приносится матерью своею во храмъ, которая платитъ выкупъ за Искупителя, какъ платили бѣднѣйшіе родители за первенцевъ своихъ.	Господь храма приносится во храмъ поставити Его предъ Господомъ, и пришедый искупить міръ искупляется двумя птенцами.
Безначальный и безконечный, вѣчно ветхій и вѣчно новый, первый и послѣдній во вся вѣки—растетъ по годамъ.... Вѣчная премудрость растетъ въ разумѣ.	Всеобъемлющая премудрость Божія не иначе какъ съ возрастомъ преспѣваетъ мудростію у Бога и человѣковъ.
Источникъ и родникъ всякія благодати растетъ во благодати.	Источникъ и податель благодати пріемлетъ благодать.
Въ теченіи тридцати трехъ-лѣтней Его жизни на земли долженствовалъ повиноваться и покоряться твари своей.	Тридесять лѣтъ Владыка небесъ и Царь славы сокрывается отъ неба и земли въ глубокомъ повиновеніи двумъ смертнымъ, которыхъ удостоилъ нарещи своими родителями.
30-ти лѣтъ Іисусъ крестился у Іоанна въ рѣкѣ Іорданѣ, т. е. въ рѣкѣ *текущей внизъ*, означая тѣмъ, что таинство уничижительнаго креста вездѣ находитъ себѣ мѣсто. Истинно рѣка та есть рѣка нисхожденія и уничиженія.	Святый Божій, грядущій освятить человѣковъ, вмѣстѣ съ ищущими очищенія грѣшниками, преклоняется подъ руку человѣка и пріемлетъ крещеніе: воистину крещеніе, слушатели, то есть погруженіе не столько въ водахъ, сколько въ обиліи креста.
Если бы сатана зналъ, что I. X. есть тотъ хлѣбъ живота, сшедый съ небеси, дающій жизнь міру.... Онъ требуетъ поклоненія и отъ кого? Отъ I. X., коему сами ангелы поклоняются.	Испытующій сердца и утробы поставляется въ искушеніи. Хлѣбъ небесный предается земной алчбѣ. Тотъ, предъ которымъ должно преклоняться всякое колѣно небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ, допускаетъ князя преисподнихъ требовать отъ себя поклоненія.
Ученіе Его называютъ лестію, пророческій Его духъ обманомъ, чудеса обольщеніемъ и приписываютъ ихъ дѣйствію Веельзевула.	Его ученіе почитаютъ богохульнымъ, Его дѣла беззаконными, Его чудеса Веельзевуловыми.
То (почитаютъ Его) ядцею и другомъ мытарямъ и грѣшникамъ.	Если обращаетъ заблуждшихъ и пріемлетъ кающихся, Его порицаютъ другомъ грѣшниковъ.
То имущимъ бѣса, за что хотятъ Его каменіемъ побить, то хотятъ свергнуть Его съ горы.	Здѣсь ведутъ его на верхъ горы, дабы низринуть; индѣ вземлютъ на Него каменіе.

ва[1], обнаруживается мистическій тонъ, хотя, съ другой стороны, оно можетъ быть толкуемо не какъ явленіе дѣйствительной силы креста, образуемаго человѣкомъ утопающимъ и птицей, возлетающей отъ земли на высоту, а просто какъ сравненіе, употребленное для ораторскихъ цѣлей. Такіе умы, какъ Филаретъ и Сперанскій, были неспособны преступать истинныя границы дѣйствій, происходящихъ въ разныхъ областяхъ. Впадать въ преувеличенія могли Дю-Туа, Дузтанъ, Лабзинъ, Лопухинъ.

Онъ не имѣетъ гдѣ главу приклонити.

Съ одной стороны хотятъ поставить Его царемъ, съ другой бьютъ Его, какъ подлѣйшаго раба.

Онъ избираетъ себѣ товарищей къ совершенію порученнаго Ему Отцемъ Его дѣла; но они всѣ люди грубые, невѣжды.... Онъ сноситъ ихъ грубость, невѣжество съ терпѣніемъ, кротостію и безпрерывнымъ смиреніемъ.

Но по крайней мѣрѣ истомленное сердце Іисусово успокоится ли хотя на нѣсколько мгновеній и отдохнетъ ли отъ своихъ крестовъ, приготовляясь къ великому, Его ожидающему?—Да, онъ идетъ съ тремя учениками на гору Ѳаворъ, гдѣ пріемлетъ отъ Отца своего прославленіе, простиравшееся даже на ризы Его.... Лице Іисусово сдѣлалось сіяющимъ подобно солнцу, а одежда блестящая какъ снѣгъ. Во время свидѣтельства о Немъ Отца, что Онъ есть сынъ Его возлюбленный, предметъ Его благоволенія, сердце Іисусово подвизалось и духъ Его занимался совсѣмъ другимъ предметомъ, нежели славою. Онъ бесѣдовалъ съ Моисеемъ и Иліею о предстоящихъ Ему крестахъ въ Іерусалимѣ. И такъ Ѳаворъ въ сердцѣ и духѣ Его предварительно былъ Голгоѳою. Дивное и странное чудо! посреди божественныхъ наслажденій Онъ бесѣдуетъ о своихъ страданіяхъ, посреди славы о жестокой смерти и мучительной казни, которую готовился Онъ претерпѣть.

Нигдѣ не даютъ Ему главы подклонити.

Народъ во вратахъ Іерусалима привѣтствуетъ Его царемъ, — всѣ земныя власти возстаютъ, дабы осудить Его, какъ преступника.

Въ избранномъ сонмѣ своихъ друговъ Онъ видитъ неблагодарнаго предателя и первое орудіе смерти своей; лучшіе изъ нихъ служатъ Ему соблазномъ, помышляя человѣческое въ то время, когда Онъ идетъ на дѣло Божіе.

Почіешь ли ты, Божественный крестоносецъ, хотя на едино мгновеніе отъ ига, непрестанно возрастающаго на раменахъ Твоихъ?.... Такъ, приближаясь къ Голгоѳѣ, ты почіешь на Ѳаворѣ. Гряди на сію гору славы; да просвѣтится лице Твое свѣтомъ небеснымъ; да убѣлятся ризы Твои; да пріидутъ законъ и пророки признать въ Тебѣ свое исполненіе; да услышится гласъ благословенія Отчаго! — Но не примѣчаете ли вы, слушатели, какъ крестъ слѣдуетъ за Іисусомъ на самый Ѳаворъ, и слово крестное не разлучается отъ слова прославленія? О чемъ тамо среди толикой славы бесѣдуютъ со Іисусомъ Моисей и Илія?—Они бесѣдуютъ о Его крестѣ и смерти. *Глаголаста же исходъ Его.*

---

[1]) О человѣкъ, влекомый благодатію Господа твоего на небо, но погрязающій плотію въ мірѣ! виждь образъ твой въ человѣкѣ, погружающемся въ водахъ и противоборствующемъ потопленію: онъ непрестанно возобновляетъ въ членахъ своихъ образъ креста и такимъ образомъ превозмогаетъ волны. Воззри на птицу, когда она желаетъ вознестися отъ земли: она простирается въ крестъ и возлетаетъ. Ищи и ты въ крестѣ изникнуть изъ міра и вознестися къ Богу.

Выше было замѣчено, что опасенія Карамзина, въ виду господства мистики и назначенія кн. Голицына министромъ просвѣщенія, были основательны и оправдались фактически. Какъ первыя мѣры министерства, такъ еще болѣе послѣдующія (съ 1820 г.) ясно показали, чего можно было ожидать отъ мистиковъ для народнаго образованія на всѣхъ его степеняхъ. Строгость цензуры, дѣйствія такихъ попечителей университетовъ, какъ Руничъ (петербургскаго), Магницкій (казанскаго) и Карнѣевъ (харьковскаго), намѣренно клонились къ тому, чтобы задержать развитіе литературы и стѣснить высшее научное образованіе, начертавъ ему такой путь, какому оно не могло слѣдовать, опредѣливъ ему такой характеръ, какого оно не могло имѣть, не отрекшись отъ своей истинной сущности, не потерявъ въ корень своего прямаго значенія и прямой цѣли. Лучшіе профессоры подвергались преслѣдованію; сочиненія образцовыхъ писателей не освобождалась отъ мелкихъ, придирчивыхъ, недостойныхъ замѣтокъ цензора. Отвѣтственность падаетъ не на мистику собственно: мистика здѣсь ни при чемъ; хотя она не допускаетъ познанія Бога путемъ разума, но она признаетъ за нимъ право и силу вѣдать другія области знанія. Вина лежитъ на тѣхъ ревнителяхъ мистики, которые или не понимали ея сущности, или отличались лицемѣріемъ. Первые не вѣдали что творили—и это облегчаетъ ихъ вину; вторые творили завѣдомо—и потому имъ нѣтъ оправданія.

Странное явленіе! Какъ не поняли наши мистики, что своими дѣйствіями относительно другихъ они впадали въ видимое противорѣчіе съ самими собою? Не довольствуясь обыкновенною вѣрой, которую они даже называли «вѣрованіемъ», и стремясь къ какой-то вѣрѣ высшей, они въ тоже время налагали запретъ на высшее знаніе. Добиваясь внутренняго свѣта, какъ источника сверхъестественныхъ откровеній, они готовы были гасить свѣтъ разума, этого естественнаго источника науки. Они устраивали особую, сокровенную, невидимую церковь, и тѣмъ отрѣшались отъ церкви видимой и общей, отъ ея преданій и постановленій, отъ ея дисциплины, а отрѣшеніе въ дѣлѣ научномъ отъ авторитета считали грѣхомъ и соблазномъ. Отвергая всякое посредничество между собою и Безконечнымъ, они хотѣли навязать посредничество между способностью познающей и предметами ея познаванія. Развѣ сфера религіи такого свойства, что въ ней преобразованія и нововведенія безопасны, тогда какъ въ сферѣ человѣческаго разума они грозятъ опасностью? Мистикъ принимаетъ не только къ свѣдѣнію, но и къ руководству опыты своей внутренней жизни, состоянія своего индивидуальнаго духа; они служатъ ему основой для

ученія, доводами въ пользу тѣхъ или другихъ догматовъ: по какой же причинѣ не должна имѣть мѣста пытливость умственная? Мистика допускаетъ свободу относительно религіознаго ученія; она исходитъ изъ индивидуальнаго чувства, которое можетъ быть и несогласно съ общимъ чувствомъ вѣрующихъ; *я* играетъ въ ней большую роль и хочетъ взять верхъ надъ *мы*; личное стремится къ господству надъ общимъ. Фенелонъ въ полемикѣ съ Боссюэтомъ по поводу квіетизма оттого и проигралъ свое дѣло, что стоялъ на почвѣ личнаго чувства, индивидуальнаго опыта, принципа свободы. Большинство оказалось не на его сторонѣ. Мистики наши должны были знать это; они воздавали дружныя похвалы автору Телемака: на какомъ же основаніи вопіяли они противъ свободы мысли, считая каждый шагъ ея впередъ гибельнымъ прогрессомъ? Они дѣйствовали въ своемъ кругу такъ же, какъ профессоры и литераторы въ своемъ. Какимъ образомъ они не узнали своихъ? За это невѣдѣніе, лицемѣрное или искреннее, судьба наказала ихъ тѣмъ самымъ, въ чемъ они провинились. Фотій, Аракчеевъ, Шишковъ поразили ихъ собственнымъ ихъ оружіемъ—обличеніемъ въ вольнодумствѣ. Если мистики видѣли въ ученыхъ книгахъ и лекціяхъ подкопъ подъ религію, антигосударственные замыслы, планы на пагубу Россіи, заразу русскаго юношества, то сами они отъ своихъ противниковъ подозрѣвались въ тѣхъ же самыхъ покушеніяхъ и получали названія протестантовъ, иллюминатовъ, еретиковъ, революціонеровъ, якобинцевъ. «Записка о крамолахъ враговъ Россіи», какъ бы въ насмѣшку, сопоставляетъ то, въ чемъ мистики думали видѣть противоположность: распространеніе мистическихъ книгъ, направленныхъ противъ вѣры, церкви, нравственности и правительства, и—рядомъ съ этимъ зломъ другое—преподаваніе зловреднаго ученія въ университетахъ и во всѣхъ высшихъ училищахъ [1]. Не ясно ли, что Немезида поразила виновныхъ не только гнѣвомъ, но и ироніей?

§ 25. Мы видѣли [2], что на первой ступени своего развитія наша литературная критика была по преимуществу стилистическая. Такою же оставалась она долго и въ періодъ Карамзинскій. Если въ предыдущемъ столѣтіи, начиная съ Ломоносова, встрѣчались уклоненія отъ общаго ея характера, то и въ первое двадцатилѣтіе нынѣшняго вѣка являлись статьи, возвышавшіяся надъ обыкновеннымъ критическимъ уровнемъ. Вотъ нѣсколько тому примѣровъ. Дашковъ, въ полемикѣ съ Шишковымъ, не довольствуется

---

[1]) Рус. Архивъ 1868, стр. 1386.

[2]) Ист. Русс. Слов. I.

ловлей грамматическихъ и стилистическихъ погрѣшностей своего противника: онъ занятъ серьезнымъ вопросомъ объ отношеніи церковно-славянскаго языка къ русскому и показываетъ необходимую связь между движеніемъ образованія съ одной стороны и введеніемъ неологизмовъ съ другой. Жуковскій, въ разборѣ сатиръ Кантемира и басень Крылова, основываетъ свои сужденіи на теоріи и исторіи тѣхъ родовъ словесности, къ которымъ принадлежитъ сочиненія этихъ писателей, другими словами: общее прилагаетъ къ частному, разъясняя притомъ послѣднее сравненіемъ съ другими однородными образцами. Каченовскій, при оцѣнкѣ сочиненій и переводовъ И. Дмитріева, слѣдуетъ тому же методу, тогда какъ другіе умѣли только восхищаться баснописцемъ, выражая свой восторгъ похвалами до того избитыми, что онѣ сдѣлались общими мѣстами. Строевъ впервые опредѣлилъ настоящее значеніе Россіады, показавъ ея невѣрность въ историческомъ отношеніи и ея незначительность, почти ничтожность въ отношеніи поэтическомъ. Изъ ряда вонъ выходятъ также критическія статьи кн. П. Вяземскаго: О жизни и сочиненіяхъ Озерова и о жизни и стихотвореніяхъ И. Дмитріева. Но всѣ эти и подобные имъ примѣры были случайностями въ общемъ ходѣ критики. Обратить случайное въ постоянную практику предоставлено было Мерзлякову (1778—1830), профессору краснорѣчія и поэзіи въ Московскомъ Университетѣ. Заслуга его состоитъ въ томъ, что онъ, въ своихъ литературныхъ разборахъ, руководствовался общими началами и сравненіемъ разбираемыхъ произведеній съ другими однородными, древними и новыми, другими словами: положилъ основаніе теоретико-сравнительному методу въ критикѣ, который хотя не исключаетъ, изъ своего вѣдѣнія, стилистической стороны, но отводитъ ей подчиненное мѣсто.

Въ университетѣ Мерзляковъ преподавалъ Теорію поэзіи, предлагающей правила поэтическихъ родовъ, иногда предпосылая ей введеніе, состоящее въ изложеніи общихъ эстетическихъ началъ науки, и Риторику, объясняющую правила всѣхъ родовъ прозаическихъ сочиненій. Руководствомъ для него служилъ нѣмецкій эстетикъ Эшенбургъ, школы Баумгартена. Слѣдуя ему, Мерзляковъ издалъ: «Краткую Риторику» (2-е изд. 1817) и переводъ изъ Эшенбурга «Краткое начертаніе теоріи изящной словесности (1821—1822) и «Краткое руководство къ Эстетикѣ» (1829). Въ нѣкоторыхъ основныхъ мысляхъ переводчикъ отступалъ отъ подлинниковъ. Такъ, напримѣръ, Эшенбургъ признаетъ недостаточнымъ начало, которое Батте полагалъ для изящныхъ искусствъ въ подражаніи, и ставитъ высшимъ началомъ «чувственное совершен-

ство», представляемое искусствомъ; Мерзляковъ остается при мнѣніи Батте, говоря: «подражаніе природѣ эстетическое, въ полномъ смыслѣ этого слова, можетъ быть принято за начало всѣхъ искусствъ». Эшенбургъ цѣлью всякаго художественнаго представленія полагаетъ очарованіе, но такое, посредствомъ котораго идеальное получаетъ напечатлѣніе дѣйствительности такъ, что представленіе чрезъ то является вмѣстѣ и чувственнымъ и совершеннымъ; Мерзляковъ принимаетъ очарованіе въ смыслѣ ученія Батте и всей лже-классической французской школы: «цѣль каждаго искусственнаго представленія есть очарованіе, или *умышленно произведенный обманъ* въ наружныхъ и внутреннихъ чувствахъ наблюдателя, по которому подражаніе искусства принимается за существенность и за непосредственное созерцаніе». Вообще Мерзляковъ не сочувствовалъ эстетическому ученію нѣмцевъ, а Эшенбурга держался только потому, что въ немъ болѣе чѣмъ въ другихъ находилъ отголосокъ французской теоріи, измѣняя, однакожъ, въ немъ то, что съ нею не согласовалось. Главнымъ стремленіемъ и Эшенбурга и его послѣдователя было не столько сознать законы красоты въ явленіяхъ изящнаго, какъ въ природѣ, такъ и въ искусствѣ, сколько предписать *общія* правила для художниковъ. Но убѣжденіе въ прочности этихъ правилъ у Мерзлякова не было твердо. Онъ сомнѣвался въ самостоятельности науки объ изящномъ, какъ видно изъ слѣдующихъ его словъ: «Впрочемъ, произведенія изящныхъ искусствъ, какъ предметъ чувствованія и вкуса, не подвержены строгимъ правиламъ и не могутъ, кажется, имѣть постоянной системы, или науки изящнаго. Самое понятіе о прекрасномъ чуждо всякихъ законовъ.... Только *критика вкуса* имѣетъ здѣсь свой голосъ, болѣе или менѣе опредѣленный.... Врожденная и совершенствуемая разумомъ чувственная способность, *вкусъ*, вмѣстѣ съ *критикой*, основанной на сравненіи, доводитъ насъ до опредѣленія, сколько возможно, точнѣйшихъ границъ изящной природы, изъ которой почерпаютъ свои матеріалы всѣ искусства».— Питая особенное нерасположеніе къ умозрительнымъ системамъ нѣмецкимъ, онъ скептически относился къ системѣ вообще: «вотъ гдѣ система», говаривалъ онъ слушателямъ, указывая на сердце.

Въ 1812 году Мерзляковъ открылъ публичный курсъ словесности. Бесѣды его, прерванныя нашествіемъ Наполеона, возобновились въ 1816-мъ. Особенною ихъ цѣлью было принести пользу тѣмъ молодымъ людямъ, которые, по любви къ словесности, желали бы познакомиться съ нею, но которымъ служебныя обязанности или другія занятія не дозволяли посѣщать университетъ. Въ первый курсъ (10 бесѣдъ) Мерзляковъ разсмотрѣлъ общія правила

краснорѣчія и поэзіи и особенныя правила разныхъ родовъ сочиненій; во второй (24 бесѣды), по краткомъ изложеніи того, что содержалъ въ себѣ предъидущій курсъ, онъ представилъ разборы извѣстнѣйшихъ русскихъ стихотворцевъ, преимущественно Ломоносовскаго періода. Чтенія имѣли блистательный успѣхъ. Ихъ посѣщали не одни молодые любители словесности, но и знатнѣйшія особы столицы, первые литераторы, дамы. Роль и заслуга Мерзлякова въ этомъ отношеніи сходственна съ ролью и заслугой знаменитаго нѣкогда французскаго критика Лагарпа († 1803), который, по открытіи въ Парижѣ Лицея (1786), въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ читалъ въ немъ курсъ литературы и такъ прославился своими чтеніями, что сдѣлался авторитетомъ и получилъ наименованіе французскаго Квинтиліана [1]. Какъ Лагарпъ послѣ общихъ теоретическихъ началъ, основанныхъ на ученіи Аристотеля, большую часть курса посвятилъ французской литературѣ XVII и XVIII столѣтій, такъ и Мерзляковъ, начавъ съ теоріи, прилагалъ ее къ разбору поэтическихъ произведеній. Какъ Лагарпъ видѣлъ совершеннѣйшій образецъ изящной словесности въ писателяхъ вѣка Людовика XIV-го, такъ и Мерзляковъ—если не во всѣхъ родахъ словесности, то, по крайней мѣрѣ, въ драмѣ отдавалъ пальму первенства французамъ: Корнелю, Расину, Вольтеру. Наконецъ, подобно Лагарпу, Мерзляковъ основываетъ свою критику на сравненіи разбираемыхъ образцовъ съ однородными имъ образцами древней и новой литературы.

Изъ бесѣдъ, относящихся къ теоріи словесности, напечатаны слѣдующія: а) о талантахъ стихотворца; б) о геніи, объ изученіи поэта, о высокомъ и прекрасномъ; в) объ изящной словесности, ея пользѣ, цѣли и правилахъ; г) объ изящномъ, или о выборѣ въ подражаніи; д) приложеніе основъ изящнаго къ родамъ и видамъ поэзіи, необходимость науки для художника и разборъ оды Державина «На взятіе Варшавы» въ отношеніи къ плану и ходу; е) о томъ, что называется дѣйствіе драмы (басни, содержаніе) и объ его главныхъ свойствахъ; ж) разсужденіе о драмѣ вообще. Ученіе, изложенное въ этихъ бесѣдахъ, представляетъ нѣкоторыя здравыя и самостоятельныя мысли, но въ сущности не отличается отъ того, что содержится въ Руководствахъ къ Эстетикѣ и къ изящной словесности. Это — таже теорія Буало, Батте, Лагарпа, съ прибавленіемъ правилъ Аристотеля и Горація, но въ томъ

[1]) Lycée ou cours de litterature ancienne et moderne, 16 томовъ. Русскій переводъ: «Лицей или кругъ словесности, древней и новой», переведенный членами Россійской Академіи, 5 ч. (1810—1814).

смыслѣ, какъ они были истолкованы французами. Самое опредѣленіе поэзіи основано на главномъ началѣ изящныхъ искусствъ—подражаніи природѣ: «Поэзія есть подражаніе въ гармоническомъ словѣ, иногда вѣрное, иногда украшенное—всему тому, что природа можетъ имѣть прелестнаго, трогательнаго, подражаніе сообразное съ намѣреніемъ поэта, съ его талантами и чувствами» (чтеніе 4-е). Вообще въ теоретическихъ положеніяхъ автора встрѣчаются противорѣчія и несообразности. Онъ, напримѣръ, на основаніи Гораціевой «Ars poëtica» принимаетъ только два рода поэзіи: эпическій и драматическій, относя къ первому и лирическій, какъ бы не зная, что въ поэзіи новаго (христіанскаго) міра лирика такъ же самостоятельна, какъ эпосъ и драма. При разборѣ оды Державина: «На взятіе Варшавы» (5-я бесѣда) замѣчаетъ, что «въ порывахъ чувствъ есть своя система постоянная и вѣрная, которую и долженъ открыть и исполнить стихотворецъ»: замѣтка вполнѣ справедливая, но несогласная съ его же мнѣніемъ, что произведенія изящныхъ искусствъ не могутъ имѣть системы, почему критикъ въ своихъ сужденіяхъ долженъ основываться не на законахъ изящнаго, а единственно на вкусѣ и сравненіи. Называя краснорѣчіе соединеннымъ языкомъ разума и чувства, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ полагаетъ самымъ важнымъ дѣломъ оратора—возбужденіе страстей, какъ будто языкъ разума можетъ быть и языкомъ страсти. Теорію романа, повѣсти и сказки онъ то помѣщалъ въ Риторикѣ, то переносилъ въ Теорію изящной словесности, то снова включалъ ее въ Риторику, подъ именемъ теоріи вымышленныхъ повѣствованій.

Сужденія, основанныя на теоріи односторонней или невѣрной, потому самому должны выходить односторонними или невѣрными. Дѣйствительно, лже-классическая теорія французовъ, вмѣстѣ съ французскими образцами, почитаемыми за высшее выраженіе изящества, много повредила Мерзлякову. Хотя основательное знаніе языковъ древнихъ и нѣкоторыхъ новыхъ (французскаго, нѣмецкаго и итальянскаго) вооружило его богатыми средствами для сравнительнаго метода, но вѣдь заключительные выводы, добываемые помощью сравненій, также должны основываться на какомъ-нибудь теоретическомъ началѣ: если начало не истинно, то и заключеніе окажется ложнымъ. Къ счастію для него, онъ получилъ отъ природы другія, необходимыя критику средства, независимо отъ вѣры въ эстетическіе догматы и отъ увлеченія образцами: здравый смыслъ, поэтическое чувство, засвидѣтельствованное нѣкоторыми изъ его собственныхъ произведеній, ту систему сердца, которая—такъ онъ думалъ — не только лучше всякихъ научныхъ системъ, но и есть

единственно вѣрная, необманчивая. Въ лицѣ его, по справедливому замѣчанію, критикъ и поэтъ были нераздѣльны. Этимъ объясняется значеніе критики Мерзлякова — ея достоинства и недостатки. Тамъ, гдѣ притязанія избранной имъ теоріи брали верхъ надъ его чувствомъ, онъ впадаетъ въ ошибки и недоразумѣнія; тамъ же, гдѣ, увлекаясь предметомъ разбора, поддавался чувству и забывалъ теорію,—онъ вѣрно угадывалъ красоты и слабыя стороны произведенія, дѣлалъ справедливыя о немъ замѣтки. Отсюда же происходитъ, что критическія статьи перваго разряда, написанныя подъ вліяніемъ теоріи, нерѣдко противорѣчатъ статьямъ втораго разряда, продиктованнымъ истиннымъ чувствомъ.

Лучшими образцами критическаго метода Мерзлякова, разсматривавшаго русскія произведенія литературы сравнительно съ образцами изящной словесности древняго и новаго міра, служатъ разборы трагедій Озерова: «Поликсена» и «Эдипъ въ Аѳинахъ»(1). Въ первомъ разборѣ наша піеса обстоятельно сличается съ тремя піесами такого же содержанія: греческою (Эврипида), латинскою (Сенеки) и французскою (Шатобрюна). Критикъ указываетъ въ ней заимствованія и отступленія, отдавая въ однихъ случаяхъ преимущество подражателю, въ другихъ подлинникамъ. Недовольный характерами Пирра и Улисса, онъ замѣчаетъ, что «авторъ обязалъ непремѣнно, взявъ характеры древнихъ нравовъ, сближать ихъ, сколько можно, съ зрителями, для которыхъ трагедія сочиняется, какъ дѣйствительно и поступали Корнели, Расины, Вольтеры и всѣ поставившіе трагедію на нынѣшнюю степень совершенства», т. е. обвиняетъ драматическаго писателя именно тѣмъ, что уже современная Мерзлякову нѣмецкая критика ставила въ укоръ французскимъ трагикамъ, какъ нарушеніе преданія или исторіи, какъ несоблюденіе мѣстнаго колорита. При разборѣ «Эдипа въ Аѳинахъ», Мерзляковъ сопоставляетъ эту трагедію съ трагедіями Софокла (Эдипъ Колонскій) и французскаго автора Дюси (Эдипъ у Адмета). Отдавая полное преимущество Софоклу, онъ порицаетъ Озерова за то, что не видитъ въ его піесѣ ни Греціи, ни грековъ: порицаніе заслуженное, но раздѣляемое Озеровымъ съ Корнелями, Расинами, Вольтерами и всѣми (какъ выразился Мерзляковъ), поставившими трагедію на нынѣшнюю степень совершенства. И какъ согласить такое разумное требованіе Греціи и грековъ въ «Эдипѣ въ Аѳинахъ» съ другимъ, вышеприведеннымъ требованіемъ, «чтобы авторъ сближалъ характеръ древнихъ нравовъ съ зрителями, для которыхъ трагедія сочиняется»? — Замѣ-

(1) Вѣст. Евр. 1817, т. I, № 4; т. II, № 5.

чательны, по вѣрности взгляда, разборы Димитрія Самозванца (Сумарокова) и Росслава (Княжнина) ([1]). Въ Димитріи критикъ справедливо видитъ «чудовище, исполненное несообразностей», а содержаніе трагедіи передается въ слѣдующихъ словахъ: «тиранъ сердился, бранился и съ досады наконецъ убилъ себя». Но, изрекая такой приговоръ, Мерзляковъ, сознательно или безсознательно, осудилъ всѣ французскія трагедіи лже-классическаго періода: въ нихъ дѣйствующія лица и выходятъ на сцену и сходятъ со сцены съ одною только страстію, не представляя цѣльнаго характера. О «Росславѣ» произнесено строгое сужденіе за несообразность сюжета и неестественность характеровъ. Напротивъ, разборъ «Россіады» ([2]), не смотря на свою подробность, не даетъ опредѣленнаго понятія о значеніи поэмы. Указаны нѣкоторые ея недостатки, но вмѣстѣ съ тѣмъ—изъ уваженія ли къ творцу ея, или изъ боязни идти на перекоръ сложившемуся мнѣнію — она сравнена съ храмомъ св. Петра: «какъ громада неподвижная, и въ буряхъ времени, и въ буряхъ мнѣній, стоитъ огражденная неизмѣняемымъ своимъ величіемъ». Лже-классическая теорія иногда заставляла Мерзлякова противорѣчить общему чувству, которое зрители испытывали въ театрѣ. Такъ, въ разборѣ Аблесимова «Мельника» ([3]), онъ не хотѣлъ объяснить успѣха этой оперы тѣмъ, что она, какъ всѣ тогда утверждали, написана въ русскихъ нравахъ. Задавъ себѣ вопросъ: «отъ чего Мельникъ такъ долго и постоянно удерживается на нашемъ театрѣ»? критикъ рѣшаетъ его тѣмъ, что «піеса, подобно всѣмъ лучшимъ трагедіямъ и комедіямъ, вполнѣ удовлетворяетъ законамъ Аристотеля, наставленіямъ Горація и Буало, и вообще правиламъ науки и вкуса, о которыхъ Аблесимовъ, можетъ быть, и не думалъ вовсе. Такова сила предвзятыхъ убѣжденій! Она способна доводить не только до педантическихъ натяжекъ, но и до фанатизма, требующаго, во что бы-то ни стало, слѣдованія единственно той теоріи, внѣ которой критикъ не видитъ спасенія.

Изъ сказаннаго ясно, что Мерзляковъ долженъ былъ отрицательно относиться къ новымъ направленіямъ русской поэзіи, которыя его теорія не признавала доброкачественными. Въ «Письмѣ

---

[1]) Вѣст. Евр. 1817, т. III, № 12, и т. IV, №№ 13 и 14.

[2]) Въ семи статьяхъ (Амфіонъ, 1815).

[3]) В. Е. 1817, т. II, № 6. Другія критическія статьи Мерзлякова: «Разсужденіе о рос. словесности, въ нынѣшнемъ ея состояніи» (Труды Общества люб. Рос. Словесности 1812, ч. I), съ краткими, но замѣчательными характеристиками русскихъ писателей; «Разборъ 8-й оды Ломоносова» (ib. 1817, ч. 7); «Разборъ Фингала Озерова» (Вѣст. Евр. 1817, т. III); «О Державинѣ» (Тр. Общ. 1820, ч. 18).

изъ Сибири» онъ напалъ на баллады и гексаметры, какъ на злоупотребленіе поэзіи ([1]). Статья «о вѣрнѣйшемъ способѣ разбирать и судить сочиненія, особливо стихотворныя, по ихъ существеннымъ качествамъ», осуждаетъ мечтательныя созданія романтической поэзіи, находя въ нихъ необузданность фантазіи и слѣдовательно противорѣчіе основному правилу изящнаго, состоящему въ стройномъ цѣломъ ([2]). При «воспоминаніи о Сокольскомъ», одномъ изъ даровитыхъ учениковъ своихъ, Мерзляковъ жалѣетъ, что онъ былъ привязанъ къ нѣмецкой литературѣ и видитъ въ этой привязанности «припадокъ времени». Прочитавъ «Цыганъ», онъ, въ цензурномъ комитетѣ, состоявшемъ тогда при университетѣ, въ присутствіи всѣхъ назвалъ это сочиненіе неблагопристойнымъ и безнравственнымъ. Позднѣе (1830), на диспутѣ у Надеждина (въ послѣдствіи профессора теоріи изящныхъ искусствъ), написавшаго диссертацію на званіе доктора: «De origine, natura et fasis Poëseos, quæ Romantica audit», Мерзляковъ никакъ не хотѣлъ допустить законность романтизма, утверждая, что разныхъ поэзій нѣтъ, а есть только одна поэзія, та именно, которая «согласна съ общимъ вкусомъ образованныхъ націй». Въ возраженіяхъ своихъ онъ былъ остановленъ замѣчаніемъ одного изъ профессоровъ, стараго словесника (Л. А. Цвѣтаева), что и вѣра христіанская одна, но что самъ возражатель не можетъ же отвергать различія между разными ея вѣроисповѣданіями — православнымъ, католическимъ, лютеранскимъ. Самый эпиграфъ къ диссертаціи: «ubi vita—ibi poësia» (гдѣ жизнь, тамъ и поэзія), не нравился Мерзлякову, какъ слишкомъ расширяющій область поэзіи, которая, по его мнѣнію, должна ограничиваться подражаніемъ «изящной» природѣ, да и изъ этой природы онъ совѣтовалъ для подражанія выбирать только такіе предметы, которые имѣютъ ближайшее вліяніе на человѣка, на благо его, на его несчастія. Исключительнымъ взглядомъ на искусство Мерзляковъ поднялъ противъ себя даже учениковъ своихъ, хотя они очень уважали его и какъ человѣка, и какъ даровитаго критика. По поводу положенія изъ «Краткаго начертанія теоріи изящной словесности», что «произведенія изящныхъ искусствъ не подлежатъ строгимъ правиламъ и не могутъ имѣть постоянной системы, и что только критика вкуса имѣетъ здѣсь свой голосъ болѣе или менѣе опредѣленный», кн. Одоевскій, издававшій «Мнемозину» (1824), спрашиваетъ: «на чемъ же должна основываться эта критика вкуса, если изящное не можетъ имѣть постоян-

---

[1]) Труды Общества 1818, ч. IX.

[2]) Ib. 1822, ч. 2.

ныхъ, строгихъ законовъ?... Пора знать, что есть другія основанія для теоріи изящнаго, кромѣ тѣхъ, о которыхъ толкуется въ нашихъ риторикахъ и піитикахъ, краткихъ и пространныхъ, сочинители коихъ какъ будто спали сномъ Эпименида и, проснувшись, начали толковать о томъ, что говорилъ учитель ихъ учителя». Въ «разсужденіи о началѣ и духѣ древней трагедіи и о характерахъ трехъ греческихъ трагиковъ», напечатанномъ въ видѣ предисловія къ «Подражаніямъ и переводамъ изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ» (1825 — 1826), Мерзляковъ объясняетъ происхожденіе искусствъ эмпирическимъ способомъ, по которому искусства изобрѣтены случайно или нуждою и усовершенствованы вкусомъ. Веневитиновъ отвергнулъ такой взглядъ, какъ устарѣлый, и доказалъ, что начала искусствъ слѣдуетъ искать не внѣ человѣка, а внутри его, въ прирожденной ему творческой способности (¹).

Примѣръ Мерзлякова мало нашелъ себѣ подражателей. Одновременно съ его серьезнымъ теоретико-сравнительнымъ методомъ разсматривать произведенія литературы продолжало существовать прежнее направленіе критики мелкой, державшейся на грамматическихъ и стилистическихъ замѣткахъ. Большею частію она дѣйствовала въ журналахъ. Журналъ «Благонамѣренный», издававшійся Александромъ Измайловымъ, представилъ многіе образцы ея при отчетахъ о нововыходившихъ книгахъ. Самъ издатель, какъ баснописецъ, занимался разборомъ басень. Руководствомъ служила ему теорія этого поэтическаго рода, напечатанная подъ заглавіемъ; «О разсказѣ басни» и составляющая только часть задуманнаго имъ «Полнаго опыта о баснѣ» (²). Это не что иное, какъ выборка правилъ изъ сочиненій: Батте «Основанія словесности», Мармонтеля «Французская піитика», Лагарпа «Похвальное слово Лафонтену», Ламота «Разсужденіе о баснѣ», Гильона «Лафонтенъ и другіе баснописцы», Шамфора «Комментарій къ баснямъ Лафонтена», и пр. Своего собственнаго нѣтъ ничего, кромѣ примѣровъ, которые Измайловъ бралъ изъ русскихъ басень. Самыя положенія, заимствованныя у разныхъ теоретиковъ, не получили твердой постановки.

Какъ ни скудно содержаніе «Опыта о разсказѣ басни», но основанные на немъ разборы трехъ басень: Воля и Неволя (Хемницера), Котъ, Ласточка и Кроликъ (И. Дмитріева), Лягушки, просящія царя (Крылова), еще скуднѣе. Они ограничиваются либо грам-

---

¹) Сынъ Отечества 1825, т. III. О Мерзляковѣ см. Біогр. Словарь Моск. Унив.

²) Во 2-мъ т. Сочиненій А. Измайлова, 1849.

матическими, либо стилистическими примѣчаніями. Измайловъ выписываетъ отдѣльные стихи и показываетъ достоинство или недостатки версификаціи, выбора словъ, строенія рѣчи, фигурнаго языка. Если басня переводная, то показывается, въ чемъ она уступаетъ оригиналу и въ чемъ беретъ надъ нимъ преимущество. Дальше этого нейдетъ критика Измайлова.

Уваженіе къ слогу, предпочтительно предъ другими сторонами сочиненія, господствовало между всѣми нашими литераторами, особенно тѣми, которые и въ теоріи и въ критикѣ слѣдовали французамъ. У Измайлова оно доходило почти до исключительности и даже привело его къ забавному самоуправству съ памятниками словесности. Издавая, по просьбѣ книгопродавца, сочиненія Озерова (въ 1824 г.), онъ, «изъ уваженія къ памяти незабвеннаго трагика, осмѣлился исправить у него нѣкоторыя несомнѣнныя ошибки въ словахъ» (собственныя слова Измайлова). Напримѣръ, стихи Озерова, въ «Эдипѣ въ Аѳинахъ» и «Фингалѣ»:

Ты зри главу мою, лишенную волосъ...
Ты храбростью своей въ лѣтахъ младыхъ извѣстенъ...

замѣнены слѣдующими:

Зри и главу мою, лишенную волосъ...
Ты мужествомъ своимъ вселенной всей извѣстенъ.

«Надѣюсь (прибавляетъ исправитель), что просвѣщенные любители отечественной словесности не поставятъ мнѣ этого въ вину. Озеровъ, равно какъ и Державинъ, былъ великій поэтъ, но не всегда, какъ и тотъ, искусный *стихослагатель*. Этотъ недостатокъ есть, такъ сказать, неизбѣжная дань, заплаченная ими тому времени, въ которое они начали писать, не учась, къ сожалѣнію, классически словесности и не имѣвъ тогда образцовъ исправнаго стихосложенія». Должно думать, Измайловъ имѣлъ оригинальное понятіе и о классическомъ ученіи, и о снисходительности просвѣщенныхъ любителей отечественной словесности. Впрочемъ поступокъ его былъ встрѣченъ сильнымъ осужденіемъ въ журналахъ.

Разборъ поэмы Пушкина: «Русланъ и Людмила», написанный Воейковымъ (¹), еще сильнѣе выказываетъ направленіе критики въ Карамзинскую эпоху. Онъ имѣетъ притомъ особое значеніе, потому что имя Воейкова пользовалось большою извѣстностью. Нѣкоторое время ставили его на ряду съ именами Жуковскаго и Батюшкова, образуя такимъ сопоставленіемъ своего рода первоклассный литера-

---

¹) Сынъ Отеч. 1820.

турный тріумвиратъ. Какъ видный литераторъ и вмѣстѣ какъ профессоръ русской словесности въ Дерптскомъ университетѣ, онъ считалъ себя въ правѣ судить и рядить о произведеніяхъ поэзіи. Журналы охотно принимали его критическія статьи на свои страницы, и самъ онъ былъ увѣренъ въ ихъ несомнѣнной цѣнности.

Къ разбору «Руслана и Людмилы» Воейковъ приступилъ съ аппаратомъ и пріемами лже-классической пiитики, т. е. выбралъ именно ту мѣрку, которою нельзя измѣрять значеніе разбираемаго сочиненія. Сказавъ, что стихотвореніе Пушкина справедливо названо поэмой, онъ задаетъ себѣ вопросъ: какая же это поэма? Отвѣтъ былъ затруднителенъ, такъ какъ произведеніе не находило себѣ мѣста въ дѣленіи эпоса на виды по теоріи, обязательной для критика. Поэтому критикъ опредѣлилъ его сначала отрицательными признаками: эта поэма—«не эпическая, не описательная, не дидактическая», а потомъ признаками положительными: она—«богатырская, волшебная, шуточная», прибавивъ къ тому, что «нынѣ сей родъ поэзіи называется романтическимъ». Такое опредѣленіе, разумѣется, ничего не опредѣлило, не говоря уже о его невѣрности. Богатыри—тѣже герои и слѣдовательно имѣютъ право быть дѣйствующими лицами эпической поэмы. Въ Освобожденномъ Іерусалимѣ, поэмѣ эпической, есть и волшебникъ, и волшебница, и волшебства. Съ другой стороны «Русланъ и Людмила» содержитъ въ себѣ описанія богатырей, чародѣевъ, сраженій, садовъ и многихъ другихъ предметовъ: почему же не принадлежать ей къ поэмамъ описательнымъ? Что же касается до забавной характеристики романтической поэзіи, которая будто бы слагается изъ смѣси богатырскаго, волшебнаго и шуточнаго, то одинъ изъ защитниковъ Пушкина тогда же справедливо замѣтилъ, что критикъ не имѣетъ понятія о романтизмѣ и должно быть вовсе не читалъ Байрона. Отъ опредѣленія поэмы Воейковъ переходитъ къ изложенію ея содержанія и къ характерамъ ея сверхъестественныхъ существъ и героевъ. Любопытно, что къ героямъ причислена и голова Черноморова брата, причемъ въ характерѣ ея найдена постоянная и ровная выдержанность въ теченіи всѣхъ шести пѣсень. Далѣе говорится, что поэма безъ начала, ибо нѣтъ въ ней «воззванія», ни «изложенія», и «поэтъ какъ съ неба упадаетъ на Владиміровъ пиръ»; что переходы изъ тона въ тонъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ слишкомъ скоры, какъ у Аріоста; что повѣсть о любви Финна и Наины, разговоры Финна съ Русланомъ и эпизодъ о приключеніяхъ Ратмира было бы лучше замѣнить чѣмъ-нибудь другимъ, не столько низкимъ и грубымъ, ибо, по внушительному замѣчанію критика, вѣроятно забывшаго, на этотъ случай, и поэму Аріоста, и русскія былины,

«эпическій поэтъ обязанъ вести себя передъ слушателями вѣжливо и почтительно, и хотя основаніе поэмы взято изъ народной сказки, но и между простымъ народомъ есть своя благопристойность, свое чувство изящнаго». О рѣчахъ героя произнесено слѣдующее, ничего не доказывающее мнѣніе: «рѣчи нейдутъ въ сравненіе съ Гомеровыми, но не надобно забывать, что Иліада—поэма эпическая, а Русланъ — романтическая», какъ будто кто-нибудь могъ забыть это и рѣшиться на сравненіе предметовъ, не подлежащихъ сравненію. Остроты въ лирическихъ прологахъ каждой пѣсни признаны натянутыми и плоскими. Отыскана и нравственная цѣль поэмы, состоящая въ томъ, что злодѣйство наказано, а порокъ торжествуетъ; но при этомъ укоряется авторъ за любовь къ двусмысленностямъ, намекамъ, употребленію эпитетовъ: «нагія», «полунагія»; у него, говоритъ критикъ, и холмы «нагіе», и сабли «нагія», онъ томится какими-то желаніями, сладострастными мечтами, во снѣ и на яву ласкаетъ прелести дѣвъ, вкушаетъ восторги, и проч. и проч. Послѣдняя (четвертая) статья занята критикой стиля. Воейковъ особенно остановился на этомъ пунктѣ, считая себя сильнымъ по части слога. Но какого свойства эта сила, легко видѣть каждому изъ нѣсколькихъ выписокъ, въ которыхъ стихи Пушкина сопровождаются стилистическими замѣтками.

Сердца ихъ гнѣвомъ стѣснены:

Гнѣвъ не стѣсняетъ, а расширяетъ сердце.

Съ сѣдла наѣздника срываетъ:

Слово «наѣздникъ» низко [1] и выходитъ изъ общаго тона.

Питомцы бурные набѣговъ:

Неточное выраженіе: набѣгъ есть быстрое движеніе и никого ни питать, ни воспитывать не имѣетъ времени.

...Вопрошаетъ мракъ нѣмой:

Это смѣло. Послѣ этого можно сказать: «говорящій» мракъ, «болтающій» мракъ и т. п.

Такова эта критика, не умѣвшая ничего разглядѣть и понять въ произведеніи, о которомъ взялась судить.

§ 26. Содѣйствіе успѣхамъ роднаго языка и словесности служило предметомъ занятій не однихъ отдѣльныхъ лицъ, но и литературныхъ обществъ, оффиціальныхъ и частныхъ.

---

[1]) Слово «басурманъ» также названо низкимъ.

Изъ нихъ на первомъ мѣстѣ должна быть поставлена Россійская Академія, какъ правительственное учрежденіе. При Александрѣ I она вступила во второй періодъ своего существованія, который, сравнительно съ первымъ, Екатерининскимъ, нельзя назвать временемъ ея возвышенія. Прежде всего это обнаруживается личнымъ академическимъ составомъ въ обѣ эпохи. Списокъ членовъ Академіи при Екатеринѣ представляетъ образованнѣйшихъ людей того времени, знаменитыхъ литераторовъ. Не то видимъ въ два послѣдовательныя президенства, Нартова (съ 1801 до 1813) и Шишкова (съ 1813 по 1840): Карамзинъ и Жуковскій, по общему сознанію публики давно принадлежавшіе къ первокласснымъ писателямъ, были приняты Академіей только въ 1818 г., послѣ того, какъ въ ней уже засѣдали многія личности, и тогда извѣстныя всѣмъ своею посредственностью, а теперь потерявшія и это свое качество. Даже въ признаніи заслугъ Востокова Московское Общество любителей россійской Словесности предупредило Академію, которая избрала его въ свои члены уже послѣ того, какъ знаменитое его «Разсужденіе о славянскомъ языкѣ» явилось въ «Трудахъ» общества. Надобно жалѣть и удивляться, если Россійская Академія, вовсе не старая сравнительно съ другими тождественными ей иноземными учрежденіями, при оцѣнкѣ авторскаго значенія, такъ рано увлеклась примѣромъ Академіи Французской, которая открыла свои двери Вольтеру не прежде, какъ ему минуло пятьдесятъ лѣтъ, а Ж. Ж. Руссо и вовсе не удостоился этой чести. Причина странныхъ выборовъ и невыборовъ объясняется не покровительствомъ вліятельныхъ лицъ, какъ это имѣло мѣсто во Франціи, а односторонностью литературныхъ взглядовъ, доходившею до исключительности, что и повело неизбѣжно къ нетерпимости, замкнутости ученаго сословія.

Въ первые годы втораго періода Академіи происходилъ споръ о языкѣ, открытый разсужденіемъ Шишкова о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка. Онъ отразился и на трудахъ Академіи, которая задумала изгонять изъ нашего языка общеупотребительныя иностранныя слова, замѣняя ихъ русскими, на что и посвящала часть своихъ засѣданій. При различіи взглядовъ на отношеніе языка церковно-славянскаго къ русскому и на существенныя достоинства литературной рѣчи, сообщество Карамзина и его послѣдователей равнялось бы для академиковъ отреченію ихъ отъ своего собственнаго ученія. Къ такому самоосужденію менѣе всѣхъ былъ способенъ Шишковъ, въ характерѣ котораго заключалась особенность, много способствовавшая раздраженію и долговременности полемики. При всемъ простодушіи и честности, онъ стра-

далъ упрямствомъ однажды принятаго мнѣнія. Съ силой этого упрямства могла равняться только сила его трудолюбія. Онъ думалъ единственно о томъ, чтобы отбить противника, а не о томъ, чтобы вникнуть въ значеніе его доводовъ. Возраженія, самыя дѣльныя, нерѣдко принимались имъ какъ личныя обиды; они раздражали его, а въ раздражительности онъ, сознательно или безсознательно, становился недобросовѣстнымъ. Если Шишковъ, и при Нартовѣ, былъ, по своей дѣятельности, вліятельнѣйшимъ членомъ Академіи, то, занявъ въ ней предсѣдательское мѣсто, онъ, разумѣется, старался окружить себя лицами одного съ нимъ литературнаго направленія, большею частію членами «Бесѣды любителей русскаго слова».

Свѣдѣнія о своихъ засѣданіяхъ, равно какъ и труды своихъ членовъ Академія сообщала публикѣ въ слѣдующихъ повременныхъ изданіяхъ: «Сочиненія и переводы», 7 ч. (1805—1823), «Извѣстія», 12 кн. (1815—1828), «Повременное изданіе», 4 ч. (1829—1832), «Краткія записки», 3 кн. (1834—1835). Наполнялись эти сборники преимущественно статьями Шишкова, которыми главнымъ образомъ и опредѣлялась сущность академической дѣятельности. Хотя означенныя статьи и не дали повода къ какимъ-либо научнымъ выводамъ, но все же справедливо вмѣнить ихъ въ заслугу автора, котораго трудолюбіе вытекало изъ искренней любви къ предмету.

Первое изданіе (Сочиненія и переводы Россійской Академіи) предназначалось для изслѣдованій богатства, силы и красоты русскаго языка. Такъ какъ эти коренныя свойства зависятъ отъ такихъ же свойствъ языка славянскаго, то Академія и выразила желаніе, чтобы послѣдній былъ разсматриваемъ въ подробности; кромѣ того предложила она заняться знаменованіемъ малоупотребительныхъ словъ и реченій, чрезъ что съ одной стороны открывается ихъ значеніе—собственное и переносное, а съ другой—выраженіе мыслей пріобрѣтаетъ высокую доброкачественность. Не худо, говорится въ предувѣдомленіи къ изданію, если «слова нынѣ вовсе неизвѣстныя будутъ отыскиваемы и объясняемы: ихъ нужно знать для чтенія старинныхъ книгъ и рукописей». Чтобы не наполнять каждую книжку одними сужденіями объ языкѣ, положено было помѣщать извѣстія объ упражненіяхъ Академіи и другія, приличныя изданію, сочиненія и переводы. Къ послѣднему отдѣлу отнесены объясненія русскихъ древностей, описанія достопамятностей русской исторіи и важнѣйшихъ происшествій новаго времени, похвальныя слова русскимъ государямъ, знаменитымъ мужамъ или наукамъ, извлеченія, изъ классическихъ писателей, правилъ, до

словесности касающихся, стихотворенія. Академія съ такимъ почтеніемъ смотрѣла на похвальныя слова, что присудила задавать темы для ихъ сочиненія и авторовъ, наилучше исполнившихъ задачу, награждать медалями. Вѣроятно, при этомъ имѣлись въ виду или похвальныя слова Ломоносова, или примѣръ Французской Академіи: извѣстно, что такъ называемыя у французовъ éloges, бывшія нѣкогда въ модѣ, составляютъ значительный отдѣлъ ихъ литературы. Но эта мода, надобно замѣтить, имѣла смыслъ: она лежала въ потребности времени. Краснорѣчіе, за неимѣніемъ другихъ практическихъ способовъ, явилось какъ удобное средство высказаться образованнымъ людямъ о тѣхъ или другихъ общественныхъ интересахъ. Недовольство современнымъ состояніемъ дѣлъ, отсутствіе наличныхъ достославныхъ особъ заставили мыслящихъ писателей отыскивать въ древности или въ чужихъ земляхъ противоположныя дѣла и личности. Похвалы прошлому служили въ тоже время косвенной критикой настоящаго, какъ это и видно въ похвальномъ словѣ Марку Аврелію, Тома (Thomas), главнаго представителя французскаго академическаго краснорѣчія. Что у французовъ было вызвано дѣйствительными обстоятельствами, то у насъ обратилось въ простое подражаніе. Къ этому существенному различію присоединилось и другое, немаловажное: различіе въ талантахъ. Тома владѣлъ несомнѣннымъ даромъ краснорѣчія, тогда какъ П. Львовъ, авторъ похвальнаго слова царю Алексѣю Михаиловичу, награжденный отъ Академіи золотою медалью, принадлежалъ къ посредственностямъ, если не къ бездарностямъ. Изъ работъ Шишкова въ «Сочиненіяхъ и переводахъ» укажемъ на разсужденіе о краснорѣчіи Св. Писанія, о звукоподражаніи, о сословахъ, о переводахъ съ одного языка на другой и переложеніе Слова о полку Игоревѣ съ обширными къ нему примѣчаніями.

Вступивъ въ управленіе Академіей, Шишковъ нашелъ, что прежнія ея занятія, за исключеніемъ одного — преобразованія изданнаго при Екатеринѣ производнаго словаря въ алфавитный— не отвѣчали цѣли ученаго сословія. Она, по словамъ вступительной статьи новаго изданія (Извѣстія), выпустила изъ виду настоящую свою обязанность: «изслѣдованіе состава и разума словъ, опредѣленіе правилъ и свойствъ языка, установленіе и огражденіе его отъ порчи писателей, не знающихъ силы онаго». Посему «Извѣстія» должны были заключать въ себѣ предложенія, вопросы, изслѣдованія и разсужденія о языкѣ. Самъ Шишковъ, въ каждой почти книжкѣ Извѣстій, помѣщалъ «опытъ славянскаго словаря или объясненіе силы и знаменованія коренныхъ и производныхъ русскихъ словъ, по недовольному истолкованію оныхъ мало извѣстныхъ и

потому мало употребительныхъ», и «изслѣдованіе корней». На послѣдній предметъ обращено было особенное вниманіе, такъ какъ онъ — «главное средство, ведущее къ пользѣ языка, единственный ключъ, отпирающій двери ко всѣмъ справедливымъ умствованіямъ о правилахъ языка и краснорѣчія»; короче: «наука словопроизводства есть важнѣйшая изъ всѣхъ словесныхъ наукъ». Такимъ образомъ задача Академіи болѣе стѣснялась, дѣйствія ея членовъ болѣе специализировались. Кромѣ того при специализаціи руководствовались предвзятою мыслью и ставили передъ собою особую цѣль. Члены Академіи, въ своихъ изслѣдованіяхъ о языкѣ, должны были содѣйствовать пользамъ стараго слога и противодѣйствовать развитію слога новаго, или Карамзинскаго. Эта idée fixe если и не выговаривается открыто, то ясно просвѣчиваетъ во всѣхъ работахъ Шишкова.

Какого же значенія былъ главный трудъ Шишкова—его изслѣдованіе корней, или наука словопроизводства? Она не могла представить удовлетворительныхъ результатовъ, главнымъ образомъ потому, что Шишкову недоставало надлежащей къ тому научной подготовки, которую онъ замѣнялъ своими соображеніями, лишенными твердой основы и потому произвольными. Извѣстно, что для возможно-правильнаго объясненія даннаго слова прежде всего слѣдуетъ отыскать его основную форму, опредѣлить смыслъ этой формы и наконецъ указать, какой видъ приняла она въ словахъ тѣхъ или другихъ родственныхъ языковъ для обозначенія одного и того же предмета или понятія. Меньшій кругъ сравненія для русскаго слова—славянскіе языки, начиная съ древне-церковно славянскаго; наибольшій кругъ—языки индоевропейскаго племени. Чтобы не ошибиться въ этомъ разслѣдованіи, необходимо знать, какіе звуки въ другихъ родственныхъ языкахъ соотвѣтствуютъ звукамъ одного изъ нихъ, подвергаемаго филологическому анализу. Но такое знаніе немыслимо безъ знакомства съ фонетическими законами языка. А фонетика-то именно и не была знакома Шишкову. За неимѣніемъ прочнаго фундамента онъ прибѣгалъ или къ помощи своей нездравой логики, обольщавшей его доводами, по видимому правдоподобными, или къ помощи слуха, сводившаго, по сходству звуковъ, въ семейный кругъ такія слова, которыя не состоятъ между собою ни въ близкомъ, ни въ дальнемъ родствѣ. Такъ существительное *звено* Шишковъ производилъ отъ глагола *звенѣть*, и свое производство подкрѣплялъ примѣромъ: *звенья* (*въ цѣпи*), какъ будто кольца цѣпи, хотя бы и металлической, получили названіе отъ того, что каждое изъ нихъ можетъ звенѣть! Существительное *блоха* сводилъ онъ съ глаголомъ *пихать*, т. е. съ свойствомъ этого насѣкомаго

«пихать ногами» и такимъ образомъ прыгать, скакать. Справедливость этого мнѣнія доказывалась тѣмъ, что у поляковъ блоха называется *пхла*, *пхалка* (пихающая). Но и польское *пхла*, и церковно-скавянское *блъха*, находясь въ несомнѣнной связи съ литовскимъ *blusa*, латинскимъ *pulex*, приводятся къ одной основной формѣ—именно *pulaca* (1), которая не имѣетъ ничего общаго съ глаголами *пинать*, *пихать*. И между тѣмъ Шишковъ былъ до того увѣренъ въ непогрѣшимости своего корнесловія, что смотрѣлъ на соображенія и выводы, сюда относящіеся, какъ на математическія истины. Онъ совѣтовалъ и Востокову заняться этимъ упражненіемъ. Въ этой увѣренности, граничившей съ упрямствомъ и потому часто въ него переходившей, заключался второй недостатокъ Шишкова. Вообще одностороннее направленіе Академіи, при Нартовѣ и особенно при Шишковѣ, не допускавшее счетовъ и соглашеній съ современною литературою (2), породило неудовольствіе въ послѣдней, равно какъ и въ образованномъ кругу публики, которая справедливо обвиняла ученое сословіе въ непроизводительности трудовъ, даже въ застоѣ. Шишковъ сердился на недовольныхъ, называя ихъ «оцѣнщиками чужихъ трудовъ». Но если такъ, то онъ былъ долженъ сердиться и на Ганку, жалѣвшаго, что Академія, при весьма значительныхъ средствахъ, очень мало сдѣлала (3). Конечно, чешскій ученый разумѣлъ то время, въ которое предсѣдательствовалъ Шишковъ и которое, вмѣстѣ съ временемъ Нартова, по общности характера и направленія академическихъ трудовъ, мы соединили въ одинъ періодъ. Только съ третьяго періода, т. е. съ присоединенія Россійской Академіи къ Академіи Наукъ въ видѣ особаго, втораго, отдѣленія (1841), стала она на настоящую, твердую почву и начала въ строгомъ смыслѣ научные, плодотворные труды свои по русскому языку и словесности.

Кромѣ «Словаря, расположеннаго по азбучному порядку» (6 частей, 1806—1822), Академія издала составленную ея членами Д. и П. Соколовыми «Грамматику россійскаго языкаю» (1802 г.). Книга эта, при ея третьемъ изданіи, была по достоинству оцѣнена Гречемъ (4): критикъ нашелъ ее неудовлетворительною по сбив-

---

1) Гадина (Ungeziefer). См. Fick: «Vergleichendes Wörterbuch der indogemarnischen Sprachen» (1871).

2) Шишковъ отдѣлялъ писателей отъ академиковъ (О разности между академикомъ и писателемъ, въ Краткихъ Запискахъ 1834—1835).

3) Письмо къ Востокову въ 1841 г. (Сборникъ статей 2-го отд. Ак. Н. т. V, вып. 2, стр. 350).

4) С. Отеч. 1819, ч. 55.

чивости, неправильности многихъ опредѣленій и правилъ и по странному расположенію ея частей, обнаруженному особенно тѣмъ, что на первомъ мѣстѣ стоитъ правописаніе, а за тѣмъ уже слѣдуютъ этимологія и синтаксисъ, которые служатъ основою правописанія и безъ которыхъ слѣдовательно оно не можетъ быть объясняемо научнымъ образомъ. Изъ второстепенныхъ цѣлей Академіи заслуживаетъ вниманія заботливость ея доставить любителямъ русской словесности образцы различныхъ сочиненій, почему она и предлагала своимъ членамъ переводить древнихъ и новыхъ классическихъ писателей. Въ слѣдствіе этого и были переведены слѣдующія сочиненія: Путешествіе младшаго Анахарсиса по Греціи, 6 ч. (1804—1809), Тацитова лѣтопись, 4 ч. (1806—1809), Саллюстія о войнѣ Катилины и о войнѣ Югурѳы (1809), Ликей, или кругъ словесности, древней и новой, Лагарпа, 5 ч. (1810—1814), Разсужденіе о механическомъ составѣ языковъ и физическихъ началахъ этимологіи, Бросса, 2 ч. (1821—1822). Дѣятельность Академіи, въ этомъ отношеніи не безполезная, служила продолженіемъ занятій учрежденія, основаннаго кн. Е. Р. Дашковой и называвшагося «переводческимъ департаментомъ» [1].

Послѣ Россійской Академіи всего умѣстнѣе поставить «Бесѣду любителей русскаго слова», которая хотя была частнымъ литературнымъ обществомъ, но по уставу представляла полуоффиціальный характеръ. Шишковъ, какъ устроитель и предсѣдатель этого общества, задуманнаго имъ съ предвзятою мыслію, ничѣмъ ни отличался отъ Шишкова, какъ президента Академіи. Характеръ трудовъ той и другой корпораціи, направляемыхъ ихъ корифеемъ, большею частью обнаруживаетъ видимое сродство за немногими исключеніями. Другаго трудно было и ожидать, такъ какъ мы уже видѣли, что многіе бесѣдисты съ 1813 г. сдѣлались академиками. Первымъ правиломъ Бесѣды положено было чтеніе произведеній предъ посѣтителями обоего пола, а вторымъ — изданіе трудовъ, которые дѣлились на два рода: произведенія словесности и судъ о языкѣ и словесности. Сборникъ общества, подъ названіемъ: «Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова» (19 кн., 1811—1815) заключаетъ въ себѣ нѣсколько замѣчательныхъ статей: о лирической поэзіи (Державина); разсужденіе о любви къ отечеству (Шишкова); разсужденіе Филарета о нравственныхъ причинахъ неимовѣрныхъ успѣховъ нашихъ въ войнѣ съ французами 1812 года; переписка Уварова съ Гнѣдичемъ и Капнистомъ о гексаметрахъ; о Гораціи и переводъ нѣкоторыхъ его стихотвореній, Му-

[1]) Ист. Рос. Академіи, М. Сухомлинова. Три выпуска (1874—76).

равьева-Апостола; басни Крылова. Особеннаго вниманія заслуживаетъ вопросъ о гексаметрахъ, такъ твердо поставленный Уваровымъ и такъ умно имъ рѣшенный.

Первымъ, по времени появленія, литературнымъ обществомъ было «Вольное общество любителей россійской словесности, наукъ и художествъ». Оно основано въ 1801 г. шестью студентами, окончившими курсъ въ бывшей при Академіи Наукъ гимназіи. Цѣлью своего собранія положили они взаимно совершенствоваться въ трехъ отрасляхъ человѣческой способности (словесности, наукахъ и художествахъ) и содѣйствовать другимъ въ томъ же стремленіи. Первымъ предсѣдателемъ общества былъ Борнъ, авторъ «Краткаго руководства къ россійской словесности» (1808); за нимъ слѣдовали Д. Языковъ, Д. Дашковъ и наконецъ А. Измайловъ (съ 1822 г.), при которомъ оно и рушилось (около 1825 г.). Кромѣ первой части «Періодическаго изданія» (1804), общество напечатало еще «Свитокъ музъ» (2 ч., 1802—1803 г.). Въ числѣ первопоступившихъ его членовъ находились Каменевъ, авторъ баллады «Громвалъ», Востоковъ, помѣщавшій въ сборникахъ общества свои первыя стихотворенія, Д. Языковъ, переводчикъ Беккаріева разсужденія о преступленіяхъ и наказаніяхъ (1803). Въ 1812 г. общество издавало Санктпетербургскій Вѣстникъ, а въ предсѣдательство А. Измайлова своими трудами помогало ему, какъ издателю журнала «Благонамѣренный».

«Общество любителей россійской словесности при Московскомъ руниверситетѣ», основанное въ 1810 г., представляетъ, сравнительно съ Россійской Академіей, явленіе противоположное. Благодаря уму, такту и соотвѣтственной этимъ качествамъ распорядительности перваго своего предсѣдателя, А. А. Прокоповича-Антонскаго, оно не заразилось исключительностью, столь вредной въ дѣлѣ науки. Не принадлежа самъ къ ученымъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова, Антонскій, по любви къ дѣлу, умѣлъ собирать спеціальныя силы и дружно направлять ихъ къ предположеннымъ цѣлямъ. Періодъ его управленія, особенно съ 1810 по 1825 г., составляетъ лучшій періодъ общества, послѣ чего, при другихъ предсѣдателяхъ, оно быстро понижалось въ своемъ значеніи. Въ это лучшее время издано 27 частей «Трудовъ» (1812—1828), которые показываютъ, что въ дѣятельности общества принимали участіе какъ извѣстнѣйшіе литераторы, такъ и ученые, основательно подготовленные къ своей спеціальности и потому имѣвшіе авторитетный голосъ.

Большая часть статей, помѣщенныхъ въ «Трудахъ», относится къ языкознанію. Между ними особенно замѣчательны: Востокова

«разсужденіе о славянскомъ языкѣ», служащее введеніемъ къ грамматикѣ этого языка и открывшее правильный путь къ изученію славяно-русской филологіи; Каченовскаго: «о славянскомъ и въ особенности о церковномъ языкѣ» и «историческій взглядъ на грамматику славянскихъ нарѣчій»; Болдырева: «разсужденіе о глаголахъ», изложившее ученіе о видахъ и упростившее спряженіе; К. Калайдовича: «о древне-церковномъ языкѣ славянскомъ» и о «бѣлорусскомъ нарѣчіи». Теоріей словорасположенія въ русскомъ языкѣ занимался И. Давыдовъ; онъ же, наряду съ П. Калайдовичемъ и Саларевымъ, объяснялъ значеніе русскихъ синонимовъ. Кромѣ того общество составляло опытъ производнаго словаря и обратило вниманіе на весьма важный предметъ для основательнаго изученія русскаго языка, именно на собраніе областныхъ словъ, которыя и печатало почти въ каждой части «Трудовъ». По теоріи словесности и критикѣ литературныхъ произведеній преимущественно трудился Мерзляковъ, одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ общества. Къ тому же отдѣлу относятся двѣ статьи Каченовскаго: «взглядъ на успѣхи россійскаго витійства въ 1-ой половинѣ XVIII столѣтія» и «о похвальныхъ словахъ Ломоносова», и рѣчь Батюшкова «о вліяніи легкой поэзіи на образованіе языка». Для изученія народной жизни и народной литературы остались небезполезными статьи: «о русскихъ пословицахъ» и «о лубочныхъ картинкахъ» (Снегирева), равно свѣдѣнія о старинныхъ русскихъ праздникахъ и о характерѣ русскихъ застольныхъ и хороводныхъ пѣсенъ. Конечно, нѣкоторые изъ указанныхъ трудовъ имѣли только относительное, временное значеніе, но другіе сдѣлались достояніемъ науки или по меньшей мѣрѣ способствовали къ разъясненію тѣхъ или другихъ вопросовъ по языку и словесности. Въ стихотворномъ отдѣлѣ «Трудовъ» являются почти всѣ лица тогдашняго поэтическаго круга: Мерзляковъ, В. Пушкинъ, Воейковъ, кн. Вяземскій, Гнѣдичъ, Батюшковъ, Ѳ. Глинка, Д. Давыдовъ, Крыловъ, Жуковскій, А. Пушкинъ, А. Измайловъ, Милоновъ, Раичъ, Капнистъ, кн. И. Долгорукій. Необходимо еще поставить въ заслугу обществу и то, что научное содержаніе его трудовъ излагалось всегда очень хорошимъ языкомъ, такъ что внутреннему значенію трудовъ отвѣчало и литературное ихъ достоинство.

Въ 1816 г. основано было «Общество соревнователей просвѣщенія и благотворенія», переименованное потомъ (1820 г.) въ «Вольное общество любителей Россійской словесности». Съ 1818 г. оно издавало журналъ, сперва (1818—1820) подъ названіемъ «Соревнователя просвѣщенія и благотворенія», а потомъ (съ 1820 г.) подъ названіемъ «Трудовъ Вольнаго общества любителей россій-

ской словесности». Изданіе, продолжавшееся по ноябрь 1820 г., имѣло цѣль благотворительную: доходами съ него положено было помогать бѣднымъ и достойнымъ литераторамъ и художникамъ, равно ихъ вдовамъ и сиротамъ. Не смотря на болѣе свѣжія литературныя силы, дѣйствовавшія въ «Соревнователѣ», на имена уже извѣстныхъ писателей (Жуковскаго, Батюшкова, Д. Давыдова, Вяземскаго, Ѳ. Глинки, Гнѣдича) и многихъ молодыхъ талантливыхъ литераторовъ (Дельвига, Баратынскаго, А. и Н. Бестужевыхъ, Лажечникова, Рылѣева), не смотря на критики Плетнева, отступавшія отъ обычныхъ псевдо-классическихъ понятій и пріемовъ, а также на переводы изъ Байрона и Мура, знакомившіе публику съ англійской поэзіей, журналъ, по отсутствію твердаго направленія и серьезнаго интереса, оказался ниже той мѣры, какой бы можно было ожидать отъ исчисленныхъ его сотрудниковъ.

Одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ русскихъ нашего вѣка (¹) замѣтилъ, что «частныя, такъ сказать, домашнія общества, состоящія изъ людей, соединенныхъ между собою свободнымъ призваніемъ и личными талантами и наблюдающихъ за ходомъ литературы, имѣли не только у насъ, но и повсюду, ощутительное, хотя нѣкоторымъ образомъ невидимое, вліяніе на современниковъ, и что въ этомъ отношеніи академіи и другія оффиціальныя учрежденія того же рода далеко не имѣютъ подобной силы, такъ какъ онѣ не даютъ знаменитымъ писателямъ, а скорѣе заимствуютъ отъ нихъ жизнь и направленіе». Вѣрность этой замѣтки, доказанная многими фактами, вытекаетъ изъ самой сущности двоякихъ литературныхъ обществъ: оффиціальныхъ и частныхъ. Общество оффиціальное, каковы бы ни были его силы, обязано дѣйствовать по начертаніямъ устава, который опредѣляетъ извѣстную, болѣе или менѣе спеціальную цѣль, болѣе или менѣе одинаковое направленіе, а такая опредѣленность съ одной стороны ограничиваетъ кругъ занятій, а съ другой связываетъ свободу, самостоятельность мнѣній. Между членами оффиціальной корпораціи должна, волею-неволею, водвориться солидарность, необходимая какъ для единодѣйствія, такъ и для неуклоннаго слѣдованія установленнымъ положеніямъ. Когда Карамзинъ, по избраніи его въ члены Россійской Академіи, произнесъ рѣчь въ торжественномъ собраніи оной, Шишковъ увидалъ, въ нѣкоторыхъ мысляхъ новоизбраннаго, противорѣчіе завѣтному своему взгляду, который раздѣлялся почти всѣмъ ученымъ собраніемъ, и не оставилъ ихъ безъ возра-

---

¹) Гр. С. С. Уваровъ, въ своихъ «Литературныхъ воспоминаніяхъ» (Современникъ 1851, № 6).

женій, какъ бы желая остановить нарушителя академическаго единства. Академія же, конечно, по представленію Шишкова, поручила Востокову вмѣстѣ съ его сочленомъ П. Соколовымъ составлять сравнительный словарь всѣхъ славянскихъ нарѣчій, не сообразивъ, что такимъ распоряженіемъ связывались двѣ несвязуемыя силы или, вѣрнѣе, сила (Востоковъ) съ безсиліемъ (П. Соколовъ). По поводу упомянутой статьи Греча о грамматикѣ, изданной Россійскою Академіею, собраніе академиковъ увидѣло въ мнѣніи критика «дерзновеніе» и единогласно опредѣлило, что «по здравому разсудку, нѣтъ никакой пользы ни для нравовъ, ни для просвѣщенія и словесности, чтобъ изданныя отъ Академіи и слѣдовательно оцѣненныя уже ею сочиненія были вновь переоцѣниваемы журналистами», и что поступокъ «Греча подлежитъ не суду Академіи, но суду правительства» (¹). Подобныя явленія не могли-бы оказаться въ частномъ литературномъ обществѣ, котораго члены связаны единственною солидарностью—интересомъ къ литературѣ или наукѣ: каждый изъ нихъ выбираетъ предметы для занятій, руководствуясь только свойствомъ своего таланта и мѣрою своихъ знаній, а въ самостоятельномъ заявленіи мнѣній основывается только на уставѣ собственнаго убѣжденія. При большинствѣ голосовъ, случайномъ или предрѣшенномъ, которымъ опредѣляется выборъ членовъ, въ комплектъ сорока академиковъ французской академіи легко входили многія посредственности; въ частное общество, хотя бы оно состояло изъ двѣнадцати членовъ, трудно проскользнуть какой нибудь дюжинной личности. Да и сама личность воздержится отъ такого покушенія, зная, что ей въ кругу лицъ, сознающихъ за собою право и силу голоса, придется играть пассивную роль человѣка безгласнаго. Справедливость сказаннаго подтверждается примѣромъ даже такого частнаго общества, какъ «Бесѣда». Не смотря на ея полуоффиціальную постановку, труды нѣкоторыхъ ея членовъ не остались безъ замѣтныхъ послѣдствій для литературы. Благодаря совѣту гр. Уварова, мы имѣемъ переводъ «Иліады» гексаметромъ; благодаря ему же разъяснена — теперь извѣстная даже учащимся, а тогда не сознававшаяся даже многими учащими — необходимая, внутренняя связь между содержаніемъ и формою поэтическаго произведенія. Но высшій примѣръ назидательнаго вліянія какъ на своихъ членовъ, такъ, посредствомъ ихъ, и на современную имъ литературу представляло общество Арзамасъ.

---

¹) Бесѣды въ Обществѣ Любителей Рос. Словесности, вып. 3.

Кромѣ этихъ двухъ обществъ, литераторы и художники собирались въ домѣ А. Н. Оленина (†1842), президента Академіи художествъ. Вотъ что говоритъ объ этихъ, почти ежедневныхъ, собраніяхъ гр. Уваровъ: «Совершенная свобода въ обхожденіи, непринужденная откровенность, добродушный пріемъ хозяевъ давали этому кругу что-то патріархальное, семейное. Сюда обыкновенно привозились всѣ литературныя новости: вновь появлявшіяся стихотворенія, извѣстія о театрахъ и книгахъ, о картинахъ, словомъ все, что могло питать любопытство людей, болѣе или менѣе движимыхъ любовью къ просвѣщенію... Здѣсь въ первый разъ читались лучшія произведенія Крылова, извѣстности котораго не мало содѣйствовалъ Оленинъ, представившій его ко Двору и опредѣлившій его въ Публичную библіотеку; здѣсь же была читана и первоначально репетирована трагедія Озерова «Эдипъ въ Аѳинахъ». Къ числу друзей и пріятелей Оленина принадлежали: Гнѣдичъ, гр. Блудовъ, гр. Уваровъ, Капнистъ. Общество оживлялось и одушевлялось супругою Оленина, урожденной Полторацкой, — женщиной, одаренной яснымъ умомъ и кроткимъ нравомъ, въ которой Крыловъ находилъ не только участіе друга, но и попечительность доброй матери».

Любовь къ отечественной словесности, замѣтно обнаруженная со второй половины прошлаго вѣка и за тѣмъ болѣе и болѣе развивавшаяся, проникла и въ среду воспитывающагося юношества. Дирекціи учебныхъ заведеній, высшихъ и среднихъ, для упражненія своихъ питомцевъ въ словесной практикѣ, для возбужденія въ нихъ охоты къ знакомству съ лучшими писателями, русскими и иностранными, устраивали въ стѣнахъ заведенія собранія, подъ руководствомъ особаго лица, большею частію преподавателя словесности. На этихъ собраніяхъ учащіеся читали свои сочиненія и переводы, выслушивали критическія замѣтки руководителя и сами пріучались къ оцѣнкѣ литературныхъ достоинствъ и недостатковъ. Особеннымъ рвеніемъ отличались въ этомъ дѣлѣ воспитанники Университетскаго благороднаго пансіона (въ Москвѣ), благодаря заботливости директора Прокоповича-Антонскаго и сочувствію такихъ наставниковъ, какими были Подшиваловъ и Мерзляковъ, горячо принимавшіе къ дѣлу успѣхи своихъ учениковъ. Литературное собраніе этихъ пансіонеровъ, съ 1787 по 1825 г., издало слѣдующіе сборники своихъ трудовъ: «Распускающійся цвѣтокъ» (1787), «Полезное упражненіе юношества» (1788), «Утренняя заря» (6 кн., 1800—1808), «И отдыхъ въ пользу» (1804), «Калліопа» (4 ч., 1815—1825), и кромѣ того отдѣльно: «Избранныя сочиненія изъ Утренней зари» (2 ч., 1809) и «Избранныя сочиненія и пе-

реводы въ прозѣ и стихахъ» (3 ч., 1824—1825). Между статьями этихъ сборниковъ, кромѣ сочиненій Мерзлякова, видимъ начальные опыты лицъ, въ послѣдствіи сдѣлавшихся извѣстными на томъ или другомъ пути дѣятельности: Жуковскаго, Д. Дашкова, Милонова, Воейкова, А. и Н. Тургеневыхъ, кн. Одоевскаго. Въ 1818 г. напечатаны сочиненія и переводы студентовъ Харьковскаго университета, а въ 1819-мъ «Труды студентовъ—любителей отечественной словесности въ томъ же университетѣ». Кромѣ того мы видѣли, что шестеро гимназистовъ, по окончаніи курса, устроили, Вольное общество любителей словесности, наукъ и художествъ.

Эти и многія другія подобныя явленія свидѣтельствуютъ о томъ, что наклонность къ занятіямъ отечественнымъ языкомъ и словесностью въ царствованіе Александра I была значительно распространена въ обществѣ. Литературный интересъ господствовалъ въ публикѣ и надъ публикой, потому что приходился ей по плечу и по сердцу. Съ нимъ не могли состязаться другіе интересы, изъ которыхъ иные еще вовсе не возникали, а иные, возникнувъ, развивались и вращались только въ ограниченномъ меньшинствѣ образованныхъ людей. Знакомство съ литературой, съ такъ называемой изящной словесностью служило признакомъ цивилизаціи, своего рода знакомъ умственнаго отличія. Собственныя заслуги въ этой словесности еще болѣе возвышали личность. Даровитый писатель быстро становился общеизвѣстнымъ человѣкомъ. Спеціальные ученые не считали словесности дѣломъ для себя постороннимъ; напротивъ, они видѣли въ ней необходимость для выраженія своихъ знаній и на каѳедрѣ и въ книгѣ: они были чужды той странной мысли, что достоинство научнаго матеріала можетъ легко обойтись безъ литературнаго достоинства въ изложеніи онаго. Тоже настроеніе коренилось и въ средѣ университетскихъ слушателей. Къ какому бы факультету ни принадлежалъ студентъ, онъ цѣнилъ хорошее знаніе русскаго языка и любилъ русскую литературу. Въ этомъ отношеніи не было различія между юристами, филологами, математиками и даже медиками. Для всѣхъ и каждаго, кромѣ выбранной имъ спеціальности, существовалъ еще одинъ обязательный предметъ—русская словесность. Конечно, они занимались имъ не ex-officio, а по доброй волѣ; никто, кромѣ собственнаго побужденія, не толкалъ ихъ на эти занятія. Повинуясь единственно этому побужденію, они не пропускали ни одного замѣчательнаго произведенія литературы безъ вниманія, читали его, заучивали изъ него цѣлыя тирады, разговаривали и спорили о немъ. Наконецъ тотъ-же интересъ развивался и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Если гимназіи не устраивали литературныхъ

собраній, то нѣкоторыя изъ нихъ заводили такъ называемые кабинеты для чтенія, куда допускались лучшіе ученики и гдѣ читались, частію ими самими, частію ихъ наставникомъ, прежніе или новые образцы русской словесности. Такимъ средствомъ постепенно развивался молодой вкусъ и пріобрѣталось умѣнье владѣть литературною рѣчью. Преподаватель словесности, какъ главнаго тогда предмета въ учебномъ курсѣ, большею частію стоялъ на видномъ мѣстѣ среди своихъ товарищей. На годичномъ актѣ произнесеніе рѣчи или стиховъ служило для посѣтителей болѣе пріятною частью гимназическаго торжества. Аттестація по русскому языку и словесности цѣнилась выше другихъ аттестацій; она выдвигала ученика впередъ; ради ея, даже извинялись ему меньшіе успѣхи въ другихъ наукахъ. Само собою разумѣется, что, указывая на развитіе изящной словесности въ эпоху Александра I и на выгодное положеніе, занятое ею какъ въ обществѣ, такъ и въ школѣ, я вовсе не имѣю намѣренія утверждать, что съ успѣхами словесности одномѣрно шли успѣхи и другихъ отраслей знанія и что достоинство выработаннаго литературнаго изложенія соотвѣтствовало достоинству излагаемаго содержанія. Нѣтъ, удѣльный вѣсъ послѣдняго (т. е. мыслей, содержанія) можетъ быть ниже или выше въ сравненіи съ удѣльнымъ вѣсомъ перваго (т. е. изложенія).

§ 27. Изъ «литературныхъ» журналовъ обозрѣваемой нами эпохи наиболѣе видны были Вѣстникъ Европы, существовавшій 29 лѣтъ (1802—1830), и Сынъ Отечества, основанный Гречемъ въ 1812 г. Они пережили многія другія періодическія изданія, появлявшіяся въ царствованіе Александра I, а потомъ пережили и свое прежнее значеніе. О лучшемъ времени перваго журнала, подъ редакціей Карамзина (1802 и 1803) и Жуковскаго (1808—1810) мы уже говорили. Съ 1811-го и до конца оставался онъ въ рукахъ Каченовскаго, который, согласно съ предметомъ своихъ ученыхъ занятій, началъ обращать вниманіе на исторію отечественнаго и родственныхъ ему языковъ, на дѣянія и обычаи народовъ славянскаго происхожденія, такъ что статьи историко-археологическаго содержанія оказались, во вторую половину изданія, преобладающими. Этимъ отдѣломъ журнала издатель принесъ не малую пользу русской исторіи. Въ Вѣстникѣ Европы, долгое время принимали участіе многіе извѣстные литераторы: Жуковскій, Батюшковъ, кн. Вяземскій, Воейковъ, Мерзляковъ, Милоновъ, А. и В. Измайловы, В. Пушкинъ; здѣсь же появились первыя стихотворенія А. Пушкина. Уваженіе къ имени Карамзина какъ бы обязывало ихъ поддерживать журналъ, имъ основанный. Нъ съ 1819 г., когда, по

выходѣ въ свѣтъ Исторіи государства россійскаго, она подверглась критикамъ Каченовскаго и Арцыбашева, прежнее участіе замѣнилось охлажденіемъ и даже непріязнью. Издатель вскорѣ усилилъ эти чувства самыми неблагосклонными отзывами о первой поэмѣ Пушкина (Русланъ и Людмила) и о комедіи Грибоѣдова «Горе отъ ума». Отзывы журнала, шедшіе на полный перекоръ не только мнѣнію лучшихъ цѣнителей словесности, но и общему признанію публики, ясно показывали застарѣлость понятій объ искусствѣ и отсутствіе всякаго живаго чувства къ новымъ явленіямъ въ его сферѣ. Чѣмъ далѣе, тѣмъ видимѣе дряхлѣлъ Вѣстникъ Европы и кончилъ свое существованіе не по причинамъ, отъ него независѣвшимъ, а по единственной причинѣ, въ немъ самомъ гнѣздившейся—старческому изнеможенію. Москва, со времени упадка «Вѣстника Европы» (съ 1819 г.), долгое время оставалась безъ прочнаго журнала, такъ какъ другіе, болѣе замѣчательныя изданія: П. Макарова «Московскій Меркурій» (1803), Мерзлякова «Амфіонъ» (1815) и В. Измайлова «Россійскій музеумъ» (1815) прекращались по окончаніи годичнаго срока, а «Современный наблюдатель россійской словесности», П. Строева, выходилъ только въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ 1815-го года. Каждое изъ этихъ изданій не безъ достоинствъ. Будучи однимъ изъ первыхъ послѣдователей Карамзина, П. Макаровъ защищалъ «новый» слогъ, требовалъ, чтобы просвѣщеніе было освобождено отъ педанства, которое тогда считалось, да и дѣйствительно было, почти неизбѣжною принадлежностью каждаго, занимавшагося наукой, и настаивалъ на правахъ женщинъ не только заниматься литературой, но и обладать высшимъ образованіемъ, даже ученостью. Журналъ П. Строева выступилъ съ «критическимъ» направленіемъ. Это былъ любопытный фактъ, обнаружившій въ издателѣ-студентѣ своего рода мужество, которое онъ и доказалъ разборомъ Россіады. «Амфіонъ» и «Россійскій музеумъ», обильные вкладами лучшихъ нашихъ писателей какъ въ стихахъ, такъ и въ прозѣ, не представляютъ однакожъ стремленія къ какому нибудь опредѣленному пункту.

Переходя къ петербургскимъ журналамъ, замѣтимъ, что и изъ нихъ многимъ суждено было умирать вскорѣ послѣ ихъ рожденія. Лучшіе между такими кратковѣчными изданіями: «Цвѣтникъ» и «С.-п.-бургскій вѣстникъ» существовали—первый два года (1809 и 1810), второй меньше года (1812). Благодаря таланту одного изъ своихъ издателей, Бенитцкаго (другими были А. Измайловъ и П. Никольскій), равно и сотрудничеству Гнѣдича, Батюшкова и Милонова, «Цвѣтникъ» нравился читателямъ живостью и разно-

образностью литературнаго содержанія и дѣльной критикой Дашкова, воевавшаго съ славянофильскимъ направленіемъ. Дашкову же принадлежатъ лучшія статьи въ «С.-п.-бургскомъ вѣстникѣ», издававшемся отъ Общества любителей словесности, наукъ и художествъ.

Когда эти эфемерныя явленія журнализма сошли со сцены, на первый планъ выдвинулся «Сынъ отечества», журналъ сначала (1812) историческій и политическій, а потомъ (съ 1814-го) присоединившій къ первымъ двумъ титуламъ и третій—литературный. Издатель его, Н. Гречъ, увидѣлъ себя въ счастливомъ положеніи: всѣ наличныя литературныя силы, желавшія публично заявлять свой голосъ или, простѣе, видѣть свои сочиненія напечатанными, должны были, раньше или позднѣе, прихлынуть къ нему, за неимѣніемъ другихъ органовъ журналистики. Отъ природы даровитый, владѣвшій перомъ, Гречъ принялся за дѣло, хотя безъ высшаго образованія, но не безъ литературныхъ свѣдѣній и не безъ предварительнаго опыта: до того времени онъ трудился, въ соредакторствѣ съ другими, надъ изданіемъ трехъ журналовъ: «Геній временъ», «Журналъ новѣйшихъ путешествій» и «Европейскій музей». Кромѣ того, самый патріотизмъ, возбужденный войною съ Наполеонномъ, наклонялъ сочувствіе къ журналу, получившему названіе «Сына отечества». Все, по видимому, обѣщало успѣхъ—и обѣщаніе не обмануло. Десятилѣтній юбилей «Сына отечества» былъ отпразднованъ какъ общелитературный праздникъ, не отдѣлявшій интересовъ редактора и его сотрудниковъ отъ интересовъ всѣхъ другихъ писателей и образованной публики. Но количество силъ, дѣйствующихъ на пользу журнала, даже въ союзѣ съ издательской ловкостью, еще не служитъ ручательствомъ, что онъ станетъ на высотѣ, соотвѣтствующей достоинству литературы, и пріобрѣтетъ власть образовывать и направлять мнѣнія читающаго класса. Для достиженія этой почтенной цѣли необходимо обладать и болѣе широкимъ кругозоромъ, не мыслимымъ безъ высшаго образованія, и твердымъ сознаніемъ обязанности, хотя бы и добровольно на себя принятой, и разумною степенностью характера. Издателю «Сына отечества» не доставало такихъ качествъ; особенно страдалъ онъ легкомысленнымъ отношеніемъ къ дѣлу, которому взялся служить. Все это мѣшало изданію пріобрѣсти уважительный внутренній вѣсъ. Невыгодно было и то внѣшнее обстоятельство, что «Сынъ отечества» выходилъ еженедѣльно небольшими книжками, листа въ три или четыре каждая; почему крупныя статьи тянулись долго, даваясь читателямъ въ мелкихъ пріемахъ, а при неинтересномъ составѣ нумера (подоб-

ные случаи могли встрѣчаться довольно часто) нечего было и читать. Не смотря на вышесказанное, журналъ Греча былъ сравнительно съ другими живѣе и разнообразнѣе, чѣмъ и объясняется его успѣхъ. Не могъ, конечно, съ нимъ конкурировать «Благонамѣренный» (1818—1826), во всѣхъ отношеніяхъ издававшійся крайне беззаботно и небрежно. Редакторъ его, А. Измайловъ, обращался съ публикой фамиліарно, какъ говорится на-распашку, не исполняя условленныхъ обязательствъ и откровенно, безъ малѣйшей конфузливости, принося свои извиненія; число годовыхъ нумеровъ, неизвѣстно по какой причинѣ, мѣнялось; книжки запаздывали выходомъ, соединялись по двѣ и по три въ одну, объемъ которой былъ меньше обѣщаннаго числа листовъ; въ концѣ года подписчики не получали остальныхъ нумеровъ. Чѣмъ дальше подвизался Измайловъ на журнальномъ поприщѣ, тѣмъ замѣтнѣе опускалась его редакція и тѣмъ естественнѣе казался публикѣ такой цинизмъ небрежности. На редактора даже не сердились, думая, что такъ тому и должно быть, что иначе и быть не можетъ.

Существенный недостатокъ какъ указанныхъ, такъ и другихъ періодическихъ изданій, состоитъ въ томъ, что ни одно изъ нихъ (развѣ за исключеніемъ первыхъ двухъ лѣтъ Вѣстника Европы) не имѣло направленія, опредѣляемаго, въ литературномъ изданіи, твердо поставленнымъ взглядомъ на литературу, который и долженъ служить руководствомъ, какъ при обсужденіи, при уясненіи старыхъ вопросовъ, такъ и при рѣшеніи новыхъ и при оцѣнкѣ текущей словесности. Поэтому относительное ихъ достоинство измѣряется единственно бо́льшимъ или меньшимъ количествомъ хорошихъ статей, но разнообразнаго, часто разномыслящаго содержанія, а не руководящими сужденіями. Да и самая доброкачественность журнальнаго матеріала была дѣломъ случайнымъ. Авторъ помѣщалъ свои произведенія въ томъ или этомъ журналѣ не изъ сочувствія къ принципу, котораго не было ни тамъ, ни здѣсь, а по другимъ постороннимъ отношеніямъ, напримѣръ по знакомству или дружбѣ съ редакторомъ, по давности журнальной фирмы, по желанію видѣть свое имя въ почетной компаніи. Статья, явившаяся на страницахъ «Вѣстника Европы», вовсе не доказывала единства взглядовъ его издателя со взглядами того, кто писалъ статью: она могла съ одинаковымъ правомъ явиться и на страницахъ «Сына отечества» или «Благонамѣреннаго», не противорѣча ихъ программамъ, которыя ограничивались простымъ исчисленіемъ отдѣловъ каждаго нумера. Были, правда, предметы, возбуждавшіе общее вниманіе литературнаго круга и раздѣлявшіе журналистику на двѣ противныя стороны, но голоса, раздававшіеся

по тому или другому предмету, вовсе не походили на то, что означается именемъ направленія, образа мыслей, принципа. Нельзя же прилагать это имя, напримѣръ, къ мнѣніямъ *за* Карамзина или *противъ* Карамзина во время споровъ о старомъ и новомъ слогѣ, ибо мнѣніе объ отдѣльномъ вопросѣ, какъ своего рода случайность, само по себѣ, а направленіе, дающее журналу отличительный цвѣтъ, само по себѣ. Какъ ни достойно уваженія общее сочувствіе періодичесхихъ изданій, которымъ они встрѣтили, въ 1817—19 гг., либеральныя заявленія и мѣры правительства, но и оно не должно быть смѣшиваемо съ характеромъ этихъ изданій: оно не вытекало изъ программъ, какъ логическое слѣдствіе неизбѣжно вытекаетъ изъ посылокъ.—Нѣкоторые журналы, каковы: «Сіонскій Вѣстникъ», Лабзина (1806, 1817 и 1818), «Другъ юношества», М. Невзорова (1807—1815) и «Русскій Вѣстникъ», С. Глинки (1808—1824), не подходятъ подъ нашъ приговоръ, ибо изъ нихъ первый спеціально, а второй преимущественно вращался въ сферѣ религіознаго мистицизма. Что касается «Русскаго Вѣстника, то о немъ было сказано выше.

Смотря съ этой точки зрѣнія на періодическую прессу, мы по справедливости должны отдать преимущество нелитературнымъ журналамъ, изъ кототорыхъ два: «С.-п.-бургскій Журналъ» (1804—1809) и «Сѣверная Почта» (1809—1820) издавались отъ министерства внутреннихъ дѣлъ, а другіе два: «Историческій, статистическій и географическій журналъ, или современная исторія свѣта» (1809—1828), Гавриловымъ, и «Духъ журналовъ» (1815—1821), Яценковымъ. Изъ оффиціальныхъ изданій особенно замѣчательно первое.

Естественнымъ послѣдствіемъ вышеизложеннаго было то, что уровень «литературныхъ» журналовъ оказался ниже потребностей публики, которая могла повторить слова сатирика: журналовъ у насъ много, а книги ни одной. На возраженіе: развѣ журналъ не книга? самъ собою представлялся отвѣтъ: съ словомъ «книга» въ умѣ читателя соединятся понятіе о чемъ-либо поучительномъ или, по крайней мѣрѣ, интересномъ; но тогдашніе журналы не удовлетворяли ну простому любопытству, ни любознательности, желающей знать, что дѣлается въ свѣтѣ по наукѣ и словесности. Еще менѣе въ періодическихъ изданіяхъ могли находить литераторы какое-либо руководство въ своихъ взглядахъ, пособіе для своихъ работъ. Редакторы оказались не въ силахъ ни обсуждать вопросовъ, поставляемыхъ временемъ на очередь, ни сознавать значеніе новыхъ явленій въ поэзіи, ни даже оцѣнивать въ истинной мѣрѣ состояніе текущей литературы. Вмѣсто сочувствія

умныхъ людей, они вызывали колкія и правдивыя эпиграммы. Пушкинъ справедливо замѣтилъ, что «Сынъ отечества» и «Вѣстникъ Европы» (употребивъ эти собственныя имена какъ бы въ собирательномъ смыслѣ, обнимающемъ всю журналистику) безполезны для ума. Однимъ словомъ, чувствовалась потребность въ иныхъ періодическихъ изданіяхъ, съ новыми программами, съ инымъ пониманіемъ дѣла. Переходомъ къ тому служилъ альманахъ «Полярная звѣзда» (1823 и 1824), послѣ котораго стали возникать новые органы журналистики, относящіеся уже къ Пушкинскому періоду нашей литературы.

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

14 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or
on the date to which renewed.
Renewed books are subject to immediate recall.

MAY 9 1967 5 2	INTER-LIBRARY LOAN
	OCT 30 1978
JUN 21 '67 -11 AM	
NOV 6 1968 7 2	
RECEIVED	
DEC 2 '68 -9 AM	
LOAN DEPT.	
IN STACKS	
MAR 1 1 1976	
REC. CIR. MAR 1 7	REC. CIR. DEC 2 1978

LD 21A-60m-2,'67
(H241s10)476B

General Library
University of California
Berkeley

YC 72755
U. C. BERKELEY LIBRARIES
C047760228